

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM



НИК. ШПАНОВ

ПОДЖИГАТЕЛИ



- Николай Николаевич Шпанов
 - Часть первая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)

- [Часть вторая](#)

- [1](#)
- [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

- 21

- Часть третья

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)

- [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
-

Николай Николаевич Шпанов Поджигатели Книга 1

*Надо объяснить людям
реальную обстановку того,
как велика тайна, в которой
война рождается...*

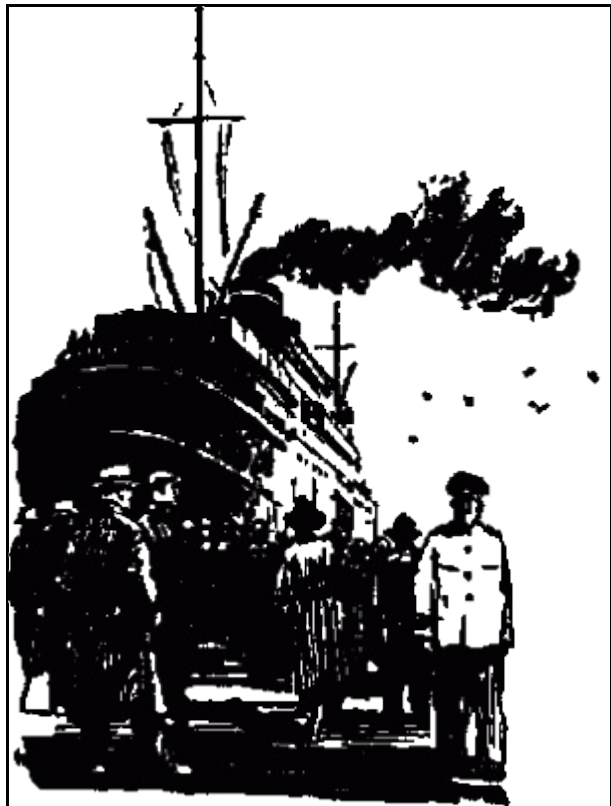
В. И. Ленин

*В стране классового,
иерархического строя
свирепствует фашизм,
который, по сути его,*

*является организацией
отбора наиболее гнусных
мерзавцев и подлецов для
порабощения всех
остальных людей, для
воспитания их домашними
животными капиталистов.*

М. Горький

Часть первая



Декабрьским вечером 1932 года на одной из пристаней Нью-Йоркского порта, принадлежащей немецкой трансатлантической компании «Гамбург — Америка», произошло нечто небывалое: теплоход «Фридрих Великий», один из крупнейших и быстроходнейших пассажирских кораблей того времени, отвалил в очередной рейс на два с половиной часа позже, чем значилось в расписании!

Как люди, оставшиеся на американском берегу, так и две тысячи четыреста шестьдесят пассажиров и четыреста сорок

человек команды «Фридриха» могли только теряться в догадках о причинах этой неслыханной задержки. У них было мало надежды узнать правду. Даже в отношении капитана «Фридриха», Гуго Хаммера, безусловно честного человека и отличного моряка, можно утверждать, что если бы он во время перехода по Атлантике мог уяснить себе последствия, которые будет иметь для немецкого народа задержка, да и самый этот рейс, он, возможно, скорее согласился бы утонуть вместе с кораблём посреди океана, нежели довести его до берегов Европы.

Несколько

пассажиров,

занимавших каюты «особого коридора» вокруг помещения, носившего условное наименование «салона для новобрачных», могли бы объяснить причину задержки отплытия и смысл их собственного пребывания на борту «Фридриха». Но они молчали. От журналистов и прочих любопытных их надёжно оберегали безмолвные здоровенные молодцы в штатском, каждые два часа сменявшиеся у дверей, ведущих в этот «особый коридор».

Но едва ли существуют на свете тайны, которые рано или поздно не становятся достоянием истории. Стало известно, что отплытие «Фридриха Великого» было

задержано по приказу германского посла в Штатах. Позднее было с точностью выяснено, что именно в эти часы посол находился в здании государственного департамента. День был субботний, и в государственном департаменте уже не было никого из старших служащих. Освещёнными оставались только окна кабинета государственного секретаря, следовательно, нетрудно было установить, что германский посол находился именно в этом кабинете. Кроме посла и самого государственного секретаря, там присутствовало ещё одно лицо, имя которого долго оставалось

неизвестным. Это лицо, под охраною нескольких частных сыщиков, и прибыло на самолёте из Вашингтона на аэродром Лонг-Айленд в Нью-Йорке и прямо оттуда проследовало на борт «Фридриха Великого», где тотчас скрылось за дверью «салона для новобрачных».

В списке лиц, когда-либо пользовавшихся этим салоном, значились английские лорды и индийские раджи, короли и принцы, послы и министры. Этот пышный список печатался в проспектах компании «Гамбург-Америка». Но в нём никогда так и не появилось имя лица, занимавшего салон в рейсе, начавшемся декабрьским вечером

1932 года.

Пассажир этот не имел никаких титулов. Он был плотным мужчиной большого роста, далеко не старым с лица, хотя над его лбом, таким же розовым, как и мясистые округлые щеки, серебрились коротко остриженные седые волосы. У него был тяжёлый подбородок и оттопыренные, как большие морские раковины, хрящеватые уши. Ни одною из своих черт он не походил на тех «породистых» и большею частью худосочных аристократов, которые иногда занимали салон. Взгляд его больших водянисто-голубых глаз казался рассеянным, скользким, но лишь до того момента,

пока они не останавливались на собеседнике или в них не вспыхивал огонёк гнева. Тогда их взгляд становился тяжёлым, глаза из голубых превращались в серые и сразу выдавали волю и упорство их обладателя.

Звали этого человека Джон Аллен Ванденгейм Третий. Он не мог похвалиться тем, что его предки высадились с «Майского цветка», да и вообще предпочитал не копаться в своей родословной дальше двух поколений. В душе он осуждал своего покойного отца Джона Ванденгейма Второго за то, что тот имел привычку шутливо хвастать своим происхождением от некоего

караибского пирата, хотя и не стяжавшего их роду славы, но зато оставившего наследникам первый миллион долларов, приумноженный ими до полумиллиарда. Нелюбовь Джона Ванденгейма Третьего к легенде о пирате объяснялась просто: вовсе не он один знал, что в действительности этот «пират» Ион Ван-ден-Гейм был беглым голландским каторжником и совершенно сухопутным человеком. Полем его деятельности было вовсе не Караибское море, а трющобы Чикаго. И миллион был им оставлен не в виде жемчугов и рубинов, похищенных из трюмов чужих кораблей, а банкнотами, добытыми

преступлениями, среди которых далеко не последнее место занимали обыкновенные убийства. Единственное, чем он мог похвастать, — то, что его по справедливости можно было считать одним из основателей тогда ещё нового промысла — рэкета.

Джон Третий и Самый Младший не видел забрызганных кровью банкнот, награбленных дедом. Он считался потомственным миллиардером и не интересовался тем, как выглядят наличные деньги. Их заменяли ему чековые книжки доброй полудюжины американских и европейских банков, входящих в систему его «дома».

Джон Ванденгейм вовсе не был новобрачным и даже не знал, что его каюта, состоящая из четырех великолепных апартаментов, носит столь идиллическое название. Первые две ночи трансатлантического перехода он спал плохо. Он ворочался в постели, такой чудовищно огромной, что на ней можно было бы сыграть в поло; несколько раз он просыпался, лежал с открытыми глазами, словно невесёлые видения покинутой им американской действительности преследовали его и на борту «Фридриха».

Уж он-то, Джон Ванденгейм Третий, казалось ему, знал, что

происходит в мире. Больше того, он воображал себя одним из тех центров, вокруг которых движутся известные ему миры единственно понятной ему вселенной — мир банков и прессы, нефти и стали, химии и железных дорог; мир политики с избирательной машиной, поставляющей роботов для протаскивания в конгрессе нужных джонам законов, судей для борьбы с законами, мешающими джонам, губернаторов для борьбы с бастующими рабочими джонов; мир «своих» профсоюзов с их лидерами, состоящими на жалованье у джонов и предназначенными для разгрома стачек, с которыми бессильны

справиться губернаторы; мир церкви, довершающей то, чего не могут сделать ни губернаторы, ни профсоюзные лидеры, — залезть в души голодных и недовольных, всучить вместо хлеба молитвы и проповедовать покорность вместо борьбы, блаженство на небесах вместо человеческого существования на земле.

Все это были миры, доступные пониманию Джона. Центрами притяжения в них были меллоны, дюпоны, рокфеллеры, морганы — «солнца» керосиновых, оружейных, консервных и пароходных систем, такие же «светила», как он сам, Джон Ванденгейм Третий,

воображающий, будто от его разума и воли зависит вращение его джоновой системы вправо или влево.

Представление о себе, как о динамической силе, измеряемой количеством долларов, втянутых в его орбиту, было столь органически свойственно его психологии, столь неотъемлемо от его ощущения самого себя, что казалось чем-то безусловно разумеющимся и не нуждающимся ни в каком анализе. С точки зрения Джона, анализировать существо его власти было так же глупо, как тратить время на проверку закона всемирного тяготения. Спорить о вечности и богоустановленности власти джонов было, по мнению

Ванденгейма, так же кощунственно, как доброму католику сомневаться в святости папы — наместника господа бога на земле.

Ванденгейм был твёрдо уверен, что ходом жизни на оставшейся за бортом «Фридриха» американской земле управляют законы, создаваемые джонами. Правда, в молодости он читал, что подобно тому, как Дарвин открыл закон развития органического мира, так Маркс открыл закон развития человеческой истории. Но так же как об открытии Дарвина Джон думал только однажды, когда читал отчёты об «обезьяньем процессе», так и о Марксе он вспоминал, только слыша

о коммунистах.

Джон не имел никакого представления о том, что и его собственным «миром» и ходом всей истории человечества, в конечном счёте, управляют не государственные мужи, не сенаторы, которых держат на жалованье джоны, не воззрения немногих людей, определяющих для остальных право насыщаться или умирать с голоду. Джон почёл бы просто «красным пропагандистом» того, кто попытался бы его уверить, что ходом истории управляет открытый Марксом великий закон развития человеческого общества на всех его ступенях, закон, точно раскрывающий стимулы и основы

жизни как в пору варварства, так и в пору современной дикости — «цивилизации» джонов.

Ванденгейм не понимал, что именно этот закон действовал с неумолимой силой и предопределял безостановочную погоню всех джонов за прибылью и непрерывное возрастание капитала джонов, но вместе с ним и рост массы наёмного труда. Этот закон ставил джонов в нелепое положение беспомощного волшебника, создавшего могущественные силы — средства производства и обмена — и оказывающегося не в состоянии справиться с ними. Более того: вследствие классовой

ограниченности своей философии «волшебник» не догадывался, что он сам в погоне за наживой прежде всего создаёт собственных могильщиков — пролетариев. Джон, наконец, не подозревал, что не по собственной «свободной» воле и не в результате своего или своих сообщников «независимого» решения, а именно в силу сложного действия этого же открытого Марксом закона сам он, Джон Третий, солнце «системы Ванденгейма», должен был сегодня отправиться в Европу.

Он вынужден был покинуть Америку в тот трагический для него и для всех его единомышленников

момент, когда подрезанный кризисом их кандидат в президенты Гувер провалился на выборах, уступив место Франклину Делано Рузвельту. Говорили, что новый президент намерен даже поставить вопрос о признании Советского Союза.

И все это происходило в то время, когда, по официальной оценке английского правительства, общий процесс разложения капиталистической системы «дошёл до точки, где уже начиналась попытка ликвидировать не только частные капиталы и предприятия, но и целые страны», когда «во всех направлениях замечаются признаки паралича торговли и угрозы

банкротства и финансового краха», когда «международный денежный механизм, без которого современный мир не в состоянии эффективно существовать, разбит на куски».

Джон должен был оторваться от своего американского дома в то самое время, когда французская пресса вопила: «Горизонт мрачен. Вершителям судеб придётся разрешить величайшую из всех задач, которую когда-либо приходилось решать ответственным правительствам, а именно — спасти нашу цивилизацию, находящуюся в опасности»; когда в цитадели капиталистического благоденствия — Соединённых Штатах Америки —

двадцатипятитысячная армия доведённых до отчаяния ветеранов войны совершала голодный поход в Вашингтон и войска получили от начальника генштаба генерала Макартура приказ открыть огонь, чтобы не пустить своих изголодавшихся товарищей к Белому дому. Сам осторожный «Таймс» вынужден был сознаться: «Несмотря на то, что в банковских подвалах Америки находится почти половина золотого запаса двадцати девяти главных стран мира, — там наблюдаются нищета и лишения, не знающие параллели в истории Соединённых Штатов». Треть трудоспособного населения Нью-

Йорка сидела без работы и готова была предложить свой труд за любую цену, чтобы спасти от голодной смерти свои семьи.

Значительная часть фермерского населения Штатов была доведена до полного разорения и отчаяния. Миллионы людей превращались в бездомных бродяг, кочующих по стране. Единственным утешением могло им служить то обстоятельство, что 17 миллионов безработных американцев составляли меньше половины людей, бродящих по улицам городов так называемых цивилизованных стран Европы и Южной Америки в поисках работы и хлеба.

Джон Ванденгейм и подобные ему «вершители судеб» видели только внешнюю сторону фактов и не понимали исторической сущности событий. Все усилия оплачиваемых ими философов и экономистов были направлены на нелепые и тщетные попытки опровержения Марксова закона, открывшего путь к познанию подлинного хода истории. Они утверждали, будто все зло в репарациях, которые по Версальскому договору немцы были обязаны платить победителям, и в военных долгах союзников американскому казначейству. Якобы только эти долги и репарации нарушали экономическое равновесие

мира, и стоит-де простить немцам их репарации и отсрочить англичанам и французам их долги, как все придёт в порядок.

Это ставило истину на голову, но джоны за то и платили деньги своим учёным и газетчикам, чтобы любая чепуха имела вид евангельской истины, нужной хозяевам США. А какой же голодный американский рабочий и фермер не согласился бы простить таким же голодным немцам и французам нескольких миллиардов, имевших к тому же в его представлении чисто теоретический смысл, если это прошение означало возможность завтра же получить работу? Особенно, если от этого

рабочего или фермера скрывали, что прощение официальных долгов американскому государству необходимо, чтобы дать возможность немецким, французским и английским банкирам платить проценты по частным займам, сделанным у американских банкиров. В массе своей простые люди не могли знать, что прощение военных долгов — это псевдоним финансовой операции, имевшей целью поставить на ноги ещё чахлое чудовище европейского фашизма, без помощи которого всем ванденгеймам Америки и Европы уже казалось невозможным спастись от света великой ленинской правды, все ярче

разгорающегося в Советском Союзе.

Пущенная в ход слугами капитала социальная демагогия представляла фашизм как разновидность «обновления» мира. А социал-демократия, все ещё державшая в духовном плену многие миллионы рабочих и интеллигенции, вместо того чтобы разоблачить фашизм, оказывалась на практике его опорой. Правду о том, что фашизм — боевая организация буржуазии, опирающаяся на активную поддержку социал-демократии, несли в массы коммунисты. Но на них продажная капиталистическая и так называемая «социалистическая» пресса изливала потоки лжи. Против

коммунистов все яростнее
ополчалась полиция всех
европейских, американских и
азиатских буржуазий, хотя это и не
могло скрыть светлую и простую
правду коммунистических идей от
простых людей во всем мире.

Все с большим страхом враги
коммунизма следили за тем, что
происходит в СССР. План великих
работ — первая пятилетка —
повергал их в смятение; о нем они
ещё в 1929 году откровенно писали:
«Если эксперимент удастся даже
только на три четверти, то не
придётся больше сомневаться в
окончательной победе. Это была бы
тогда победа социалистического

метода, достигнутая силами
молодого, способного верить,
одарённого народа». А когда
советский народ выполнил эту
пятилетку не в пять, а в четыре года,
реакционная «Тан» с горечью
признавалась: «Коммунизм
гигантскими темпами завершает
реконструкцию, в то время как
капиталистический строй позволяет
двигаться только медленными
шагами. В состязании с нами
большевики оказались
победителями».

Да, большевики оказались
победителями! Рабочие делегации и
просто туристы многих
национальностей, побывав в СССР,

видели своими глазами и убеждались, что пятилетка не утопия, не фантазия, а нечто реальное, огромное и политически всепобеждающее. От неё нельзя было отделаться болтовнёй, её нельзя было и замолчать. Невозможно было преуменьшить её международный политический смысл. Как ни хотелось капиталистическим главарям сделать вид, что они считают пятилетку частным делом Советского Союза, международное значение успеха грандиозного плана не подлежало сомнению. Чем сильнее становился Советский Союз экономически, тем выше поднимался его авторитет в мире, тем активней и

успешней вёл он борьбу за мир. Эта борьба, запечатлённая во многих документах того времени, приобщала к лагерю друзей СССР все новых и новых сторонников. К тому же нельзя было уже надеяться почерпнуть в ожидавшихся неудачах пятилетки доводы против социализма: успешное и досрочное осуществление великого плана было неоспоримым аргументом за революцию, за социалистический метод хозяйствования, против капитализма. Глядя на успехи пятилетки, революционные рабочие всех стран, всего мира объединялись на борьбу со всей буржуазией. «Если могут русские рабочие и крестьяне,

то почему не можем мы?» — этот вопрос вставал перед трудящимися всего мира. И чем громче он звучал, тем настойчивее ванденгеймы старались мобилизовать все свои силы для «похода на восток». Одним из важных звеньев этой мобилизации и было то, что предприняли американские и английские монополисты на материке Европы: создание антисоветского фронта силами мечтающего о реванше немецкого воинствующего капитализма, силами немецкого милитаризма, забывшего уроки недавней войны, и, наконец, силами нарождающегося немецкого фашизма.

Отправляясь в Европу, Джон Ванденгейм больше всего думал о смысле происходивших в Германии событий, и ему казалось, что он знает достаточно, чтобы направить эти события так, как нужно было ему и его сообщникам и доверителям — меллонам, дюпонам, рокфеллерам. Он был уверен, что знает всё, что следует знать, чтобы снова сделать Германию тем, чем она была для Европы уже добрых полвека, — возбудителем военной лихорадки. Если удастся снова заразить этим недугом немецкий народ, тогда не только дадут богатые всходы доллары, посеянные ванденгеймами на ниве немецкой тяжёлой

промышленности, но и вся остальная Европа, — хочет она того или нет, — обратится в надёжного покупателя американских товаров. Неизбежно повторится высокая конъюнктура на все виды изделий военной и тяжёлой промышленности. Тогда конец кризису, грозящему разрушить американское хозяйство! Миллионные армии безработных американцев за половинную плату станут тогда к станкам, чтобы выколачивать прибыли для Джона. Если же к тому времени половина их и перемерёт от голода, большой беды не будет, рабочих рук хватит, а страх голодной смерти погонит остальных в ворота его заводов! Голод —

надёжный штрейкбрехер.

Да, Джону казалось, что все на свете можно устроить, нужно лишь знать, как взяться за дело. И ворочался он в своей широкой постели только потому, что его снедали беспокойство, страх, сомнения: не опоздает ли он?

Второе утро застало Джона сидящим на мраморной ступеньке бассейна для плавания и задумчиво болтающим ногою в подогретой воде. Ему не хотелось лезть в воду, — её температура была на градус или два ниже той, к которой он привык дома.

Джон меланхолически почесал спину, и длинные ногти, цепляясь за

волосы, издали противный скребущий звук.

Ванденгейм поморщился и пощупал рыхлую розовую складку на пояснице.

Эта складка была для него неприятным открытием.

Перегруженность делами выбила его в последнее время из колеи нормальной жизни. Спорт был почти заброшен, и вот, извольте, сразу такая гадость! В Европе, конечно, нечего и надеяться сбросить лишний вес — там будет не до спорта. Но как только он вернётся в Штаты — немедленно за нормальный режим! А то, чего доброго, к семидесяти годам станешь

стариком.

Ванденгейм встал и обошёл вокруг бассейна к другому краю, где было мельче. Там он осторожно слез в воду и окунулся, старательно зажав нос и уши и громко отфыркиваясь.

За этим занятием его и застал Генри Шрейбер, один из тех, кто занимал каюты «особого коридора» вокруг салона Ванденгейма.

Генри Шрейбер не был мелкой сошкой, он и сам являлся главою большой банковской корпорации — американского филиала англо-германского банковского объединения «Братья Шрейбер», но в игре с Ванденгеймом он был младшим партнёром. Вместе с

некоторыми другими банками вроде «Кун и Леб» и «Диллон, Рид и К» он играл роль шланга, через который живительный золотой дождь американских долларов изливался на промышленные поля Германии.

На этот раз распоряжаться деньгами, по доверию своих коллег — банкиров, должен был Ванденгейм. Это он, Ванденгейм, а не Генри Шрейбер имел вчера длительную беседу с государственным секретарём, определившую направление помощи, которую дипломатическая служба Штатов должна была напоследок, перед приходом нового президента, оказать едущим в Европу

полномочным представителям Уолл-стрита.

Правда, несколько кают «особого коридора» были заняты немцами, но эти господа не имели решающего голоса. Даже глава англо-германского объединения Шрейберов барон Курт фон Шрейбер, даже главный директор Рейхсбанка доктор Яльмар Шахт. Шахт сделал своё дело: соблазнил американцев перспективою поездки — и мог теперь спокойно спать.

Перед тем как появиться в купальном зале, Генри Шрейбер уже успел прогуляться по палубе и позавтракать. Усевшись на скамью у бассейна, он закурил и стал ждать,

когда Ванденгейм закончит купание.

Снаружи, над хмурым морем, стояли низкие и такие же хмурые облака. Время от времени они сыпали мокрой снежной крупой. Здесь же, в бассейне, можно было подумать, что над головою сияет солнце: сквозь жёлтые стекла потолка лился яркий искусственный свет. В его лучах весело зеленели кусты магнолий.

— Послушайте, Джон, — сказал Шрейбер Ванденгейму, продолжавшему плескаться в бассейне, — ещё один такой купальщик, и вода выйдет из берегов!

— Да, эта лохань не по мне.

Ванденгейм с пыхтеньем вылез

из воды. Подрагивая розовыми складками большого тела, он протрусил к дивану и поспешно закутался в халат.

— Будь я проклят, если ещё когда-нибудь поеду на немецком корыте, — проворчал он.

— Честное слово, Джон, вы напрасно ворчите. Этот «Фридрих» совсем не такая плохая посудина.

— Все не так... как я привык! Чорт бы их побрал с их экономией! Неужели нельзя поднять температуру воды ещё на два-три градуса?.. Брр!..

— Для немцев купанье не столько удовольствие, сколько «процедура».

— Вся их жизнь — только

процедура, чорт их побери!

— Но мы, старина, — с заискивающей фамильярностью сказал Шрейбер, — заинтересованы в том, чтобы у них действительно было крепкое здоровье... Взять хотя бы моего брата...

Генри Шрейбер с самого момента появления в купальном зале думал о своём старшем брате Курте Шрейбере, ждавшем в коридоре разрешения войти. Глава Гамбургского банка Шрейберов напрасно добивался в Штатах личного свидания с Ванденгеймом. Оно было ему необходимо, совершенно необходимо, если он не хотел сойти на вторые роли в

начинавшемся новом туре вторжения доллара в Европу. Генри обещал ему устроить это свидание на пароходе. И вот Курт, отшвыривая одну за другой начатые и недокуренные папиросы, нервно расхаживал около двери, ведущей в помещение бассейна. Казалось, ничто не мешало ему толкнуть дверь и войти. Но сила более могущественная, чем любая полиция, государственная или частная, удерживала Шрейбера по эту сторону двери. Это была сила денег, которых у Ванденгейма было в сто раз больше, чем у Курта. Сознание такой разницы лишало уверенности в себе этого обычно заносчивого и не терпящего

возражений властного главу
немецкого дома Шрейберов.

Тем временем его младший брат,
не получив от Ванденгейма ответа на
реплику о Курте, спросил:

— Вы не думаете, Джон, что ваш
личный разговор с Куртом принёс бы
пользу?

— Не думаю.

— Вы узнали бы из первых уст
то, чего в конце концов не могут
знать ваши эксперты.

— Спросите и скажите мне.

— Можно подумать — вы
боитесь Курта, что ли?

— Боюсь? — Ванденгейм пожал
плечами. — Глупое слово, Генри.

— Я не то хотел сказать.

— А я всегда говорю только то, что хочу.

— Видите ли, Джон, мне казалось, что вам нужно хоть раз поговорить друг с другом откровенно. Все-таки Курт — это Европа.

— Не Европа, а Германия. Та самая Германия, которая уже слопала шесть миллиардов наших долларов и разевает пасть на новые. Я бы даже сузил понятие: не столько Германия, сколько Рур.

— Но вы же сами знаете, Джон: не поставив его на ноги, мы потеряем и то, что дали!

— Знаю!

— Значит, мы должны помочь

англичанам и французам — тем из них, кто правильно понимает положение вещей, — вытащить Германию из ямы, в которую она может скатиться.

— Глупости!

Шрейбер некоторое время удивлённо смотрел на Ванденгейма.

— Я вас не понимаю, Джон.

— Чего вы ждёте от Англии и Франции? У них дрожат руки, когда приходится давать немцам каждый новый цент, — тянут, оглядываются. Развал в Германии грозит чорт знает чем. Там нужна твёрдая власть. Такая власть, которая обеспечит нам сохранность наших денег.

— Как раз то, о чём и я

говорю! — радостно воскликнул Шрейбер.

— Видите ли, Генри, — медленно проговорил Ванденгейм, — именно сейчас вам нужно до конца понять: надежды на то, что европейцы будут в течение шестидесяти лет, как овцы, выплачивать нам военные долги, могут жить только в головах последних дураков. Европейцы, которые и сейчас уже полные банкроты?..

— Идиотизм, — поспешно согласился банкир.

Ванденгейм продолжал:

— Нам гораздо выгоднее сделать гуманный жест и списать в убыток

все военные займы, когда-либо предоставленные Штатами европейским правительствам, но зато обеспечить платёжеспособность Европы по тем кредитам, которые предоставили ей мы... Мы! — повторил он внушительно. — Меллон, Морган, Дюпон, я... Я! Пусть эту кашу расхлёбывает казначейство нового президента. Налогоплательщики ещё немножко подтянут пояса: это им не впервой. Большой беды в этом не будет. Но частные долги Европы должны остаться частными долгами. Никому — ни президенту, ни конгрессу — мы не позволим хозяйничать в нашем кармане!

— Говорят, будто Рузвельт приведёт Моргентау. А этот умеет залезать в чужой карман.

Ванденгейм сердито выпятил челюсть:

— Руки коротки и у Моргентау.

— Большие планы... большие планы, Джон! — взволнованным шопотом ответил Шрейбер. В его голове проносился вихрь многозначных чисел: денежный поток, протекающий через фильтры его банка и оставляющий на этом фильтре столь вожаделенный золотой. — Это настоящее дело, Джон! — повторил он. — Но для этого нам нужно взять за горло французов, нужно окончательно

свалить англичан... С этим придётся повозиться.

— Повозиться? — Ванденгейм расхохотался. — Нет, дружище, они уже достаточно крепко держат друг друга за глотку. Начинается другая игра. Довольно мышинной возни. Мы — янки!

— Большие планы, большие планы, Джон...

— Если мы уже вложили в Германию шесть миллиардов, то вложим ещё шестьдесят...

— Немцы никогда не смогут с нами расплатиться.

— Какие там к чорту расплаты! — крикнул Ванденгейм. — Вы смотрите с точки

зрения мелкого менялы, которому выгодно, чтобы деньги текли в обе стороны, лишь бы через ваши руки. А я и не хочу, чтобы они возвращались в Америку. Пусть все остаётся там! Я хочу стать хозяином в Германии...

— В Германии нет достаточно твёрдой власти, Джон, — пробормотал Шрейбер. — Если бы вы знали, что произошло с последними выборами в рейхстаг!..

— Только, пожалуйста, без рождественских ужасов.

— Национал-социалисты потеряли два миллиона голосов, а коммунисты приобрели шесть миллионов!

— Знаю, знаю: если немецкой

лавочке предоставить итти своим путём, то к следующим выборам коммунисты придут с двенадцатью миллионами голосов!

— Я об этом и говорю! — обрадованно подтвердил Шрейбер. — Вы знаете, кому позволили открыть рейхстаг?.. Коммунистке Кларе Цеткин!

— А зачем у них до сих пор вообще существует этот рейхстаг? Германии не нужно никакого рейхстага! Довольно и коммунистов в Германии и где бы то ни было! Пора во всей Европе завести надёжный порядок. Такой, как в Италии!

— К сожалению, не везде есть

римские папы! — со вздохом проговорил Шрейбер. — Пий XI положил немало труда на то, чтобы подчинить итальянцев главарю чернорубашечников. — Вдруг Шрейбер ударил себя по лбу: — О-ля-ля, Джон! Ведь в Германии же есть целая армия католиков! Брюнинг — вот фигура, которую снова можно двинуть в ход, вместе с ним к нам на службу придёт весь аппарат папского Рима...

— Нет, нет! — с живостью отозвался Ванденгейм. — Оставьте Брюнинга в покое. Эта фигура для другого времени.

— Вы допускаете возможность такой сложной ситуации? Если

говорить о католиках, то лучше поддержать пока Папена. Все равно без католической партии Центра дело не обойдётся.

— Может быть, — согласился Ванденгейм. — Но Папен не годится.

— А если поддержать Папена ещё ходом «слева»?..

— Не говорите глупостей, Генри!

— Я имею в виду таких левых, как Носке.

— Ах, эти!.. Нет, социал-демократическим чучелом теперь не обманешь даже самых доверчивых немцев. Папена должен сменить какой-нибудь тип покруче, чем этот Носке. Что-нибудь откровенно

националистическое, прямое, грубое.
Понимаете?

После короткого размышления
Шрейбер воскликнул:

— Курт вам скажет: он и его
коллеги из финансового мира
считают, что там есть подходящий
тип.

Генри нарочно сослался на
брата, думая, что теперь-то Джон
захочет его видеть, но тот словно и
не слышал.

— Кто этот тип? — спросил он.

— Гитлер.

— Слыхал. А военные его
поддержат?

— Генералы на его стороне.

Ванденгейм встал и, скинув

халат, принялся приседать, разводя руки в стороны. Генри Шрейбер подумал, что следовало бы сказать Курту, что с приёмом у Ванденгейма ничего не выйдет. Но для этого пришлось бы выйти из зала и, следовательно, рискнуть упустить Ванденгейма. Генри решил, что с Куртом ничего не случится, если он и подождёт, и принялся закуривать. Делая вид, что его больше всего заботит отсыревшая сигарета, он спросил:

— А что сказал вчера Стимсон?

— Чтобы вы меньше думали о
комиссионных.

Шрейбер деланно рассмеялся.

— Да, да, — сказал

Ванденгейм, — это серьезно. Он полагает, что мы с вами сейчас отвечаем не только за наши дела, а за лавочку в целом.

— Он имеет в виду Европу?

— Европу и вообще... —

Ванденгейм сделал округлое движение обеими руками, словно охватывая большой шар.

— Правильная точка зрения, — кивнул Шрейбер.

— Он-то готов поддержать все наши шаги, которые поведут к укреплению Германии, чтобы она могла противостоять красным, но имейте в виду: на этот раз вы должны использовать содействие СТИМСОНОВСКОЙ команды вовсю.

— Мы и так...

— Я к тому, что его уход — дело решённое. А ещё неизвестно, так ли легко сговоришься с Хэллом.

— С Хэллом?

— Да, Рузвельт притащит этого старика.

— И все же мы-то своего добьёмся, а вот как Рузвельт — не знаю.

— Нужно, не откладывая, взяться за дело.

— Ясно, ясно!

— Вы наивничаете, Генри! — угрожающе проговорил Ванденгейм. Он сел на диван и упёр руки в бока. Халат распахнулся. — Первое, что вы должны сделать, — это помирить

«ИГ» с Тиссенем и Круппом. Мне в конце концов наплевать, как он будет называться, этот их новый парень...

— Гитлер, — подсказал Шрейбер.

— Чорт с ним, пусть будет Гитлер, если на него можно положиться, но я не желаю больше, чтобы немцы тратили мои деньги на внутренние драки.

— Мне тоже ни один из них не родственник, — пренебрежительно заявил Шрейбер.

— Посоветуйтесь с Шахтом.

— Тут нужен совет военных.

— Так потолкуйте с их генералами.

— Можно подумать, Джон, что

теперь вы решили играть в простоту.

— Что ещё?

— Мы же сами создали положение, при котором генералы смотрят из рук Тиссена и компании.

— А Тиссен из рук генералов?..

Согласитесь, Генри, — примирительно закончил Ванденгейм, — это же глупо: с одной стороны, как пайщик «Дженерал моторс», я даю деньги Тиссену, с другой стороны, как пайщик Дюпона, — «ИГ». А они грызутся. Это же глупо!

— Может быть, и не так глупо, как кажется. Чтобы нарыв лопнул, ему нужен компресс.

— К чорту компрессы, Генри! У

нас нет на это времени. Нарыв нужно вскрыть ножом. И чтобы наверху кучи остался этот их...

— Гитлер?

— Глупое имя...

— По словам Курта, англичане, до сих пор предпочитающие для Германии восстановление монархии, фыркают при имени «национального барабанщика».

— Фыркать имеет право тот, кто даёт деньги.

— Они участвуют в деле.

— С совещательным голосом, Генри. — Ванденгейм рассмеялся и, вдруг сразу посерьёзнев, сказал: — Кстати об англичанах: нужно перерезать канал для подачек,

идущих в Германию от нефтяников во главе с Генри Гевелингом.

— А на какой размер наших вложений может рассчитывать Курт? — спросил Шрейбер.

Ванденгейм пожевал толстыми губами и неопределённо промямлил:

— Это зависит... — Он долго молчал, словно его мысль вдруг прервалась. — Одним словом, остановки за деньгами не будет, но на этот раз мы хотим реальных гарантий. Нам нужны не такие жалкие проценты, словно мы ростовщики...

— На этот раз будет пятьдесят один, — уверенно сказал Шрейбер.

— Пятьдесят один? —

задумчиво переспросил Ванденгейм, посмотрев в потолок. — Мало!

В глазах Шрейбера мелькнул испуг.

— Не хотите ли вы поменяться местами с самими немцами?! — воскликнул он.

Ванденгейм посмотрел на него в упор так, словно услышал глупость. Его голубые глаза сузились и снова посерели.

— Хочу.

— Джон! — не то испуганно, не то удивлённо воскликнул Шрейбер.

— Да, да! Именно этого я и хочу, — повторил Ванденгейм.

— Оставить им десять процентов в их собственном деле?

— Да.

— Это невозможно, Джон, честное слово!

— Только при такой перспективе игра стоит свеч, — упрямо наклонив голову, проговорил Ванденгейм. — Мы можем оставить немцам ровно столько права распоряжаться, сколько укладывается в эти десять процентов. Ни на цент больше!

Шрейбер от волнения не заметил, как швырнул окурок в бассейн. Его по-настоящему пугали планы старшего партнёра. Их осуществление означало бы, что нити управления экономикой Рейнской области уйдут из рук

европейских шрейберов. А именно они и были до сих пор единственными полновластными распорядителями дел там, из своих контор в Лондоне, Кёльне и Гамбурге. Ведь и сам он, сидя в Штатах, был вынужден смотреть из рук «старших». А хотелось другого: не сможет ли он сам стать «старшим» при новом повороте дела?

— Всех их нужно спутать в один узел, — между тем говорил Джон. — Так, чтобы никогда и никто не мог его распутать... Ни при каких обстоятельствах! «ИГ» нужно связать с «Импириел кемикл», «Импириел кемикл» с Кюльманом, Кюльмана с

Нобелем. И все под нашим контролем!

— Начнётся война в Европе, и все полетит к чорту, — в сомнении произнёс Шрейбер.

— Войны в Европе не будет, — отрезал Джон. — Мы локализуем её на востоке. Мы поможем Японии прыгнуть на спину России. Поддержим немцев в драке с большевиками по ту сторону Вислы. Но сначала займитесь этими немецкими дразгами. — Он пошлёпал губами. — Пусть-ка немцы кончают у себя с коммунистами. Решительно кончают. Иначе мы никогда не доберёмся до сути...

— Доберёмся, Джон,

доберёмся. — Шрейбер заискивающе-фамильярно похлопал Ванденгейма по спине. — Как только на карте появится общая русско-германская граница, дело будет сделано. Керзон не зря провёл свою линию, а?

— И очень скоро мы к ней подберёмся. Немцы пойдут на эту приманку.

На некоторое время между ними воцарилось молчание. Казались, каждый думал о своём. Потом, словно и не было делового разговора, Ванденгейм спросил:

— Вы уже завтракали?

— Да... Но, кажется, я способен начать сначала.

— Так пошли.

— Сколько же, по-вашему, для начала можно дать Курту?

— Столько, сколько нужно для восстановления всего военного комплекса в Германии. При этом не из старья, а на совершенно новой, вполне современной производственной базе. Пригласите к завтраку Шахта: пусть пускает в ход этого вашего... — Джон щёлкнул толстыми пальцами.

— Гитлера?

— Вот именно: Гитлера.

Это был первый и последний деловой разговор, который Джон Ванденгейм имел за все пять дней

трансатлантического перехода. Все другие попытки заговорить с ним о делах он пресекал лаконическим: «В Европе!»

Это слово он обычно бросал через плечо, даже не оборачиваясь к секретарю, чтобы не отрываться от своего любимого занятия — чистки трубок. Перед ним стоял чемодан-шкаф, разделённый на сотни отделений, где покоились трубки, входившие в так называемый «малый» набор, следовавший за ним повсюду и составлявший часть его знаменитой коллекции трубок. В ней были представлены глиняные трубки инков и голландцев, фарфоровые — не то урыльники, не то пивные

кружки — баварцев, турецкие чубуки, китайские трубочки-малютки для опия, огромные, как гобои, бамбуковые трубки полинезийцев, современные шедевры Донхилла и Петерсона — всё, что было когда-либо изготовлено для сухой перегонки курева в лёгкие человека. В поместье Ванденгейма на Брайт-Айленде остался целый трубочный павильон, набитый трубками, и штат экспертов-трубковедов.

Джон Третий не знал большего удовольствия, чем сидеть за чисткой какого-нибудь уникума из прекрасного, как окаменевший муар, верескового корня или из

потемневшей от времени и никотина пенки.

Людам, близко знавшим Джона Третьего, было известно, что трубки являлись единственным предметом, не связанным с наживой, которым Ванденгейм способен был искренне интересоваться.

Поэтому для секретарей не было ничего удивительного в том, что в течение плавания «Фридриха» они получали это лаконическое «в Европе» независимо от того, какие имена они называли и о каких делах докладывали.

Единственным, ради кого Ванденгейм оторвался от возни со своими трубками, и то уже почти в виду Гамбурга, был худой краснолицый пассажир, вызванный секретарём Ванденгейма из каюты первого класса. В судовом списке он значился как Чарльз Друммонд, инженер и коммерсант. Но когда он вошёл в салон Ванденгейма, тот указал ему на кресло и сказал:

— Капитан Паркер...

Это звучало скорее вопросом, чем приглашением.

Паркер молча кивнул головой и сел.

— Полковник предупредил вас, что вы мне понадобитсяеь?

— Да, сэр.

Ванденгейм бесцеремонно
оглядел Паркера.

— По словам полковника, на вас можно положиться...

Паркер выдержал его взгляд и также посмотрел ему прямо в лицо, ничего не ответив.

Ванденгейм указал на сидевшего по другую сторону круглого стола человека и сказал:

— Доллас поговорит с вами.

И ушёл.

Паркер посмотрел на Долласа. Он не раз слышал это имя — одного из двух совладельцев нью-йоркской

адвокатской фирмы, ведшей дела крупнейших банковских корпораций, — но никогда его не видел.

Паркер иначе представлял себе Фостера Долласа. Он принял бы за злую шутку, если бы кто-нибудь описал ему этого дельца таким, каким он его видел теперь перед собою: маленький, щуплый, но с круглым животом, с головою, похожей на огурец, покрытый налётом рыжей ржавчины. Лицо его было словно вымочено и потом крепко выжато — все в складках дряблой кожи.

Доллас сидел совершенно неподвижно и не проронил ни слова,

пока широкая спина Ванденгейма не исчезла за дверью. Тогда он заговорил быстро, выбрасывая чёткие слова, отделённые друг от друга совершенно одинаковыми, как удары метронома, промежутками.

— Вы проинструктированы?

— Да, сэр.

Доллас расцепил пальцы сложенных на животе непомерно больших, покрытых пятнами, словно от экземы, рук и, опершись ими о подлокотники кресла, порывисто наклонился к Паркеру:

— Имеете собственность?

— Нет, сэр.

— Состоите акционером каких-нибудь компаний?

— Нет, сэр.

— Играете на бирже?

— Нет, сэр.

— Женаты?

— Нет, сэр.

— Имеете постоянную подругу?

— Нет, сэр.

— Родители?

— Умерли, сэр.

— Очень хорошо!

Доллас так же порывисто, как подался вперёд, откинулся теперь к спинке кресла и снова сложил руки на животе.

На лице Паркера не было ни малейших следов раздражения или хотя бы удивления этим допросом. Казалось, он был способен так же

спокойно, монотонно отвечать всю жизнь, о чём бы его ни вздумали спрашивать.

А Доллас, подумав, сказал:

— У вас ещё все впереди.

— Надеюсь, сэр.

— Если будете хорошо работать, у вас будет много денег.

— Может быть, сэр.

— Об этом подумаем мы.

— Очень любезно, сэр.

— И сейчас там... — Доллас махнул куда-то в пространство, — вам понадобятся деньги.

— Возможно, сэр.

Доллас так же быстро и чётко, действуя, как солдат, выполняющий приказы «по разделениям», вынул

чековую книжку, перо и, написав чек, протянул его Паркеру.

— Банк Шрейбера, Гамбург.

— Слушаю, сэр.

— Вы не должны испытывать недостатка в деньгах.

— Благодарю, сэр.

— В Германии вы не увидите никого из нас.

— Понимаю, сэр.

— Обо всем, что я вам поручу, вы дадите мне знать письмом вот с таким знаком на конверте. Подписываться не надо.

Доллас торопливо нарисовал знак на корешке чека и тут же зачертил его.

— Прежде всего вы свяжетесь с

лицом, которое...

Паркер остановил его движением руки.

— Прошу, не здесь, — и он посмотрел на дверь.

— Я забыл, — сказал Доллас, — корабль немецкий.

— Даже если бы он был трижды американский.

Доллас набросил на плечи пальто и вышел на палубу. Паркер последовал за ним.

Там, склонившись рядом на поручни над видневшейся далеко внизу водой, они закончили разговор. Паркер ничего не записывал. Он только запомнил несколько адресов и одно-единственное имя: Вильгельм

фон Кроне.

От этого фон Кроне Паркер должен был получать сведения, интересующие Ванденгейма, но действовать при этом так, чтобы связь между Паркером и Кроне никогда и никем не могла быть обнаружена. Через этого же Кроне Паркеру предстояло передавать кое-что и тем руководящим немецким политикам, с которыми Ванденгейм найдёт нужным вступить в секретные сношения через головы Шрейбера и Шахта.

Перед тем как уйти, Паркер спросил:

— Когда вы отбудете из Европы, я должен буду сопровождать вас, сэр?

— Нет.

— Я останусь в Европе?

— Да... Полковник хорошо говорил о вас... Мы найдём вам дело...

— Я рад, сэр.

— Молодёжь страдает иногда превратным представлением о жизни, — отчеканил Доллас, словно диктуя параграф какого-то устава.

— Надеюсь, я правильно понимаю жизнь.

— Молодёжь гибнет из-за своего честолюбия...

— На нашей службе, сэр?

— ...или идеи.

— У меня нет идей, сэр.

— Убеждения?

— Я не принадлежу ни к каким партиям, сэр.

— А в прошлом?

— Никогда не было, сэр.

— Студентом?

— Я увлекался спортом, сэр.

Доллас разжал руки, которыми придерживал полы накинутаго на плечи пальто, и сделал ими неопределённое движение.

— У вас были когда-нибудь друзья коммунисты?

— Никогда, сэр.

Это была единственная фраза, которую Паркер произнёс с особенным ударением.

— От них все беды! — Доллас повернул востроносое лицо к

востоку, и его ноздри порывисто раздулись, словно он принюхивался. — Но рано или поздно мы с этим покончим.

— Я тоже так думаю, сэр.

— Правильно думаете, капитан. — И, помолчав, Доллас добавил: — Если вам понадобятся в Европе деньги, дадите знать.

— Благодарю, сэр.

Они ещё несколько минут молча стояли у борта под защитой стеклянного козырька, по которому монотонно барабанил дождь.

Внизу чернела исхлѣстанная ударами косого дождя вода; она, журча, обтекала высокие борта «Фридриха Великого», медленно

входившего в устье Эльбы. Дробясь в подёрнутом рябью глянце реки, все восемь рядов иллюминаторов отражались мутножелтыми расплывающимися пятнами.

Доллас прервал молчание:
— Желаю удачи!

Он покровительственно похлопал Паркера по плечу. Тот молча снял шляпу.

Когда маленькая фигура Долласа скрылась в осветившемся на мгновение квадрате двери, Паркер вернулся в свою каюту и принялся укладывать чемодан, то и дело с интересом поглядывая в иллюминатор, за которым, сквозь сетку дождя, виднелись огни

Гамбурга. Паркер ещё никогда не бывал в Европе.

Правда, как говорят, в Европе все хуже, чем в Штатах, и уж, во всяком случае, мельче, чем в Штатах, но посмотреть новое никогда не вредит. Ездят же, в конце концов, даже американцы осматривать Йеллоустонский заповедник со всякого рода окаменелостями. Вероятно, и тут, в Европе, все эти мелочи — что-нибудь вроде окаменелостей. Но поскольку эти древности представляют интерес для его боссов, то и ему самому будет полезно с ними познакомиться.

Паркер подошёл к иллюминатору. «Фридрих Великий»

уже вошёл в Гамбургский порт и двигался теперь мимо череды причалов с ошвартованными у них пароходами. Паркер сразу же обратил внимание на то, что это вовсе не так уж мало, как должно быть все это в этой маленькой Европе. Да и не производит впечатления древности. Набережные порта обросли кранами, словно джунгли деревьями. Пакгаузы складов велики и, кажется, заполняют территорию, которая сделала бы честь даже Нью-Йорку.

Но, может быть, все это лишь тут, на берегу, где не может не сказываться великое влияние великой Америки, чей великий дух оживляет костенеющую Европу. Если верить

врачам, нечто подобное происходит
ведь и с человеческим организмом:
ткани тела к старости костенеют,
теряют эластичность, и человек
может даже вовсе утратить
подвижность — скажем, перестать
ходить. Тогда необходимо
оздоровляющее вливание чего-то, что
способно разлагать соли старения.
Такое вливание совершает сейчас
Америка. Подкожное впрыскивание
золотого раствора долларовых
займов и прямых капиталовложений
помогает Европе, и в частности
Германии, бороться со склерозом,
который готов превратить эту
провинцию мира в заповедник,
подобный Йеллоустону... Вполне

возможно, что старушка Европа зазнётся от подобных вливаний, но до этого ему уже мало дела...

Однако смотрите-ка! «Фридрих» все идёт и идёт, а причалам ещё и конца не видно. Видно, эти немцы научились-таки кое-чему у американцев! Интересно знать, когда они это успели?

Задетый за живое неожиданной грандиозностью порта, Паркер надел шляпу и пошёл наверх, чтобы с палубы разобраться в неожиданном зрелище, представшем его взорам в Гамбургском порту.

А высоко над его головою, на той палубе, где он только что побывал, под защитой того же

стеклянного колпака, снова виднелась унылая фигура Долласа. Он зябко сжался, пряча голову в поднятый воротник пальто. Рядом с ним возвышалась массивная фигура Ванденгейма. Ветер раздувал огонёк на конце зажатой в его зубах сигары.

— За каким дьяволом вы меня вытащили на этот сквозняк? — недовольно проворчал Ванденгейм.

— Мне всюду чудятся уши.

Ванденгейм невольно огляделся.

— Выкладывайте, что у вас там есть.

— Насчёт ФДР, Джон.

— Франклин... Делано...

Рузвельт... — едва слышно, словно в глубокой задумчивости, проговорил

Ванденгейм. При этом глаза его утратили рассеянное выражение. Их взгляд стал тяжёлым и почти угрожающе впился в лицо Долласа, удивительно напоминавшее в полутьме злую мордочку хорька.

— Говорите же... — понизив голос, повторил Ванденгейм. Он вынул изо рта сигару и наклонился к самому лицу Долласа. — Ну?..

Доллас ещё глубже втянул голову в воротник пальто.

Ванденгейм едва разбирал слова:

— Мы можем... послать телеграмму... Герберту...

— Говеру?

— Пусть действует...

Огонёк сигары, брошенной
Ванденгеймом, исчез за бортом, и
его большая рука тяжело опустилась
на плечо Долласа:

— Тсс!.. Вы!..

В комнате царила томительная тишина. Слышно было, как шелестят листы досье, которое гневно перелистывал Геринг, да его все учащавшееся дыхание.

За спиною Геринга стоял Вильгельм Кроне. На нем была чёрная форма эсесовца с нашивками штурмбаннфюрера. В наружности Кроне не было ничего примечательного. Вероятно, в перечне примет, какие составляются в личных досье тайной полиции, против графы «лицо» стояли бы слова «чисто обыкновенное, без отметин». Нос его был тоже

«обыкновенный», по сторонам его сидели такие же обыкновенные глаза — ни большие, ни маленькие, ни тёмные, ни светлые. Даже их окраска не сразу поддавалась определению, но скорее всего они были серыми, хотя временами, когда он поворачивался к свету, в них и можно было найти признаки лёгкой голубизны. Темнорусые волосы, не короткие, не длинные, были расчёсаны на пробор, какой носят миллионы немцев по всей Германии, — обыкновенный ровный пробор. Человек, взглянувший на этот пробор, через минуту забывал, с какой стороны он расчёсан, — с правой или с левой. Он не был ни

особенно тщательным, ни сколько-нибудь небрежным.

Заметными в Кроне были только руки с длинными нервными пальцами. Такие пальцы бывают у шуллеров, карманников и тонких садистов.

Одним словом, если не считать рук, весь Кроне с ног до головы был «обыкновенным, без особых примет».

Из-за спины Геринга Кроне видел его широкий, коротко стриженный затылок и розовую складку шеи, сползавшую на тугую белизну воротничка. Он видел, как по мере чтения досье шея министра делалась темней, как кровь

прилиwała к ней. Наконец и затылок стал красным.

Кроне заглянул через плечо Геринга: толстые пальцы министра, вздрагивая от раздражения, держали за угол вшитую в досье листовку с призывом бороться за оправдание и освобождение обвиняемого в поджоге рейхстага болгарского коммуниста Димитрова.

Воззвание было подписано:

«От имени германского антифашистского пролетариата, от имени нашего заключённого вождя товарища Тельмана — Центральный комитет Коммунистической партии Германии».

По нетерпеливому движению

головы Геринга Кроне понял, что тот снова перечитывает воззвание, и мысленно усмехнулся. Он не завидовал полицейскому чиновнику, стоявшему по другую сторону стола.

— «Именем Тельмана»? — негромко, с хрипотою, выдававшей сдерживаемый гнев, проговорил, ни к кому не обращаясь, Геринг.

Чиновник растерянно повёл было глазами в сторону Кроне, но тотчас же снова уставился на министра.

— Послушайте, вы! — крикнул Геринг, ударяя пухлой ладонью по листовке. — Я вас спрашиваю: что значит «именем Тельмана»?

— Но... экселенц...

— Почему они подписывают свои листовки именем человека, который уже полгода сидит в тюрьме?

— Не... не знаю... экселенц...

— А кто знает?.. Кто? — Геринг поднялся, опираясь руками о стол, и, ссутулив спину, смотрел на чиновника налившимися кровью глазами. — Может быть, они согласовывают с ним содержание этих воззваний?

— О, экселенц! — воскликнул чиновник. — Тельман содержится в абсолютной изоляции, на режиме... приговорённого к смерти.

— Какой прок в вашем режиме, если коммунисты не считают

Тельмана похороненным?

— Но, смею сказать, экселенц, сделано все, чтобы тюрьма действительно стала для него могилой!.. Мы не снимаем с него наручников даже на время обеда, вопреки тюремному уставу.

— Плюю я на ваш устав! — взревел Геринг. — Вы с вашим уставом довели дело до того, что Димитров выходит на процесс так, как будто пробыл полгода в санатории, а не в тюрьме!

— Но вам же известно, экселенц, в каких условиях он содержался.

— Вы обязаны были вовремя дать мне знать, что этого

недостаточно.

— Он был лишён прогулок... Наручники не снимались даже для писания заявлений следователю.

— Мало!

— Я назначал ему строгие наручники, экселенц! В них нельзя пошевелить руками. В них человек через месяц сходит с ума. Мы же не снимали их с Димитрова три месяца!..

Геринг сделал вид, что с досадою зажимает уши, потом, с безнадёжностью махнув в сторону чиновника, сердито проговорил:

— Неужели вам мало тех примеров служебного рвения, которые столько раз показывали

наши молодцы-штурмовики, когда арестованные совершали попытку к бегству?

— Но Тельман ни разу не пытался бежать.

— Так сделайте, чтобы попытался!

— Мы постараемся, экселенц.

Геринг швырнул папку чиновнику:

— Запомните: нам не нужны люди, которых надо учить!

Чиновник склонил голову:

— Экселенц...

— Если коммунисты будут иметь возможность действовать именем Тельмана, я спрошу с вас!.. — Геринг обернулся к Кроне:

— Хотя бы вы взяли это дело на себя. Я уверен, вы придумали бы что-нибудь! — Он кивнул чиновнику: — Идите... Если вы окажетесь банкротом, я действительно поручу это дело господину фон Кроне. Он покажет вам, как нужно работать!

— Надеюсь справиться, экселенц. — Чиновник щёлкнул каблуками.

— Послушайте, вы! — спохватился Геринг. — Не натворите чего-нибудь... неподобающего. Не то снова подымутся крики, что мы убийцы. На это можно было наплевать, пока вы действовали как штурмовик. Но теперь, когда вы чиновник правительства, нужно

работать тонко и чисто.

— Я вас понял, экселенц!

Когда дверь за чиновником затворилась, Геринг встал, взял стоявшую на столе большую пёструю коробку и протянул её Кроне.

— Курите! Эти папиросы прислал мне болгарский царь. Наверно, хороши!.. — Он прошёлся у стола. — Если бы вы знали, милый Кроне, как трудно работать, когда узда приличий заставляет думать о том, что можно и чего нельзя.

— Да, это очень стеснительно, экселенц.

Геринг шумно вздохнул:

— Если бы я знал наверняка, что думают по этому поводу по ту

сторону канала!

— Вас беспокоят англичане? —
Кроне пренебрежительно скривил
губы.

— Если бы вы были на моем
месте, Кроне, они беспокоили бы и
вас. Насчёт американцев-то я
спокоен, — уверенно проговорил
Геринг. — Они достаточно деловые
люди, чтобы понимать: до тех пор,
пока не уничтожены живые носители
коммунистической идеи, янки не
могут быть спокойны за деньги,
вкладываемые в оздоровление нашей
промышленности...

— Вы совершенно правы,
экселенц, — проговорил Кроне. —
Янки трезвые люди... Впрочем,

говоря откровенно, я думаю, что и англичане достаточно реалисты.

— Знаете что? — Геринг сделал глубокую затяжку. — Если бы вы могли выяснить, что думают на этот счёт англичане...

— Думают или подумают?

Геринг расхохотался:

— Вы золотой человек, Кроне, сущее золото! Если бы у нас было побольше таких голов... Попомните моё слово: вы сделаете карьеру... держитесь около меня.

— Меньше всего я думаю о карьере, экселенц.

— Ого! Такие ответы не часто приходится слышать от наших людей! — Возвращаясь к прежней

мысли, Геринг вдруг спросил: — А что же, по-вашему, делать с Тельманом? Печать разных стран проявляет слишком много интереса к его фигуре.

— И чем дальше, тем этот интерес делается назойливей, — заметил Кроне.

— Если не пресечь его источник?..

Геринг остановился напротив собеседника, широко расставив толстые ноги и заложив руки за спину. Наклонив голову, он выжидательно смотрел на Кроне.

Тот заговорил негромко:

— Подумайте, экселенц, какое впечатление произвело бы на мир...

отречение Тельмана!

Геринг вынул изо рта папиросу. Веко над его левым глазом нервно дёргалось.

— Отречение... Тельмана?

— Что же невероятного, экселенц? — Кроне пожал плечами. — Вы же вполне удачно проделали это с Торглером.

— Торглер!.. Но чего вы рассчитываете добиться от Тельмана?

— Разве вы не намерены после процесса Димитрова организовать процесс Тельмана? Разве вам не нужно доказать, что коммунисты замыслили государственный переворот и работали на Москву?

— Конечно!

— Так пусть же Тельман предоставит вам возможность защищать его от этого обвинения. Пусть он только не мешает нам самим доказать, что вся его борьба с нами была ошибкой. И следующим его неизбежным шагом будет приход к нам!

— Тельман?.. — с сомнением покачал головою Геринг.

— Разве не таков был путь многих социал-демократов? Да что говорить, когда перед нами даже пример бывших коммунистов: Рут Фишер и Маслова в Германии, Дорио и Деа во Франции? Наконец Троцкий!

— Честное слово, это мне нравится... хотя и кажется почти неисполнимым.

— Вы сами должны побывать у него.

— Я?.. У него?..

— Вы!

Геринг вернулся к своему креслу и грузно опустился в него.

— Вы отдаёте себе отчёт, Кроне: я — в камере Тельмана?!

Геринг долго смотрел на Кроне, подперев голову кулаком.

— Из этого ничего не выйдет, Кроне, — уныло проговорил он наконец.

— Посмотрим! Тельману следует показать, что будет, если он

не внемлет вашему голосу.
Подземная камера без света, в
которой можно только лежать, не
блестящая перспектива.

— Мы уже пробовали. Он
объявил голодовку.

— Примените искусственное
питание, но заставьте его
почувствовать, что такое могила.
Пригрозите продержать его на
искусственном питании столько
времени, сколько человек может
выжить без света. Посмотрим,
откажется ли он после этого слушать
вас!

Мутные глаза Геринга
оживились.

— Пожалуй, Кроне, это

покрепче того, что мы делали до сих пор... Но пока он выдерживал все. Из чего они сделаны, эти коммунисты?.. Они не такие же люди, как мы, Кроне.

— Другие, экселенц...

— Другие?.. Пока я буду занят на лейпцигском процессе, его заставят до конца понять, что значит быть похороненным заживо! Я сломя его! Сломя, чего бы это ни стоило!..

Геринг сжал кулак и хотел ударить по столу, но движение вышло вялым, лишённым силы. Голова его стала клониться на грудь. Он поднял на Кроне помутившийся взгляд.

— Извините... я... на минуту...

Он с усилием встал и, волоча ноги, поплёлся к маленькой двери в дальней стене кабинета.

Кроне сквозь дым папиросы посмотрел на широкую ссутулившуюся спину Геринга. Закинув ногу на ногу, он пустил к потолку несколько правильных колец дыма и, прищурившись, следил за тем, как кольца поднимались, делались все шире, расплывчатеи, потом тонкой стремительной струйкой пронзил сразу несколько колец. Ещё мгновение полюбовался тем, как они расходятся в неподвижном воздухе, и ленивым движением руки разогнал дым.

Его взгляд остановился на

маленькой двери, за которой скрылся Геринг. Почему-то с особенной яркостью стояла перед глазами его спина: ссутулившаяся, во внезапно обвисшем, ставшем непомерно широким, как пустой мешок, мундире... Странно, как это раньше Кроне не приходило в голову: ведь сама судьба даёт ему в руки могучее средство воздействия на психику Геринга. Разве нет на свете каких-нибудь более совершенных наркотиков, чем кокаин, которым злоупотребляет «наци No 2»?.. Разве нельзя прибрать его к рукам, дав ему нечто, от чего наркоману так же трудно отказаться, как от опия человеку, втянувшемуся в этот

порок?..

Эта неожиданная мысль так увлекла Кроне, что он даже забыл о папиросе, и столбик пепла рос на ней, грозя вот-вот обвалиться на брюки Кроне. Мысль о том, что нужно немедленно написать кое-кому, потребовать присылки самого сильного и затягивающего наркотика, какой только существует, давать этот наркотик Герингу такими дозами, чтобы постоянно держать его в зависимости от себя, не открывая ему ни названия, ни источника яда... Да, это может оказаться более крепкой цепью для министра, чем даже золото, которое он так любит, но которое ему может дать всякий, у

кого его больше, чем у тех, на кого работает Кроне...

Когда Геринг вернулся, его поступь снова была твёрдой. Он держался прямо, его движения были театрально широкими.

Хотя Геринг понимал, что Кроне отлично знает, зачем он уходил, тем не менее он сделал вид, будто тот ничего знать не может:

— Заработался я, милый Кроне, начались головокружения... переутомление... Итак?..

— Ещё одну минуту, экселенц. Не кажется ли вам, что с Беллом пора кончать?

Геринг порывисто откинулся в кресле.

— Вы с ума, сошли!..

— Ничуть.

— Белл — моя личная связь с Гевелингом.

Кроне мог бы ответить, что он знает все: и то, что подозрительный авантюрист Белл нужен Герингу не столько в качестве «связи» с английским нефтяным магнатом Гевелингом, сколько в качестве источника получения средств на личные расходы генерала, выходящие за пределы государственных ассигнований; отлично знает, что именно он, Белл, был организатором огромного мошенничества с подделкой советских червонцев, которое должно было сделать его

участников миллионерами, но совсем некстати было раскрыто, знал многое другое из тёмного прошлого и настоящего господина министра внутренних дел Пруссии. Но вместо всего этого он только скромно сказал:

— Знаю.

— Так какого же чорта!

— Эта линия связи становится опасной.

— Я не имею другой.

— Если Гевелингу будет нужно, он найдёт её и без Белла.

Всегда самоуверенное лицо Геринга отражало сейчас растерянность.

— Это ужасно, Кроне... Белл

вполне мой человек.

— Вы уверены? —
многозначительно произнёс Кроне.

Геринг встревоженно подался корпусом к собеседнику:

— Что-нибудь узнали?

Но Кроне уклончиво ответил вопросом на вопрос:

— Что он знает о поджоге?

Геринг потёр висок, как бы вспоминая:

— Вы думаете, он?..

Кроне кивнул:

— Болтает лишнее!

Геринг снова встал из-за стола и в волнении прошёлся.

— Тем не менее он может мне ещё понадобиться.

— Но значительно раньше он наделает вам уйму хлопот.

Геринг вскинул на собеседника взгляд, в котором можно было прочесть тревогу, смешанную с неприязнью.

— Что же вы предлагаете? — нехотя спросил он.

Кроне пожал плечами, как бы желая сказать: «Словно вы сами не знаете».

Геринг взял в руки лежавший на столе хрустальный шар и в задумчивости погладил его поверхность. В хрустале отразилось его лицо, растянутое в стороны так, что оно утратило человеческий облик. Несколько мгновений Геринг

удивлённо смотрел на этого урода с непомерно раздувшимися щеками, потом покосился на Кроне и с отвращением отодвинул шар.

— Делайте. Только... не нашими руками.

— Разумеется.

По мере того как беседа удалялась от официальных тем, в тоне Кроне исчезали нотки почтительности.

— Все? — помолчав, спросил Геринг.

— Ещё одно небольшое дельце: вам не следует принимать у себя этого «прорицателя» Гануссена.

Геринг развёл руками и поднял плечи.

— Честное слово, Кроне, вы скоро создадите вокруг меня пустоту. Чем вам помешал Гануссен?

— Он пророчествует только в тех случаях, когда имеет надёжную предварительную информацию.

Геринг рассмеялся:

— Тем вернее его предсказания!

— Было бы лучше, если бы они не так точно сбывались... Вспомните, как он предсказал пожар рейхстага и как это использовали наши враги.

— Да, вышло не совсем хорошо.

— А если я вам скажу, что теперь он предсказывает казнь болгарских коммунистов?..

— Он недалёк от истины.

— Но если учесть, что международные круги и тут свяжут его с вами?

— Это действительно лишнее... Пожалуй, спиритические сеансы Гануссена пора прекратить.

— Вот и все мои дела, — сказал Кроне.

Он поднялся, намереваясь откланяться, но Геринг его остановил.

— Пойдите-ка сюда, Кроне! — Геринг с видом заговорщика поманил Кроне к стоявшей в нише витрине с альбомами, на крышках которых были изображены гербы прусских городов. Это были подарки магистратов своему министру

внутренних дел. Геринг отпер горку и показал Кроне на огромный альбом с художественно выполненной на фарфоровом переплёте эмблемой Любека.

— Ну-ка, берите!

Кроне не без труда вынул из витрины тяжёлый альбом, замкнутый массивною золотою скобой, которую Геринг отпер своим ключом.

— Ну-ка, ну-ка! — торопил он Кроне, но видя, что тот медлит, сам откинул крышку. Вместо панорамы Любека, которую ожидал увидеть Кроне, ему предстала порнографическая картина.

Геринг с хриплым смехом переворачивал толстый картон

альбомных листов.

— Каково?.. А вы ведь, наверно, думали, что и это — «почтительнейшее» подношение! Нет, мои молодцы взяли это при аресте бургомистра, которому было больше семидесяти лет, а?!

Геринг водрузил альбом на место и тщательно замкнул витрину.

— Каково, а! — повторил он, протягивая на прощание руку. Кроне почувствовал в своей ладони горячие, вспотевшие пальцы.

На месте исчезнувшего за дверью Кроне бесшумно выросла фигура адъютанта.

— Свидетели по делу о пожаре, экселенц, — доложил он, подавая

список.

Под первым номером значилось: «Профессор доктор Поссе. Эксперт по пожарам».

Геринг исподлобья уставился на несмело вошедшего тощего старика и, не здороваясь, усадил его в кресло повелительным движением руки. Поссе в страхе глядел на министра; его руки лежали на коленях, словно силясь остановить дрожание складок отутюженных полосатых брюк. Геринг взял одну из лежавших на столе папок. В ней были фотокопии с черновых набросков, которые делал для себя Димитров, готовясь к процессу. Геринг нашёл список свидетелей обвинения с пометками

Димитрова. Это были лаконичные, но исчерпывающие характеристики.

«Леберман — вор и морфинист; Кунцак — вор и преступник против нравственности; Вилле — фальшивомонетчик; Вебер — взяточник; Гроге — психопат...»

Геринг посмотрел на сидевшего напротив него старика и подумал: «Интересно, что написал бы Димитров об этом...»

— На допросе ван дер Люббе показал, что он бегал по залу рейхстага с куском горячей занавески. Может ли это иметь значение? — спросил Геринг у Поссе.

— Никакого.

— По-вашему, занавеской нельзя поджечь дом? — с нескрываемым неудовольствием сказал Геринг.

— Поджечь можно даже спичкой! Но поджечь — не значит сжечь, — сказал старик и, подумав, добавил: — Вообще ход мыслей ван дер Люббе мне непонятен. Ведь если бы он действительно хотел устроить пожар, то не стоял бы с факелом на балюстраде, не бегал бы с ним мимо окон и вообще не стал бы вести себя так, словно хотел привлечь к себе всеобщее внимание, и в первую очередь, внимание пожарных. Одним словом... мне кажется...

Поссе хотел сказать, что, по его мнению, ван дер Люббе вёл себя, как

последний идиот, что кто-то подучил его сделать все, чтобы привлечь внимание публики к залу рейхстага, которого он не мог поджечь. Но под устремлённым на него тяжёлым взглядом Геринга старик говорил все медленней, тише и, наконец, умолк совсем.

— Может быть, — насмешливо проговорил Геринг, — вы и вообще не уверены в том, что ван дер Люббе хотел поджечь рейхстаг?

— Совершенно верно.

Геринг захлопнул папку, и его широкая мясистая ладонь тяжело легла на обложку.

— Вы плохой эксперт, господин Поссе... — в голосе министра снова

появилась хрипота, как при разговоре с тюремным чиновником, — предлагаю вам: не позже завтрашнего дня представить точное описание действий, какие, по вашему мнению, должен был бы совершить ван дер Люббе, чтобы поджечь рейхстаг один, без помощников.

— Экселенц... — попробовал было возразить старик, но Геринг перебил:

— Да не забудьте, что все предварительные приготовления были сделаны тремя болгарскими и Торглером: горючие вещества и все такое...

— Господин министр!..

Геринг не слушал:

— Завтра в двенадцать вы представите мне записку на утверждение. Потом я прикажу вас допустить к заключённому ван дер Люббе, чтобы вы могли его проинструктировать.

— Господин министр... — заикаясь, в отчаянии пролепетал Поссе, но Геринг даже не остановился.

— Я делаю вас ответственным за эту часть показаний ван дер Люббе.

Поссе привалился к спинке кресла и закрыл глаза. Геринг нажал звонок.

— Следующего!

Старика под руки вывели из кабинета.

Геринг принял суровый вид, готовясь встретить очередного свидетеля, но в кабинет поспешно вошёл адъютант:

— Господин рейхсминистр Гесс!

Гесс появился, не ожидая приглашения, и жестом отослал адъютанта. Бегающий взгляд его маленьких, глубоко запавших глаз насторожённо, но как бы мимоходом, остановился на Геринге, по хмурому выражению лица которого нельзя было сказать, что появление Гесса доставляет ему удовольствие.

Он выжидательно молчал.

Гессу пришлось заговорить

первым:

— Фюреру не нравится возня, которую вы с Геббельсом затеяли вокруг болгар.

— Не нравится фюреру... или вам? — иронически спросил Геринг.

Гесс повторил с ударением:

— Фюреру не нравится...

Но Геринг не дал ему договорить и раздражённо крикнул:

— Вечно вам что-нибудь не нравится!

Гесс презрительно усмехнулся:

— Где ваша былая хватка, Геринг?

Геринг молча вытянул руку, и его кулак угрожающе сжался. Но на Гесса этот жест не произвёл

никакого впечатления.

— Поймите: на процессе мы должны схватить за горло не этих болгар, не Торглера...

Геринг, хвастливо ударив себя по карману, перебил:

— Этот у меня уже вот здесь!

— ...Не Торглера, а коммунистическую партию! И не только коммунистов Германии, а всех, во всей Европе, во всем мире! — Гесс угрожающе надвинулся на Геринга. — Фюрер вам не простит, если вы провалите процесс!

Геринг обеими руками упёрся в стол и оттолкнулся от него вместе с креслом.

— О чем вы думали раньше,

когда я предлагал перестрелять их всех, прежде чем они улизнули в подполье?!

Но Гесс внезапно переменял тон и спокойным, неторопливым голосом проговорил:

— Я привёз субъекта, которого вы сами давно могли вовлечь в это дело.

Геринг отёр лоб, покрывшийся крупными каплями пота.

— Кого ещё? — процедил он сквозь зубы.

— Помните Карнаве?

— Депутат рейхстага?

— Бывший коммунист. Суд может его допросить в качестве свидетеля. Публика поверит тому,

что он знает программу и систему борьбы коммунистов.

— Таких типов у меня самого сколько угодно, — похвастал Геринг.

— Погодите, — остановил его Гесс. — Александер говорил с Седовым. Троцкий ручается за Карнаве. Он покажет под присягой, что коммунисты замыслили вооружённый переворот. Покажет, будто поджоги и покушения на руководителей германского государства стояли в их плане.

— Вы... говорили уже с Карнаве? — недоверчиво спросил Геринг.

— Да.

— И он действительно согласен

рассказать на процессе все это?..

— Все, что мы прикажем!

Геринг прошёлся по кабинету,
потирая висок.

— Давайте его сюда!

Выйдя из подземки у Штеттинского вокзала, Рупп остановился. Он не знал, куда повернуть — налево или направо. Он сделал вид, будто рассматривает журналы, развешанные на газетном киоске, и подождал, пока мимо него не прошёл Лемке. Пропустив его настолько, чтобы не потерять в толпе, Рупп последовал за ним.

Лемке повернул направо, дошёл до угла и свернул в узкую Кессельштрассе. Это удивило Руппа. Он знал, что их цель — тюрьма Старый Моабит. Туда короче всего было бы пройти по

Инвалиденштрассе, до уголовного суда. Эту дорогу Рупп помнил по тому времени, когда ему приходилось ходить сюда с матерью, пытавшейся узнать судьбу его исчезнувшего отца. Это были ещё времена Брюнинга и Папена. С тех пор тут, кажется, ничего не изменилось: та же прямая стрела улицы, те же шупо на перекрёстках, тот же редкий поток автомобилей и пешеходов. Разве только вот штурмовики перестали ходить посреди улиц, топоча сапожищами и горланя песни. Они теперь смешались с толпою. Впрочем, от этого они не стали менее ненавистны Руппу. Он был убеждён, что именно они,

штурмовики, истинные виновники гибели его отца — берлинского рабочего-металлиста, примкнувшего ещё в 1918 году к спартаковцам.

Рупп все время боялся, что потеряет Лемке из виду, но, повернув за угол Кессельштрассе, к своей радости, сразу же увидел его неторопливо шагающим к Колонне Инвалидов. Здесь было меньше прохожих, и Рупп, следуя наставлениям Лемке, отстал ещё немного. Он ускорил шаги только тогда, когда Лемке, обойдя колонну, пересёк улицу Шарнгорста и, к ещё большему удивлению Руппа, вошёл в ворота кладбища.

Лемке не остановился в воротах

у будки привратника-инвалида, на ходу проверяя, нет ли за ним наблюдения. Неторопливыми шагами он углубился в лабиринт кладбищенских аллей. Там он, наконец, остановился и сделал Руппу знак подойти.

— Ну что, малыш, — ласково сказал он, кладя руку на плечо юноши. — Не трусишь?

Рупп ответил укоризненным взглядом.

Лемке обнял его за плечи, и они пошли дальше вместе.

Рупп вслух читал надписи на памятниках. Многие имена были ему знакомы по учебникам истории. Одни хорошо — как Шарнгорст или

герой всех гимназистов воздушный ас Рихтгофен, другие — смутно, как Шлиффен.

Но именно около его-то памятника Лемке и остановился.

— Ты немец, Рупп?

— Конечно!

— А что ты знаешь о Шлиффене? Почему ему воздвигли памятник?

Рупп смутился. Он не знал.

— Памятник Шлиффену воздвигли немецкие генералы. Он показал им путь, которым можно ворваться во Францию... Так же шайка разбойников могла бы поставить памятник наводчику, который отыскал в доме соседа

незапертую форточку.

Рупп смотрел на длинное лицо фельдмаршала-наводчика. Большие пролысины надо лбом, тяжёлые мешки нижних век и мёртвый взгляд бронзовых глаз. Вокруг рта бронза застыла безглаголющей складкой. Короткий подбородок был заносчиво вздёрнут над непомерно высоким воротником.

— Запоминай их лица, мальчуган, — сказал Лемке. — В крови, пролитой этими людьми, в крови, которую ещё прольют их ученики, следуя примеру учителей, можно было бы потопить Берлин!..

Они вышли к набережной канала. Лемке опустился на скамью

и некоторое время молча созерцал поверхность воды.

На том берегу канала виднелась подёрнутая серою осеннею мглою верфь, левее шпицы музея терялись в ползущем над городом сером тумане. За его пеленою дом казался огромным и почти черным; его очертания были словно смытые контуры рисунка.

Лемке спросил:

— Ты любишь Берлин?

Рупп ответил не сразу:

— Почему ты спрашиваешь?

— Ты услышишь иногда, что наш Берлин — хмурая каменная громада, безвкусная смесь казарм и памятников курфюрстам, город-

выскачка среди почтенных, убелённых славными сединами европейских столиц. Берлин называют гнездом милитаризма и международного разбоя.

Рупп нагнулся, чтобы заглянуть в лицо Лемке. Тот говорил, продолжая глядеть в воду канала:

— К сожалению, некоторые немцы сделали слишком много для того, чтобы это считать правдой. Но мы знаем, что это не вся правда о Берлине. Кроме Замка и Бранденбургских ворот, кроме Тиргартена с особняками миллионеров и Аллеею Победы, в Берлине есть ещё Веддинг, и Нейкельн, и Панков с миллионами

таких немцев, как мы с тобой, как наши отцы и наши деды. И Сименсштадт, построенный руками таких же, как мы, где работают тысячи таких, как мы. Кроме памятников генералам, в Берлине стоят памятники Гельмгольцу и Шиллеру, Гёте и Коху. Это другой Берлин, с его людьми и домами, с заводами и памятниками, с его садами и тихими кладбищами, на которых лежат наши отцы... Этот Берлин наш. — И участливо добавил: — И таким пропавшим без веста, как твой отец, мы поставим памятник. Большой памятник жертвам гитлеровской тирании!

Рупп вздохнул.

— Ты сомневаешься? —
спросил Лемке.

— Нет, но...

— Верь мне: это будет!

— Ты же знаешь, Франц, я тебе верю, но... правильно ли это — увековечивать могилы, даже такие, о которых ты говоришь?

— Разве мы с тобою не знаем могил, которые достойны того, чтобы сохраниться навеки? Есть могилы, которые человечество будет оберегать тем тщательнее, чем выше будет становиться культура, чем больше вширь по белу свету и чем дальше в глубину народных масс будет проникать свет коммунизма. Разве уже сейчас мы не знаем двух

таких могил, близких сердцу людей, разбросанных по всему земному шару? Вспомни могилу на Хайгетском кладбище в Лондоне. А мавзолей на Красной площади в Москве? Я напому тебе слова Энгельса, которыми он навеки проводил своего друга и старшего соратника: «14 марта перестал мыслить величайший из современных мыслителей...»

— Да, — горячо воскликнул Рупп, — такого успеха, какого достигло воплощение его идей в Советском Союзе, не знал ещё ни один мыслитель до него!

— Это верно. Именно там, в России, оказались продолжатели его

дела. Там дело Маркса в верных руках. Там его идеи развиваются, находят воплощение в жизни, оттуда они вернутся и сюда, на родину великого учителя человечества, придут и туда, где покоится его прах... Скорей бы! Если бы был свободен Тэдди. Ты помнишь Тэдди, малыш?

— Он только однажды ночевал у нас. Я тогда и не знал, что это Тельман. — Помолчав, Рупп в задумчивости продолжал: — Должен тебе признаться, Франц, что и теперь ещё я как-то не до конца поверил тому, что тот простой рабочий, такой же, как мой отец, простой гамбургский рабочий Тэдди, и вот

этот огромный человек, секретарь ЦК нашей партии...

— Нашей?.. — с улыбкой прервал Лемке.

— Да, нашей. Именно нашей! — твёрдо повторил юноша. — Позволь мне уже так говорить... Я хотел сказать: мне иногда просто не верится, что тот наш Тэдди и этот товарищ Тельман — один и тот же человек.

— Именно в этом его сила, Рупп: рабочий и руководитель.

— Руководитель... большое слово!

— Отличное слово, мальчик. Сила этого слова в том, кто дарует человеку это высокое звание. Сила

этого слова в народе. Если оно не получено от народа, за него нельзя дать и пфеннига.

— Пфеннига!

— Разве мало было и сидевших на настоящих тронах и воображавших себя королями в сумасшедших домах, которые одинаково безуспешно именовали себя вождями своих народов? Одни из них кончали смиренной рубахой, другие — эшафотом. Народ не хочет иметь дела ни с королями, ни с безумцами. Он хочет иметь своих руководителей. Только их он признает, их слушает, им верит.

— Я думаю, Франц, что и на таких подлых безумцев, как Гитлер и

Муссолини, народ наденет когда-нибудь смирительную рубашку.

— На них и на всех им подобных, нынешних и будущих. И не рубашку, дружище, а петлю!

— Только бы эти негодяи не успели истребить всех борцов за свободу.

Франц рассмеялся:

— Можешь не бояться. При всем кажущемся могуществе этих правителей они только жалкие злобствующие пигмеи. Они больше всего на свете боятся народа и его учителей.

— Слишком дорого эти пигмеи обходятся народам.

— В Германии есть такие люди,

как Тельман. Есть и будут, пока жив наш немецкий народ. А он не умрёт. Перед ним широкая дорога вперёд, в будущее, по следам русских. Наш народ переживёт гитлеров. Переживёт! Этому учит нас партия.

Они помолчали. Рупп мечтательно проговорил:

— Поскорей бы мне подрасти! Так хочется быть настоящим членом партии!

Это прозвучало совсем по-мальчишески.

— Комсомольцы — наши младшие братья, — утешил Лемке. — Можешь гордиться этим званием!

— Хотелось бы стать партийным функционером.

— Это не даётся как почётный титул.

— Я заслужу!

— Его зарабатывают не речами, а у станка, среди таких же рабочих, как мы с тобой.

— А ты долго был простым рабочим, Франц?

— Был и остался, сынок.

— Я хотел сказать: ты долго пробыл у станка, ещё не зная, что будешь функционером?

— Да... постоял!

— Счастливец! — со вздохом сказал Рупп. — Не каждый начинает свой путь рядом с такими, как Тэдди. Тебе чертовски повезло.

— Ты прав, мальчик... — Франц

запнулся, словно какой-то клубок в горле помешал ему говорить, — но только впоследствии начинаешь понимать, какое значение в твоей жизни имело то, что такой человек, как Тельман, поставил тебя на рельсы... Бывало он забежал к нам в мастерские Гамбургского порта и давал задание с таким видом, будто рассказывал забавную историю. У нас не было тогда даже конспиративной квартиры, а в каждой пивной сидело по шпику... И вот бывало слушаешь Тельмана, а с фрезы нельзя глаз спустить... Он сам всегда говорил нам: никаких промахов в работе, чтобы комар носу не подточил; чем чище твоя рабочая

книжка, тем лучше ты
законспирирован!

— И я буду хорошо работать,
Франц! Пока партия сама не скажет:
а ну, Рупп, ты нам нужен!

— Если бы твой отец слышал
эти слова! Он гордился бы тобою.

— Я верю тому, что он ещё
узнает!

— Если только он жив... Ты и
твои товарищи откроете перед ним
двери лагеря... Люби немецкий
народ, Рупп, верь в его силы и
совесть.

— Я знаю, не все же немцы —
наци.

— Даже если наци будет
вдесятеро больше, и тогда, Рупп, мы

будем бороться и верить в победу. — Лемке крепко обнял юношу за плечи и прижал к себе. — Бороться до конца, как учил нас Тэдди. И, можешь мне поверить, победа будет нашей!

Рупп обвёл быстрым движением руки расстилавшуюся перед ним панораму города.

— Клянусь: я буду бороться!

Лемке пожал руку юноши.

— Посиди. Я сейчас вернусь.

Он не спеша скрылся за поворотом аллеи. С серого гранита одного из надгробий на него смотрел бронзовый горельеф грубой фельдфебельской маски. Под маской стояло: «Фельдмаршал Эйхгорн

погиб в 1918 году в Киеве (от бомбы большевиков)». Лемке усмехнулся. По странной игре судьбы именно в надгробии этого палача Украины нашёлся тайник, служивший одним из передаточных пунктов для нелегальной почты коммунистов-подпольщиков Берлина.

Лемке быстро огляделся, достал из щели между бронзовой доской и гранитом маленький пакет и с независимым видом праздного гуляки пошёл прочь.

Лишь убедившись в том, что его никто не может видеть, даже Рупп, Лемке развернул пакетик и достал его содержимое — две обыкновенные пачки сигарет. Он

внимательно осмотрел их и одну пачку бережно завернул снова, а из другой высыпал сигареты в карман, а обёртку, подняв к глазам, стал разглядывать на свет, то и дело косясь по сторонам. Потом тщательно разорвал тонкий картон на мелкие куски.

После этого он, не оглядываясь, пошёл обратно к Руппу.

Осень в том году была ранняя. Деревья давно пожелтели, и листва их, несмотря на усилия сторожей, густо устилала дорожки кладбища. Лемке с удовольствием прислушивался к мягкому шуршанию листьев под ногами. От этого

умиротворяющего шелеста, от податливости, с которой каблук погружался во влажный песок дорожки, на душе становилось спокойно. Минутами даже забывалось, зачем он пришёл на кладбище, забывалось о возможной слежке. Впрочем, Лемке был уверен, что возможность слежки почти исключена: положение его было вполне легально и надёжно законспирировано. Его незаметная фигура не должна была служить предметом особого внимания тайной государственной полиции. Он мог спокойно участвовать в передаче Тельману вестей о том, что весь прогрессивный мир, все

свободомыслящее человечество борется за его освобождение.

Уже больше полугода вся прогрессивная пресса мира, едва ли не ежедневно, уделяла внимание аресту и заточению Тельмана. Больше полугода немецкие рабочие испещряли вагоны, заборы, стены домов и фабричные трубы Берлина, Гамбурга, Бохума, Дюссельдорфа и других промышленных центров Германии настойчивым кличем: «Свободу Тельману!»

«Свободу Тельману!» — кричали листовки германской компартии.

«Свободу Тельману!» — провозглашал на весь мир передатчик «Свободная Германия».

«Свободу Тельману!» — так начиналось каждое сообщение международного объединения юристов.

«Свободу Тельману!» — говорилось в каждом листке, который летел в немецкие машины, участвовавшие в международных автомобильных гонках.

«Свободу Тельману!» — появлялось за ночь на бортах немецких пароходов, заходивших в иностранные порты. Утром капитаны этих судов сами наблюдали за тем, как матросы соскабливали засохшую нитрокраску так, чтобы не оставалось следов.

«Свободу Тельману!» — писали

изо дня в день Драйзер в Америке, Нексё в Дании, Манн в Англии, писатели-антифашисты Европы, Америки, Азии.

Во Франции Ромен Роллан писал: «Тельман для нас не только мужественный, честный, искренний человек, каким он всегда был. Он стал для нас символом ещё подавленного, но непобедимого пролетариата — победителя завтрашнего дня. Он знамя интернациональной борьбы».

Да, так оно и было: имя Тельмана стало знаменем борьбы за свободу народов, за права человека, против фашизма и насилия.

В СССР Горький писал: «Позор

для Германии то, что вождь германских рабочих Эрнст Тельман содержится в тюрьме. Я надеюсь, что представители культуры, науки и искусства во всем мире поднимут свой голос для протеста против бесчеловечного обращения с Тельманом, против подготовки юридического убийства».

Не было на свете языка, на котором Гитлер и Геббельс не получали бы протестов против ареста Тельмана. Не было языка, на котором в берлинскую тюрьму Старый Моабит не пришёл бы на имя Тельмана призыв к бодрости.

Вот уже полгода, как Старый Моабит стал не менее знаменит, чем

Бастилия.

И вот уже несколько месяцев, как печальная слава Старого Моабита удвоилась: мир узнал, что в его стены гестапо перевело ещё одного узника. Его имя также изо дня в день повторялось левой прессой мира; его имя с ненавистью произносили фашисты. Это имя принадлежало болгарскому коммунисту, ставшему теперь символом борьбы за честь всего передового человечества, синонимом железной стойкости и верности делу рабочего класса. Это было имя Георгия Димитрова.

Ещё много месяцев назад, сразу после пожара рейхстага, фашистская юстиция намеревалась в ускоренном

темпе провести процесс. Нацисты хотели доказать виновность коммунистов в поджоге рейхстага, хотели свести на нет неопровержимые доказательства того, что поджог был организован штурмовиками Геринга по приказу Гитлера.

Но уже больше полугода следователи и прокуроры напрасно пытались сломить волю Димитрова, заставить его отречься от правды, заставить его принять вину на себя и на свою партию.

Из письма, которое Лемке должен был переправить сквозь стены Старого Моабита, Тельман узнает, что партия жива, что мир

помнит о нем, борется за него; узнает, что слова свобода и справедливость не забыты человечеством и что его собственное имя, как и имя заключённого в тех же стенах Димитрова, стало символом борьбы за правду. Тельман узнает о стойкости Димитрова.

Лемке вернулся к скамье и отдал Руппу пачку с сигаретами.

— Пойдём, малыш?

— Я чего-то недопонимаю... — неуверенно проговорил Рупп и умолк в нерешительности.

— Смелей!

Юноша казался озадаченным.

— Я ещё не слышал хорошего

слова о наших социал-демократах, — сказал он, — а ведь и Маркс и Ленин в своё время высоко ценили немецкую социал-демократию... — И поспешно добавил: — Может быть, вопрос кажется тебе очень наивным, но, честное слово, я...

Лемке дружески похлопал его по плечу и с улыбкой сказал:

— Вопрос вовсе уже не так наивен, дружище! По пути великих учителей рабочего класса пошли далеко не все их ученики, — в верхушке социал-демократии было больше предателей рабочего дела, чем борцов за него. Поэтому лучшие люди, такие, как Цеткин, как младший Либкнехт, как Люксембург,

как Меринг, в конце концов ушли из её рядов. Они пошли за Лениным. За ними пошли и мы, немецкие рабочие, во главе с Тэдди.

— Ты не рассердился на мой вопрос?

— Всякому немцу, а тем более такому, как ты, должна быть ясна подлая роль предателей рабочего класса Германии, предателей всего немецкого народа, продавших его свободу и благополучие сначала буржуазии, а потом фашизму. Я говорю о всяких шейдеманах, лебе, носке, зеверингах и прочей мрази, которая для маскировки продолжает прикрываться именем социал-демократии, хотя от великой

немецкой социал-демократии ничего не осталось. Её лучшие традиции переняли мы, коммунисты...

Они медленно шагали вдоль набережной, к улице Инвалидов. На углу они расстались. Рупп дружески сжал руку Лемке у локтя, словно хотел поделиться избытком бодрости со своим учителем.

Лемке видел, как фигура юноши исчезла в толпе.

Обязанность Руппа заключалась только в том, чтобы передать сигареты служителю суда. Лемке отлично знал, что самое трудное начнётся дальше — на маленьком пространстве двора, отделяющего здание уголовного суда от тюрьмы

Маобит. Лемке был уверен, что нет никаких оснований беспокоиться за Руппа и за письмо на первом этапе. И все же он не мог заставить себя повернуться и уйти. Он хотел своими глазами убедиться в том, что Рупп целым и невредимым выйдет из подъезда суда. Хотелось понять по его взгляду, что все благополучно.

Задумавшись, Лемке не заметил, как очутился у подъезда суда. Его привёл в себя негромкий голос:

— Не скажете ли, который час?

Лемке машинально посмотрел в лицо спрашивающего, поймал его ощупывающий взгляд и, вынув часы, молча показал их.

Лемке не понравилось, что

взгляд незнакомца, едва скользнув по часам, снова пристально остановился на его лице.

Он спрятал часы, так и не произнеся ни слова.

Широкие двери суда то и дело отворялись. По ступеням спускались люди. Но среди них все не было Руппа. Лемке взглянул на часы: он больше не мог оставаться тут. Несмотря на владевшее им беспокойство о судьбе юноши, он должен был уйти. Он уже не видел, как Рупп вышел из дверей суда, сдерживая радостную улыбку, и быстро зашагал прочь.

Выходящее во двор широкое окно было растворено настежь. Прохладный осенний воздух врывался в комнату, надувая занавеску.

Станок, за которым работал Шверер, стоял прямо против окна, но генерал не замечал холода. Ворот старой домашней тужурки из верблюжьей шерсти был расстегнут, и из него торчала жилистая шея, по которой время от времени, в такт глотательным движениям, пробегал большой острый кадык. Обшлага куртки были аккуратно завёрнуты — каждый ровно на два дюйма, чтобы

не мешать движениям маленьких проворных рук, покрытых иссиня-красной, как на лапах замёрзшего гусака, кожей. Кожа эта бугрилась от склеротических узлов на вздувшихся венах.

Брюки на Шверере были тоже старые, из тех, что уже неловко носить на людях. Лампасы возле карманов немного залоснились; сзади, там, где штанины касались шпор, они были тщательно подрублены, отчего стали в тех местах чуть короче. К тому же брюки были узкие — того фасона, на манер уланок, какого давно уже никто не носил.

Генерал был невысок ростом,

узок в кости и сухопар. От седых, остриженных бобриком волос и седых бровей, кисточками, как у рыси, торчащих у висков, его розовое, выбритое до блеска лицо казалось красным. Сухие тонкие губы были плотно сжаты. Серые навывкате глаза внимательно щурились из-за очков.

Своей мохнатой жёлтой курткой, алыми лампасами на брюках, острым носом и маленькой головой на длинной шее Шверер напоминал злую красноногую птицу, нацелившуюся клюнуть то, что вертелось в патроне монотонно жужжащего станка.

Старик стоял, не сгибая спины, и, опершись мизинцем о супорт,

сквозь лупу следил за остриём резца.

Блестящая ниточка стружки, весело извиваясь, сбегала с вращающегося кусочка металла.

Увлечение работой не мешало генералу изредка коситься на часы. Это были особенные часы, с ясными цифрами, с чёткими чёрточками делений. Длинная секундная стрелка, трепетно вздрагивая, бежала по циферблату.

Домом Шверера командовали часы. Они висели во всех комнатах. Дом был наполнен шорохом неустанного движения времени.

Подчиняясь стрелке часов, генерал снял ногу с педали и выключил станок. Пора было итти в

столовую.

Он повесил тужурку в шкаф и сделал несколько гимнастических движений. Холодный ветер заставил его поёжиться и затворить окно.

В столовую он вошёл уже в форменном кителе, застёгнутом на все пуговицы.

Фрау Эмма Шверер зябко повела плечами от холода, пахнувшего из дверей кабинета, но тут же улыбнулась, делая вид, будто ей это нисколько не неприятно.

Наливая мужу кофе, она волновалась так, словно это был экзамен невесте по домоводству, а не обычный утренний завтрак, такой же, как каждый день в течение тридцати

восемью лет их совместной жизни. Генерал читал газету, но фрау Шверер была уверена, что его взгляд одновременно отмечает и каждое её движение и бег стрелки на стенных часах.

Сколько раз она делала попытки убрать эти безобразные часы из столовой! Однажды пустилась даже на хитрость: за счёт хозяйственной экономии купила красивые саксонские часы и повесила их вместо этой отвратительной никелированной тарелки. Но на другой же день опять увидела её на стене, рядом с новыми фарфоровыми часами.

И вот острое стальное жало

секундной стрелки короткими толчками снова подгоняло её. Как будто она была на вокзале, а не у себя дома!

Фрау Шверер пододвинула мужу чашку. Бережно держа ложечку костлявыми пальцами с коротко стриженными выпуклыми синими ногтями, Шверер сыпал в кофе сахар. Следя за тем, как исчезают с поверхности кофе голубоватые кристаллы, он проговорил словно в пустое пространство:

— Читала сегодня статью Дарре «Новая знать крови»?

— Ты же знаешь, я не читаю таких статей.

— И совершенно напрасно! Мы

никогда не сможем иметь
надлежащего призывного
контингента, если женщины не будут
обязаны рожать так же, как мы,
мужчины, обязаны служить.

Она опустила глаза:

— Служить и рожать — это... не
одно и то же.

— Нам нужно много солдат!

— Я не могу привыкнуть к
твоему новому тону, Конрад.

Пока фрау Шверер снова
наполняла пустую чашку, генерал
сорвал обёртку с толстой пачки газет.
Это была не обычная бандероль, как
на других газетах, а конверт из
плотной бумаги. На нем краснел
штемпель отдела печати

министерства рейхсвера: «Только для личного пользования». В пачке были газеты из Советского Союза.

Генерал наскоро пробежал заголовки статей, отмечая то, что следовало потом внимательно прочесть.

— Отто опять не ночевал дома, — нерешительно проговорила фрау Эмма.

Генерал с досадою оторвался от «Красной звезды».

— Наверно, провёл ночь не хуже, чем если бы лежал у себя в постели, — сказал он.

— Но... мальчик ведёт ненормальную жизнь.

— А что ты считаешь

нормальной жизнью для офицера?

— Ты не думаешь о здоровье детей!

Шверер посмотрел на неё поверх очков.

— Ещё что-нибудь?

— Вот и Эрни совсем отбился от рук.

— Ты хочешь семнадцатилетнего оболтуса умывать по утрам губкой? В этом Ха-йот [\[1\]](#) из него сделают, по крайней мере, здорового человека.

— Но с ними там бог знает как обращаются!

— Я приветствую то, что наци вырвали, наконец, наших сыновей из-под подолов мамаш!

— Кажется, я воспитала

старших мальчиков и без помощи этих новых организаций.

— Пример тому твой слюнтяй Эгон?

— Не всем же бог дал быть военными.

— Он — фон Шверер!

— Он занимает хорошее положение.

— Я предпочитаю пехотного лейтенанта профессору механики!

Генерал сердито отодвинул пустую чашку.

— Но, Конрад...

— Я шестьдесят пять лет Конрад! И, кстати говоря, из них тридцать восемь я пью кофе с простывшими сливками...

Генерал порывисто встал, повернулся на каблуках и вышел.

Войдя в кабинет, он с минуту стоял, потирая руки и с удовольствием оглядывая письменный стол. Потом опустился в кресло перед столом — старое кресло, кожа которого побелела от сидения. На широком поле стола были аккуратно разложены справочники, стопки чистой бумаги, на видном месте — папка с надписью: «Марш на восток. Исследование генерал-лейтенанта Конрада фон Шверера».

— Итак!

Шверер произнёс это вслух, пододвигая к себе папку с

рукописью. Вдруг он гневно оттолкнул кресло, вскочил и побежал к двери.

— Эмма!

Фрау Шверер в испуге выронила из рук вязанье.

— Кто трогал мои бумаги?

— О, Конрад! — Она всплеснула руками. — Кто посмеет?

— Кто входил в кабинет?

— Но, Конрад, клянусь тебе...

Анни сама стирает пыль.

— Но я же вижу...

— Может быть, полотёр нечаянно? — высказала предположение фрау Шверер.

— Полотёр? Сколько раз я просил, чтобы ты была в комнате,

когда там натирают пол.

— Я так и делаю, Конрад. Я слежу за каждым его шагом, — солгала фрау Шверер. — Но, может быть, как-нибудь, когда он двигал стол...

— А что, у нас натирает все тот же солдат без руки, что и прежде? — спросил Шверер, так же внезапно успокаиваясь, как и вспыхнул. — Кажется, довольно старательный малый, а?

— Бойс прекрасный полотёр, Конрад!

— Видна солдатская школа, а?

— О да, отличная школа! — с готовностью согласилась фрау Шверер.

Генерал поднял упавшее на пол вязанье жены и стал его рассматривать со снисходительным вниманием. Внезапно, бросив вязанье на стол, быстро нагнулся, поцеловал, точно клюнул, у жены руку и поспешно вернулся в кабинет.

Снова раскрыл рукопись и провёл ладонью по заглавному листу.

«Марш на восток». Только на восток! Ключевые позиции для броска на Париж и Лондон — за русской границей. Это Ленинград, это Москва, это Киев! Это должны понять все, от кого зависит решение судеб Германии, а следовательно, Европы и всего мира, немецкой Европы, немецкого мира, чорт

возьми! Тем, кто с этим не согласен, можно заткнуть глотку ссылкой на «Мейн кампф». Швереру казалось, что в его труде не было ни одного уязвимого места. Он обещал миру восточные Канны, о каких не мечтал ни один полководец!

Шверер сделал несколько заметок для памяти: масштаб операции опрокидывал разговоры Секта и Фуллера о профессиональной армии. Охват задуманного размаха исключал возможность оперирования малочисленной армией, как бы она ни была подвижна.

Нужно было ещё подумать и о том, какую должна быть собственно

немецкая армия. Нужны моторизованные армии, способные беспощадно и энергично подавить любое недовольство, любую тенденцию к отпадению союзников и вассалов. Нужны чисто полицейские силы, способные понудить к бою нежелающих, а в случае надобности попросту уничтожить их.

Это должно прийтись по вкусу Гитлеру!

Но пока Шверер одинок! Господь бог наградил его тремя сыновьями, но не позаботился о том, чтобы хоть одного из них сделать помощником отцу.

Когда-то он возлагал надежду на

старшего, Эгона. Но надежда рухнула, когда Эгон сменил карьеру военного на математику. После ранения и возвращения с войны Эгон стал чужим. Он не понимал отца и, видимо, не желал его понимать. В глазах Эгона всегда мелькает насмешка, когда ему приходится сталкиваться с Отто. Откровенное презрение, а может быть, и более неприязненное чувство кривит его губы при виде младшего брата, Эрнста.

Эрни звёзд с неба не хватает, но мальчик знает, чего хочет. Может быть, он немного и избалован, да ведь ему нет ещё и восемнадцати. Перебесится!..

Отто? Этот на верном пути. Мольтке из него не выйдет, но хорошего штабного офицера из него сделать можно.

Кстати, не голос ли Отто слышен в столовой?

Шверер встал из-за стола, на цыпочках подошёл к двери и поглядел в замочную скважину. Эмма может успокоиться: малый жив и здоров.

Ян Бойс, полотёр, проснулся
весь в поту.

Снова этот проклятый сон!
Который уже раз Ян приказывал себе
не думать обо всём этом. Как если
бы всего этого с ним вовсе и не было.
Никогда не было. Не должно было
быть!

Ян часто повторял себе это, с
тех пор как впервые увидел такой
сон. Он хотел убедить себя забыть,
выкинуть из памяти эти события.

Если бы у полотёра Яна Бойса
были деньги на гипнотизёра, он
непременно пошёл бы к нему. Ведь в
газетах частенько можно видеть

объявление: «Заставлю вас забыть о том, что вы когда-то курили». Пусть бы и его заставили забыть о том, что... обо всём, что случилось тогда на Украине...

И вот снова тот же сон. Да, в последнее время с его нервами происходило что-то неладное.

Снова и снова далёким видением возникало перед ним поле боя в украинских степях. Это был жаркий бой 4 февраля 1918 года. Отряд украинских партизан загнал в Чёрную балку батальон 374-го ландверного полка оккупационных войск генерал-фельдмаршала Эйхгорна. Партизаны истребили весь батальон. И некому было бы

рассказать об этом бое, если бы не уцелел один солдат — Ян Бойс.

Он долго ползал между телами убитых немцев. Убедившись в том, что все они мертвы, он потащился к селу, где была немецкая комендатура, бережно поддерживая раненую правую руку левой. Да, он так и остался единственным, кто мог рассказать, что произошло с батальоном 374-го полка.

Этапная комендатура. Госпиталь. Ампутация правой руки. Военский проездной билет до Берлина...

В солдатской книжке инвалида Яна Бойса в качестве его мирной профессии значилось «столяр».

Вернувшись с фронта, Бойс намеревался поступить в школу для калек, где обучали новым профессиям одноруких, одноногих и вовсе безногих людей. Но инвалидом был теперь каждый десятый немец, а школ столько, что попасть в них мог едва каждый десятый инвалид.

И вот однажды, когда Ян пришёл в партийный комитет своего района, чтобы пожаловаться на судьбу и порядки, функционер сказал ему:

— Что тебе школа, Ян? Есть дела, которые не требуют двух рук, были бы голова да ноги...

Оказалось, что для исполнения обязанностей связного партийных организаций как нельзя больше

подошло бы занятие полотёра.

— Полотёр?! — с негодованием воскликнул Ян. — Мне, столяру и сыну столяра, превратиться в барского угодника? Ты в своём уме, товарищ?! Сделать из меня какого-то люмпена! Каково?!

Но функционер ответил очень спокойно:

— Когда отец хотел меня наказать, он говорил: «А ну-ка, марш от верстака!.. Садись и пиши». Для меня не было и нет худшего наказания, чем торчать за столом и водить пером по бумаге. Но ты видишь, Ян, я сижу и пишу. Это нужно партии, и... пишу.

Много времени спустя после

войны, когда инвалидам были сделаны новые руки и ноги из алюминия и кожи, выдали искусственную руку и полотёру Яну Бойсу. Рука была отличная. С пятью алюминиевыми пальцами в чёрной перчатке. Такою рукою можно было бы, при желании, даже держать рубанок. Однако Ян не вернулся к профессии столяра. Он продолжал натирать полы. У него была хорошая клиентура. Он брал работу с разбором. А заработок? Что ж, он ведь не собирался строить на свой заработок виллу в Грюневальде.

Ян включил свет и посмотрел расписание визитов на сегодня. Расписание висело над столом. Оно

было написано не очень красиво. Не так-то легко было научиться писать левою рукой. Ничуть не легче было привыкать и к тому, чтобы держать перо искусственною рукой. Однако все же каждая буква была разборчива. В расписании стояли фамилии клиентов: генерал Гаусс, генерал Шверер, генерал Пруст... Генералы, чиновники, фабриканты. Никакой шушеры.

Сегодня Яну предстояло натереть паркет в домах его превосходительства генерал-полковника Гаусса и адвоката Трейчке. Сбоку листка против сегодняшнего числа была сделана приписка: «Внести членский взнос в

союз полотёров».

Ян отдёрнул штору и выключил электричество. Он отворил форточку и принялся делать гимнастику.

Жутковато выглядел обрубок правой руки, когда Ян проделывал движение номер семь: «сгибание руки в локте на высоте плеч». Но Ян уже привык к своей укороченной конечности и не без удовольствия следил в зеркале за тем, как наливался шар бицепса при сгибании локтя.

Покончив с натиркою полов у генерала Гаусса, полотёр Ян Бойс вышел на улицу и машинально повернул было направо, домой, но тут же вспомнил, что ему нужно на

вокзал: ведь по вторникам — натирка полов у адвоката Трейчке, в Нойбабельсберге. Выйдя на Вегенерштрассе, он свернул к Фербеллинерплатц, где и спустился в колодец подземки. Через десять минут он был уже на вокзале Фридрихштрассе, а ещё через пятнадцать стоял в вагоне электрички, прижатый к простенку между двумя окнами. В любое из них, если вытянуть шею, можно было любоваться грязными крышами домов, над которыми грохотал поезд.

Надо отдать должное адвокату Алоизу Трейчке: он был аккуратным человеком. По вторникам, к приходу полотёра, он всегда был дома. Это

было необходимо. К семи часам, когда приезжал Бойс, прислуга господина Трейчке заканчивала свой рабочий день и уходила, поставив на стол ужин для адвоката. Следует заметить, что адвокат был холост и частенько задерживался в Берлине после того, как запирал своё городское бюро, но, конечно, не по вторникам.

И в этот вторник, как всегда, Трейчке был уже дома. Он сидел в старом неуклюжем кресле возле книжного шкафа, курил и болтал с Яном, пока тот передвигал мебель и старательно вошил и без того похожий на стекло паркет. Ян немногословно и даже, казалось,

неохотно рассказывал адвокату кое-какие новости из числа тех, что обычно слышит в домах полотёр. Сегодня главным было сообщение об отъезде генерал-лейтенанта фон Шверера на Дальний Восток.

Трейчке обладал, повидимому, способностью рассредоточивать своё внимание. Разговор с Яном не мешал ему сортировать коробки из-под сигарет, принесённые полотёром. Трейчке был страстным коллекционером сигаретных коробок. Большие листы десятка альбомов были им собственноручно оклеены этикетками. Он старательно разделял крышку коробочки надвое и наклеивал лицевую и тыльную

стороны рядышком. Этикетки были рассортированы в альбомах по годам выпуска. По словам адвоката, они давали наглядное представление о ходе истории той страны, в которой выпускались. Господин Трейчке пробовал увлечь полотёра зрелищем нескончаемого ряда этикеток, но Ян не проникся ни художественной, ни исторической ценностью коллекции. Однако он охотно исполнил просьбу Трейчке, начав собирать для него коробки у прислуги в домах, где работал. Что же тут трудного — сунуть в карман несколько картонных коробочек и во вторник привезти их в Нойбабельсберг? Правда, далеко не все они входили в

коллекцию Трейчке. Лишь немногие. Остальные адвокат тут же кидал в камин, всегда топившийся по вторникам, очевидно, для того, чтобы скорее просыхала мастика, накладываемая на паркет полотёром.

И в этот вечер господин Трейчке, изучив коробки, отложил две для коллекции, а остальные бросил в камин.

Ян закончил работу, ловко вымыл руку хозяйским мылом и совсем уже было собрался уходить, когда Трейчке сказал:

— Вот что, Бойс... Я очень доволен вашей работой! — Он приветливо кивнул в ответ на вежливый поклон Яна. — Поэтому я

рекомендовал вас своей соседке, ффрау Александер. Это очень достойная дама, супруга полковника Александера. Сам полковник почти не бывает дома. Две уже почти взрослые дочери полковника учатся в Берлине. Так что, собственно говоря, в доме даже некому топтать полы. К тому же, дорогой мой Бойс, — многозначительно закончил Трейчке, — у садовника полковницы вы сможете получать для меня интересные экземпляры папиросных коробок. — Бойсу показалось, что при этих словах в глазах адвоката промелькнула лукавая усмешка. — Да, очень интересные экземпляры, господин Бойс!

Ян не стал возражать.

Засунув нехитрые

принадлежности своего ремесла под протез, он приподнял шляпу и вышел на улицу.

Проходя по аллее, Ян с интересом поглядел на окна дома рядом с адвокатом. Это была небольшая, увитая плющом вилла полковника Александера.

Адвокат Алоиз Трейчке повертел в пальцах одну из отобранных для коллекции коробочек, вынул из жилетного кармана перочинный нож и длинным тонким лезвием расслоил её крышку. После этого он вооружился лупой и долго, внимательно изучал

внутреннюю поверхность
расслоённого картона.

Он рассматривал её так
внимательно, словно надеялся
увидеть на ней нечто совсем иное,
чем обычную картинку и название
фирмы, такие же, как на миллионах
других коробок.

По мере того как он смотрел в
лупу, лицо его делалось все более
сосредоточенным, брови сходились и
глубокая морщина ложилась поперёк
лба над переносицей. Лицо адвоката,
которое полотёр Бойс привык видеть
почти всегда весёлым, стало
серьёзным, даже озабоченным и уже
не казалось таким молодым. Тот, кто
взглянул бы на адвоката сейчас,

понял бы, что обычная его внешность была обманчивой. Правду о его душевном состоянии говорили не чистый лоб и ряд всегда полуоткрытых в улыбке белых зубов, а серебряные нити в волосах и выражение скорби, сквозившее во взгляде, который не от кого было теперь прятать в одиночестве сумеречной комнаты. Трейчке знал, что дома он может не скрывать своих чувств и единственное, чего он не может себе позволить, — говорить то, что думает. Этому мешало наличие в каждой комнате искусно скрытого микрофона. Их присутствие Трейчке обнаружил давно, но оставил их в полной

неприкосновенности, довольный тем, что в его доме, с уходом прислуги, оставались только уши гестапо, а не её глаза. Это приучило его наедине молчать, а с другими говорить только о том, что должно было рано или поздно доказать гестапо, что она напрасно теряет время на подслушивание. Впрочем, уже самый тот факт, что микрофоны появились именно в его доме, наводил на тревожные размышления. Пришлось перестроить всю систему связи, переменить всех людей, изменить весь план действий.

В новой цепочке, организованной партийным подпольем, настоящим кладом был

связной Бойс, с риском для жизни собиравший для него почту под видом папиросных коробок. Бойс был так сдержан и дисциплинирован, что ни разу ни полусловом не дал понять адвокату, что знает об истинном назначении этих «экспонатов» для его альбома.

Трейчке не боялся за себя: пребывание на таком посту, где каждый шаг был хождением по острию ножа, закалило его волю и выковало такое самообладание, что он вообще никогда уже не думал об опасности с личной точки зрения. Если что его беспокоило, и беспокоило подчас сильно, так это была опасность провала связей,

страх за звенья цепочки, которые шли от него. Он хорошо отдавал себе отчёт в том, что щупальцы нацистской тайной полиции могут в любую минуту зацепиться за одно из звеньев и привести к разрыву всей цепи. А теперь, когда партия работала в таком глубоком подполье, когда каждый оставшийся на поверхности человек, сохранивший свободу передвижения и чистый паспорт, был неоценим, такой разрыв был бы настоящим бедствием. Поэтому каждое прикосновение к тому, что подпольщики называли «почтой», заставляло его испытывать ощущение, близкое к ожогу. Зато появление каждой почты, каждого

слова, благополучно прорвавшегося
сквозь полицейские кордоны, было
для него большой радостью,
настоящим праздником.

Нагнувшись к камину,
бросавшему трепетные отблески на
кусочек картона, Трейчке с
жадностью всматривался в
различные только в лупу наколы
кода. Он хорошо знал Тельмана, его
ясный и точный ум, его
непреклонную волю и удивительную
чистоту души. Он верил в него, как
верили все коммунисты. Он любил
Тельмана так же, как его любили
рабочие Гамбурга и Берлина, Бохума
и Дюссельдорфа, — любого другого
города, видевшие Тельмана на

ораторской трибуне, слышавшие его ясные, твёрдые, как сталь, горячие, как пламень, слова.

Да, Трейчке очень любил своего гамбургского земляка Тэдди. И было тяжело, мучительно тяжело читать теперь все такие же ясные, как прежде, такие же разящие, как всегда, такие же полные непреклонной веры в своё дело, любви к своему народу слова и представлять себе обстановку, в которой они писались.

Прошло не меньше часа. Трейчке все ещё сидел с папиросной коробкой в руках, задумчиво склонившись перед едва мерцающим камином. Угли уже совсем догорали,

когда Трейчке, в последний раз взглянув на разрезанную крышку, кинул её в огонь. Он пододвинул к коробке несколько горячих углей и даже подул на них, чтобы картон поскорее загорелся. Когда от него остались только завитушки чёрного пепла, Трейчке тронул их щипцами, и следы коробочки окончательно исчезли.

Глядя, как распадаются лёгкие хлопья, Трейчке вспомнил о полотёре Бойсе. Скоро полотёру, может быть, удастся принести ему тем же способом известия из нового источника: из самого логова зубра нацистской военной разведки полковника Александера. Много

терпения и труда было затрачено на то, чтобы установить связь с одним из солдат, обслуживавших Александера, и добиться возможности получать от него информацию. А эта информация сейчас была остро нужна. До подпольного руководства партии дошли сведения, что диверсионная служба Александера снова протянула свои ядовитые щупальцы к Советскому Союзу. Было установлено, что Александер восстановил прерванный было контакт со своим прежним тайным агентом Зеегером — одним из главарей берлинской организации социал-демократов веймарских

времён. Этот Зеегер, исключённый в своё время из компартии за троцкизм и вернувшийся к социал-демократам, прилагал теперь усилия к тому, чтобы установить связь с троцкистами, ведущими подпольную подрывную работу в Советском Союзе. Эти нити нужно было обнаружить, их нужно было постараться перервать, дать сигнал русским товарищам об опасности, грозящей им со стороны троцкистских ренегатов. Ренегаты, являвшиеся платными секретными агентами немецкой военной разведки, получили от своих хозяев новую установку: попытаться затормозить бурное движение

Советской страны по пути хозяйственного развития. Трейчке не знал точных инструкций, полученных троцкистами от Александера, но он знал, что в числе провокационных лозунгов, которые они должны были пустить в ход, был предательский лозунг противопоставления друг другу старого и молодого поколений прежде всего в среде партийных работников, но также и во всякой другой среде, в какую только удастся проникнуть троцкистам: среди инженеров, учёных, писателей, рабочих — всюду, где только можно внести смуту и расстройство в ряды строителей социализма. Это было

уже известно. Партия поручила Трейчке узнать остальное. Опасную нить, тянущуюся от Троцкого через немецкую разведку в СССР, нужно было перерезать.

Было очень странно видеть, что такой почтенный человек, как доктор Трейчке, способен, подойдя к углу комнаты, нагнуться к полу и ни с того ни с сего показать вдруг язык. На полу не было ничего, кроме медной сетки вентиляционной системы.

Годар вышел на станции метро Севр-Бабилон. Он никогда не делал пересадки, хотя от этого скрещения линий до бульвара Сен-Жермен оставалось ещё два перегона. Врач предписал Годару бывать среди зелени, и он добросовестно полагал, что покрытые пылью каштаны бульвара Распай и есть та самая зелень, которая так нужна его сердцу и лёгким.

Никто не угадал бы в этом сутулом человеке, одетом в мешковатый, несвежий штатский костюм, майора французской секретной службы.

Годар шёл, подавшись вперёд, заложив руки за спину. Он тяжело дышал, несмотря на прохладу раннего парижского утра.

Выходя из метро, Годар снимал плюшевую шляпу с засаленной лентой и нёс её в руках. Его непокрытые волосы вздымались неопрятною копной, которую обильная седина и ещё более обильная перхоть делали серой. Перхоть покрывала и воротник пиджака и плечи. Можно было подумать, что платье майора никогда не чистится. Цвет лица у Годара был землисто-серый; под глазами темнели набухшие мешки — прямое свидетельство того, что сердце и

почки майора требуют лечения.

Годар шёл медленно, останавливаясь, чтобы прикурить от догорающей сигареты новую. Обычно окурок успевал так прилипнуть к краю нижней губы, что сплюнуть его было невозможно, и Годар, морщась от боли, отлеплял его пальцами. Он выходил из метро ровно в восемь часов пять минут. Он знал, что через восемь минут, необходимых ему, чтобы дойти до станции Распай, он увидит там выходящего из метро капитана Анри. В их распоряжении останется семнадцать минут, чтобы посидеть на скамейке в ста пятидесяти шагах от угла бульвара Сен-Жермен и

Университетской улицы, так как ровно в половине девятого они должны будут войти в подъезд Второго бюро...

И действительно, ещё за пятнадцать-двадцать шагов до станции Распай Годар увидел Анри.

Капитан Анри, маленький, подвижной, со смуглым лицом и живыми карими глазами, был в хорошо сшитом сером костюме. Его иссиня-чёрные волосы, густо смазанные брильянтином и расчёсанные на прямой пробор, блестели, отчего голова капитана казалась лакированной, как у манекена в магазинной витрине. Только одна узкая прядка волос как

бы случайно опускалась на левый висок, чтобы скрыть белый шрам, уходивший за ухо. Над верхнею губой Анри чернели тонкие, подбритые сверху и снизу усики.

Когда-то, во времена мировой войны, Годар и Анри были друзьями, но служба разлучила их на многие годы. Теперь она снова свела их во Втором бюро, где оба были начальниками отделов.

Увидев Анри, Годар, как всегда, взглянул на часы, чтобы проверить себя.

— Посидим, — сказал он, опираясь на спинку скамьи, под тем же самым каштаном, под которым они сидели каждый день. — С

сердцем-то все хуже...

— Нужно куда-нибудь поехать, — как обычно, ответил Анри.

— Да... — Годар затаился, прикуривая новую сигарету, и тяжело задышал. — Я и сам так думаю... Но, знаешь ли, как-то все не выходит. Проклятые боши не дают передышки. Смешно сказать: когда мы с тобою были мальчишками, то, помнится, я все бормотал: «Вот только покончим с бошами, и все пойдёт, как по маслу!» И вот моя шевелюра похожа на половую щётку самой подлой консьержки, а я повторяю все ту же фразу: «Вот только покончим с бошами...» Хотел

бы я знать, когда мы действительно покончим с этими свиньями.

— Теперь все становится ясно!

— Да... — насмешливо проворчал Годар. — Так ясно, что можно зареветь от отчаяния. Сперва я думал: вот прояснится ситуация с Гитлером — уеду в Алжир. И вот действительно все ясно! А я все тут: жду, когда кончится возня со штурмовиками.

— Это не может долго тянуться. — Анри разглядывал в карманное зеркальце свои усики, притрагиваясь к ним мизинцем. — Они должны вцепиться друг другу в глотки.

Годар покачал головой:

— Да, сейчас не время для моего лечения.

— Реорганизация, предпринятая генералом, сулит большое оживление.

— Э, мой друг! — Годар безнадёжно махнул рукой.

— Ты думаешь?..

— Поработаешь с моё — увидишь! Любая разведка и контрразведка должна быть агрессивной. Наступать и наступать. Этого не хотят понять у нас. Трясутся над каждым франком.

— Тут ты прав, — безразлично согласился Анри, но таким тоном, словно ему было всё равно. Он поднял зеркальце, чтобы рассмотреть

белую ниточку своего пробора.

— И это — рядом с миллионами, которые бросает на разведку Англия, с десятками миллионов, которые дают боши! Мы совершенно утратили инициативу, — проворчал Годар.

— Ты преувеличиваешь. Немцы кричат о своей осведомлённости, чтобы запугать противника.

— Но самое забавное, что их тупого бахвальства достаточно, чтобы заставить нас дрожать от страха!

— Нас?!

— Да, да, дружище, нас! Наш генштаб. Он прячется за Второе бюро, как за какую-то своеобразную

линию Мажино. Он придумал себе эту новую «линию Сен-Жермен» и спит спокойно.

— Ты, как всегда, преувеличиваешь!

— Хотел бы, чтобы это было преувеличением! — Годар посмотрел на часы: — Пора.

Они поднялись и вошли в подъезд бюро.

В высоком просторном зале было очень светло. Сквозь листву подступивших к окнам деревьев в комнату влетали солнечные зайчики и прыгали по панелям стен, отделанных красным деревом. Игривость солнечных бликов мало

гармонировала с царившей в комнате чинной тишиной, с сумрачной неподвижностью сидевших за большим овальным столом двенадцати мужчин.

Никто не говорил.

Большинство курило.

Двое-трое проглядывали утренние газеты.

Один сосредоточил внимание на напильничке, которым подправлял ногти.

Ни перед кем из сидящих не было бумаг или папок, даже блокнота или карандаша.

До девяти часов оставалось несколько минут. Три кресла возле стола были свободны. Но вот вошли

Анри и Годар. Холодный, неопределённый кивок в пространство, и каждый опустился в кресло, раз навсегда отведённое его отделу. В этом кресле сидел его предшественник. Каждый день без нескольких минут девять в него будет опускаться его преемник.

Ровно в девять быстрыми шагами в комнату вошёл генерал Леганье, мужчина среднего роста, с коротко стриженными седеющими волосами, с розовым моложавым лицом. Его глаза были прикрыты стёклами пенсне. Как и все офицеры, он был в штатском.

Генерал опустился на председательское место и, вытянув

перед собою руки, несколько мгновений смотрел на их сцепленные пальцы. Коротким кивком, без каких бы то ни было вступлений, открыл заседание. Офицеры говорили по раз навсегда установленной очереди. Генерал изредка прерывал их вопросами. Ещё реже задавал вопрос кто-нибудь из присутствовавших. Без десяти десять генерал таким же коротким кивком отпустил офицеров, движением руки отметив Годара и Анри.

— Прошу задержаться.

Когда за последним из офицеров затворилась дверь, генерал Леганье поднялся и несколько раз прошёлся по комнате. Потом остановился

перед одним из окон и с таким интересом стал наблюдать за вознёю птиц в каштанах сада, что можно было подумать, будто он совершенно забыл об ожидающих его офицерах. Он даже водрузил на нос пенсне и несколько нагнулся над подоконником, чтобы иметь возможность лучше рассмотреть так заинтересовавших его птиц.

Но было бы заблуждением думать, что птицы способны были возбудить в начальнике Второго бюро такой интерес, чтобы заставить его забыть о делах. Прикрываясь этим невинным занятием, генерал обдумывал, как лучше изложить подчинённым поручение, способное

удивить даже его привыкших ко
многому людей.

— Друзья мои, — проговорил
он, быстро оборачиваясь и
направляясь к столу. Его голубые
навыкате глаза на мгновение
остановились на лицах офицеров.
Затем он привычным движением
сдёрнул с носа пенсне и ловко
пустил его волчком по полированной
поверхности стола. — Друзья мои,
придётся немного заняться историей,
правда не очень древней, но
довольно туманной...

Он сделал паузу, словно ожидая
реплик. Но офицеры молчали. Они
слушали, уставившись в зеркальную
поверхность стола, не поднимая глаз

на начальника.

— Речь идёт о поджоге рейхстага в Германии, — продолжал генерал. — Точнее выражаясь: о тех, кого боши обвиняют в этом поджоге, — о болгарине Димитрове и немце Торглере.

— Основной обвиняемый по этому делу, — заметил Годар, — голландец ван дер Люббе, мой генерал.

— Знаю, но из всей пятёрки меня интересует именно Димитров.

— Георгий Димитров?

— Да.

— Член Исполнительного Комитета Коминтерна...

— Так!

— В тридцать втором прибыл в Париж из Амстердама под именем доктора Шаафсма, жил, не отмечаясь, в Латинском квартале, виделся с Торезом и Кашеном...

— Так!

— Разыскивался болгарской тайной полицией... — Годар на мгновение умолк и исподлобья взглянул на Леганье. — Ваш предшественник, мой генерал, обещал ей содействовать в устранении его со сцены.

— И что же?

— Сюртэ прозевала.

— Вечная история!

— Димитров уехал отсюда в Брюссель, под именем Рудольфа

Гедигера...

— Так!

— Потом побывал в Москве...

— У вас хорошая память, Годар!

— В то время я сидел на этом разделе.

— Поэтому-то я и остановился на вас... Немецкие наци из-за своей неуклюжей работы очутились в затруднительном положении с инсценировкой поджога.

— Неуклюжи, как медведи! — со злорадством сказал Годар.

— Мы должны им помочь.

— В каком смысле, мой генерал?

— Димитров превратил скамью подсудимых в Лейпциге в трибуну

для пропаганды коммунизма. Посмотрите, что из-за этого творится у нас во Франции: полюбуйте на Роллана и других, не говоря уже о наших собственных коммунистах.

— Может быть, отсюда и нужно начать?

— Нет! — Пенсне снова совершило несколько быстрых оборотов на лакированной поверхности стола. — Рубить нужно корни! И, по возможности, вне Франции, — Леганье взмахнул розовой рукой, — там!..

— Понятно, мой генерал.

— Если немцы не сумеют покончить с Димитровым...

— Надеюсь, мой генерал, —

вставил Годар, — что сумеют.

— Но весь мир окажется на стороне коммунистов, если немцы просто убьют Димитрова.

— Я вас почти понял, мой генерал!

— Значит, говорю я, с ним нужно покончить так, чтобы... В этом не должен быть виноват никто. Даже немцы!

— Я понял вас до конца, мой генерал!

— Используйте берлинские связи, Годар.

— Это не составит большой сложности, мой генерал.

— Знаю ваш такт, Годар... Если немцы будут вынуждены оправдать

Димитрова, что вовсе не невозможно, пусть он не попадёт никуда: ни в Париж, ни в Брюссель, ни в Лондон...

— Скорее всего, он отправится в Москву.

— Да, скорее всего.

— А Москва, мой генерал... —

Годар сделал безнадёжный жест.

— Так действуйте, прежде чем он переедет советскую границу! Обдумайте все это и, когда у вас созреет план, доложите мне.

— Будет исполнено, мой генерал.

Леганье кивком задержал поднявшегося было Годара.

— Побудьте ещё несколько

минут, пока я не переговорю с капитаном. Вы должны быть в курсе всего дела! — И Леганье обернулся к Анри: — Одно из главных усилий немцев направлено к тому, чтобы доказать, что этот кретин ван дер Люббе — коммунист. Я понимаю: доказать это трудно. Если бы немцы не растеряли старых связей, они, конечно, получили бы от голландцев точные доказательства тому, что ван дер Люббе — коммунист, будь он в действительности хотя бы индийским набобом. Годар расскажет вам, как это делается.

— Я уже вошёл в курс дела, мой генерал, — с готовностью ответил Анри.

— Так возьмитесь за это теперь же: голландцы должны дать все необходимое для доказательства того, что ван дер Люббе — сообщник Димитрова. Вы меня поняли, капитан?

Леганье лёгким ударом розового ногтя заставил пенсне сделать ещё три или четыре оборота на столе и движением головы отпустил офицеров.

Когда пенсне перестало вертеться, генерал осторожно взял его двумя пальцами и лёгким движением, доставившим ему самому очевидное удовольствие, посадил на нос. Потом он снова подошёл к окну и принялся с

прежним интересом наблюдать
возню птиц в ветвях деревьев.

Курьер дважды заглядывал в
щёлку притворённой двери в
ожидании выхода начальника.
Наконец Леганье спрятал пенсне в
карман и, заложив руки за спину,
медленно проследовал к себе в
кабинет. И там ещё он некоторое
время мерно прохаживался, потом,
погруженный в ту же необычную для
него задумчивость, сидел в кресле.
Наконец, преодолевая какое-то
внутреннее сопротивление, он
позвонил по телефону. Разговор был
короткий, закончившийся фразой
Леганье:

— Надеюсь, что ваше поручение

в Берлине будет выполнено.

Секретный сотрудник британской разведки, сидевший на контроле телефонных переговоров начальника французского Второго бюро, тотчас передал в Лондон стенограмму разговора, в котором его внимание привлекли слова Леганье о поручении в Берлине.

Заработал телеграф между Лондоном и Берлином.

Частная каблограмма редактора лондонской газеты «Ежедневный курьер» пришла в контору её постоянного берлинского корреспондента Уинфреда Роу, известного в международных журналистских кругах под кличкой

«капитана Роу».

Причина предстоящего появления Годара в Берлине была уже ясна британской секретной службе, и цель его вполне соответствовала намерениям Интеллидженс сервис. Капитан Роу получил предписание помочь Годару выполнить его поручение.

Незадолго до того, как все это произошло, почти непосредственно за тем, как генерал Леганье опустил телефонную трубку на рычаг, майор Годар появился в его кабинете.

— Мне не хотелось говорить об этом даже при капитане Анри, мой генерал...

— Что-нибудь важное?

— Совершенно ошеломляющее сообщение пришло от Роу в Лондон, мой генерал!

— Через ваш «Салон»?

— Да. Немцы принимают участие в заговоре на жизнь Франклина Рузвельта.

— Ого! Далеко тянутся.

Майор осторожно спросил:

— Что прикажете делать, мой генерал?

Генерал, взгляд которого никогда не задерживался на лице собеседника, на этот раз пристально посмотрел в глаза Годару.

— Молчать! — выразительно, хотя и совсем не громко, проговорил генерал.

Годар поклонился и вышел. Леганье был уверен, что этот офицер понял его.

Почти такой же ответ получил и сотрудник британской секретной службы, положивший перед своим начальником расшифрованный текст срочного сообщения капитана Роу.

— Оставьте эту депешу у меня, — сказал начальник. — Я сам займусь этим.

Ни французская, ни английская секретные службы тогда ещё не имели представления о силах, принимавших участие в кровавой игре, начало которой было положено радиogramмой Долласа, посланной с «Фридриха Великого» перед его

приходом в Гамбург. Они не знали, что тайная нить, протянувшаяся между Берлином и Вашингтоном, уходила одним концом в личный кабинет начальника немецкой военной разведки полковника Александера, другим концом — в кабинет начальника американского Федерального бюро расследования Герберта Говера. Никто, кроме лиц, принимавших непосредственное участие в «операции», не знал, что 13 февраля 1933 года к Говеру явился агент его бюро Конрой и доложил:

— По делу ФДР, сэр.

— Выкладывайте, — сказал

Говер.

— Послезавтра он выступает в

Чикаго.

— Ну?

— У меня все готово.

— Кто об этом знает?

— Никто, кроме меня, сэр.

— Завтра я вам скажу. Идите!

Назавтра Говер действительно

вызвал Конроя.

— Ничего не изменилось?

— ФДР вылетел в Чикаго.

— Можете лететь и вы.

— А... остальное?

— Все, как я сказал.

И Конрой вылетел в Чикаго,

имея в кармане официальное
предписание охранять вновь
избранного президента Штатов
Франклина Делано Рузвельта. Он

вылетел на обычном рейсовом самолёте «Пан Америкен» и не знал, что через несколько часов на служебном самолёте следом за ним вылетел и его начальник Герберт Говер.

Это произошло 14 февраля 1933 года, а утром 16-го, когда Джон Ванденгейм, ещё лёжа в кровати, нетерпеливо потянулся к газетам, первым, что бросилось ему в глаза, был огромный заголовок на первой странице «Трибюн»: «Вчера в окрестностях Чикаго совершено покушение на Франклина Д.Рузвельта. Убит мэр Чикаго Эдвард Кермак. Четверо спутников Рузвельта ранено. Убийца схвачен. Его зовут

Зонгара. Следствие идёт».

В водянистых глазах Ванденгейма вспыхнул яркий огонёк, и довольная улыбка растянула его мясистые губы. Но уже в следующее мгновение эта улыбка исчезла. Из заметки под сенсационным заголовком было ясно: убит вовсе не Рузвельт, а мэр Чикаго, сопровождавший ему в автомобиле.

Большая рука Ванденгейма злобно смяла газетный лист. Но он тотчас же расправил его и стал искать сообщение о судьбе покушавшегося. О нем ничего не было сказано. Выражение лица Ванденгейма стало озабоченным. Подумав, он потянулся к телефонной

трубке.

В это же время в кабинете своей адвокатской конторы Фостер Доллас с такою же озабоченностью просматривал то же сообщение. Его острые глазки беспокойно шныряли по газетному листу. Потом с нерешительностью остановились на телефонном аппарате. Он взялся за трубку в тот момент, когда раздался встречный звонок Ванденгейма.

— Видели? — слышался в трубке голос Джона.

— Да.

— Какая досада!

— Да.

Гонимый ветром мокрый снег с силой ударял в стекла маленького забранного решёткой окна. Он налипал размокшими комьями; комья подтаивали и сползали вниз. Их нагоняли струйки воды, размывали и сгоняли на гранитный подоконник окна в комнате для подсудимых лейпцигского суда.

Димитров, сдвинув брови, глядел на плачущие стекла. Он старался заставить себя думать о предстоящем судебном заседании, но мысли непослушно разбегались и уносились к жизни, шедшей по ту сторону решётки. Тёмной стеной,

отгораживающей воспоминания, вставала тюремная камера в Моабите, потом камера полицейской тюрьмы. Вот следователь Фохт, изо дня в день в течение шести месяцев следствия прилагавший усилия к тому, чтобы добиться признаний: сначала лишение газет и книг, потом уменьшение пайка, перевод из камеры в камеру все меньших и меньших размеров, пока не стало невозможно сделать даже два-три шага. Наконец — строгие наручники. Фохт велел надевать их на ночь, потом приказал и днём снимать их только на время обеда и одного часа, отведённого для подготовки материалов к процессу. В строгих

наручниках руки накладывались крест-накрест, одна на другую и смыкались стальными кольцами запястье к запястью так, что малейшее движение причиняло невыносимые страдания.

За тёмною теснотою тюремной камеры вставал огромный светлый мир. Из него Димитров пришёл и в него должен вернуться во что бы то ни стало — в мир открытой борьбы. В этом прекрасном мире, подобно мощному светилу, лучи которого проникают сквозь камень и бетон тюремных стен, через все преграды, воздвигаемые палачами, сияет гений великих учителей...

Когда мысль Димитрова

приходила к этой точке, в его памяти вставал живой Ильич таким, каким он видел его.

Теперь, в эти трудные дни ожесточённой борьбы с машиной фашистской юстиции, душа Димитрова тянулась к образу Ленина.

Сотни раз перебирал он в памяти слышанные им слова Ленина, тысячу раз мысленно повторял строки его произведений. Это было нелегко. Все просьбы Димитрова о предоставлении ему сочинений Ленина, необходимых для подготовки защиты, Фохт отклонял...

Димитров смотрел на бегущие по стёклам холодные струйки талого

снега и хмурился, стараясь сосредоточить мысли на предстоящем заседании суда.

Может быть, от холода, царившего в комнате для подсудимых, а может быть, просто оттого, что непривычно было чувствовать свободу от оков, снятых на время процесса, Димитрову все время хотелось потерять руки. Но всякий раз, как он, забывшись, прикасался к запястьям, натёртым наручниками, жаркая боль заставляла отдёргивать пальцы.

Димитров взял карандаш, потянулся к блокноту. Силясь как можно точнее вспомнить слова, медленно записал: «Товарищам надо

было отказаться от показаний по вопросу о нелегальной организации и, поняв всемирно-исторический момент, воспользоваться трибуной суда для прямого изложения...»

Димитров морщил лоб: «...для изложения... для изложения...» Нет, ленинская формулировка выпала из памяти. Он записал, как помнил: «... для изложения взглядов, враждебных не только царизму вообще, но и социал-шовинизму всех и всяческих оттенков...»

Именно так он и должен был действовать теперь: используя то обстоятельство, что внимание всего мира приковано к процессу, превратить скамью подсудимых в

трибуну — для открытого нанесения удара фашизму и всем его прихвостням. Через головы судей послать призыв к мировому единению всех антифашистских сил.

Шум распахнувшейся двери прервал мысли Димитрова.

Придерживая развевающиеся полы адвокатской мантии, в комнату торопливо вошёл в сопровождении полицейского чиновника официальный защитник, адвокат Тейхерт. Профессионально привычным движением адвокат протянул открытый портсигар Димитрову. Тот отрицательно мотнул головой.

Закурив сам, Тейхерт сердито

сказал:

— Если вы будете продолжать держаться столь же вызывающе, то окончательно восстановите против себя суд.

— Вы полагаете, что он и без того не восстановлен против меня? — насмешливо спросил Димитров.

— Посмотрите на ваших товарищей...

— У меня тут нет товарищей, — перебил адвоката Димитров.

— Я говорю об остальных подсудимых.

— Я тоже.

— Я имел в виду Торглера, такого же коммуниста, как вы! —

сердито сказал Тейхерт.

— Он оказался очень плохим коммунистом. Его исключили из партии.

— Сейчас вы должны думать о том, чтобы сохранить не партийный билет, а голову, господин Димитров!

— Настоящий коммунист не может так ставить вопрос.

— Тем не менее вам нужно выбирать.

Димитров сделал отрицательное движение рукою и поморщился от боли в запястье.

— Я докажу непричастность коммунистической партии к поджогу. Это важнее всего!

— Я в этом совсем не так уж

уверен.

— Поэтому я и отказался от вашей защиты.

— Тем не менее суд оставил меня вашим официальным защитником, — повышая голос, проговорил Тейхерт, — и в интересах дела я требую...

— Уже самый тот факт, что вы национал-социалист, исключает для меня возможность доверить вам судьбу такого важного дела, как защита моей партии от клеветы.

— Вы даже здесь не можете отказаться от пропаганды! — Тейхерт смял окурок. — Она приведёт вас на эшафот. Посмотрите, как отлично идёт защита доктора

Зака.

— Она стоит Торглеру чести коммуниста.

— Но сохранит ему голову!

— Недорого стоит голова, купленная таким унижением.

Тейхерт хотел что-то сказать, но внезапно резко повернулся на каблуках и вышел. Полы его мантии взлетели, как крылья большой чёрной птицы.

На мгновение сквозь отворённую дверь из зала заседаний ворвалась струя яркого света и гул голосов.

Сегодня на лейпцигской сессии четвёртого уголовного сената имперского суда Третьего рейха был

«большой день».

На утреннем заседании произошла бурная схватка между Димитровым и министром пропаганды Геббельсом. После перерыва предстоял допрос свидетеля обвинения Карнаве. Затем ожидалось выступление Геринга.

Зал возбуждённо жужжал.

Приехавший сегодня в Лейпциг Роу сидел на местах прессы. Он был тут не для того, чтобы освещать процесс. Его газета вполне могла удовлетвориться материалами агентств. Роу предстояло наметить план убийства Димитрова.

Роу односложно отвечал на вопросы и замечания знакомых

журналистов и хмуро оглядывал зал. Большая часть скамей была черно-коричневой от фигур штурмовиков и эсесовцев. Меньшая часть была заполнена людьми в штатских костюмах. Роу знал, что среди этой публики могли быть сочувствующие подсудимым, может быть, даже были скрывающиеся коммунисты. Но взгляд Роу одинаково равнодушно пробежал по всем лицам. К гитлеровцам он относился так, как англичанин — любитель собак мог бы относиться к нечистоплотным, дурно дрессированным псам. Их приходится спускать с цепи, не считаясь с тем, что они могут запакостить сад. Коммунистов и

всех, кто с ними, Роу ненавидел. Они были угрозой всему привычному, на чём зиждилось благополучие его собственного мира.

С таким же спокойным равнодушием, как на всякого другого в зале, Роу смотрел на Геринга. Министр сидел в первом ряду и оживлённо разговаривал с начальником прусской тайной полиции Дильсом. Безобразную тушу министра, занявшего сразу два стула своим непомерно широким задом, англичанин рассматривал, как лошадь перед скачками или свинью на выставке. Ему не внушала доверия эта груда мяса, упакованного в тесный френч.

Взор Роу непроизвольно
обращался к Димитрову.
Темноволосый богатырь с
необыкновенно живым и
привлекательным лицом был
олицетворением жизненной силы и
бодрости духа. В его умных, глубоко
сидящих глазах можно было ясно
прочитать то выражение презрения,
когда он взглядывал на Торглера, то
жаркую ненависть, когда ему
случалось повернуться к Герингу, и
почти нескрываемую насмешку при
взгляде на членов суда.

Роу отметил появление в зале
трех генералов. Один был высок, худ
и сед; другой — мал, щупл и
востронос; третий — круглоголов и

украшен пушистыми светлыми усами. Все трое были затянуты в серо-зелёные мундиры рейхсвера, у всех троих одинаково поблёскивали в глазу монокли.

«Значит, армия не равнодушна к тому, что здесь творится», — подумал Роу.

Да, армия, представленная здесь тремя приехавшими в Лейпциг генералами — фон Гауссом, фон Шверером и Прустом, не могла оставаться безучастной к происходящему. Процесс был публичным экзаменом для гитлеровской команды, выдвинутой хозяевами на авансцену истории как шайка головорезов, которым нечего

было терять. Генералы желали знать, чего эта шайка стоит в подобного рода деликатных делах.

Верно оценив интерес командования рейхсвера к процессу, Роу угадал и причину того, что генералы появились в зале суда именно сегодня: Геринг был не только офицером, но и доверенным лицом двух основных акционеров национал-социализма — тяжёлой промышленности и рейхсвера. Генералы хотели видеть, как будет себя вести их приказчик из коричневой шайки.

Наблюдая за генералами, Роу пропустил начало допроса Карнаве, которого прокурор представил суду

как бывшего коммуниста, готового раскрыть «тайные замыслы» германской компартии.

Взглянув на свидетеля, Роу сразу понял, что дела того плохи.

Вопросы задавал Димитров.

— Свидетель — национал-социалистский депутат рейхстага?

Карнаве заносчиво поднял голову:

— Да!

— Был ли свидетель убеждён, услышав о пожаре рейхстага, — продолжал Димитров, — что поджог организован именно коммунистической партией?

— Безусловно! — сказал Карнаве. — Я был убеждён.

— Из дела известно, что свидетель пошёл из рейхстага в ресторан «Байернхоф», оттуда в кафе «Фатерланд», потом в министерство внутренних дел и, наконец, в полицейпрезидиум.

— Да!

— В каком из этих мест свидетель пришёл к убеждению, что поджог совершён коммунистами? — насмешливо спросил Димитров.

— Я отвожу этот вопрос, — поспешно вмешался председатель.

— Хорошо, пусть тогда свидетель скажет, заметил ли он в одном из этих четырех мест признаки того, что коммунисты готовят вооружённое восстание?

— Когда коммунисты
подготавливают вооружённое
восстание, то заметить этого
нельзя, — сказал Карнаве.

— Какие именно восстания, уже
подготовленные коммунистами,
свидетель имеет в виду?

Карнаве растерянно взглянул на
прокурора. Тот бросил взгляд на
председателя суда. Председатель
протянул палец в сторону
Димитрова.

— Этот вопрос не относится к
делу.

— А по-моему, относится, —
настойчиво проговорил Димитров.

— Димитров! Предупреждаю
вас ещё раз: вы не должны так

разговаривать с судом. Вы заставите меня снова удалить вас с заседания!

— Это было бы очень печально, господин председатель.

— Для вас больше, чем для нас.

— Охотно верю, господин председатель: допрос ренегата Карнаве без меня прошёл бы значительно глаже.

Председатель стукнул рукою по столу:

— Перед вами депутат рейхстага!

— Пусть господин «депутат» ответит на вопрос: не была ли группа Кац — Карнаве в тысяча девятьсот двадцать пятом году постановлением Коммунистического Интернационала

изгнана из коммунистической партии как враждебная, ведущая подрывную троцкистско-анархистскую работу, как группа, в которой оказались преступные элементы?

Председатель снова поднял руку, но Димитров, опережая его, крикнул:

— Не были ли члены группы Кац — Карнаве изгнаны как провокаторы и агенты политической полиции, уже тогда действовавшей против Коммунистической партии Германии?!

Председатель тоже повысил голос до крика:

— Димитров, я предостерегаю вас! Здесь недопустимы

политические диспуты между вами и свидетелями! Вы можете только задавать вопросы... Садитесь!

— Я имею вопрос!

— Я освобождаю свидетеля от ваших вопросов. Господин депутат, вы свободны.

— Неслыханно! — протестуяще воскликнул Димитров.

Председатель предостерегающе поднял руку:

— Довольно, или вас выведут!

Димитров медленно опустился на своё место.

В зале наступила тишина.

Словно испытывая терпение присутствующих, председатель оглядел зал. Отчётливо слышался

скрип сапог переминающегося с ноги на ногу полицейского, стоящего за спиною Димитрова. Председатель бросил в его сторону сердитый взгляд и торжественно провозгласил:

— Свидетель господин рейхсминистр Геринг!

Ещё прежде чем затих голос председателя, Геринг сорвался с места, с грохотом оттолкнув стулья, и, выпятив живот, с заложенными за спину руками, с высоко вскинутым подбородком пошёл к столу суда. Он ступал так тяжело, что вздрагивали не только его жирные щеки, но и чернильницы на столах секретарей.

Но ещё раньше Геринга поднялся со своего места Димитров.

— Я протестую, — крикнул он так, что заглушил голос что-то говорившего председателя. — Свидетель не должен находиться в зале суда при допросе других свидетелей! Если этот человек был здесь — он не свидетель.

— Прежде всего, — сухо ответил председатель, — определение здесь выносит суд, а не подсудимые. А кроме того, я должен вам заметить, что перед вами вовсе не «человек», а...

— Ну, если он не человек... — примирительно заявил Димитров, и по залу пронёсся ветерок несдержанного смеха.

Однако под строгим взглядом

председателя зал затих. Почтительно
привстав, председатель задал
Герингу положенные
предварительные вопросы.

В этот момент внимание Роу
было отвлечено служителем,
шепнувшим ему на ухо:

— Господин Роу? Вас вызывает
к телефону Лондон.

Когда Роу вернулся в зал, Геринг
стоял перед судейским столом,
широко расставив ноги.
Лакированные краги делали их
похожими на чугунные тумбы.
Уперев пухлые кулаки в бока,
стараясь изобразить на лице
насмешливую улыбку, он исподлобья
смотрел на Димитрова. А тот

спокойным, ровным голосом задавал ему вопросы:

— Известно ли господину министру, что трое полицейских чиновников, арестовавших ван дер Люббе, выдаваемого здесь за коммуниста, не обнаружили у него партийного билета?

— Мне все известно, — рявкнул Геринг.

— Откуда же взялось официальное сообщение господина министра о том, что у ван дер Люббе был отобран партийный билет?

— Я так предполагал, — не задумываясь, выпалил Геринг.

— И на основании этого предположения сделали вывод, что

имеете дело с коммунистом?

— Это касается меня — какие выводы я делаю.

— Здесь суд, господин министр, — спокойно заметил ему Димитров.

— Но в этом суде вы не прокурор! — огрызнулся Геринг.

— Тем не менее вы должны ответить на мой вопрос.

— Вопросы задавайте, обращаясь ко мне, — сердито остановил Димитрова председатель. — А я буду решать, должен ли свидетель отвечать на них.

— Так мы не скоро доберёмся до сути.

— Что это? — нахмурился

председатель. — Оскорбление суда?!

— Мне показалось, что это усложнит процедуру.

— В таком случае будьте точнее в выражениях! — Председатель взглянул на Геринга и, словно сомневаясь, имеет ли он право это сделать, нерешительно сказал Димитрову: — Задавайте вопросы... только вежливо, пожалуйста.

Димитров насмешливо поклонился председателю и обернулся к Герингу:

— Что сделал господин министр внутренних дел, чтобы двадцать восьмого и двадцать девятого февраля выяснить все возможные версии поджога рейхстага и прежде

всего не потерять следов ван дер Люббе, исчезнувшего в полицейской ночлежке Геннигсдорфа?

— Я министр, а не сыщик! Я не бегаю по следам поджигателей! — прорычал Геринг.

— Но разве ваше заключение, что именно коммунисты, а не кто иной, являются поджигателями, не определило для полиции весь ход расследования? Не оно ли отвело полицию от других истинных следов?

Не давая Димитрову договорить, Геринг крикнул:

— Меня не могут интересовать личности поджигателей. Мне было важно установить, какая партия

отвечает за поджог.

— И вы установили?..

— Поджог рейхстага — это политическое преступление. Я убеждён, что преступников надо искать именно в вашей партии! — голос Геринга становился все более хриплым. Потрясая кулаком в сторону Димитрова, он кричал: — Вашу партию нужно уничтожить! И если мне удалось повлиять на следственные органы в этом отношении, то я рад: они нашли вас!

Он умолк, тяжело дыша, и отёр платком вспотевшее лицо.

Димитров все тем же ровным голосом спросил:

— Известно ли господину

министру, что партия, которую «надо уничтожить», господствует на шестой части земного шара, а именно — в Советском Союзе?

— Мы уничтожим её и здесь и везде... — начал было Геринг, но на этот раз и Димитров повысил голос:

— Известно ли господину министру, что Германия поддерживает с Советским Союзом дипломатические, политические и экономические отношения, что благодаря заказам Советского Союза миллионы немецких рабочих имеют работу и хлеб?..

Председатель перегнулся через стол, стараясь перекричать обоих:

— Димитров, я запрещаю вам

вести здесь коммунистическую пропаганду!

— Но ведь господин Геринг вёл же здесь национал-социалистскую пропаганду!

— Вы не в стране большевиков! — заорал Геринг, угрожающе придвигаясь к скамье подсудимых.

— Большевистское мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и наилучшей стране мира...

— Замолчите! — крикнул председатель.

— Это мировоззрение имеет и здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов

немецкого народа...

Геринг поднял над головою кулаки и истерически завизжал:

— Я не желаю слушать! Я пришёл сюда не для того, чтобы вы допрашивали меня, как судья! Судья не вы, а я! Вы в моих глазах преступник, которому место на эшафоте. — Его голос сорвался и перешёл в плохо разборчивый хрип. Он покачнулся. Служитель подскочил к нему со стулом, но Геринг в ярости отшвырнул стул ударом ноги.

Председатель, стараясь перекрыть шум, поднявшийся на скамьях, крикнул Димитрову:

— Ни слова больше!

— У меня есть вопрос...

— Я лишаю вас слова,
замолчите, садитесь!

— У меня есть вопрос! —
настойчиво повторил Димитров.

Геринг с усилием всем корпусом
повернулся к председателю и тоном
приказа бросил:

— Уберите его отсюда!

Председатель тотчас приказал
полицейским:

— Уведите его! — и крикнул
вслед Димитрову, которого
полицейские под руки выводили из
зала: — Я исключаю вас на
следующее заседание!

Прежде чем Димитров исчез за
дверью, Геринг шагнул в его сторону
и, потрясая кулаком, завопил во всю

глотку:

— Берегитесь! Я расправлюсь с вами, как только вы выйдете из-под опеки суда!

И побрёл к выходу, пошатываясь, выставив вперёд руки, словно теряя равновесие, ослепнув от бешенства.

Над залом повисла своеобразная тишина смущения, всегда сопровождающая провал премьеры, которому дирекция и печать подготовили триумф. Это молчание, как грозовая атмосфера электричеством, было насыщено острыми чувствами и мыслями нескольких сотен людей. Состояние зала чувствовал председатель суда, чувствовали судьи и адвокаты,

чувствовал сам Димитров.

Сотни глаз были устремлены на широкую спину удаляющегося Геринга. Одни из них выражали сочувствие провалившемуся единомышленнику, другие — злобу скандализованных режиссёров. Так как зал был наполнен коричневыми и чёрными мундирами СА и СС, то трудно было ждать, что хотя бы один взгляд выразит радость по поводу случившегося. И тем не менее очень внимательный наблюдатель, если бы у него было на то время и возможность, изучая взгляды публики, непременно натолкнулся бы на светлоголубые, чуть-чуть прищуренные в лукавой усмешке

глаза зрителя, сидящего на задних скамьях, почти у самой стены. На одну секунду неподдельная радость, вспыхнув, как молния, в этих глазах, тотчас исчезла. Их обладатель усилием воли погасил овладевшее им удовлетворение, — оно было неуместно тут, в нацистском суде. Но мысли стремительно неслись в мозгу этого зрителя, проникшего в зал лейпцигского суда по билету берлинской адвокатуры. Он думал о том, что вот тут, в этом месте, где гитлеровский террор был полным хозяином, лицом друг к другу стали Димитров и Геринг — представители двух миров, двух сил, находящихся в смертельной схватке. Димитров,

представитель международного
революционного пролетариата, всего
антифашистского лагеря,
непоколебимый борец, твёрдо, с
поднятой головой разоблачал
преступное лицо служителей
фашистской диктатуры, её грязные
махинации, от которых пахло
кровью. Димитров смело задавал
вопросы — такие неожиданные для
суда, такие неудобные для свидетеля
— всемогущего премьера Пруссии,
шефа тайной полиции и командира
штурмовиков. И даже тут, где Геринг
являлся полномочным и
неограниченным представителем
фашизма, где он мог кричать и
топать ногами, никого и ничего не

страшась, он не выдержал и бежал подобно побитому псу. Это было не только его поражением, — это было поражением нацизма, поражением международного фашизма, пытавшегося превратить лейпцигский спектакль в прелюдию всеевропейского избиения антифашистов! Браво Димитров, браво друг, товарищ, герой!.. Браво!..

Адвокату Алоизу Трейчке, с опасностью для жизни проникшему в этот зал, хотелось бы крикнуть это громко. Так громко, чтобы быть услышанным всею Германией, всей Европой... Но Трейчке молчит, его уста плотно сомкнуты, и в ясном взгляде светлоголубых глаз никто не

поймает уже и той искорки восторга, которая промелькнула в них минуту назад. Его взгляд впитывает, запечатлевает все для точного и подробного отчёта товарищам в Берлине, куда ему предстоит вернуться после процесса, если... Если только ему, тайному функционеру коммунистического подполья, удастся живым и невредимым выбраться из этой берлоги. Но об этом он и не думает: ни грана страха нет в его сознании, ни на йоту сомнения в том, что обязанность, возложенная на него партией, будет исполнена. Дело же вовсе не в его свободе и даже не в его жизни. Дело в том, что тут партия

одержала такую блестящую победу и он должен принести точный отчёт о сражении, в котором она была достигнута.

Взгляд бледноголубых глаз скользит по залу. Останавливается на боковых местах, где сидят генералы, переходит на скамьи прессы. Отмечает характерное лицо и повадку иностранца, внимательно следящего за поведением генералов...

Роу посмотрел на сидевших напротив него генералов. Они поднялись все одновременно и вышли.

Глядя на их туго обтянутые серозелёным сукном спины, он думал о

своём: о том, что, судя по всему, секретной британской службе действительно придётся прийти на помощь нацистам. Как ни хочется нацистским юристам осудить Димитрова и в его лице коммунистическую партию, они не в силах это сделать. Дальнейший ход процесса потерял для Роу интерес. Он покинул зал следом за генералами и только из газет узнал о том, что происходило в заключительном заседании, когда Димитрову было предоставлено последнее слово.

— ...Я защищаю себя самого как обвиняемый коммунист. Я защищаю свою собственную

коммунистическую революционную
честь. Я защищаю смысл и
содержание моей жизни. Верно, что
для меня как коммуниста высшим
законом является программа
Коммунистического
Интернационала, высшим судом —
Контрольная Комиссия
Коммунистического
Интернационала. Но для меня как
обвиняемого и этот верховный суд
есть инстанция, к которой следует
относиться со всею серьёзностью не
только потому, что он состоит из
судей особой квалификации...

Председатель пытается подать
голос:

— Послушайте, Димитров!..

Но Димитров не обращает на него внимания.

— ...но и потому, что этот суд может в окончательной форме приговорить к высшей мере наказания. Я отношусь к суду серьёзно, но это не значит, что я намерен оставить без возражения то, что тут говорилось. Меня всячески поносила печать, — это для меня безразлично, — но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским», меня называли «тёмным балканским субъектом», «диким болгаринном». Верно, что болгарский фашизм является диким и варварским. Но болгарский народ, который пятьсот лет жил под

иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются против болгарского фашизма, за коммунизм, — такой народ не является варварским и диким. Дикие и варвары в Болгарии — только фашисты. — Тут голос Димитрова звучит сарказмом. — Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?!

Речь обвиняемого, с каждой фразой звучащая все неотразимее, как речь беспощадного обвинителя фашизма, продолжается. Каждые пять минут председатель прерывает

его возгласами, то просительными, то угрожающими. То и дело слышится:

— Димитров, я запрещаю об этом говорить!.. Димитров, это выходит за круг обсуждений!.. Димитров, это пропаганда!

Но Димитров даже не оборачивается на возгласы председателя. Его голос становится ещё громче и страстней.

Председатель в крайнем возбуждении оттирает вспотевшее лицо, комкает платок и хрипло выкрикивает:

— Я запрещаю подобные выпады! — но ответом служит гневное движение рукой, словно не

ему, а Димитрову принадлежит тут право давать слово или лишать его.

— Хорошо, — с усмешкой говорит Димитров. — Я постараюсь воздержаться от характеристик. Но нельзя же не задать вопроса: господа, «рейхстаг подожгли коммунисты» — какой же здравомыслящий человек, будь он даже самым предвзятым врагом нашей партии, способен поверить в подобную чепуху, в эту позорную клевету, позорную не для нас, коммунистов, а для её авторов...

— Димитров, — с отчаянием в голосе произносит председатель, — это не клевета, а заявление имперского правительства, вы обязаны относиться к нему с

уважением. Повторяю вам снова: если вы позволите себе такие выражения как «клевета» и тому подобное, я удалю вас из зала. — И он ударил ладонью по столу, желая придать словам убедительность, которой нехватает его тону.

— Я позволю себе, господин председатель, заявить, что даже самый характер этой кле... я хотел сказать: этого обвинения — выбран клевет... я хотел сказать: обвинителями, неудачно. Вот что сказано в одном труде по подобному поводу: «...Эта война при помощи клеветы не имеет себе равной во всей истории, настолько поистине интернационален театр военных

действий, на котором она разыгрывается, настолько велико единодушие, с которым её ведут самые различные партийные группы и органы господствующих классов. После большого пожара в Чикаго телеграф разнёс по всему земному шару весть, что это дьявольская работа Интернационала. Нужно только удивляться, как не приписали его же демоническому вмешательству ураган, опустошавший Вест-Индию».

— Я запретил вам цитировать Маркса! — крикнул председатель, прерывая чтение.

Димитров поднял листок, по которому читал:

— Ваша эрудиция не делает вам

чести, господин председатель: это всего лишь отчёт лондонского Генерального Совета...

— Все равно я запрещаю цитировать что бы то ни было, — говорит председатель. — Не смейте ничего нам читать. Ничего! Слышите?.. Я вас спрашиваю: вы слышите?!

— У меня прекрасный слух...

— Так вот — никаких цитат.

— А стихи читать можно?

— Вы смеётесь над судом?

— Я совершенно серьёзен.

— Так что вы там ещё придумали? — с нескрываемой опаской спрашивает председатель. — Какие стихи?

— Стихи великого немецкого поэта Вольфганга Гёте.

Председатель вопросительно оглянулся на членов суда и, пожав плечами, бросил:

— Если он думает, что это ему поможет, пусть читает... — И, словно спохватившись, предупреждает: — Только наизусть, а то опять подсунете какую-нибудь пропаганду по своим бумажкам...

На минуту прикрыв глаза ладонью, чтобы вспомнить строки Гёте, Димитров уверенно читает своим глубоким сильным голосом:

В пору ум готовь же свой.
На весах великих счастья

Чашам редко дан покой;
Должен ты иль
подыматься,
Или долу опускаться;
Властвуй, или покоряйся,
С торжеством — иль с
горем знайся,
Тяжким молотом взвивайся
—
Или наковальной стой...

— Да, кто не хочет быть
наковальной, должен стать молотом!
Эту истину германский рабочий
класс в целом не понял ни в тысяча
девятсот восемнадцатом году, ни в
тысяча девятсот двадцать третьем,

ни двадцатого июня тысяча девятьсот тридцать второго, ни в январе тысяча девятьсот тридцать третьего...

Председатель вскакивает:

— Димитров! Последнее предупреждение!

Напрасно! Димитров уже не даёт ему сесть до конца заседания.

— Виноваты в этом социал-демократические вожди: вельсы, зеверинги, брауны, лейпарты, гроссманы. Но теперь, конечно, германские рабочие смогут это понять!

Председатель предостерегающе поднимает руку, но Димитров ещё не кончил. Он наносит последний удар:

— В семнадцатом веке

основатель научной физики Галилео Галилей предстал перед строгим судом инквизиции, который должен был приговорить его как еретика к смерти. Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул: «А всё-таки она вертится!» И это научное положение стало позднее достоянием всего человечества.

Председатель поспешно собрал бумаги и сделал полуоборот, намереваясь уйти, за ним поднялись все члены суда, но тут голос Димитрова зазвучал таким поистине глубоким убеждением и решимостью, что все они остановились.

— Мы, коммунисты, можем

сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать: «И всё-таки она вертится!» Колесо истории вертится, движется вперёд, в сторону советской Европы, в сторону Всемирного Союза Советских Республик, и это колесо, подгоняемое пролетариатом под руководством Коммунистического Интернационала, не удастся остановить ни истребительными мероприятиями, ни каторжными приговорами, ни смертными казнями. Оно вертится и будет вертеться до окончательной победы коммунизма!

Председатель трясущимися губами испуганно пробормотал:

— Боже мой, мы слушаем его
стоя!

Эгон остановил свой выбор на небольшой сумке из коричнево-серой крокодиловой кожи с замком из топаза. Это было как раз то, что должно понравиться Эльзе.

Пока приказчик заворачивал коробку с сумочкой, Эгон докурил сигарету. Курить на улице было невозможно: моросил мелкий, как туман, холодный дождь.

Выйдя из магазина, Эгон в нерешительности остановился: может быть, воспользоваться близостью «Кемпинского» и зайти позавтракать? Посмотрел на часы. Время завтрака для делового Берлина

прошло, значит Эгон не рисковал увидеть в ресторане слишком много надоевших лиц.

Он шёл, машинально избегая столкновения с прохожими. Мысли его были далеко. Все чаще и чаще, помимо его собственной воли, они возвращались теперь к тому, что осталось позади. Меньше всего хотелось думать о настоящем, и почти страшно было думать о том, что ждало его впереди... Кое-кто говорил, будто именно перед ними, военными конструкторами, открывается широчайшее поле деятельности. Даже если это и так, плодотворная деятельность под «просвещённым» руководством

какого-нибудь разбойника в
коричневой куртке?.. Слуга
покорный! Это не для него.

Если бы швейцар у подъезда
«Кемпинского» не узнал старого
клиента и не распахнул дверь, Эгон в
рассеянности прошёл бы мимо.

— Давненько не изволили
бывать, господин доктор!

— Много народу? —
осведомился Эгон.

— Завтрак уже окончился.

Действительно, просторный зал
ресторана был почти пуст. Эгон
повернул в полутёмный уголок, где
обычно сидел в прежние времена.
Когда он проходил мимо возвышения,
образующего нечто вроде ложи,

оттуда раздался возглас:

— Шверер!.. Ты или твоё привидение?

Эгон с удивлением обернулся и увидел сразу две поднятые руки. Один из приветствовавших его был широкоплечий человек с правильными чертами лица и тщательно расчёсанными на пробор темнорусыми волосами. Под левой бровью его надменно поблёскивал монокль. Стёклышко сидело там с уверенностью, какую оно приобретает в глазнице прусского офицера. Хотя этот человек и не носил военной формы, но по его манере держаться, по заносчиво закинутой голове, по всему его

подтянутому облику можно было судить, что костюм пилота «Люфт-Ганзы» не всегда облегал его плечи. Несмотря на полумрак, царивший в ложе, Эгон сразу узнал Бельца. Зато ему понадобилось подойти вплотную к ложе, чтобы в собутельнике Бельца, тучном человеке с заплывшим и красным, как медная кастрюля, лицом, прорезанным глубоким шрамом у правой скулы, узнать своего знакомого по Западному фронту, в те времена капитана пехоты, а ныне начальника штаба штурмовых отрядов Эрнста Рема. Третий был Эгону незнаком.

Прежде чем Эгон решил, соответствует ли это общество его

настроению, рука Бельца уже схватила его под локоть и властно потянула за барьер ложи.

— Ну, вот и не верь после этого в оккультные силы! — весело воскликнул Бельц. — Мы только что говорили о тебе!

— Да, да, — подтвердил Рем. — Бельц утверждал, что вы как раз тот, кого нехватает нашему движению, чтобы подвинуть авиационное вооружение на десять лет вперёд. — Он спохватился и указал на своего молчаливого соседа: — Вы незнакомы?

Навстречу Эгону поднялся сутулый человек с измятым лицом, с маленькими, хитро усмехающимися

глазками и плоскими, прижатыми к черепу ушами.

— Мой друг Эдмунд Хайнес! — представил его Рем.

Эгон едва не отдёргнул свою протянутую для пожатия руку: так вот он каков, этот руководитель штурмовиков Силезии!

Хайнес словно уловил робость, с которой в его ладонь легла рука инженера. Его глазки сощурились ещё больше.

Эгон опустился на подставленный кельнером стул. Как он оказался в обществе этих людей? И как может Бельц, которого он всегда знал за человека своего круга, пить и даже, кажется, веселиться в

такой компании... Встать и уйти? На это у Эгона не хватало мужества. Разве он мог показать своё презрение этим людям? Рука его сама потянулась к наполненному для него бокалу.

— За приятную встречу, — сказал Рем и всем своим грузным телом повернулся к соседнему столу, где, наклонившись над телефонным аппаратом и прикрыв рукою рот, чтобы разговор не был слышен, сидел четвёртый из их компании. Эгону не было видно его лица; он заметил только широкую спину, туго обтянутую коричневым сукном и прорезанную наискось ремнём портупей.

— Довольно болтать, Карл! — крикнул Рем. — Ни за что не поверю, что ты способен уделять столько внимания делам!

Он взял из вазы апельсин и бросил его в спину сидящего у телефона. Тот положил трубку телефона и подошёл к столу. Эгон запомнил наглое выражение его лица. Он был молод и самоуверен. На воротнике его рубашки были вышиты петлицы группенфюрера СА. Он молча взял бокал и, отпив несколько глотков, поставил его на место. Движения его были чётки, уверенны. Он не произносил ни слова. Даже когда Рем представил ему Эгона, он только молча кивнул.

— Мой друг, партейгеноссе Карл Эрнст, — сказал Рем. — Наверно, слышали?

Да, Эгон не мог не знать имени Карла Эрнста. Он понял, почему ему знакома эта физиономия. Карл Эрнст — бывший отельный лифтёр, а ныне командир бранденбургских штурмовиков.

Эгон боялся, как бы его глаза не выдали того, что он думал о Карле Эрнсте и его собутыльниках. Он опустил взгляд.

Бельц заметил смущение Эгона.

— Ты все тот же! — улыбнулся он. — Попрежнему только математика и математика? Знаете ли вы, господа, что если бы дать в руки

Шверера всё, что должен иметь талантливый конструктор самолётов, Геринг имел бы самый сильный воздушный флот в Европе! — воскликнул Бельц.

— Не произноси при мне имени этого борова! — проворчал Рем.

— Между вами пробежала чёрная кошка?

— Между нами стоит нечто более страшное, — мрачно произнёс Рем. — Нам двоим нет места в этом мире!

Эгон видел, что Рем пьян. Сверкая злыми глазками, толстяк стукнул кулаком по столу.

— Скоро, очень скоро мы покажем фюреру, что стоит этот его

дружок!

— Перестань, — сказал Хайнес, но Рем не обратил на него внимания.

— Есть только один путь к спасению: превращение моих молодцов в постоянную армию. Я не собираюсь стать картонным плясуном в руках толстого Германа! — На пылающей лице Рема все ярче выступали шрамы. — Гитлер презирает своих старых товарищей. Ещё бы! Он прекрасно знает, чего я хочу. Дайте нам только новую армию, с новыми генералами. Да, именно так, с новыми генералами. Верно, Эдмунд?

Хайнес молча кивнул.

А Рем, прихлёбывая из бокала,

продолжал:

— Все, что Адольф знает о войне, он получил от меня. Сам он — штатский болтун. Настоящий австрияк, чорт бы его побрал! Ему нравится торчать на троне и править со своей «священной горы». А мы должны сидеть сложа лапы? То, что придёт за мною, будет великим, неслыханным...

Хайнес положил руку на плечо Рема:

— Замолчишь ты наконец?!

Но тот не унимался:

— Честное слово, мёртвый Адольф принесёт нашему делу больше пользы, чем живой...

— Если ты не замолчишь, я

отправляю тебя спать, понял? — прошипел Хайнес.

Рем запустил пятерню в вазу со льдом, где лежали гроздья винограда, и сжал их так, что брызги сока разлетелись по всему столу.

Эгону было страшно слушать. Но не меньше он боялся и встать. Он не знал, что делать, и удивлялся спокойствию Бельца, потягивавшего вино и с усмешкой прислушивавшегося к пьяной болтовне Рема. Эгону казалось, что вот-вот должны появиться эсесовцы, схватить их всех и потащить куда-то, где придётся отвечать за страшные речи страшного Рема... Внезапно отчаянный женский крик прорезал

чинную тишину ресторана. Вырываясь из рук кельнеров, в зал вбежала худенькая белокурая девушка. Она, рыдая, упала на диван. Следом за нею ворвалось несколько штурмовиков. Один из них схватил девушку за руки и потащил к выходу. Окрик Хайнеса остановил его.

— Эй, в чём дело?

Штурмовик вытянулся перед Хайнесом.

— С ней шёл какой-то старый еврей. Когда мы взяли за него, она с перепугу бросилась сюда.

Хайнес взял девушку за вздрагивающий подбородок.

— Что ты нашёл в ней еврейского? — спросил он

штурмовика и обернулся к девушке:
— Вы еврейка?

— О, мсье! — едва слышно пролепетала она. — Мы французы. Мы настоящие французы!.. Меня зовут Сюзанн, Сюзанн Лаказ...

— А ведь мила! — усмехнулся Хайнес, обращаясь к собутыльникам. — Ну, чего ты ждёшь? — спросил он штурмовика.

Тот растерянно топтался на месте.

— Можешь итти! — сказал Хайнес.

Штурмовик щёлкнул каблуками и послушно замаршировал к двери.

— Мой отец! — воскликнула девушка. — Спасите же и моего отца!

— Эй, — крикнул Хайнес вслед штурмовику, — куда ты девал её старика?

— Его увезли для проверки.

— Спасите моего отца! — повторяла Сюзанн.

Хайнес подвёл девушку к столу.

— Как ты находишь, Эрнст? — спросил он Рема.

— Меня это не занимает.

— погоди, чудака ты эдакий. Ты же не знаешь, что я хочу сказать.

Хайнес окинул девушку оценивающим взглядом.

— Если бы тебя спросили, в чём она вкусе?

Рем взглянул на Сюзанн.

— Таких обожает Адольф! —

прохрипел он. — Чтобы они сидели рядом и смотрели на него умильными глазами.

— Ты угадал мою мысль. — И Хайнес спросил Сюзанн: — Ваша профессия, фройлейн?

— Журналистка... Собственно, я прежде была журналисткой, когда жила во Франции.

— Вот если бы вы были художницей, — сказал Хайнес, — я устроил бы вам такую карьеру, что... ого-го!

Сюзанн заискивающе улыbnулась:

— Я немного и художница... Я занималась художественным переплётom редких книг. Но это

невыгодно. Никто не переплетает теперь книги.

— Переплётёты?.. Нет, это не то!

Хайнес ещё раз внимательно оглядел девушку и подал ей бокал.

— За нашу дружбу! Ручаюсь, вы не пожалеете о сегодняшнем дне. Это говорю вам я, Эдмунд Хайнес! Едем! — Он сунул девушке в руки её сумочку и сказал Рему: — Отправляйся спать!

Ни с кем не простившись, Хайнес взял девушку под руку и повёл к выходу.

— Девчонка совсем недурна, — сказал Бельц, проводив их взглядом. — Однако не пора ли и нам?

Рем вскинул на него
воспалённые глаза:

— Тебе есть куда спешить! А я
должен чего-то ждать, потому что
старые куклы с Бендлер^[2] считают
ниже своего достоинства подавать
мне руку!

— У тебя большое
самолюбие, — отводя глаза,
пробормотал Карл Эрнст.

— При поступлении моих
головорезов в рейхсвер им даже не
засчитывают заработанные у меня
нашивки, — обиженно проворчал
Рем. — Как будто не штурмовики
сделали Адольфа тем, что он есть! А
теперь, видите ли, нашлись
моралисты, прожужжавшие ему уши:

«Рему пора укоротить руки».

— Какое тебе дело до их морали? — спросил Карл Эрнст.

Рем молча оглядел собеседников и, несмотря на опьянение, уверенно, не пролив ни капли, снова наполнил все бокалы.

— Когда люди начинают лопотать о морали, — проговорил он, — это лишь означает, что им ничего более остроумного не приходит в голову. Я горжусь тем, что в моих казармах пахнет не потом, а кровью. Ты знаешь, что они придумали? Распустить моих молодцов в годовой отпуск! Но, честное слово, если враги штурмовых отрядов льстят себя

надеждой, что штурмовики вовсе не вернутся из отпуска или вернуться в меньшем числе, то мы заставим их разочароваться! Это вы все скоро увидите. — Он мутными глазами уставился в лицо Бельцу. — Бельц, иди служить ко мне! Не пожалеешь! — Хрип, похожий на рыдание, вырвался из его груди. — Если бы ты знал, как мне нужны надёжные люди!

При этих словах пьяные слезы полились у него из помутневших глаз. И, словно это послужило сигналом, за его стулом мгновенно выросла фигура штурмовика. Он подхватил Рема под руки и, напрягая силы, чтобы удержать в равновесии

тучное тело шефа, повёл его из ресторана.

Бельц и Эгон сели в таксомотор.

— Рем говорил страшные вещи, — пробормотал Эгон.

— Я не разбираюсь в их внутренних делах. С меня достаточно того, что нам, кажется, обеспечат надёжный кусок хлеба. Советую и тебе не терять времени.

Автомобиль медленно катился по Лейпцигерштрассе.

Дождь прекратился, но было холодно, поднялся порывистый ветер.

Отто ел не торопясь, рассеянно слушая заботливую воркотню матери. Он в десятый раз принимался обдумывать фразу, которой следует начать разговор с отцом, но снова и снова оставался ею недоволен. Отто отлично знал взгляды генерала и понимал, что не имеет никаких шансов на успех, если прямо скажет, что строй ему надоел и он хочет уйти из полка. Отец выгонит его из кабинета. Помилуй бог, в этом полку служили пять поколений Швереров!.. Нужно суметь подсказать отцу мысль об уходе. Чтобы он через несколько дней преподнёс её Отто как свою

собственную.

Полк с его казармой, ежедневными учениями, со скучной канцелярщиной и без всяких видов на быструю карьеру опротивел Отто. Он, пожалуй, ещё ничего не имел бы против того, чтобы остаться в полку, если бы его средства не были так ограничены. Но служить в кавалерии, получая впридачу к жалованью жалкие гроши от отца, — слуга покорный. Подумать только: Отто даже не имеет возможности держать вторую лошадь.

А есть счастливики на свете!.. Родители дают им возможность содержать целые конюшни, участвовать в больших скачках и

concours hippiques, даже ездить со своими лошадьми за границу. Отто не мечтает о многом. Он понимает, что для участия в английском дерби нужно иметь лошадей, которые по карману немногим. Но съездить разок-другой в Ниццу, чтобы натянуть нос французам и макаронщикам, сидящим в сёдлах, как собаки на заборе, — это он должен был бы себе позволить. Если бы отец хоть немножко раскошелился... Странные взгляды на службу у старика... Однако все же, с чего начать разговор?

Отто оглядел себя в зеркало, поправил портупею, провёл обшлагом по пуговицам мундира и

осторожно постучал в дверь кабинета.

Генерал крикнул отрывисто и нарочито грубо:

— Войди!

Пусть сейчас появится не начальник штаба с очередным докладом и даже не простой адъютант, пусть это всего лишь сын Отто, всякому входящему он должен казаться суровым и сосредоточенным. Это действует дисциплинирующе.

Шверер строго сказал сыну, стоявшему навтыжку у двери:

— Твоя постель — бесполезное украшение комнаты.

Отто опустил глаза:

— Служба...

Шверер с усмешкой потянул носом воздух:

— От неё пахнет духами, от этой твоей службы!

Весёлость генерала означала, что официально вступлению можно больше не придавать значения.

Завязалась непринуждённая беседа. Шверера интересовало, что произошло вчера в полку.

Обычно Отто охотно поддерживал эту тему, но сегодня он постарался отвлечь внимание отца от службы. Он знал, как это сделать: взял с супорта станка кусочек обточенного металла.

— Тебе не надоело?

— Это заставляет кровь двигаться быстрее, — ответил Шверер и сделал такое движение плечами, словно ощущал это ускоренное движение крови.

Он подошёл к застеклённому шкафчику. На самом виду лежали его изделия из дерева, кости, но больше из металла: кошельки с секретными замками, замысловатые, но неудобные зажигалки.

Последним в ряду лежал портсигар. Старик с гордостью протянул его сыну:

— Открой-ка!

Отто сделал вид, будто ищет секрет. Он знал, что это бесполезно.

Отец действительно достиг совершенства в изготовлении таких пустяков, остроумных, но бесполезных. Кому, в самом деле, нужен портсигар с секретным запором? Отто возвратил вещьцу отцу.

— Можно потерять годы — и не откроешь! — сказал он, чтобы польстить старику.

— То-то! — Шверер движением фокусника открыл портсигар, окинул Отто торжествующим взглядом: — Теперь мне хочется сделать флейту.

— Флейту?! — удивлённо спросил Отто.

— Да, да, хорошую флейту! — Шверер хотел объяснить, какой будет

эта флейта, но вдруг заметил в глазах сына выражение растерянности. — Что-нибудь не в порядке?

Отто улыбнулся через силу:

— Нет, все отлично...

Генерал рассмеялся и достал из стола два билета по сто марок. Но тут же быстро, так, чтобы не заметил Отто, бросил один билет обратно. Подмигнув, протянул второй сыну:

— Бери, бери, я знаю, что такое служба в кавалерии.

Отто не удержался от вздоха:

— К сожалению, ты не знаешь, что такое служба в наше время.

— Я тебя не понял.

— Служить без перспективы...

Генерал нахмурился:

— И снова не понимаю.

— Нельзя же серьёзно рассчитывать на войну в нынешних условиях! Где наше вооружение? Где военная промышленность? Наше положение безнадёжно!

— Не повторяй газетной чепухи! Это для народа. Мы вовсе не так одиноки, как хотим казаться. Существование нашей армии — вопрос жизни не только для нашей промышленности, но и для английской и отчасти американской. Там заинтересованы в нас не меньше нас самих. Крупп — не только Крупп. Это Шнейдер-Крезо, это Виккерс, это Мицуи, это Ансальдо! «Фарбениндустри» — это Дюпон,

это «Импириел кемикл»!.. Понял?

— Нет.

Генерал с недоверием посмотрел на сына.

— В самом деле?..

Отто пожал плечами.

— Так ты же невежда! —

Шверер удивлённо глядел на Отто, словно видел его впервые. — Не знать, что в последней войне, когда мы вступали в Бельгию, в нас стреляли из немецких пушек, изготовленных для бельгийцев Круппом? Что Шкода, вооружавший австро-венгерскую армию, контролируется французской фирмой Шнейдера? Что итальянская и болгарская артиллерия была

вооружена французской
семидесятипятимиллиметровой?
Что итальянские крейсера строились
Виккерсом и Армстронгом?

— Недоразумения, разумеется,
могли иметь место, — пробормотал
Отто.

— Так, значит, для тебя все это
«недоразумения»?! — Шверер
мелкими шажками подбежал к
одному из шкафов и отыскал там
книгу. — Я прочту тебе несколько
выдержек, чтобы ты не думал, будто
я преувеличиваю. — И Шверер
скороговоркой прочёл вслух
несколько мест из книги, в которой
уверенно находил нужные ему
страницы: — «...Теперь о меди для

Германии. Немцы крайне нуждались в этом металле, и английские коммерсанты пришли им на помощь». — Шверер взглянул на Отто и с особенным ударением сказал: — Ты слышишь: английские коммерсанты! А у нас в ту войну не было более злого врага, чем Англия... Итак: «англичане пришли на помощь Германии. Они стали снабжать медью нейтральные страны, откуда медь могла немедленно перевозиться в Германию. Таким образом, было переправлено...» Пропускаю цифры, они тебе ничего не скажут. «... Аналогичная история произошла с никелем, главными поставщиками

которого были Канада и Французская Каледония. Ничем не лучше французов и англичан были американцы. Пресловутая немецкая подводная лодка „Дейчланд“, как известно, доставила во время войны в Штаты большую партию химических товаров, изготовленных „Фарбениндустри“, в которых крайне нуждалась американская военная промышленность. Разве американские дельцы отказались от этих товаров, предложенных „врагом“? Они их приняли, и в обмен „Дейчланд“ увезла из Америки тот же никель. Шестьсот тонн никеля, изготовленного американским заводом из французской руды...»

Отто с деланым возмущением перебил отца!

— Махинации дельцов!

— Вовсе нет. Если бы заводы Цейса в Иене не снабжали своими приборами англичан и американцев, и тем и другим очень трудно было бы воевать с Германией.

— Так зачем же Цейс это делал?

— Чтобы Германия могла получить нужные ей никель, нефть, медь. — Шверер поставил книгу на место. — Тебе следует познакомиться со всем этим. Штабной офицер должен это понимать, чтобы знать сильные и слабые места противников. — Он отыскал на другой полке тетрадь. —

Вот схемы связи американских концернов Дюпона и Моргана. Смотри, какая сложная цепь интересов во всем мире: через английского Виккерса — в Японию и Турцию; дальше линия тянется во Францию к Шнейдеру, оттуда — в Чехословакию к Шкода. Через банки в Лондоне и Гамбурге — к Круппу и Тиссену. И снова, собрав все эти нити в один узел, связь, как толстый канат, тянется за океан, в Нью-Йорк. Теперь-то ты понимаешь, в чём тут дело?

— Смутно...

— Поумнеешь — поймёшь!..

Они никогда не пойдут на то, чтобы позволить задушить нас. Не могут

пойти. Не только потому, что в это дело вложены их капиталы, так же как и наши собственные, но и потому... — тут Шверер сделал шаг к сыну и наставительно поднял палец, — но и потому, что немецкая армия им нужна для борьбы с востоком, с тем самым востоком, понятие которого ассоциируется в наши дни с коммунизмом. Это-то ты понимаешь?

— Это я понимаю, — с ударением сказал Отто.

— А остальное поймёшь в академии.

Тут Отто счёл удобным вставить:

— Мне действительно пора

бросить строй?

Генерал посмотрел на него из-под очков и несколько раз удивлённо моргнул выпуклыми, как у всех близоруких, глазами.

— С тем мусором, что у тебя в голове? — Он фыркнул. — Когда будет пора, я скажу сам... Да, сам!

Отто исподтишка посмотрел на часы. Генерал перехватил его взгляд и сердито махнул рукой в сторону двери.

Отто круто, по уставу, повернулся на каблуке и вышел.

Шверер ещё некоторое время, насупившись, глядел на затворившуюся за сыном дверь, потом вернулся к столу и

раздражённо передвинул с места на место несколько листков рукописи. Под руку попала пачка советских газет. Шверер отыскал «Красную звезду».

Он достаточно хорошо знал русский язык, чтобы почти не прибегать к словарю.

По мере чтения Шверер заинтересовывался все больше. Он забыл даже о времени.

Потом в раздражении бросил газету и прошёлся по кабинету: он же говорил!.. Он говорил: время, время!..

Снова схватил газету.

«...Если в 1929 г . на

одного красноармейца приходилось в среднем по всей РККА 2, 6 механических лошадиных сил и в 1930 г. — 3, 07, то в 1933 г. — уже 7, 74. Это значительно выше, чем во французской и американской армиях, и выше даже, чем в английской армии, наиболее механизированной...

...Было время, когда все мы — командующие и члены Ревсовета — тревожились вопросом: справятся ли со сложной

незнакомой техникой наш
командир и красноармеец?

Опасения наши
рассеяны
действительностью.

Красная армия восприняла
технику с любовью,
рвением и интересом. Это
видно хотя бы из того
факта, что за один
истёкший год мы имеем
152 тыс. предложений от
бойцов, командиров и
политработников, от целых
взводов и коллективов по
линии технических
изобретений и
рационализации...»

Шверер потряс газетным листом и с недоумением воскликнул:

— Рационализация?! Генералы, выслушивающие предложения своих солдат?! Пфа!

— Человек всегда о чём-нибудь сожалеет. Например, сейчас я жалею о том, что господь бог не сделал меня скульптором. Я взял бы тебя в качестве модели для статуи «Мировая скорбь»!..

Эгон поднял голову и увидел Отто.

— Решил кончать со строем, — сказал Отто, опускаясь на скамью рядом с братом. — Казарма, плац, казино и снова казарма? Нет,

довольно!

— Но ведь тебе нужен строевой стаж, чтобы попасть в академию.

— Академия? С этим тоже покончено.

— Вероятно, для отца это удар?

— Не вздумай ему об этом докладывать.

— Но он, без сомнения, сам узнает.

— Э, мой друг! Тот, чьим адъютантом я сделаюсь на днях, не пойдёт советоваться с отцом! — Отто быстро оглянулся и, несмотря на то, что поблизости никого не было, сказал шопотом: — Меня рекомендовали Рему.

Эгон испуганно отодвинулся.

— Ты понимаешь, что говоришь?

— О да, я уже виделся с ним! Мы отлично поняли друг друга. Рему нужны люди из рейхсвера, которым он мог бы доверять. Именно офицеры! Не сегодня-завтра он станет во главе армии. Ты понимаешь, какой скачок я сразу делаю?

— Ты отважился сказать отцу о своём решении?

— Он просто не понял бы, но ты должен понять меня.

— И ты согласен надеть форму штурмовика?

— Я же сказал тебе: придя в рейхсвер, Рем не может привести с

собою в качестве адъютанта кого-то из банды лавочников, которые окружают его теперь. Сам он — человек нашего круга. Такой же офицер, как я, каким был ты сам...

— Ну, что касается моего офицерского прошлого, то ты лучше сделаешь, если не будешь о нем вспоминать.

— Теперь-то самое время вспомнить об этом.

Эгон с горьким чувством смотрел на младшего брата — живое свидетельство удивительных превращений, происходящих в сознании немцев!

— Ты становишься участником очень опасной игры, — сказал он.

— Не нужно из всего делать трагедию, мой дорогой доктор.

— А если планы Рема провалятся?

— Ну, — Отто неопределённо помахал рукой, — тогда: трубач, играй отбой! Вернусь в полк.

— Я видел Рема, Отто, — сказал Эгон. — Видел и слышал от него то, чего он, наверное, не скажет тебе.

— Ты? — Отто вскочил от удивления. — Ты?

Эгон рассказал брату про встречу в ресторане Кемпинского. Он думал, что его рассказ испугает Отто. Но тот рассмеялся.

— Все, что ты слышал, не больше чем результат лишнего бокала

шампанского! Рем слишком любит удовольствия, чтобы играть своей головой... Кстати, о Хайнесе! Ты говоришь, он уехал куда-то с девчонкой? Это забавно! — Отто взглянул на часы. — Через полчаса мне предстоит быть у него... Или я попаду очень некстати, или как нельзя более вовремя!..

Он встал, одёрнул шинель.

— Будь здоров, милый доктор! Право, не стоит предаваться мировой скорби из-за того, что твоя математика теперь не в моде!

Он козырнул и пошёл прочь той особенной деревянной походкой, которою ходит только одна порода людей — немецкие офицеры.

Эгон, не двигаясь, смотрел вслед брату.

Как все это странно! Вот и его брат несёт такую же бессмыслицу, строит какие-то планы, как те, в ресторане!.. Они теперь распоряжаются жизнью. Они намерены, повидимому, продолжать своё дело: строить коричневую империю, какое-то разбойно-солдафонское государство, существа которого Эгон не может разгадать. Они кричат о «национальной революции», о «свержении плутократии», а в то же время ходят упорные слухи, что вся ремовская армия содержится за счёт «Фарбениндустрии»... Какая-то

немыслимая путаница, в которой он не может разобраться!.. И тут же крики о реванше, — сейчас, когда немцы ещё не забыли ужасов той войны!.. Реванш?.. Чьими руками, какими средствами?..

Эгону не было известно, как обстояло дело с другими частями имперской военной машины, но авиацию-то он знал достаточно. Может быть, через год-другой Геринг и будет командовать реальной силой, но сегодня его армады — миф, созданный молвой. Уж это-то верно! Недаром всё-таки Эгон авиационный конструктор!

Его давно уже мутило при мысли о том, что выходящий из-под

его пера красивый математический расчёт должен превратиться в конкретные формы военных самолётов. Он на своём хребте испытал всю прелесть этого оружия. Но, увы, сетовать поздно! Наци не страдают предрассудками. Они крепко держат в руках тех, кто им нужен. Эгон уверен: заикнись он о своём нежелании работать в военной промышленности — и тотчас же наци забыли бы, что он талантливый конструктор, сын генерала и сам в прошлом офицер-лётчик. С него сорвали бы колодку орденских ленточек; его швырнули бы в один из этих загонов, вроде Дахау. Его уничтожили бы там, чтобы он

никогда никому не мог выдать ни одного их секрета. Об этом нельзя забывать. Пусть лучше вся эта банда воображает, будто доктор Шверер — добротный винтик в их военной машине. Пусть даже смотрят на него, как на хорошо оплачиваемую прислугу. Он не обижается...

Его вывел из задумчивости холод мокрой скамьи, проникший сквозь пальто. Он провёл рукою по глазам и почувствовал, что рука стала влажной. И пальто и шляпа — все было мокрым.

Эгон поднялся и устало побрёл прочь. Дойдя до калитки, он вспомнил, что забыл на скамейке коробку с сумочкой. Вернулся, взял

пакет. Бумага потемнела от воды и прорвалась на углах. Эгон зажал покупку подмышкой, поднял воротник и сунул руки глубже в карманы. Шёл, не поднимая головы. Решил перейти улицу и сошёл на мостовую. У самого уха раздался гудок автомобиля.

Одновременно с ударом в левый бок Эгон услышал шипение шин по мокрому асфальту. Падая, он закрыл глаза...

Шофёр выскочил из машины и подбежал к Эгону.

— Капитан! — воскликнул он.

Эгон упал на одно колено, опираясь рукою о грязную мостовую. Над его головою возвышалось крыло

автомобиля.

— Господин капитан! —
повторил шофёр.

— Лемке!

Эгон протянул шофёру грязную
руку.

— Вы не ушиблись? — с
беспокойством спросил Лемке,
заботливо усаживая Эгона в
автомобиль.

— Я сам во всем виноват!

— Я рад, я очень рад вас
встретить, господин капитан!

Эгон рассмеялся:

— Какой я к чорту капитан? Это
все забыто.

— Да, это было давно.

— Но я действительно только

что думал о наших старых временах.

Это была правда. То, о чём только что думал Эгон, имело прямое отношение к Францу Лемке. Именно он, Франц Лемке, в прошлом его бортмеханик и унтер-офицер, на многое открыл глаза обер-лейтенанту Эгону Швереру. Эгон как сейчас помнит ту ночь, когда оба они, раненные, лежали под обломками своего «Фоккера», сбитого англичанами между линиями окопов. Надежды на спасение у них не было. Смерть казалась неизбежной, и Лемке выложил Швереру всё, что думал о войне. Он уверял, что так же, как он, думает весь народ, за исключением небольшой кучки тех,

для кого война была выгодным предприятием. А простые люди или сами участвуют в драке, или знают войну со слов сыновей, мужей, отцов и братьев, сидящих по горло в крови и грязи в окопах Франции, России, Галиции, Румынии, Турции. Лемке высказал непоколебимую уверенность в том, что совершенно так же, как он, думают и вражеские солдаты, сидящие в окопах напротив...

В ту памятную ночь обер-лейтенант Шверер сделал открытие: унтер-офицер Лемке лучше него знает жизнь. Эгон боялся проронить хотя бы слово. Да, так внимательно Эгон не слушал в университете

любимейших профессоров.

Позже Лемке признавался, что, лёжа в госпитале, он каждый день ждал перевода в военную тюрьму. Ему не верилось, что откровенный разговор с офицером может кончиться чем-либо иным.

Ранение дало обоим возможность перейти на службу в тыл. Шверер стал руководителем авиационной лаборатории; механик — его шофёром. По окончании войны они расстались, их жизненные пути разошлись. Доктор механики Эгон фон Шверер продолжал идти по дороге авиационного конструктора, проторённой для него войной, шофёр же вернулся к своей мирной

профессии рабочего-металлиста. Он не стал объяснять своему бывшему шефу, что этот выбор продиктован ему не только привязанностью к родному делу, но и приказом партии. Ей нужны были свои, надёжные люди в рабочей среде — ведь там ковались кадры бойцов против реакции, которая потихоньку, втайне, но настойчиво, с нескрываемой надеждой на окончательную реставрацию, выглядывала из-за псевдодемократического занавеса Веймарской республики.

После того как Эгон потерял из виду Франца Лемке, идеи, с которыми тот пытался его познакомить, постепенно отходили

на задний план, оттесняемые работой, привычными интересами круга, в котором он вращался, и семейными делами.

Эгон давно уже был почти чужим в доме отца. Если бы не любовь к матери, страдавшей от распада семьи, Эгон давно переехал бы на другую квартиру. Немного легче стало с тех пор, как фирма перевела Эгона в новый филиал самолетостроительного завода в Травемюнде. Бывать дома приходилось теперь лишь изредка, в дни поездок в Берлин.

Самым неприятным при посещении дома были встречи с братьями. Если Отто ещё можно

было терпеть, как поневоле терпишь других фанфаронов, то младший брат, Эрнст, был совершенно невыносим. С тех пор как он надел форму гитлеровской организации молодёжи, его наглость превосходила все границы. Мальчишка дошёл до того, что устроил в доме отца проверку прислуги: нет ли в жилах кухарки и горничной следов неарийской крови? Эгон не мог этого выносить...

— Позвольте, Лемке! — воскликнул Эгон, с удивлением оглядывая собеседника. — Я помню: профессия шофёра была для вас лишь временным отходом в сторону

от основного дела.

Лемке постарался изобразить удивление:

— Что вы, господин доктор!

Но Эгон настаивал:

— Да, да, я отлично помню.

Когда вы соскакивали с сиденья, чтобы отворить мне дверцу автомобиля, у вас всегда бывал такой вид, будто это вас унижает.

— Право же, господин доктор, — с некоторым смущением пробормотал Лемке, — это вам так показалось.

Как бы хорошо он ни относился к Эгону, он вовсе не намерен был объяснять ему, что необходимость отворять дверцу хозяину так же

отвратительна ему теперь, как тогда, но что он без всякого протеста выполняет её и будет выполнять впредь, пока партия не освободит его от обязанности сидеть за рулём автомобиля. Лемке не собирався объяснять своему бывшему офицеру, что фуражка с галуном и медные пуговицы шофёрской куртки были для него не удовольствием, а средством конспирации в государстве, где всякий немец, не желавший сложить оружие перед диктатурой Гитлера, — а такими немцами были все коммунисты, — должен был внешне перестать быть тем, кем был.

— А вы все тот же? —

неопределённо спросил Эгон у Лемке.

— В каком смысле, господин доктор?

— Я имею в виду ваши взгляды.

Лемке искоса посмотрел на Эгона:

— Позвольте ответить вопросом: а вы?

Несколько мгновений Эгон смотрел на шофёра непонимающе, потом расхохотался.

— Вы, может быть, думаете, что я принадлежу теперь к гитлеровской команде? Нет, дружище, вспомните, что сблизило нас, и вы поймёте: для вас я всегда останусь тем, кем был...

Лемке улыбнулся:

— Это хорошо, очень хорошо, господин доктор!

— А вы, Лемке?

— Я?.. Я все тот же!

— Это тоже хорошо, очень хорошо! — в тон ему ответил Эгон.

Они помолчали.

— Куда я должен вас доставить? — спросил Лемке.

— Если бы я так не выпачкался, то предложил бы посидеть где-нибудь за кружкой пива. У нас есть о чём поговорить.

— Мы это и сделаем. Где-нибудь подальше от центра. У вас есть время?

— Я не спешу.

— В таком случае... — Лемке

притормозил машину и бросил взгляд на часы. — А что, если я предложу вам до того небольшую прогулку?

— В такую погоду?

— Погода нам не помешает. Куда-нибудь подальше, где меньше народу. Хотя бы в Грюневальд.

Эгон пожал плечами.

Некоторое время они ехали молча. Лемке опять посмотрел на часы и сказал:

— Вам будет интересно послушать одну радиопередачу.

— Что-нибудь особенное?

— Москва... — сказал Лемке и быстро взглянул на Эгона, как бы пытаясь уловить впечатление, какое

произвело на того это слово.

— Что-нибудь особенное? — переспросил Эгон без большого интереса.

— Так... одна речь. Мне хочется её услышать.

— Если это вам интересно... Я ведь не знаю языка.

— Мы услышим перевод.

— То, за что сажают в Дахау?

— Да.

— Кто же согласится настроить приёмник?

— Мы будем слушать из автомобиля.

Они проезжали безлюдные аллеи Грюневальда.

Лемке настроил приёмник.

Сквозь гудение слышался шорох и плеск, словно волны прибоя ворошили крупную гальку на берегу моря. Это были рукоплескания. Они затухали и снова вздымались. Напрасно слабенькой серебряной струйкой рвался в эфир звонок председателя. Наконец аплодисменты затихли. Наступила секунда гулкой тишины.

И вот кто-то заговорил на незнакомом Эгону языке.

Эгон наклонился к Лемке и, невольно понизив голос, спросил:

— Что это?

Так же тихо Лемке ответил:

— Съезд...

— Съезд?..

— Съезд компартии в Советском Союзе.

Эгон вынул папиросу и с удивлением заметил, что его пальцы дрожат. Он поспешно опустил руку. Ему не хотелось, чтобы Лемке заметил это неожиданное волнение, охватившее его.

Радио умолкло.

— Наверно, сейчас будет перевод, — сказал Лемке.

Из-за угла показалась фигура полицейского. Лемке выключил аппарат и тронул машину с места.

Они ехали довольно долго.

Наконец Лемке остановился и повернул выключатель. Эгон услышал тот же голос. Как и прежде,

он не понимал слов. И тут его мысль словно передалась Лемке: он стал негромко переводить слово за словом. Иногда он не поспевал за оратором, и тогда Эгон чувствовал пропуск. Иногда выпадали целые фразы. И все же Эгон слушал, затаив дыхание:

— ...Шовинизм и подготовка войны, — переводил Лемке, — как основные элементы внешней политики, обуздание рабочего класса и террор в области внутренней политики, как необходимое средство для укрепления тыла будущих военных фронтов, — вот что особенно занимает теперь современных империалистических

политиков...

Сильные разряды заглушили голос в репродукторе. Когда они затихли, Эгон снова услышал негромкий голос Лемке рядом с голосом оратора:

— Победу фашизма в Германии нужно рассматривать не только как признак слабости рабочего класса и результат измен социал-демократии рабочему классу, расчистившей дорогу фашизму. Её надо рассматривать также, как признак слабости буржуазии, как признак того, что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной демократии... как признак того, что

она не в силах больше найти выход из нынешнего положения на базе мирной внешней политики, ввиду чего она вынуждена прибегнуть к политике войны...

Ах, как несносны эти разряды — они заглушают даже голос Лемке...

— ...Если, несмотря на опыт первой империалистической войны, буржуазные политики все же хватаются за войну, как утопающий за соломинку, то это значит, что они окончательно запутались, попали в тупик и готовы лететь стремглав в пропасть!..

Из калитки ближайшей виллы вышла женщина с сумкой. Лемке

умолк, повернул регулятор. Голос в репродукторе стал едва слышным. Слов уже нельзя было разобрать.

Репродуктор издал сухой треск.

Эгон огляделся и увидел, что они мчатся навстречу дождю и снегу, залепившему переднее стекло так, что сквозь него почти ничего не было видно.

Эгон успел заметить промелькнувшие сбоку фигуры двух медленно шагающих полицейских. Их чёрные клеёнчатые плащи блестели под дождём.

Приглашение на обед к Гевелингу в отель «Адлон» было приятно уже тем, что позволило Роу скоротать ничем не заполненный вечер. Несмотря на профессиональную зоркость и умение вылавливать из кучи светских условностей зерно истины, Роу так и не разгадал, чему он был обязан приглашением нефтяного короля сэра Генри Гевелинга.

Допустим, что Гевелинг при случайной встрече в театре узнал в нём человека, с которым встречался в Грейт-Корте, — этого было мало для приглашения на обед. Допустим, что

любопытство толкало сэра Генри узнать у осведомлённого журналиста, что болтают в обществе о его недавней женитьбе на парижской кокотке. Но не рассчитывал же он на то, что Роу выложит ему правду?

Что же ещё можно было предположить?..

Роу не приходило в голову, что Гевелинг мог и вовсе не желать ничего узнать от него и был вполне удовлетворён тем, что смог невзначай, так что Роу этого и не заметил, высказать ему собственное мнение по поводу происходящего в Германии. Знал ли хитрый старый нефтяник, что, выкладывая свои взгляды английскому журналисту

Уинфреду Роу, он как бы шепчет их прямо в ухо тому, кому они предназначались, но кому он не могли не хотел высказать их непосредственно? Или было простой случайностью то, что Гевелинг разоткровенничался с повстречавшимся ему в Берлине англичанином?

Этого тоже не дано было знать Роу. В иерархии британской секретной службы он знал только своих официальных начальников. Об именах тех, кто из-за тёмных кулис направлял её усилия и диктовал свою волю, он мог только догадываться. И то лишь про себя.

Так или иначе, Роу считал вечер

проведённым с пользой. Он даже склонен был отнести к своей заслуге то, что из высказываний Гевелинга сделал совершенно ясный вывод: политика твёрдой власти в Германии, направленная к скорейшей и полной ликвидации всяких элементов коммунистического движения, — это как раз то, что устраивает сэра Генри. Больше того, утверждение национал-социализма как зародыша международной полиции для всей Европы, между Рейном и Волгой, — это то, что кажется совершенно необходимым всем, от чьего имени сэр Генри считал себя вправе говорить.

Роу окончательно утвердился во мнении, что нужно помочь Годару убрать оправданного лейпцигским судом Димитрова.

Цепь логических умозаключений привела Роу к тому, что, с точки зрения сэра Генри, такой деятель, как Димитров, опасен не только в качестве непримиримого носителя идей, враждебных нефтяной державе Гевелинга. Димитров опасен и как сила, непосредственно и активно сопротивляющаяся той самой власти твёрдой руки, установление которой почиталось неременным условием спасения от большевизма. Победа Димитрова была поражением наци,

тех самых наци, которые через посредством Белла получили от сэра Генри не одну сотню тысяч фунтов стерлингов на укрепление своей власти. Чтобы избежать в будущем новых поражений, сэр Генри полагал необходимым в корне уничтожать их живую первопричину — коммунистов.

Это было для Роу задачей сегодняшнего дня, даже без загляда в будущее, где рисовались широкие возможности использования немецкого фашизма как авангарда экспансии на восток. Эти планы были свойственны империалистскому складу его ума. Роу не нужно было даже получать на

этот счёт каких-либо разъяснений нефтяного короля. Они вытекали сами собою из скупых намёков. Логика и тут приводила Роу к Димитрову. Димитров был болгарин, деятелем коммунистической партии страны, лежащей на пути к нефти Малой Азии и Кавказа. Роу уже на заседании суда увидел, кто такой Димитров. Наличие такого деятеля на Балканах отнюдь не облегчит путь сэра Гевелинга на восток.

Не сегодня-завтра Димитров будет выпущен из тюрьмы. Правда, несмотря на оправдательный приговор суда, наци не освободят Димитрова раньше, чем какая-либо

страна согласится впустить его к себе, но тут можно было не сомневаться: Советский Союз окажет ему гостеприимство. И кто знает, сумеет ли Геринг выполнить свою угрозу на коротком расстоянии между тюрьмой и границей Германии?..

Роу остановился, чтобы закурить, и огляделся. Силуэт Бранденбургских ворот остался далеко позади. В воздухе стоял аромат распускающихся почек Тиргартена. Роу не любил Берлина, его мрачных тонов и тяжёлых очертаний, не любил берлинцев с их суетливой грубоватостью, он не любил даже берлинской зелени —

такой хudosочной и бледной по сравнению с той яркой и вечно влажной листвой, которую он привык видеть на родном острове.

Пока Роу закуривал, отойдя несколько десятков шагов от «Адлона», возле него остановилось такси, и шофёр услужливо отворил дверцу. Роу подумал, сел и назвал улицу неподалёку от Темпельгофского аэродрома.

Если он застанет дома лётчика Бельца, коротающего в «Люфт-Ганзе» годы вынужденного антракта в жизни немецкой военной авиации, можно будет почти наверняка найти способ отделаться от Димитрова и за пределами Германии. Все сделает

маленький аппарат с часовым механизмом, положенный в чемодан пассажира или просто в тот самолёт, в котором полетит Димитров.

Бельц вполне надёжный немец. Он уже оказывал Роу кое-какие услуги, когда работал на западных линиях. Правда, он играет в порядочность и поэтому дорого берет, но игра стоит свеч. Немцы вон сколько истратили впустую на организацию целого процесса. Сотня фунтов не разорит секретную службу Британии...

Все устроилось лучшим образом: лётчик брался сделать все. Когда Димитров переседет в

Кенигсберге в самолёт «Дерулюфта», он, Бельц, подсунет туда любой сюрприз, какой заготовит для него Роу.

Роу даже рассмеялся от удовольствия при мысли, что когда-нибудь ему, может быть, представится случай рассказать толстому Герингу, как он опередил его в выполнении его собственной крикливой угрозы. Можно было себе представить, как надуется от зависти эта самонадеянная жаба!

Да, Роу даже рассмеялся вслух. Он беззаботно отмахнулся от мысли, что нужно было бы предупредить Годара: майор может спокойно возвращаться в Париж. Эти французы

вечно опаздывают...

Уже пятнадцать лет немецкие военные теоретики трудились над объяснением того, как случилось, что две с половиною тысячи немецких генералов, каждый из которых в отдельности выиграл хотя бы одно сражение, умудрились все вместе проиграть величайшую в истории Германии войну. С их точки зрения это поражение означало больше, нежели государственную катастрофу. Оно стоило им армии. Теперь вот её преемник, германский рейхсвер, не имел права подойти к Рейну ближе, чем на пятьдесят километров.

А Рейн все так же катил свои

мутные волны с юга на север. И Мейзетурм стоял на том же месте, как в те времена, когда епископа Каттона съели мыши. И у Лорелеи все так же кружил водоворот. Мало что изменилось на Рейне за тридцать веков, если, конечно, не считать того, что вместо боевых челнов вестготов по нему плыли многочисленные барки, пароходы и теплоходы, пассажирские и грузовые, стальные и деревянные. Железо и уголь были их главным грузом. По меньшей мере уже полвека, как поэтический Рейн стал рекою железа и угля...

В это утро от пристани старого города Кобленца отвалил пароход, не

очень большой и довольно потрёпанный. На этом пароходе вниз по Рейну отправилась в экскурсию шумная ватага юношей.

Одного из них, худощавого семнадцатилетнего парня с нездоровой жёлтой кожей красивого лица, звали Эрнстом Шверером.

Юноши расположились на передней палубе. Директор гимназии Шнյупфлер договорился с капитаном: вся эта часть парохода отводится школьникам, посторонние не будут сюда пропускаться.

Эрнст предложил выставить в проходах пикеты. Тогда никто не помешает экскурсантам проводить время, как они хотят.

— И, как настоящие часовые, мы будем сменяться каждые два часа! — в восторге подхватили школьники.

— Нет, — возразили другие, — каждый час! Иначе не все успеют постоять на карауле.

Несколько человек, назначенных в первый караул, тут же вытащили значки гитлерюгенда и заняли посты. Когда пароход отчалил и пристань с полицейскими стала удаляться, Эрнст подошёл к борту и запел песню штурмовиков. Директор Шнюпфлер обеспокоенно поглядывал в сторону капитанской рубки: ведь он дал подписку о том, что не допустит никаких

демонстраций, а эта песня...

Шнюпфлер знаком подозвал Руппа Вирта. Вирт был единственным в школе, кто силой голоса мог соперничать с Эрнстом Шверером.

— Послушай, Руппхен, — ласково сказал директор, — нужно спеть что-нибудь другое. Ты меня понимаешь — здесь ещё не настало время для этой нашей песни.

— Да, понимаю, господин директор, — сказал Рупп.

— Затяни «Вахт ам Рейн»^[3]. Это будет более уместно.

«Вахт ам Рейн»? Это было совсем не то, что хотелось бы спеть Руппу, но, чтобы досадить

заносчивому Эрнсту, он готов был исполнить просьбу Шнյупфлера. Он откинул со лба прядь густых каштановых волос и расстегнул воротник рубашки. Он начал прямо со второго куплета, так как знал, что ребята охотно подхватят именно его.

И действительно, школьники один за другим покинули Эрнста и присоединились к Руппу. Даже маленький остроносый тихоня Фельдман старательно выводил куплеты гимна.

Эрнст умолк. Он, конечно, понимал осторожность Шнյупфлера, но — прерывать песню СА? Это, пожалуй, слишком даже для директора. Об этом Эрнст

непременно кое-кому доложит.

Обиженный Эрнст ушёл на самый нос парохода. Там, развалившись на скамье, он закурил. По установленному в их школе этикету, он должен был бы спросить на это разрешение Шнյупфлера, но пусть-ка профессор позлится и подумает о том, следует ли прерывать такую песню, особенно когда поёт он, Шверер. В конце концов наплевать на то, что Шнյупфлер директор. Завтра — Эрнст уже не гимназист. Если у него ещё и нет в кармане билета наци, то ведь причиною тому простая формальность. Ему нехватает каких-то двух месяцев до установленного

возраста. Тогда он сможет стать таким же партийгеноссе, как сам Шнюпфлер. И неизвестно, кто окажется на более высокой ступени партийной лестницы — он, Эрнст фон Шверер, или этот замухрышка, переименованный из простого шпики в профессора только для того, чтобы можно было назначить его директором гимназии.

Эрнст сквозь зубы сплюнул через поручни.

С трудолюбивым постоянством шлёпали по воде плицы колёс. Снизу, из недр парохода, доносилось мерное дыхание машины и изредка прорывалось далёкое бренчанье не то пианолы, не то радио.

Эрнст опустил голову на руки, лежавшие на поручнях борта. Он почувствовал, как все судно сотрясает едва уловимая дрожь, порождаемая где-то в глубине машинного отделения. Там билось старое сердце парохода, старого немецкого парохода.

Было смешно глядеть, как барахталось в воде это неуклюжее корыто, и даже немножко стыдно перед пассажирами новых винтовых теплоходов, легко обгонявших «Золото Рейна».

«Золото Рейна»?

Мечты Эрнста были не очень ясны, но вполне целеустремлённы. Поколение Эрнста заново перепишет

древние сказания. Придёт новый Зигфрид, на нём будет коричневая рубашка со свастикой на рукаве. Он схватит за глотку весь мир!

Эрнст поднял голову. Впереди по правому берегу реки пейзаж начал меняться. У стоящего на вершине высокой горы замка кончилась яркая зелень садов. Вдали над берегом нависла чёрная, тяжёлая туча дыма.

Эрнсту помнилось, что где-то неподалёку, за Мюльхафеном, должны находиться заводы Круппа. Может быть, вон та тёмная дымка на горизонте и рождена высокими трубами этой кузницы германского оружия? Эрнст хорошо помнил, с какой гордостью отец ещё в детстве

рассказывал ему историю этих заводов. Он как сейчас видит отца за письменным столом, читающего целую лекцию о рождении нарезной пушки, которую он так и называл «наша немецкая пушка». Отто был уже кадетом, а Эрнст маленьким мальчиком, завидовавшим мундиру старшего брата. Эрнсту кажется, что он тогда слушал отца с гораздо большим вниманием, чем Отто. У старшего брата был такой вид, словно все эти рассказы о пушках и войнах уже надоели ему в корпусе. Наверно, он только и думал, как бы поскорее избавиться от отца и по-своему использовать оставшиеся несколько часов отпуска...

Растянувшись на скамье, на залитой солнцем палубе парохода, Эрнст закрыл глаза, и перед ним снова возникла эта же картина: сумеречный отцовский кабинет, почтительно вытянувшийся на стуле Отто и генерал, сидя за большим столом, мерно постукивающий костлявым пальцем по крышке бювара и мерно говорящий:

— ...И ещё при жизни Клаузевица Альфред фон Крупп основал в Эссене оружейный завод, который я считаю классическим прусским заводом. С годами он стал основным — самым совершенным и самым продуктивным — поставщиком пушек для всей

Европы. В 1846 году господин Альфред Крупп выпустил со своего завода первые нарезные орудия, ставшие гордостью нашей немецкой артиллерии. По дальнобойности с ними не могли состязаться пушки других армий, потому что пушки были гладкоствольными. В XX столетии Крупп вооружал своими пушками армии тридцати четырех государств. В числе его иностранных покупателей были Австрия, Италия и даже Россия, всегда гордившаяся своим умением изготавливать пушки. Ко времени франко-прусской кампании семидесятого года территория завода составляла уже тысячу моргенов и на нём работало

десять тысяч человек... — перестав стучать по столу, генерал наставительно поднял палец. — Как Клаузевиц в области стратегии, так Альфред Крупп в области промышленности является отцом современной войны...

Весёлые крики гимназистов заставили Эрнста открыть глаза. Первым, кого он увидел, был маленький щуплый Фельдман. Эрнст брезгливо скривил губы и подумал, что если бы ему принадлежала власть в Германии, или нет, не так: когда ему будет принадлежать власть в Германии, он пошлёт всех этих фельдманов на заводы Круппа. В самые жаркие литейные. В самые

шумные кузницы. Туда же он непременно отправит и таких, как Вирт...

Лениво потягиваясь на скамье, он искал глазами Вирта. Рупп должен был быть где-нибудь тут же, неподалёку от Фельдмана, хотя он вовсе и не еврей, а такой же чистокровный бранденбуржец, как большинство школьников этого выпуска.

Вирта нигде не было видно. Странно, куда он девался? Эрнст встал, прошёлся по палубе за пикеты школьников. Его привлекли к себе шум и струя тёплого воздуха, пропитанного запахом масла, вырывавшегося из-под стеклянного

капа машинного отделения. Эрнст наклонился над люком. В глубину трюма едва достигал дневной свет. Там происходило что-то похожее на битву железных чудовищ. Эрнст старался припомнить до учебнику описание паровой машины, взаимодействие движущихся перед глазами металлических частей. Вероятно, вон те резервуары, пышущие жаром так, что воздух над ними струится, как распускающийся в чаю сахар, и есть цилиндры. Они яркозеленые; медные полосы охватывают их, как обручи бочку. Вот равномерно, с ленцойдвигающийся шток. Значит, это он, послушно следуя движениям поршня, другим

своим концом заставляет ползать взад и вперёд массивную массу крейцкопфа. Господи, какая старина! Право, эта старушка, паровая машина, стала памятником самой себе! Когда же перестали строить такие чудовища? Наверно, в конце прошлого века. А между тем у неё такой злобный вид, словно она только и ждёт, когда в неё попадёт рука неосторожного смазчика.

Время от времени спокойно, без суеты и страха эта рука появляется между частями машины, чтобы дать им из лейки порцию густого жёлто-зелёного масла. Эрнст увидел смазчика, парня такого же возраста, как и он сам, коренастого, в синей

курточке, наброшенной на голое тело, с белой косынкой, повязанной вокруг шеи на манер галстука. Лицо парня блестело. От пота или масла? По спокойному выражению лица смазчика можно было судить, что опасное лавирование между смертоносными суставами стального чудовища представляется ему самым обыкновенным, привычным делом. Парень автоматическими движениями тыкал носик своей маслѐнки именно туда, куда было нужно. Он умудрялся в это же время говорить с кем-то, кого Эрнсту не было видно за его спиной. Лишь когда парень сделал шаг в сторону, Эрнст увидел Руппа Вирта. Вот

странно, и у Руппа был такой вид, будто близость машины не доставляла ему никакого беспокойства. Он обмахивался шапкой, как веером, и внимательно слушал смазчика. Вот Рупп быстро огляделся по сторонам и наклонился к уху парня.

Время от времени смазчик понимающе кивал. О чем может говорить Рупп с этим замазанным парнем? Эрнст хотел бы это знать!.. Во всяком случае, Руппу придётся об этом рассказать кое-кому. Эрнст доложит, где Рупп болтался в то время, когда его товарищи слушали беседу директора и пели весёлые песни.

В наступающих сумерках Шнюпфлер умудрился отыскать на берегу живописные развалины Драхенфельса — замка, в котором, по преданию, Зигфрид убил дракона. Вершина полуразвалившейся башни была освещена лучами заходящего солнца. Казалось, будто башня наполнена бушующим пламенем.

— А теперь, мальчики, сюрприз! — торжественно провозгласил Шнюпфлер. — Каждый получит стакан доброго немецкого вина, которое называется «Кровь дракона». Оно делается из благородной лозы, растущей на этой горе за развалинами замка!

Шнюпфлер, как фокусник,

трижды хлопнул в ладоши. Кельнеры внесли корзину с длинными узкогорлыми бутылками «Драхенблута».

Школьники выстроились с наполненными стаканами в руках. Шнюпфлер откашлялся, готовясь к речи. Он уже поднял руку со стаканом, когда со стороны одного из пикетов послышались шум, крики.

Караульный прибежал с докладом, что какой-то посторонний здоровенный малый пытается прорваться на переднюю палубу, что он сильно навеселе, что одного патрульного он уже уложил ударом кулака.

Прежде чем Шнюпфлер принял

решение, виновник происшествия ворвался на палубу. Это был коренастый парень в помятом спортивном костюме, в широких штанах, заправленных в грубые шерстяные чулки. Голова его была непокрыта, и волосы беспорядочно рассыпались под дуновением ветра, набегавшего с носа парохода.

Он остановился перед выстроенными вдоль борта учениками, подбоченился, расставил ноги, чтобы придать большую устойчивость телу, и несколько мгновений молча оглядывал юношей.

— Ни одной знакомой физиономии! Но... всё равно: здорово, верблюды! — крикнул он.

Одни удивлённо молчали, другие ответили нестройным хором. Шнюпфлер стоял в нерешительности.

— Вы знаете, кто перед вами? — покачиваясь, спросил незнакомец. — Я тоже был когда-то таким же верблюдом в вашей гимназии! — Он обернулся к Шнюпфлеру: — Я узнал, что наша гимназия совершает экскурсию, и решил повидаться с верблюжатами, хотя, повидимому, ни один из вас меня уже не помнит. Помнит ли кто-нибудь Пауля Штризе, чемпиона гимназии по боксу и выпивке, а?.. Не беда! Вам полезно видеть, что может выйти из каждого из вас! — Он ткнул

себя пальцем в грудь. — Верно, верблюжата?

Среди учеников послышался смех.

— Я вижу, — продолжал Штризе, — вы готовитесь выпить за что-то. Ваш достойный руководитель, — Штризе сделал нарочито почтительный поклон в сторону Шнюпфлера, — предложил вам какой-нибудь скучный тост. Я знаю моссовскую закваску и традиции старого медведя...

— Фью, — раздался из толпы голос, — медведя уже нет!

— Тем лучше для вас и тем хуже для ваших мозгов. Старик кое-что знал. И то, что знал, умел вбивать в

наши головы. Впрочем... я не уверен, что его знания так уже необходимы в наше время.

При этих словах Шнюпфлер дотронулся до рукава Штризе. Тот нетерпеливо стряхнул его руку.

— Ну, вот ты, — он ткнул пальцем в сторону одного из юношей, — скажи мне: что ты собираешься делать по окончании гимназии?

После недолгого размышления юноша громко ответил:

— Поступлю в университет.

— Что, что? — насмешливо спросил Штризе. — Повтори, чтобы слышали все!

Юноша смутился и молчал.

Штризе рассмеялся:

— Вы слышали? Он собирается в университет! Чтобы остаться недоучкой? Да, да, не ухмыляйтесь вы, там, на левом фланге, чорт вас побери! Сколько бы лет своей жизни вы ни потратили на университет, вы всё равно выйдете из него недоучками!

— Почему? — спросил кто-то из задних рядов.

— За сорок веков известной нам — заметьте: только известной нам! — истории человечество накопило больше знаний, чем может вместить мозг. Не в сумме, а даже в каждой отдельной отрасли. Самый учёный человек на земле знает

только то, что он ничего не знает. Чтобы люди снова могли почувствовать себя знающими что-то, нужно уничтожить девять десятых знаний, накопленных наукой, литературой, искусствами. Слишком много мусора сберегли для нас наши непредусмотрительные предки. Они, видно, воображали, что у нас будут не головы, а какие-то котлы! В наше время, верблюжатки, нужны не «Илиада» и «Метаморфозы»!.. Вы не дети и сами понимаете, о чём я говорю... Где-то там... — Штризе показал в сторону левого берега Рейна. — Ну, раз, два, направо... кругом!..

Ученики послушно, как на

строевых занятиях, выполнили команду. Теперь они стояли лицом к левому берегу. Перед ними в темноте плескалась река, а над её слабо отсвечивающей рябью чернели вдали массивы прибрежных гор. Луны ещё не было. Пейзаж казался таинственным и мрачным.

— Немцы, — крикнул Штризе, — смотрите: там — Франция! Пока она ещё далеко. Но... завтра она может очутиться тут, рядом, если мы сами не окажемся там!.. — Он поднял кулак и погрозил западу. — Вы меня поняли: мы не боимся! Мы презираем и ненавидим. — Он оглядел ребят. — Презираем?

— Презираем! — хором
ответили ученики. — Ненавидим!
Ненавидим! Ненавидим!

— Пока мы не можем ещё
сделать ничего другого... только
добрый немецкий плевок в сторону
Франции!

С этими словами Штризе
плюнул в сторону чёрного
таинственного запада. Его примеру
последовали все остальные.
Шнюпфлер в восторге поднял стакан
и залпом осушил его.

Наступившая после криков
тишина казалась особенно глубокой.
Её нарушил стук шагов. Эрнст вышел
из рядов. Стуча каблуками, он
подошёл к стоявшему на левом

фланге маленькому Фельдману:

— Ты... не плюнул!.. Я видел...
Я следил за тобой.

Фельдман побледнел так, что в темноте его лицо казалось белой маской.

Эрнст приблизился к нему ещё на шаг.

Ученики молчали.

Штризе стоял, покачиваясь на раздвинутых ногах. Заложив руки под пиджак на шине, он с любопытством наблюдал за происходящим.

— Ты паршивая еврейская свинья! — крикнул Эрнст, и все услышали звук удара по лицу.

Очки слетели с тонкого носа Фельдмана. Жалобно звякнули

разбившиеся стекла. Бледная маска лица окрасилась тёмной полоской крови.

Никто не шевелился. На лице Штризе появилась довольная улыбка.

Но в этот момент перед строем школьников мелькнула фигура Руппа, и Эрнст получил затрещину.

Эрнст бросился на Руппа. Оба повалились на палубу, нанося друг другу удары. Строй сломался. Школьники обступили дерущихся. Кое-кто пытался, уловив момент, нанести Руппу удар ногой или кулаком.

Расталкивая юношей, в круг пробрался Штризе.

Рупп понимал, что

заступничество за Фельдмана не сойдёт ему с рук, даже если он не даст Эрнсту одолеть себя. И он, ещё яростнее наседавая на противника, наносил ему удары такой силы, что Эрнст перестал уже выкрикивать ругательства, а потом и вовсе затих. Он сделал вид, что не в силах больше сопротивляться. Рупп, шатаясь, поднялся, повернулся к нему спиной; тогда-то Эрнст нанёс ему удар ногой в поясницу, и Рупп упал без чувств.

Школьники, во главе со Штризе, обступили сидевшего на палубе и плевавшего кровью Эрнста.

— Ваш товарищ пострадал из-за еврея, а эта свинья жива и здорова! — крикнул Штризе. —

Неужели никто из вас не даст еврею того, что он заслужил?

Несколько мальчиков приблизились к Фельдману.

— Ну же, смелее! — кричал Штризе. — Кто вы: девчонки или молодые бойцы фюрера?..

Один из учеников, по прозвищу Золотозубый, подскочил к Фельдману и наотмашь ударил его.

С криками подбежали и другие. Фельдман упал со скамейки.

— Ногами его! — крикнул Штризе и первый нанёс удар своим тяжёлым ботинком.

Золотозубый бросился к корзине с опустошёнными бутылками и схватил одну из них за горлышко.

Приловчившись, он нанёс Фельдману удар по голове. Тело мальчика конвульсивно содрогнулось.

Штризе стряхнул с плеча руку побледневшего Шнюпфлера.

— Пойдите к чорту!.. Вы сами должны были бы делать из них бойцов. — И, обращаясь к юношам, торжественно проговорил: — Молодцы!.. Вы вели себя, как настоящие национал-социалисты!.. Хайль Гитлер!..

Ему ответило молчание испуганных мальчиков. В наступившей тишине было слышно, как у борта тошнит кого-то из гимназистов.

Спустившись в салон первого

класса, Штризе подошёл к столику, за которым сидел Кроне, и тяжело опустился на стул.

— Если можно, рюмку коньяку! — сказал он, ни к кому не обращаясь.

Кроне налил и смотрел, как Штризе медленно, закрыв глаза, пил.

— Что с вами? — спросил он, тронув Штризе за плечо.

— Ничего особенного... Я сейчас хорошо позабавился.

— Всюду-то вы найдёте девчонку.

— Девчонки тут ни при чем! Я давал урок твёрдости духа... Кажется, прикончили еврея.

Кроне быстро огляделся.

— Недоставало нам ввязаться тут в какую-нибудь историю с полицией.

— Ничего не случится! — Штризе закурил. — Неужели никогда не настанет такое время, когда и тут можно будет делать, что нужно, не спрашивая разрешения?

— Настанет, и скорее, чем некоторые думают.

— Если бы все думали по-вашему, — мечтательно проговорил Штризе.

— Не воображаете же вы, — сказал Кроне, — что деньги, которые текут отсюда, с Рейна, в кассу партии, даются ради того, чтобы навести порядок только по ту

сторону реки?.. Проценты с них начнут поступать только тогда, когда нашей будет вся Германия.

— Союзники на это не пойдут.

Кроне отпил глоток и бросил в рот стружку сухого картофеля. Он нагнулся, чтобы Штризе было лучше слышно.

— Работая с нами, вы должны знать: наша сила в том и заключается, что союзникам не сговориться между собою... Не пройдёт и года, как трубы Круппа задымят всю!

— У нас нет для этого денег.

— Союзники сами понесут нам деньги. И запомните ещё одно, запомните твёрдо, навсегда: из-за

океана светит нам золотое солнце!

— Я верю в то, что Германия воскреснет, но не могу поверить, что это будет скоро. Вспомните Компьен!

— А что такое Компьен? — Кроне снисходительно улыбнулся. — Именно там, в вагоне Фоша, мы нанесли союзникам существенное, хотя и мало кем понятое, поражение. Вместо того чтобы уничтожить нашу армию, лишить её живой силы, они позарились на наши пушки и самолёты. Они потратили миллионы франков и фунтов стерлингов, чтобы уничтожить то, что нам всё равно пришлось бы бросить в котёл, как устаревший хлам. Они не поняли, что мы не стали бы тратить силы на

вывозку всего этого устарелого мусора, когда нужно было спасти самое ценное, что когда-либо было, есть и будет у любой армии, — её живую силу, её солдат и генералов.

— Чтобы по приезде сюда солдаты устроили революцию?

— Революция революцией, но вместо ста тридцати дивизий, ушедших на западный фронт в тысяча девятьсот четырнадцатом году, Гренер отвёл в ноябре тысяча девятьсот восемнадцатого года на линию Зигфрида сто шестьдесят дивизий. На тридцать дивизий больше! Он не взорвал ни одного километра наших железных дорог, этих нервов войны. Мы уже сейчас

имеем сто тысяч унтер-офицеров, прошедших первый срок рейхсвера, и столько же обучающихся в нём заново. Мы имеем миллионы солдат, десятки тысяч унтер-офицеров в полиции, в СА, в СС. И все это только потому, что союзников прельстила перспектива ломать наши изношенные пушки и устарелые аэропланы. Так кто же, по-вашему, потерпел поражение в Компьене? Ну же, говорите!

Штризе молчал. В салоне воцарилась тишина. Не было слышно даже ударов пароходных колёс.

Неожиданно послышался голос Эрнста:

— Мне очень нравится то, что

вы говорите!

Он стоял, прислонившись к притолоке, окровавленный, в изорванной одежде.

Кроне вскочил. Штризе успокоил его движением руки.

— Ничего! Кажется, это вполне свой парень. — И, вслушавшись в тишину, спросил: — Кажется, мы причалили?

— Да, какая-то пристань, — ответил Эрнст. В ответ на вопросительный взгляд Штризе, устремлённый на его покрытое ссадинами лицо, Эрнст сказал:

— Немного болит. Но это ничего. Важно покончить... со всем этим!

Штризе взял свой бокал и протянул его юноше.

Эрнст молча выпил.

Кроне бросил на стол деньги и в сопровождении Штризе покинул салон.

Эрнст посмотрел на свет бутылку и выцедил остатки вина себе в рюмку.

За бортом снова слышалось шлёпанье по воде паровых колёс.

Эрнст встал и подошёл к широкому окну. Чёрная ночь. Едва виден контур гористого берега. Далеко, вверх по горе, взбирается автомобиль. Издали казалось, что он движется совсем медленно. О быстроте его бега можно было судить

лишь по тому, как часто менялось
положение его фар. То они
оборачивались к реке
ослепительными голубыми пятнами,
то вовсе исчезали, то бросали
длинные лучи вдоль берега, следуя
извивам дороги.

Автомобиль с ходу брал крутые повороты. На его заднем сиденье, забившись в угол, сидел Гитлер. Казалось бы, здесь, без свидетелей, он мог дать полную волю владевшему им бешенству. Но именно потому, что не было зрителей, перед которыми стоило разыгрывать спектакль, Гитлер молчал. Он не собирался признаваться сидевшему впереди адъютанту, что полчаса тому назад не был допущен на совещание, ради которого прилетел на Рейн. С ним, рейхсканцлером и фюрером, они обошлись, как с лакеем! Ему

предложили подождать результатов совещания у себя в Годесберге... Его вызовут, когда будет нужно...

Этого унижения он не простит им никогда!.. Никогда! Впрочем, дело не в унижении, а в том, что он не будет знать, о чём они там говорят.

Фриц Тиссен был, как всегда, любезен и приводил убедительные соображения, почему Гитлеру не следует присутствовать на совещании.

— Вы должны меня понять, — сказал Тиссен: — это же совершенно частная встреча...

Но Гитлер отлично понимал, в чём тут дело. Происходил торг между Тиссеном, ведущим за собою

стальных, угольных и железорудных королей Германии, с одной стороны, и Карлом Бошем, представляющим всю свору химических фабрикантов, — с другой. Во главе химической колонны шествует, конечно, «ИГФИ». Оттуда текли когда-то деньги в шлейхеровский «комитет Гинденбурга», сумевший протащить на президентский пост выжившего из ума фельдмаршала. Оттуда Рем черпал средства на свои авантюры. Да, чорт побери, Курт Шрейбер был, конечно, прав. Нужно найти путь к соглашению между ними. Едва ли это уж так трудно. Неужели они не могут поделить между собой: недра Рура — Тиссену,

Круппу и Стиннесам, калий и прочая химия — Шмитцу?..

Преступник даже в самых простых житейских случаях ищет сложных путей к обману. Так и Гитлер. Он полагал, что не сможет угодить рурским магнатам железа и угля, не надув генералов рейхсвера, которые вывели его жалкую ладью провокатора в открытое море большой политики. Он действовал, как шулер: путал карты всех, чтобы попытаться в этой путанице набрать побольше козырей, настоящих или фальшивых — всё равно. Было похоже на то, что он не отдаёт себе отчёта в главном: наиболее спутанными являются его

собственные карты. Даже тут, в машине, один на один с самим собою, он не смел признаться самому себе, что хотя его и именуют «канцлером», в сущности он выполняет те же функции, что и в 1918 — 1919 годах, когда он был мелким шпиком у начальника разведки рейхсвера мюнхенского округа капитана Рема. Правда, его теперь больше не называли по номеру «агент 18-бис», больше не использовали для организации провокационных групп, получивших наименование национал-социалистской «рабочей» партии, ему больше не платили по десяти марок «с головы» каждого

подведённого под арест спартаковца, но... но звание рейхсканцлера не избавило его от положения лакея у истинных хозяев Германии. При этом он попал на трудную должность лакея двух господ — юнкерско-генеральской камарильи и промышленно-банковского капитала; его роль попрежнему заключалась в том, чтобы организовать всякие провокационные партии и группы с целью взрыва одних в интересах других; ему попрежнему платили ровно столько, во сколько оценивали голову того или иного уничтоженного политического противника. И его так же заставляли ждать за дверью решения хозяев, как он бывало

ожидал его в коридоре мюнхенской разведки.

Его вытащили из клоаки баварского бюро Рема ради того, чтобы он своим кликушеским хрипом «народного оратора» и своим воображаемым пришествием из «низов» помог обмануть германский народ и поставить этот народ, как ландскнехта о семидесяти миллионах голов, на службу мировой реакции, чьи алчные взоры были обращены на восток.

А пока Гитлер, как маньяк, мечтал об осуществлении «личных» планов, не замечая того, что они внушены ему хозяевами. Первым шагом к осуществлению этих планов

ему представлялось безраздельное господство над Германией, надо всей Европой, — его личное господство!..

Гитлер стиснул пальцы так, что хрустнули суставы. Европа!.. Если Курт Шрейбер не хвастает, говоря, что кредиты, обещанные американцами, практически не ограничены, то мысли об овладении всей Европой вовсе уж не такая утопия! Тогда можно будет послать к чорту Гевелинга с его мелкими подачками и этих скопидомов из Комитэ де форж, способных натереть мозоли на языке, торгуясь из-за каждого сантима. К чорту их!.. Скорее бы покончить с Ремом!

Впрочем, из всего этого, чорт

возьми, не следует, что его можно заставлять ждать решения в прихожей. Господам хотелось заставить его поволноваться? Что же, на этот раз сила в их руках. Но он возьмёт своё! Он оплатит им и за это унижение и за страх!..

Он принял все меры к тому, чтобы ни Шлейхер, ни Рем, ни даже Геринг не узнали о совещании и, тем более, не могли на него проникнуть. Он отдал надлежащий приказ Гиммлеру, за попытку приехать сюда каждый из этих троих заплатил бы головой. Но где гарантия, что кто-нибудь из сидящих в замке Шрейбера не заинтересован в его, Гитлера, гибели больше, чем в гибели

Шлейхера или Рема? Разве исключено, что кто-нибудь уже принял меры к тому, чтобы он, Гитлер, никогда не вернулся отсюда в Берлин?..

Дорога сделала крутой поворот. На мгновение в полосе света появилась человеческая фигура, прижавшаяся к придорожной скале. Гитлер испуганно откинулся на спинку сиденья: вот оно!.. Он пригнулся, пряча голову. Ноги его судорожно упёрлись в переднюю стенку кабины, словно понуждая машину к ещё более быстрому движению.

Но фигура на дороге так же мгновенно исчезла в темноте, как и

появилась. Страх, жаркой волной
ожёгший лицо, медленно холодной
струёй стекал вдоль спины,
расслабил мышцы, неприятным
зудом зашекотал пальцы ног...

Автомобиль стремительно
пронёсся мимо маленького городка,
прилепившегося у самой реки, над
пристанью. Мелькнули огни, стены
домов. Прозвучал, словно
обронённый оркестром, обрывок
весёлой музыки. Из-за поворота реки
вынырнул ярко освещённый пароход.
И снова впереди не было ничего,
кроме мрака, раздвигаемого лучами
автомобильных фар...

Одинокий

пешеход,

прижавшийся к скале, отделился от неё, как только автомобиль промчался мимо него. Он закурил и снова зашагал по шоссе. Тот, кто увидел бы в короткой вспышке спички его лицо, без сомнения, успел бы узнать Паркера, занесённого в список пассажиров теплохода «Фридрих Великий» под именем Чарльза Друммонда, инженера и коммерсанта.

Не доходя метров пятидесяти до развалин башни «Семи жён», Паркер свернул в тёмную аллею старых лип и вскоре очутился перед уединённой маленькой виллой, погруженной в полную темноту. Ему пришлось дважды позвонить, прежде чем дверь

отворилась. Он ни слова не сказал вышедшей к нему заспанной старухе, только сделал пальцами несколько знаков, похожих на те, какими объясняются глухонемые. Старуха так же молча провела его в комнату, слабо освещённую лампой под низким абажуром. Окна комнаты были плотно затянуты толстыми шторами. Стоял неприятный запах давно не проветривавшегося помещения.

Дверь за Паркером затворилась, и он остался в одиночестве.

Прошло около получаса. Паркеру показалось, что он услышал слабый звонок.

Через минуту в комнату вошёл

Кроне.

Удостоверившись в том, что каждый из них видит перед собой именно того, кто был ему нужен, они перебросились несколькими короткими фразами. В заключение Кроне сказал:

— Больше мы с вами не должны встречаться. Связь мы будем осуществлять... через Геринга.

Как ни был спокоен Паркер, Кроне все же уловил лёгкое движение бровей, выдавшее удивление.

— Было бы лучше, если бы вас прислали с паспортом журналиста, — сказал Кроне. — Но раз уже вы «инженер», Геринг

подходит больше других...

— Конечно, сэр, — скромно согласился Паркер.

— Ну что же, «инженер Чарльз Друммонд»... В первый раз вы попросите у него свидания по телефону.

— Слушаю, сэр.

— Из моей телеграммы вы узнаете день и час, когда нужно позвонить Герингу. Вы должны быть абсолютно точны.

— Разумеется, сэр.

Кроне прошёлся по комнате, вспоминая, не упустил ли чего-нибудь.

— Не знаю, когда мы с вами сможем снова встретиться. Было

приятно увидеть своего человека. Постарайтесь не быть простаком. Это будет стоить шеи и вам и... может быть, мне.

Не подавая Паркеру руки, Кроне кивнул головой и вышел.

Подавленный и злой, Гитлер поднялся в номер гостиницы в Годесберге. Он ничего не ответил на нетерпеливый вопрос Геббельса. Только когда вышел адъютант и когда Геббельс повторил вопрос, Гитлер с неохотою рассказал о происшедшем в замке Шрейбера.

— И вы уехали? — в неподдельном ужасе воскликнул Геббельс.

— Не мог же я сидеть в прихожей!

Грубое ругательство по адресу Тиссена сорвалось с уст Геббельса.

— Как можно было делать такую глупость! — крикнул он, обращаясь к Гитлеру. — Унижение! Мало мы их вынесли! Ещё бы одна ночь... одна-единственная ночь... — он сделал широкий жест, — и больше никаких препятствий!.. Вы не должны были оставлять их без присмотра. Такие события происходят раз в жизни.

— Теперь поздно, — устало пробормотал Гитлер.

— Гесс был прав: вас нельзя было пускать одного... Унижение! А

когда ремовские молодцы будут выпускать нам кишки — это будет веселее?

При имени Рема Гитлер вскинул голову и, багровея, крикнул:

— Этого не будет! Не будет, я вам говорю! Тиссен понимает, что это было бы крахом.

— Для нас.

— И для него тоже!

— Он выложил бы ещё немного денег, и глотки штурмовиков были бы заткнуты.

Гитлер бросил на Геббельса гневный взгляд.

— Не дёргайте мне нервы, Юпп... Слышите? Оставьте меня в покое!.. Уйдите, убирайтесь!..

В его голосе прозвучала угроза.

Геббельс присмирел. Припадая на одну ногу, он забегал по комнате.

— Придётся туда поехать, — сказал он уже совершенно спокойно. — Может быть, я сумею пролезть на это совещание.

— Чорта с два!.. Впрочем, вам это, может быть, и удастся.

— Если нет, по крайней мере буду знать, кто ещё туда явится и когда это кончится.

— Я с вами! — сказал Гитлер, шагнув к двери.

Он не мог решиться отпустить на такое совещание даже этого, самого верного своего приспешника. Но Геббельс потянул его за рукав и

силою усадил в кресло.

— Вам там нечего делать.

— Нечего делать?! Мне там нечего делать?! — хрипло выкрикнул Гитлер. — А содержать партию будете вы? Вы найдёте мне других кредиторов?

Геббельс в раздражении швырнул на стол шляпу, которую уже держал в руках.

— Вы, повидимому, забыли, кто привёл к вам Шрейбера! — Он, подбоченившись, стоял перед Гитлером.

— В Руре найдутся деньги и без Шрейбера! — крикнул Гитлер. — Там знают, кому их дать. Во всяком случае, не вам! Вы мне не нужны...

Мне никто не нужен! — Гитлер вскочил и с угрожающим видом подошёл к телефону.

Геббельс отстранил его руку от трубки.

— Ага! Испугались! — торжествующе сказал Гитлер. — Вы знаете, что достаточно одного моего слова — и...

— Я ничего не боюсь.

— Не врите, Юпп, вы всегда чего-нибудь боитесь. Ну, ну, будет, Юпп, — неожиданно мирно сказал Гитлер. — Меня-то вы можете не бояться. — Он подошёл к Геббельсу, положил ему руку на плечо.

Геббельс исподлобья посмотрел на Гитлера.

— Величайшая неосторожность, какую вы можете совершить, — проговорил он, — это поссориться со Шрейбером!

— Он взял в разговорах со мною неподходящий тон.

— Реже с ним встречайтесь. Не афишируйте эту дружбу.

— В ней нет ничего предосудительного.

— Никто не должен знать, что деньги идут из-за границы.

— Гамбург — не заграница.

— Но Шрейбер — это не столько Гамбург, сколько Лондон, не столько Лондон, сколько Нью-Йорк.

— Об этом знают сто человек.

— Достаточно.

— Ваша обязанность, Юпп, чтобы люди знали то, что им следует знать.

— Довольно тяжёлая обязанность, мой фюрер!.. Я забыл сказать: если Шрейбер представит вам на-днях... того американца... третий раз приезжающего к нам...

— Ванденгейма?

— Да... Держите себя с ним...

— Геббельс запнулся, подыскивая слово. Ему хотелось сказать: «почтительно», но он не решался, зная заносчивость Гитлера. Ограничился тем, что сказал: — ... как друг.

— Они дадут денег?

— Это во многом зависит от

него.

— Нам... мне?

— Да, — уверенно сказал Геббельс.

Гитлер потёр лоб.

— Вы думаете, Ванденгейм кое-что привёз?

— Достаточно для Рура.

— Рур — Руром. Сейчас меня больше занимает «ИГФИ».

— Они обещают помочь и в этом. Если вам удастся поставить на ноги тяжёлую промышленность и химию...

Гитлер перебил:

— На чорта это будет нужно, если они не позволят мне вооружаться!

— Шрейбер уверяет, что Ванденгейм за тем и приехал, чтобы предпринять кое-что в этом направлении.

Гитлеру хотелось ещё и ещё раз слышать подтверждение этому. Оно звучало для него как музыка. Он возбуждённо вскочил с кресла. На лице его отразилась неподдельная радость:

— Слушайте, Юпп!.. У наших американских друзей не должно появиться даже подозрения, что мы помним эти глупые разговоры Штрассера: сорок девять процентов — предпринимателям, сорок один — государству и десять — рабочим. Бред безумца!

— Было бы ещё полезнее, мой фюрер, чтобы наши собственные промышленники уверовали в то, что эти штрассеровские глупости никогда не принимались нами всерьёз.

— Сейчас меня интересуют американцы... Понимаете ли, вы, Юпп, ведь Америка... Америка... Это же Америка!

— Да, конечно... —
неопределённо пробормотал
Геббельс.

Но со свойственной ему непоследовательностью Гитлер тут же многозначительно проговорил:

— Напомните нашим друзьям с берегов Рейна, что на дурацкий

вопрос Штрассера, останется ли в случае прихода национал-социалистов к власти собственность, прибыль и руководство хозяйством в руках предпринимателей, — я ещё в 1930 году ясно ответил: «Понятно! Ведь я же не безумец, чтобы разрушать своё собственное хозяйство».

Гитлер пробежал по комнате, быстро потирая руки.

— Вы не представляете себе, Юпп, как вы меня обрадовали! — Вдруг он остановился и с беспокойством спросил: — А не может случиться, чтобы американцы... давали деньги Шлейхеру... или Рему?

— Янки хотят иметь солидные гарантии. Чего они могут ждать от Рема с его шайкой? А со Шлейхером им, вероятно, не удастся сговориться насчёт России. Он нерешителен. Едва ли им удастся повернуть его на восток так быстро, как это нужно американцам.

— А мои цели их устраивают? — спросил Гитлер.

— Они знают, чего вы хотите и чего они сами хотят от нас.

— Скажите им, Юпп: пока жив Рем, я не засну спокойно.

— Они не станут спорить, если мы скажем, что одним из условий соглашения является уничтожение Рема. — Геббельс посмотрел на

часы. — Мне пора, а то там успеют закончить разговоры...

— Поезжайте, Юпп, поезжайте и знайте, что за вами стою я!

Геббельс, почти не скрывая иронии, отвесил Гитлеру почтительный поклон, взял со стола смятую шляпу и, прежде чем надеть её, проговорил:

— Позвольте мне, мой фюрер, напомнить вам слова нашего Клаузевица: сильным духом является не тот, кто способен на сильные жесты, а тот, кто при самых сильных переживаниях остаётся в равновесии, кто, несмотря на все сердечные бури, наделён умением ориентироваться так, как

ориентируется компас на корабле, кидаемом бурей.

Отвесив новый поклон, Геббельс вышел. Гитлеру показалось, что в почтительности поклона сквозила плохо скрытая ирония. Оставшись один, Гитлер стал гадать: кто из двух возьмёт верх — Тиссен или Бош? Если Тиссен, Рему теперь же конец. А если Бош?.. Может быть, тогда конец ему, Гитлеру?.. Нет, этого не может быть. Шрейбер найдёт путь к объединению промышленников. Ведь он, Гитлер, ясно сказал Бошу и просил Шрейбера повторить ему ещё тысячу раз: если Химический трест сумеет поделить власть со Стальным трестом, государство будет стоять за

их спиной.

Сказанное тут только что Геббельсом насчёт этого американца может сильно изменить игру в его, Гитлера, пользу. Шрейбер, наверно, объяснил Ванденгейму: американские миллиарды, вложенные в немецкую промышленность по планам Дауэса и Юнга, может гарантировать только он, Гитлер. Желательное американским монополиям направление использования капиталов для восстановления военной мощи Германии может обеспечить только он, Гитлер. Кто ещё с такой ясностью высказал свои намерения насчёт востока? Кто ещё с

такой непримиримостью заявил, что покончить с коммунизмом — истинная и конечная цель всей его политики? Американцы не могут этого не понять. А раз так, они будут на его стороне. И этот Ванденгейм тоже... Нужно будет принять его поскорее. Только бы он пришёл, не раздумывал.

Покончить бы с Ремом и Шлейхером, а с Бошем-то и с химиками он сговорится... Сговорится!.. Сговорится!..

В это самое время в одной из просторных комнат замка барона Курта фон Шрейбера, пользуясь перерывом в совещании, главный

директор концерна «ИГ Фарбениндустри» профессор Карл Бош ходил из угла в угол, заложив руки за спину. Он диктовал своему секретарю по печати статью для завтрашнего номера «Франкфуртер цейтунг».

«...Новая волна доверия и уверенности прокатилась по германской промышленности. Причину этого я вижу в том, что германское правительство впервые не только даёт обещания, но также и действует... Доверие, которое германские экономические круги чувствуют к руководству национал-социалистской партии, показало себя как могущественный фактор в

оживлении германской промышленности... Подводя итог, я как промышленник, несущий ответственность за огромное предприятие с сотнею тысяч рабочих, по праву собственного опыта заявляю, что только твёрдая воля национал-социалистов может добиться результатов, нужных германскому народу...»

Бош остановился и спросил секретаря:

— Много получилось?

— Ещё несколько строк, и статья будет надлежащего размера.

— Хорошо, продолжим... — сказал Бош и стал диктовать: — «Из масс подымается почти не

воспринимаемый, но весьма
влиятельный коллективный флюид.
Это тот поток, который и производит
„германское чудо“. Этот поток
встречается с невидимыми волнами,
которые исходят от Гитлера. Эта игра
обмена духовными силами заменила
в Германии наших дней партийный
парламент... — он на минуту
задумался и решительно продолжал,
притопывая после каждого слова
носком ноги: — Не в голосованиях, а
в живых, определённых чувством
связях между вождями и
последователями, укреплённых
такими встречами с народом,
находится политический центр
тяжести нового государства...» —

приостановившись, Бош протянул руку: — Покажите-ка, что там получилось, — и пробегая взглядом написанное, пробормотал почти про себя: — Хм... несколько непонятно... но это даже хорошо: простые люди склонны считать непонятное умным, — и он вернул листок секретарю.

В заключительных строках статьи Бош хотел охарактеризовать того, кому промышленники решили вручить всю полноту власти в Германии.

Но ему помешали. В комнату вошли Курт Шрейбер и Фриц Тиссен.

— Может быть, продолжим? — спросил Тиссен.

Снизу, из высокого гулко-го вестибюля, доносился хриплый голос Геббельса, кричавшего в телефон:

— Да, да! Приезжайте как можно скорее!

Тиссен не обратил на это внимания, но Бош остановился и подозрительно спросил:

— Что за барбос там лает?

Шрейбер рассмеялся и ничего не ответил.

Оправдательный приговор лейпцигского суда прозвучал против воли судей на весь мир как пощёчина немецкому фашизму. Казалось бы, этот приговор должен был быть последним этапом, увенчавшим полугодовое предварительное заключение Димитрова и девяностодвухдневную борьбу на процессе. И все же, несмотря на оправдательный приговор, несмотря на полный провал легенды о поджоге рейхстага коммунистами, Геринг не решался освободить Димитрова.

Он сказал Гессу:

— Или я найду способ

уничтожить его, прежде чем он выйдет из тюрьмы, или он не проведёт в Германии ни одного часа на свободе: прямо из тюрьмы — в самолёт!

— Так действуйте! — насмешливо сказал Гесс. — Не сегодня-завтра Димитрову вручат советский паспорт.

Неожиданно Гесс добавил:

— Когда-нибудь, когда вы будете рассказывать внукам сказки о бескорыстной дружбе, вы обязаны будете вспомнить Рудольфа Гесса: я приготовил вам неплохой сюрприз.

Геринг насторожился: ему не очень нравились одолжения этого человека. Они всегда обходились

довольно дорого. Он выжидательно посмотрел на Гесса.

— По данным... одного человека... — начал тот.

— Какого? — нетерпеливо вырвалось у Геринга.

— Вам очень хочется знать?

— Очень.

— Цените мою откровенность: мне рассказал об этом Александер.

«Значит, не блеф», — подумал Геринг. Начальник разведки рейхсвера слов на ветер не бросает. Тут было из-за чего наострить уши.

Но вместо того чтобы выложить главное, Гесс вдруг спросил:

— Помните ту пару борзых, что вы мне показывали на прошлой

неделе?

— Веста и Вега? — с удивлением спросил Геринг.

— Меняю на них свою новость!

— Исключено! Совершенно исключено!.. Они приготовлены... в подарок моей невесте.

— Хорошо, новость остаётся при мне...

На жирном лице Геринга отразилась досада. А Гесс подзадорил:

— Дело может быть сделано наверняка и без всяких хлопот для вас.

Геринг ударил себя в грудь.

— Что хотите, только не эти борзые!

— Именно эти борзые, — упрямо ответил Гесс.

— Ваши сюрпризы обходятся втридорога.

— Значит... делать без вас?

— Берите собак! — выкрикнул Геринг. — Но я вам когда-нибудь отплачу!

Гесс рассмеялся:

— Один человек Александера доложил, что ему сделали предложение: подсунуть адскую машину в самолёт, в который Димитров пересядет в Кенигсберге.

— Кто сделал предложение лётчику?

— Не знаю.

— Фамилия человека? — резко

спросил Геринг.

— Этого Александер не скажет ни мне, ни вам.

— На человека можно положиться?

— Повидимому.

Геринг потёр пухлые ладони и даже прихлопнул ими от удовольствия:

— На этот раз Димитрову не уйти!

— Ваше дело освободить и доставить заключённых на аэродром к последнему самолёту, отлетающему послезавтра в Кенигсберг.

— Вы получите своё! — наконец воскликнул Геринг. С актёрской торжественностью он подошёл к

Гессу и потряс ему руку. — Следующим номером должен быть Тельман!

— Фюрер хочет, чтобы с Тельманом вы не повторили ошибку Лейпцига, — сказал Гесс.

— Именно над этим мы сейчас и работаем, именно над этим! — возбуждённо проговорил Геринг, растопыривая пальцы, словно сиюсь схватить кого-то за горло. — Мы уже арестовали Реттера и двух его помощников.

— Соучастники Тельмана?

— Да нет же! — раздражённый неосведомлённостью Гесса, воскликнул Геринг. — Реттер — адвокат Тельмана.

— За каким же чортом вы его арестовали?

— Мы дадим Тельману своего адвоката.

— Судебная реформа, обещанная фюрером, даёт к этому полную возможность.

— Вот именно. Но я бы просил вас поторопить фюрера с этой реформой. Новый «народный суд» должен быть признан верховной, последней инстанцией, чтобы осуждённому некуда было апеллировать.

— Решение готово. Фюрер желает, чтобы в существе своём «народный суд» явился чрезвычайным судом с самыми

широкими полномочиями. Фюрер отменил параграф о необходимости признания подсудимым своей вины.

— Это правильно, — с удовлетворением сказал Геринг. — С этими «признаниями» немыслимо много возни. Далеко не каждый так легко «сознаётся», как Торглер...

Подумав, повторил:

— Правильно, очень правильно: признание не является необходимостью. Это развязывает руки судьям. Кстати о судьях: кто намечен в состав народного суда?

— Окончательного решения фюрера ещё нет. Но вы можете быть покойны: там будут надёжные люди.

— Решение о представителях

рейхсвера в составе суда остаётся в силе?

— Да.

— Смотрите, чтобы туда не проникли какие-нибудь либералы, вроде этого Гаусса.

— Нашли либерала! — с усмешкой заметил Гесс.

— Вы меня поняли: я бы не хотел видеть там не вполне наших людей.

— Таких не будет. А если кто-нибудь и окажется не на высоте, в чём я сомневаюсь, его поправят остальные. Один против семнадцати — нуль. Закон о народном суде, как его задумал фюрер, обеспечивает от всяких случайностей. Приговор

подсудимому будет вынесен, хотя бы сам господь бог считал его невиновным. Фюрер считает, что этот суд правомочен вынести приговор даже в том случае, если в деле вовсе отсутствуют доказательства вины обвиняемого. Приговор должен выноситься не на основании каких-то там бумажных формальностей, а по здравому смыслу, которого, к сожалению, так нехватает германскому своду законов. Один из членов прусского суда доктор Дитрих прекрасно понял мысль фюрера. Он разъяснил: раз обвиняемый коммунист или вообще крамольник — кончено. Закон уже не нужен. Вот в чём и заключается

здравый смысл суда нового типа. Для него закон — это воля фюрера. Каждый судья должен помнить, что за его стулом постоянно стоит тень фюрера. В каждом приговоре должен присутствовать дух фюрера. Судья, забывающий об этом, сам должен стать подсудимым.

— Дай бог, дай бог... — мечтательно пробормотал Геринг.

— А что касается первого процесса, каким будет в этом суде процесс Тельмана, то прокурором в нём будет Йорнс.

— Тот самый Йорнс? — с оживлением спросил Геринг.

— Да, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург —

достаточная рекомендация для человека, которому предстоит обвинять Тельмана. Он обеспечит ему петлю.

Неожиданно Геринг стукнул кулаком по столу.

— Какая там ещё петля?! — крикнул он. — Фюрер обещал мне: топор и только топор.

— Этот подарок фюрер вам сделает, — с кривой усмешкой ответил Гесс. — Мы уже готовим общественное мнение именно к такому исходу, чтобы Тельману не удалось выскользнуть из петли, как выскользнул Димитров. Кстати, фюреру стало известно, что так называемое «Международное

объединение юристов» прислало в Берлин врача-француза, чтобы выяснить состояние здоровья Тельмана. Этого врача зовут Кордо. Фюрер хочет, чтобы этот Кордо не получил возможности исследовать Тельмана, во избежание слишком громкого скандала.

— Никакого скандала не будет, — уверенно ответил Геринг, — этот Кордо уже делал попытки увидеть Тельмана, но я приказал ответить ему, что у нас достаточно своих врачей и, если будет нужно, они сами сумеют сообщить миру сведения о его здоровье. А если этот Кордо будет не в меру любопытен, я найду способ отучить его от

неуместной настойчивости. Я никого не допускаю к Тельману. Его должны подготовить к свиданию со мной. Я, я лично буду говорить с ним.

— Вы?

— Да, да, я сам! Вы увидите, — и пальцы Геринга сжались в кулак, — вы увидите, он поднесёт нам своё раскаяние на блюде.

— Мы помечтаем в другой раз, а сейчас... фюрер просит вас позаботиться о том, чтобы с болгарами все было сделано чисто.

— Фюрер знает?

— Да!

Гесс уже собрался было проститься, но вдруг с напускной небрежностью сказал:

— Кстати, вы, конечно, уже знаете о Бёлле! — и пристально взглянул на Геринга. Но тот ничем себя не выдал.

— Ещё какая-нибудь афёра?

— Нет... он убит.

Геринг сделал вид, будто удивлён:

— Когда, кем?

— Два дня назад... Это не дело рук... — Гесс не договорил, испытующе глядя на собеседника.

С напускным неудовольствием Геринг проворчал:

— Вероятно, опять Рем. Пора укоротить ему руки. Он начинает себе много позволять.

Димитров отодвинул от себя пачку газетных листов. С их страниц, как зловонная жижа, стекали строки, столбцы, целые полосы отвратительной клеветы на народ, на партию, на него самого. Фашистская пресса исходила желчью в связи с провалом лейпцигского спектакля. Не было таких слов в их лексиконе, которые не пускались бы в ход. Когда слов нехватало, со страниц «Штюмера», «Шварце кор» и «Фёлькишер беобахтер» сыпалась самая обыкновенная площадная брань хулиганов, изощрявшихся в поношении коммунистов и того из

них, кто был сейчас самой доступной мишенью, — Димитрова.

Фашистские газеты были единственными, какие давали Димитрову в его одиночку. Чем больше бесновались эти листки, тем твёрже он помнил то, что было когда-то сказано Лениным: большевик, интернационалист, сторонник пролетарской революции по справедливости может в этих диких криках озлобления слышать звуки одобрения...

Димитров слышал его, это одобрение трудового человечества, в озлобленном визге реакции...

Стальная дверь отворилась. У входа в камеру стоял помощник

директора тюрьмы.

— Собрать вещи!..

С того дня, как суд вынес Димитрову оправдательный приговор, он со дня на день, с часу на час ждал этого приказа.

«Свобода!»

Мысль о ней была так ослепительна, так огромна, что мгновенно заполнила все сознание: «Свобода, свобода!»

Димитров не щадил ни свободы, ни самой своей жизни, когда шла борьба за честь, за великие принципы партии. Но теперь, когда все было позади, когда победа была одержана и провозглашена на весь мир, каждый день заточения был

удесятерённой мукой.

И вот, наконец, она, свобода!

В камере стало словно светлее.

Димитров поднялся во весь рост и с глубоким вздохом расправил грудь. Предстояло выполнить ещё один долг.

— Мне не дали сегодня полагающейся по уставу прогулки, — сказал он помощнику директора.

— Погуляете в другом месте.

Но Димитров решительно отложил собранные было вещи и повторил:

— Устав даёт мне право на прогулку. Я требую прогулки.

Из-за спины помощника директора выглянул надзиратель.

— Он упрям, господин директор.

А Димитров, словно ничего не замечая, повторил в третий раз:

— Я не уйду, не получив прогулки!

Помощник директора переглянулся с надзирателем.

— Что ж, может быть, дать ему эту прогулку? — Он крикнул надзирателям: — Вывести его во двор! Вещи пусть захватит. Сюда ему незачем возвращаться.

С маленьким саквояжем в руке Димитров медленно шёл по тюремным переходам. Шутят ли тюремщики, или говорят правду: сюда он больше не вернётся!..

Когда он переступил порог двери, ведущей в квадратный двор для прогулок, — глубокий и тёмный, как колодец, когда он увидел отблеск уже низкого солнца на окнах верхнего этажа тюрьмы, когда обнял взглядом клочок бледноголубого весеннего неба, ему почудился за стенами тесного тюремного двора могучий, как океанский прибой, гул миллионов голосов. Они приветствовали его освобождение — победу великой солидарности трудового человечества. Ему хотелось рассмеяться в лицо животным в чёрных мундирах.

Все трое конвойных остались у двери, ведущей в коридор. Никто из

них не спустился во двор. Таким образом, дойдя до дальней стены дворика, Димитров оказался на расстоянии тридцати шагов от тюремщиков. Он отыскал взглядом окно во втором этаже, которое хорошо знали политические заключённые. Они на каждой прогулке мысленно посылали привет этому окну: за его решёткой томился вождь немецких пролетариев Эрнст Тельман.

Дойдя до конца дворика, Димитров быстро обернулся и во всю силу лёгких крикнул:

— Товарищи! В Лейпциге одержана победа над силами тьмы и реакции! Наше оправдание — не

плод гитлеровской
«справедливости», а победа
мирового рабочего движения,
поднявшего голос в защиту своих
борцов...

Тесня и толкая друг друга, трое
конвойных выскочили во двор и
устремились к Димитрову. Он
слышал их крики, слышал топот их
сапог, но даже не обернулся.
Стараясь перекричать их голоса, он
продолжал, обращаясь к слепым
окнам тюрьмы:

— Если Тельман не слышит
меня, сделайте так, чтобы узнал и он:
общественность мира борется и
будет бороться за его освобождение,
за освобождение всех...

Тюремщик, первым подбежавший к Димитрову, толкнул его.

— Заткните ему глотку! — кричал бежавший по двору помощник директора тюрьмы.

Димитров одним могучим движением сбросил с себя тюремщиков.

— Товарищи, помните, есть на свете Москва!..

Димитров знал, что никто из заключённых не может видеть происходящего во дворе, так как окна расположены под самым потолком камер. Но по одному тому, какой единодушный крик пронёсся над двором, над всею тюрьмой, он понял,

что его голос услышан, что заключённые прощаются с ним.

Но только через час, сидя в качающейся полутёмной кабине автомобиля, он смог спокойно, до конца понять и оценить все случившееся. И когда дверца автомобиля распахнулась и Димитров увидел поле аэродрома и приготовленный к отлёту самолёт, он уже воспринял все это как должное, как то, чего он ждал и чего не могло не быть.

Ему вручили справку: «Гражданин Советского Союза Георгий Димитров освобождён от предварительного ареста и в тот же день высылается из пределов

прусского государства...»

«Гражданин Советского Союза... Гражданин Советского Союза!.. И эту радость они скрывали от него до последней минуты?!»

Он поставил на землю свой потрёпанный саквояжик, вынул трубку и стал не спеша набивать её табаком.

— Самолёт отбывает через пять минут! — сказал полицейский офицер. — Мы не можем разрешить вам оставаться здесь.

— Куда идёт самолёт? — спросил Димитров.

— В Кенигсберг.

— А дальше?

— Вы пересядете на самолёт

«Дерулюфта».

— «Дерулюфт»? — переспросил
Димитров и с расстановкой повторил
— «Немецко-русское общество»...

Подошёл высокий,
широкоплечий лётчик. Офицер
поспешно спросил:

— Господин Бельц, крайний
срок вашего вылета?

Бельц посмотрел на часы:

— Через три минуты. Иначе я
опоздаю в Кенигсберг и пассажир не
попадёт на самолёт «Дерулюфта».

— Вот, видите! — сказал
офицер Димитрову.

Тот молча поднял саквояжик и
направился к самолёту.

Бельц по стремянке взобрался на

своё место.

Автомобиль-стартер стал раскручивать левый мотор. Но прежде чем раздался первый хлопок мотора, все обернулись на пронзительный рёв автомобильного рожка: по зелёному полю, прямо к собравшейся у самолёта группе, мчался большой тёмнокрасный лимузин. На крыле трепетал красный флажок советского посольства.

Среди полицейских и гестаповцев произошло движение. Одни бросились к Димитрову, другие — к лётчику. Офицер махнул стартеру, торопя с запуском мотора. Красный лимузин остановился. Человек, торопливо выскочивший из

него, направился к Димитрову, не обращая внимания на полицейских.

— По поручению посольства СССР позвольте вручить вам паспорт! — Он протянул Димитрову книжку, блеснувшую пунцовой кожей переплёта.

Димитров несколько мгновений, словно не веря себе, смотрел на паспорт, потом медленным движением снял шляпу, и все увидели появившуюся из-под манжеты красную полосу на стёртой наручниками коже.

— Посол просит вас, — сказал сотрудник посольства, — воспользоваться только самолётом, который будет вам подан по его

заказу.

Никто не заметил, как при этих словах переглянулись лётчик Бельц и стоявший поодаль человек в штатском костюме, со щекою, изуродованной шрамом в форме полумесяца, похожим на след укуса.

К пассажирской площадке подрулил второй самолёт. Поддавшись непреодолимому влечению, Димитров побежал к самолёту. Струя воздуха, отбрасываемая винтами, унесла его шляпу, распахнула пальто. Димитров согнулся и, преодолевая сопротивление вихря, поднялся в кабину.

Самолёт покатился к старту...

В Москву! В столицу труда и мира, в центр надежд передового человечества! Под ровный шум моторов мысли неслись, опережая самолёт. Димитров уже видел себя в Москве. Он вспоминал её такою, какою видел давно. Он, как живого, видел перед собою Ленина, слышал его слова, обращённые к делегатам конгресса Коминтерна. Ленин говорил и, как всегда, загораясь сам, захватывал зал простыми, ясными словами, такими образными, что их хотелось взять в руки, как оружие.

...Димитрову очень хорошо помнилось последнее выступление Ленина на IV конгрессе об успехах советской власти в России и их

влиянии на ход мировой истории; и теперь в его памяти воскресали заключительные слова доклада: «Я убеждён в том, что мы должны в этом отношении оказать не только русским, но и иностранным товарищам, что важнейшее в наступающий теперь период, это — учёба. Мы учимся в общем смысле. Они же должны учиться в специальном смысле, чтобы действительно постигнуть организацию, построение, метод и содержание революционной работы. Если это совершится, тогда, я убеждён, перспективы мировой революции будут не только хорошими, но и превосходными».

Эти слова всегда звучали для Димитрова не только как прекрасная песнь, исполненная веры в успех, но и как наказ учителя и вождя: учиться, учиться и учиться! И Димитров учился, работал, боролся.

Он вспомнил полные скорби январские дни 1924 года, когда в Горках, стоя у гроба, смотрел на уснувшего вечным сном великого учителя и мудрого друга. Он вспомнил и чёрный креп на флагах в Колонном зале и горе, царившее в огромном, многоярусном зале Большого театра, где происходило траурное заседание съезда Советов.

Димитров смежил веки, и перед его взором прошла картина

морозного январского дня, и Красная площадь, и нескончаемый поток людей, сошедшихся со всех концов гигантской страны, со всех концов мира, чтобы склонить траурные знамёна перед гробом вождя-мыслителя, вождя-борца, друга и учителя, чьё сердце билось для них, простых людей всего мира. И теперь самолёт несёт его туда, в Москву, где живёт образ и гений Ленина.

Отто Шверер все больше входил во вкус новой жизни. Обязанности военного адъютанта командующего штурмовыми отрядами оказались не слишком обременительными. Ко времени назначения Отто адъютантом военные упражнения штурмовиков были отменены. Парады и демонстрации прекратились. Гитлер издал приказ об увольнении штурмовиков в месячный отпуск.

Если большинство штурмовиков, с которыми за это время познакомился Отто, не скрывало негодования по поводу

насильственного превращения их в домоседов, то у Отто не было причин огорчаться. Трудно было предположить, что Рем собирался отдаться тихим радостям в кругу мамы и любимой овчарки. По всей вероятности, освобождённый от дел на целый месяц, он устроит невиданную карусель. Предвкушаемое удовольствие усугублялось тем, что неожиданно Отто выпала ещё одна удача: Хайнесу быстро надоела француженка Лаказ, увезённая им из ресторана. Стоит ли говорить, что отношения Сюзанн с Хайнесом мало помогли её отцу. Даже Отто был поражён тем, как быстро эта девица забыла, ради чего

пошла на связь с предводителем силезских штурмовиков. И как быстро она успела войти во вкус новой жизни! Ах, эти француженки!.. Отто ещё никогда не встречал подобного легкомыслия и такого темперамента. Нет, чорт возьми, он не жалеет о том, что перенял эту курочку из рук Хайнеса. Если бы не одна забота, нередко заставлявшая его морщить лоб, жизнь представлялась бы прекрасной.

А забота была весьма существенной: связь с Сюзанн требовала денег. За две недели француженка стоила ему так дорого, что не только нехватило жалованья, взятого за месяц вперёд, и всего, что

удалось вытянуть от матери, но и были исчерпаны все возможности займов, кстати сказать, оказавшиеся весьма ограниченными. В Третьей империи люди стали чертовски недоверчивыми!

Отто вынул бумажник и пересчитал содержимое. Не густо!

От печальных мыслей его отвлёк стук в дверь. Вошёл Эрнст.

Вот кому жизнь, повидимому, ещё не доставляла забот. Какая сияющая и тупая физиономия!

— Слушай, Отто, теперь, в твоём новом положении, ты многое можешь.

— Нет, нет, никаких протекций!

— Твоя протекция? — Эрнст

расхохотался. — Как бы ты сам не пришёл ко мне за нею через месяц-другой!

— Ого!

— Я говорю совершенно серьёзно!.. Но сегодня дело не в этом. Твоё положение адъютанта Рема даёт кое-какие возможности.

— Увы, эти возможности не дают мне и ста марок на сегодняшний вечер! У тебя нет денег?

— Именно об этом я и хотел поговорить: ты можешь кое-что заработать.

— У меня нет времени работать. Если бы можно было занять...

— Подожди! У меня есть приятель, мы зовём его просто

Золотозубым. Челюсть у него сверкает, как украшение с ёлки. Он сын суконщика...

— Я не нуждаюсь в сукне.

— Перестань дурачиться! Отец Золотозубого заготовил большую партию коричневого материала для униформ СА, но тот, через кого он обычно сбывал товар, вдруг встал на дыбы: партия забракована.

— Вероятно, твой суконщик подсунул дрянь.

— Попросту интендант потребовал увеличить куртаж. Сделка стала для отца Золотозубого бессмысленной.

— К сожалению, Эрнст, — вздохнул Отто, — я просто боюсь

говорить с типом, забраковавшим сукно.

— Никто об этом и не просит! Ты сам продвинешь этот контракт. Вот и все!

— А тот интендант, поняв, что я перехватил его куртаж, поднимет скандал? Нет, на первых порах это неудобно.

— Да, он непременно сделал бы так, — согласился Эрнст, — но Золотозубый даст тебе материал, компрометирующий интенданта. Его можно будет держать в руках. Ты сразу убьёшь двух зайцев. Во-первых, обеспечишь себе ренту с каждой новой партии сукна и, во-вторых, разоблачив интенданта, получишь

хорошую запись в послужном списке. Об этом стоит подумать, а?

Эрнст видел, что Отто колеблется и близок к тому, чтобы согласиться. Ещё несколько убедительных слов — и старший брат обещал подумать. За это он получил от Эрнста пятьсот марок в долг.

Через несколько дней все, чего хотел Золотозубый, было сделано. Своё вознаграждение Отто получил через брата.

Жизнь казалась Отто прекрасной, когда он притрагивался к карману, в котором прощупывался бумажник.

Однажды ночью Отто возвращался из Шарлоттенбурга, где

жила Сюзанн. Он был благодушно настроен и не обращал внимания на то, что шофёр таксомотора везёт его не кратчайшим путём. Чорт с ним, все шофёры одинаковы. Они пускаются на любые уловки, чтобы накрутить на счётчике лишние пятьдесят пфеннигов.

Шофёр гнал дряхлый таксомотор, как будто состязаясь в скорости с настигавшим его черным лимузином, словно таранами раздвигавшим перед собою тьму лучами мощных прожекторов. Забава понравилась Отто. Он представил себе, что сидит не в жалком дребезжащем такси, а в собственной машине, — это будет непременно

«майбах». На корпусе машины будет нарисован фамильный герб Швереров и щиток Имперского автомобильного клуба. Перед носом владельца, Отто фон Шверера, будет не табличка с призывом не бросать окурков в окно, а вазочка с цветами.

Видение разлетелось от резкого торможения. Чёрный лимузин, обогнав такси, резко повернул вправо и остановился, загораживая дорогу. Отто чуть не ударился лицом о перегородку. Он выскочил из таксомотора и бросился к шофёру лимузина, готовый ударить не в меру лихого ездока. Но когда он собирался в бешенстве рвануть дверцу чёрного автомобиля, она сама распахнулась.

Прежде чем Отто успел что-либо сообразить, его втоптали внутрь просторного кузова и мощная машина стремительно взяла с места.

Вид черепов и скрещённых костей на фуражках неожиданных спутников отшиб у Отто желание сопротивляться. Его ладони стали мокрыми и холодными, словно он держал в них кусок льда. Никаких мыслей в голове не было — только страх и вихрь бессмысленных догадок.

Отто попытался проследить, куда его везут, но автомобиль так петлял по улицам и переулкам, что даже приблизительно нельзя было сказать, где они едут. Когда, наконец,

машина остановилась и Отто грубо вытолкнули из неё, он почувствовал под ногами камень плит. Гулко отдавалось под сводами эхо шагов. Ступеньки лестницы вели вверх. Снова полуосвещённые своды и снова лестница, на этот раз вниз.

Отто оставили одного в длинном пустом коридоре. Напрасно он стискивал зубы, призывая на помощь все доводы разума, — не было силы преодолеть мелкую дрожь, пронизывавшую все мускулы.

Внезапно совсем рядом с ним распахнулась дверь. Кто-то, едва различимый в полумраке коридора, отрывисто приказал:

— Войдите, Шверер!

Даже не счёл нужным сказать «капитан Шверер, или хотя бы „господин Шверер“. Просто — „Шверер“, словно перед ним был какой-нибудь арестант. И все же Отто послушно вскочил. Шагнул вперёд и тотчас услышал щёлканье замка захлопнувшейся за ним двери. Прямо против входа, откинувшись на спинку стула так, что свет лампы выхватывал из полутьмы только его лицо, сидел гестаповец в мундире с петлицами штурмбаннфюрера и говорил по телефону. Если бы само собою не разумелось, что сидеть за столом и разговаривать по телефону может только живое существо, Отто поклялся бы, что перед ним труп.

Труп или привидение. Лицо гестаповца было мертвенно бледно, и на нём Отто не мог найти ни одной черты, которую можно было бы запомнить. Когда Отто очнулся от первого впечатления, произведённого на него гестаповцем, он смог, наконец, воспринять и то, что тот негромко говорил в телефонную трубку. Это был поток ругательств и угроз.

— ...Молчит?.. Так заставьте его говорить, в вашем распоряжении достаточно средств!..

Гестаповец бросил трубку и уставился на Отто блеклыми, ничего не выражающими и, казалось, даже не видящими глазами.

— Шверер?

— Да, господин

штурмбаннфюрер! — Отто заставил себя щёлкнуть каблуками.

Гестаповец не спеша оглядел Отто с ног до головы, встал, откинул портьеру у себя за спиной и скрылся за нею.

Воцарившаяся тишина была невыносима. Повидимому, правду говорят издававшие виды люди, будто опасность вдвое страшнее, когда её не видишь.

Охранник выглянул из-за портьеры и поманил Отто движением костлявого пальца. В Отто все протестовало против этих нескольких шагов, представлявшихся

ему последними движениями в жизни. За портьерой последует то самое, о чём шопотом рассказывают по всей Германии. Боже правый, кто бы мог думать, что страх так непомерно тяжёл!..

Контраст между ожидаемым и тем, что Отто увидел, был так велик, что он как-то сразу обмяк, едва переступив порог.

В большой, комфортабельно обставленной комнате, за письменным столом, освещённым низкою лампой, сидел человек в строгом штатском костюме. Он был так же не похож на только что виденного Отто охранника, как эта уютная комната не походила на

мрачные катакомбы, через которые Отто привели сюда. С первого взгляда черты лица сидевшего за столом показались Отто даже приятными.

Человек, сидящий за столом, молча рассматривал Отто. Он не спешил с вопросами.

— Насколько я вас знаю, господин Шверер, — проговорил он наконец, — вы вовсе не созданы для скромного существования офицера-строевика... Мы целиком сочувствуем вашим жизненным планам и готовы помочь их осуществлению.

— Вы очень любезны, господин...

— Я забыл представиться?.. О, это непростительно!.. Фон Кроне... Так я говорю: нам кажется, вам необходимо делать карьеру более уверенно и быстро. Мы поможем вам.

Отто тут же подумал, что, вероятно, это будет сделано не из бескорыстной любви к нему. Он снова обретал способность размышлять.

Кроне продолжал:

— Именно поэтому мне бы очень хотелось, чтобы до ваших начальников, так же как и до близких вам людей, скажем до вашего уважаемого отца, не дошло вот это! — Кроне раскрыл лежавшую

перед ним папку и показал Отто один из вшитых туда листков. Отто сразу же узнал собственный почерк. Да, это была его записка суконщику. В ней он требовал денег за устройство партии сукна. Отто не стал ломать себе голову над тем, каким образом эта записка попала в руки государственной тайной полиции. Он довольно живо представил себе последствия оглашения такой записки. Генерал не потерпел бы подобной угрозы и выкинул бы его из семьи. А это означало бы разрыв с миром, в котором Отто жил и вне которого жить не мог, с кругом, которому принадлежало его прошлое,

настоящее и будущее, на связях с которым зиждились его благополучие, его карьера... В среде, из которой он вышел и где вращался, можно было позволить себе всё, что угодно, лишь при одном условии: не оставлять следов. Лицо Кроне выражало прежнее доброжелательство:

— Видите. Только ваши друзья могли сохранить это втайне... Если бы я захотел вам повредить, мне стоило лишь...

Отто молча смотрел в глаза собеседника.

— Все это, так же как и те ошибки, которые вы совершите впредь, найдёт могилу здесь! —

узкая ладонь Кроне легла на обложку сшивателя. — Для этого нужно единственное: ответить нам таким же расположением. Наша дружба будет столь же искренней, сколь тайной.

Кроне помолчал, давая Отто время справиться со смущением.

— Вы будете сообщать мне всё, что увидите и услышите среди ваших новых сослуживцев и начальников.

Отто не мог сдержать удивления.

— Даже от Рема? — спросил он.

— Да.

— Если он узнает...

— Вы будете осведомлять только меня... И о Хайнесе, —

сказал Кроне, — и о Карле Эрнсте.

При имени Хайнеса Отто стало жутко. Он слишком хорошо представлял себе, насколько опасно вызвать неприязнь силезского группенфюрера. Достаточно было Хайнесу заподозрить Отто в двойной игре, и... А Карл Эрнст?! Этот ни в чём не уступит Хайнесу. Нет, такая игра может обойтись слишком дорого!

— А если... я откажусь?

— Откажетесь?..

Тонкие пальцы Кроне начали листать бумаги, вшитые в папку.

Отто понял: компрометирующие документы — далеко не самое страшное, чем его держат в руках.

— Вы меня не так поняли, — поспешно пробормотал он.

— Я знаю, что вы нуждаетесь в деньгах... — Теперь голос Кроне звучал сухо и деловито. — Мы располагаем неограниченными средствами. Но ни одного пфеннига мы не бросаем на ветер!

...Когда чёрный лимузин высадил Отто где-то в тёмном переулке, он несколько минут стоял, сняв фуражку и жадно вдыхая прохладный воздух ночи. Только теперь, очутившись на безлюдных улицах спящего города, он почувствовал, до какой степени утомлён пережитым страхом. Хотелось лежать в полной тишине и

не думать. Главное — ни о чём не думать!..

Ступая на цыпочках, он прошёл в свою комнату рядом с комнатой Эрнста. Когда Отто уже лежал в постели, ему показалось, что за стеной слышны голоса.

Прислушался.

Да, там действительно говорили.

Отто напряг слух: вероятно, мальчишка тоже недавно явился и мать ласково выговаривает своему любимцу. Нет, второй голос был тоже мужской. Неужели отец? Небывалый случай! Однако нет, это не скрипучий голос отца.

— Мне показалось, что кто-то

прошёл по коридору, — проговорил
незнакомый голос.

— Глупости, тут некому
быть! — уверенно ответил Эрнст. —
Этот бездельник Отто редко ночует
дома.

Отто закурил и посмотрел на
стенку, словно ища более тонкого
места. Некоторое время за нею
царило молчание.

Снова заговорил гость:

— Отец злится на меня после
сделки с сукном. Твой братец стоил
ему слишком дорого.

Отто прижал ухо к шершавой
бумаге обоев.

— Дешевле никто не устроил бы
ваше гнильё, — сказал Эрнст.

— Дешевле! А ты знаешь, что он проделал? Я не хотел тебе говорить — всё-таки он твой брат...

— Об этом можешь не беспокоиться!

«Вот мерзавец»! — подумал Отто. То, что он услышал дальше, заставило его сесть в постели.

— Он прислал к отцу свою француженку. Она притащила записку о том, что если мой родитель тут же не выплатит изрядную сумму, то впредь не будет принята ни одна партия.

— Вот гусь! — Эрнст расхохотался.

— Записку отец взял, но денег не дал и сказал, что если что-нибудь

случится с его сукном, то он представит эту записку куда следует.

— Твоему старику, видно, палец в рот не клади.

— О, он у меня бодрячок! Но самое забавное дальше: старикан не упустил курочку твоего Отто.

Отто уронил окурок между стеной и постелью.

— Врёшь!

— Папаша сказал ей, что предпочитает истратить деньги на неё, а не на армейского хлыща!

Там, за стеною, оба прыснули смехом.

Отто вскочил с постели. Он просто жалкий простофиля по сравнению с этими

предприимчивыми сопляками. Вот, оказывается, как нужно жить!

Он остановился перед столом, на котором стояла фотография Сюзанн. Она ищет Эльдорадо?

По мере того как он размышлял, все становилось простым и цинически ясным. Как будто у него теперь тоже нет своего Эльдорадо? А Кроне с кассой гестапо? Отто получит своё из сейфов господина Гиммлера!

Успокоившись, он закурил и прилёг на постель.

Через несколько минут слышалось его ровное дыхание.

Отто спал спокойно, как человек, у которого нет причин

видеть дурные сны.

Испытание

Тельмана

продолжалось сорок семь дней.

Сорок семь дней — в каменной норе, где не было ничего, кроме койки и параши, где нельзя было встать, так как свод нависал над головой на высоте полутора метров; в норе, недоступной ни малейшему звуку, так как даже тюремщики в коридоре ходили на войлочных подошвах; в норе, лишённой всякого света, даже искусственного. Фонарь изредка вносили в камеру, чтобы дать Тельману возможность прочесть фальшивки, сфабрикованные в гестапо под видом писем от родных.

В первом же письме якобы старик отец сообщал Тельману о казни нескольких коммунистов. В письме были подобраны имена тех товарищей, о смерти которых заключённые знали ещё до того, как Тельмана «спустили в мешок». По мнению Кроне, это должно было внушить Тельману веру в подлинность писем и доверие к следующей записке, состряпанной от имени жены. Роза, так же как отец, умоляла Тельмана прекратить сопротивление. В доказательство его бессмысленности она сообщала об измене нескольких партийных друзей Тельмана, будто бы отрёкшихся от своего дела, от партии

и даже перешедших на службу к нацистам.

«Во имя нашего мальчика, во имя всего нашего будущего, твоей и моей жизни умоляю тебя, Тэдди: довольно, довольно! Это бессмысленно. Мы все это поняли, и мы все умоляем тебя об одном: вернись...»

И, наконец, «добрый» тюремщик однажды, будто тайком от начальства, подсунул Тельману вместе с фонарём фальшивый номер «Роте фане». Там было напечатано средактированное в гестапо «Решение Исполкома Коминтерна о прекращении подпольной борьбы германской компартией и роспуске

её ЦК». «Роте фане» сообщала, что было достигнуто соглашение с Гессом об амнистировании коммунистов и об освобождении их из концлагерей и тюрем. И на полях газеты было нацарапано: «Дай им это слово, Эрнст, — и ты будешь свободен. Пока они держат своё слово: я на свободе. Ждём, ждём тебя».

Почерк приписки был срисован гестаповскими графиками с перехваченной записки без подписи. Номер «Роте фане» отпечатали по приказу Геринга в одном экземпляре в типографии гестапо.

Но ничто не помогало — ни поддельные «письма родных», ни

сфабрикованный в гестапо фальшивый номер «Роте фане». Тельман не читал этих записок; он даже не взглянул на «Роте фане»; он знал им истинную цену. Он не отвечал и на вопросы следователя.

На сорок восьмые сутки тюремный врач, под наблюдением которого происходило искусственное питание Тельмана, отказавшегося принимать пищу, заявил, что не ручается больше ни за один день его жизни. Заключённый может умереть от отсутствия движения и от недостатка кислорода.

Геринг приказал вызвать этого врача.

— Что вы выдумали?! —

крикнул он. — Человек, которого кормят, не может умереть!

— К сожалению, экселенц, может.

— Если бы вы сказали, что он сходит с ума, я бы вам поверил.

— Как ни странно, он не проявляет признаков ненормальности.

Геринг смотрел на врача так, словно тот нанёс ему личное оскорбление. Наконец буркнул:

— Что же вы предлагаете?

— Это зависит от того, экселенц, чего вы хотите.

— Я хочу, чтобы он сдался!

— Умер?..

Геринг зарычал так, что врач

невольно попятился, хотя их разделял широкий стол.

— «Умер, умер»! Это я умею и без вас! Он должен жить! Жить и сдаться!

— Тогда нужно изменить режим, экселенц...

Геринг подумал и мрачно спросил сидевшего тут же у стола Кроне:

— Что вы думаете?

— Повидимому, для него нужно придумать нечто новое, — задумчиво проговорил Кроне. — Но сначала я предложил бы дать ему почувствовать жизнь как можно полней — воздух, прогулки, покой, отличное питание... даже газеты.

Геринг расхохотался, принимая это за шутку, но Кроне был серьёзен.

— Если он потерял вкус к жизни, то должен получить его заново. А тогда... тогда подумаем о чём-нибудь новом.

— Умно! — воскликнул Геринг и тут же отдал по телефону приказ тюремным властям.

Пока шли эти переговоры, Кроне несколько раз, нахмурившись, взглядывал на часы.

Когда они остались вдвоём, он сказал:

— Если он снова поймёт, что жизнь кое-чего стоит, вы поговорите с ним.

— Вы не оставили этой идеи?

— А ради чего же мы столько времени старались? Он стоит больше, чем старая кляча Лебе.

— Кстати о Лебе. Как с ним дела?

— Отлично.

— Он согласился опубликовать отказ от социал-демократической платформы?

— Да.

— Не так плохо, Кроне, а? — Геринг повеселел. — Лидер социал-демократов и бывший президент рейхстага! Это кое-чего стоит, а?

Приход адъютанта помешал Кроне ответить.

— Мистер Друммонд, экселенц... — сказал адъютант.

Кроне вздохнул с облегчением:
«Малый точен».

— ...настойчиво просит
приёма! — закончил адъютант.

— Кто?.. Зачем?.. — буркнул
Геринг и вопросительно посмотрел
на Кроне.

— Вспоминаю это имя, —
сказал тот. — Следовало бы его
принять. Этот Друммонд —
абсолютно чистая фигура. Он
торгует полезными вещами.
Назначьте ему время, экселенц, но...

— Ну, ну, не смущайтесь...

— ...осторожности ради,
прежде чем прикасаться к его
бумагам, передавайте их мне на
проверку... — И, уже откланиваясь,

добавил: — Не забудьте о свидании с Тельманом, экселенц!

В ту же ночь Тельман был переведён из «мешка» в изолированную палату тюремной больницы.

Тельман не был в силах шевелиться, говорить. Он только время от времени с очевидным трудом поднимал веки, и его изумлённый взгляд на миг обращался к окну. Тельман выдерживал свет какую-нибудь минуту, не больше. Веки снова опускались на отвыкшие от света глаза.

Ещё через сутки его взгляд продолжал оставаться единственным, в чём проявлялись

признаки жизни. Тело было по-прежнему неподвижно, губы не издавали ни звука.

Так продолжалось несколько дней. Но не это служило предметом удивления привыкшего ко многому тюремного персонала. Удивительным было другое: Тельман отказывался есть. Пришлось снова пустить в ход искусственное питание, чтобы поддерживать его силы.

Тюремщики и врачи были потрясены тем, что человек, вернувшийся из каменной могилы, мог сказать то, что сказал, наконец, Тельман:

— Я буду принимать только обычную тюремную пищу, такую же,

какая даётся другим заключённым. Я буду принимать её только в обычной тюремной камере, такой же, в какой содержатся мои товарищи.

Это было событием: он, ни разу не раскрывший рта за сорок семь суток пребывания в каменной могиле, он, из которого ни одна пытка не исторгла стога, заговорил.

«Номер двести четвёртый заговорил!»

Телефонные звонки, рапорты...

Однако радость тюремщиков была недолгой: Тельман говорил одну минуту. Ровно столько, сколько нужно было, чтобы один раз сказать то, что он сказал. Он не дал себе труда повторить оказанное ни

директору тюрьмы, ни следователю, ни прокурору. Только пришедшему в палату Кроне он сказал ещё одну фразу:

— Ни с одним фашистом я говорить не стану.

Прошло две недели.

Прошло три.

Геринг несколько раз спрашивал Кроне о том, когда можно будет поговорить с Тельманом, но Кроне не мог ему на это ответить ничего определённого. Кроне готов был теперь отговорить Геринга от этой встречи, если бы тот не сказал:

— Глупости, Кроне. Не верю! Вы просто не умеете взяться за дело!

Через несколько дней Кроне с

удивлением убедился в том, что Геринг был у Тельмана. Разговор вёлся в палате один на один. Но даже Кроне Геринг не сказал о том, что услышал от Тельмана. Только по взбешённому лицу министра, когда он вышел из палаты, да по ярости, вспыхнувшей в его взгляде при упоминании о Тельмане, Кроне мог судить, что там произошло.

Вероятно, чтобы утешить себя, Геринг сказал:

— Лебе дописал последнюю страницу в истории марксизма в Германии. С этим покончено!

— Буду счастлив, если это окажется так, — уклончиво заметил Кроне.

— Это так, и так останется
навсегда! — Геринг рассёк воздух
ребром толстой руки.

Отто редко давал себе труд возвращаться к тому, что казалось ему пройденным этапом жизни. Жизнь представлялась ему достаточно увлекательной и такою, какой была, чтобы стоило отнимать у себя время на бесполезные размышления о том, что было, или о том, что будет. Он оставлял без внимания многое из того, что расценивал как мелочь, которую не только не стоит замечать, но на которую подчас лучше даже закрыть глаза, чтобы не доставлять себе лишнего беспокойства. Он был далёк от того, чтобы задумываться над тем,

что делает Сюзанн в те часы, когда она не бывала с ним. Она могла заниматься чем угодно: быть журналисткой, переплётчицей или любовницей другого. Все это касалось Отто лишь в той мере, в какой могло поставить его в неловкое положение в обществе либо лишить какой-то суммы удовольствий или удобств.

Сюзанн была в действительности гораздо более смышлёной и ловкой особой, чем это казалось не только Отто, но и его более опытному предшественнику — Хайнесу. Она ни разу не дала ни тому, ни другому повода заподозрить, что у неё есть другая жизнь за

пределами той, в которой они сами принимали участие. Они знали, что Сюзанн — берлинский корреспондент великосветского парижского журнала «Салон». Этим положением объяснялось в её жизни многое: необходимость часто бывать вне дома, посещать ателье модных портних, бывать на скачках, выставках и на тех вечерах миттельштанда и бюрократии средней руки, на которые удавалось проникнуть.

Поэтому и сегодня, вздумай Отто позвонить Сюзанн и не застань её дома, он был бы недоволен, потеряв вечер, но ему и в голову не пришло бы задуматься над тем, где

она может быть, чьё общество она предпочла ему. На завтра он выслушал бы её объяснение и был бы далёк от мысли проверять. Она же, в свою очередь, предпочла бы выдержать самую бурную сцену ревности со стороны Отто, чем сделать хотя бы ничтожный намёк на то, что в действительности произошло с нею именно в этот вечер.

...Она сидела в «Казанове». Программа кабаре подходила к концу, когда к столику Сюзанн подошёл Роу. Ни костюмом, ни наружностью он не выделялся из окружающей его толпы посетителей, и только опытный глаз признал бы в нём не немца. Сюзанн знала его под

кличкой «капитан». Она знала, что он бывший моряк, что он занимается журналистикой и является корреспондентом английской газеты. Но кроме всего того, что знали о капитане Роу и другие, Сюзанн знала о нём ещё одно: он был человеком, пославшим её в Берлин. Это Роу заставил её стать журналисткой. Роу сделал её «дочерью» незнакомого ей маленького старого француза. Это он, капитан Роу, полновластно распоряжался её жизнью с тех пор, как она дала ему поймать себя на пустячной краже в ювелирном магазине. Роу поймал её и, поймав, разыграл покровителя. Ровно настолько, насколько ему

понадобилось, чтобы заставить её полностью служить ему. Роу долго не давал ей никакой работы. Он держал её впроголодь, заставлял наизусть заучивать целые главы первых попавшихся ему под руку книг, запоминать длинные, непонятные ей доклады, целые скучные передачи радиокомментаторов. Он тренировал её память. Он посвятил её в приёмы конспирации, обучил тайнописи. Ещё и ещё раз убедил её в том, что она всецело в его руках. После этого он дал ей задание. Её путь лежал в Германию. Там было поле её будущей деятельности. План был разработан тонко и точно. Расписан каждый шаг. Вплоть до того, что, добравшись до

коричневых вельмож, она должна будет сделать так, чтобы и те, в свою очередь, захотели отыскать путь к её сердцу. Её обязанность — помочь им на этом пути. Ею были довольны все: и капитан Роу, издали наблюдавший игру, и Хайнес, и сменивший его Отто фон Шверер.

Вопреки своим ожиданиям, была довольна и Сюзанн. Работа оказалась по ней. Хорошенько запоминать всё, что говорили в своём кругу руководители СА, и, по возможности, стенографически излагать это шифром в виде статей для «Салона» было не такой уже жестокой расплатой за право вести весёлую жизнь. Она не задумывалась

о том, на кого работает и каков скрытый смысл её работы. Единственное, что её по-настоящему интересовало, была обратная почта из «Салона», изредка и скупно приносившая ей гонорар. «Капитан» не был щедр. Но он не был и назойлив. С тех пор как Сюзанн покинула Париж, он ни разу не дал ей знать о себе, ни разу не назначил свидания. И вот впервые сегодня в «Казанове» она снова увидела его. Она безропотно последовала за ним в автомобиль, доставивший их в маленькую гостиницу. Горничная внесла в номер бутылку вина и с профессиональной улыбкой пожелала «спокойной ночи». Роу,

слегка толкнув Сюзанн в плечо, усадил её в кресло.

Несколько минут он молча, заложив руки в карманы и попыхивая трубкой, расхаживал по маленькому номеру, потом подсел к Сюзанн. Он негромко говорил о том, что теперь Сюзанн может быть совершенно спокойна за свой «тыл». Человек, игравший роль «папа», который был ей нужен как прикрытия на первое время, закончив своё дело, навсегда вышел из игры. Она может действовать теперь совершенно уверенно, не боясь провала, если только сама не совершит какой-нибудь ошибки. Роу сказал ей, будто придерживается того принципа, что

даже самый маленький агент должен ясно представлять себе выполняемую задачу. Поэтому он, Роу, считает, что настало время открыть ей, на кого она работает и в чём конечная цель её работы. Он заверил её, что безопасность Франции требует повседневной осведомлённости о замыслах командования штурмовых отрядов. Задача Сюзанн заключается в том, чтобы через посредство Отто Шверера и других офицеров-штурмовиков, с которыми она сталкивается, постоянно следить за их разговорами и делами и информировать Роу.

Он встал, выколотил трубку о край пепельницы.

— Здесь, на столе, деньги за номер и вино. После моего ухода не одевайтесь, прежде чем горничная не убедится в том, что вы были в постели.

И ушёл, сделав приветственное движение рукой.

Генерал Гаусс отдёрнул занавеску у окна вагона. За стеклом было черно. Изредка проскальзывал, как искорка от паровоза, огонёк будки путевого сторожа или, может быть, одинокого крестьянского дома где-то на склоне невидимой горы. Глядя в темноту, Гаусс думал о предстоящем свидании с Гитлером. Он все время возвращался мыслью к тому, что знал о Гитлере со слов своих друзей-военных, бывших в Мюнхене и знавших нынешнего канцлера ещё в те времена, когда он был простым провокатором. Воспитанный поколениями юнкеров-

пруссаков, Гаусс полагал, что между ним и рождённой его собственной военной средой тёмной личностью канцлера-ефрейтора нет и не может быть ничего общего. Ему и в голову не приходило, что они были сообщниками в замышляемом преступлении — превращении германского народа в пушечное мясо для иностранных и отечественных вдохновителей «похода на восток». Гауссу казалось, что если даже Гитлера объявят богом немцев на земле, а не только канцлером, фюрером и кем угодно ещё, он, Гаусс — потомственный прусский юнкер и генерал, — имеет право смотреть свысока на этого ефрейтора-

австрияка. Для генерала Гитлер был и оставался не кем иным, как наёмником его, Гаусса, класса господ, класса хозяев Германии, стремящихся за счёт народа, ценою любых жертв обеспечить своё положение от каких-либо внутренних потрясений.

И вместе с тем, если Гаусс не отказывался верить одному из своих наиболее умных и заслуживающих доверия коллег — генерал-полковнику Людвигу Беку, — именно такого рода потрясение следовало предвидеть. Не встряску, к каким немецкий генералитет привык во времена Веймарской республики, а настоящее потрясение основ военной

организации. Таким потрясением, предвидимым Беком, было оспаривание прерогатив генерального штаба со стороны кучки карьеристов и дилетантов, сгруппировавшихся вокруг нового канцлера.

Сам Гаусс давно уже не работал в генеральном штабе, как таковом, но продолжал числиться по нему. Как для всякого генштабиста, пиэтет этого учреждения оставался для него на прежней высоте. Понятие «генеральный штаб» было для него мерилом, а может быть, и синонимом высшей военной мудрости. Поэтому угроза существованию или хотя бы

самостоятельности и авторитету этого учреждения представлялась ему покушением на правопорядок в армии. А поскольку армия, в понимании Гаусса, была основой национального правопорядка в Германии, то вывод был ясен: выбить подпорки из-под генерального штаба — значило лишить Германию базы для существования в том смысле и виде, какой мыслился единственно возможным всякому представителю военно-прусской верхушки немецкого общества. Как ни парадоксально это звучит, но потеря Пруссией былой исключительности, низведение её на роль одной из земель империи не повлияли

существенно на роль восточно-прусского юнкерства. Оно сохранило господствующие позиции в военно-бюрократическом аппарате государства.

Первый испуг, овладевший буржуазной и бюрократической верхушкой общества в дни революции восемнадцатого года, был быстро забыт. Капитаны германской тяжёлой промышленности, вроде Стиннеса, представители высшей бюрократии эпохи монархии и генералитета даже как будто стыдились вспоминать те дни, когда они, устрашённые революцией, согласились на учреждение республики. Напротив, Гаусс не без

гордости вспоминал теперь события, последовавшие за первыми днями жизни Германии без кайзера. В памяти вставала заслуживающая, с его точки зрения, почестей фигура Грёнера. Вот кому армия действительно обязана тем, что она существует и пока ещё занимает достойное её положение в государстве. Не всякий начальник главной квартиры на месте генерала Вильгельма Грёнера нашёл бы правильный путь в те дни, когда Карл Либкнехт водрузил над королевским дворцом в Берлине красный флаг и провозгласил власть Советов. А правильный путь, как полагал Гаусс, заключался в том, что был заключён

тесный союз с социал-демократами. Это может кое-кому показаться странным, но Гауссу представляется, что позднейший отказ от союза с социал-демократами — грубая политическая ошибка. Он считает, что тех субъектов было куда легче приспособить для нужд сословия господ, желающих оставаться хозяевами Германии, чем нынешних башибузуков в коричневых рубашках. Чтобы заставить их реагировать на поводья, приходится тратить чересчур много силы. Фашистский конь оказался тугоуздым...

— Да, — думает Гаусс, окружённый облаками сигарного дыма, — прав был Грёнер,

использовав секретный прямой провод между Спa, где находилась императорская ставка, и Берлином для переговоров с Эбертом и Шейдеманом. Миссия примирения офицерского корпуса с республикой, выполненная Гинденбургом, по идее и под наблюдением Грёнера, заслуживает вечной благодарности... Грёнер, разумеется, не мог высказать в лицо уходящему в политическое небытие императору то, что сказал за его спиной: «Присяга на верность монарху — только идея». Он должен был сказать Вильгельму именно то, что сказал: «Ваше величество, не следует рассчитывать на то, чтобы фронтовой солдат стрелял в другого

фронтовика, с которым он четыре года лежал в окопах и вместе боролся против иноземного врага». Грёнер должен был помешать и помешал Вильгельму организовать поход на революционный Берлин во имя того, что он назвал «только идеей». В то время такой поход означал бы поражение армии не на фронте борьбы с внешним врагом, а на внутреннем фронте. А такое поражение повело бы к тяжким последствиям для идеи порядка, которому всегда служила, служит и во веки веков должна служить германская армия. Именно так, как поступил Грёнер, и должен был поступить умный генерал: издать

приказ, разрешающий образование в армии советов солдатских депутатов.

Гаусса не была в те дни в Спа, но он ясно представляет себе, какого труда стоило Грёнеру добиться от Гинденбурга, чтобы старый фельдмаршал подписал этот приказ. Грёнер потом рассказывал Гауссу, как ему приходилось умолять, грозить и доказывать, что такой ход не капитуляция, а только манёвр.

— Сегодняшний день требует жертв во имя спасения того, что мы можем и должны спасти, — сказал тогда Грёнер.

В эти дни у Гинденбурга был такой вид, будто он обдумывает только одно: как бы половчее

увернуться ото всего и последовать за Вильгельмом в Голландию. Но слова Грёнера о том, что жертва будет лишь временной и чисто формальной, что солдатские советы будут так же распущены в армии, как их разгонят в тылу при помощи Эберта и его клики, подействовали, наконец, на главнокомандующего.

9 ноября на вопрос Эберта по прямому проводу: «Чего вы ждёте от нас?» — Грёнер уже мог ответить:

— Господин фельдмаршал ждёт от германского правительства, что оно поддержит офицерский корпус в его борьбе за сохранение дисциплины и строгого порядка в армии.

— Ещё чего? — спросил Эберт.

— Офицерский корпус надеется, что правительство будет бороться с большевизмом. Офицерский корпус предоставляет себя в распоряжение правительства для этой борьбы.

Ответ Эберта, последовавший после недолгой паузы, определил дальнейшее в политике армии:

— Передайте господину фельдмаршалу благодарность правительства.

А самым смешным было то, что когда в Спа прибыли делегаты Центрального комитета советов, майору Шлейхеру удалось их убедить в необходимости поскорее создать бюро солдатских депутатов в самой

ставке. Это было важной победой: приказы ставки, требующие от солдат дисциплины и подчинения офицерам, стали скрепляться их собственными солдатскими депутатами.

У Грёнера были основания потирать руки от удовольствия: «политический майор» действовал достаточно ловко.

Гаусс поймал себя на том, что при этом воспоминании он сам машинально потёр друг о друга сухие ладони. Это движение прервало ход его мыслей. Ему даже показалось, что он напрасно все это вспоминает, что те далёкие события не имеют никакого отношения к тому, в чём

ему самому приходится принимать участие теперь.

Он оторвал взгляд от тёмного окна и достал новую сигару. Но по мере того как пальцы привычными движениями, без участия воли срывали колечко, обрезали конец сигары, зажигали спичку, всплывали всё те же мысли. Только череда их стала быстрее. События сменяли друг друга. Вот Грёнер даёт установку: «Разбухшая миллионная армия может распадаться. Но офицерский корпус должен быть сохранён. Он должен существовать. Будущность Германии немыслима без этого ядра дисциплины и силы, без волевой энергии, заключённой в

корпорации германского офицерства, без людей, умеющих командовать и повиноваться».

Много позднее в разговоре с Гауссом Грёнер как-то сказал:

— Теперь вы согласитесь: нас спас приказ о разрешении образовать солдатские советы?

Но вот наступили «критические» дни декабря 1918 года. Всегерманский съезд советов принял решение об уничтожении погон, о запрещении носить оружие вне службы и, главное, о полном подчинении армии Совету народных уполномоченных, то-есть правительству республики. Верховное командование

запротестовало. Грёнер заявил Эберту по прямому проводу:

— Господин фельдмаршал рассматривает решение съезда как нарушение обещаний, данных в первые дни революции.

— Позвольте, господин генерал... — пытается Эберт перебить Грёнера.

Тот ничего не хочет слушать:

— Господин фельдмаршал объявляет это решение незаконным... Фельдмаршал, я и все главное командование ставят свою судьбу в зависимость от разрешения этого вопроса!..

— Прошу вас, господин генерал, успокоить господина

фельдмаршала, — спешит заверить Эберт. — Мы должны попытаться ловкими переговорами уладить это неприятное дело.

Он просит Грёнера приехать в Берлин на совместное заседание министров с Центральным комитетом советов.

И вот 20 декабря берлинцы могли видеть, как по Лейпцигерштрассе, где расположено военное министерство, шагали генерал Грёнер и сопровождавший его майор Шлейхер — начальник бюро первого генерал-квартирмейстера. Этот недавно ещё никому не известный офицер стал фактически начальником

политического штаба ставки.

На заседании Центрального комитета Грёнер категорически заявил, что приведение в исполнение решения съезда повлечёт за собою немедленный уход в отставку всего верховного командования. Это, в свою очередь, по его словам, приведёт к неизбежному общему хаосу в армии, а значит, и в стране.

Социал-демократы добились принятия этого ультиматума и похоронили решение съезда...

Социал-демократы... Эберт...

Гаусс хорошо помнит эти фигуры. Командование не ошибалось, делая ставку именно на них. Стоит только вспомнить

процесс Эберта, когда он возбудил дело против какой-то газеты, — Гаусс уже не помнит, против какой именно, но помнит, что газета была правая, — она обвиняла Эберта в том, что он был участником революции восемнадцатого года. Эберт запротестовал. Он заявил, что подобное подозрение бесчестит его и призвал в свидетели Грёнера. Кто знает, послужило ли выступление Грёнера к накоплению Эбертом политического капитала в социал-демократическом понимании, едва ли... Но что подозрение в революционности Эберта было снято — нет никаких сомнений.

— Мы стали союзниками в

борьбе против большевизма, — заявил тогда Грёнер. — Мы поддерживали телефонную связь по секретному кабелю, соединявшему ставку с канцелярией президента. Речь шла о том, чтобы вырвать власть из рук советов рабочих и солдат. Десять дивизий должны были войти в Берлин. Эберт согласился с этим, дав одновременно согласие на стрельбу боевыми патронами. Мы разработали программу, которая предусматривала очищение Берлина после вступления в него войск. Этот вопрос также обсуждался с Эбертом, которому мы особенно благодарны...

Гаусс мысленно усмехнулся: Вильгельм II и его канцлер не знали,

кому нужно вручить руль
государственного корабля. Всю свою
энергию они тратили на то, чтобы
опорочивать социал-демократов и
бороться с ними. А эти господа
оказались лучшими союзниками
противников революции. Вот в чём и
заключается, оказывается,
государственная мудрость в эпоху
конституционных монархий:
рейхсканцлерами императоров
должны быть приручённые
социалисты!.. Эта мысль так
понравилась Гауссу, что он даже
улыбнулся. Он прищурился от
поднимающегося над кончиком
сигары дыма. Перед ним встал образ
грёнеровского спутника —

Шлейхера. Тогда майор штаба в Спа, впоследствии генерал и канцлер, Гаусс дорого дал бы, чтобы знать, что этот человек думает сейчас. С кем он, куда держит курс? В своё время по его чутью можно было ориентироваться в событиях. Но, кажется, последние годы это чутьё ему изменило.

В те дни, о которых вспоминал Гаусс, начиналась политическая карьера Шлейхера. Это его голос удержал командование от намерения предоставить события собственному ходу, когда начался катастрофический развал берлинского гарнизона и малодушные офицеры готовы были

признать, что борьба с революцией уже окончена поражением офицерства.

— Нет, господа, — заявил тогда майор Шлейхер, — борьба только начинается. Все, что происходило до сих пор, преследовало одну цель: выигрыш времени. Сложить теперь оружие — значит отказаться от верной победы и обречь на гибель нашу Германию. Победа придёт, за это я ручаюсь головой. Её принесут нам добровольческие отряды! Именно эти отряды дадут правительству ту силу власти, которой ему так нехватает.

— Вы хотите, чтобы «добровольцы» боролись за власть

социал-демократов? — возмущённо спросил кто-то из присутствовавших на совещании офицеров. — И чтобы мы своими руками создавали такого рода отряды?

В голосе Шлейхера, когда он отвечал на этот вопрос, звучала нескрываемая насмешка над тупоумием офицера:

— Именно это я и предлагаю: власть социал-демократии, офицерские отряды на помощь социал-демократам! Только в этом наше спасение.

Со свойственной ему холодной надменностью генерал-майор Ганс фон Сект поддержал Шлейхера. И когда была создана первая группа

«добровольческой охраны „Север“ — Сект принял командование над ней.

Гаусс должен честно сознаться, что тогда он более чем скептически отнёсся к этой идее. «Добровольческие отряды»?! О каких там отрядах может идти речь, когда армия расползается, подобно подтаявшей снежной бабе. Нельзя же заставить офицеров выполнять функции рядовых! А иначе не из кого было бы набрать даже один батальон.

Теперь-то Гаусс был готов признать, что именно в них, в добровольческих отрядах, и заключалась та потенция силы, сознание которой давало командованию уверенность действий

и слов. В действенность этой силы поверило и социал-демократическое правительство. Когда возникла необходимость подавления восстания матросов, засевших в королевских конюшнях в Берлине, Эберт сам обратился к ставке с просьбой прислать «добровольцев». Но ставка, в лице Грёнера, ответила отказом. По её мнению, добровольцы ещё не были готовы к операциям против сил революции.

Гаусс до сих пор не понимает, действительно ли добровольческие отряды ещё не были укреплены, или Грёнер не хотел, чтобы они были раньше времени, по частному поводу, разоблачены как противостоящая

революционным массам
вооружённая сила. Может быть, он
предпочитал, чтобы это восстание
матросов было ликвидировано по
распоряжению и силами самой
социал-демократии, без участия
военного командования. Так или
иначе, он повторил этот отказ и
тогда, когда Эберт снова попросил
вмешательства ставки, боясь крупных
волнений в связи с похоронами
жертв подавления матросского
восстания.

Все тот же тайный провод
между Берлином и ставкой был
свидетелем истерического крика
Эберта:

— Мы накануне большого

восстания, а у меня нет сил для его подавления!

— Нужно набраться терпения, — ответил Грёнер, — господин фельдмаршал все ещё не считает добровольческие отряды готовыми. Мы предпринимаем последнюю попытку организации вооружённых сил, необходимых нам самим и вашему правительству. Если эта попытка окончится неудачей — ваша и наша судьба будет решена вместе. В стране воцарится хаос, и к власти придёт большевизм.

Это был, пожалуй, первый случай в истории Германии, когда один из военных руководителей армии заявлял, что её судьба — это

судьба социал-демократии...

Грёнер был прав: офицерские отряды и «добровольческие» части нужно было сохранить для будущего. Стоит вспомнить, что думали по поводу «добровольческих» организаций англо-франко-американцы. Насколько помнится, представитель Англии в Берлине лорд д'Абернон недвусмысленно заявил, что считает французское требование о полном разоружении националистических военных организаций сумасшествием. Да, так и было заявлено: сумасшествие подрубать сук, на котором сидишь.

С англичанами были вполне согласны и американцы. Приехавший

в Германию в качестве специального представителя президента США Вильсона Уильям Буллит доносил в Вашингтон: «Если мы не окажем достаточной поддержки правительству Эберта, Германия станет большевистской». Такая поддержка означала прежде всего закрыть глаза на существование тайной военной силы. Во-вторых, это значило помочь снабжению этих тайных военных формирований боевым снаряжением и продовольствием, которого Германии нехватало даже для детей. И вот, одной рукой — официальной — разоружая германскую армию, другой рукой, по секрету от своих

собственных органов и от французского партнёра, англо-американцы снабжали всем необходимым «чёрный рейхсвер». Этого было достаточно, чтобы понять: играя на «красной опасности», руководители немецкого государства всегда смогут договориться со своими бывшими врагами. Это было очень важным уроком на будущее.

Впрочем, Гаусс хорошо помнит, что в тот период его пребывания его интересовали не только эти переговоры о «добровольческих» отрядах. Одновременно с нотацией, прочитанной по прямому проводу Эберту, Грёнер потребовал от

социал-демократического правительства замедления эвакуации германских войск из занятых ими областей России.

— Фельдмаршал и я полагаем необходимым не только задержать эвакуацию указанных войск, но даже начать наступательные действия в Курляндии.

Этот разговор особенно хорошо запомнился Гауссу, потому что он наиболее близко касался лично его. Ведь ему были поручены секретные переговоры с маршалом Фошем как главою союзного командования на Западном фронте. Германское командование предлагало объединение сил побеждённой

Германии с войсками победителей для осуществления решительного наступления на Советскую Россию.

Гаусс никогда не был поклонником Макса Гофмана, — отсюда, вероятно, и значительная доля его неприязни к Швереру, — но Гофман был прав, когда заявил тому же д'Абернону:

— Все мои мысли подчинены главной идее: ни один вопрос в мире не может быть разрешён до тех пор, пока западные государства не объединятся для уничтожения Советского правительства. Договорённость между Англией, Францией и Германией о нападении на Россию — жизненная

необходимость. Я готов представить вам конкретный план такого нападения силами немецко-франко-англо-итало-польской коалиции...

Пресловутый полковник Хауз, личный друг и представитель президента Вильсона, был полностью в курсе переговоров. Он ясно показал, что согласен с маршалом Фошем, о мнении которого доносил Вильсону: «Маршал стоит за такое решение, которое было бы на руку всем антибольшевистским элементам в России и всем соседям России, сопротивляющимся большевизму. Он даже готов пойти на сотрудничество с Германией...»

Хаузу вторил Ллойд-Джордж: «Сделать ничего нельзя, пока Франция и Германия не будут единомышленны. Прошу вас передать мой привет генералу Гофману, горячему стороннику антибольшевистского военного союза».

Да, черт побери, союзники могли быть совершенно спокойны, когда в Бресте на одной стороне стола сидел милый генерал Макс Гофман, а на другой — такой субъект, как Троцкий, ставший впоследствии надёжным агентом Секта в России.

Увы, из всех переговоров о совместном походе против большевиков практически

получилось ещё меньше, чем из попыток Эберта — Грёнера самостоятельно развить войну на восток. Виноваты французы. Их страх перед возможностью воскрешения военной мощи Германии оказался сильнее страха перед большевизмом. (Пусть ошибка тоже послужит французам хорошим уроком на будущее!). Кончилось дело только тем, что самому германскому верховному командованию пришлось настаивать перед социал-демократами на подписании позорных и тяжких условий Версальского мира, лишь бы освободить все мало-мальски надёжные части для переброски с

запада на восток, чтобы хотя бы там спасти, что можно. И все же спасти не удалось почти ничего. Провалилась даже прибалтийская авантюра.

Да, дьявольски сложной штукой остаётся политика, независимо от того, верно ли положение Клаузевица, будто война является её продолжением, или положение Людендорфа о том, что сама она, политика, лишь продолжение войны иными средствами.

Задача казалась нелёгкой. Под перемирием не должно было стоять подписей генералов. Капитулировать могли штатские социал-демократы, но не германские офицеры. Армия

должна была остаться непобеждённой. Её гордость должна была остаться несломленной.

Но то, что казалось таким трудным, — втравить в эту двусмысленную игру гражданских политиков, представлявших новорождённую республику, — на деле оказалось совсем лёгким. Политические деятели из «штафинок» сами заявили, что, вероятно, людям без военных мундиров будет легче договориться с союзниками. То-есть они предложили то, о чём боялись даже и заикнуться сами генералы. Воспользовавшись этим, командование решило, что может

послать в состав делегации Эрцбергера всего одного офицера. Этим ягнёнком, обречённым на заклятие, попытались было сделать Гаусса как знатока Франции, но ему удалось увильнуть от неприятной миссии и свалить её на другого.

Гаусс до сих пор отчётливо помнит телеграмму ставки, адресованную Эберту. В те дни Гаусс не раз перечитал её, вдумываясь в текст: «Возобновление борьбы обречено на поражение... Приходится заключить мир на поставленных врагом условиях. Считаю необходимым, чтобы министр рейхсвера Носке принял на себя руководство народом... (Да,

Гаусс отчётливо помнит, так прямо и было сказано: Носке, социал-демократ Носке.) Далее говорилось: „Только если Носке объяснит в воззвании необходимость подписания мира и потребует от каждого офицера и солдата, чтобы он и после подписания мира остался на своём посту в интересах отечества, только тогда есть надежда, что военные сплотятся вокруг Носке и этим уничтожат попытки восстания внутри страны“.

Телеграмма была одобрена Гинденбургом.

Носке?!

Ведь именно ему, тогдашнему военному губернатору Киля,

правительство было обязано подавлением восстания моряков и солдат. Это было неплохим экзаменом для социал-демократа.

И правильно сделал Эберт, поручив именно ему, Носке, командование силами, действовавшими против спартаковцев. Кровью пятнадцати тысяч расстрелянных им революционеров Носке запечатлел свою преданность порядку. Не у всякого социалиста хватило бы смелости (или цинизма — называйте, как хотите) заявить: «Я выступал, хотя знал, что меня будут потом изображать кровавой собакой германской революции... Что же,

кто-нибудь ведь должен быть кровавой собакой... Я готов стать ею».

Гаусс был уже в Цоссене, где формировались и обучались войска для борьбы против революции, когда туда приехали Эберт и Носке, чтобы провести смотр. Гаусс своими ушами слышал, как Носке, обрадованный бравым видом солдат, сказал Эберту:

— Можешь успокоиться: скоро все придёт в порядок.

— Да, я не ошибся в своей ставке на германского офицера, — согласился Эберт.

Действительно, он не ошибся ни в офицерах, ни в назначении Носке военным министром. Носке

откровенно заявил, что считает рейхсвер и социал-демократию двумя отрядами германской «демократической республики», неразрывно связанными между собою.

Теперь, когда Гаусс рассматривает события сквозь коррелирующую призму полутора десятилетий, ему кажется, что Носке был тогда на своём месте!.. Гитлер — настоящая неблагодарная свинья: не оценить такого предтечу фашизма, как Носке! Не найдись в своё время социал-демократа Носке — не бывать бы теперь Гитлеру рейхсканцлером, и всей его лавочке тоже не бывать бы!.. Право, свинья!..

Очень жаль, что нынешние правители не оценили заслуг этого человека и ограничились тем, что, уволив его в отставку, назначили ему высокий пенсион...

А впрочем... может быть, у этих типов коричневой породы только сильнее, чем хотелось бы генералу, развита шишка самосохранения? Небось, им не хуже, чем самому Гауссу, известно, как он подсылал к Носке доверенного офицера с предложением от имени командования захватить власть и сделать эту «социалистическую кровавую собаку» германским диктатором. Возможно, в насторожённом отношении Гитлера

к Носке и есть резон. Выступление офицерства и армии в целом, которое Носке тогда счёл преждевременным и неразумным, теперь, может быть, и показалось бы ему как нельзя кстати... И генералам было бы куда сподручнее видеть в диктаторском кресле уже испытанного слугу, нежели эту тёмную лошадку Гитлера. К тому же слугу, имеющего за плечами долголетний стаж настоящего социал-демократа, а не какого-то выдуманного самими же гитлеровцами «национал-социалиста».

«Национал-социализм»!.. Гаусс почти вслух произнёс это слово. Оно

показалось ему до глупости несуразным. Он презрительно фыркнул: болтовня богемского ефрейтора!

Вагон тряхнуло. Тёплый пепел с сигары упал Гауссу на руку. Генерал поспешно сдул его, так, чтобы не насорить на ковёр, и огляделся: купе было наполнено облаками сигарного дыма. Он отложил недокуренную сигару в пепельницу...

Внезапное ощущение тепла вызвало у Гаусса неожиданные ассоциации: почему-то вспомнилось далёкое детство...

Под натиском нахлынувших сентиментальных воспоминаний Гаусс умильно сощурился. Перед его

взором, как живая, встала мать. Он почти ощущал на щеке любовное прикосновение её тёплой руки, слышал запах её волос... вспомнилась детская комната, изрезанный и выпачканный чернилами классный стол и опять этот вышитый гладью медальон над постелью: «Бог — моя крепость»... Однажды отец выпорол маленького Вернера ремнём за то, что он вздумал сделать шёлкового ангелочка мишенью для стрельбы горохом из игрушечного ружья...

«Бог — моя крепость»?.. По нынешним временам это звучит уж очень наивно. Гораздо уместнее было бы сказать: «Я — крепость бога»...

Именно так, поскольку я — это армия, а армия — это я. На какое же из земных установлений господь бог может положиться вернее, чем на армию. Если бы не существовало армий, грош цена была бы церкви с её папой и попами, воображающими, что это именно они-то — церковь, и являются оплотом бога... Пустяки!.. Опора неба — штык. А штык-то собственность генералов. Одним словом, право сильного!.. Вот что касается воспитания немецких офицеров, то он заставил бы их каждое утро вместо молитвы повторять слова железного канцлера: «Все, что хотите, только не война с Россией. Бойтесь России».

Иронией судьбы можно считать появление на авансцене такого человека, как Вальдерзее, с его авантюристической линией втягивания Германии в политику «неизбежности» войны с Францией и Россией. «Покончить с опасностью войны на два фронта, разрубив этот гордиев узел мечом» — до этого могла додуматься только такая пара, как начальник генерального штаба Вальдерзее и начальник военного кабинета короля генерал Альбедилл. При этом ещё безумной идеей Вальдерзее было начать с России. В 1883 году он почти открыто потребовал нападения на Россию...

Гаусс нахмурился, как если бы

опасность этой авантюры грозила и сейчас: кто противостоит теперь крикливому авантюризму Гитлера, который опасней Вальдерзее? Того сдержала трусость кронпринца, а чья трусость спасёт Германию от беды теперь? Положительно, есть от чего прийти в смятение!..

Гаусс не станет спорить, — у Вальдерзее были заслуги: усиление армии, укрепление престижа генерального штаба, детальный проект введения всеобщей воинской повинности — все это его актив. Но какой истинный военный простит Вальдерзее то, что при нем широко отворились двери генерального штаба для офицеров не

аристократического происхождения. По крайней мере половина корпуса генерального штаба скоро оказалась укомплектованной выходцами из буржуазии. Чистота «расы господ» в армии была утрачена...

Впрочем, нет худа без добра. Господа буржуа оказались наиболее яростными экспансионистами. Никогда ни один аристократ не требовал с такой настойчивостью завоеваний, как выскочки из богатых семейств. Быть может, даже, если бы не появление этой новой прослойки — и самый вопрос о колониях для Германии никогда не получил бы того ясного решения, какое стало необходимым для удовлетворения

аппетитов буржуазии. А уж о флоте и говорить нечего. Если бы не заинтересованность промышленных кругов в наживе на его строительстве больших кораблей, и как можно в большем числе, — не бывать бы Тирпицу «отцом большой программы»! Тут не помогло даже сопротивление Вальдерзее, считавшего, что целесообразнее употребить эти деньги на увеличение армии и усовершенствование её вооружения. «Флоттенферейн» и принц Генрих Прусский оказались надёжными союзниками Тирпица.

Если Вальдерзее своими глупыми проектами войны с Россией и затем с Францией начал разрушать

то, что так кропотливо строил Бисмарк, то Каприви быстро довёл эту разрушительную работу до конца. Договор с Россией, обеспечивающий безопасность восточных границ Германии, был утрачен. Следуя ненависти императора Вильгельма ко всему английскому, Каприви не сумел обеспечить себя и с этой стороны. Кончилось все это тем, что господа из генерального штаба могли только щёлкать зубами, читая донесения своего военного атташе из Петербурга о том, как там встречают начальника французского генерального штаба генерала Буадефера, приехавшего для присутствия на манёврах русской

армии. Вальдерзее мог только отпускать ругательства по адресу начальника русского генерального штаба генерала Обручева, сумевшего наладить сотрудничество генеральных штабов Франции и России.

Вальдерзее не спасла даже его программа борьбы с тремя «измами» — социализмом, ультрамонтанизмом и либерализмом. Вильгельм снял его с руководства генеральным штабом, хотя и сам ничего не боялся больше, чем революции.

При этой мысли Гаусс не удержался от улыбки: говорят, что в те времена кайзер даже собирался построить на берегу Шпрее

бронированный каземат, чтобы укрыться в нём с семьёй и ценностями, в случае если вспыхнет революция. Х-ха! Возможно, что опыт тех лет и дал кайзеру возможность так быстро собрать чемоданы, когда потребовали события 1918 года?.. Может быть...

Но вот на генштабистском горизонте восходит новая звезда. Её мерцание спокойно и равномерно. Её лучи не выходят за пределы узкопрофессиональных дел. Политический небосклон остаётся ей чужд. Звезда эта — граф Шлиффен. Пожалуй, единственное из области большой политики, что он сделал предметом приложения своих

недюжинных способностей, была ложная предпосылка некоторых из его предшественников и, в частности, Вальдерзее о том, что для Германии война на два фронта — на западе и на востоке — неизбежна. Эта предпосылка, принятая Шлиффеном в качестве аксиомы, заставила его сосредоточить все внимание, все силы на разработке плана войны на два фронта. Он исходил из положения Клаузевица, что коалиции противников может быть нанесено поражение, если хотя бы один из них будет совершенно разгромлен единственным, страшным, смертоносным ударом. Это положение предполагало

необходимость действий с максимальной быстротой, чтобы, разделившись с первым противником, уничтожив его, освободить силы для войны с другим противником.

Хотя эти теории получили широкое признание в германской армии, Гаусс до сегодняшнего дня придерживался мнения, что в подобном утверждении содержалось два порочных положения. Первое из них заключалось в зачатке идеи молниеносной войны. Второе — в отрицании возможности в будущем сколько-нибудь длительных войн с участием миллионных армий. Шлиффен ещё не понимал, что

самый факт вступления в войну огромных вооружённых масс потребует мобилизации всей экономики страны, напряжения её промышленных сил в таком масштабе, осуществление которого в короткий срок было бы просто невозможно.

Но, с точки зрения Гаусса, в стратегической разработке Шлиффена содержалось и огромное положительное новшество по сравнению с планами Вальдерзее: вопрос о том, где нанести первый решительный удар, Шлиффен решил в пользу Запада. Браво, Шлиффен! Гаусс того же мнения!

Поскольку французская граница

была сильно укреплена системой крепостей и укреплённых районов, Шлиффен решил, что её следует попросту обойти. Обойти её можно было только с севера. Значит, наступление немецких армий должно было произойти через Бельгию. Вот в чём золотая простота шлиффеновского плана. Да, Шлиффен не напрасно прожил жизнь! Мольтке-младшему, пришедшему к руководству генеральным штабом с тою же навязчивой идеей о неизменности и непременности враждебных отношений и с Францией и с Россией, оставалось внести некоторые поправки в работу

Шлиффена, и план западной кампании на случай возникновения большой войны был готов. А опасность такой войны нарастала из года в год.

Под боком у Мольтке-младшего в должности начальника отдела развёртывания подвизался подполковник Эрих Людендорф. Этот подполковник пустил в обращение формулу, ставившую на голову утверждение Клаузевица о том, что война является продолжением политики иными, военными средствами. Людендорф утверждал, что не война является продолжением политики, а сама политика является составной частью

войны. С его лёгкой руки военные круги пришли к выводу, что политику вообще можно заменить военными мероприятиями. Результаты этой путаницы в мозгах достаточно известны. Лично для Гаусса самым ярким воспоминанием мировой войны является глупость Фалькенгайна и кронпринца Вильгельма, проявившаяся под Верденом с такой силой, что эта кровавая баня, не достигнув ничего, обошлась германской армии в 282 тысячи солдатских жизней. Воспоминание об этом кошмаре потому так ярко в мозгу Гаусса, что в качестве генерал-квартирмейстера штаба кронпринца он сам должен

был одну за другою посылать в верденскую мясорубку 60 немецких дивизий, хотя заранее знал, что эта кровавая баня ничего не может дать для общего хода войны. Шестьдесят дивизий были без остатка перемолоты под жерновами Вердена. Даже то, что те же бетонные жернова превратили в месиво из костей и мяса 70 французских дивизий, свыше 300 тысяч этих «пуалю» — даже эта радость не может искупить горечи того, что дело там все же кончилось провалом.

Да, это воспоминание было до отвратительности живо в голове Гаусса. Противный зуд появлялся где-то под лопатками всякий раз, как

приходилось говорить, читать или думать об этих событиях. Генерал был почти рад, когда резкий толчок вагона прервал эти нерадостные мысли.

Колеса застучали на стрелках. Генерала боком прижало к стенке вагона. Фонари станции прочертили по стеклу окна огненные линии и исчезли так же внезапно, как возникли. Это был Анценбах, последняя станция перед Берхтесгаденом. Курьерский поезд на ней не останавливался.

Генерал прильнул к стеклу и, загородившись ладонью от света купе, пытался рассмотреть Ахэ, берегом которого мчался теперь

поезд. Но из окон попрежнему ничего не было видно. Генерал задёрнул штору, расправил затёкшие от долгого сидения ноги и поднялся с дивана. Лампасы на длинных брюках делали его и без того высокую фигуру ещё выше. Здесь в купе, где его никто не видел, движения Гаусса утратили обычную чёткость и солдатскую подтянутость. Плечи устало поникли, и худые лопатки выступали под тонким сукном мундира. Он снял с крючка пальто и стал его натягивать неловкими движениями человека, не привыкшего одеваться без посторонней помощи.

Поезд остановился. Генерал вышел на платформу, как всегда строгий, подтянутый, деревянно отчётливый во всех движениях. Тотчас же перед ним выросла длинная фигура человека в форме. Глаза генерала встретились с быстрыми рысьими глазками, глядевшими на него из-под лохматых бровей на маленьком лице, у которого, казалось, почти вовсе не было подбородка.

Человек приложил пальцы к козырьку:

— Гесс.

После некоторого колебания

генерал, не называя себя, молча подал руку.

— Прошу! — так же односложно сказал Гесс и пошёл впереди.

Генерал последовал за ним через вокзал. Молча пролез в раскрывшуюся перед ним дверцу автомобиля.

Гесс сел рядом с шофёром.

Генералу показалось, что в тот момент, когда машина тронулась, несколько тёмных фигур прижались к стене вокзала, чтобы остаться незамеченными.

Берхтесгаден, который генерал смутно помнил по одной из своих поездок в Баварию как весёлый курортный городок, словно вымер.

Не было ещё двенадцати часов, но почти ни одно окно уже не светилось. Дремотно мерцали лампы на пустых верандах кафе.

Миновав длинную арку железнодорожного моста, автомобиль выехал за город. Генерал почувствовал, что машина покатила по скверной дороге. Потому, как его прижимало к подлокотникам, — то к левому, то к правому, — генерал определял повороты. Их было много, и они были круты. Машина мчалась извилистою горной дорогой. Временами казалось: ещё мгновение — и автомобиль врежется в неожиданно возникшую в лучах фар

стену деревьев. Но шофёр уверенно брал поворот, и яркий сноп света снова падал на светлую ленту дороги.

Генерал недружелюбно уставился в затылок Гесса. Тот, словно чувствуя этот взгляд, повёл плечами, но не обернулся.

Автомобиль остановился у небольшой гостиницы. На её освещённом окне Гаусс прочёл: «Цум Тюркен».

Гесс вылез и попрежнему молча, жестом пригласил генерала следовать за собой.

В маленьком низком зале сидело несколько эсесовцев. Они вскочили и в установленном приветствии выкинули руки навстречу входящим.

Стремительность этого жеста и громкий крик были так неожиданны, что генерал вздрогнул.

Не хозяин гостиницы, оставшийся стоять за конторкой, а один из эсесовцев проводил генерала в предназначенную ему комнату.

Гесс не дал себе труда объяснить, зачем он привёз его сюда, и Гаусс решил, что свидание с Гитлером состоится именно здесь. Но прежде чем он успел осмотреться в своём номере, появился тот же эсесовец.

— Прошу!

Вышли на улицу. В лицо генералу пахнуло той острой и прозрачной прохладой, какою дышат

ночью горы. Перейдя улицу, начали взбираться по крутой дорожке к небольшой вилле. В окнах сквозь плотные шторы едва виднелся свет. Это и было жилище Гитлера — Вахенфельд.

Генерал с удивлением отметил, что ему до сих пор нигде не попало ни одной фигуры в примелькавшейся коричневой форме штурмовых отрядов. Здесь их полностью заменяли эсесовцы.

Оставшись один в просторной комнате, Гаусс с интересом осмотрел обстановку. Во всем сквозил дурной вкус мелкого бюргера, вплоть до нескольких клеток с птицами, проснувшимися при входе Гаусса.

Прошло несколько минут. Дверь порывисто отворилась. Вошёл Гитлер в сопровождении Гесса. Генерал и раньше встречался с Гитлером, но лишь в официальной обстановке, мало подходившей для разглядывания. Теперь ему бросилась в глаза странная покатость его лба. Прядь волос, изображаемая на портретах «по-наполеоновски» падающей на лоб фюрера, производила здесь впечатление простой неряшливости. Генерала поразило отсутствие уверенности в движениях Гитлера и странная, бросающаяся в глаза диспропорция его фигуры: длинное туловище, короткие ноги, непомерно широкий

торс. Взгляд Гаусса остановился на ногах фюрера — на его плоских ступнях необычайной величины. Гаусс силился припомнить, где он видел такие же неуклюжие ноги. И вдруг вспомнил: в кино, у какого-то американского комика... кажется его звали Цаплин... Каплин... что-то в этом роде...

Глухой голос Гитлера неприятного, свистящего тембра прервал размышления генерала. Слова приветствия Гитлер произнёс громко, словно они находились в очень большой комнате и было много народу. Хотя Гаусс и Гитлер были одни — исчез даже молчаливый Гесс.

Несколько мгновений Гитлер исподлобья и, как показалось Гауссу, с неприязнью смотрел на него. Вдруг он быстро заговорил таким тоном, как будто посвящал генерала в какую-то тайну:

— Когда-нибудь вы сможете похвастаться тем, что с вами первым я поделился сделанным мною сегодня открытием. Ему суждено перевернуть все прежние представления об огневом бое. — Гитлер потёр лоб, силясь что-то вспомнить. — Все подробности нового огнемёта пришли мне в голову сегодня ночью, когда я думал об архитектурных деталях моей новой имперской канцелярии...

Повидимому, тут все дело в мистическом совпадении — «деталь»!.. Да, на сегодня было так предначертано. Детали, детали... Диапазон не имеет для меня значения. Я могу одновременно представить себе и капитель портика, и замок огнемёта, и музыкальную фразу в тот период своего мышления, который в моем гороскопе определён, как размышление о деталях. — Гитлер ещё больше наморщил лоб. — Хотите, я скажу вам кое-что, чего вы не услышите ни от кого другого: «Кольцо Нибелунгов» является, на мой взгляд, истинно-немецким произведением. Вагнер угадал дух

грядущего национал-социализма... Он угадал мой дух. Но он ошибся в существенном: никакой гибели богов не будет! Древние боги немцев должны жить! Сегодня ночью... — Он сделал небольшую паузу, придвинулся вплотную к совершенно ошеломлённому Гауссу и таинственно зашептал: — Сегодня ночью у меня в голове окончательно сложилась новая музыка. «Гибель богов» должна быть выкинута в печку, новая музыка, моя музыка, займёт её место... Ещё несколько мыслей — и я набросаю партитуру... Немецкие боги, как и сама Германия, могут умереть только вместе со мной... А ведь я не имею права на

смерть. Мой удел — бессмертие.

Гаусс старался сохранить спокойствие, хотя ему начинало казаться, что перед ним помешанный: огнемёты и музыка, возбуждённое бормотание о каких-то «деталях»... Бессмертие?! Может быть, встать и бежать, пока этот сумасброд не вздумал ещё ходить на голове, вообразив себя великим клоуном?! Фу, какая чертовщина!..

И тем не менее нужно заставить себя выдержать все это. Гаусс приехал сюда не ради удовольствия. Поскольку именно этого уроды нынешние хозяева Германии называли «фюрером» и посадили в рейхсканцлерское кресло, нужно

попробовать с ним договориться.
Терпение! Возьмём себя в руки!

Гаусс натянул на лицо маску непроницаемой холодности. Под нею собеседнику представлялось угадывать всё, что ему хотелось.

На лице Гитлера появилась улыбка. Она мало шла ко всему его облику и неприятно раздвинула неестественно маленький рот с карикатурными усиками. Выражение его глаз оставалось сердито-сосредоточенным, не согласуясь с улыбающимися губами.

Гитлер сказал несколько любезных фраз. Гаусс продолжал хмуро молчать, исподтишка

рассматривая собеседника. Но напрасно он старался поймать взгляд канцлера, — Гитлер старательно отводил глаза.

Гаусс был рад, что беседа происходила без свидетелей. То, что должно быть сказано здесь, касается только их: его, Гаусса, представляющего генералитет рейхсвера, и вот этого... «канцлера»...

Вошёл Гесс. Склонившись к Гитлеру, он шепнул ему что-то на ухо.

— Ты можешь говорить громко, — сказал Гитлер.

— Да, мой фюрер, я могу говорить громко, — повторил Гесс. — Доктор Геббельс

телефонирует: для успокоения американского общественного мнения необходимо напечатать сообщение о взысканиях, которые наложены на администрацию Дахау в связи с тем, что там плохо обращаются с заключёнными.

Гаусс видел, как расширяются глаза Гитлера. Тугая жила наливалась у него на лбу.

— Наказывать тех, кто исполняет мои приказы? Какой болван выдумал эту глупость? Если концентрационный лагерь американцы принимают за семейный пансион, то это их дело. Я не собираюсь кормить марксистов цыплятами.

— Что же мы напечатаем в ответ на выпады американских газет?

— Мне наплевать на эти газеты... и на самих американцев!

С этими словами он движением руки отпустил Гесса и, вскинув голову, сказал Гауссу:

— Жестокость — моё оружие! Я не намерен лишаться его из-за того, что оно кого-то шокирует. — Он остановился перед генералом, заложив руки за спину. — Если я в будущем намерен применять самые жестокие средства против моих внешних врагов, то почему я должен теперь воздерживаться от их применения в отношении внутренних пособников моих врагов?

Генерал молча склонил голову: мысль казалась ему верной.

— Вы заметили, что зеваки всегда собираются, когда два хулигана дерутся на улице? — спросил Гитлер. — Их влечёт жестокость. Жестокость и грубость! Люди улицы, женщины и дети уважают только силу и дикость. Люди испытывают необходимость бояться. Если публичное собрание кончается свалкой с хорошей дракой, то именно те, кто подвергся наиболее жестоким побоям, первыми стремятся записаться в нашу партию. Именно так я получил лучшие пополнения!

Гитлер умолк, с досадою глядя,

как генерал достаёт сигару, словно это могло отвлечь внимание слушателя. С видимым нетерпением он ждал, когда Гаусс закурит.

— Нас называют варварами? Ну да, мы варвары! Мы хотим быть варварами... Это почётное звание! Откровенная жестокость поможет мне избежать ненужной волокиты с недовольными и злопыхателями! Скажите, как иначе я достигну нашего господства, которое длилось бы, по крайней мере, тысячу лет? На этом пути меня не остановят никакие политические трактаты, никакие договоры!..

Гитлер уже не говорил, — он кричал, ухватившись за спинку

кресла, как за край пюпитра. В углах его рта появилась пена. По иступлённой энергии, какую он вкладывал в речь, можно было подумать, что он говорит перед тысячной толпой. У Гаусса создалось впечатление, что он умышленно взвинчивает себя.

— Нам нужно создать такое материальное превосходство над нашими возможными врагами, чтобы победа была обеспечена во всех случаях и в кратчайший срок, — сумел, наконец, вставить Гаусс...

Одно мгновение Гитлер смотрел на него удивлённо, как человек, наскочивший на неожиданное препятствие. Потом громко

рассмеялся:

— Если я решу воевать с Францией, то мои люди окажутся в её столице ещё в мирное время. Это будут французы. Они будут маршировать среди бела дня по улицам Парижа. Они смогут войти в любое министерство, в парламент, занять телеграф, вокзал, здание генерального штаба!.. Не смотрите на меня такими глазами! Я утверждаю: в течение нескольких минут любая страна — Франция, Польша, Чехословакия — лишится своих руководителей. Задолго до войны мною будет установлен контакт с людьми, которые составят удобное мне новое правительство. Я

продиктую им условия раньше, чем раздастся первый выстрел на фронте. Первый огонь следует открывать в тылу!...

По удивлённому виду Гаусса Гитлер догадался, что тот не понял смысла этого восклицания. Он с готовностью пояснил:

— Я имею в виду, что первые пули предназначаются правителям враждебного государства. Если эти выстрелы будут верно направлены, война вообще может оказаться лишней.

— В таком случае, — иронически заметил Гаусс, — вероятно, целесообразно вернуться к системе турниров. Турнир

правителей — один на один.

Гитлер соорудил презрительную мину.

— Я не могу позволить себе роскоши рисковать своей жизнью — она слишком нужна Германии. За меня это дело должны делать другие. Одна пуля в затылок противника — и спор решён сам собою.

— На место убитого встанет же кто-то другой.

— В том и заключается задача: этот другой должен быть моим человеком.

Гаусс видел, что спор бесполезен. Он решил дать Гитлеру высказаться.

Но Гитлер внезапно умолк,

неподвижно уставившись в одну точку на занавеске окна. Он размышлял: говорить или не говорить, что в одном пункте своей программы он не уверен — в том, что ему удастся взорвать тыл Советского Союза и продиктовать русским свои условия... Говорить генералу о своих сомнениях или нет?..

Он решил промолчать. Никто не должен был сомневаться в его могуществе. Даже эти вот чортовы старые перечницы с Бендлерштрассе, воображающие, будто они знают все там, где дело касается войны.

Генерал воспользовался этой паузой:

— Никогда нельзя быть уверенным в том, что мы сможем подавить желание чужого народа в целом оказать нам сопротивление! Уроки прошлых войн говорят о величайшей сложности этой задачи.

Гитлер посмотрел на Гаусса со снисходительностью, как на человека, который не способен понять простых вещей. Он вплотную приблизился к генералу и таинственным полушопотом проговорил:

— Здесь дело в судьбе!.. Высшие силы не определили ещё тогда моё явление народу!.. — Он отодвинулся от Гаусса и, нагнув голову, словно прицеливаясь, посмотрел на него

прищуренным глазом. — Иначе, могу вас уверить, не произошло бы ничего подобного революции восемнадцатого года. Тогда я ещё не мог стать во главе моего народа, хотя... конечно, знал уже свою судьбу. Мой гороскоп был уже составлен! — поспешно добавил Гитлер и вдруг, без всякой последовательности, вернулся к прерванной теме и продолжал все громче, срываясь на визг: — Правительство Германии обязано стремиться к тому, чтобы его истинные намерения были скрыты от масс. А кто об этом думал? Меньше всего Людендорф! Впрочем, сейчас нас с вами интересует не

Людендорф-политик, а Людендорф-полководец, использующий военные знания прошлого и передающий нам этот багаж усовершенствованным собственным опытом. Что же мы тут видим? Канны, мой милый генерал! Канны и опять Канны! Ничего больше. Я далёк от мысли отрицать ценность этого открытия Шлиффена, но при чем тут Людендорф? Любой мальчишка, играющий на улице в солдат и разбойников, понимает, что нужно так расставить свои силы, чтобы охватить противника с флангов. Зверь в джунглях, нападая на врага, старается наскочить с фланга. Это так же естественно, как стремление человека ходить носом

вперёд!.. Кстати о Каннах, генерал. — Слова вылетали из уст Гитлера все быстрее. — Я переосмыслил ход этой битвы, и только мой анализ останется в веках, как нечто, на чём будут учиться полководцы. Вы, наверно, помните, какую роль, со слов Сципиона, приписывают манёвру Гасдрубала и Магарбала?..

Гитлер приостановил свою речь, вопросительно глядя на Гаусса. Тот машинально кивнул, и только тогда уже, когда Гитлер начал торопливо выкладывать перед ним подробности сражения, генерал сообразил, что Сципион не имеет никакого отношения к сражению при Каннах.

Он, как сквозь сон, слушал лихорадочно поспешную, хриплую речь Гитлера:

— ...все утверждения военных авторитетов — пустяки. Я открыл истинную причину поражения римлян: не левое крыло Сервилия дрогнуло первым, как думали до сих пор, а центр Эмилия. И дрогнул он потому, что пятьсот кельтиберов, обманным образом, под видом перебежчиков, засланные в тыл римлян, решили дело в пользу Ганнибала. А все остальное — пустяки, выдумки генералов, которыми они хотят придать цену своим высохшим мозгам! Я создам новые правила войны, по которым

будут воевать мои генералы. Весь опыт на тысячелетия назад потеряет всякий смысл, когда я дам своё решение. Одно оно будет руководить полководцами на тысячелетие вперёд. Никаких открытых сражений, никаких наступлений, прежде чем в тыл противника не засланы армии моих шпионов. Обман, а не дислокация армии решит судьбу битвы. Взрыв изнутри всей системы обороны противника, а не осада крепостей — вот что будет моею системой! — Гитлер простёр руку в пространство и торжественно прохрипел: — В века, в века летит мой гений победы, отрицая все и утверждая себя. Закон войны — это

я!

— Во-время подыскать подходящее к случаю правило — в этом все дело, — заметил Гаусс, стараясь подавить накипавшее раздражение, — иначе, пока мы подыскиваем нужную аналогию, противник может нанести такой сокрушительный удар, что...

Гитлер прервал его и снова заговорил.

Генералу казалось, что собеседник снова приближается к пароксизму истерии. Это чувствовалось в каждом его жесте, в свистящих интонациях голоса.

— Вести войну буду я! Никакое международное право, никакие

договоры не остановят меня! Война — это я!

На этот раз он, наконец, умолк, тяжело переводя дыхание.

— Полагаете ли вы, — спросил Гаусс, избегая обращения, так как не мог себя заставить произнести слова «мой фюрер», — полагаете ли вы, что благодаря тщательной предварительной обработке неприятельского тыла отпадёт надобность в массовой армии?

Гитлер поднял глаза на собеседника и несколько мгновений глядел на него, с видимым усилием стараясь понять вопрос. Словно отгоняя то, что мешало ему, он взмахнул рукою перед лицом и

медленно произнёс:

— Массовая армия? Да, конечно, она мне понадобится. Самая сильная армия в Европе!.. Не забудьте: моё жизненное пространство — Европа! Отсюда огромность и сложность задачи. Но должна ли моя армия быть самой многочисленной?.. Не думаю. Зачем? Масса ножа может быть в сотню раз меньше массы куска масла, но он войдёт в неё без труда. Так моя армия разрежет любую другую — французскую, русскую... — Он остановился и потёр лоб, силясь что-то вспомнить. — Но мне хотелось бы, генерал, слышать от вас, что вы думаете насчёт моих планов.

— Чтобы армия осознала себя как силу, призванную творить историю Германии, она должна знать, что никто не посягает на её прерогативы, не собирается подменить её генералов... — Гаусс запнулся, подыскивая слово, — дилетантами. Я решаюсь подчеркнуть вам особенную важность этого пункта: мы должны иметь полную уверенность в том, что в Германии будет существовать только одна вооружённая сила — рейхсвер!

Гауссу казалось, что он сделал достаточно многозначительное ударение на последнем слове. Каждый должен был бы понять, что

затронутый им вопрос является делом первостепенной важности, целью его визита. Но ещё прежде, чем последние слова слетели с его уст, он заметил, что лицо Гитлера приняло выражение человека, утратившего всякий интерес к беседе. Не дослушав, он поднялся с кресла и подошёл к стоящему в стороне столику, заваленному рисовальными принадлежностями, тетрадями, альбомами. Он с рассеянным видом взял большую холщовую папку, потрёпанную, покрытую пятнами, и подошёл с нею к столу под лампой.

В комнате царила тишина, нарушаемая только мерными

ударами маятника больших часов.

Гитлер развязал тесёмки большой холщовой папки и, перебросив несколько листов, повернул один из них так, чтобы свет лампы падал на него под желательным углом.

Гаусс увидел старательно выписанную акварель, изображавшую двор старого дома. Рисунок был исполнен в неприятных лиловато-синих тонах. Тщательность в изображении деталей постройки, камней, мостовой, фонтана, бьющего в левом углу двора, выдавала прилежную руку ремесленника, пытающегося выдуманной, нарочитой игрой света подражать

смелой руке мастера.

Гаусс испытывал раздражение оттого, что канцлер прервал их разговор ради демонстрации произведений какого-то второразрядного любителя. С его уст готово было сорваться резкое слово, но тут он взглянул на левый угол картона. Там стояло выведенное серою краской «А.Гитлер».

Гитлер взял другой лист. Генерал увидел изображение странного нагромождения покосившихся черепичных крыш, полуразрушенных деревенских домов. Смесь бурокрасных тонов на зелёном фоне деревьев производила мрачное впечатление. Прежде чем Гаусс успел

рассмотреть детали, Гитлер перевернул этюд. Снова развалины, на этот раз возвышающиеся посреди унылого пустыря. Скучные силуэты одиноких деревьев на горизонте. Снова бурые краски и серое, безотрадное небо. Новый лист ватмана: разбитый крестьянский дом с продырявленной снарядами крышей...

Гаусс, не скрывая удивления, взглянул на Гитлера. Тот захлопнул папку и молча отошёл от стола.

Генерал демонстративно посмотрел на часы.

— Рейхсвер и штурмовые отряды не могут существовать одновременно, — настойчиво сказал

ОН.

Гитлер остановился и в первый раз посмотрел Гауссу в глаза.

— Можете ли вы дать мне слово, что ничего из сказанного сегодня не станет достоянием не только ваших коллег, но и ни одного из лидеров моей партии?..

В комнате воцарилось напряжённое молчание.

Гитлер нарушил его, подходя к клеткам, где сидели нахохлившиеся птицы. Он просунул палец между прутьями и причмокнул губами, подражая писку канарейки.

— Необходима уверенность в том, что между нами не встанет Рем с его штурмовиками, — проговорил

Гаусс.

Гитлер ответил, не
оборачиваясь:

— Я отстраню Рема; я ограничу роль штурмовых отрядов задачами борьбы с марксистами и евреями.

— Тогда мы сможем подать другу другу руку!

Гитлер стремительно подошёл к Гауссу. Глядя исподлобья, он проговорил, глотая концы слов:

— И как только я это сделаю, вы тотчас отправитесь к Шлейхеру, чтобы сговориться с ним, как убрать меня со своего пути?

— Вы имеете дело с офицером!

— А Шлейхер и Рем? Разве они не офицеры?

— У вас с ними счёты! Это не моё дело.

Гитлер стал перед генералом, заложив руку за спину, и исподлобья глядел на него. Гаусс видел, как жила на его лбу снова набухает. Гаусс готов был поручиться, что канцлер опять намеренно взвинчивает себя.

Но генерал решил выдержать все. Дело нужно было довести до конца. Если Гитлер не поймёт, что иного выхода, как соглашение с рейхсвером, у него нет, придётся вступить в борьбу с этим «фюрером» и, может быть, пожертвовать им — уничтожить его. Вместе с Ремом и со штурмовиками. Но уничтожение Гитлера не входило сейчас в планы

генералов. И не только потому, что он был «вождём» движения, обещавшего повести Германию по пути милитаризации. Гаусс знал, что кандидатура Гитлера окончательно принята и утверждена теми, от кого зависело, будут ли у рейхсвера деньги.

Размышления генерала были прерваны истерическим возгласом Гитлера:

— Нет, нет, нет! К чорту все! Меня не проведут! Роль куклы в руках выжившего из ума фельдмаршала не входит в мои планы!.. Слышите? Не входит, нет, нет!.. Я — это Германия. Я — история и судьба великой национал-

социалистской Германии! Вы хотите отнять у меня моих штурмовиков, моего Рема? Этого не будет! Я не отдам вам того, кто шёл со мною рука об руку с первых дней моего движения! Я не останусь без самого верного из моих друзей! Я не верю ничему! На Рема клеветают! Ему я верю! Я, я, я!..

Гаусс пожал плечами. Он искал глазами фуражку и перчатки и никак не мог вспомнить, куда их положил. Ему надоела эта болтовня.

Гитлер стоял неподвижно. Его глаза были опущены, подбородок упирался в грудь.

— Хорошо, вы получите Рема, — торопливо пробормотал

он. — Но я не хочу больше Шлейхера, он должен исчезнуть раз и навсегда. Так же, как и Рем. Дело со Шлейхером не будет вас касаться. Его и Рема я беру на себя.

И, не дав Гауссу ответить, он нажал звонок. Вошла его сводная сестра фрау Раубаль и принялась накрывать на стол. Гитлер сказал Гауссу тоном любезного хозяина:

— Чашку кофе?

На столе появился кофе и пирожные.

Не дождавшись, пока Гаусс возьмёт себе, Гитлер потянулся к вазе и взял пирожное. Сначала ложечкой выковырял из него кусочки цуката, затем быстро, с аппетитом

съел его. Облизывая с губ белые крошки, потянулся за вторым...

Когда генерал в сопровождении Гесса спускался к «Цум Тюркен», над вершинами гор уже появилось розовое сияние приближающейся зари. Горы стали лиловыми. Лёгкая дымка поднималась из долин, делая блеклыми и без того мягкие краски наступающего утра.

Генерал замедлил шаги, любуясь панорамой.

Гесс протянул руку к югу и отрывисто проговорил:

— Там Австрия! Фюрер ненавидит эту границу. Вена больше не немецкий город. Одни евреи и славянские метисы. Нужно раздавить

этот сброд!.. Граница нам мешает.
Фюрер её уничтожит.

— Вы представляете себе все
несколько упрощённо, —
иронически заметил Гаусс.

— Это благотворное влияние
фюрера.

— Вам известна старая истина,
что фортуна, конечно, щедра к
гениям, но предпочитает большие
батальоны?

— Будут и большие батальоны!

— Как бы мне хотелось думать
так же.

Гаусс вздохнул и опустился на
скамейку. Его острый старческий
локоть упёрся в колено, подбородок
лёг на кулак. Гесс, загораживая всю

панораму, облокотился на барьер, ограждавший дорогу. Он словно нарочно встал именно так, чтобы генерал мог видеть его одного.

— Мы должны с чего-то начать, — сказал он. — Своим противником нужно избирать того, кто слабее тебя. Австрия подходит для этого. Каждый австриец, который захочет нам противодействовать, должен будет подумать об участии Дольфуса.

— Об участии Дольфуса? О чем вы говорите? — удивлённо спросил Гаусс, зная, что австрийский канцлер жив.

Гесс попытался изобразить улыбку на своём мрачном лице. От

этого оно приняло ещё более отталкивающее выражение.

— Люди, подобные нам, имеют право ссылаться не только на примеры прошлого, известные каждому, но и на то, что по их воле должно будет произойти в будущем... Дольфус не слушает советов. Поэтому уже сегодня я имею право считать его сошедшим со сцены.

Генерал молчал. Он думал о том, что, вероятно, Гесс попросту пересказывает то, что слышал от Гитлера. Недаром же его называли «госпожой Гитлер».

Генерал устало поднялся и медленно пошёл вперёд.

— Существует мнение, — сказал

Гесс, — что на период предстоящей нам войны на востоке нужно обезопасить себя от удара в спину, с запада.

— Вы полагаете, такой удар возможен?

— Дело в Англии. Именно в ней! Когда мы добьёмся союза с Англией, наступит день нашей победы.

Зная, что Гесс, слывающий среди своих сообщников «англоманом», то есть сторонником сговора с англичанами о дележе Европы, воображает, будто имеет влияние на некоторые политические круги Лондона, Гаусс резко спросил:

— А если нет?

— Тогда прежде всего покончим с Англией. Начать с России, не заручившись ресурсами всей Европы, было бы безумием!

— Что думает на этот счёт фюрер?

Не отвечая на вопрос, Гесс продолжал:

— Покончив с английской системой и имея в своём распоряжении ресурсы остальной Европы, мы сможем броситься на славян. Славянский вопрос — наше проклятие. Но, повторяю, пролог ко всему — Австрия.

Гаусс кашлянул. Гесс быстро вскинул на него глаза.

— Вы хотите возразить? —

спросил он.

— Нет. Прошу вас передать канцлеру: я готов немедленно приняться за подготовку того, что должно быть нашим первым парадом на показ всему миру!

И Гаусс быстро зашагал по аллее.

Вилла Вахенфельд исчезла за деревьями. Генерал остановился перед дверью гостиницы «Цум Тюркен».

Гесс приветствовал его движением руки и быстро пошёл назад в гору.

Где-то громко и задорно пропел петух. Гаусс обернулся на этот неожиданно-мирный зов.

Женщина, подметавшая тротуар перед гостиницей, отворила ему дверь и поклонилась.

Поднявшись к себе, генерал быстро разделся и лёг. Он теперь твёрдо знал, что рейхсвер волен делать то, что считает нужным. Пусть «фюрер» воображает, будто он «дар провидения», ниспосланный немцам. Жалкий хвостун!.. Гаусс усмехнулся, повернулся на бок, носом к стене, как любил спать дома, причмокнул губами и закрыл глаза.

Гаусс уже спал, когда к вилле Вахенфельд подъехал автомобиль. Из него вышел невысокий человек, пряча лицо в поднятый воротник пальто. Одет он был в штатское платье, и разве только очень близко знакомые с этим путешественником могли бы узнать в нём полковника Александра — начальника разведывательного бюро рейхсвера.

Полковнику Александеру было известно многое из того, что высшие офицеры рейхсвера считали никому неведомой тайной. Ему было известно и то, что этой ночью должен был состояться разговор

между Гитлером и генерал-полковником фон Гауссом, поехавшим в Баварию, чтобы выразить взгляд генералитета на положение в стране.

Штурмовые отряды во главе с Ремом грозили выйти из повиновения. Лавочники, мещане и мелкобуржуазные маменькины сынки были обмануты в своих надеждах в несколько дней стать богачами. Они надели коричневые рубашки не для того, чтобы таскать из огня каштаны главарям крупной промышленности и финансовым тузам. Они намеревались всерьёз заняться подведением более прочной базы под свои собственные лавочки и

предприятия. Их не удовлетворяли кустарные экспроприации еврейских магазинов от случая к случаю. Они стремились к обогащению быстрому и солидному. Они поверили, что им действительно будет разрешено грабить кого угодно. Честолюбивому и жаждущему власти над вооружёнными силами Рему было нетрудно дать своей коричневой армии лозунги, которые вывели бы её на улицу. Но на пути Рема стояли соперники. Этими соперниками были Герман Геринг и новый глава чёрной армии СС и начальник имперской тайной полиции Генрих Гиммлер. И то, что именно эту парочку Гитлер спустил теперь с

цепи для того, чтобы вцепиться в глотку Рему, означало, что рурские князья индустрии испугались выпущенного ими на свободу коричневого зверя. Разорившиеся в годы кризиса мелкие бюргеры, все отребье Германии, жадное и грубое «болото», на плечах которого Гитлер пришёл к власти по приказу магнатов железа, угля и химии, желало играть в новом рейхе роль, не предназначавшуюся ему режиссёрами гитлеровского переворота.

Крупны и тиссены сами искали теперь управу на тех, чьими руками разгромили Веймарскую республику. Но, однажды получив оружие,

штурмовики не хотели его сдавать. Обе борющиеся группировки отлично понимали, что власть в стране будет принадлежать тому, на чьей стороне окажется реальная сила. А эту реальную силу олицетворяли собою те, в чьих руках находились ключи к немецким сейфам, то-есть киты тяжёлой промышленности, хотя они, эти истинные хозяева и нацистов и рейхсвера, стремились остаться за кулисами событий.

На этот раз посланцем, который должен был напомнить Гитлеру ясный приказ хозяев о том, по какому пути «фюрер» должен идти, и был полковник Александер. Едва ли

имелся в Германии человек, теснее связанный с магнатами германской промышленности на всем протяжении своей негласной, многосторонней деятельности в области как внешнего, так и внутреннего шпионажа, диверсий, тайных убийств и подкупов, чем полковник Александер. Если Тиссен и Крупп были «капитанами» промышленности, то Александер был их верным «штурманом».

Этот ореол безошибочного знатока тёмных дел он сумел сохранить, несмотря на ошибки и провалы руководимой им службы, более многочисленные, чем её успехи.

Для тех, кто знал пружины закулисной игры германской политики, одно появление Александера в Берхтесгадене послужило бы поводом наострить уши. А таких, кто дорого дал бы за то, чтобы знать, о чём он будет говорить с главарём нацистов, было немало в обоих лагерях.

На этот раз начальник разведки привёз Гитлеру доказательства существования «заговора» Рема. С помощью своих новых коллег (остававшихся в то же время и его соперниками), Гиммлера и Риббентропа, Александеру удалось добыть эти доказательства.

Как известно, дипломатические

депешы шифруются каждой страной по-своему. Александер и Гиммлер уверили Гитлера в том, что они нашли способ проникнуть в тайну этих шифров, — способ, оказавшийся столь же простым, сколь и остроумным, хотя, по понятиям международной этики, он не был бы назван особенно красивым. Но такого рода «моральные» препятствия не могли их остановить. Бюро Риббентропа состряпало документ, имевший вид чрезвычайной важности и секретности, адресованный разным правительствам. Этот документ был вручён иностранным послам. Заработали посольские

шифровальщики, застучали телеграфные аппараты. И вот перед Александром оказался зашифрованный всеми важнейшими посольствами текст того документа, что состряпал Риббентроп. Немцам оставалось просто сличить подлинник с зашифрованным текстом, чтобы получить в свои руки ключ шифра каждого из иностранных послов. На некоторый срок, до перемены шифров, для нацистской разведки перестали существовать дипломатические тайны иностранцев. А при перемене шифров трюк мог быть повторён.

По уверению Александра, переписка иностранных дипломатов

дала ему доказательство того, чему Гитлер долго не хотел верить: заговор Рема. В руках Александера был список будущего правительства, составленный генералом Шлейхером. Рем был назван в этом списке министром рейхсвера. Это доказательство и привёз Александер в подкрепление приказа рурских промышленников: Гитлеру опереться на рейхсвер с его старым генералитетом и покончить с Ремом.

Знай Гаусс о таком обороте дела, он, может быть, и не поехал бы к Гитлеру.

Никто пока не знает, привёз ли Александер расшифрованные подлинные депеши иностранных

дипломатов или ловко
сфабрикованные фальшивки и
убедили ли Гитлера представленные
Александром доказательства
измены старых сообщников. Как бы
там ни было, Гитлер жадно впился в
бумаги. Он читал их и перечитывал.
Снова, в который раз уже в эту ночь,
наливалась жила на его лбу и его
пальцы впивались в скатерть.
Наконец он испустил хриплый рёв и
тут же затих и сжался. Минуту он
сидел скорчившись, потом медленно
поднялся и, шаря в воздухе, как
слепой, пошёл по комнате. Его глаза
были устремлены в пространство,
губы шептали что-то бессвязное. Он
вернулся к креслу, схватил

документы и с воплями: «Ложь!.. Ложь!.. Ложь!..» — принялся рвать их. Когда клочья бумаги усеяли пол у ног невозмутимо стоявшего Александра, Гитлер выбежал из комнаты.

Вошёл Гесс. Прислонившись спиной к двери, как бы для того, чтобы никто не мог войти следом за ним, он вопросительно поглядел на Александра. Полковник пожал плечами.

— Я так и не получил ответа. — Он показал взглядом на клочья разорванных документов. — Это были подлинники.

Гесс понимающе кивнул головой.

— Это обходится чрезвычайно дорого, а мы вечно нуждаемся в деньгах, — с укором продолжал Александер.

— Скоро деньги будут...

Александер ответил пожатием плеч, выражавшим сомнение, взял шляпу и перчатки и вышел.

Гесс сам запер входную дверь за полковником.

В эту беспокойную ночь дверь виллы Вахенфельд не долго оставалась закрытой. Едва успели исчезнуть в темноте огни автомобиля Александера, как в дом вошёл новый гость. Его голос звучал уверенно и громко, и держался он здесь, как

свой человек. Это был Геринг.

Он первым долгом подошёл к зеркалу, и было непонятно, к кому он обратился — к Гессу или к своему отражению:

— Как дела?

Гесс пожал плечами и кивком головы указал на дверь, за которой отчётливо слышались беспокойные шаги Гитлера.

Геринг рассмеялся. Он держался так, словно ему все было нипочём. Но Гесса нелегко было обмануть. Сквозь напускную весёлость Геринга он угадывал нервное напряжение, во власти которого находился министр.

— Здесь был Гаусс, — сказал Гесс.

Геринг звучно ударил ладонями по кожаному поясу, стягивавшему его живот.

— Александер здесь был?.. Надо подумать о Реме.

— У вас есть новые доказательства?

— Неужели фюреру ещё мало?

— Я его понимаю. Кроме меня, Рем — единственный, кому он мог верить...

Геринг насмешливо взглянул на Гесса.

— Значит, Рем и вы самые доверенные люди фюрера?! Браво, Гесс. И всё-таки Рем должен быть уничтожен! Вместе со всеми этими хайнесами, эрнстами и прочей

СВОЛОЧЬЮ...

— Что вы предлагаете?

— Разделить задачу. Я возьму на себя Берлин. Он, — Геринг кивнул на дверь, — должен взять Мюнхен. Удар нужно нанести неожиданно. Иначе они будут сопротивляться.

— Так или иначе, сопротивления не избежать.

— Ничего подобного: в Берлине все подготовлено.

— А Мюнхен?

— Фюрер должен вместо Висзее приехать туда и выступить перед штурмовиками.

— Он не согласится.

— Это уж ваше дело.

— Все-таки... постарайтесь

добыть ещё какие-нибудь доказательства.

Геринг вынул из нагрудного кармана большой лист, сложенный в несколько раз, и торжественным движением развернул его перед Гессом. Это был плакат с портретом Гитлера. На груди портрета фюрера виднелось несколько характерных отверстий, какие образуются от пуль на мишенях.

Гесс вопросительно поднял брови. Геринг рассмеялся.

— Хайнес тренируется в стрельбе.

— Странно!

— Стреляя в присутствии Рема, он сказал: «Так же мы поступим и с

оригиналом, если он посмеет предать штурмовые отряды».

— У вас есть доказательства?

— Донесение собственного адъютанта Рема.

— Кто такой?

— Ну, это не ваше дело!

— Не верю анонимам.

— Шверер, капитан Отто фон Шверер, — убеждающе сказал Геринг.

— Не сын ли того Шверера, из старой академии?

— Чорт его знает! Может быть.

— Ну что же, если Адольф поверит...

Геринг хвастливо щёлкнул пальцем по лбу портрета:

— По-вашему, и это недостаточно убедительно?

— Это производит впечатление!.. Пройдёмте к нему? — спросил Гесс.

— Сначала глоток чего-нибудь.
Гесс вышел.

Геринг бережно сложил плакат и сунул в карман. Затем вынул из ящика, стоявшего на столике, сигару и стал старательно слюнить её конец.

Вошёл Гесс с подносом, на котором стояло несколько бутылок.

— Вам что? — спросил Гесс.

— Что-нибудь покрепче...

— Хотите импровизацию?

— Отлично. Что-нибудь из вашей африканской серии. — Геринг

весело потёр руки. — Давайте «Устрицу пустыни». Это у вас здорово выходит.

Благодаря тому, что внимание его было сосредоточено на руках Гесса, готовивших смесь, Геринг не заметил быстрого пристального взгляда, брошенного на него из-под косматых бровей при словах «Устрица пустыни».

— «Устрица»?..

— «Устрица пустыни», — повторил Геринг. — Вы же сами поили меня.

Гесс в сомнении покачал головой:

— Первый раз слышу... — Несколько мгновений он испытующе

смотрел на Геринга, преодолевая желание спросить, откуда тот знает это название. Но только сказал: — Звучит это, во всяком случае, здорово.

— Зверская штука.

Из-за двери донеслись звуки не то радио, не то граммофона.

— Это единственная пластинка, которую он признает? — спросил Геринг.

— Фюрер часто слушает этот марш.

— Похоронный марш?! Скверная склонность.

— Вагнер!

— Не спорю, но почему именно траурный марш? Почему «Гибель

богов»)?

— Он любит это без всяких ассоциаций...

— А я люблю пластинки только с весёлыми названиями!

— Кажется, фюрер хочет переписать эту музыку по-новому.

Геринг громко расхохотался.

— Когда я жил в Швеции, там тоже был один оригинал, писавший симфонии, не умея прочесть ни одной нотной строки.

Гесс хмуро посмотрел на собеседника, а Геринг снова расхохотался и подошёл к двери, из-за которой доносились звуки вагнеровского марша.

Гесс остался сидеть в глубоком

кресле, потягивая коктейль, и, прищуря один глаз, словно целясь при стрельбе, глядел на жирный затылок Геринга. Его подмывало крикнуть Герингу что-нибудь обидное, так как он ненавидел его и боялся. Можно было бы напомнить, что в Швеции «господин министр» сидел в сумасшедшем доме и лично он, Гесс, не уверен в том, что лечение там было доведено до конца... Вероятно, и тот сумасшедший творец симфонии был его коллега по дому умалишённых... А может быть, даже то был сам Геринг?

Геринг постучал и вошёл к Гитлеру, не ожидая ответа.

Гесс подошёл к двери и прислушался. Доносившиеся голоса были не очень ясны, но, напрягая слух, можно было разобрать почти всё, что говорилось.

Слышались взволнованные шаги Гитлера, часто останавливавшегося, выкрикивавшего чьё-нибудь имя и снова принимавшегося ходить.

Гитлер: — Хорошо, я согласен. Теперь запишите: Хелльдорф.

Геринг: — Хелльдорф служит у меня по коннозаводству и совершенно безвреден.

Гитлер: — Человек, знающий о поджоге рейхстага столько, сколько знает этот ваш граф, не может быть безопасен!

Геринг: — Я за него ручаюсь:

Гитлер: — Час тому назад я тоже готов был прозакладывать голову за Рема.

Геринг: — Есть кое-что поважней этого Хелльдорфа...

Наступило молчание. Не было слышно даже шагов Гитлера. Гесс представил себе, как тот остановился около склонившегося над списком Геринга.

Наконец Гитлер нетерпеливо крикнул:

— Ну?! Кого вы ещё имели в виду?

Геринг: — Я говорю о... Папене.

Снова воцарилось молчание. И

снова Гесс представил себе, как поражённый Гитлер, раздвинув короткие ноги, стоит перед Герингом. Молчание не прерывалось, пока Геринг не спросил:

— Как же с Папеном?

Гитлер: — Он не лучше других... Он никогда не примирится с тем, что мы сели ему на шею.

Геринг: — Вероятно.

Быстрые шаги Гитлера приблизились к двери. Гесс поспешно вернулся в кресло. Когда Гитлер вбежал в комнату, Гесс беззаботно рассматривал свои карманные часы.

— Что вы об этом думаете?! — с порога крикнул Гитлер.

— О чем? — недоуменно спросил Гесс.

— Что делать с Папеном?

Гесс пожал плечами.

— Если бы не был жив Гинденбург, я бы не колебался.

— Я того же мнения.

Гесс понизил голос до шопота, которого не мог слышать Геринг.

— Дайте приказ, но только устный, так, чтобы... — Гесс кивнул в сторону двери, за которою остался Геринг, — отвечал он.

Гитлер круто повернулся на каблуках и выбежал из комнаты.

Сквозь незатворенную дверь Гесс слышал, как Гитлер спросил Геринга:

— Вы вписали Папена?..
Хорошо, необязательно писать.
Достаточно того, что я вам говорю.
Хотя я уверен, что второго такого
помощника себе не найду. Во всяком
случае, пошлите ему вот это
письмо...

Гитлер умолк. Гесс слышал, как
перо царапает бумагу, под нажимом
нервной руки фюрера.

Через минуту Гитлер громко
прочёл своё письмо Папену,
кончавшееся словами: «...Ваше
сотрудничество в имперском
кабинете, которому вы посвятили
столько сил, чрезвычайно ценно. Моё
отношение к вам истинно дружеское.
Я буду рад помощи, которую буду

получать от вас и впредь. Гитлер».

— Непременно перешлите это ему, — сказал Гитлер. — Сегодня же. Слышите?

— У вас есть ещё кто-нибудь? — спросил Геринг.

— Мы забыли Кара.

— Записываю.

— И оба Штрассера, конечно.

Гесс принялся смешивать коктейль. Со стаканом в руке он подошёл к окну и растворил его. Утренний воздух вместе со щебетаньем птиц ворвался в комнату, как дыхание другого мира — светлого, удивительного, почти неправдоподобного. Над миром поднималось солнце. За тёмными

силуэтами гор его ещё не было видно, но серебро их снежных вершин уже стало розовым.

За спиною Гесса слышались шаги. Когда Гесс обернулся, у столика с бутылками стоял Геринг и приготавливал себе напиток.

— Ну? — спросил Гесс.

— Кажется, договорились! — Геринг старательно встряхнул стаканчик и, отведав смеси, прищёлкнул языком. Он допил смесь и облизал липкий от ликёра палец. Как большинство наркоманов, он не курил, но зато любил сладости.

— Дело Гиммлера — не прозевать, кто из этого списка будет в Мюнхене, кто в Висзее. — Геринг с

минуту помолчал. — Надо проследить и за самим Гиммлером. Что бы вы ни говорили, я ему не очень верю.

Гесс кивнул.

— От имени фюрера прошу вас наблюдать за Гиммлером. У вас для этого найдутся люди... Сколько в списке? — спросил Гесс.

— Около полутора тысяч, — сказал Геринг и, попрощался.

Но прежде чем он вышел, Гесс тихо спросил.

— Вы так и не показали ему плакат?

Геринг рассмеялся.

— Ещё пригодится. Он может заколебаться в последнюю минуту.

Несколько мгновений Гесс стоял задумавшись, словно забыв об окружающем. Его маленькие глазки, спрятавшиеся в глубоких глазницах, прикрытых клокастыми бровями, уставились в угол. Тонкие губы сжались ещё плотней, чем обычно, так что рот казался старчески провалившимся.

Гесса привело в себя шуршанье автомобильных шин за окном.

Уехал Геринг.

Гесс пошёл к кабинету, за дверью которого все ещё слышались тяжёлые, торопливые шаги Гитлера.

При появлении Гесса Гитлер резко остановился и чуть-чуть попятился.

Его глаза насторожённо следили за каждым движением Гесса.

— Вы держали себя прекрасно, — с оттенком покровительства сказал Гесс.

Гитлер расправил плечи.

— Я буду обращаться с ними, как с собаками! — проворчал он.

— Не вздумайте тронуть Геринга.

— Он мне надоел!..

— Ну вот!..

— Совсем не то... вовсе не то! Я просто ненавижу этого проклятого борова. Я ему не верю! — крикнул Гитлер. — Я не уверен даже в том, что он не ведёт двойной игры! Кто мне поручится, что Геринг не держит

нож за пазухой! Кто поручится?

— Гиммлер!

Гитлер рассмеялся тихим, шипящим смехом:

— А за Гиммлера?

— Гейдрих.

— А за Гейдриха?

— Кальтенбруннер.

— А за него? За всех других?

Кто, кто?

— Я.

— А за генерала? За каждым углом по генералу! И каждый думает только о том, как со мною разделаться, чтобы сесть на моё место.

— Не нужно показывать, что вы кого-нибудь боитесь. Старики просто

торгуются. Вот и все.

— Если бы в этом было все дело.

— Только в этом.

— Вы всегда во всем уверены. Кто вам сказал, что они не устроятся и без нас с вами?

— Ни один здравомыслящий человек не даст ни пфеннига этим людям.

— Пожалуй, вы правы, — неуверенно пробормотал Гитлер. — Американцам с ними тоже не договориться.

— И вы, мой фюрер, должны твёрдо усвоить: никто не станет без личного интереса таскать для нас каштаны из огня.

По внезапно заблестевшему взгляду Гитлера видно было, что он о чём-то догадался.

— Вы видели Шрейбера?

— Да...

— Что он говорит о займе?

— Англичане, как всегда, хотят иметь больше, чем заслужили.

— Так пусть он наплюёт на них. Пусть ищет деньги в Америке.

— Он так и делает.

— Тогда и генералы будут нашими. Все! Все до одного! — в восторге воскликнул Гитлер.

— Вероятно.

— А тех, кто не захочет... к чорту таких! К дьяволу, заодно с Ремом.

Гитлер порывисто повернулся и, не прощаясь, пошёл к двери, видневшейся в глубине кабинета. Уже взявшись за ручку, он обернулся к Гессу и крикнул:

— А этому старому Гауссу скажите: если он вздумает хитрить...

И Гитлер быстро вышел, хлопнув дверью.

Гесс подождал, пока не затихли его тяжёлые шаги, и снял телефонную трубку.

— Вы не спали, Гиммлер?.. Геринг передаст вам утверждённый фюрером список наград к тридцатому июня. На вас падает Мюнхен и Висзее. Что?.. Нужно справиться... Фюрер на вас

рассчитывает... И вот что... — Гесс сделал большую паузу, как бы подыскивая слова. — Вы должны проследить за тем, чтобы Геринг придерживался списка, — там есть его друзья... Фюрер? Чувствует себя прекрасно... Спокойной ночи. Хайль Гитлер!

Он придавил пальцем рычаг телефона и набрал новый номер.

— Гейдрих?.. Не сердитесь, что разбудил. Я просил Гиммлера проследить за выдачей наград по списку, который передаст ему Геринг. На вас лежит ответственность за то, чтобы Гиммлер не проявил своеволия в отношении каких-нибудь лиц. Понятно?.. Конечно, мы так и

думаем, вы с этим справитесь...
Отлично. Спите. Хайль Гитлер!

Он потянулся движением уставшего человека.

Прислушался. Вокруг было тихо. Из другого мира, за растворёнными окнами, доносился едва слышный, множимый горным эхом перезвон колоколов — стада выходили на пастбища. Гесс снова потянулся и вышел.

В доме царила тишина. Не нарушая её, без малейшего звука отворилась дверь, и в комнату вошёл человек. На нем был зелёный фартук слуги, в руках — тряпка и метёлка из петушиных перьев. Прежде чем приступить к уборке, он внимательно

осмотрел корзинку для бумаг, пепельницы, вазы, вынул все бумажки, все обрывочки и сложил в карман. Лишь после этого он принялся смахивать пыль петушиной метёлкой.

Мысль о привлечении через посредство Шверера отставных офицеров к работе штаба подал Гауссу генерал Пруст, состоявший когда-то со Шверером в дружеских отношениях.

Каждый, кто видел Пруста впервые, охотно поверил бы тому, что интриганство не только не входило в привычки этого бравого генерала, но, пожалуй, даже было ему противно. Но знавшие Пруста ближе не поддавались обману при виде его широких жестов, громкого смеха и подчёркнутого неумения говорить шёпотом. В военных кругах он был

известен как один из самых ловких интриганов. Не принадлежа к генеральному штабу, он уже в веймарский период играл кое-какую роль. Слывя доверенным лицом и даже любимцем отстранённого командующего рейхсвером Гаммерштейна, он умудрился в то же время быть в дружеских отношениях даже со Шлейхером. К тому же он занимал должность помощника Гаусса по Берлинскому военному округу.

Наигранная жизнерадостность Пруста оказывала, повидимому, мало влияния на сухого, насторожённо прислушивающегося к каждому его слову Шверера. Поджав губы,

Шверер сумрачно поглядывал на своего бывшего приятеля.

Пруст пытался убедить его в том, что настало время перейти к практической работе по сколачиванию армии.

Ворчливо, словно сердясь на то, что и он вынужден говорить, Гаусс тоже сказал несколько слов.

— Необходимо понять, *se figurer bien clairment*^[4], что вопрос поставлен просто: *maintenant ou jamais*^[5], сейчас или никогда армия должна остаться нашей, или все мы должны перестать существовать.

— Моё дело — оперативная работа, — возразил Шверер.

— Как только мы получим

окончательную уверенность в том, что раз и навсегда являемся хозяевами своих солдат, придёт и большая оперативная работа! — Гаусс на мгновение замолк и, натянув на сухое лицо нечто вроде улыбки, закончил: — Если, конечно, вы откажетесь от старых бредней о немедленной молниеносной войне на востоке! Il faut abandonner cette idee absurde^[6].

— Никогда! — с неожиданным жаром воскликнул Шверер. — Вы не имеете права не понимать, что...

— Совершенно верно, — несколько более раздражённо, чем ему самому хотелось, перебил Гаусс: — теория блицкрига, вполне

оправданная на западном театре, является чистейшей спекуляцией, когда речь идёт о России! Вспомним слова Клаузевица, практику Наполеона, заветы Бисмарка. Le vieux comprenait quelque chose en matiere de guerre^[7].

— Спекуляцией является извлечение на свет того, что сдано мною в архив! — запальчиво ответил Шверер.

— Вы меня дурно поняли, — желая прекратить спор, проговорил Гаусс. — Я вовсе не имел в виду недобросовестной подтасовки предпосылок для такого рода войны с Россией. Mais non^[8]. Мне только продолжает казаться: в силу

факторов, которые не хуже моего известны вам, молниеносная война, пусть даже вначале победоносная, на просторах России является спекуляцией...

— Нужно знать Россию, как я её знаю по опыту двух войн, которые наблюдал своими глазами, — русско-японской и мировой, — чтобы иметь право утверждать: миллионы мужиков, краюха ржаного хлеба плюс устаревшая винтовка без патронов против лучшей армии — вот соотношение сил! — Шверер сердито сдёрнул с носа очки.

— Я понимаю: нет пророка в своём отечестве! Понимаю так, — позвольте сослаться на иноземных

авторитетов, — и прежде чем Гаусс успел сказать, что это лишнее, что он вполне доверяет самому Швереру, тот выхватил с полки книгу и, открыв её на закладке, медленно, на ходу переводя с английского, процитировал: — «Сила русской армии состоит в том, что её солдаты — это почти скифы. Они могут питаться тем, что выкопают из крестьянских огородов. Своих лошадей они кормят соломой с крыш изб...»

Гаусс заметил:

— Но ведь это же все о России: соломенные крыши и прочее. А если война происходит на нашей территории?

— Она не может происходить нигде, кроме как на русской земле, — уверенно проговорил Шверер, намереваясь читать дальше, но Гаусс рассмеялся:

— Нет, нет — это какая-то «клюква», кажется так говорят сами русские?.. Перенесём этот спор на другой раз и в другое место. Сейчас мы ждём ответа: с нами вы или нет?

— Мне кажется, — сухо ответил Шверер, — я должен подождать.

Гаусс поднялся и молча протянул Швереру руку. Пруст заискивающе тронул приятеля за пуговицу:

— Подумай, хорошенько подумай, Конрад! Упущенные

возможности редко возвращаются. Ты должен это хорошо знать по старому опыту с Гофманом.

Шверер понял намёк на свои прежние неудачи в штабе генерала Гофмана и ещё более сухо ответил:

— Я и не хотел бы принимать слишком быстрых решений. Он поклонился и быстро вышел.

Пруст безнадёжно развёл руками:

— Невозможный упрямец!

— И все так же неумен.

— Мы найдём путь к отставным офицерам и через его голову.

— Сейчас вы опять заговорите о «Стальном шлеме», — проворчал Гаусс, — а мне нужны хорошие

офицеры. Нам предстоит не демонстрировать на улицах, а работать, настойчиво работать!.. Впрочем, вернёмся к этому позже. Сейчас нужно решить вопрос: что ответить Рему?

— А о чём он просит?

— Хочет, чтобы мы его поддержали. Я ничего не имею против него. Уверен, что мы легко выкинем его из игры, как только дело будет сделано. Но нужно выяснить его намерения. Не те, о которых он говорит, а те, которые он скрывает. Поезжайте к нему!

— Разрешите говорить от вашего имени?

— Только не это! — воскликнул

Гаусс.

Генералы расстались. Пруст в тот же день по телефону назначил свидание Рему. Но прежде чем ехать к нему, решил повидаться с полковником Александером. Пруст думал, что отношения, сохранившиеся ещё с прошлой войны, позволяют ему запросто поговорить с «вечным» начальником разведки. Разумеется, Пруст был далёк от мысли открывать ему истинную цель своего визита. Он заехал под предлогом справки по служебному делу и скоро понял, что Александер знает не только все, что ему следует знать о Реме и его намерениях, но знает также и то, что

эти намерения известны Герингу. Пруст сейчас же сообразил: если все известно Герингу, то непременно известно и Гитлеру. Вывод можно было сделать один: игра с Ремом — игра с огнём. Нет никакого смысла лезть в эту игру. Именно так он и изложил дело Гауссу.

От Гаусса Пруст поехал к Герингу. Он счёл за благо сообщить ему о предложении участвовать в заговоре, которое Рем сделал Гауссу.

Геринг горячо пожал Прусту руку, делая вид, будто впервые слышит о возможности сговора между Ремом и генералами. Он попросил передать Гауссу просьбу не позже чем завтра прибыть для

наиважнейшего разговора.

Вернувшись под утро домой, Пруст вызвал по телефону Гаусса.

— Сожалею, экселенц, что вынужден разбудить вас, но мне только что звонил генерал Геринг.

— Вам — Геринг? — не скрывая удивления, спросил Гаусс, сиюсь попасть ногою в туфлю.

— Он приказал передать вам приглашение побывать у него. Какое время визита позволите сообщить его канцелярии? — Пруст говорил официально и сухо, как и должен был говорить человек, знающий, что каждое сказанное им по телефону слово записывается аппаратами подслушивания.

Трубка долго молчала.

— Вы полагаете, мне следует поехать?.. Может быть, вам? — спросил Гаусс.

— Господин министр хотел видеть лично вас!

В назначенное время Гаусс входил в особняк Геринга. Его не заставили ждать. Разговор сразу принял деловой характер. Генерал понял, что Геринг в курсе соглашения, к которому Гаусс пришёл с Гитлером в Берхтесгадене.

— Я хочу, — сказал Геринг, глядя в глаза Гауссу и стараясь уловить впечатление, какое произведут его слова, — действовать рука об руку с вами, как старый

боевой коллега!

Гаусс ещё больше выпрямил и без того прямую спину. Его монокль блеснул так надменно, что Геринг сразу сбавил тон: повидимому, старый осел не желал признать в нём равного! Хорошо, Геринг потерпит.

— Между нами не должно быть ничего, кроме полной откровенности, — сказал он. Губы Гаусса оставались упрямо сжатыми. Геринг начинал терять терпение. Он уже отвык церемониться с собеседниками. — Известно ли вам, что на-днях состоится выступление штурмовых отрядов во главе с Ремом?

— Я не слышал о том, чтобы

предполагались какие-либо
парады, — уклончиво ответил Гаусс.

— Речь идёт не о параде. Рем рассчитывает на то, что войска рейхсвера присоединятся к штурмовикам!

— На каком основании? —
холодно спросил Гаусс.

— Вот именно: на каком основании? — воскликнул Геринг и едва удержался от искушения похлопать генерала по колену. — Мы с фюрером тоже спросили себя: кто дал Рему право впутывать в свои сомнительные комбинации имя нашего рейхсвера?

Мысли Гаусса текли не слишком быстро, но ему было ясно одно: то,

что предположено сделать
руководителями промышленности от
имени Гитлера, по существу, является
не чем иным, как ещё одним
переворотом. На это Гаусс согласен
при условии: во главе переворота
стоит сам Гитлер. Это, пожалуй, и
есть та формула, которая устраивает
всех. Пусть лучше пока ефрейтор,
чем штатский человек. А потом?
Потом можно будет снова посчитать,
кто кому должен!

Несколько мгновений Геринг и
Гаусс смотрели друг другу в глаза.
Геринг уставился на генерала
исподлобья, как рассерженный бык.

Неровным от прерывистого
дыхания голосом он выбросил:

— Вы не выступите ни на чьей стороне?!

Гаусс молча склонил голову.

— Вы отказываетесь нам помочь?!

Геринг вскочил.

Гаусс, не поворачивая головы, уголком глаза следил за ним. Волнение министра говорило больше, чем тому хотелось бы. Как сказал Мольтке? «Армия является самым выдающимся учреждением государства, ибо только она делает возможным существование остальных учреждений того же государства: все политические и гражданские свободы, все завоевания культуры, финансы, самое

государство существуют и падают вместе с армией». Да, Гаусс полагал, что в отношении Германии это было именно так и так должно было бы оставаться, хотя и во времена Мольтке прусские юнкеры, «капитаны» промышленности и банковские короли стали истинными хозяевами Германии и её армии вместе с генералами. Гаусс понимал, что как первые без вторых, так и вторые без первых не стоят ничего. Магнатам промышленности а плутократам нужна была вооружённая сила, чтобы держать в узде работающую на них Германию. Генералам нужны были деньги и для армии и для самих себя. В этом

смысле они так же, как любой предприниматель, не отделяли интересов армии в целом от своих собственных. Крушение армии было бы их личным крахом — политическим и финансовым. Гаусс отлично понимал, что от решения, которое ему предстояло принять, зависело многое, если не все. Сохранят ли военные ту роль в стране, о которой говорил Мольтке, удержат ли генералы и сам он, Гаусс, то положение, какое всегда обеспечивалось им силою штыков? От правильного решения зависело то, что было недоступно пониманию Мольтке: падение или восхождение к вершинам власти ещё более полной,

которая в мечтах каждого генерала, и Гаусса в том числе, простиралась далеко за пределы казарм, штабов и прусских наследственных латифундий — к банковским сейфам, к пакетам промышленных акций, к директорским кабинетам монополий и министерским портфелям. Что будет, если Гаусс откажет сейчас в помощи Гитлеру и его клике? Интересы дела диктуют необходимость протянуть руку помощи этому толстому фанфарону Герингу. Но сделать это нужно так, чтобы армия все же оставалась в стороне от драки. Она — единственная сила, способная в любой момент вмешаться на стороне

тех, кто возьмёт верх.

Гаусс отчеканил:

— Мы не можем пойти на то, чтобы рейхсвер вышел на улицу. Но это не значит, что мы не имеем средств помочь вам. Оружие штурмовиков на время отпуска сдано на склады. Значит, первая задача: не дать им возможности получить оружие.

Геринг с интересом вслушивался в слова генерала.

— Второе: ваши эсесовцы располагают только лёгким ручным оружием, — продолжал генерал, — пистолетами и ограниченным количеством винтовок при почти полном отсутствии пулемётов.

— Совершенно верно.

— У вас всего несколько полицейских броневигов.

— Совершенно верно.

— Ни одной пушки.

— Вот именно!

— Все это я могу дать.

— Это может быть спасением! — сказал Геринг и в волнении прошёлся по комнате. Потом он остановился перед генералом, молча глядя в пол, как будто изучая узор ковра. Он не знал, должен ли открывать Гауссу карты.

— Я решаюсь открыть вам одно обстоятельство, которого вы не знаете, — сказал он. — Рем намерен вывести своих людей на улицу

тридцатого июня. Мы не можем ждать, пока он соберёт их в кулак. Движение должно быть обезглавлено в зародыше. Мы должны взять их порознь. Фюрер избрал для этого ночь на тридцатое.

— Это ничего не меняет, — сказал Гаусс. — Рейхсвер останется в казармах... до моего приказа.

Геринг глядел на генерала, не в силах вымолвить ни слова. Потом приблизился к нему, крикнул:

— Но почему?!

— Car tel est notre bon plaisir^[9], — иронически улыбнувшись, ответил Гаусс.

— А-а! Ждать и потом нанести последний удар побеждённому?

Свой генеральский soup de grace?.. [\[10\]](#)
— Геринг угрожающе спросил: —
Вы не дадите никакого приказа?.. Так
вы никогда не выйдете отсюда!..

Неторопливым движением Гаусс
поднялся с кресла и зашагал прочь.

Несколько мгновений Геринг
глядел в прямую узкую спину
удалявшегося генерала. Потом догнал
его и, заглянув Гауссу в лицо,
задыхаясь, спросил:

— А как же оружие?

Гаусс сверху вниз посмотрел на
Геринга.

— Я пришлю офицера. Он
составит список необходимого.

— Благодарю вас! — через силу
выдохнул Геринг.

— Оружие будет отпущено эсесовцам из арсеналов Берлинского округа.

— Благодарю вас, — повторил Геринг и, натужась, распахнул перед Гауссом тяжёлую дверь.

Генерал Леганье вынул портсигар и закурил, придавая тем самым беседе менее официальный характер.

— Довольно трудная ситуация, не правда ли?

— Да, мой генерал, — ответил капитан Анри. — Информация становится все более противоречивой.

— Значит, атмосфера накаляется. Нужно не пропустить момента, когда наступит взрыв! — Генерал поднял взгляд на Годара. — Что у вас?

— В одну из моих контор

поступили случайные сведения...

— Иногда они бывают ценнее плановых.

— На этот раз, мне кажется, именно так и есть: недавно открывшийся великосветский журнальчик «Салон» — почтовый ящик.

— Чей?

— Англичан.

— Точнее.

— Пока не могу утверждать, — ответил Годар, — но, судя по тому, что журнал финансирует капитан Роу...

— Опять Роу!

— Вот именно, мой генерал. Его служба, повидимому,

заинтересовалась событиями, назревающими в нацистской партии.

— Ага! Наконец-то и англичане сообразили!

— Да, мой генерал! Они установили непосредственное наблюдение за штабом Рема. Но всё, что поступает от их агентуры, отныне проходит через мои руки.

— Точнее!

— Мой человек посажен в редакцию «Салона».

— Очень хорошо. Смотрите только, чтобы Роу с его фунтами не взял и этого человека на своё иждивение! — Генерал поверх пенсне посмотрел на капитана Анри. — Вам нужно держать связь с

Годаром.

— Да, мой генерал.

Леганье вытянул перед собою руки и погладил полированную поверхность стола.

— Вот что, господа. — Генерал быстро окинул взглядом обоих офицеров. — Нам известно, что в чёрном списке Гиммлера значатся имена генералов Шлейхера и Бредова. Не только потому, что Шлейхер предполагаемый канцлер в случае удачи покушения на Гитлера, а Бредов его друг и доверенное лицо. В тысяча девятьсот девятнадцатом — двадцатом годах рейхсканцлер Гитлер значился в списках агентов нашего бюро. Фон Бредов служил

тогда в разведывательном отделе рейхсвера. Ему стало известно, что Гитлер работает и на французов. В то время это Бредову, повидимому, не мешало, и он подшил доставшиеся ему сведения к личному делу ефрейтора Гитлера. Не знаю, с какою целью фон Бредов не выполнил позднее приказа об уничтожении этого личного дела, но факт остаётся фактом: эти документы — в руках генерала фон Бредова. Бредов показывал их генералу фон Шлейхеру. Тайна «фюрера» стала достоянием уже двух лиц. Впрочем, их, может быть, и трое.

— Кто же третий? — спросил Годар.

— Трудно предположить, чтобы фон Бредов не сообщил такое открытие тогдашнему главе баварского правительства — Кару.

— А имя Кара? Оно тоже в списках Гиммлера? — с интересом спросил Анри.

Генерал Леганье пожал плечами.
— Сомневаюсь, — сказал он, — чтобы Бредов держал этот документ дома. Возможно даже, что именно он и находился в саквояже, с которым мадам фон Бредов недавно летала в Швейцарию. Документ депонирован в каком-нибудь из швейцарских сейфов. Нужно сделать так, чтобы в случае, если с генералом фон Бредовым что-либо произойдёт,

документ не миновал наших рук.

— Этот документ по праву принадлежит нам! — сказал капитан Анри.

— В тот день и час, когда убийцы явятся к Бредову, наш человек с формальной доверенностью, подписанной Бредовым и заверенной нотариусом, должен явиться в швейцарский банк, где лежит документ. Иначе может быть поздно, — сказал Годар.

— Так, — генерал с уважением посмотрел на майора. — Вы правы, совершенно правы: нужна доверенность за подписью Бредова.

— Нужно принять меры к тому, чтобы документ не перекочевал в

Германию, прежде чем Бредов будет убит, — заметил Годар.

— Разумеется.

Вставая, Леганье в последний раз провёл ладонями по лаку стола, как бы отодвигая от себя нечто невидимое, что только что нагромоздили перед ним офицеры.

Годар брёл не спеша. Он шаркал ногами и горбился, как человек, несущий на себе непомерную тяжесть. Это не был груз лет. Несмотря на наружность пожилого человека, Годару едва было сорок пять. Его состарило бремя знаний, которые можно было назвать отрицательными знаниями. Каждый день в каждой из папок своего

регистратора он обнаруживал нечто новое. Однако это новое не только обогащало его, но с каждым открытием делало все бедней и бедней. Это было знание всех самых тёмных, самых неприглядных сторон жизни. Оно неуклонно вело к духовному обнищанию. Узнавая новое, майор должен был зачёркивать что-нибудь положительное в списке моральных качеств, присущих общепринятому понятию «человек». Сам Годар участвовал в отыскании новых и новых способов культивирования и умножения отрицательных качеств в человеке. Он цеплялся за каждое из них, как за удачное открытие, и

старался их использовать в интересах своей службы. Он под микроскопом разглядывал человеческую совесть, отыскивая в ней тёмные местечки, к которым можно было бы придраться, изъяны, которые можно было бы увеличить, развить до размеров язвы, не дающей жертве жить нормальной жизнью честного человека. Алчность, честолюбие, развращённость, бесчестие, личная вражда и политическая распря, измена, кража, убийство — все годилось на потребу разведке Третьей республики. Подкупом, угрозой, шантажом — всем этим привык пользоваться Годар для исполнения своих служебных

обязанностей начальника отдела контрразведки по Германии. Давно миновало время, когда он задумывался над допустимостью того или другого метода привлечения секретного сотрудника. Граница между добром и злом стёрлась в его сознании.

Сорокапятилетний старик, страдающий эмфиземою лёгких, кашляющий от каждой сигареты так, что разрывалось горло, и безвольно закуривающий следующую сигарету от ещё не докуренной, Годар плёлся теперь по бульвару к своей конспиративной квартире, где предстояло принять нескольких секретных сотрудников и изобрести

несколько новых подлостей.

Годар повернул с бульвара в боковую улицу и ещё раз в узкий переулок с едва видимою сверху полоскою неба, с мокрою, непросыхающею мостовой. Минуя конуру консьержки, он старался не привлечь её внимания и стал с кряхтением подниматься по тёмной лестнице. Сегодня он должен был получить копии свежей почты, прошедшей через редакцию «Салона». Там будет что-нибудь новенькое об этой сваре в Берлине. Годар предвкушал эти секретные новости так же, как любой рантье ждёт хлёсткой статейки о вечерних дебатах в палате, от которых зависит,

поднимутся или упадут «алжирские железнодорожные». Годара занимал вопрос, кто первым перехватит компрометирующие Гитлера документы Бредова — второе бюро или боши? А вопрос, убьют или не убьют фон Бредова и Шлейхера, даже не приходил ему на ум.

Наконец затянувшийся служебный день был закончен. Перебросив через руку пиджак, с тёмными пятнами пота на рубашке в тех местах, где прилегали подтяжки, с глазами, выражающими полное безразличие ко всему окружающему, он вышел на улицу. Путь домой, который он всегда проделывал пешком, лежал мимо Центрального

рынка. Это был час, когда торговля уже заканчивалась. Годар шёл мимо цветочного ряда. Последние цветочницы складывали свои опустевшие корзины. Метельщицы собирали в кучи остатки раздавленных и поломанных стеблей и увядших лепестков, смешанных с пылью, забрызганных грязной водой, лужами стоящей в выемках асфальта. Кисло-горький запах увядшей зелени смешивался с витающим ещё под стеклянными сводами ароматом цветов, целый день отдававших свои испарения этим стенам, этим камням, плетению корзин, полотну зонтов. Казалось, все это напоминало о вакханалии запахов и

красок, какая бушевала здесь с самого раннего утра, когда нагруженные цветами тележки подъезжали сюда едва ли не из всех улиц, примыкающих к рынку. Пряное дыхание роз, едва уловимый запах резеды, аромат левкоев и душистого горошка — все это сладким туманом висело над цветочным рынком. Отсюда эти ароматы растекались вместе с возками торговцев, с корзинками цветочниц по всем бульварам, по площадям и улицам Парижа. Где бы парижанин ни захотел купить цветы — у входа в кафе или на паперти храма, под навесом газетчицы или у палаты депутатов, — их источником был

Центральный рынок. В далёкие годы, молодым человеком, только что обосновавшимся в Париже, Годар не мог равнодушно проходить мимо рынка. Он с детства сохранил нежную любовь к цветам — привязанность провинциала, возвращённого на цветочных плантациях Прованса. Он любил смотреть, как женщины деятельно сортируют только что привезённые цветы, как их проворные руки с нежностью, неожиданной для торговок, разбирают тонкие стебли, с какой ловкостью опрыскивают водой огромные разноцветные пучки. Он любовался сверканием капель, осыпавших тонкие лепестки, словно

утренняя роса.

Да, это действительно все было. Но как бесконечно давно... Быть может, нынче и сам он с недоверием выслушал бы рассказ о молодом лейтенанте, не возвращавшемся домой без букетика фиалок. Да и трудно было бы, в самом деле, поверить, что тот юный любитель цветов и этот усталый человек с поникшей головой, с глазами, так равнодушно глядящими на мир, — одно существо.

Но вот именно сегодня, в день, когда слой грязи, осевшей в его душе, был особенно толст и отвратительно липок, по какой-то необъяснимой случайности, — а может быть, и

вовсе не случайно, а в силу железного закона контрастов, — поравнявшись с рынком, Годар уловил струю аромата, донесенную порывом ветра из-под стеклянного навеса цветочного ряда. Трудно предположить, чтобы эта струя дошла до него впервые — ведь он проходил здесь каждый день и почти всегда в это же время. Трудно предположить, чтобы его обоняние никогда до сих пор не улавливало этого аромата. Так почему же именно сегодня эта волна и этот аромат привлекли его внимание, спавшее столько лет, и возбудили воспоминания, которые сам он считал давно похороненными?

Он остановился с выражением недоумения на лице. Словно кто-то схватил его за руку и крикнул ему нечто невероятное. Несколько мгновений он стоял в растерянности, глядя на расходящихся торговков, на повозки, увозящие корзины из-под цветов, как будто не мог понять, где он, почему он тут и что вообще происходит рядом с ним. Но вот ноги его сами повернули к рынку. Он вошёл под стеклянный свод и, шагая через струйки грязной воды, текущей из-под швабр метельщиц, пошёл по ряду. В самом конце его, возле какой-то, видно случайно замешкавшейся, торговки, он остановился. С недоумением и даже как будто со

страхом глядел, как она, ещё утром с такою нежностью разбиравшая ароматные пучки, теперь безжалостно кидала остатки непроданного и увядшего товара в корзину.

Так он стоял несколько мгновений, потом подошёл к женщине и, протянув ей пять су, негромко сказал:

— Прошу вас, мадам, немного цветов.

— Они уже совсем завяли.

— Ничего... право, это ничего не значит... Прошу вас.

Это было сказано с такой робостью, что теперь женщина с нескрываемым удивлением

посмотрела на Годара, на его усталое лицо, на тёмные мешки под глазами и неопрятную копну серых от седины и перхоти волос.

— Берите сколько хотите, — сказала она. — Нет, нет, деньги мне не нужны... Берите. — И она с безжалостностью профессионалки опрокинула к его ногам корзину. — Все равно все пойдёт на помойку.

Рука Годара повисла в воздухе, потом в бессилии упала. Не говоря ни слова, он повернулся и пошёл прочь.

Геринг был в отчаянии: Гитлер опять колебался — следует ли применять к самому Рему ту же суровую меру, какую высшее фашистское руководство, олицетворяемое Гитлером и его приближёнными, определило для всех, с кем было решено расправиться под предлогом приведения к повиновению штурмовиков.

В этот список Гитлер с неожиданной для Геринга лёгкостью включил сотни даже самых близких ему людей. Многие из них не только никогда не состояли в рядах СА, но

имели к ним самое отдалённое отношение — разве только в качестве сочувствующих.

Но вот он, Гитлер, уже в третий раз вычёркивал из списка намеченных жертв имя Рема. То он приходил к выводу, что Рем является его главным врагом и соперником, то ему снова начинало казаться, будто все доносы на штаб-шефа — фальсификация. Он кричал, что это поклепы, выдуманные врагами Рема и его собственными тайными врагами, стремящимися убрать от него старого друга, соратника и защитника.

Геринг приходил в бешенство от этих колебаний. Он требовал от

тайной полиции новых и новых доказательств ремовского заговора. Но и эти доказательства далеко не всегда оказывали на Гитлера нужное действие. Иногда он подозрительно косился на Геринга или Гиммлера, а подчас демонстративно рвал в клочья секретные доклады гестапо.

Когда Геринг показал Гиммлеру портрет Гитлера, будто бы служивший Рему мишенью для стрельбы, Гиммлер только рассмеялся:

— Плохая работа, — сказал он, — да, совсем неважная работа. Тот, кто изготовлял эту картинку, повидимому, не знал, что фюрер в последние дни снимает панцырь

только тогда, когда садится в ванну. И то, если двери ванной комнаты хорошо заперты. — Он вынул перо и нарисовал на лбу Гитлера несколько аккуратных кружков. — Вот как должен упражняться тот, кто хочет быть ему страшен. Сюда. — Он постукал обратным концом стило по лбу портрета. — Только сюда!.. Это может ещё показаться убедительным, если вы докажете, что практикующийся научился всаживать пулю в пулю. — И, подумав, прибавил: — Я пришлю вам то, что нужно.

И действительно через день Кроне привёз Герингу новый портрет. На нем изображение

Гитлера было выполнено в гораздо более натуралистичных тонах и в крупном масштабе. Лоб фюрера носил следы попаданий pistolетных пуль.

— И вот ещё, — почтительно сказал Кроне, передавая Герингу два pistolетных патрона. — Фюрер должен знать, чем всегда заправлена обойма господина штаб-шефа: одна разрывная пуля, другая отравленная, одна разрывная...

— Боже милостивый! — патетически воскликнул Геринг. — Неужели он не поверит даже этому?

Кроне дал совет:

— Пусть этот портрет свезёт господин Геббельс. Убеждать — его

профессия.

— Вы правы! — Геринг не скрывал облегчения, испытываемого от подобного решения. — Вы правы, как всегда, мой умный Кроне!

Он тут же позвонил Геббельсу и условился обо всём.

С этим было покончено, и, казалось, Геринг мог успокоиться. Вместо того в течение последующей беседы глаза его беспокойно перебегали с лица Кроне на его руки, бегали по самым, казалось бы, неинтересным предметам обстановки. Кроне быстро понял, что толстяк взволнован, хочет, но не решается о чём-то говорить. Кроне решил ему помочь, чтобы выудить

ещё что-нибудь, что может оказаться полезным и ему самому. Наводящими вопросами Кроне вызвал его на откровенность. Эта откровенность оказалась действительно интересной: желая «чистки», сам подталкивая на неё Гитлера, Геринг, оказалось, боялся её. Он боялся дальнейшего развития событий после того, как силами гестапо и СС, может быть даже при содействии рейхсвера, будет покончено с Ремом и со всеми преданными ему людьми. Разумеется, конец Рема — это конец тучи, способной разразиться неожиданной грозой и покончить со всеми ними, до Гитлера включительно. Но вот в чём

заключался вопрос: расправившись с Ремом и его приверженцами, остановится ли Гиммлер? Какие тайные директивы получил он на этот счёт от молчаливо сидящих на Рейне промышленных князей? Не расходятся ли эти директивы с тем, что хозяева Германии приказали Герингу и Гитлеру? Где гарантия, что, ликвидировав штурмовика Рема, Гиммлер не разделается и с Гитлером?.. Рейхсвер?.. Не может ли случиться, что генералы рейхсвера будут сидеть сложа руки и смотреть, чем кончится дело, а может быть, исподтишка и помогут Гиммлеру?.. Все казалось Герингу до крайности запутанным и неверным. Он не верил

никому и ничему...

Кроне слушал его внимательно, стараясь представить себе действительную картину отношений внутри клики НСДАП и степень основательности страхов Геринга. Как работник гиммлеровского аппарата по отделу «2Ф», то-есть по наблюдению за самой фашистской партией, Кроне был кое в чём осведомленнее Геринга. На долю Геринга после назначения Гиммлера главою гестапо осталась только Пруссия, а всё, что было за её пределами, оставалось в известной степени тайной. Но каждое лишнее слово такого человека, как «наци Но 2», давало в руки Кроне материал для

осведомления своих собственных хозяев. Они оставались в тени по ту сторону океана, но желали постоянно и полностью быть в курсе дела. Они оказывали осторожное, но неизменно действенное влияние на самый ход этих дел.

Сегодня, глядя в непривычно растерянные глаза Геринга, Кроне чувствовал своё превосходство над министром. Это давало ему возможность взвешивать обстоятельства и каждое своё слово. Будучи подчинённым руководителя тайной полиции рейха — обергруппенфюрера Гейдриха, Кроне полагал, что опасения Геринга неосновательны — во всяком случае

у Гиммлера не было ни сил, ни достаточного доверия руководящих кругов промышленности и банков, какие необходимы для того, чтобы свалить Гитлера. Гиммлер вовсе ещё не так крепко стоял на ногах, чтобы замышлять что-либо подобное планам Рема. Кроне знал, что наиболее сильным человеком в гестапо является Гейдрих. Решительность, жестокость и неразборчивость в средствах делала этого человека ведущим колесом в тайной полиции. От него подчас зависел и сам Гиммлер, полагавший, что его собственным козырем в игре является только личное расположение фюрера. Было

достаточно широко известно, что это расположение приобретено не столько искусством в тайных полицейских делах, сколько садистской жестокостью и умением пересказывать Гитлеру по вечерам неистощимый запас анекдотов и чувствительных историй. Этот запас непрерывно пополнялся благодаря тому, что поставщиками его были бесчисленные люди, арестовываемые тайной полицией. Специальный сотрудник гестапо сидел на выуживании подобного материала из протоколов допроса. Он сводил их в ежедневные доклады рейхсфюреру.

Сам Гиммлер считал себя человеком сентиментальным и сумел

внушить такую же уверенность Гитлеру. Фюреру доставляло патологическое удовольствие знать, что во главе его тайной полиции стоит человек, способный плакать над детскими сказками. В конце концов оба они перестали смотреть на себя как на сообщников в самом страшном и жестоком представлении, когда-либо ставившемся на исторической сцене Германии. Они искренно радовались нежности чувств друг друга, когда один повествовал, а другой слушал истории, собранные под пытками.

На взгляд Геринга все это, может быть, и не имело никакого значения с точки зрения происходящих событий,

но Кроне, учитывая черты характера действующих лиц, отлично понимал, что на сцене нет никого, кроме Рема, кто был бы способен активно противодействовать Гитлеру. Однако ему вовсе не казалось, что эту уверенность он должен тут же передать Герингу. Может быть, для укрепления привязанности к нему второго человека в государстве было полезнее использовать его растерянность, поиграть на его испуге.

С мягкостью, пуская иногда в ход намёки на какие-то несуществующие, тут же, на ходу выдумываемые чёрточки в поведении Гиммлера, Кроне подогревал

настроение Геринга. В заключение он обещал сегодня же выяснить всё, что интересует его сановного друга и покровителя.

Геринг мог оставаться при прежней уверенности: в лице Кроне он имел в аппарате Гиммлера своего человека — преданного ему с головой, милого, умного Кроне.

Вечером Геббельс был у Гитлера. Наутро фюрер собирался лететь на Рейн для совещания с капитанами тяжёлой промышленности, у которых должен был получить последнее благословение на проведение «чистки». В предвидении того, что нужно будет, с одной стороны,

выслушивать, хотя и очень деликатные, но беспрекословные распоряжения своих хозяев, с другой стороны, придётся, во исполнение этих приказаний, принимать какие-то важные решения, отвечать за которые должен будет он один, Гитлер был в дурном настроении. Он хмуро выслушал Геббельса.

— Вы все ополчились на моего Рема, потому что не способны любить меня так же, как любит он. Поэтому вы не можете рассчитывать на такую же любовь с моей стороны, какую я дарю ему, — насмешливо проговорил Гитлер. — Я понимаю Геринга: он хочет занять место Рема в моем сердце и во главе СА. Я

понимаю Штрассера, желающего стать единственным теоретиком партии. Я понимаю Гиммлера, которому хочется разделаться с СА и сделать СС единственной полицейской силой в Германии. Я понимаю старых кукол с Бендлер — им не хочется иметь в Германии вторую вооружённую силу, которая обязана мне всем и всегда может быть противопоставлена рейхсверу. Я всех их понимаю, их и многих ещё, но не понимаю вас, Юпп. Чего вы не поделили с Эрнстом?.. Он не стоит на вашем пути. Вы не стоите на его пути...

Геббельс, терпеливо выслушав его, ответил:

— Тут-то вы и ошибаетесь, мой фюрер. Не только я, но и вы стоите на пути этой толстой свиньи.

Гитлер деланно рассмеялся и с плохо разыгранным удивлением спросил:

— Не воображаете же вы, что кто-нибудь в Германия может мечтать о месте, какое занимаю я?.. Покажите мне того человека, которому судьба могла бы отвести мою роль в истории! Это же сказки, Юпп. Сказки для маленьких детей... Кто, кроме меня, может вывести немецкий народ с жалкого пути, по которому он плёлся до сих пор? Кто поведёт его к predetermined ему миссии стать мировой нацией,

единственной и подлинной нацией вселенной, которой должны подчиняться все народы, все силы природы, все, решительно всё, что создано творцом? История возложила на мой народ миссию стать укротителем всех живущих на этой планете, загаженной миллиардами недочеловеков. Я спрашиваю: кто ещё способен очистить воздух от зловонного дыхания народов-рабов? Кто, кроме меня, может сбросить с пьедестала Гёте с его ищущим света Фаустом и поставить на его место Заратустру? Я вас спрашиваю, Юпп: кто, кроме меня?!

Геббельс видел, что Гитлер

впадает в обычный транс патетической болтовни, способной довести его до истерики, но решил не мешать. Пожалуй, сегодня именно истерика-то и была нужна. Геббельс понимал, что болтовня Гитлера о любви к нему Рема — лишь выражение животного страха за свою шкуру. В таком состоянии фюрер делался податливым на советы тех, кому верил и кого не боялся.

Маленький, кривобокий хромоножка, не будучи формально причастен ни к единой жестокости, учиняемой гитлерово-гиммлеровским аппаратом унижения и угнетения масс, был виновником многих страданий, пыток и смертей.

Он был подстрекателем, он был пропагандистом и подчас теоретическим обоснователем жестокостей режима.

У Геббельса был опыт обращения с фюрером. Поэтому он терпеливо выслушивал теперь его рассуждения, казавшиеся вздорными и отзывающимися манией величия. Геббельс сам был специалистом по приписыванию фюреру несуществующих свойств великого реформатора, полководца и даже философа. Но слушать подобную же чепуху из уст им самим выдуманного гения — это было уже чересчур!

Однако в этом маленьком, таком уродливом и кажущемся таким

хилым теле министра пропаганды жил дух «лжеца от бога». Он не позволял себе ни словом выдать презрения к собеседнику или к его болтовне. Пока говорил Гитлер, имперский министр позволил себе только несколько своеобразное развлечение: он пытался определить за всякой сентенцией Гитлера её истинного автора. Он хорошо знал: на оригинальное мышление этот человек не способен. Он умеет подбирать и перемешивать высказывания и мысли всех — от Трейчке до Шпенглера, — с такою же ловкостью, как опытный шулер тасует и передёргивает карты.

Вот Гитлер с глубокомысленным

видом вещает (у него даже наморщен лоб, словно эти слова стоят ему усилия мысли):

— Я хочу объяснить великий секрет, мой секрет, который, следовательно, является и секретом Германии: я открыл фактор организации. Другие народы живут под режимом индивидуализма, тогда как для нас, немцев, образцом является режим организации. Организующим началом немецкого народа являюсь я. Без меня он ничто. Германия желает организовать Европу, потому что этого желаю я. Война и только война, которую поведу я, организует Европу. Народы Европы будут приобщены к высшей

цивилизации немцев, которую я основываю...

«Это Освальд», — определял Геббельс, мысленно подставляя вместо всех гитлеровских «я» освальдовское «мы».

А Гитлер между тем, поощряемый напускным вниманием слушателя, продолжал с возрастающим энтузиазмом:

— Вы же сами знаете, Юпп: только Германия обладает тайной культуры как организующей силы. Я постиг эту тайну, потому что я до конца понял значение силы. Только сила рождает право. Я утверждаю: горсть силы лучше мешка, наполненного правом. Право

определяется биологией расы, её особенностями. Особенности, родившими наше истинно Германское право, наделён я. В свою очередь я обладаю способностью и правом наделять силой других. Я даю это тем, кто жил одним со мною прошлым, кто сопричастен к великой истории нашего народа и потому, по праву крови, обладает неистребимым божественно-биологическим преимуществом перед другими расами. Я никогда не унижусь до того, чтобы разговаривать с народами-рабами, как с равными. И никогда не доведу немцев до такого состояния, чтобы они были вынуждены на подобное унижение.

Только голос господ будет раздаваться из Германии на протяжении тысячелетия, пока мир будет жить моим именем, памятью обо мне. — Гитлер приостановил свой непрерывный бег по комнате. Остановившись перед Геббельсом, он стал при каждом слове тыкать в его сторону указательным пальцем: — Вы, Юпп, должны сделать из этого выводы и для себя: раб — это вещь. Это говорящее орудие. Притом далеко не самое совершенное орудие, поэтому не из числа тех орудий, которые заслуживают бережного обращения. Вы должны запомнить, Юпп: рабу не нужна культура! Ему не нужно образование за пределами тех

минимальных познаний о собственной профессии, к которой он приставлен. Да и вообще, Юпп, мне иногда кажется, что малообразованный человек, но физически крепкий, с твёрдым характером, исполненный решимости и силы воли, гораздо полезнее для нашего общества, чем умственно развитой, человек со слабым физическим здоровьем. — Заметив протестующий жест Геббельса, он поспешил добавить: — Да, да, это относится к немцам. Во всяком случае на том этапе истории, когда я строю новое общество. — Тут он сделал передышку, словно набирая воздух для нового

словесного наступления, и ещё ближе придвинулся к Геббельсу. Даже при своём маленьком росте он возвышался теперь над самой головой министра. — Именно такие немцы мне нужны для национальной революции, — продолжал он. — Настоящая революция только та, где участвует весь народ. Настоящая революция это один вскрик, одна железная хватка, один гнев... одна... одна цель...

«Забыл дальше, — насмешливо подумал Геббельс, — хотя до сих пор слово в слово, даже со знаками препинания, он повторял Шпенглера...»

— Социализм, — не унимался

между тем Гитлер, — это пруссачество. Понятие «пруссачество» совпадает с тем, что мы понимаем под словом «социализм». Наш социализм — это то, что воодушевляло королей и что выражалось в поступки гренадерских полков. Социализм — это прежде всего насилие.

«Если не считать последней фразы, — подумал Геббельс, — то это уже моё. Фюрер не стесняется с чужими словами...»

— А насилие — это война, — проговорил он, глядя в упор на умолкшего Гитлера. — Француз, по имени Мирабо, сказал: «Война — это индустрия Пруссии».

— Чертовски верно сказано! — в восторге воскликнул Гитлер. — Этот француз — настоящий парень. Он национал-социалист по духу. Вы должны отыскать его, Юпп. Такие люди нам нужны. Они будут моей пятой колонной во Франции.

— Непременно, мой фюрер, — без тени смущения согласился Геббельс. — Именно такие и будут нашей пятой колонной. Но, смею думать, эта колонна понадобится нам не раньше, чем мы сумеем покончить с пятой колонной у себя, внутри Германии.

— Что вы имеете в виду? — Гитлер нахмурился и, заложив руки за спину, расставил ноги, будто искал

устойчивости для принятия удара. —
Что вы хотели сказать, Юпп? —
подозрительно переспросил он.

— Только это, мой фюрер, — с
невозмутимым спокойствием
ответил Геббельс, движением
фокусника разворачивая перед
Гитлером его собственный портрет с
дырами от пуль.

В первый момент, казалось,
Гитлер не понимал, что перед ним. А
когда разобрал, то в испуге отпрянул,
выставив вперёд руки, как для
защиты.

Несколько мгновений длилось
молчание, в котором слышно было
учащавшееся и делавшееся все более
тяжёлым дыхание Гитлера.

Но вот он бросился вперёд, выхватил у Геббельса плакат и, подбежав к лампе, стал внимательно рассматривать расстрелянное изображение собственного лица. Потом с отвращением отбросил лист, как нечто, что жгло ему руки, и с криком бросился прочь. Только уже на пороге комнаты он остановился, покачиваясь, вернулся к лежащему на ковре скомканному портрету и, не глядя на Геббельса, хрипло спросил:

— Кто?

— Ваш Рем, — с прежним спокойствием, но особенно внушительно ответил Геббельс. — Ежедневное упражнение. По утрам. Теперь он попадает в бубнового туза

всеми восемью зарядами пистолета.

С этими словами Геббельс выбросил на стол два патрона.

Гитлер посмотрел на них в испуге.

— Та, с красной головкой — разрывная пуля, с синей — отравленная, — сказал Геббельс.

Гитлер закрыл лицо руками. Так он стоял довольно долго, судорожно подёргивая плечами и не разжимая пальцев, за которыми Геббельсу не видны были его глаза, но сам Гитлер, мог следить за каждым движением Геббельса.

Наконец он отвёл руки от лица, и Геббельс увидел слезы, стекавшие по его щекам.

— Сохраните эти патроны, Юпп, — плаксиво и так тихо проговорил он, что Геббельс с трудом разобрал слова. — Он получит их оба в свою собственную голову.

Геббельс нагнулся было, намереваясь поднять лежавший на полу портрет, но Гитлер остановил его молчаливым движением руки. Жестом же, словно ему трудно было говорить, он отослал Геббельса. Но как только тот вышел, Гитлер поднял портрет и тщательно разгладил на столе помятую бумагу. От его сосредоточенности и подавленности не осталось и следа. Напевая себе под нос марш из «Гибели богов», он принялся старательно вырезывать из

бумаги кружочки и приклеивать их там, где на лбу его собственного изображения виднелись пулевые пробоины. Потом привычными движениями стал закрашивать заплаты. Отошёл, наклонив набок голову, посмотрел на результат своей работы, но, оставшись недоволен, вырезал белую полосу. Эту полосу он приклеил на лоб портрета. Пририсовал на ней несколько теней, изображающих складки ткани, — повязка на лбу была готова. Повесил портрет на экран для географических карт, и так же, как прежде, склонив голову набок, присмотрелся. На этот раз работа его удовлетворила. Быстро, небрежными буквами,

кистью написал внизу портрета: «Немцы! Вот чего стоило вашему...» Но тут же замазал все и начал сызнова: «Германия! Вот чего стоило фюреру твоё спасение. Будь достойна его!»

Только тут он спохватился, что Геббельс исчез из комнаты. Он снял телефонную трубку и, велев соединить себя с Геббельсом, совершенно мирным, удовлетворённым тоном сказал:

— Я тут приготовил кое-что для выборов... Недурной плакат... Может пригодиться после тридцатого.

Жизнь, которую пришлось вести Отто, оказалась не такой простою, как рисовалась вначале. Лавировать между Ремом и Кроне было бы, пожалуй, и нетрудно, не будь тут Хайнеса.

Рем был болтлив, распущен, постоянно забывал об осторожности. К тому же туман опьянения, во власти которого он находился почти всегда, лишал его наблюдательности. Для Отто дело осложнялось тем, что за последнее время Хайнес почти неотлучно находился возле штаб-шефа. Хайнеса Отто боялся. Ему казалось, что глаза этого человека

следят за каждым его движением. Всякий раз, будь то официальное совещание или частная беседа, Хайнес внимательно оглядывал присутствующих, словно стараясь разгадать, нет ли среди них врагов. Хайнес делался все более молчаливым, все чаще одёргивал несдержанного на слова Рема.

Отто думал, что вздохнёт спокойно в Висзее, куда все они приехали в последних числах июня. Здесь, в отеле «Хайнцельбауэр», должно было быть созвано совещание начальников штурмовых отрядов. Но какой бы серьёзной ни была цель приезда, Висзее оставался курортом. В предвкушении

свободного времени Отто привёз туда Сюзанн. Он поселил её в пансионе «Альпийский цветок», на берегу озера, около устья Зельбаха.

Действительность обманула его. С прибытием в Висзее Отто не знал ни одной спокойной ночи. Как только кончался его служебный день и он приходил в свой пансион, надеясь провести беззаботный вечер в обществе Сюзанн, раздавался телефонный звонок. Спокойный голос Кроне называл час свидания. Никогда ещё Отто не должен был давать ему такого подробного отчёта о каждом поступке, каждом слове своих начальников.

Мало-помалу и он стал

испытывать чувство тревоги, насыщавшей воздух вокруг главарей штурмовых отрядов. Эта напряжённость ещё усилилась с того момента, как в Висзее приехал Карл Эрнст, глава берлинских штурмовиков. Трое предводителей коричневой армии все чаще уединялись для беседы. Хайнес и Эрнст, казалось, перестали доверять даже самым близким людям.

Отель, где они жили, наполнился переодетыми в штатское личностями, которых Отто прежде встречал в коричневых рубашках: Хайнес день ото дня усиливал охрану Рема.

Наконец Отто стало совсем не

по себе, когда он узнал о секретном приказе Геринга, которым в Пруссии были приведены в боевую готовность отряды СС. Против кого они должны были действовать?

К чему-то готовились и штурмовики. После нескольких тайных совещаний с Хайнесом и Эрнстом Рем уехал в Берлин. Оттуда — в Мюнхен. Его сопровождала охрана и несколько адъютантов, в том числе Отто.

Отто предполагал, что Рем будет встречен своими отрядами с развёрнутыми знамёнами, при оружии. Ничего этого не было.

Ни разу не был нарушен приказ Гитлера о запрете штурмовикам

учений, парадов и ношения формы. Там, где появлялся Рем, улицы, прилегающие к опустевшим казармам штурмовиков, были заполнены членами СА, одетыми в штатское. Они стояли цепочкой, на расстоянии шага друг от друга. Никто не мог обвинить стоящих навывтяжку безоружных людей в попытке устроить сборище. Рем со своей маленькой свитой проходил по рядам, испытующе вглядываясь в лица. Командиры отрядов приветствовали его молчаливым поднятием руки. Ни одного собрания, ни одной речи, даже никаких командных возгласов. И все же это был смотр. Строгий инспекторский

смотр огромной шайки, протекавший в гробовом молчании, под испуганными взглядами притихших горожан. Непривычная молчаливость штурмовиков пугала жителей не меньше, чем дебоши коричневых команд в былые дни. Вернувшись в Висзее, Отто не мог передать Кроне ничего, кроме собственных чисто внешних впечатлений. Кроне, всегда спокойный, теперь по несколько раз переспрашивал об одном и том же, раздражался, нервничал.

Между тем число фигур в штатском, в которых безошибочно угадывались агенты тайной полиции, увеличивалось не только на дорогах, прилегающих к озеру, но и на всех

углах, во всех аллеях, в особенности же в самом Висзее — вокруг пансиона, где жили Рем и его приближённые. Правда, это можно было приписать и тому, что со дня на день ждали прибытия Гитлера, — он должен был присутствовать на совещании, созываемом Ремом, — но чутьё подсказывало Отто, что на этот раз дело не только в охране фюрера...

Утром 25 июня Отто получил приказание съездить в Тегернзее, чтобы отправить несколько депеш с общего телеграфа. Повидимому, у Рема были какие-то соображения против того, чтобы передавать их по аппарату, стоявшему в его отеле.

Великолепная моторная лодка штаб-шефа быстро доставила Отто на ту сторону озера. К своему удивлению, Отто заметил, что почта, телефонная станция и вокзал усиленно охраняются. То были не обычные полицейские посты и даже не примелькавшиеся фигуры в штатских костюмах, а самые настоящие солдаты рейхсвера в стальных шлемах. В довершение всего Отто встретил знакомого лейтенанта, командира взвода, охранявшего эти здания. Лейтенант был удивлён, встретив здесь Отто.

— Плохое время выбрал ты для поездки на курорт, — сказал он, понижая голос.

— О чем ты говоришь?

— Я и сам не знаю, что должно случиться, — офицер пожал плечами. — Но я бы на твоём месте уехал отсюда. Думаю, спор будет решаться раз и навсегда.

— О каком споре ты говоришь?

— Все мы понимаем это и без официальных приказов! — пробормотал лейтенант и, козырнув, удалился.

Пока катер вёз Отто обратно в Висзее, он задумчиво смотрел на зелёные склоны гор, тесно обступивших озеро. Сквозь густую листву деревьев белели стены вилл, алели черепичные крыши пансионатов. Со стороны Гмунда тянулась

вереница яхт. От их белоснежных бортов, от горделиво раздувшихся парусов веяло безмятежностью.

«Сейчас же сказатья больным — и прочь с берегов уютного Тегерна!» — подумал Отто.

Моторная лодка стремительно вспарывала гладкую поверхность озера. Её нос отбрасывал далеко в стороны буруны.

Отто с завистливой неприязнью глядел на белеющие паруса яхт. Его раздражал их беззаботный вид. В такой момент, когда на него, Отто, а значит, с ним и на весь видимый и чувствуемый им мир надвигалась туча, какие-то идиоты могли себе позволить беспечно кататься на

яхтах!

— Качните-ка вон тех олухов! — сказал он мотористу, указывая на идущий неподалёку лёгкий швертбот. Судёнышко изящно клонилось, едва не касаясь парусом воды. Отто не видел лица сидящего на руле мужчины, но заметил, что на корму прошла стройная блондинка и растянулась на банке вдоль борта, положив голову на колени рулевому.

Моторист повернул штурвал, и волны за кормой моторки изогнулись широкими серпами. Высокий бурун устремился на борт швертбота, лизнул его пенистым гребнем и перекинулся в кокпит. Нижний конец паруса окунулся в воду. Отто с

нетерпением ждал, перевернётся ли судёнышко. Но он услышал только испуганный вскрик женщины. Рулевой на швертботе ловко переменял галс, и, выправившись, судно плавно устремилось прочь от катера.

— Удержался! — Отто разочарованно отвернулся от катающихся и закурил.

Он не видел, как из-за паруса показалась голова управляющего швертботом Эгона Шверера.

Братья разминулись, не узнав друг друга.

— Этот нахал едва не утопил нас! — сказал Эгон.

— Что ж, это было бы забавным

завершением нашей поездки! —
Эльза рассмеялась, отжимая воду из
промоченной юбки.

— Тебе надоела жизнь?

Эльза придвинулась к Эгону,
мокрыми ладонями сжала его щеки,
потянулась к его губам.

— Осторожней! — со смехом
сказал он. — Так мы можем
перевернуться и без чужой помощи.

Выпущенный Эгоном шкот
полоснул по воде, парус метнулся,
встал вдоль судна и заполоскал по
ветру.

Но вместо того, чтобы поймать
шкот, Эгон прижал к себе Эльзу.

— А ведь временами мне
казалось, что жизнь зашла в какой-то

тупик, — сказал он. — Нет, нужно жить, во что бы то ни стало жить!

— Во что бы то ни стало!

— Не вечно же будет продолжаться царство этих разбойников!

Её лицо омрачилось.

— Не говори так! Это опасно...

— Вот ещё! — беспечно воскликнул Эгон. — Здесь нас никто не слышит.

Эльза улыбнулась.

— А чайки?

— Чайки? — Он рассмеялся. —

Да, если это протянется слишком долго, наци и птиц сделают своими шпиками... Посмотри, как изумительно управляет своим

полётом вон та, что держится все время возле нас! Какая точность реакции, какая техника пилотажа! Ты только посмотри, какое совершенство форм! Какая точность конструкции в каждом отдельном экземпляре! Это было бы менее удивительно, если бы...

Эгон умолк на полуслове и оглянулся на Эльзу.

— Я опять забрался в область, которая тебе совсем не интересна.

Эльза сидела ссутулившись, закрыв лицо руками. От её недавнего оживления не осталось и следа.

— Что с тобою, Эльзхен?

Она опустила руки, в её глазах стояли слезы.

— Любишь? Никогда не
поверишь тому, что тебе стали бы
обо мне говорить?

— Что ты, Эльза?

Она отвернулась, пряча от него
глаза.

— Меня немножко укачало.

— Это все тот нахал на
моторной лодке.

Опершись на локоть, Эльза
глядела на озеро.

— Как не хочется отсюда
уезжать... Прежде я так любила наш
Любек, — сказала она, — а теперь...

Эгон нагнулся к ней.

— Нам нужно чаще встречаться!
А может быть...

Он боязливо умолк. Сколько раз

уже у него на языке вертелось это слово, которое он хотел сказать Эльзе и на которое у него так и нехватило мужества. Он любил её. Да, он любил! Он хотел бы сказать Эльзе, что самым прекрасным в жизни было бы для них стать мужем и женой. Но всякий раз, когда он хотел ей это сказать, перед ним возникал образ матери. Генеральша мечтала о другой жене для Эгона...

Он задумался, глядя в воду, бегущую из-под кормы. На её синем фоне так красиво вырисовывался нежный профиль девушки. О чем думает Эльза? Эльза широко раскрытыми, испуганными глазами глядела на медленно

приближающийся берег.

Ошеломлённые

быстротечностью событий, даже многие бывалые немецкие политики растерялись.

Среди людей, ступивших на стезю ошибок из-за утраты чувства времени и меры, был и генерал-лейтенант Курт фон Шлейхер — один из тех, кому Гитлер был обязан своим приходом к власти. Но шишка признательности была очень слабо развита у фюрера или вовсе у него отсутствовала. Былые заслуги Шлейхера (и не только Шлейхера) в счёт не шли, коль скоро Гитлер мог хотя бы только заподозрить в

Шлейхере потенциального соперника или противника. Имя Шлейхера стояло теперь одним из первых в тайных проскрипциях Геринга и Гиммлера.

Это было удивительно потому, что ведь генерал Шлейхер издавна, ещё со времён падения монархии Вильгельма, считался едва ли не самым «политическим» генералом во всей германской армии. Его умению ориентироваться в политической обстановке, его чутью и ловкости Грёнер, Сект и Гинденбург были обязаны тем, что армия продолжала существовать, сохранив свой старый офицерский корпус со всеми его атрибутами,

привилегиями и традициями, столь мало общего имеющими со словом «республика».

Это было тем более удивительно, что именно он, Шлейхер, был наиболее способным учеником Носке. Если бы Шлейхер не воспринял поучения Носке о том, что и для контрреволюции необходимы массы, хотя бы и обманутые, фашизм не имел бы такого предтечи, как «чёрный рейхсвер», и ему пришлось бы самому проделать чёрную работу физического уничтожения сопротивляющихся. А такая работа в лоб выбила бы из-под гитлеровцев последнюю подставку

псевдомассовости их движения. В этом отношении добровольческие отряды, при помощи которых Носке усмирять рабочие восстания в Веймарской Германии, сослужили гитлеризму незабываемую службу. И было бы удивительно, что можно забыть такую услугу, если бы речь не шла об удивительной в некоторых отношениях памяти Гитлера.

Шлейхер знал Гитлера, знал его приёмы, знал, что он и его сообщники надеются на то, что должен прийти день, когда им удастся свести кровавые счёты со всеми инакомыслящими, не говоря уже об их врагах и противниках — нынешних и прошлых. И самым

удивительным было то, что, зная все это, Шлейхер не верил в возможность самому попасть в число избиваемых. Именно в этом пункте, наиболее важном и даже роковом для его личной судьбы, чутьё ему изменило.

Он нисколько не был удивлён, когда перед его виллой в Нойбабельсберге остановился автомобиль Рема и штаб-шеф штурмовиков, пыхтя и отдуваясь, словно анемичное тепло берлинского июня было тропической жарой, взошёл на ступени балкона.

Шлейхер и Рем были старыми знакомыми. Да и не только знакомыми — именно у Шлейхера

капитан Рем получил в своё время поддержку, которой ему нехватало в высших кругах рейхсвера, чтобы спасти от роспуска военизированные отряды гитлеровцев, из которых впоследствии сформировались СА и СС.

Рем верил в политический талант Шлейхера. Он хорошо помнил, как именно ему, этому Шлейхеру, удалось свалить правительство Мюллера, лишив его именем Грёнера диктаторских полномочий; Рем помнил, как именем рейхсвера был свергнут и Грёнер, для того чтобы уступить первую скрипку Брюнингу, а потом был отправлен на свалку сам

Брюнинг, чтобы Шлейхер мог попытаться руками Папена доделать то, на что оказался не способен Брюнинг, — привести к власти фашизм. Наконец Рем не мог не помнить, что и Папен оказался не у дел именно благодаря все тому же Шлейхеру, продолжавшему действовать от имени и именем рейхсвера.

Но, пожалуй, самым важным, о чём Рем помнил в данную минуту, было то, что неблагодарность Гитлера стала на пути Шлейхера к личной диктатуре генерала или хотя бы к тому, чтобы на равных правах с Гитлером разделить власть над Германией. Рем хорошо знал цену

салонной сдержанности генерала-политика. Он знал, что под умением говорить вполголоса и сохранять на лице маску высокомерного безразличия, перенятую у Секта, в Шлейхере скрывалась ненасытная жажда власти и способность пустить в ход любые средства для достижения этой власти и для уничтожения стоящих на пути к ней. Вот только Рему казалось, и в этом он был прав, что за последнее время Шлейхер утратил какую-то долю прежнего тонкого политического чутья и недопонимал смысла происходящего вокруг. Именно с целью кое-что разъяснить Шлейхеру и заставить его вступить в борьбу с

неблагодарным Гитлером на стороне штурмовиков и его, Рема, штаб-шеф и приехал в Нойбабельсберг.

— Старшее поколение германской армии дало в вашем лице своего сильнейшего и последнего представителя в политику, — сказал Рем. — Оно больше не имеет резервов. От меры и направления вашей активности зависит не только судьба армии, но и судьба всей Германии...

Он говорил непривычно долго и, как казалось ему, очень убедительно.

Шлейхер слушал, и лицо его оставалось по обыкновению непроницаемым. Изредка он, не прерывая гостя, пододвигал ему

рюмку вина или ящик с сигарами. Иногда Рем умолкал, полагая, что сказал уже довольно и пора бы Шлейхеру высказаться самому, но генерал только вежливо улыбался, отделивался каким-нибудь незначащим замечанием и снова принимал вид человека, готового слушать.

Чем дальше, тем больше это молчание генерала сбивало Рема с толку. Он же знал, что второго такого оратора и казуиста, как Шлейхер, не найти во всей армии, так какого же чорта он сидит подобно истукану. Словно речь не идёт об его собственной жизни?! Или он и этого не хочет понять, несмотря на всю

очевидность?.. Может быть, и это нужно выложить ему начистоту? Хорошо, пусть так и будет.

— И, наконец, — решительно проговорил Рем, — я должен вам доверить то, чего вы, повидимому, не знаете: они уже сговорились между собой — Гитлер и его дружки, им остаётся только наметить день, наиболее удобный для того, чтобы перестрелять всех, кого они считают стоящими на их пути.

— Не слишком ли?.. — это были первые слова по существу дела, которые Рем услышал сегодня от генерала. Рему даже показалось, что нечто похожее на насмешливое выражение появилось на лице

Шлейхера. — Первое, что следовало бы вспомнить всякому, кто замыслит что-либо против СА, а следовательно, и против вас лично, — декабрьский указ кабинета «об обеспечении единства партии и государства». Разве там не сказано, что партия и СА одинаково неотделимы от государства и являются носителями его идей? Разве там не сказано, что члены НСДАП и СА, как руководящие силы национал-социалистического государства, будут нести ответственность перед фюрером и государством?.. Всюду — партия и СА! Они неразделимы, они полноправные партнёры.

— У вас прекрасная память, генерал, — насмешливо проговорил Рем, — я тоже хорошо помню, что в этом указе сказано: заместитель фюрера и глава штаба СА будут членами имперского кабинета, чтобы обеспечить тесное сотрудничество партии и СА с государством. Я это помню. Но я не забыл и того, что сказано дальше в том же самом указе: устройство партии — «часть народного права», а организация её определяется волей фюрера. Слышите: волей фюрера, чорт побери! Не народ, не государство будут создавать это, чорт бы его драл, «право», а Адольф. — По мере того как Рем говорил, его лицо

становилось багровым. — Он оставил за собою возможность, в качестве рейхсканцлера и главнокомандующего СА, определять порядок проведения в жизнь того, что он называет «правом». — Лицо его исказилось свирепой гримасой. В нем были ненависть, страх, презрение, все вместе. Сжимая кулаки, он выкрикнул: — Вот он и определил порядок применения! — Рем красноречиво провёл себя ладонью поперёк горла. — Мне и вам — всем тем, кого он боится.

— Всякому, кто задумает подобное, — с хорошо разыгранным спокойствием ответил Шлейхер, — следует оценить позицию

рейхсвера. — Он говорил по обыкновению негромко, но так отдельно и чётко, что каждое его слово поневоле запоминалось и казалось особенно значительным. Чтобы придать своему напоминанию ещё больший вес, он повторил: — Рейхсвер!

— Рейхсвер?! — Рем деланно рассмеялся. — Вы, видно, не в курсе дела. А если я вам скажу, что в секретных инструкциях к проведению того, что Адольф называет «чисткой», прямо сказано: части рейхсвера должны прийти на помощь СС там, где сил охранных отрядов окажется недостаточно для осуществления указаний фюрера. Да,

прошу вас, не удивляйтесь, но мне кажется, что господа с Бендлер утратили не только ясность понимания ситуации, но и желание твёрдо высказать своё мнение Гитлеру?.. Боюсь, что страх — вот что руководит теперь действиями и мыслями господ из военного министерства.

Он на мгновение задумался и смотрел на генерала словно в нерешительности: стоит ли говорить то, что просилось на язык, но что было, по существу, его главным козырем в сегодняшней беседе. Желание покончить со всем этим заставило его выложить и этот козырь:

— Мне совершенно точно известно, что ваше собственное имя содержится в списке, приготовленном на тот случай, о котором я говорил.

Даже у Рема, испытанного интригана, имеющего на совести не одну человеческую жизнь, нехватило развязности, чтобы сказать в лицо Шлейхеру, что его имя значится в описке приговорённых к смерти в ночь предстоящей расправы.

Шлейхер не мог не понять, о чём идёт речь, но лицо его выразило хорошо разыгранное удивление:

— О каком описке идёт речь?

Рему пришлось пояснить все своими словами. Шлейхер и тут

слушал с видом сфинкса. Лишь когда Рем закончил, он с усмешкой ответил:

— Неужели вы верите в эту чепуху?! Кто же им позволит?

Рем искренно удивился:

— Вы готовы были верить всему этому: и намеченной дате и существованию списка, пока дело не дошло до вас...

Шлейхер согласно кивнул головой. Рем умолк. А Шлейхер все так же спокойно проговорил:

— Рейхсвер никогда не позволит.

— Вы говорите о себе? Именно о самом себе?! — воскликнул Рем.

Шлейхер ответил молчаливым

КИВКОМ ГОЛОВЫ.

— Ну, так я вам скажу, — сердито крикнул Рем, — им ничего не стоит закрыть глаза даже на это... на вас... — опять не решился проговорить «на вашу смерть». — Эти господа способны разыграть роль Пилата... Скажу вам больше: я знаю, что они именно так и намерены сделать.

— Это ложь! Этого... не может быть!

— А между тем это именно так: они согласились на...

Видя, что он колеблется, Шлейхер пробормотал:

— Ну же, не стесняйтесь, — и сам договорил за Рема: — Они

согласны на моё устранение от дел?

— Вовсе нет, — возразил Рем. — Они согласны на то, чтобы вас убрали совсем... Так же как меня.

При этих словах глаза Шлейхера испуганно расширились. Несколько мгновений он боролся с волнением, потом проговорил:

— Не может быть. Среди немецких генералов не найдётся такого подлеца, который...

Рем не дал ему договорить:

— Не стройте дурака! — Грубо крикнул он. — Поймите, наконец, что остался один способ укоротить Гитлеру руки — нам самим объединиться против него и

действовать. Немедленно
действовать! Иначе...

Он не договорил. Шлейхер молчал, так же как в начале беседы, предоставляя говорить Рему. И Рему пришлось снова доказывать, убеждать. Лишь тогда, когда больше нечего было сказать, когда все доводы были использованы, генерал, словно в забытии, повторил:

— Он не посмеет...

— Уж не думаете ли вы, что можете его запугать бумажонками, которые держите против него? — со злобой спросил он.

Шлейхер знал, о чём идёт речь. Рем имел в виду личное дело Гитлера, которое велось когда-то в

Мюнхене на агента-провокатора рейхсверовской контрразведки. Оно содержало вполне достаточно компрометирующих данных, чтобы сбить с ног любого политического деятеля. В своё время эта папка была взята из архива бюро сотрудником и личным другом Шлейхера полковником фон Бредовым и больше не вернулась туда. Гитлер знал об этой переписке. Но когда, став фюрером и рейхсканцлером, он приказал доставить ему эту секретную папку, намереваясь её уничтожить, её не смогли отыскать. Предпринятое расследование навело на след: последним, кто брал папку из архива, был полковник Бредов. В

его служебном кабинете и на квартире были произведены осторожные обыски, о которых Бредов мог только догадываться, но против которых не было ни смысла, ни желания протестовать. Однако документ так и не был обнаружен. Гитлер был бессилен, но он не мог этого забыть. Документ дамокловым мечом висел над его головой.

Папка и не могла быть обнаружена, так как хранилась в тайнике, известном только Бредову. Этот тайник находился вне Берлина. Слежка за Бредовым ничего не дала. Дело, казалось, исчезло бесследно. Во всяком случае настолько бесследно, чтобы не попасть в руки

Гитлера.

По данным гитлеровской тайной полиции, это исчезнувшее «личное дело» содержало материалы, тщательно подобранные Бредовым и Шлейхером в тот период, когда Шлейхер всячески противодействовал приходу Гитлера к власти и пытался протащить на канцлерское кресло его бывшего сообщника, ставшего яростным врагом фюрера, нацистского «теоретика» Грегора Штрассера. Из данных личного дела Гитлера (он же Шикльгрубер) явствовало, что 3 августа 1914 года он подал прошение баварскому королю с просьбой разрешить ему служить в 16-м

баварском пехотном полку, хотя по закону он должен был, как австриец по происхождению и австрийский подданный, призываться в городе Линце. Гитлер мотивировал свою просьбу тем, что, постоянно живя в Мюнхене, полюбил Баварию как вторую родину и его сердце принадлежит его величеству Луитпольду — королю Баварии. Каковы были истинные мотивы этого ходатайства, остаётся тайной до сих пор.

Пройдя обучение в запасном батальоне 16-го полка, Гитлер отбыл с пополнением на Западный фронт. Но, несмотря на острую нужду в строевых солдатах, ощущавшуюся

тогда германской армией, Гитлер умудрился за все четыре года службы не видеть окопа. Имея нашивку ефрейтора, он все время оставался вестовым при штабе полка. Было это результатом неудержимой любви начальства к ефрейтору или плодом необыкновенной ловкости самого Гитлера, но, закончив с концом войны свою «фронтовую деятельность», ефрейтор Гитлер предстал перед друзьями украшенным орденом Железного креста первого класса. Даже строевые офицеры получали его лишь за особые подвиги, связанные с проявлением высшей личной храбрости. Чтобы такой крест

получить ефрейтору, нужно было совершить подвиг, о котором кричала бы вся немецкая печать, нужно было стать фигурой, сходной с русским казаком Кузьмой Крючковым. А между тем в истории полка, изданной после войны, даже не упоминается имя Гитлера.

Шлейхер произвёл тщательное расследование, надеясь установить, что Гитлер попросту самозванец и никто никогда его не награждал железным крестом, ленточку которого он с такой гордостью всегда носил в петлице. Было даже подготовлено опровержение напечатанной в нацистских брошюрах версии о том, что

железный крест получен фюрером за то, что он один с револьвером в руке захватил французский пулемёт вместе с защищавшими его двенадцатью французами.

Эта надежда Шлейхера на громкий скандал не оправдалась, но ему удалось все же документально установить, что подвиг, приписываемый Гитлеру, никогда не был совершён ни им, ни кем-либо другим из солдат Западного фронта. Оказалось, что железный крест был пожалован Гитлеру специальным приказом Людендорфа уже много времени спустя после окончания всех боев в целях поднятия авторитета субъекта,

пользовавшегося таинственной любовью командования. Это награждение было одним из звеньев цепи, которая приковывала каторжника Гитлера к галере фашизма, вынашивавшегося в недрах армии. Как выяснилось, крёстным отцом вестового-провокатора был Людендорф, сдавший его для дальнейшей эксплуатации Рему.

Все это и кое-что ещё, достаточно неблагоприятное, и содержалось в «деле», подобранном Бредовым. Шлейхер и Бредов полагали, что, угрожая Гитлеру опубликованием таких документов, можно держать его в узде. Но выдать эту мысль Рему Шлейхер не был

намерен. Сначала он сделал вид, будто бы не понимает, о чём идёт речь, а когда тот объяснил, то генерал разыграл возмущение: не полагает же Рем, что он, генерал-лейтенант Курт фон Шлейхер, способен заняться шантажом! Кажется, подобные средства не входят в арсенал прусского офицера! Это первое. А второе: он может заверить Рема честным словом, что упомянутых документов давно нет.

— Они больше не существуют, — невозмутимо солгал Шлейхер.

— Но ведь Бредов же взял их. Я знаю, что взял, — настаивал Рем.

Голос Шлейхера оставался

попрежнему сух, спокоен и
негромок:

— Да, Бредов взял их по моему приказанию. Я не хотел, чтобы что-либо, могущее когда-либо скомпрометировать господина Гитлера, хранилось в архиве. Хотя бы этот архив и был мало кому доступен.

— Уж не собираетесь ли вы меня уверить, будто действовали в интересах Гитлера? — насмешливо спросил Рем.

— Именно так я и действовал.

— И ради этого припрятали дело?

— Я приказал его
уничтожить, — тоном, не

допускающим сомнений, отрезал Шлейхер.

С минуту Рем смотрел в лицо генерала, пытаясь по его глазам угадать, может ли быть правдой то, что он сказал. Но глаза эти, как всегда, ничего не выражали, и лицо оставалось холодно-непроницаемым. Рем покачал головой:

— Если это правда, то такая глупость может вам стоить головы.

— Да ведь вы сами же только что говорили, что фюрера нельзя запугать подобными пустяками...

— Ну, кто знает?.. Может быть, с ним и можно было бы договориться... — неуверенно проговорил Рем и снова огорчённо

покачал головой. Подумав, сказал: — Все-таки поразмыслите-ка... Остались считанные дни. Завтра может оказаться поздно раздумывать... А может быть, поздно уже и сейчас...

— Вы слишком мрачно настроены, — Шлейхер хотел казаться спокойным. Он сказал наставительно: — История не делается такими средствами.

— Каждому из нас хочется, чтобы история делалась им или хотя бы при нем. И никто из нас не может себе представить, что он уже лишний, что завтра все будет происходить без него... Совсем без него... всегда... А Адольф, мне

кажется, думает именно так. Во всяком случае в отношении вас и меня.

Словно бы невзначай, Шлейхер задал Рему вопрос, и потому, что вопрос был неожидан и некстати, генерал рассчитывал получить на него ответ:

— А кто же из наших генералов дал вам основание думать, будто рейхсвер умоет руки в моей судьбе?

— Переговоры с фюрером вёл Гаусс... Не знаю: лично от себя или от имени остальных...

— Вот как... — неопределённо проговорил Шлейхер и поднялся в знак того, что хочет закончить разговор. — Весьма признателен за

сообщение. Я подумаю обо всём, что слышал.

— Если для этого осталось время, — насмешливо повторил Рем. — Может быть, другой на моем месте уехал бы из Германии сегодня же...

— Вы полагаете, что покинуть страну следовало бы и мне? — с таким видом, словно это казалось ему абсурдом, спросил Шлейхер.

— На вашем месте я держал бы чемоданы наготове, — с прежней грубостью сказал Рем. — На этот раз Адольф решил не стесняться.

— Быть может, и вам пора... собирать чемоданы. — Не без иронии сказал на этот раз Шлейхер.

Рем энергично мотнул головой.

— Нет! — Его мясистая ладонь проделала быстро движение, как бы что-то отрубая: — У меня тут свои счёты. Я сведу их, чего бы это ни стоило.

— Даже головы?..

— Одна из двух голов действительно может упасть...

Стук захлопнувшейся за Ремом садовой калитки ещё висел в воздухе, а Шлейхер уже держал в руке телефонную трубку... Гаусс?! Пустяки. Этого не могло быть. Шлейхер поверил бы чему угодно, только не тому, что именно этот генерал мог его предать. Да и что значит предать?.. Ведь для того

чтобы договориться с Гитлером, Гауссу необходимо было с ним видаться. А Александер не говорил Шлейхеру о чём-либо подобном. Мог ли Александер прозевать визит Гаусса к Гитлеру?.. Едва ли... Нет, положительно, этого не могло случиться. Шлейхер готов был прозакладывать голову, что Рем все это выдумал, чтобы его припугнуть...

Простая мысль, что, зная о свидании Гаусса с Гитлером, Александер мог скрыть это от Шлейхера, ему не приходила в голову. Чтобы допустить такое предположение, он должен был понять, что уже выпал из числа тех, кто мог верить Александеру, что он

не нужен Александеру, так же как не нужен Гауссу и другим.

Шлейхеру и в голову не приходило, что его политическое чутьё, считавшееся самым тонким во всем рейхсвере, могло ему изменить настолько, что он перестал понимать происходящее... Нет, этого он не допускал... Нужно было только взять себя в руки, собраться. Разве не он, Шлейхер, когда-то поучал: «Заметили ли вы, сколько людей говорят о своих нервах? Как будто нервы нельзя держать в узде или будто нервы всегда нужно щадить? Глупость! Нервозность — только проявление трусости. Нервные люди не могут спать по ночам только

потому, что они боятся ответственности. Я этой боязни не знаю, поэтому я спокойно сплю по ночам».

Итак, все дело в нервах. Распуститься — значит утратить чувство ответственности. Да, он всегда знал меру ответственности за свои слова и поступки. Да, он никогда не позволял нервам взять верх над рассудком. Неужели же именно теперь, когда, может быть, спокойствие ему нужно больше, чем в любой другой час его жизни, он может утратить спокойствие?.. Нет и нет!

Эти мысли летели у него в голове пока, по его просьбе,

адъютантура округа устанавливала местопребывание Гаусса. К тому времени, когда произошло соединение, Шлейхер был уже спокоен. Вернее, казался себе спокойным.

Хотя Гаусс и не мог видеть собеседника, Шлейхер натягивал на лицо маску непроницаемости, которую так хорошо скопировал у Мольтке и Секта. Он ждал секунду, вторую, когда услышит голос Гаусса. Он намеревался ледяным тоном спросить о времени и месте, удобном для неотложного свидания.

Но вот прошли уже и третья и четвёртая секунды ожидания, а Гаусса все не было на том конце

провода. Наконец в трубке слышался голос, но это не был Гаусс, а всего только его адъютант.

— Господин генерал-полковник Гаусс находится на заседании. К большому сожалению, я не имею возможности соединить ваше превосходительство с генералом...

По тому, сколько времени потребовалось на установление простого факта, что Гаусс «находится на заседании», Шлейхер понял: никакого заседания нет, Гаусс попросту не хочет с ним говорить. И по одному тому, что это было передано ему через адъютанта, который, конечно, знал, что никакого заседания нет, Шлейхеру, несмотря

на все самообладание, захотелось бросить трубку в стену. Но он сдержался и холодно бросал:

— Благодарю...

Словно бы ничего и не случилось. Хотя случилось гораздо больше, чем он мог думать за минуту до этого: теперь он знал, он был уверен: Рем не солгал. Гаусс боялся с ним говорить. Значит, Гаусс действительно...

Шлейхер вызвал кабинет Александера. Он знал, что в эти часы Александер должен быть на службе, но ему и тут ответили, что полковника нет. Он позвонил Александеру на дачу, тут же в Нойбабельсберге, но и там

полковника не оказалось.

«Глупая случайность» старался уверить себя Шлейхер. Но теперь инстинкт подсказывал ему, что это вовсе не случайность, а первые признаки той страшной пустоты, которая образуется вокруг человека, когда он выпадает из игры. Спокойствие покидало его. Он наспех предупредил Бредова, что сейчас будет у него, и отправился в Берлин.

Разговор с Бредовым не принёс утешения: признаки того, о чём говорил Рем, были налицо, — тревожные признаки приближения развязки, которая в исполнении Гитлера могла оказаться ужасной.

Шлейхер очутился в тенётах тех самых интриг, которые он с таким искусством и до сих пор не изменявшим ему успехом плёл в течение пятнадцати лет. Но он ещё не мог и не хотел поверить тому, что дело непоправимо. Он говорил Бредову:

— Настало время показать ему когти.

Бредов молчал.

Шлейхер терял спокойствие:

— Мы должны дать ему понять, что нанесение мне какого бы то ни было вреда будет означать опубликование самых компрометирующих обстоятельств жизни этого животного, — в

раздражении говорил он.

Бредов отвечал тем же молчанием. Он только с беспокойством поглядывал по сторонам, словно опасаясь, что стены могут слышать этот разговор.

Его молчание вывело Шлейхера из себя:

— Дайте мне бумаги, я сам составлю публикацию, которая, в случае...

На этот раз Бредов не дал ему договорить.

— Бумаг... у меня нет.

Шлейхеру казалось, что он ослышался. У него едва хватило голоса, чтобы переспросить:

— Нет бумаг?!

Словно это выходило за грань мыслимого.

Бредов ответил было молчаливым кивком головы, но, видя выражение лица генерала, которому вот-вот сделается дурно, поспешил добавить:

— Я отправил их за границу.

— Сейчас... сейчас?

— Именно сейчас.

— Когда от них зависит все, зависит, может быть, моя жизнь?..

— Их нельзя было дольше держать здесь. Моя жена полетела в Швейцарию, чтобы положить их там на хранение.

Шлейхер уронил голову на руки. Едва слышно он бормотал:

— Вы сошли с ума, вы просто сошли с ума...

— Мы примем меры, чтобы получить копии, — сказал Бредов, но так неуверенно, будто и сам не верил в возможность того, что говорил.

— Вы сошли с ума! — повторил Шлейхер. — Когда улетела госпожа фон Бредов?

— Вчера.

— Куда?

Бредов снова опасливо огляделся и ответил неопределённо:

— В Швейцарию...

— Ах, боже мой, — воскликнул Шлейхер. — Они же всё равно знают, куда она улетела. Они же давали ей заграничный паспорт.

— Паспорт взят... совсем не туда, где будут храниться бумаги, — ответил Бредов.

— А вы не думаете, что за ней могут следить и там, везде...

— Конечно, — Бредов пожал плечами. Как контрразведчик он понимал, что уберечься от слежки гитлеровской службы было трудно. — Но я надеюсь, что следит за нами не кто иной, как Александер.

— Как бы не так... Они давно знают наши отношения с Александером. Конечно, за вами, а значит, теперь и за вашей женой следит Гиммлер. И то, что он будет знать местонахождение документов, — просто ужасно, —

тоном отчаяния проговорил Шлейхер.

Он поднялся с кресла и стал в волнении ходить по комнате. На своём пути он притрагивался то к одной, то к другой вещи, брал со стола первые попавшиеся предметы и тут же рассеянно ставил их на своё место.

Бредов исподлобья следил за этой нервной прогулкой.

— Место хранения бумаг останется нашей тайной, — уверенно проговорил он. — А что касается копий, то...

— Ну же?..

— Я должен сам вылететь в Швейцарию, чтобы их получить.

Шлейхеру пришло в голову, что если Бредов улетит, он останется тут совершенно один, без всякой к тому же гарантии, что Бредов вернётся. Ведь если дела оборачиваются так, как сам он только что говорил, самым разумным со стороны Бредова будет остаться в Швейцарии. Бумаги — капитал, с которым он просуществует. А здесь — нуля в затылок?.. Нет, Бредов должен остаться. Он единственный надёжный заложник за целостность бумаг.

— Вы не должны лететь в Швейцарию, — поспешно проговорил он. — По вашему следу они уже наверняка доберутся до

бумаг. Надо послать кого-нибудь другого.

Бредов достаточно хорошо знал Шлейхера, чтобы угадать возникшие у него опасения. Но на этот раз он ничем не мог его успокоить: послать следом за женой кого бы то ни было — значило открыть тайну, которой никто не должен был знать.

Разгорелся спор. В конце концов, Шлейхеру ничего не оставалось, как согласиться, потому что единственный человек, за которого он мог поручиться в этом деле, кроме Бредова, был он сам. Но не мог же он ни с того ни с сего лететь в Швейцарию. Обратиться в такие дни за паспортом — значило

обнаружить свой страх перед Гитлером, то-есть выдать себя с головой... Но, боже правый, как хорошо было бы сейчас оказаться за пределами этой проклятой страны!..

— Хорошо, пусть будет так: вы летите. Но сделать это нужно немедленно, сегодня, тотчас же... — И вдруг лицо его просветлело, как от неожиданно пришедшей радостной мысли: — Я устрою вам это... — воскликнул он, — да, да я устрою все так, что они не будут знать, куда вы полетели...

Он тут же соединился по телефону с Нейратом, но по его недоуменно-взволнованным репликам, по тому, как ему пришлось

убеждать министра иностранных дел в неотложности служебной поездки Бредова в Швейцарию, полковник понял, что из этого ничего не может выйти. Пока шёл этот бесполезный и, как казалось Бредову, ошибочный, — так как он обнаруживал ещё одному человеку их намерения, — разговор, он сам мучительно размышлял над тем, как действительно поскорее выбраться из Германии. Непривычная нервозность Шлейхера передалась и ему. Ему самому уже начинало казаться, что земля под ним горит, что нельзя терять ни часа — нужно немедленно показать Гитлеру камень, который они для него

припасли.

К тому времени, когда Шлейхер в раздражении бросил телефонную трубку на рычаг аппарата, у Бредова было готово решение: копии документов должны быть как можно скорее доставлены Гитлеру. Ему самому прямо в руки, без посредников! Чтобы он оценил по достоинству не только их угрожающий смысл, но и действительную готовность Бредова не передоверять тайн фюрера никому на свете. Шлейхер?.. Ну, в конце концов это уж дело генерала, как он сумеет выбраться из передряги. На то он и «генерал от политики»! Сейчас Бредов должен думать о себе самом.

Он с решительным видом поднялся и сказал:

— Я все беру на себя... Сегодня я буду в Швейцарии.

— Как? — вырвалось у Шлейхера.

— Это...

Предупреждая обидный отказ, Шлейхер тут же поправился:

— Да, да, конечно, не говорите ничего... Важно, чтобы вы сами были уверены в безошибочности... И да благословит вас бог.

Он протянул полковнику руку.

Бредов, не теряя ни часа, приказал подготовить военный самолёт для служебного полёта в Мюнхен. Через три часа он уже

сидел в приёмной папского нунция в Мюнхене кардинала Эудженио Пачелли. Именно с помощью этого представителя святого престола была у него ранее организована отправка бумаг в луганский банк, носивший несколько странное название — «Институт религиозного дела». Это был банк, принадлежащий Ватикану. Бредов избрал его, так как полагал, что при любых политических ситуациях, при любых потрясениях, какие могли произойти в Германии, папский Рим останется противником Гитлера. Фюрер успел зарекомендовать себя в качестве грубого нарушителя всех традиций в отношении церкви, как правитель,

попирающий христианство и готовый навсегда изгнать его из пределов Третьего рейха, чтобы заменить его новоявленной религией древнегерманского бога Вотана.

Бредов знал многое, но не знал всего. А в данном случае это «все» заключалось в том, что ссора Гитлера с Ватиканом была игрой. Эту игру оба — Гитлер и папа — вели с большим азартом. Этот азарт многие и принимали за искренность вражды. А действительной целью игры Берлина с Ватиканом вовсе не был разрыв. Напротив того, цель заключалась в союзе. Но каждая сторона хотела заключить этот союз на наиболее выгодных для себя

условиях. Бредов был одним из многих, кто верил лицемерному азарту папы и его иерархов, налево и направо анафемствовавших «нацистских безбожников». Бредов, как и многие другие, считал папский Рим непримиримым врагом Гитлера. Врагом Гитлера считал он и одного из искуснейших дипломатов Ватикана и одного из лицемернейших кардиналов — папского нунция в Мюнхене Эудженио Пачелли.

Бредов и Пачелли давно знали друг друга. Кардинал не имел ничего против того, чтобы услужить офицеру, который достаточно много сделал в своё время на глазах

кардинала для подавления светской власти в Баварии и для утверждения там влияния католиков. Для Пачелли ещё не наступило время, когда следовало открыто предпочесть интересы Гитлера интересам любого другого немца. Пока ещё и Пачелли самому казалось полезным припугнуть бывшего мюнхенского сыщика. Особенно, если это можно сделать чужими руками, не вмешивая в эти грязные дела римскую церковь. Как многие люди, являющиеся обладателями множества чужих тайн и привыкшие поэтому считать себя на голову выше других, Бредов никогда не задумывался над тем, что какая-либо из его личных тайн,

которую он хотел сохранить, может стать достоянием другого. Эта ошибка бывает свойственна многим работникам разведки. Если они работают внутри своей страны, то такая наивность ведёт обычно к утрате служебной тайны и проистекающих из неё преимуществ перед объектом этой тайны. Если разведчик работает в чужой стране, утрата чувства реальности может стоить ему даже головы.

На этот раз Бредов, старый и опытный контрразведчик, и совершил именно эту обычную ошибку, означающую в его профессии начало конца: не дал себе труда тщательно проанализировать

все детали дела, каждый свой шаг и каждое побуждение своего контрагента. Поэтому он и позволил себе вообразить, будто этот контрагент, кардинал Пачелли, пряча его, Бредова, архив, оказывает простую дружескую услугу союзнику. Он даже не спросил себя, может ли кардинал знать содержание документов, которые согласился спрятать в папском банке?

Бредов изложил своё дело кардиналу, исходя из того, что тому ничего неизвестно.

Пачелли тотчас согласился ему помочь. Он соединился по телефону с дирекцией «Института религиозного дела» в Лугано и узнал,

что портфель с документами сегодня депонирован в сейф этого банка особой, прибывшей из-за границы.

— Не знаете ли, — спросил кардинал по телефону, — эта особа уже покинула Лугано?

— Нет, ваша эминенция, — был ответ, — она ещё не завершила необходимых формальностей.

— Эта особа оставила вам свой адрес в Лугано?

— Конечно.

— Вы можете её тотчас отыскать?

— Конечно.

— Сделайте это и соедините меня с нею по телефону как можно скорее.

Меньше чем через час фрау Бредов услышала в трубке голос своего мужа. Она узнала, что ей следует немедленно снять копии с документов, переданных в банк, и привезти эти копии в Германию.

Словно не веря тому, что слышит, она ещё и ещё раз просила полковника повторить распоряжение. Напоследок спросила:

— Это, правда, ты?..

Словно перестала верить своим ушам.

То, что каждое слово этого телефонного разговора записано на ленту и сегодня же будет известно гестапо, не беспокоило Бредова.

Бумаги были вне сферы деятельности Гиммлера и Александера, а то, что Гитлер будет знать об их существовании и даже о том, что они в руках Бредова, не могло помешать плану Бредова. Скорее даже могло ему помочь.

Через два дня госпожа Бредова вышла из самолёта на аэродроме Темпельхоф и тотчас отправилась домой, крепко сжимая в руке ридикюль из плотной кожи. Только войдя в кабинет мужа она решилась разжать затёкшие пальцы и, выпустить ридикюль. Полковник тотчас же, не раскрывая ридикюля, запер его в письменный стол и сообщил Шлейхеру по телефону о

возвращении жены.

План действий был у него готов: копии документов Гитлера должны быть доставлены фюреру сегодня же ночью. Для этого Шлейхеру следует попросить аудиенции. Он надеялся, что фюрер не откажет, если полковник выставит достаточно вескую причину необходимости свидания; может быть, даже придётся осторожно намекнуть на суть дела.

Было двадцать восьмое июня, и секретариат Гитлера ответил, что фюрер не может соединиться с полковником, так как отбыл из Берлина. Проверив ответ, Бредов через полчаса узнал, что Гитлер

действительно улетел на Рейн. Предполагалось, что он вернётся к тридцатому, тогда Шлейхер, вероятно, и сможет его увидеть.

Бредов растерянно смотрел на вынутый из стола ридикюль. Было похоже на то, что следовало, не теряя ни минуты, лететь за Гитлером: слухи о том, что предстояло тридцатого июня, уже проникли в разведку. Да, самое правильное — отвезти копии на Рейн.

Бредов достал из кармана ключик и отпер ридикюль. Лежавшая в нём плотная папка была перевязана крест-накрест бечёвкой. Бредов распустил узлы и раскрыл папку. Перед ним лежала пачка старых

берлинских газет. Таких старых, что углы их даже пожелтели. Бредов в бессилии опустился в кресло и закрыл лицо руками.

Операцию по добыванию «досье Гитлера» нельзя было назвать просто тонкой. Она требовала не только искусства, но и высокой деликатности. Геринг долго колебался в выборе её исполнителя. Тут было много обстоятельств, мешавших передать поручение агентуре гестапо. Первым из них было то, что сам Гиммлер охотился за этой вожаделенной папкой. Удайся похищение кому-либо из его людей — папка минует руки Геринга. А он готов был отдать многое за то, чтобы

обладать этим средством нажима на своего «дорогого фюрера». С другой же стороны, человек, которому Геринг поручил бы похищение документов у выехавшей в Швейцарию госпожи фон Бредов, никоим образом не мог не принадлежать к аппарату гестапо. Появление такой фигуры на горизонте было бы обнаружено наблюдением Гиммлера, и эта фигура была бы без промедления убрана с горизонта, будь то в Германии или за границей.

Задача начала было казаться Герингу невыполнимой, когда на память ему пришло имя Кроне...

Милый, умный Кроне!..

Геринг радостно хлопнул себя по лбу: кто же, как не Кроне, преданный ему душой и телом, должен выполнить это поручение?!. У Геринга ни на минуту не рождалось сомнения в том, что Кроне готов предать интересы Гиммлера в его, Геринга, пользу.

Кроне вылетел в Швейцарию и вернулся оттуда следом за женой Бредова.

В день, когда Бредов убедился в том, что перед ним лежит искусно сделанный дубликат ридикюля его жены, жирная рука Геринга плотоядно поглаживала сафьян настоящего ридикюля. Он с торжеством вложил ключик в замок

и осторожно, словно это был хрупкий древний папирус, вынул сложенную вдвое и обвязанную крепким шнуром папку — такую знакомую жёлтую папку «личного дела». Да, да, именно так: «Личное дело ефрейтора Адольфа Гитлера (Шикльгрубера)».

Толстые пальцы министра долго и неловко распутывали узел шнура. Так и не справившись с этим делом, Геринг разрезал его и нетерпеливо развернул папку. Перед ним лежали пожелтевшие от времени газетные листы, тщательно вшитые в папку.

Геринг откинулся в кресле. Кровь бросилась в голову. Багровая завеса закрыла от него мир, и удары

крови в висках застучали тяжкими молотами. Он судорожно, с хрипом, вцепился в край стола. Ему казалось, что это — конец...

Но вот кровь начала отливать от головы. Геринг снова обрёл возможность видеть и соображать. Первое, что вошло в поле его зрения, — ридикюль из сафьяна и жёлтая папка. Одним движением руки Геринг сбросил все это на пол. Неуверенно поднялся и с остервенением отшвырнул папку ногой ещё дальше. Рыча, как раненое животное, побрёл к двери, с трудом передвигая невыносимо тяжелевшие ноги. Это было длинное путешествие: итти приходилось

вокруг всей огромной комнаты, чтобы иметь возможность держаться за стену.

На полпути в сознание проникло резкое жужжание. Ещё в ещё. Геринг несколько раз удивлённо моргнул и оглянулся на столик с телефонами. Да, это был его личный, самый секретный телефон. Геринг с трудом вернулся к столу и взял трубку. Сразу узнал голос Кроне:

— Экселенц, это ужасно: нас провели!

— Сопляк! — прохрипел Геринг и, выпустив трубку, всем телом упал прямо на загромождавшие стол телефонные аппараты.

На том конце провода Кроне

осторожно опустил трубку на рычаг. Его тонкие губы едва заметно раздвинулись в усмешке. Ему нравился результат операции: документы были слишком интересны, чтобы передавать их Герингу. Толстяк очень обманывается, воображая, будто Кроне предаёт интересы своего непосредственного начальника Гимmlера во имя необыкновенной любви к туше имперского министра, ради жалких «милостей», которые может излить на него «наци No 2»! У Кроне есть свои хозяева. Им он служит, и их милости его интересуют. Милости в долларах, регулярно поступающих на текущий

счёт в «Нэйцшл сити бэнк», а не подачки от случая к случаю в жалких гитлеровских марках. Не может же он сказать Герингу, что его интересуют доллары Ванденгейма!

Избегая свидания с Герингом, Кроне потратил следующий день на то, чтобы изготовить микроплёнку с бумаг личного дела Гитлера. Микроплёнка была тщательно упакована в крошечный патрон и, одному Кроне известными путями, очутилась на письменном столе Фостера Долласа. Для Джона Ванденгейма такое «сырьё», как плёнка, не представляло интереса, как, впрочем, и самая папка могла бы его заинтересовать лишь тогда, когда

в ней появится надобность при каких-нибудь переговорах с немцами. Тем не менее Доллас считал необходимым увеличенную с плёнки копию гитлеровского досье представить хозяину. Изготовление такой копии и было им поручено лучшему эксперту. Но каково было недоумение Долласа, когда этот эксперт решительно заявил ему:

— Фальшивка!

— Что?!

— Я говорю: это не подлинник, а всего лишь хорошо изготовленная подделка «личного дела Гитлера».

— С чего вы взяли?! — грубо крикнул Доллас.

— Если вы мне не верите,

можете проверить это в самых авторитетных учреждениях, — невозмутимо ответил эксперт.

— Не говорите глупостей! — не унимался Доллас. — За этот документ заплачены огромные деньги.

— Это не довод... По миру ходило пять «подлинных» Джоконд, ни к одной из которых никогда не прикасалась кисть Леонардо. За каждый из этих «подлинников» был» уплачены сказочные суммы. От этого ни один из них не стал подлинней.

— Негодяй!

— Простите...

— Ах, перестаньте! Это относится не к вам. Я зарюю живьём

в землю того, кто прислал эту гадость.

Эксперт покачал головой.

— Не делайте скороспелых выводов об этом человеке, — сказал он. — Он сам мог добросовестно заблуждаться насчёт подлинности досье.

— Каждый обязан был знать, что покупает.

— Распознать фальшь этого документа может только настоящий специалист. Подделка выполнена довольно тонко.

— Тонко, тонко! — передразнил его Доллас и отёр об штаны вспотевшие ладони. — Эта «тонкость» будет теперь висеть на

моем счёту... Кто оплатит мне её стоимость?

— Я не утверждаю, что тут фальсифицировано содержание документа. Скорее всего, оно идентично оригиналу и может принести вам пользу, при условии, что подлинник не находится в руках самого Гитлера.

— Он так же стремится получить его, как мы.

— Тогда вам не о чём печалиться. Мы можем попытаться изготовить по этой копии экземпляр, которого он и сам не отличит от подлинника.

— Ну да, — иронически воскликнул Доллас. — Теперь плати

вам, а потом какой-нибудь эксперт там, у Гитлера, заявит, что ваша копия — всего только грубая фальшивка.

— Этого не случится, — авторитетно заявил эксперт. — Я ручаюсь за всё, что выходит из моей лаборатории.

Доллас смахнул ладонью росу пота, выступившую на его голом черепе, и снова отёр руку о штаны, несколько не стесняясь брезгливо поморщившегося эксперта.

— Нет, — сказал он решительно, — мы должны иметь подлинник. Только подлинник... И мы его добудем.

— Желаю успеха, —

иронически проговорил эксперт.

Если бы стоило верить в сверхъестественные силы, то, может быть, можно было бы поверить и тому, что при помощи неких флюидов мысли американского эксперта были рождены тем, что действительно происходило за много тысяч километров от Нью-Йорка, в тихом рабочем кабинете папского нунция в Мюнхене кардинала Эудженио Пачелли.

Скромный монах-иезуит, не глядя в глаза кардиналу, с «видом не заносчивым, но и не слишком униженным», как того требовал устав ордена, ровным голосом докладывал о том, что поручение нунция

выполнено луганским банком
«Институт религиозного дела»:

— ...Подлинник личного дела
этого человека, — говорил монах, не
называя имён, — изъят у владелицы
и представлен вашей эминенции.
Копия с дела — в руках того, кто
стремился захватить документы для
доставки некоей высокой особе в
Германию...

Пачелли понял, что речь идёт об
агенте Геринга, преследовавшем
фрау Бредов.

— Надеюсь, — сказал он, —
копия достаточно хороша.

— Мы в этом уверены,
монсиньор.

— А что получила владелица?

— Пачку старых газет, монсиньор.

При этих словах едва заметная улыбка промелькнула на лице кардинала. Черты иезуита оставались непроницаемо спокойными.

— Значит ни владелица, ни те, кто за нею стоит, не смогут использовать даже копию в целях шантажа государственного деятеля, чьё имя они желали замарать?

— Если только им не удастся сделать это при помощи старых номеров «Брачной газеты».

На этот раз Пачелли не счёл нужным скрывать улыбки:

— Недурной «брак» предстоит

её обладателям.

Полузакрыв глаза, он представил себе фигуру Шлейхера, для которого, он знал, работал Бредов. Он вовсе не был уверен в том, что для Шлейхера подобный подарок не равносителен смертному приговору...

— Благодарю вас, брат мой, — мягко проговорил нунций, — господь да благословит вас за ваше усердие. Я в самых лестных выражениях донесу его святейшеству о вашей прекрасной работе и не сомневаюсь: святой отец не оставит вас своим апостольским вниманием...

Монах склонил голову под благословением кардинала.

После его ухода Пачелли снова

раскрыл доставленный ему из Лугано портфель с «делом Гитлера», ещё раз просмотрел компрометирующие документы. От удовольствия он даже потёр руки: с этих документов будут изготовлены копии. Они будут неотличимы от подлинников. Через папского нунция в Вене кардинала Иницера Пачелли препроводит копии австрийскому канцлеру Дольфусу, который обещал пополнить «дело» только ему одному известными, ещё более пикантными подробностями из биографии фюрера. В полном виде это досье представит собою документ разительной силы. Оставаясь в руках Пачелли, подлинники будут служить могучим

оружием в делах, которые ему предстоит иметь с Гитлером.

Он ещё раз нежно свёл над папкой концы пальцев — тонких и длинных, с тщательно отточенными ногтями, словно призывая благословение всевышнего на ценные документы.

Через день, отдавая секретный приказ об изготовлении копий для Дольфуса, Пачелли и не подозревал, что это будет то, что на языке канцеляристов называется «копия с копии». Он не знал, что подлинное досье вовсе не было в его руках — оно уже лежало в сейфе «чёрного папы» — генерала ордена иезуитов кардинала Ледоховского.

Копии были изготовлены и препровождены кардиналу Иницеру для Дольфуса.

Все складывалось прекрасно. Рем разрешил Отто отпуск. Даже выдал некоторую сумму на лечение, посоветовав запивать всякое лекарство коньяком. С этим толстяком можно иметь дело!

Сияющий, стряхнув с себя, все тревоги, Отто пришёл в «Альпийский цветок». Весело насвистывая, он наблюдал за тем, как проворные руки Сюзанн укладывали чемоданы. Жизнь наладится! Нужно только удрать отсюда. Какой-нибудь тихий пансион приютит его на две недели отпуска. Он не оставят здесь своего адреса.

Через час наёмный автомобиль катился по прибрежной дороге на север. До поезда оставалось ещё довольно много времени. Отто решил позавтракать в Кальтенбрунне. Он не был большим поклонником природы, но открывшаяся с веранды кафе панорама очаровала даже его. Он молча курил, не обращая внимания на болтовню Сюзанн, когда к столику подошла кельнерша.

— Вас просят к телефону.

— Вы ошиблись, фройлейн!

Меня никто не может вызывать, — сказал Отто.

— Простите, я думала, вы капитан фон Шверер!

— Нет, я не тот, за кого вы меня

приняли!

Будь что будет, он не подойдёт к телефону и не вернётся в Висзее!

Здесь, вдали от Рема, было беззаботно, спокойно. Отто не спешил. Наконец он расплатился. Но в тот момент, когда он уже собирался надеть фуражку, около кафе, скрипнув тормозами, остановился автомобиль. Из-за руля выскочил худощавый человек и взбежал по ступеням. Отто едва не выронил фуражку: перед ним стоял Кроне.

— Проводите девчонку и немедленно возвращайтесь в Висзее!

— Но... я получил отпуск.

— Вы получите отпуск тогда, когда я прикажу вам его взять. Через

два часа я буду звонить вам в «Альпийский цветок».

С этими словами Кроне уселся за столик.

В Висзее Хайнес встретил Отто таким взглядом, что тот почувствовал холодок, пробежавший по спине. Можно было подумать, что Хайнес знает истинную причину его возвращения и только делает вид, будто верит наскоро придуманному рассказу.

Весь следующий день прошёл в непрерывных совещаниях Рема с приезжавшими и вновь уезжавшими предводителями штурмовиков. Вечером 28 июня Отто снова пришлось сопровождать Рема в

Мюнхен. На этот раз не было молчаливых шпалер штурмовиков на улицах. Они собрались в казармах.

Окончательный смысл всего происходящего стал Отто ясен после эпизода в казарме личной охраны Рема. Под мрачными сводами старинного зала сидели здоровенные детины, один другого страшней. На этот раз они были в форме. Из-за голенищ сапог торчали стальные прутья. При входе Рема все вскочили. Лес рук поднялся в приветствии:

— Хайль Гитлер!

Рем остановился на пороге, расставив толстые, как бревна, ноги. Его налившиеся кровью глазки сверкали, шея раздулась над

воротником.

Не очень громко, но так, что это дошло до каждого, он хрипло скомандовал:

— Отставить!

Руки штурмовиков опустились. Наступило удивлённое молчание. Рем произнёс почти по складам:

— Вы приветствуете только меня!

Он обошёл штурмовиков, испытующе вглядываясь в их лица. Вернувшись к двери, влез на стул и оглядел собравшихся.

— Ну?

В ответ кто-то крикнул:

— Хайль Рем!

Хриплый рёв сотни глоток

потряс своды зала:

— Хайль Рем! Хайль Рем! Хайль Рем!

Рем с трудом слез со стула, показав штурмовикам туго обтянутый коричневыми штанами зад.

Из этого немногословного собрания Отто понял больше, чем за все предыдущие дни размышлений. Он должен был стиснуть зубы, чтобы не ляскнуть ими от страха на виду у всех:

Рем вернулся в Висзее к утру 29-го. Отто не успел раздеться, как послышался телефонный звонок. Его требовал Кроне, — сейчас же, как можно скорее!

Местом их встречи, как всегда, была маленькая комната укромого домика, прятавшегося в густой рощице на склоне Цвергельберга. Отто ни разу не видел в этом домике ни одной живой души, кроме самого Кроне. Но на этот раз за столом против Кроне сидел человек среднего роста с продолговатым бледным лицом. Он был в плаще с поднятым воротником. Он сидел согнувшись, обхватив ладонями стакан с горячим молоком, которое отпивал медленными, осторожными глотками. Здороваясь с Отто, он не назвал себя. Отто неприятно поразила рука, которую небрежно сунул ему незнакомец, — она

казалась совершенно лишённой костей и не ответила на пожатие. Словно Отто сжал горсть податливых холодноватых червей.

За пенсне почти не было видно глаз незнакомца. Свет падал на стекла так, что Отто видел в них только крошечное отражение лампы. Но он был уверен, что взгляд незнакомца устремлён на него. Отто опустил глаза и стал наблюдать, как на поверхности молока образуется тонкая дрожащая пенка; благодаря яркому боковому освещению он различал мельчайшие, как рисунок муара, складочки на этой пенке, и ему казалось, что самое важное — не потерять из виду, как формируется

трепещущий рисунок.

Незнакомец подул на молоко — пенка сморщилась. Он сделал глоток и вопросительно взглянул на Кроне.

Кроне приказал Отто рассказать о поездке с Ремом в Мюнхен. Отто хотел отделаться коротким пересказом того, что видел, но всякий раз, когда он замолкал, опуская какую-нибудь деталь, незнакомец быстро поднимал на него взгляд, и слова сами слетали с языка Отто.

Когда Отто кончил рассказывать, человек в пенсне допил молоко и встал. Воротник его плаща отогнулся. Отто увидел шитьё чёрного мундира. Такое шитьё мог носить только один

человек во всей Германии. Этим человеком был Гиммлер... Гиммлер прошёлся по комнате. Остановился и молча кивнул Кроне. Тот сказал, обращаясь к Отто:

— Темнота наступает к десяти. В десять вы вызовете Рема к задней калитке сада...

При воспоминании о Хайнесе тошнота поднялась к горлу Отто. Но возразить не было сил.

— Вы должны иметь оружие, — сказал Кроне.

Отто облизал пересохшие губы:

— Оно при мне.

— Покажите!

Отто положил в руку Кроне маленький маузер. Кроне вынул

обойму и осмотрел патроны.

— Нет, — сказал он и достал из кармана другой пистолет. Он показал Отто красные головки разрывных пуль.

Отто нашёл в себе силы сказать:

— Но... это невозможно...

На лице Кроне появилась улыбка, та самая вкрадчивая улыбка, какую Отто запомнил с их первого свидания.

Он покорно взял пистолет.

За окном послышалось шуршание шин по песку. Кроне выглянул и сказал Гиммлеру:

— Ваш авто.

Гиммлер ушёл, не попрощавшись.

Отто так и не услышал его голоса. Автомобиль уехал. Кроне достал из буфета бутылку коньяку, налил большую рюмку и пододвинул Отто.

— Я вас рекомендовал, а вы ведёте себя, как школьник.

Отто медленно выпил коньяк.

— Я не смогу оставаться у штурмовиков, — сказал он.

— Ваша работа не станет обременительней от перемены места. — Кроне поднял рюмку. — За здоровье личного адъютанта генерала фон Гаусса!

— Опять рейхсвер?!

Кроне взглянул на часы.

— Теперь — в постель, —

сказал он. — Можете спать до вечера.

Придя на виллу, Отто узнал, что Рем и Хайнес в саду. Он обошёл всю центральную часть парка. В одной из боковых аллей он издали увидел тощую тень Хайнеса. Отто свернул в кусты и осторожно, по газону, подошёл с другой стороны к скамейке, на которую только что сели Хайнес и Рем. Отто понимал, что если его здесь увидит кто-нибудь из охраны Рема, то его не спасёт даже положение адъютанта.

Отто слышал каждое слово. Рем говорил громко:

— Гитлер сам назначил тридцатое июня. Он сказал: «Я вынесу своё решение там, на встрече

командиров в Висзее».

— Вот сволочь!

— Он будет здесь в моих руках.

— Вся прислуга у

«Хайнцельбауэра» сменена.

— Чорт с нею!

— Люди Гиммлера заполняют
все окрестности.

— Чорт с ними!

— Ты стал непозволительно
самонадеян. Эти сволочи держат
камень за пазухой. А какой — не
могу понять. Геринг распустил всю
свою личную охрану, — задумчиво
произнёс Хайнес.

— Дурак, это были мои лучшие
люди. Я уступил их ему.

— Поэтому он и заменил их

эсесовцами, которых притащил из Франконии. Далюге вызван из Померании. Все это мне не нравится.

— Перестань каркать, — раздражённо проворчал Рем. — Я им ещё покажу, кто я такой!.. Всем! И Адольфу и генералам вместе с господами из Клуба Господ. Додуматься до того, чтобы заставить Союз офицеров исключить меня из списков!.. Меня!

— И после этого они хотят, чтобы штурмовики им в чём-нибудь верили... Когда же приедет Карл?

— Должен быть с минуты на минуту. Он чего-то боялся, говорил о каких-то документах.

— Он прислал их мне. Это

описание поджога рейхстага.

— Ах, это! Он советовался со мною. Я сказал ему: не писать слишком откровенно. Не вставил ли Карл какие-нибудь имена, которые не следует опубликовывать? — обеспокоенно спросил Рем. — Уж нет ли там и нас с тобою?

— Да, он нас называет.

— Дай, дай сюда, — сказал Рем. — Даже если уберут Карла, мир ещё не будет разрушен и нам с тобою нужно будет жить.

— Не думаю, чтобы дело ограничилось Карлом.

— Вечно ты хнычешь. Дай же письмо!

Хайнес неохотно протянул Рему

конверт. Рем вынул лист и попытался что-либо прочесть при свете зажигалки.

— Что за чорт, я ничего не могу разобрать.

— Да, вечером плохо видно. Карл написал это на жёлтой бумаге.

— Что за глупость!

— Это та, неразмокающая. Мы взяли у Александера.

— А! — Рем сложил конверт вдвое и сунул в нагрудный карман. — Прочту дома.

— Только верни, смотри.

Внезапно Хайнес вскочил и вгляделся в кусты:

— Кто там?!

Он раздвинул ветви.

Отто стиснул зубы и задержал дыхание.

— Твои нервы ни к чорту! — сказал Рем.

— Мне стоит труда заставить себя не пристрелить этого твоего Шверера.

— Что ты против него имеешь?

— Он их человек. У Геринга и Гиммлера чересчур много денег, чтобы нам с ними тягаться. Нужно как можно скорее договориться с Рейнландом.

— Они сами придут ко мне договариваться.

— Деньги, деньги, Эрнст. Без них — крышка.

— Они потекут, когда

выяснится, что сила на нашей стороне.

— Не знаю, Эрнст, право не знаю... Мне кажется, это не та последовательность: деньги там, где сила. Не обстоит да дело наоборот: сила там, где деньга?

— Без меня всем им крышка: и Круппу и Тиссену — всем.

— Они договорились с Гитлером у тебя за спиной.

— Дай мне только захватить его самого.

— А если он не придёт?

— Тридцатого утром он будет здесь!

Рем поднялся и, взяв Хайнеса под руку, пошёл к дому.

— Тебе нужно полечить нервы, старина.

...Гитлер должен приехать тридцатого! Знал ли об этом Кроне? Весь район наверняка будет под усиленной охраной. Отто не успеет сделать и шагу после своего выстрела... Холодный озноб охватил его. Связаться с Кроне не было возможности.

Приходилось действовать на собственный страх и риск. А Хайнес, словно предчувствуя что-то, ни на шаг не отходил от Рема.

Вскоре на вилле стали заметны приготовления к приезду важных гостей.

Отто взглянул на часы: без десяти десять:

— Мне нужно вам доложить кое о чём, — набравшись храбрости, сказал он Рему.

— Докладывайте, — ответил тот.

Отто оглянулся: всюду был народ.

— Может быть, выйдем в сад? Мне бы хотелось...

Рем вышел на веранду. Отто ощупал карман, где лежал пистолет Кроне. В тот момент, когда они уже спускались по ступенькам к аллее, сзади слышались тяжёлые шаги.

— Алло! Эрнст, вернись-ка, ты тут нужен!

Это был Хайнес.

Взяв Рема под руку, он

настойчиво повёл его назад, к дому, и, оставив его там, вернулся, жестом пригласив Отто следовать за ним.

Хайнес направился прямо туда, куда Отто собирался отвести Рема. Шагов за десять до калитки Хайнес остановился и резко бросил:

— Вы глупец, Шверер! Эта игра не для вас.

Рука Хайнеса мелькнула в воздухе. Отто быстрым движением уклонился от наведённого на него пистолета и послал в голову Хайнеса разрывную пулю. В то же мгновение Отто увидел почти рядом с собою Кроне.

— Кто это?

— Хайнес, — пробормотал

Отто.

— О, идиот!

Быстро обшаривая карманы убитого, Кроне не слышал, как в боковой аллее раздались быстрые шаги. Отто сразу узнал тяжёлую походку Рема. Та же уверенность, что внезапно овладела Отто, когда он увидел направленный на себя пистолет Хайнеса, руководила им теперь. Он нагнулся к обронённому Хайнесом пистолету. Прежде чем Кроне успел поднять голову, Отто выстрелил ему в спину.

— Что это! — задыхаясь, крикнул Рем.

— Вот... он стрелял в Хайнеса!

Хриплый вопль вырвался из

груди Рема:

— Эдмунд?!

— Эдмунд... — бормотал Рем. — Сволочи!.. Вот с кого они начали... — Он тяжело поднялся, ткнул ногой тело Кроне. — Нужно было взять его живым!

— Я думал, что успею спасти Хайнеса.

Несколько человек бежали со стороны дома. Первым подбежал Карл Эрнст. Мельком взглянув на трупы, он крикнул:

— Скорей! Мы должны уехать сейчас же...

Рем неуклюже побежал по аллее. Отто остался в тени деревьев.

Прочь отсюда! Как можно

скорее и как можно дальше... Отто рванул железную калитку и в тот же момент получил сильный удар по голове.

Он не помнил, как его подхватили и бросили в автомобиль. Несколько охранников прыгнули в машину, и она исчезла в темноте.

Автомобиль, увозивший Отто, был уже далеко, когда Кроне зашевелился и, отталкиваясь от земли локтями, пополз к калитке.

В голове гудело так, словно тут, совсем рядом, работал авиационный мотор. Отто осторожно разомкнул веки и увидел, что лежит в самолёте, на полу между креслами. В креслах сидят люди. Их сапоги у самого его

лица.

Над Отто раздался насмешливый возглас:

— Эй, ребята, он пришёл в себя!

— Врач велел сделать ему укол, — произнёс другой голос.

Отто сделал попытку привстать, но сапог эсесовца прижал его к полу.

— Ну, ну, спокойно! Эсесовец нагнулся со шприцем в руке.

— Я сам, — пробормотал Отто.

— Валяй!

Но второй эсесовец перехватил шприц.

Отто поспешно засучил рукав. Эсесовец с размаху вонзил иглу. Отто застонал и принялся растирать вздувшийся на руке желвак.

Спрашивать, куда и зачем его везут, было бы бесполезно. Но странно — страх проходил. Да, Отто отчётливо сознавал, что страха больше нет. Так вот зачем ему сделали укол! Чтобы он не потерял голову от страха.

Отто не заметил, как уснул. Он проснулся от толчка при посадке самолёта.

Переступая порог кабины, Отто в отсвете сигнальных огней увидел знакомые контуры аэровокзала Темпельгоф, иглу пилона над командной вышкой. Он в Берлине.

Через минуту он сидел в просторном автомобиле рядом с офицером. В потёмках Отто не мог

разглядеть его форму. Тускло отсвечивало серебро погонов. Но именно эта деталь и успокоила Отто: не гестаовец!

Офицер предложил Отто папиросу, но ни на один его вопрос не ответил.

Наконец автомобиль остановился. Офицер вышел и жестом пригласил Отто следовать за ним. Тот успел только заметить, что они входят в большой особняк. В просторном вестибюле лакей принял их фуражки. Он не задал спутнику Отто никакого вопроса, из чего Отто заключил, что офицер здесь свой человек.

Кабина лифта бесшумно

взлетела на второй этаж. Они очутились в нарядной приёмной с большим столом, заваленным альбомами.

Офицер указал Отто на кресло и скрылся за массивной дверью. Отто искоса взглянул на серебряную табличку на переплёте одного из альбомов. Первые слова были: «Герману, Герингу...»

Он у Геринга!

Дверь, за которой скрылся офицер, бесшумно распахнулась, и в ней показались двое в чёрных мундирах гестапо. Они прошли через приёмную, не взглянув на Отто. Ещё несколько минут томительной тишины. Новые гестаповцы, — опять

двое, — появились в приёмной и уселись в креслах по другую сторону стола. У одного из них на левой щеке был шрам в виде двух полумесяцев, сходящихся концами. Отто определил след укуса человека. На воротнике этого эсесовца Отто разглядел шитьё бригаденфюрера. У его соседа были петлицы группенфюрера. Важные птицы!

В дверях кабинета показался адъютант:

— Господин Далюге!

Группенфюрер поднялся и пошёл в кабинет. Отто ждал, что дверь, как и прежде, бесшумно затворится, но адъютант пригласил и бригаденфюрера со шрамом. И снова

дверь не затворилась. Адъютант обернулся к Отто:

— Прошу.

Мысли вихрем неслись в голове Отто. Нет, повидимому, речь идёт не о простом допросе! Предстоит что-то совсем иное.

Всем существом своим ощущая непонятную бодрость. Отто прошёл в дверь.

Перед ним была огромная комната, затянутая по стенам темнотой парчой. В многочисленных бра на стенах вместо электрических лампочек театрально мерцали восковые свечи. Но то, что Отто увидел в следующий момент, поразило его больше

золотых обоев и больше свечей. Прямо напротив входа на пространстве стены, свободном от картин и бра, висел огромный старинный меч палача. Ржавчина на тусклой стали казалась пятнами запёкшейся крови. Этот меч висел здесь как символ взятой на себя Герингом миссии начальника прусской тайной полиции, министра внутренних дел и правой руки фюрера, Геринга, бросившего когда-то крылатое словцо о том, что с его приходом к власти покатятся головы.

В ту же минуту Отто увидел и самого Геринга. Он сидел за непомерно большим, как и все в этом кабинете, письменным столом,

между двумя высокими канделябрами, в которых так же, как на стенах, горели свечи.

От многочисленных свечей в комнате с плотно задёрнутыми шторами было душно. Геринг сидел в распахнутом мундире. Под расстёгнутой сорочкой виднелась жирная, розовая, лишённая растительности, как у женщины, грудь.

Отто подошёл к столу. Каблуки его стукнули друг о друга, руки легли по швам.

— Майор Шверер? Ваша служба у штаб-шефа Рема окончена?

— Так точно, экселенц!

Геринг быстро переглянулся с

Далюге и спросил Отто:

— Почему?

Колебание Отто длилось не более десятой доли секунды, он решил ставить ва-банк.

— Мертвецам адъютанты не нужны, экселенц!

— Почему вы думаете, что он...

— Не договорив, Геринг уставился на Отто.

— Даже если это и не так, то у врага фюрера и вашего я служить не буду, экселенц!

Подумав, Геринг сказал:

— Послезавтра вы явитесь к генерал-полковнику Гауссу. Ему нужен адъютант, которому он мог бы доверять. Нам тоже нужен именно

такой человек, от которого у него не было бы секретов. Вас он знает с детства. Он должен вас полюбить... Вы все поняли?

— Так точно, экселенц!

Прежде всего Отто понял, что дёшево отделался. Повидимому, хвалёное всезнайство гестапо на этот раз оказалось не на высоте: эти господа не подозревают, кто убил Кроне...

Да, черт возьми, он, Отто, начинает приобретать настоящую цену не только в собственных глазах! Пешек в этот кабинет, наверное, не приглашают. Послезавтра он адъютант Гаусса? Ну что же...

— Это послезавтра, — словно

прочитав его мысли, сказал Геринг. — А сейчас вы мне ещё понадобится в качестве адъютанта штаб-шефа. Вот, — толстым пальцем он ткнул в сторону бригаденфюрера со шрамом на щеке, — вы поступаете в распоряжение этого господина. Если он доложит мне, что вы оказались на высоте, можете на меня рассчитывать. Если нет, — звание адъютанта Рема остаётся за вами навеки. Ясно?

Геринг, не поднимаясь из-за стола, небрежно приподнял руку.

Следом за Отто вышел и бригаденфюрер со шрамом.

Они сели в автомобиль. На этот раз шторы в нём не были опущены, и

Отто мог видеть, что делается на улицах.

По дороге гестаповец спросил:

— Вы знаете Шлейхера?

— О, да!

— Вам приходилось бывать у него с Ремом?

— Да.

— Так что, он вас знает в лицо?

— Да.

— Очень хорошо... Нужно добиться свидания с ним.

— Можно предупредить его по телефону.

— Наш визит должен быть неожиданным.

Бригаденфюрер крикнул шофёру:

— Остановитесь у моей
квартиры!

Он вернулся через несколько минут, и Отто увидел на нём вместо формы гестапо мундир рейхсвера. Бригаденфюрер назвал шофёру знакомый Отто адрес Шлейхера в Нойбабельсберге.

Отто окинул взглядом свой измятый мундир с полуоторванным рукавом.

— В таком виде невозможно явиться к генералу, — сказал он.

— Что же вы молчали? — с досадой воскликнул бригаденфюрер. — У меня можно было переодеться!

Отто назвал шофёру адрес

Сюзанн. У неё в шкафу всегда висело несколько его штатских и военных костюмов.

Несмотря на то, что время близилось к рассвету, в окнах берлинского бюро английской газеты «Ежедневный курьер» ещё горел свет.

В одной из комнат, уронив голову на руки, за конторкой спал секретарь бюро.

В другой комнате, кабинете Роу, стучала машинка. Роу работал, не обращая внимания на Паркера. Американец сидел неподвижно, откинувшись на спинку кресла и сложив кисти больших, таких же красных, как его лицо, рук на набалдашнике трости. Глаза его были полузакрыты, к губе прилип окурок

потухшей сигареты. Трудно было понять, спит он или с невозмутимым спокойствием ждёт, пока Роу обратит на него внимание. Тут он фигурировал уже в качестве пишущего инженера, «почти журналиста» Чарльза Друммонда.

Роу сидел за машинкой без пиджака, с развязанным галстуком. Он торопливо достукивал корреспонденцию, которую предстояло передать по телефону в Лондон. Прошли блаженные времена Веймарской республики, когда передача любого известия в любой пункт мира была только делом расторопности журналиста. Теперь немецкий цензор хотел знать не

только то, что было изображено на бумаге буквами, но и то, что можно было «подразумевать» под текстом любой телеграммы. Приходилось ломать себе голову, чтобы шифр каждой передачи в Лондоне имел вид невинной корреспондентской телеграммы. А события назревали такие, что каждая минута была на счёту. Только что пришло зашифрованное сообщение о том, что в рейнском замке Шрейбера закончилось секретное совещание рурских промышленников с Гитлером. Результаты совещания, вероятно, никогда не станут предметом гласности, но и то, что Роу знал, требовало немедленной

передачи в Лондон. Тут уже нельзя было воспользоваться обычным путём пересылки секретной корреспонденции через парижскую редакцию «Салона». События развивались молниеносно. Необходимо было действовать, не задерживаясь ни на секунду.

По сведениям, которыми располагал Роу, самолёт Гитлера прямо из Кёльна должен был лететь в Мюнхен. Туда он мог прибыть только под утро 30-го. А на тридцатое назначена «большая чистка». Роу нужно было спешить.

Машинка стучала.

Роу выдернул листок из-под валика.

— Хэлло, Джонни, живо в цензуру — и на телеграф! Спешная в Лондон. Дело в минутах.

Спавший в соседней комнате секретарь вскочил, выхватил из рук Роу листок и умчался. Роу подошёл к рефрижератору, достал сифон. Какое душное лето! Не бесятся ли наци от жары?

Роу жадно сглотнул слюну, глядя, как струя из сифона с шумом наполняла стакан. Но в стакане было ещё меньше половины, когда пришлось оставить сифон и взяться за трубку зазвонившего телефона.

— А, малютка! Что это вам не спится? — начал было шутливо Роу, узнав голос Сюзанн. В душе он

выругал её: ведь сказано же этой дуре раз и навсегда — не звонить в бюро!

Но то, что он услышал, заставило его забыть все.

— Я говорю из уличного автомата, — быстро говорила Сюзанн. — В Висзее прилетел Гиммлер. Убит Хайнес...

— Ага!

— Не перебивайте! Я тороплюсь: сегодня ночью ожидается прибытие туда Гитлера. Двое поехали к Шлейхеру...

— Когда?

— Сейчас.

— Кто?

Ответа не было. Сюзанн

повесила трубку.

Кто и зачем поехал к Шлейхеру? Какую связь это могло иметь с происходящим в Висзее?

Роу хлопнул себя по лбу: они поехали убивать Шлейхера! Коричневые или чёрные? Не все ли равно! Пришёл час и генерала-политика. Что нужно делать? Сообщить властям, звонить в полицию? Должен ли Шлейхер быть убит?.. Ах, черт возьми! Если бы можно было позвонить в Лондон!..

Однако нужно было принимать решение самому. Что может быть самым важным при создавшихся обстоятельствах? Точно знать, кем будет убит Шлейхер. Кто бы ни убрал

тайного кандидата в канцлеры — Рем, Гитлер или генералы рейхсвера, — они не захотят разглашения правды. Роу щёлкнул пальцами. Фотоснимок убийцы! Нужен снимок убийцы!..

Мысли Роу прервал голос Паркера:

— Я не могу быть полезен?

Роу наморщил лоб.

— Нет... пожалуй, нет. — Роу, на ходу натягивая пиджак, устремился к выходу. — Вы меня извините, дружище. Это неотложно!

— Ничего, наверно, увидимся в Лондоне, я туда собираюсь на-днях, — невозмутимо проговорил Паркер и, заперев за Роу дверь,

подошёл к столу, выдвинул ящик и стал просматривать лежавшие в нём бумаги...

Быстро переодевшись у Сюзанн в свежий мундир, Отто сел в автомобиль, где его с нетерпением ждал бригаденфюрер.

— Что я должен сказать Шлейхеру? — спросил Отто.

— Все что хотите. Только бы он вышел к нам...

Им долго не отпирали. Наконец появился лакей в пиджаке с поднятым воротником, накинутом прямо на пижаму.

— Личный адъютант штаб-шефа СА. Совершенно экстренное дело к

генерал-полковнику, — уверенно сказал Отто.

— Но... генерал ещё спит, — нерешительно проговорил лакей.

— Разбудите немедленно!

Через несколько минут лакей вернулся и провёл Отто и бригаденфюрера в приёмную.

Отто задал себе вопрос: зачем понадобился именно он? Разве не мог этот гестаповец приехать с поручением Геринга и вызвать генерала без помощи Отто?

— Что же, собственно говоря, должен я ему сказать? — спросил он.

— Вы скажете, что Рему необходим список нового правительства.

— Какого правительства?..

— Ах, да замолчите же и слушайте, что вам приказывают, — грубо оборвал гестаповец. — Рему нужен список нового кабинета, подписанный Шлейхером!

У Шлейхера, когда он вошёл, был растерянный вид человека, внезапно разбуженного. Он остановился на пороге, не решаясь войти. За его спиною слышались лёгкие шаги. Женский голос спросил:

— Что случилось, Курт?

— Иди, иди, ничего особенного, — нетвёрдо ответил Шлейхер и вошёл в комнату.

— В чем дело, господа? —

спросил он, когда женские шаги замолкли в отдалении.

— Штаб-шеф просит немедленно прислать ему со мною список министров, — сказал Отто и увидел, как нервно задёргалось веко Шлейхера.

— Не могу понять, какой список он имел в виду?

Шлейхер несколько мгновений стоял в нерешительности. Потом повернулся к столику, на котором стоял телефон.

В руке бригаденфюрера мелькнул пистолет. Раздался выстрел. Он показался Отто таким негромким, как будто стреляли где-то далеко. Шлейхер обернулся,

поднял руку и прикрыл ею глаза. Пистолет щёлкнул ещё и ещё. Только после третьего выстрела генерал упал. Одновременно с этим Отто почувствовал тёплую рукоять пистолета, вложенного ему в руку бригаденфюрером. Он хотел бросить оружие, но пальцы гестаповца сжали ему кисть. Отто ни о чём не думал. Он совершенно ясно ощутил, что теперь у него только две возможности: или из этого пистолета застрелить бригаденфюрера, или застрелиться самому. И, как накануне, когда инстинкт подсказал ему, что он должен выстрелить в спину Кроне, точно так же теперь рука его сама поднялась, чтобы

послать пулю в гестаповца. Но в этот момент порывисто распахнулась дверь и вбежала женщина. С воплем ужаса она бросилась к генералу, распростёртому на полу в луже крови.

Позже Отто никогда не мог понять, сам ли он нашёл третий выход, или прочёл его во взгляде бригаденфюрера, но он сделал два шага, нагнулся над прильнувшей к убитому женщиной и выпустил ей в голову две пули...

При выходе из дома произошла заминка. Роу, не вылезая из подкатившего к тротуару автомобиля, наставил на Отто и бригаденфюрера

объектив аппарата, щёлкнул затвором и, дав полный газ, уехал. Это было сделано так неожиданно, что гестаповец опомнился лишь тогда, когда Роу уже был далеко.

Бригаденфюрер втолкнул Отто в автомобиль, вскочил сам и крикнул шофёру:

— Скорей!

Шофёр мчался по молчаливым предрассветным улицам, то и дело меняя направление. Бригаденфюрер назвал какой-то адрес.

— Ну, кажется, все... — Но Отто только показалось, что он это сказал. Его губы дрожали так, что в действительности издали нечто едва понятное, что с трудом разобрал

бригаденфюрер.

— Ещё одно маленькое дело! — Бригаденфюрер улыбнулся, и шрам на его щеке сложился в уродливый иероглиф.

Автомобиль остановился у подъезда особняка. Отто не имел представления, где они находятся. Гестаповец вышел и позвонил. Дверь отворилась так же не скоро, как и в доме Шлейхера. Но здесь гестаповца, повидимому, знали. Лакей молча посторонился и пропустил его в дом.

Отто остался в машине.

Ему казалось, что он ждёт бесконечно.

Не вынимая часов из кармана, он нажал репетир. Крошечные

молоточки начали весело
отзванивать старую песенку. Господи
боже мой, сколько детских
воспоминаний связано с этим
наивным мотивом: «О танненбаум, о
танненбаум...»

Отто так и не сосчитал ударов
репетира.

Дверь подъезда распахнулась.

Отто увидел Папена. За вице-
канцлером следовал с огромным
портфелем в руке человек, которого
Отто знал по портретам, —
секретарь Бозе.

Тощая фигура Папена в тёмном
костюме, стоячий туго
накрахмаленный воротничок, чёрная
шляпа с большими полями, даже

самое лицо вице-канцлера — худое, сумрачное, с редкой, словно вылезшей щёткой усов, — все показалось Отто невыносимо постным, будничным.

Несмотря на ясное утро, в левой руке Папена был зонтик. Правой рукой он прижимал ко рту платок. Все это Отто успел заметить за то время, что понадобилось Папену, чтобы пройти несколько шагов от подъезда до автомобиля. Но Отто думал не о том, что видел. В его памяти с необыкновенной быстротой пронеслось всё, что он читал и слышал о борьбе за канцлерское кресло, происходившей между Папеном и Гитлером.

Отто стало ясно, что этот человек, устало шагающий по дорожке палисадника, идёт навстречу своей смерти, — как Хайнес, как Рем, как Шлейхер.

Отто отодвинулся в самый угол автомобиля, ожидая, что Папен сядет рядом с ним, а с другой стороны сядет бригаденфюрер, и они куда-то повезут вице-канцлера.

Но бригаденфюрер сказал Папену:

— Господин Геринг просил вас, чтобы и за городом вы никого не принимали во избежание неприятных случайностей. Он просит вас день-другой не возвращаться в Берлин.

— М-м... — промычал Папен, подняв густые седоватые брови и не отнимая платка ото рта.

— Вот и ваш автомобиль, — сказал бригаденфюрер.

Папен сел в свой старомодный лимузин. Бозе хотел последовать за ним, но бригаденфюрер удержал его.

— Я отвезу вас в Потсдам другим путём. Порознь будет лучше...

Бозе вопросительно взглянул на Папена, но тот отвёл взгляд и ткнул шофёра зонтиком в спину. Автомобиль уехал.

Бригаденфюрер показал Бозе место рядом с Отто. Секретарь переложил портфель из одной руки в

другую, продолжая в нерешительности топтаться на тротуаре. Гестаповец взял его за локоть и втолкнул в автомобиль.

— Прямо! — крикнул он шофёру и опустил шторы на окнах.

Автомобиль быстро мчался по пустынной в этот час улице. Бригаденфюрер сунул руку в карман и крикнул шофёру:

— Сигнал!

Тишину спящей улицы прорезал пронзительный вой сирены. Заглушённый её воем, рядом с Отто прозвучал удар выстрела, такой же негромкий, как тогда, у Шлейхера. Отто брезгливо отодвинулся от конвульсивно содрогнувшегося Бозе.

утра и где верхняя часть домов была уже окрашена лучами восходящего солнца, Отто увидел теперь то, что прежде только смутно угадывалось в темноте: всюду были люди в коричневых рубашках штурмовиков или в серо-зелёных мундирах рейхсвера. Они стояли или шли группами по несколько человек. Отто не мог не заметить, что отряды СА нигде не смешивались с серо-зелёными патрулями рейхсвера.

Чем дальше нёсся автомобиль, тем меньше становилось штурмовиков. Появились чёрные мундиры эсесовцев — поодиночке, группами, а там и целой командой. Автомобиль повернул на Унтер-ден-

Эйхен. Отто почувствовал, как все его тело подалось вперёд под действием силы инерции — шофёр резко затормозил. Труп Бозе сполз с дивана на пол.

Бригаденфюрер поспешно опустил со своей стороны стекло.

— В чем дело?

Отто увидел патруль эсесовцев. Поодаль неподвижно серели стальные шлемы солдат рейхсвера. Стоило бригаденфюреру протянуть в окно карточку пропуска, как начальник патруля козырнул и машина помчалась дальше.

Окно с левой стороны так и осталось открытым. Свежий утренний воздух ворвался внутрь

машины, отбросил штормку. Отто увидел хорошо знакомые с детских лет места Лихтерфельде. Вот и Дракештрассе, казавшаяся им, кадетам, чем-то вроде местной Курфюрстендамм. Сюда можно было контрабандой попадать в будние дни на пути между корпусом и манежем. А какая она в действительности узкая и неуютная, эта Дракештрассе! И кондитерская там, на углу, выглядит совсем не так заманчиво, как пятнадцать лет назад. Вот и реальная гимназия — презренное гнездовье штатских недоносков. А вот шпиль католической церкви. Сейчас, за этим поворотом, откроется фасад кадетского корпуса.

Автомобиль делает двойной поворот, чтобы попасть на Теклаштрассе. Вот, наконец, и корпус. Он окружён цепью эсесовцев. Сильный патруль в воротах. Полуминутная задержка — и они въезжают во двор. Корпус все тот же, что и пятнадцать лет назад. Те же массивные стены в три этажа, те же узкие окна и зубчатый карниз, делающий дом похожим на замок. Но вместо кадет двор набит эсесовцами. И хотя здесь давно устроены казармы штурмовиков, не видно ни одной коричневой рубашки.

Перед тем как выйти из автомобиля, бригаденфюрер вытащил из-под трупа Бозе портфель. По жёлтой коже растекались струйки

ещё не засохшей крови. Бригаденфюрер провёл портфелем по чехлу сиденья. Кровь размазалась, но не стёрлась. Он протянул портфель Отто:

— Поберегите!

Отто следовал за гестаповцем. Он боялся остаться один в толпе эсесовцев.

Когда он входил под тёмный свод хорошо знакомого подъезда, куда впервые вошёл с отцом восьмилетним мальчиком и откуда в последний раз вышел восемнадцатилетним юношей, издали, с той стороны, где был расположен в подвале корпусный тир, донёсся глухой залп. Отто

приостановился было, но, видя, что бригаденфюрер идёт дальше, поспешил его догнать. Залп повторился. Отто почудилось, что он слышит пронзительный визг, — точно такой, какой ему довелось слышать в деревне, когда недорезанный боров вырвался из рук мясника и помчался по двору, заливая его потоком крови...

Возле какой-то двери бригаденфюрер заставил Отто подождать его несколько минут. Внезапно дверь с треском распахнулась, и Отто увидел спину пятившегося бригаденфюрера, а за ним здоровенного детину, наступавшего на него со сжатыми

кулаками. Только позднее Отто узнал, что это был Кальтенбруннер. Кальтенбруннер вырвал у Отто портфель и крикнул бригаденфюреру:

— Быстро к Юнгу! И если вы его упустите, я сдеру с вас шкуру!

Бригаденфюрер повернулся и побежал по коридору. Отто едва поспевал за ним. По дороге бригаденфюрер захватил ещё какого-то эсесовца, и они втроём вскочили в автомобиль.

Только после того, как бригаденфюрер жадно выкурил половину сигареты, он сказал Отто:

— Едем к Юнгу.

Юнг?.. Ах да, Юнг! В некотором

роде второе «я» Папена... Значит, и Юнг?!

Автомобиль остановился.

— Найдите Юнга и... живо!

— А вы? — испуганно

вырвалось у Отто.

— Я должен собрать документы.

Бригаденфюрер без церемонии оттолкнул отворившего дверь лакея.

— Где рабочий кабинет?

В сопровождении эсесовца, которого они прихватили с собой, Отто побежал вслед за лакеем, в испуге устремившимся во внутренние комнаты. Какой-то звериный инстинкт, которого Отто раньше никогда в себе не замечал, подсказывал ему, что сейчас, вот

именно сейчас, он должен увидеть Юнга. Он остановился у двери, перед которою в нерешительности замер лакей. Отто, не раздумывая, ударом ноги отворил её. В большой белой ванне колыхалось зеленоватое зеркало воды. Из-за света отражающейся в её поверхности лампы, из-за блеска кафельных стен Отто показалось, что вокруг отвратительно светло. В этом ослепительном сиянии тело сидевшего в ванне человека казалось мертвенно белым. Отто взглянул ему в лицо и никак не мог заставить себя вспомнить: Юнг это или нет?

У сидевшего в ванне человека вырвался сдавленный возглас. Отто

вскинул пистолет и нажал спуск.

Дома Отто выпил один за другим два стаканчика коньяку и не меньше получаса сидел в тёплой ванне, пытаясь успокоить нервы. Перед ним стояли Рем, Карл Эрнст, Хайнес...

Он знал их как олицетворение ужаса и постоянную угрозу смерти для всех, кто был не с ними. И вот он узнал, что сегодня в корпусном тире Лихтерфельде Рем ползал на коленях перед шеренгой эсесовцев с винтовками; ползал по грязному полу и клялся в любви и верности Гитлеру. Он молил сохранить ему жизнь. Да, Отто и сам слышал, как «грозный» Рем визжал, и плакал, и

ругался, и молил в смертельном страхе. Ведь тот отвратительный пороссячий визг, что Отто слышал в подвале корпуса, — это и были предсмертные вопли его начальника...

Леди Маргрет посылала мяч так, что, несмотря на перчатку, у Монтегю всякий раз появлялось желание увернуться, вместо того чтобы ловить этот снаряд.

— Вы безнадёжны, Монти! — крикнула Маргрет. — Не могу понять, кто создал англичанам славу спортсменов. Перейдя за сорок, вы делаетесь тюленями, неспособными совершить лишнее движение.

— Я всегда предпочитал что-нибудь позволяющее думать не спеша. Сознаюсь: бейзбол не для меня.

— Неповоротливость — ваша

семейная черта. Вы с моим дорогим супругом форменные тюлени.

— За нас обоих может сыграть Нед.

— Он был единственным из вас троих, кто обещал стать настоящим человеком.

Монти презрительно скривил губы:

— Там, где ходит Нед, нужно надевать резиновые сапоги.

— Пожалуй, именно поэтому он и будет сегодня к месту.

— Вы звали Неда?

— У меня не было в запасе другого пикадора. А иначе такого быка, как Уэллс, не заставишь бегать по арене! Кажется, я забыла сказать,

кому нужно приготовить комнаты.

— Будет много народу?

— По вашему вкусу — только

Маранья.

— Какой-нибудь певец?

— Нет, генерал... комиссионер этого испанского миллионера и друга Гитлера Хуана Марча.

— Кто ещё?

— Вероятно, Уинни.

— Он в Англии?!

Маргрет, не ответив, скрылась за поворотом дорожки. Монтегю с досадой скомкал пустую обёртку из-под сигарет. Не так-то легко разыгрывать удивление перед этой хитрой особой! Попробуй-ка сделать вид, будто тебя удивляет известие о

приезде Уинфреда Роу, если ты вчера с ним виделся!

Смолоду за Монтегю Грили не знали других достоинств, кроме искусства игры в поло. Позже, когда Монти превратился в сэра Монтегю, к поло прибавился бридж. С годами на смену поло пришёл гольф. Теперь сэр Монтегю проигрывал только тот роббер, который хотел проиграть.

Служебная деятельность сэра Монтегю мало кого занимала. Её знал довольно узкий круг лиц. Результаты работ разного рода секретных комитетов оглашались в палате лишь в тех редких случаях, когда Форейн оффису приходилось приподнимать завесу над своею

зарубежной деятельностью, о которой джентльмены с Даунинг-стрита предпочитали молчать.

С тех пор как Монтегю стали доступны тайны, добываемые секретной службой, он, кроме гольфа и бриджа, стал проявлять интерес к экономической жизни Европы. Следя за политическими ситуациями, он научился ловить момент, когда какое-нибудь континентальное предприятие оказывалось в затруднительном положении. Бывали случаи, когда спасение зависело от своевременной помощи не столько английского фунта, сколько английского флага. Так было в Силезии, когда немцам нужно было

укрыть капиталы от польского контроля. Так случилось недавно в Сааре с французскими предпринимателями после пресловутого плебисцита, отдавшего эту область Гитлеру. Так произошло сегодня с немецкими евреями, а завтра может случиться с евреями австрийскими, чешскими, эльзасскими.

Планы помощи, рождавшиеся в большой, похожей на маску Зевса, голове Грили, приносили ему тем большую пользу, чем труднее было положение гибнущей фирмы. За время, протёкшее с начала такого рода деятельности, сэр Монтегю превратился в держателя крупных

пакетов акций целого ряда предприятий и компаний. Следует сказать, что в его интересы вовсе не входило, чтобы нескромные люди совали нос в его дела. А брат Нед проявлял именно такую склонность.

Вообще, с точки зрения старших братьев, Нед был совершенным неудачником. Семнадцатилетним мальчишкой он ушёл на войну рядовым; знакомства, которые он завёл среди солдат, оказались губительными. Он не вернулся в своё общество. На некоторое время он и совсем исчез с горизонта семьи, пока не вынырнул вдруг в качестве пилота-гонщика, героя двух нашумевших состязаний, и к тому же

человеком весьма радикальных
взглядов...

Монтегю издали узнал
«шарабан» Неда. Автомобиль имел
такой вид, словно только что
побывал в аварии.

Старший из братьев, Бенджамен,
лорд Крейфильд, с верхних ступеней
крыльца снисходительно махнул
Неду.

Когда все трое стояли на
крыльце, едва ли тот, кто не был с
ними знаком, признал бы в них
близких родственников. На первый
взгляд между ними не было ничего
общего. Худой, высокий Бенджамен с
длинным черепом, покрытым светло-
рыжим пухом; широкий, тяжёлый

Монтегю с красивою головой, увенчанной тёмными кудрями, и маленький, сухопарый, живой Эдуард с загорелым лицом и с коротко остриженными светлыми волосами. Только глаза — три пары ясных и холодных, как лёд, светлоголубых глаз, одинакового цвета, формы и величины — обличали в них одну кровь.

— Я привёз Маргрет гостя! — весело крикнул Нед, возвращаясь к своей машине.

Он распахнул дверцу автомобиля:

— Мой самый опасный конкурент в завтрашней гонке! — сказал Нед. — Герр Ульрих Бельц.

Если бы вы видели его «Дракона»!

— Я думал, на свете нет ничего лучше твоей «Моли», — сказал, улыбаясь, Бенджамен.

— О! Ты бы посмотрел на его веретено. Настоящее веретено! Не летит, а вонзается в воздух. Видна рука настоящего мастера.

— О да! — веско произнёс Бельц. — Доктор Шверер — весьма талантливый конструктор!

Это было сказано на столь дурном английском языке, что Бенджамен вынужден был сделать усилие, чтобы понять. Он пригласил гостей в буфетную.

В холл, где сидел Монтегю, спустилась Маргрет.

— Сейчас звонил генерал Леганье, старый знакомый Бена по французскому фронту, — сказала она Монтегю.

— Я знаю его. Он больше похож на детского врача, чем на генерала.

— Почему именно детского?

— У него розовые щеки и весёлый вид. И, наверное, холодные уши. Когда в детстве такое ухо приставлялось к моей спине, меня подирал мороз по коже... Кто ещё?

— Так и быть, открою, хотя собиралась сделать сюрприз: придет княгиня Донская.

Монтегю скривил рот:

— Не выношу этих нафталиновых русских светлостей.

Маргрет расхохоталась.

— Ни за что не догадаетесь, кто скрывается под этим псевдонимом!.. Конечно же, Мелани Гевелинг! — сказала Маргрет. — Прямо из Парижа.

— Старые русские куклы нуждаются в керосине? Электричество им уже не по средствам?

— Гевелинг сделал для них достаточно много. А Мелани давно хотелось стать княгиней, хотя бы керосиновой. И титул она получила из рук самого царя.

— Их царя давно расстреляли где-то в Сибири.

— Нет, у них снова есть царь:

Кирилл... Я позвала Мелани для вас.

— Очень признателен за услугу, — иронически проговорил Монти, — но Мелани едва ли может заинтересовать Уэллса.

— Большой день всё равно отложен на следующую субботу: к нам прилетит Гесс.

— Наци с мордой хорька и с тройною порцией бровей? Что ему нужно?

— Они с Беном поедут в Шотландию ловить форелей.

— Не поехать ли и мне с ними?

Вошёл Бенджамен. Жена посмотрела на его покрасневшее лицо.

— Успели освежиться?

— Этот немец — вполне порядочный малый: пьёт неразбавленное виски.

— Почему вы не позвали меня? Я бы тоже охотно выпила перед обедом.

— Вот как? — неопределённо протянул Бенджамен.

Попыхивая трубкой, он не спеша пошёл к лестнице.

Постоянный заместитель министра лорд Крейфильд никогда не спешил. Несмотря на свои шестьдесят семь лет, он каждое утро совершал перед завтраком прогулку верхом, а между первым и вторым завтраками играл партию крикета или занимался рыбной ловлей. Если

не было более достойного партнёра, он вполне удовлетворялся мальчиком, который ездил с ним в качестве грума и носил удочки.

Лорд Крейфильд искренно полагал, что лишён каких бы то ни было страстей, так как не считал страстью любовь к старой малаге и свиньям, разведению которых отдавал много времени.

Подобно всякому политическому деятелю, лорд Крейфильд имел своего биографа. Этот биограф писал: «...он утверждает, будто обладает даром конструктивного мышления, но можно уверенно сказать, что дар этот проявляется исключительно

негативным образом. Лорд Крейфильд всю жизнь что-нибудь предотвращает и от чего-либо предостерегает. Он блестящий образец политического деятеля оборонительного характера, стремящегося задержать центробежный процесс внутри нашей мировой империи». Правительство, с участием послушных национал-лейбористов, являлось, на взгляд Бена, наиболее верным лоцманом для британского корабля, в трюме которого находится такой ценный груз, как угольные акции Крейфильдов и лучшее в Англии, а значит, и в мире свиноводство.

Умение леди Маргрет рассадить гостей делало обеды Крейфильдов приятными для всех. Здесь, между первым и вторым, намечался состав кабинетов, выдвигались депутаты и губернаторы колоний.

Сегодня разговор за обедом почти сразу стал общим. У Монтегю не было случая сцепиться с Недом. Хозяйка умело перевела разговор на обсуждение предстоящей поездки Уэллса в Москву.

— Поезжайте, поезжайте, — иронически сказал Бенджамен. — Вам будет полезно убедиться в разрушительности этой системы. Я не стану говорить, кем они мне представляются, эти господа в

Москве! — Он фыркнул, оттопырив нижнюю губу. — Вы-то, наверное, мягко называете их фантастами?

— Камешек в мой огород! — рассмеялся Уэллс.

— Советские фантасты молоды. В этом залог здравости их фантазирования, — слышалось с дальнего конца стола, где сидел Нед.

— По-вашему, я вышел из того возраста, когда допустимо здраво фантазировать? — с добродушной усмешкой спросил писатель.

— Англия слишком старая страна, чтобы иметь какую-либо фантазию, — глубокомысленно вставил молчавший до того Бельц.

— Нам часто стали повторять:

вы умираете, — сказал Бенджамен. — Хорошо, мы умираем. Но клянусь вам: мы будем умирать ещё тысячу лет.

— Не знаю, — доставит ли нам удовольствие тысячу лет быть полутрупом. — Уэллс в сомнении покачал головой. — Рузвельт, например, предпочёл иной путь. Я не побоялся бы сказать: он стоит на пути к большим социальным реформам.

Нед громко рассмеялся. Все взоры обратились на дальний конец стола.

— Неужели вы думаете, — запальчиво воскликнул Нед, — что можно серьёзно говорить о том,

будто Морган и прочие сдадут свои позиции без боя?!

— Но бой не означает поражения Рузвельта, — заметил Уэллс.

— Если Рузвельт примет действенные меры к тому, чтобы связать руки капиталистам, Морган и Рокфеллер объединятся и пошлют его ко всем чертям!

— Они, конечно, будут сопротивляться, — проговорил Уэллс. — Но президент, кажется, твёрдо стоит на своём. Он задумал всеобъемлющий государственный контроль над банками, над транспортом, над промышленностью. Там происходит

важнейший принципиальный спор о путях к плановому хозяйству.

— Плановое хозяйство в Америке с её безработицей и ускоряющимся конвейером?! — воскликнул Нед. — Это же очевидный блеф.

— А может быть, он добьётся популярности ценою ликвидации конвейера как принципа организации производства, — сказал Уэллс.

— Луддиты тоже думали, будто в бедствиях рабочих виноваты станки, но нынешние рабочие думают иначе.

— Я очень хорошо помню, — проворчал Бенджамен, — как Ллойд Джордж сказал: «Большевики

думают, что паровозы можно топить идеями Маркса», или что-то в этом роде.

Уэллс рассмеялся:

— Если бы он знал, как был прав. Ведь паровозы-то ходят!

— Мне больше нравилось бы, если бы они стояли, — сказала Маргрет.

— Можно их остановить, — с неожиданной решительностью заявил Маранья.

Бенджамен наморщил лоб, чтобы понять его, так же как делал это, слушая Бельца. Испанец ещё хуже немца говорил по-английски.

— Напротив, — сказал Леганье. — Мы заинтересованы в

том, чтобы русские паровозы ходили. Во всяком случае до тех пор, пока мы не поймём окончательно, что происходит в Германии.

— Мы одобряем то, что делается в Германии! — сердито крикнул ему испанец. — Да, да! Мы одобряем господина Гитлера!

Он хотел выкрикнуть ещё что-то, но, по едва уловимому знаку Маргрет, лакей отвлёк его, предложив вина.

Уэллс получил возможность сказать:

— Мне кажется, руководители Советов осуществляют план, превосходящий по своему объёму и историческому значению всё, что

знало человечество. Это великолепно по своей смелости. На мой взгляд, Россия сейчас выигрывает время. А время работает на неё. Мне кажется, вторая её пятилетка будет критической. Россия сорвётся — тогда Болдуин может праздновать победу, или она выдержит — и тогда она создаст крепкий фундамент для своей экономики, добьётся излишков продовольствия и товаров для рабочих и крестьян, сможет улучшить их жизнь и увеличить закупки за границей. Во всяком случае, Россия делает историю в большом масштабе. Если она победит, то докажет осуществимость коммунизма на практике. Это

перестанет быть утопией романистов. И это будет иметь очень серьёзное значение для всех нас.

— Благодарю вас! — иронически сказал Монтегю.

— А если Россия провалится? — спросил Бенджамен.

Некоторое время Уэллс молча смотрел себе в тарелку. Потом менее громко, чем до сих пор, проговорил:

— Тогда на столетие вперёд идея коммунистического общества останется литературной темой...

— «Когда спящий проснётся»? — насмешливо спросил Нэд.

— Нет, это устарело. Теперь я иначе представляю себе все это.

— Ещё неприглядней, то-есть ещё менее верно?..

Приезд Гевелингов помешал развитию спора. Маргрет встала из-за стола, чтобы встретить гостей.

С тех пор как Монтегю стал практическим человеком, общество интересовало его лишь в той степени, в какой он благодаря ему получал возможность осуществлять свои планы. Сегодня ему хотелось повидаться с Роу и с Леганье. Но, узнав о приезде Гевелингов, он не знал, на чём остановиться: бросить дела и заняться Мелани или пренебречь подобными пустяками и воспользоваться её присутствием для дела? Эта бывшая русская

шансонетка, став нефтяной королевой, не перестала быть сотрудницей нескольких разведок. Она работала в них по очереди, в зависимости от того, какие дела нужно было устроить ей самой.

Леди Маргрет увела сэра Генри Гевелинга и генерала Маранью, маленького, неуклюжего толстяка в дурно сидящем смокинге. За ними не спеша проследовал Бенджамен, прислушиваясь к происходящему между ними торгу. Нефтяной король соглашался кредитовать тёмные махинации каких-то испанцев в обмен на монополию торговли нефтепродуктами на всем Пиренейском полуострове.

Маргрет, как всегда, предоставила гостям полную свободу. Каждый мог делать, что хотел. Монтегю ничего не стоило образовать свой кружок, состоявший из Роу, Леганье и Мелани.

Кроме того, Монтегю удалось переговорить с каждым из первых двух в отдельности. От Роу он получил интересующие его данные о затруднительном финансовом положении немецкого предпринимателя Винера, стремящегося к расширению своего завода.

Генерал Леганье намекнул ему, что есть возможность купить документы, компрометирующие

Гитлера. Они сданы на хранение в иностранный банк вдовой убитого генерала фон Бредова, Леганье брался их достать. Нужны были деньги. Однако сумма, которую назвал Леганье, показалась Монтегю вздорно большой. Он тут же, по секрету от Леганье, рассказал о документах своему другу Роу. Оказалось, что тот уже знал о бумагах и в своё время, так же как Леганье, рассчитывал их достать, но они ускользнули от него.

— Со временем они будут стоить вдесятеро дороже против того, во что обойдутся сегодня, — с сожалением сказал Роу.

— Хэлло, Монти! Вас ждут к

бриджу, — сказала, подходя, Маргрет.

— Ах, как некстати! — с досадою сказал Монтегю. — У меня тысяча дел с леди Мелани.

Маргрет пошла в карточную комнату.

Там сидели Уэллс и Бенджамен. Дымя трубками, они продолжали спор, в котором Бенджамен хотел оставить за собою последнее слово.

— Если говорить серьёзно, я не признаю этих разговоров о старости Англии. Мы не молоды, но можем омолодиться.

Уэллс протестуяще взмахнул трубкой:

— Нам с вами это не под силу. Этим будут заниматься молодые.

— Знаю я, что это значит! Идеи Неда и все такое.

— Может быть.

— До этого не должно дойти! Я вовсе не хочу, чтобы мои арендаторы с лучшей свиной фермой сделали то же, что русские мужики сделали с усадьбами своих помещиков. Это нас не устраивает. Ни меня, ни моих свиней. Не могу понять, откуда берутся эти крайние взгляды? Словно у нас только что узнали о делении людей на две породы, которые никогда не имели и не будут иметь ничего общего, — на богатых и бедных. Решительная глупость — будто наши несчастья происходят от бедности. Все дело в

перепроизводстве. Мы голодаем оттого, что у нас чересчур много масла, бекона, вина...

— Слишком парадоксально для меня, — скептически проговорил Уэллс.

— Мы не знаем, куда направить капиталы. Они лежат в Сити без всякого толку.

— К чему же вы пришли?! — торжествующе воскликнул Уэллс, взмахом руки разгоняя клубы дыма. — Нам нужно то же, что провели у себя русские, — плановость!

— Только не теми же способами! Нет, нет!

— Когда дом разваливается, его

нельзя связать верёвочками. Нужно кое-что более прочное...

— Например?

— Может быть, даже что-нибудь более радикальное, чем лейбористы, — произнёс Уэллс с таким видом, словно зажигал фитиль бомбы, и помахал рукою Роу, входящему с Маргрет.

— Я только вчера хвалил ваши «Шесть пенсов и полнолуние», — сказал Уэллс Роу.

— Я переделал роман в пьесу, — сказал Роу. — Вы могли бы захватить её в Россию и дать ей там ход.

— Охотно, но почему бы вам самому не поехать к русским?

— Это моя мечта: побывать там

ещё раз. Но было бы приятнее ехать после того, как русские увидят мою пьесу.

— А роман? Давайте уж и его. Я найду вам в Москве переводчика и издателя.

— Это больше, чем я смел просить. А в Россию я непременно поеду, непременно.

Маргрет заняла место за ломберным столом.

Разбирая карты, Бенджамен возобновил незаконченный спор с Уэллсом:

— Все дело в том, что мы не знаем, куда направить наши усилия. Что производить, чем торговать, что строить?

— А если бы спросить об этом вас?

— Я бы сказал: делайте оружие, стройте крейсера. Этот товар находит себе сбыт при любых кризисах.

— К счастью, это доступно не всем. Гитлеру, например...

— Вы не в курсе. Он делает всё, что ему нужно!

— Разве мы недостаточно эффективно его контролируем?

— Мы закрываем глаза на то, что знает каждый уличный мальчишка в Германии: вагонный завод Линке-Гофман и завод Бенца строят танки. Майбах не делает ничего, кроме танковых моторов.

Смешно было бы думать, что Крупп станет делать сковородки, когда Южная Америка, Китай, Япония, Балканы, Турция просят у него пушек.

— И мы молчим?!

— Разумнее было бы прикончить все это и перенять у немцев их рынки, включая и самую Германию. Если уж ей суждено вооружаться, чтобы иметь возможность двинуться на восток Европы, так пусть вооружается, приобретая все у нас.

— Это цинизм! — тихо сказал Уэллс. — К тому же покупательная способность Германии...

Леди Маргрет рассыпала карты

по столу и укладывала их в виде цветка.

— Пусть Шахт приедет в Грейт-Корт, — сказала она, — я найду ему кредиторов.

— К сожалению, американцы делают это и без нас, — сказал Бенджамен.

— Если все это так, — сказал Уэллс, — то я не поверю, чтобы кто-то из нас не брал тут своё.

— Мало, слишком мало! — сказал Бенджамен. — Можно делать в десять раз лучшие дела. — Он заметил фигуру уныло бродящего по комнатам Гевелинга. — Возьмите хотя бы сэра Генри. Он уже вложил деньги в «ИГФИ» и делает для

немцев бензин на немецких заводах.

— Как же немцы пустили его? — спросил Уэллс.

— Зачем им ехать сюда, если деньги сами приходят к ним. Ещё несколько таких умных голов, как сэр Генри, и Германия встанет на ноги!

— Чего доброго, мы выкормим на своей груди Гитлера! — воскликнул Уэллс.

— Лучше сто Гитлеров, чем коммунисты, — сказала леди Маргрет и, встав из-за стола, пошла навстречу Гевелингу.

— Вы не видели леди Мелани? — уныло спросил король нефти, приблизившись к играющим.

Получив отрицательный ответ,

он устало вздохнул и побрёл прочь. Его унылая фигура медленно удалялась по анфиладе комнат.

Глядя ему вслед, Уэллс рассмеялся:

— А вы говорите, что он умеет устраивать свои дела!

Надушённый, затянутый в новый мундир, Отто с удовольствием оглядел себя в зеркало. Что же, он вовсе не так уж плохо выглядит для человека, прожившего в течение нескольких суток под непрерывным страхом получить в затылок пулю, вслед за своим незадачливым шефом. Рейхсвер без малейшей задержки снова зачислил его в свои списки, и даже вместо скромного капитанского галуна на плечах его красуется теперь нарядное плетение майорских погонов...

Но что там столько времени возится старик? Уж не

прихорашивается ли он ради такого торжественного дня?

От имени президента и армии Гаусс должен вручить Герингу собственноручное письмо фельдмаршала с выражением благодарности за услуги, оказанные империи в ночь на 30 июня. Собственноручное! Говорят, президент давно уже не может произнести «мама» и за него подписывается его сын полковник Оскар Гинденбург. Доставить письмо Герингу поручено Гауссу. Это знаменательно. Армия благодарит Геринга от лица государства, от лица будущего империи. И он, Отто, держит в руках письмо, отпечатанное

на бланке президента.

Отто разворачивает лист и в десятый раз перечитывает:

«Берлин, 2.7.34

*Министру-президенту
Пруссии*

генералу авиации Герингу

*За ваш энергичный и
успешный образ действий
при подавлении измены
высказываю вам мою
благодарность и
одобрение.*

С дружеской
признательностью и
приветом фон
Гинденбург».

«С „дружеской
признательностью“?!
Смотрите-ка, они уже
„друзья“! А ведь устами
старика с этим наци
говорит вся старая
Германия. Да, чорт побери!
Швереру-отцу будет над
чем подумать, когда Отто
расскажет ему последние
новости...»

Дверь генеральской спальни

отворилась. Денщик отошёл на полшага в сторону, придерживая створку. Гаусс не спеша вошёл в кабинет. Смешно и жалко выглядели тонкие стариковские ноги в обтягивающих икры бриджах.

Гаусс опустился в кресло, и денщик подал высокие лакированные сапоги. Генерал натянул их с помощью крючков, и ноги его сразу обрели стройность и прочность, приличные генералу германской армии.

Гаусс задумчиво глянул на свою сухую, в синих жилах руку и принялся натягивать перчатки.

У Гаусса давно не было такого скверного настроения, как сегодня.

Ему, генерал-полковнику Вернеру фон Гауссу, тащиться к этому авиационному капитанишке в генеральском мундире! Но il fallait faire bonne mine aux mauvais jeux^[11] ради права стать одним из хозяев страны.

Геринг знал о предстоящем визите Гаусса. Его самолюбие было удовлетворено тем, что благодарность президента будет вручена ему именно этим заносчивым генералом.

Палец Геринга лёг на пуговку звонка и не отрывался до тех пор, пока не вбежал камердинер.

— Сегодня — форма лесного ведомства, Клаус!

Он поразит Гаусса великолепием новой, только что придуманной художником формы главы лесного ведомства Пруссии. Розовый мундир с таким богатым шитьём, о каком не мечтали даже императорские камергеры! Розовые штаны с серебряными лампасами! Это должно произвести впечатление на высокомерного старика. К тому же для Гаусса будет ещё унизительнее стоять навытяжку перед «каким-то лесничим, перед штафиркой»!

Геринг приотворил дверь в соседнюю комнату:

— И чтобы все было тип-топ!

— Понимаю, экселенц...

Геринг с удовольствием оглядел длинный ряд шкафов, занимающих три стены огромной гардеробной, набитых нарядами, словно у опереточной дивы, и вернулся в спальню. Он сбросил пижаму и остался в полосатых штанах, резинка которых врезалась в огромный живот. Стоя перед зеркалом, он рассеянно поиграл пальцами на губах, затем, что-то вспомнив, подошёл к стоящему в углу большому сейфу, замаскированному под секретер, и достал конверт, половина которого была покрыта темнобурым пятном засохшей крови.

Розовые жирные пальцы, с которых косметичка по утрам

сводила волосы, несколько мгновений в нерешительности вертели конверт, словно Геринг боялся его вскрыть. Этот конверт был доставлен ему полчаса назад. Он был обнаружен между подкладкой и сукном мундира убитого Рема: конверт провалился через дыру в лопнувшем кармане.

Геринг отрезал ножницами для ногтей узенькую полоску у края конверта. Вынул сложенный вчетверо жёлтый лист. Кровь, просочившаяся сквозь плотный конверт, оставила следы на тыльной стороне листа, но не испортила текста.

Геринг сел на край постели и принялся читать:

*«Я,
нижеподписавшийся, Карл
Эрнст, вождь штурмовых
отрядов Берлин —
Бранденбург,
государственный советник
Пруссии, родившийся 1
сентября 1903 года в
Берлине, район
Вильмерсдорф, излагаю
здесь историю поджога
рейхстага, в котором
принимал участие...»*

Геринг тяжело задышал, оторвал
взгляд от письма и бросил в
пространство пустой спальни:

— Вот подлец!..

«Я действую по совету друзей, потому что носят слухи, что Геббельс и Геринг замышляют против меня недоброе. В случае моего ареста Геббельсу и Герингу будет сообщено, что настоящий документ находится за границей. Он подлежит опубликованию только в том случае, если я или один из моих товарищей, имена которых указаны в прилагаемом списке, распорядится о его напечатании, или в случае,

если я погибну
насильственной смертью.

Я заявляю, что 27
февраля 1933 года я
поджёг рейхстаг с
помощью двух моих
помощников по
командованию
штурмовыми отрядами.
Мы подожгли рейхстаг,
чтобы дать фюреру
возможность
всесторонней борьбы с
марксизмом.

Через несколько дней
после нашего прихода к
власти меня вызвал
Хельддорф и пригласил к

Герингу. По дороге Хелльдорф сказал, что следовало бы дать фюреру возможность действовать против коммунизма. На собрании у Хелльдорфа присутствовал Геббельс, изложивший нам следующий план. Нужно организовать на каком-нибудь предвыборном собрании покушение на фюрера двух якобы коммунистов. Это покушение должно было послужить сигналом для антикоммунистического погрома. Хайнес был уже

вызван в Берлин для разработки подробностей покушения. Геринг возражал против покушения, опасаясь, чтобы оно не вызвало других. На следующий день меня по телефону вызвали на квартиру Геббельса. Когда я приехал туда, присутствовавшие на собрании решили уже отказаться от проекта. Геринг считал, что нужно испробовать другое: быть может, поджечь императорский дворец в Берлине или бросить бомбу

в министерство внутренних дел. Геббельс с улыбкой возразил, что было бы лучше поджечь рейхстаг. Мы могли бы тогда выступить перед парламентариями как защитники этой говорильни. Геринг немедленно согласился. Мы с Хелльдорфом возражали, ссылаясь на технические трудности исполнения проекта, но Геббельс и Геринг нас убедили.

Было решено, что 25 февраля, за восемь дней до выборов, я с Хайнесом и

Хелльдорфом подожгу
рейхстаг. Геринг обещал
снабдить нас очень хорошо
действующими и легко
воспламеняющимися
веществами, не
занимающими притом
много места. Было
условлено, что 25 февраля
мы соберёмся в рейхстаге,
в комнатах национал-
социалистской фракции, и,
как только рейхстаг
опустеет, приступим к
работе. Мне были
поручены
подготовительные меры.

На следующем

собрании, которое, как я помню, происходило у Геббельса, Геринг предложил использовать подземный ход, соединяющий его особняк с рейхстагом. Затем Геббельс предложил назначить день поджога не на 25-е, а на 27 февраля, так как 26-го было воскресенье. В этот день выходят только утренние газеты, и, стало быть, поджог нельзя будет достаточно использовать в целях пропаганды. Мы решили поджечь рейхстаг

в 9 часов вечера, чтобы можно было ещё использовать и радиопередачу. Геринг договорился с Геббельсом относительно некоторых мер, которые должны были навлечь подозрение на коммунистов.

Я три раза в сопровождении Хелльдорфа осматривал подземный ход. Тем временем Геринг передал нам план рейхстага, ознакомил с тем, как здание охраняется, и т.д. За два дня до поджога мы

сложили в боковом
коридоре то легко
воспламеняющееся
вещество, которым нас
снабдил Геринг. Оно
находилось в нескольких
банках и состояло из
фосфора и
самовоспламеняющегося
состава. Было также
несколько литров керосина.

Я долго раздумывал
над тем, кому
непосредственно поручить
поджог, и пришёл к выводу,
что следует сделать это
самому, с помощью
нескольких вполне

надёжных людей.

За несколько дней до установленного срока мы через Хелльдорфа узнали, что в Берлине появился некий молодой человек, которого, несомненно, можно было бы привлечь к участию в поджоге. Это был голландец ван дер Люббе. Я его не видел до поджога. Мы с Хелльдорфом все подготовили. Голландец должен был действовать один в кулуарах рейхстага и поджигать чем попало. Я же со своими друзьями

должен был работать в зале заседаний.

Голландец должен был приступить к делу в 9 часов, а мы на полчаса раньше. Ван дер Люббе должен был проникнуть в рейхстаг уже после того, как мы его подожжём и выберемся на улицу. Хелльдорф постарался заранее познакомить голландца с внутренними помещениями рейхстага.

Мы решили, что ван дер Люббе проникнет в рейхстаг через окно ресторана. Чтобы иметь

уверенность в том, что ван дер Люббе не отступит в последний момент, Зандер не покидал его ни на минуту. Он проводил его до рейхстага и видел, как ван дер Люббе влез в окно. Как только Зандер убедился в том, что ван дер Люббе находится внутри рейхстага, он сообщил об этом Ганфштенгелю, находившемуся в доме Геринга.

Ван дер Люббе был до последнего момента уверен в том, что действует

один. Что касается меня, то я встретился со своими помощниками в 8 часов на Вильгельмштрассе. Мы были в штатском. Через несколько минут мы подошли к рейхстагу и вошли в здание, не будучи никем замечены. На нас была обувь с каучуковыми подошвами, чтобы никто не услышал наших шагов. В 8.15 мы уже были в зале заседаний.

Один из нас вернулся в подвал, чтобы взять остатки горючих материалов, а я с другим

спутником принялся за работу в зале императора Вильгельма. Мы подожгли в нескольких местах этот зал, а также зал заседаний. Мы смазали столы и стулья фосфором. Облили занавеси и ковры керосином. За несколько минут до девяти мы вернулись в зал заседаний. В 9 часов 5 минут все было кончено, и мы вышли. Нужно было спешить, так как с минуты на минуту фосфор должен был воспламениться.

Пишу этот документ,

*чтобы защитить себя от
Геринга и Геббельса. Я
уничтожу этот документ,
если предатели будут
наказаны по заслугам.*

Берлин, 3 июня 1934

Карл Эрнст».

Геринг подул в конверт, чтобы разошлись его стенки, и бережно просунул между ними жёлтый листок.

Если удастся отыскать второй, подлинный экземпляр этого письма, прежде чем оно будет опубликовано, можно будет покончить с Хелльдорфом. Геринг сохранял графа

только как свидетеля, на всякий случай. Письмо Эрнста вполне заменит живого Хелльдорфа. Этот документ даёт Герингу возможность держать Гитлера в руках... Откровенно говоря, Герингу теперь уже было безразлично, что подумает Европа в случае опубликования этого проклятого письма. Но кое-кто в Германии, конечно, поспешит воспользоваться этим как козырем против него самого. Опять начнут шептать в уши Гитлеру: Геринг не умеет делать тонкие дела. Геринг медведь. Геринг фанфарон!.. Геринг не справился с процессом в Лейпциге... Геринг не сумел отправить под топор Димитрова...

Геринг не смог втихомолку убрать его после процесса... Геринг не сумел сломать волю Тельмана... Ах, негодяи!

Геринг посмотрел на своё отражение в зеркале, вздохнул, похлопал себя по животу и ободряюще подмигнул.

Камердинер внёс сверкающий серебром розовый мундир. Гаусс давно ушёл, а Геринг никак не мог расстаться с прекрасным мундиром. Он повертелся перед зеркалом и принял ещё несколько человек, чтобы показаться им во всем великолепии розового с серебром. Да, лесное ведомство больше всех угодило ему с этой великолепной

формой! Если бы можно было, Геринг, вероятно, и в постель улёгся бы, не снимая розового мундира и панталон с широкими серебряными лампасами. Это вполне соответствовало его прекрасному настроению. Поздравление и благодарность Гинденбурга прились как нельзя более кстати. Именно то, что старый фельдмаршал благодарил его, а не кого-либо другого, и даже не самого фюрера, должно было поднять престиж Геринга в глазах немцев.

Кстати, очень кстати!

В таких обстоятельствах Адольф не посмеет предпринять против него ничего открыто. А состояние

Адольфа в последние дни было полной противоположностью настроению самого Геринга: фюрер ходил мрачнее тучи, и гнев его обрушивался на головы правых и виноватых.

Мало кто представлял себе истинную причину такого дурного расположения духа у канцлера-ефрейтора. Но что касается Геринга, то он был достаточно в курсе дела: вот уже несколько месяцев, как австрийский канцлер Дольфус был приговорён Гитлером к смерти. Этот приговор был вынесен не столько потому, что Дольфус сопротивлялся аншлюссу Австрии, подстрекаемый к сопротивлению итальянским

диктатором, имевшим собственные виды на Австрию. Другой, гораздо более прозаической и близкой Гитлеру причиной ненависти к Дольфусу было то, что, по донесениям гестапо, именно в его, Дольфуса, руках находилась роковая папка «личного дела ефрейтора Гитлера». Гитлер знал, что она попала к Дольфусу через кардинала Иницера. Гитлер знал и то, что теперь эта злосчастная папка пополнилась всем неприятным, что только мог о нем вызнать австрийский канцлер. А кому же было проще добывать самые сокровенные сведения об австрийце Гитлере, как не правителю Австрии?!

Гестапо донесло, что Дольфусом добыты неопровержимые данные о не арийском происхождении фюрера. Для Гитлера такое открытие было подобно взрыву бомбы у него в кармане, хотя он и не знал всех подробностей. А эти, пока ещё скрытые от него, подробности были таковы.

Дольфус начал своё исследование с выяснения обстоятельств превращения Шикельгрубера в Гитлера. Самая фамилия Гитлер вовсе не характерна для Верхней Австрии, откуда происходит фюрер. По разысканным старым документам оказалось, что фамилию Шикельгрубер на Гитлер

изменил отец Адольфа. Его тестю, богатому крестьянину, не нравилось, что зять его — внебрачный сын девицы Шикельгрубер — именуется по имени матери из-за того, что не знает своего отца. Это скандализировало родственников тестя и окрестных крестьян. И вот папаша Адольфа стал именоваться по девичьей фамилии своей тёщи «Гитлер».

Продолжая расследование, Дольфус установил, что бабушка Адольфа по материнской линии Матильда Шикельгрубер была в услужении у семейства банкиров Ротшильд. От связи с молодым Ротшильдом у неё должен был

родиться ребёнок. Удалось отыскать её письмо к родным, где она спрашивает, как ей быть. Нашёлся и ответ: пригрозить Ротшильдам скандалом, чтобы добиться от них денежного вознаграждения за «позор». Если вознаграждение будет дано, считать «позор» покрытым.

Повидимому, вознаграждение было выдано в удовлетворившем бабушку фюрера размере, так как архивы не сохранили каких-либо указаний на учинённый ею скандал. Если, конечно, не считать скандалом рождение у девицы Матильды дочери — будущей мамыши фюрера.

Таким образом, по канонам буржуазной морали выходило, что

фюрер Адольф Гитлер — «незаконнорождённый» в квадрате, так как не только сам он, но и его мать была рождена вне брака. И тем не менее даже столь печальное открытие пугало Гитлера меньше, нежели гнусные наветы Дольфуса о наличии в жилах фюрера неарийской крови. Подобный «позор» представлялся ему катастрофой почти непоправимой. Если Дольфусу когда-либо удастся опубликовать документальные доказательства такого открытия, это грозило перевернуть вверх дном все политические перспективы фюрера и его сообщников.

Гитлера меньше всего занимал

вопрос о том, являются ли эти документы действительно подлинными или ловко сфабрикованной подделкой. Удар Дольфуса был направлен верно: на этот раз всеевропейский скандал был обеспечен и всегерманская катастрофа нацизма тоже. Дольфус мог быть спокоен, что его собственное австро-ватиканское издание фашизма не подвергнется прусско-нацистской редакции.

Если бы извлечение опасных документов из сейфа австрийского канцлера требовало пожертвовать жизнью не одного только Дольфуса, а десятков и сотен людей, Гитлер не остановился бы. Поэтому при

планировании нацистского путча в Вене, назначенного на 25 июля, Гитлер отдал приказ во что бы то ни стало добыть из сейфа Дольфуса пресловутое «дело». Если препятствием к этому будет служить жизнь австрийского канцлера — покончить с ним.

Как известно, путч провалился, хотя Дольфус и был убит. Документов в сейфе не оказалось. «Дело ефрейтора Гитлера» снова уплыло у фюрера из рук. По предварительным данным гестапо, Дольфус успел передать их своему преемнику Шушнигу, чтобы тот, если сможет, продолжил расследование биографии.

Эта личная неудача огорчила Гитлера больше, чем провал путча. Путч можно было повторить. А вот удастся ли в конце концов получить документы? В этом он не был уверен.

Отсюда и происходило то отвратительное настроение, в котором фюрер пребывал в конце июля 1934 года, столь отвратительное, что даже Геринг вздохнул с облегчением, когда Гаусс привёз ему личную благодарность Гинденбурга — как бы верительную грамоту рейхсвера на представительство генеральских интересов в окружении богемского ефрейтора.

Подобрав последнюю крошку того, что в тюрьме называлось хлебом, мышь несколько секунд сидела, уставившись на узника неподвижными чёрными бусинками глаз. Словно ожидала: не будет ли на этот раз прибавки?

Тельман чуть слышно, так, чтобы это не долетело до ушей надзирателя, свистнул. Мышь повела мордочкой и уселась на задние лапки. Тельман хорошо знал, что теперь она будет охорашиваться, мыть мордочку...

Лишённый свиданий,
временами оставляемый без

прогулок, посаженный на самое скудное питание, со здоровьем, подорванным голодом, холодом и темнотою до того, что иногда у него нехватало сил шевельнуть рукою, Тельман все же жил. Он жил и не сдавался. Он отказался от голодовки с того момента, как его перевели из тюремной больницы в обыкновенную камеру, на обычный голодный паек, предназначенный всем коммунистам.

Ему нужно было много сил. Он хотел сохранить их во что бы то ни стало для предстоящей борьбы. Он знал: борьба только начиналась, хотя каждый день, проведённый в заточении, мог показаться месяцем,

каждый час допроса и пытки — годом. Тельман знал, что на данном этапе борьба будет трудной: с одной стороны — весь полицейский аппарат нацизма, с другой — он, узник, скованный по рукам и ногам, запертый в каменном мешке тюрьмы. Да, эта борьба могла показаться неравной, если бы он не чувствовал за собой силу тех миллионов, частицею которых был, силу немецкого народа, трудового народа всех стран, всех национальностей, чьим сыном он был, — он, Тельман, рабочий-гамбуржец! Все, все, кто знает, что такое труд, — его братья; все, все, кто знает, что такое лишения, — его друзья; все, кому

дорога свобода, кто борется за неё, — его единомышленники, его боевые товарищи! Он чувствовал, верил, знал: за ним величайшая из партий, когда-либо рождённых великим освободительным движением.

Так мог ли он чувствовать себя слабым?! Даже здесь, в этой бетонной норе, даже с руками, изъеденными сталью оков?!

Как только силы позволили ему, Тельман встал на ноги. С каждым днём увеличивая время, он стал ходить по камере — три шага туда, три обратно, три туда, три обратно. Ходил, ходил, ходил, чтобы не дать ослабнуть мышцам, не дать

распуститься телу, лишённому воздуха и света, здоровой пищи и прогулок. Ха, они думали, что запереть его сюда — значит сломить если не духовные силы, то уж физические во всяком случае! Нет, они ошиблись! Ошиблись, скоты! Он, Тэдди Тельман, рабочий Гамбурга! Он знает, в какую сторону нужно смотреть, чтобы видеть восход солнца. Он знает, какой источник силы и надежд находится там, на востоке Европы. Одной мысли об этом было достаточно для того, чтобы в его взгляде появился упрямый блеск.

Железное здоровье и
несгибаемая воля позволили

Тельману пройти сквозь испытания, которые свели в могилу многих. И, как бы ни ослабевало временами его тело, ум оставался ясным и работал неустанно. Даже невозможность делать записи не лишала его способности запечатлевать в памяти мысли по сложнейшим вопросам. Он изобрёл мнемонический приём, позволявший ему с большой точностью воспроизводить то, что было продумано и мысленно «записано» несколько дней и даже недель назад. Сформулированную и отточенную мысль он слово за словом записывал воображаемым пером на стене, стараясь в едва различимых трещинах и извилинах

бетона отыскать сходство с начальной буквой каждого слова; так, строка за строкою, возникал на стене призыв, направленный против попыток фашистов обмануть немецкий народ перед выборами и заставить его голосовать за Гитлера. Он знал, что та связь с миром, которая у него ещё есть, недостаточна, чтобы передать товарищам на волю эту статью. Хорошо, если удастся сообщить хотя бы две-три руководящие мысли. Но вместе с тем он знал и другое: общественное мнение мира, борьба антифашистов Европы, Америки и Азии уже заставили гитлеровцев выпустить на свободу Димитрова.

Значит, сила антифашистского фронта огромна, и она растёт, крепнет! Может быть, и ему удастся вырваться из этих стен!..

Вырваться из тюрьмы! Надежда на это была так несокрушима, несмотря на кажущуюся безнадёжность положения, что Тельман сравнивал её иногда с единственной яркой звёздочкой, горевшей на чёрном небосводе, простиравшемся над Германией. Оставаясь подчас едва различимой, эта звёздочка все же освещала для него первобытную темноту, в которую фашизм низверг его несчастную родину.

Свобода, жизнь, борьба! Нужно

было жить ради борьбы, бороться ради победы. В этом каменном мешке, даже в часы упадка физических сил, он не переставал думать о том, что ещё оставалось сделать для трудового народа, и о том, какую пользу он ещё может принести отсюда, из стен тюрьмы, в борьбе за свободу Германии; о том, как помочь партийным товарищам, поддержать в них силы для борьбы, вселить в их души веру в успех, в неизбежность конечной победы над фашизмом.

В самые трудные минуты где-то далеко-далеко в тёмной вышине загоралась эта чудесная звёздочка...

И, как в прекрасной сказке,

написанной рукою сурового, но правдивого автора — истории, почти на каждый призыв Тельмана проходил сквозь бетонные стены тюрьмы и цензуру гестаповцев неуклонный ответ: «Мы слышим, Тэдди, мы стоим на посту!» Подчас это казалось почти невероятным, но это было так: партия не теряла связи с Тельманом. Иногда известия с воли сильно запаздывали, но, так или иначе, он узнавал почти все главное, что случалось в стране и даже далеко за её пределами — в отечестве трудящихся, в СССР.

Иногда случались провалы в цепочке тюремной «почты». Проходили дни без связи с миром.

Тогда Тельман отдавался воспоминаниям. Легко и складно текли они в мозгу под неустанный ритм собственных шагов. Едва уловимый шорох войлочных кот подталкивал мысли, как удары маятника больших часов. Мысли бежали назад, в пережитое. Тельман уносился воспоминаниями в далёкую прекрасную Москву. Он бродил по её гигантским стройкам; склонялся к стремительно вращающимся станкам ударников; шутил с ткачихами «Трехгорки»; проводил ночи в спорах с товарищами из Франции и Китая, Испании и Японии, Италии и Канады, с товарищами по партии,

стекавшимися со всех концов необъятного мира, чтобы своими глазами видеть, как рождается общество, о котором мечтали поколения борцов за социализм. Тельман представлял себе зал, где собрались участники последнего пленума Исполкома Коминтерна, на котором ему довелось присутствовать. Он мысленно останавливал взор на лицах товарищей, слышал их голоса, вспоминал доклады одних, страстные реплики других. Вот он видит: поднимается председатель и прерывает стоящего на трибуне Клемента Готвальда. Слово предоставляется для внеочередного

сообщения товарищу Пику. Тельман снова слышит голос Пика: «Из Берлина по телефону сообщают: рейхстаг оцеплен полицейскими отрядами. Подступы к центру города наводнены сотнями полицейских. Занято чуть ли не все здание. Клару Цеткин вводят в зал двое товарищей. Товарищ Клара открывает заседание большой речью...»

Когда воспоминания Тельмана доходят до этого места, он невольно улыбается. Ему кажется, что он отчётливо слышит знакомый страстный голос Клары, обращающейся к депутатам последнего парламента Германии. В напряжённом молчании огромного

зала, где, не шелохнувшись, сидят ошеломлённые депутаты, отчётливо слышно каждое слово Клары:

«Рейхстаг собирается в момент, когда кризис гибнущего капитализма обрушивает всю тяжесть жесточайших страданий на широкие трудящиеся массы Германии, на миллионы безработных, на голодающих... Зимой прибавятся новые миллионы безработных... Политическую власть в Германии захватило в настоящее время, через голову рейхстага, президентское правительство, которое является подручным трестированного монополистического капитала и крупных аграриев, правительство,

движущей силой которого является генералитет рейхсвера...»

Тельману кажется, что он видит лица потрясённых речью членов правительства во главе со Шлейхером, видит помертвевшие маски Папена и главарей гитлеровской шайки. Никто не решается прервать оратора.

«Рейхстаг должен осознать и выполнить свой основной долг: свергнуть правительство, которое пытается, нарушая конституцию, устранить рейхстаг. Он должен привлечь к ответственности президента страны и министров...»

Тельману кажется, что он слышит, как тяжело дышит

судорожно вцепившийся в подлокотники Геринг; как нервно барабанит пальцем Геббельс; как шепчет что-то про себя сидящий, подобно зловещей чёрной кукле, Папен. Тельман отчётливо ощущает многозначительность паузы, сделанной Кларой. Над головами депутатов повисает звенящая от напряжения тишина.

«...Но поднимать против правительства обвинение перед верховным судом равносильно тому, что жаловаться дьяволу на чорта. Свержение правительства рейхстагом может быть только сигналом к наступлению и к развёртыванию классовых сил вне парламента.

Однако развёртывание
внепарламентской активности
трудящихся не должно
ограничиваться свержением
антиконституционного
правительства. Оно должно быть
направлено дальше, к свержению
буржуазного государства и его
основы — капиталистического
хозяйства...»

Какой молодец наша вечно
молодая Клара! Она уже тогда
поняла, что это последняя легальная
трибуна коммунистов в Германии на
долгие годы. И она говорила немцам
все.

Она говорит, и никто не
решается её прервать:

«Борьба трудящихся масс против отчаянной нужды является одновременно борьбой за полное освобождение. Это борьба против порабощающего и эксплуатирующего капитализма за освобождение, за социализм».

Ах, Клара, дорогая, умная и всегда такая смелая Клара! Как хочется склониться перед твоими сединами и почтительно поцеловать твою руку, которую ты сейчас так угрожающе сжала в кулак, протянутый к скамьям нацистов.

«...Я открываю рейхстаг по обязанности, в качестве старейшего депутата. Я надеюсь дожить ещё до того радостного дня, когда я в

качестве старейшего открою первый съезд Советов в советской Германии!»

Да, придёт этот радостный день, непременно придёт, даже если для этого понадобятся страдания и жертвы, борьба в неслыханно трудных условиях, на протяжении многих лет!.. Только бы сохранить партийные кадры, объединить вокруг них всех антифашистов в единую крепкую армию!.. Победа придёт! Честь немецкого народа будет спасена в борьбе с фашизмом, победой над ним!..

...Кончаются дни разобщённости. С воли снова приходят вести. Приведённая ими в

движение, мысль Тельмана возвращается от воспоминаний к действительности. Он принимается взвешивать, анализировать.

В рапортичках тюремщиков, каждые десять минут заглядывающих в глазок камеры No 347, изо дня в день стоит одно и то же слово: «ХОДИТ»... «ХОДИТ»... «ХОДИТ»...

Он ходит и думает. Его мысли неизменно прикованы к немецкому народу, к судьбам немецкой революции, к родной партии, ушедшей в глубокое подполье, но продолжающей бороться и руководить всеми передовыми силами Германии в борьбе с коричневой чумой гитлеризма.

Тельман давно научился правильно смотреть на историю: судьба шайки разбойников, хозяйничающих в Германии, не должна стать и не станет судьбою немецкого народа... Чего бы Тельман не отдал за то, чтобы не в отрывочных сообщениях с воли, а своими глазами прочесть анализ положения, данный Сталиным на съезде великой ленинской партии! Тельман уверен, что немецкий и русский народы ничто не разделяет, он твёрдо верит тому, что именно русский народ придёт в беде на помощь немецкому народу. Тельман глубоко верит тому, что настанет время, когда прозревший немецкий народ с

надеждою обратит взоры к Москве и именно оттуда протянется могучая дружеская рука, которая выведет немцев из бездны мрака...

Мрак, мрак кругом. Гитлер безумствует в Германии, Муссолини бесчинствует в Италии, скользкая козявка Мосли ползает по Англии, что-то отвратительное гнусавит во Франции де ла Рокк, брызжет ядовитой слюною в Мадриде Хиль Роблес. Всюду, куда ни глянь, суется в Европе, как отощавшие клопы, и кликушествуют социал-демократы и «социалисты» всяческих тонов и оттенков, смахивающие на фашистов. Они разлагают волю народа к борьбе, они

поливают революционный огонь масс водицей уговоров. И впереди всех, с лицемерными стенаниями и хныканьем, ползут на брюхе немецкие социал-демократы и с ними ренегаты вроде Маслова и Фишер. Смешно! Сладкой розовой водицей своей лжи они хотят залить бушующее пламя свободы, все ярче и ярче разгорающееся над Европой, над всем миром. Отвратительно и смешно! Целые батальоны фашистских и социал-демократических «философов»-provokatorov изливают мутные потоки своей «мудрости» на головы уставших народов. Они пытаются своими соглашательскими, лживыми

«теориями», при одном воспоминании о которых Тельман скрипит зубами от негодования, или своими нарочитыми перегибами влево подменить простую народную правду, которую несут на своих знамёнах коммунисты.

Лидеры социал-демократов — преступные дураки! Они уверяют, будто ЦК немецкой компартии не блещет теоретическими знаниями, будто по одному этому он не может взять правильной линии в борьбе! Дураки и скоты! Тельман и здесь, в тюремной камере, с гордостью поднимает голову при воспоминании о том, как несколько лет назад, в Москве, обращаясь к ним, немецким

коммунистам, представитель русских товарищей сказал, что нынешний ЦК германской компартии есть ЦК ленинский.

Да, именно так: «Ленинский ЦК». Вот знамя, под которым не склонишь головы ни при каких опасностях!

Он, Тельман, не пророк и никогда не воображал себя пророком, он не знает, что будет завтра с ним самим. Может быть, и его собственной кровью будет обагрено знамя, которое он с такою гордостью нёс столько лет. Этого он не знает. Но он будет твердить везде, всегда, на трибуне митинга и под топором палача: «Знамя коммунизма

победит!»

Пророчество? Да, если вам угодно так называть неизбежность истории.

Стиснув пальцы скованных рук, Тельман напряжённо вспоминает: изменил ли он когда-нибудь словом или делом своей партии? Поколебался ли он после ухода от них бессмертного Ленина?

Что значит быть одним из руководителей ленинской партии? Это значит так же, как Ленин, никогда — ни в большом, ни в малом — не обмануть рабочих; никогда ни на волос не позволить разойтись своим делам со своими словами! Быть коммунистическим вождём —

это значит высоко, как Ленин, держать свой авторитет вождя, суметь, как Ленин, снискать и сохранить нерушимой и непоколебимой веру масс. Быть бесстрашным в бою за дело народа и беспощадным к врагам народа; не знать, что такое паника, и сохранять ясный ум в любых обстоятельствах; быть правдивым и честным — всегда, везде...

Тельман ходит по камере и думает, думает... Железный человек, пронёсший сквозь тюрьму и пытки прежнюю остроту мысли, неукротимость духа. Удивительный человек, которого боятся палачи. Они боятся его, сидящего в тюрьме,

ничуть не меньше, чем боялись тогда, когда он был на свободе. Словно его воля отсюда, из каменных стен тюрьмы, переносится в миллионы рабочих сердец Германии.

Три коротких шага вперёд, три назад. Несколько движений скованными руками, чтобы заставить циркулировать кровь. И снова: три шага вперёд, три назад...

Тельман останавливается под загороженным решёткой оконцем. Сквозь мутное стекло виден кусочек неба. Оно черным покровом нависло над тюрьмой, надо всей Германией. Но вот одна за другою загораются в нём звезды. Вот звезда надежды, вот — правды, вот — добра. А вот

вспыхивает и далёкая, но ярко сверкающая между остальными звезда победы.

Как быстро она приближается!

На миг Тельман становится просто человеком, которому хочется крикнуть: «Скорей же, скорей! Чтобы и мне увидеть!»

Только на миг. Снова стиснуты зубы, и прильнувший к глазку тюремщик видит лишь упрямо шагающего по камере заключённого. Три шага вперёд, три назад. Победа придёт тогда, когда ей должно прийти по закону истории.

В масштабе истории — скоро.



Часть вторая

Европа *ныне*
восхищённа
Внимая *смотрит* *на*
восток...

М. Ломоносов



Уэллс вернулся из Парка культуры физически разбитым. Все время, что он сидел в Зелёном театре, ему что-то говорили, объясняли, переводили слова артистов. Но он почти ничего не слышал и глядел вокруг себя прищуренными глазами, не отвечая. Он был под впечатлением утреннего разговора и, напрягая память, старался восстановить детали встречи, каждое слово собеседника. Всем существом он ощущал, что каждый звук, каждая интонация этих слов должны иметь для него и для всех, кто услышит их через него,

особенное значение.

Не дослушав концерта, он уехал.

Он с удовольствием вошёл в прохладный номер гостиницы, снял размокший воротничок и подошёл к окну. Оно выходило на площадь, за которою возвышалась стена Кремля.

Уэллс старался разобраться в своих впечатлениях. Свойственное его характеру саркастическое упрямство мешало ему признаться, что даже этих двух дней в Москве было достаточно, чтобы зачеркнуть всё, что он записал после приезда из России в 1920 году. То, что представлялось ему тогда «электрической утопией», можно было теперь видеть, трогать руками.

Каким легкомыслием казалось ему теперь его собственное заявление о том, что «марксистский коммунизм является теорией, которая не включает никаких творческих идей и явно им враждебна». Увы, эта фраза останется черным штрихом в биографии автора фантастических романов, расписавшегося в бессилии своей фантазии. Странное признание сделал он тогда своим читателям: «Можно ли представить себе более смелый проект в обширной, плоской стране, с бесконечными лесами, безграмотными мужиками и ничтожным развитием техники!.. Вообразить себе применение

электрификации в России можно только с помощью очень богатой фантазии». Да, тогда он, романист, не смог себе этого представить. Советская действительность превзошла полет его, Уэллса, писательской мысли. Способен ли он публично признать всё, что видел и слышал вчера и сегодня, за истину, против которой нет смысла спорить?..

Он переменял воротничок и пошёл в ресторан. Зал был пуст. В ярком свете люстр столики на голубом ковре сверкали хрусталём и белизною накрахмаленных скатертей, как льдины в море. Было очень тихо. Ковёр и деревянные

панели стен поглощали звуки.

В дальнем углу Уэллс увидел знакомого английского журналиста. Он сидел с немцем, которого Уэллс тоже знал. Уэллсу не хотелось пустой болтовни, и он направился было к другому столику, но англичанин уже встал и отодвинул для него стул. Уэллс — в Москве! Это было хорошим товаром для журналиста.

Пришлось сесть. Однако усталый вид Уэллса говорил о том, что его не легко будет расшевелить. Вероятно, поэтому англичанин вернулся к прерванному разговору с немцем.

— Я делюсь основными

положениями статьи, посланной вчера в мою газету, — пояснил он Уэллсу.

Уэллс равнодушно посмотрел на него: ему было совсем не интересно знать, что думает этот человек.

Однако после первых же фраз он невольно стал прислушиваться. Англичанин говорил немцу:

— Японии предназначено сыграть очень большую роль в будущем Востока. Я убеждён: она пойдёт к своему назначению с непоколебимой решимостью. Я всегда считал ошибкой прекращение нашего союза с Японией.

— Мне кажется, Саймон совершенно прав, — сказал

немец. — Англия должна гарантировать только одну границу — французскую. Тогда мы, немцы, могли бы взять на себя наведение порядка в Восточной Европе.

— Именно так и должно быть! — подтвердил англичанин. — Франции не следует давать возможности сговориться с Москвой. Мы с вами должны общими усилиями убедить мир в том, что пора покончить с попытками организации пресловутого блока «белых». «Жёлтая опасность» для Европы — воображаемая опасность. Если гарантировать от японских appetitов наши восточные воды, то мы ничего не имели бы против того,

чтобы развязать японцам руки на дальневосточной границе Советов.

— Вполне разумно, — согласился немец. — Конечно, если бы до того нам дали возможность вооружиться.

— Вам её дадут. В Англии достаточно людей, которые понимают, что между нашей Европой и Дальним Востоком расположен политический и экономический резко антагонистический организм. Нужно договориться с вами и с японцами взять Россию в клещи.

— Является ли это лишь вашим личным взглядом?

— Так думают влиятельные лица в Англии, — с важностью

заявил журналист. — Один из них сказал мне: «Япония может довести корейско-маньчжурскую границу до Ледовитого океана и аннексировать дальневосточную часть Сибири, при условии, конечно, что наши интересы будут обеспечены, например, ленскими золотоносными землями. Союз Англии и Франции сделает невозможной немецкую экспансию на запад. Мы откроем ей дорогу к России».

— Очень, очень разумные мысли! — воскликнул немец. — Почти так же говорится и в книге фюрера!

Уэллс с раздражением постучал ножом по тарелке, подзывая

официанта.

Англичанин быстро взглянул на него и понял, что нужно переменить тему.

— Говорят, вы были сегодня в Кремле? — спросил он писателя.

Уэллс пробормотал что-то неразборчивое и, отодвинув стул, встал. Стул зацепился за ковёр и упал. Уэллс, не оборачиваясь, вышел из ресторана.

Немец смотрел ему вслед с удивлением.

— Он всегда всем недоволен! — насмешливо произнёс англичанин. — Если бы мы с вами хвалили большевиков — он стал бы их бранить. Таков характер.

— Очень странный характер, — сказал немец.

— Просто дурной характер, — желчно согласился англичанин.

В коридоре своего этажа Уэллс столкнулся с Паркером. Уэллс не сразу узнал американца, хотя его красное лицо показалось Уэллсу отдалённо знакомым.

— Не узнаете? — улыбнулся Паркер. — Мы встречались в Лондоне.

— А! Вспоминаю: вы ещё собирались в Китай, «который нечто вроде России».

— Прекрасная память, сэр!

— Это профессиональное — запоминать глупости. Они всегда

могут пригодиться, — сказал Уэллс и скрылся за дверью своего номера.

Он не успел сбросить пиджак, как позвонили от портье; прибыл нарочный с пакетом из Кремля.

Уэллс нетерпеливо разорвал конверт. Это была объёмистая стенограмма утренней беседы в Кремле. Как ни странно, но только что слышанное в ресторане освещало беседу новым, неожиданным для Уэллса светом: теперь сличить собственные записи, относящиеся к встрече, с точной записью кремлёвского стенографа. Правда, стенограф не отразил ни выражения лиц собеседников Уэллса, ни их интонаций, но все это достаточно

крепко держала память писателя.

«Так, — подумал Уэллс, — посмотрим же, как тут записано моё „выступление“. Быть может, я сказал что-нибудь, чего вовсе не собирался говорить. Это бывает, когда волнуешься...»

Он принялся просматривать стенограмму:

«...Я недавно был в Соединённых Штатах, имел продолжительную беседу с президентом Рузвельтом и пытался выяснить, в чем заключаются его руководящие идеи... Поездка в Соединённые Штаты произвела на меня потрясающее впечатление. Рушится старый финансовый мир,

перестраивается по-новому экономическая жизнь страны. Ленин в своё время сказал, что надо „учиться торговать“, учиться этому у капиталистов. Ныне капиталисты должны учиться у вас постигнуть дух социализма. Мне кажется, что в Соединённых Штатах речь идёт о глубокой реорганизации, о создании планового, то-есть социалистического, хозяйства. Вы и Рузвельт отправляетесь от двух разных исходных точек. Но не имеется ли идейной связи, идейного родства между Вашингтоном и Москвой?..»

И вот ему терпеливо, но настойчиво разъясняют, как

способному, но запутавшемуся школьнику: у США другая цель, чем у коммунистов в СССР. «Та цель, которую преследуют американцы, возникла на почве экономической неурядицы, хозяйственного кризиса. Американцы хотят разделаться с кризисом на основе частно-капиталистической деятельности, не меняя экономической базы. Они стремятся свести к минимуму ту разруху, тот ущерб, которые причиняются существующей экономической системой».

Уэллс усмехнулся: хорошо, что он не американец, а то бы ему пришлось с пеной у рта доказывать, что в США никакой неурядицы нет и

никакой разрухи тоже нет. Но нет, он не собирается выступать в роли адвоката янки — факты, как говаривал, кажется, Ленин, — сильная вещи, с ними трудно спорить, и прав его собеседник, когда делает из этих фактов вывод:

«Таким образом, в лучшем случае речь будет идти не о перестройке общества, не об уничтожении старого общественного строя, порождающего анархию и кризисы, а об ограничении отдельных отрицательных его сторон, ограничении отдельных его эксцессов. Субъективно эти американцы, может быть, и думают, что перестраивают общество, но

объективно нынешняя база общества сохраняется у них. Поэтому, объективно, никакой перестройки общества не получится...»

Разве можно не согласиться со всем этим? Не выглядел ли он, Уэллс, немножко наивно, когда ему пришлось выслушать объяснение о том, что теоретически, конечно, можно допустить, что и в условиях капитализма можно шаг за шагом идти к той цели, которую он, Уэллс, называет социализмом в англосаксонском толковании этого термина? Это не было произнесено иронически, и не будь он, Уэллс, тем, кем был, он, может быть, и не уловил бы тончайшей интонации, из

которой должен был понять, что его понимание слова «социализм» — по меньшей мере легкомыслие, чтобы не сказать больше. Согласен ли он с этим?.. Скорее нет, чем да. Не будь его собеседником Сталин, он, Уэллс, может быть, и продолжал бы эту дискуссию в чисто теоретическом смысле. Но это не тот оппонент, с которым можно вступить в спор на подобную тему, заранее не вооружившись до зубов. Казалось бы, он должен был идти в Кремль именно во всеоружии для такого разговора, но что делать, если уже там он обнаружил, что всё, что было у него в запасе, до беспомощности слабо перед утверждением

оппонента, что этот его «англо-саксонский» социализм в приложении к нынешнему положению Соединённых Штатов будет означать не больше, чем некоторое обуздание отдельных, наиболее необузданных акул капиталистического мира путём некоторого регулирования в народном хозяйстве. Может ли это что-либо дать в смысле серьёзного преобразования всей системы как таковой? Конечно, нет! Как только Рузвельт или какой-нибудь другой капитан современного буржуазного мира захочет предпринять что-нибудь серьёзное против основ капитализма, он не может не

потерпеть неудачи, так как ему будет противостоять весь мир банков, весь мир монополий — весь мир крупных собственников, в чьих руках находится все хозяйство страны.

Тут уже сам Уэллс должен был домыслить то, что не было досказано собеседником: да и захочет ли кто-нибудь из капитанов буржуазного государственного корабля, — даже Рузвельт, — предпринять такое плавание против течения?.. Едва ли! Зачем? Ведь подобный поход против основ капитализма означал бы разрыв с теми, кто является фактическими хозяевами и самого его, Рузвельта!..

Уэллс не заметил, как от чтения

отчёта он перешёл к размышлению на эту неожиданную для него тему, кто же является чьим хозяином в том мире, где живёт он сам и где живёт Рузвельт: хозяйство ли и капитал подчинены государству, или оно само, государство, вынуждено подчиняться фактическим хозяевам капиталистам, то-есть опять-таки развиваться не по велению разума, а по воле главарей монополий?!

Рука писателя машинально перебирала лежащие на коленях листы и взгляд его почти так же машинально скользил по строкам отчёта:

«...Переделка мира

есть большой, сложный и мучительный процесс. Для этого большого дела требуется большой класс. Большому кораблю — большое плавание.

Уэллс. Да, но для большого плавания требуются капитан и навигатор.

Сталин. Верно, но для большого плавания требуется прежде всего большой корабль. Что такое навигатор без корабля? Человек без дела.

Уэллс. Большой корабль — это

человечество, а не класс.

Сталин. Вы, г-н Уэллс, исходите, как видно, из предпосылки, что все люди добры. А я не забываю, что имеется много злых людей. Я не верю в доброту буржуазии».

Звякнул телефон. Уэллс с досадой сбросил телефонную трубку с аппарата.

Ещё минуту тому назад Уэллсу казалось, что он знает в стенограмме каждое слово, но стоило ему просмотреть несколько страниц, и он опустил листки на колени, в задумчивости уставившись в окно.

Странно, ведь он не услышал в ресторане ничего нового ни от англичанина, ни даже от немца: настроения той Европы были ему отлично известны и раньше. Так почему же он утром в Кремле возражал против многих ответов Сталина, которые сейчас, в свете только что слышанного, представляются ему неоспоримыми? Неужели только из обычного для себя духа противоречия? Нет, это было бы несерьёзно, недостойно. Так в чём же дело, почему пришедшие ему сейчас на память слова этого глупого немца, наверно фашиста, и такого же глупого англичанина заставили смотреть на свои собственные слова

более строгими глазами, чем он смотрел утром?

Не в силах проанализировать свои чувства, Уэллс поднял с колен листы и стал читать дальше.

«...Сталин. Конечно, старая система рушится, разлагается. Это верно. Но верно, и то, что делаются новые потуги иными методами, всеми мерами защитить, спасти эту гибнущую систему. Из правильной констатации Вы делаете неправильный вывод. Вы правильно констатируете, что старый

мир рушится. Но вы не
правы, когда думаете, что
он рухнет сам собой. Нет,
замена одного
общественного порядка
другим общественным
порядком является
сложным и длительным
революционным
процессом. Это не просто
стихийный процесс, а это
борьба, это процесс,
связанный со
столкновением классов.
Капитализм сгнил, но
нельзя его сравнивать
просто с деревом, которое
настолько сгнило, что оно

само должно упасть на
землю. Нет, революция,
смена одного
общественного строя
другим, всегда была
борьбой, борьбой
мучительной и жестокой,
борьбой на жизнь и смерть.

...Взять, например,
фашизм. Фашизм есть
реакционная сила,
пытающаяся сохранить
старый мир путём насилия.
Что Вы будете делать с
фашистами? Уговаривать
их? Убеждать их? Но ведь
это на них никак не
подействует. Коммунисты

вовсе не идеализируют метод насилия. Но они, коммунисты, не хотят оказаться застигнутыми врасплох, они не могут рассчитывать на то, что старый мир сам уйдёт со сцены, они видят, что старый порядок защищается силой, и поэтому коммунисты говорят рабочему классу: готовьтесь ответить силой на силу, сделайте все, чтобы вас не раздавил гибнущий старый строй, не позволяйте ему наложить кандалы на ваши руки...»

Пришлось прервать чтение, так как Уэллс с досадою обнаружил, что трубка его снова погасла, и принялся её сосредоточенно раскуривать. Он по опыту знал, что это всегда развлекает. Особенно, когда попадает сырой табак.

А именно сейчас Уэллсу и нужно было отвлечься от прочитанного, оттолкнуться от силы учения Маркса и Ленина, которой на него веяло от листков стенограммы, будивших свежие воспоминания об утренней встрече.

Защитный рефлекс закоренелого скептика требовал ухода от спора с самим собою.

Как это бывало с ним в минуты

творческих поисков, он уже увидел своё второе «я» — второго Уэллса, отошедшего в сторону, готового к бою. Но что-то уж очень победоносно глядит на него сегодня тот, второй Уэллс...

Если бы ему довелось беседовать в Кремле ещё раз, он задал бы ещё очень много вопросов. О многом он не спросил, и многое останется для него не освещённым гением этих творцов новой истории...

Писатель привык копаться в психологии своих героев и искать смысл общественных явлений, слишком привык к тому, чтобы смотреть на происходящее

анализирующим взглядом. Могло ли остаться для него незамеченным удивительное явление, происходящее с ним самим? Он, автор «России во мгле», в угоду своему английскому читателю упрямо и последовательно сопротивляющийся фактам, вызванным гигантскими событиями в России; он, приехавший сюда романистом-снобом, для которого, казалось, были заранее решены все социальные коллизии, вдруг почувствовал, что сегодняшнее свидание в Кремле поколебало его душевное благополучие.

Уэллс-писатель стоял в недоумении перед психологическим ходом «романа» о самом себе,

романа, который писала рука жизни. Общение с людьми, с которыми он провёл это утро, взволновало его с небывалой силой. Его собственной вере в свой авторитет угрожало крушение. Он, привыкший считать себя на голову выше других, вдруг увидел настоящее величие мысли и духа и понял: он, англичанин Уэллс, — карлик. Мысли других людей, представителей совсем иной среды, другого класса, вмешавшись в предусмотренное планом, политическими взглядами автора и его литературными традициями развитие романа, в один день, в один час перевернули его ощущения, восприятие мира и событий.

Упрямая сущность британца восставала в Уэллсе против того, чтобы поддаться покоряющей силе такого вмешательства. Ведь это значило бы, что его творчество должно пойти новыми, чужими путями, неожиданными для него самого и для миллионов его английских читателей, путями, которые можно было бы даже назвать антагонистическими в отношении тех, какими он шёл прежде. Для англичан он писал, он был частицею их самих, выразителем их самых прочных идей, традиционно британских мечтаний. Поддаться неотразимой убедительности, силе коммунистической идеологии,

согласиться с неопровержимостью
глубокого и точного анализа значило
для Уэллса признать превосходство
большинства, олицетворяемого
коммунистами, — большинства,
всегда отрицавшегося Уэллсом.
Признать себя побеждённым значило
понести читателю новые идеи. Эти
идеи были таковы, что должны были
бы, подобно бомбе, взорвать всё, что
он создавал и утверждал до сих
пор, — священную уверенность
британцев в превосходстве их
индивидуалистической философии.
Одновременно должна была бы
взлететь на воздух и вера остального
мира в законное и само собой
разумеющееся превосходство

человека, рождённого на островах
Соединённого королевства, человека,
носящего имя «англичанин»...

Не сдаваться, не сдаваться!.. Это
был аккомпанемент, настойчиво
сопровождавший каждую мысль.
Уэллс наморщил лоб, насупил брови,
и пальцы его сжали трубку. Не
сдаваться! Пусть разум и совесть
говорят ему, что правы они, эти
простые русские каменотёсы и
прядильщицы, слесари и матросы,
директоры строек из вчерашних
шофёров и министры в солдатских
гимнастёрках. Пусть правы их
теоретики, пусть права сама их
жизнь! Уэллсу не должно быть до
этого дела. Он представитель своего,

британского буржуазного мира, он частица того класса Британии, который на протяжении веков безраздельно господствует над величайшей мировой империей. Он, Уэллс, не только аккумулятор идей и мыслей, рождённых психологией этого класса — хозяина империи, но и один из тех, чьё назначение — внедрять эти мысли в сознание остальных рядовых британцев; его долг подавать эти идеи устойчивости британского мира так, чтобы они загорали все другие, могущие подорвать благополучие его класса, его мира, его империя. Но, быть может, он тогда попросту обманщик — такой же обманщик рядовых

англичан, каким чувствует себя сейчас перед самим собою! Что же, может быть, и так! Даже наверно так оно и есть. «Обман во спасение». И разве церковь вот уже два тысячелетия не занимается тем же самым?..

Окутанный клубами табачного дыма Уэллс неподвижно сидел в кресле с высокой резной спинкой. Он так ухватился за подлокотники, будто ему нужно было собрать все силы для сопротивления чему-то, что он видел за колеблемою ветром шторой; будто он боялся, что уже сейчас этот ветер превратится в вихрь, ворвётся сюда и вырвет его навсегда из удобного, похожего на

старинный трон кресла.

Взгляд Уэллса был устремлён на окно. Высоко в небе над Кремлём, отсечённое от земли чернотой ночи, трепетно алело полотнище флага, ярко освещённое невидимым прожектором. Несущееся впереди звёзд, мерцающих в далёком небе, оно казалось Уэллсу знаменем таинственного, космически величественного мира.

Он долго сидел у окна, потом раздражённо поднялся и повернулся к нему спиной. Это яркокрасное полотнище сияло, переливаясь перед ним, как знамение его проигрыша в споре, который он вёл всю жизнь. Ему ещё никогда не было так ясно,

как сегодня, что, формально отрекшись от фабианства, он никогда не уходил от него. Его проповедь грядущего царства технократии — только версия фабианского эволюционизма. Вся его жизнь ушла на утверждение того, что русская революция зачеркнула уже на шестой части земного шара. Если мыслить историческими масштабами, как он пытался мыслить всегда, то...

Может быть, было бы лучше для него, Уэллса, никогда не вспоминать о приглашении Ленина: «Приезжайте в Россию через десять лет». Было бы лучше не приезжать теперь. Он приехал, чтобы убедиться, что вся его жизнь оказалась

ошибочным утверждением
ошибочных вещей. Даже трудно
поверить, что это он сам сказал
когда-то: «Советское правительство
должно послужить исходной точкой
новой цивилизации» и
«созидательная и воспитательная
работа большевиков, как скала
надежды, возвышается над
окружающей бездной». Гордиться ли
ему тем, что когда-то у него хватило
смелости написать эти строки, или
жалеть о них? Ведь сколько бы он ни
спорил теперь с самим собою —
читатели хотят верить этим словам, а
не его новым героям. Человечество
потому и сумело пронести светоч
своих идеалов сквозь века мрака, что

всегда стремилось верить таким, хотя бы нечаянно вырвавшимся возгласам правды, а не злобному бормотанию призраков, вроде вылезшего из «Каинова болота» Паргейма.

Какое смятение в душе!..

Неужели прав был Энгельс, говоря, что фабианцы понимают неизбежность социальных переворотов, но страх перед революцией — их основной принцип. Может быть, «Россия во мгле» — не правда о том, какою он видел Россию, а всего лишь защитная реакция против того, что он боялся провидеть?..

Он не знал... ничего не знал, но ему хотелось думать, что никто не

смеет сказать, что он, Герберт Джордж Уэллс, не потратил жизнь на поиски истины. Но сможет ли хоть кто-нибудь сказать, что он нашёл эту истину, если он и сам не смеет об этом подумать? И что это была за «истина»?! Искать всю жизнь и найти совсем не то, что искал!.. Современный капитализм неизлечимо жаден и расточителен! Это Уэллс знает и сам, потому он и издевался всю жизнь над капиталистами. «Пока капитализм не будет разрушен, он будет продолжать глупо и бесцельно растрачивать человеческое достояние, бороться со всякими попытками эксплуатировать

природные богатства для всеобщей пользы, а так как конкуренция является его сущностью, он неизбежно будет вызывать войны...» Ему помнится так.

Что же, Уэллс не спорил с этим и тогда, в двадцатом году, не спорит и теперь. Что же?.. Бытие не вечно — важно то, что останется после тебя... А что останется после Герберта Джорджа Уэллса? Романы, утверждающие очевидные ошибки выдуманных героев?..

Уэллс устало провёл ладонью по лицу, разделся. Но и лёжа в постели, он продолжал думать о том же. И всякий раз, когда он поворачивался на правый бок, ему становилось

видно окно и за ним уносящееся в тёмную даль сияющее алое знамя. И так ярко было это видение, что Уэллс до осязаемости ясно представлял его себе даже тогда, когда закрывал глаза.

Он встал, подошёл к окну и нетерпеливо задёрнул тяжёлую штору.

Заметив, что Лемке притормозил и намеревался повернуть направо, Винер сказал:

— Прямо!

— Но, господин доктор, я хотел проехать по Виландштрассе.

— Нет, нет! — раздражаясь, крикнул Винер. — Вам говорят — прямо! Вечно у вас своё мнение!

Переждав поперечный поток автомобилей, Лемке послушно пересёк Курфюрстендамм. Приходилось делать ненужный крюк. Но Винер не выносил возражений, и Лемке должен был ехать, как тому заблагорассудится. В конце концов,

за бензин платил Винер.

А Винер хотел ещё раз взглянуть на витрину антиквара на углу Вильмерсдорф и Зибельштрассе. Было любопытно узнать, продан ли этюд Маркэ. Чортов торгаш просил за него вдвое больше, чем он стоит. Останавливаться у лавки Винер, конечно, не станет, чтобы не обнаружить своего интереса.

Автомобиль поравнялся с антикварным магазином, и, к своему разочарованию, Винер увидел, что интересующего его полотна в окне уже нет. Значит, кто-то из новых собирателей опять опередил его! Они готовы платить какие угодно деньги, лишь бы на полотне была более или

менее известная подпись.

Однако дело сейчас не в нуворишах, а в плане, задуманном Винером благодаря случайному вмешательству Асты.

Девчонка молодец! У неё отцовская голова! Несмотря на свои шестнадцать лет, она прекрасно разбирается в политике. «Теперь, папа, — заявила она, — нам надо собирать не изображения христов или купальщиц, а портреты фюрера и его шайки». Может быть, это вырвалось у неё случайно. Но сказано верно. Да, он отведёт под картины нацистского содержания угол направо от входа, чтобы эта часть коллекции первую бросалась в

глаза.

Автомобиль остановился. Лемке соскочил со своего места и отворил дверцу. Винер выставил одну ногу и огляделся по сторонам, будто чего-то опасался. Затем не спеша вылез на тротуар и окинул взглядом самый обыкновенный дом, каких тысячи в Берлине. В них живут, вероятно, тысячи никому не известных начинающих художников, вроде этого Цихауэра. В прошлый свой приезд Винер уже договорился с ним об изготовлении копии с работы кого-нибудь из лучших мастеров. Когда Винер узнал от своего портного о существовании этого Цихауэра, он осторожно познакомился с двумя

копиями, которые тот делал, ещё будучи в Школе искусств. Копии были великолепны. Нынешняя ситуация тоже вполне соответствовала планам Винера: художник сидел без пфеннига и, наверно, готов был взяться за любой заказ.

Лифт остановился на пятом, последнем этаже.

Когда Винер вошёл в мансарду, художник лежал на диване. При появлении Винера он нехотя спустил ноги с дивана, не спеша поднялся и, не запахивая пижамы, пошёл навстречу гостю. От Винера не укрылось, что Цихауэр мимоходом накинул простыню на мольберт.

Винер решил, что под этой простыней скрывается набросок того, о чём они толковали. Но как мог художник заниматься копированием тут, в своём ателье, вдали от оригинала?.. Впрочем, на этот вопрос могли, повидимому, ответить разбросанные повсюду многочисленные изображения Иисуса. Это были репродукции картин разных мастеров — целая груда фотографий, гравюр и просто открыток. Значит, Винер не ошибся: Цихауэр уже занят его заказом! Даже не получив задатка! Видимо, малый ещё голоднее, чем можно было предположить. Прекрасно! Прекрасно! Сейчас Винер его

ошеломит: «По боку всех христов, милейший!» И изложит уже сложившуюся у него в голове идею будущей картины, которая будет называться «Фюреры». Нечто вроде «Ночного дозора» Рембрандта — все главари коричневой шайки в сборе, пышные мундиры, ордена, знамёна! Громы и молнии!

Потирая руки, Винер стоял в ожидании, что художник заговорит первым и поделится своими замыслами. Но Цихауэр тоже молчал и до неделикатности пристально разглядывал лицо Винера. Будто речь шла не о копии с изображением распятого, а о портрете самого заказчика. Его портрет! Скоро Винер,

конечно, закажет его. Но кому? Это будет первоклассный, признанный мастер, чьё полотно на выставках привлечёт внимание одной подписью; либо, если уж это будет дебютант, то такой, который его портретом начнёт восхождение к вершинам славы!

Цихауэр с такой силой засунул руки в карманы дешёвой полотняной пижамы, что ткань обтянула его узкие плечи и впалую грудь с выступающими рёбрами. Винер впервые заметил, до чего тош художник. Впрочем, он впервые обратил внимание и на нечто иное, что его чрезвычайно заинтересовало: смуглое лицо, высокий чистый лоб,

обрамлённый прядями длинных
прямых волос, горящие, немного
наискось разрезанные глаза,
рыжеватые усики и такая же
рыжеватая, повидимому, очень
мягкая бородка — все это делало
Цихауэра удивительно похожим на
того, за чьим изображением Винер
сюда пришёл. Это сходство
показалось Винеру знаменательным.
Он сделает хорошее дело с этим
парнем!

Видя, что хозяин не спешит
предложить ему стул, Винер сам
переложил с одного из них пачку
альбомов на стол и сел. Художник
все молчал.

— Послушайте, — рассердился,

наконец, Винер: — что вы на меня уставились? Я же не заказываю свой портрет!

— Вы что-то сказали о портрете?.. Извините, у меня лихорадка. Я, вероятно, недостаточно сосредоточен.

— К сожалению, да, — недовольно проворчал Винер и тыльной стороной руки разгладил бороду снизу, от горла. — Мне хотелось бы закончить наше дело.

— Да, да... Прошлая беседа натолкнула меня на интересную идею. Я уже многое продумал. После вашего визита я кое-что узнал о вас.

— Позвольте, это моим делом было наводить о вас справки! —

возразил Винер и беспокойно заёрзал на стуле.

— О, прошу простить! Это все проклятая лихорадка... Впрочем, не то, не то... Когда меня трясёт, голова работает необыкновенно ясно! — Цихауэр поёжился от озноба. — Я расскажу вам мой замысел.

Подчиняясь безотчётному любопытству, Винер снял шляпу и положил её на стол. Он надеялся, что, изложив замысел, художник поднимет простыню с мольберта. Винер с одного взгляда поймёт, стоит ли об этом говорить.

— Я расскажу вам свою идею, — повторил Цихауэр. — Вы видели когда-нибудь работу Давида?..

Герард Давид, «Крещение господне»,
что висит в Брюгге?

— Я помню репродукцию... —
неуверенно сказал Винер.

— Помните лицо Иисуса? Это
лицо заучившегося еврейского
юноши, из которого родители хотят
сделать пророка. В те времена это
было небезвыгодной профессией.
Если вы не настаиваете на
портретном сходстве с известными
изображениями Иисуса, то я
предложил бы сделать распятого
олицетворением Германии, простого
немца, обыкновенного, недалёкого
немца. А страже я дал бы лица
наиболее известных сподвижников
Гитлера; офицер — он сам... В его

руке копьё. Оно занесено, чтобы нанести удар распятой Германии...

— Послушайте! — воскликнул в отчаянии Винер. — Вы сошли с ума! Я не хочу вас слушать! — Он решительно взялся за шляпу. — Вам нужно прийти в себя после лихорадки. Так мне кажется, господин Цихауэр!

— Да, да! Вы, кажется, правы, — покорно ответил художник.

Несколько мгновений он смотрел на Винера широко открытыми, лихорадочно горящими глазами и, как казалось Винеру, не видел его и даже, кажется, забыл, что перед ним солидный заказчик, которому дорого время и которому,

кроме того, вовсе не доставляет удовольствия торчать в этой душной мансарде... Фу, безобразие! Как странно молчит этот субъект. Винеру мучительно хотелось прервать молчание художника, но непривычная робость вдруг овладела им; он не мог себя заставить сказать что-нибудь, что вернуло бы художника на землю.

А Цихауэр действительно не видел в эти минуты сидящего перед ним Винера. Его взор ушёл во внезапно представшее ему видение будущей картины. Ощущение брезгливой неприязни, вызванное в нём прошлым свиданием с Винером, превратилось сейчас во вспышку

острой, непреодолимой ненависти. Рыхлая жёлтая физиономия фабриканта представилась ему таким ярким выражением идеи наживы, сквозившей в каждой складочке жирного лица, в каждом волосе его бороды, в каждом движении его жёлтых пальцев и жадно прищуренных глазах, что изображение это показалось Цихауэру достаточным для олицетворения всей алчности всех спекулянтов Германии, торопливо присасывающихся к телу несчастного народа, гонимого на Голгофу нацистами. Будь она проклята, эта жёлтая жаба с бородой ассирийского царя! Цихауэр даст такое полотно,

что, взглянув на него, Винер сам побежит за верёвкой.

— Главному персонажу картины — торгашу, пришедшему приторговать вещи казнённого, я дам ваше лицо. Да, да! — крикнул Цихауэр и, видя, что Винер в испуге попятился к двери, шагнул к нему, вытянув руки. — Если вы окажете мне честь своим посещением недели через две-три, я покажу вам первые наброски. А эскиз вашей головы я уже сделал.

Цихауэр подбежал к мольберту и сорвал простыню. Несколько мгновений Винер стоял в оцепенении, потом поднял руку, и его трость с треском вонзилась в

натянутый на подрамнике холст.

Винер выбежал из мансарды, пронёсся по коридору и, не помня себя, бросился в автомобиль.

Кто-то осторожно постучал в дверь чердака. Это был сын хозяйки. Цихауэра звали в табачную лавку, к телефону.

Художник набросил пальто на пижаму и сошёл вниз.

Хозяйка давно не видела своего жильца таким оживлённым. А ещё уверяет, будто у него лихорадка! Может быть, заказчик дал ему аванс?

— Алло, Аста? — кричал в трубку Цихауэр. — Да, да! Твой родитель был... Гром и молнии? Зато ты не можешь себе представить, что

за натура! Да, да, совершенно бесплатно... Отлично, я буду готов через четверть часа... Как всегда, на углу около часовщика...

Он уплатил десять пфеннигов за вызов и даже дал ещё пять пфеннигов мальчику, бегавшему за ним. Владелица табачной лавки с удивлением глядела на необычно возбуждённого художника.

— Пачку «Реємстма», мадам, — сказал Цихауэр, роясь в кармане в поисках денег.

— Берите, берите уж, — хозяйка протянула ему сигареты. — Я запишу.

Она поняла, что пятнадцать пфеннигов были у него последними.

— Приятного вечера, мадам!

В дверях лавочки он столкнулся с новым посетителем.

Когда дверь за Цихауэром захлопнулась, вошедший вынул блокнот и молча взглянул на хозяйку. Без вопросов понимая, о чём идёт речь, она отрапортовала:

— Дама. Фамилии не назвала. Голос тот же, что всегда.

— Но называет же он её как-нибудь?

— Да, кажется, Аста.

— Не кажется, мама, а наверное, — вмешался мальчик, — он всегда говорит: «Аста».

Посетитель взял мальчика за мочку уха и поощрительно сказал:

— Из тебя выйдет толк, малыш!

— Я хорошо знаю, кто вы, потому готов вам служить!.. Хайль Гитлер!..

Покупатель поощрительно щёлкнул его по затылку.

Эгон провёл ладонью по блестящим лацканам смокинга, как бы снимая невидимые пылинки. Отец не выносил неряшливости в костюме. А сегодня, в день его рождения, по заведённому обычаю всё должно было быть особенно торжественно. Так же, как тогда, когда Эгон был мальчиком, юношей, молодым человеком, когда вокруг праздничного пирога стояли не шестьдесят пять свечей, а сорок, пятьдесят...

В дверях гостиной Эгон остановился. Он увидел мать, склонившуюся над Эрнстом,

развалившимся в кресле с газетой в руках. Фрау Эмма ласково гладила сына по голове. Заслышав шаги, она выпрямилась, улыбнулась Эгону и поцеловала Эрнста.

— Когда я касаюсь губами его лба, — сказала она, — мне слышится аромат невинной юности.

Эгон не выносил, когда мать начинала говорить цитатами из плохих «семейных» романов. Резче, чем следовало, он ответил:

— Вы, мама, переоцениваете невинность этого «мальчика».

— Ах, перестань, пожалуйста, ты всегда стремишься испортить мне настроение!

Сердито шурша платьем, она

выплыла из комнаты.

Эгон через плечо Эрнста поглядел в газету. Среди мелких заметок одна остановила его внимание — то было сообщение о смерти Марии Кюри.

— Для неё нашлось всего три строки, а тут же рядом о смерти какого-нибудь бандита напишут целую статью.

— О ком ты говоришь? — спросил Эрнст.

— Мария Кюри!

— Какая-нибудь французская девчонка?

Эгон в изумлении посмотрел на брата:

— Ты не знаешь?

— Я предпочитаю немецкий театр.

— Ты действительно «невинен» до полного идиотизма.

— Но, но!

Эрнст вынул сигареты и закурил. Эгон заметил, что сигареты дорогие, египетские.

— Откуда у тебя деньги? Даже я не могу позволить себе таких.

— Каждый имеет то, что заслужил!

В комнату вошёл Отто, он был весел, уверен в себе. Вместе с ним в комнату проник терпкий аромат французских духов. Отто кивнул братьям.

— Боюсь, что я привёз нашему

старику плохой подарок от Гаусса, — сказал Отто. — Мой генерал прислал поздравление, но наотрез отказался приехать на чашку чаю. Ссылагается на дела.

Эгон нахмурился и сказал:

— Мне искренне жаль отца.

Эрнст пустил к потолку струю дыма и, вытянув ноги, откинулся на спинку кресла.

— Старик должен был во-время подумать о том, чтобы не остаться за бортом.

— Ему поздно переделывать себя, — с укоризной сказал Эгон.

— Эрнст прав, — заметил Отто. — Никогда не поздно повернуть, если знаешь, куда нужно

сделать поворот.

— Правильно, Отто! А ты, доктор, просто глуп, — сказал Эрнст. — Если бы мы все жили старыми взглядами, жизнь топталась бы на месте.

— Мне противно с тобою говорить, — безглаголиво проговорил Эгон.

— Ну, ну, милые братцы, перестаньте ссориться, — пробормотал Отто. — Лучше я расскажу вам новый анекдот...

— Это просто удивительно, — сказал Эгон: — Отто весел, а ведь чуть ли не вчера он был свидетелем того, как убивали Рема, которому он служил.

— Эгон понимает все удивительно примитивно. Я действительно намерен был служить рядом с Ремом, но это вовсе не значит, что я собирался служить Рему.

— Не понимаю...

— Ты действительно ничего не понимаешь! — с досадой отмахнулся Отто.

— А после этой резни стал ещё меньше понимать в политике наци, — согласился Эгон.

— Осторожнее, доктор! — проговорил Эрнст.

— Можно повеситься от одной мысли быть всегда и во всем осторожным, даже с глазу на глаз с

родными братьями! — Эгон прищурился на дымок своей сигареты. — А то, чего доброго, тоже станешь жертвой очередной ночи длинных ножей... Впрочем, не думаю, чтобы такие эксперименты можно было часто повторять. История не может этого позволить.

— Ты ошибаешься, доктор! — Эрнст был вдвое моложе Эгона, но говорил так, как если бы перед ним был желторотый юнец. — История Германии — это мы! И она не простит ничего тем, кому не простим мы. Варфоломеевская ночь? Нельзя все понимать так буквально. Ночь может быть такою долгой, как нам нужно. Мы можем растянуть её

на месяц, на год, на век.

— Вековая ночь над Германией?

— Над Германией? Над Европой, над миром!

— На все время существования режима наци?

— На то время, пока мы не покорим земной шар. Чтобы покончить с Ремом, оказалось достаточно одной ночи. Чтобы расправиться с евреями, нам может понадобиться год.

— Год святого Варфоломея!

— Да. А там французы. Дальше — очередь славян, негров, — бойко тараторил Эрнст. — Может быть, это будет Варфоломеевский век.

В дверях появилась Анни,

высокая красивая девушка в наколке горничной, и доложила о приходе семейства Винер.

— Доложите фрау Шверер, — сказал Эгон и пошёл встречать гостей.

Дверь в столовую распахнулась. Стал виден длинный, нарядно убранный стол. Посредине стоял огромный пирог, окружённый свечами. Шестьдесят пять из них горели. Шестьдесят шестая оставалась незажженной. Фрау Шверер торжественно пронесла своё грузное тело через гостиную. По пути она не преминула ласково дотронуться до щеки Эрнста.

— Пойдёмте же, дети, —

сказала она, направляясь в переднюю.

Послышались голоса гостей.

Отто взял Эрнста под руку и пошёл им навстречу.

Анни докладывала о прибытии новых гостей. Гостиная наполнялась. В центре мужского кружка оказался Эрнст. Закинув ногу на ногу, он говорил о вещах, о которых писали во всех газетах, но которые здесь, в генеральской гостиной, звучали совершенно по-новому.

— Да, — говорил Эрнст с важным видом, — из немца нужно сделать первобытного человека! Иначе мы ничего не добъёмся. Человек утратил врождённые

инстинкты бойца. Мы сумели воспитать овчарку и добермана и ничего не делаем для улучшения породы наших людей.

— Стыдно слушать, — пробормотал какой-то старик, но так тихо, что его никто не слышал.

— На-днях, — сказал Винер, — мне пришлось столкнуться с интересным случаем духовного сопротивления «новому порядку». Оказывается, даже искусство может стать полем борьбы с тем, что несёт нам наш истинно немецкий национал-социализм.

Эрнст с любопытством прислушался.

Сгущая краски и выдумывая

подробности, о которых ему художник не говорил, Винер изложил замысел Цихауэра. Гости заспорили. Эрнст подошёл к Винеру и спросил:

— Кто этот негодяй?

— Его зовут Цихауэр. Он учится в той же школе, что и Аста.

— Папа! — Аста вскочила с места. Несколько мгновений она, задыхаясь от негодования, стояла перед Винером, потом выбежала из комнаты.

Фрау Шверер пригласила гостей к чайному столу.

Гости усаживались, когда Анни подошла к Отто и шопотом сказала:

— Вас просят к телефону.

Отто извинился перед соседкой,

крупной, смело декольтированной блондинкой, и вышел.

Он шёл по коридору свободной, немного пританцовывающей походкой. У него было отличное настроение. Если ему удастся перехватить у Эрнста, у которого, кажется, снова завелись деньги, можно будет кутнуть в каком-нибудь укромном местечке, увезя туда соседку по чайному столу. Говорят, у неё достаточно мягкое сердце... А сейчас он устроит так, чтобы её мужа, полковника, немедленно вызвали в штаб округа. Вот только переговорит с Сюзанн, — повидимому, это она вызывает его к телефону. От неё-то он легко

отделается, сославшись на семейный праздник.

Отто небрежно подхватил из рук Анни телефонную трубку.

— У аппарата!..

Блеск монокля в его глазу погас. Стёклышко выскользнуло из-под изумлённо поднявшейся брови.

В страхе, словно это был кусок раскалённого металла, Отто выпустил трубку, и она закачалась на шнуре. В ней всё ещё отчётливо звучал негромкий, спокойной голос:

— Здравствуйте, Шверер, это я, Кроне...

Как ни скрывал Тельман от тюремной стражи своё общение с мышкой, надзиратели её заметили. В тот же день щель, в которую она приходила в камеру, зацементировали. Для администрации было достаточно того, что мышь прибегает с «той» стороны, из мира, находящегося за стенами тюрьмы, оттуда, где люди свободно ходят, разговаривают, где светит солнце и даже воздух разгуливает не втиснутый в стены камеры.

Помощник директора тюрьмы, ведавший внутренним распорядком,

в речи, обращённой к надзирателям, назвал мышь «дыханием жизни, запретной для наказуемых». Развивая эту мысль, он пришёл к выводу, что мухи являются таким же дыханием жизни, вестником того, что по ту сторону закрытых козырьками тюремных окон существует мир.

Об этом мире заключённым надлежало знать только то, что считала нужным сообщать администрация тюрьмы — то-есть распоряжения тюремного ведомства и суда, непосредственно касающиеся самих заключённых.

Может показаться абсурдом, но помощник директора действительно был близок к истине. В тягостной

тишине одиночного заключения даже появление в камере мухи было иногда развлечением. Муха летала. Это было иллюзией пребывания в камере свободного существа. Муха ползала по стене или по столу, где можно было даже оставить несколько незаметных надзирателям крошек хлеба, чтобы привлечь её внимание. За этим можно было наблюдать: скоро ли запах хлеба привлечёт муху? Сколько времени нужно мухе, чтобы доползти от края стола до крошки?.. Сколько сантиметров в секунду пробегает муха, — следовательно, сколько она пробежит в час и сколько времени ей нужно, чтобы доползти от камеры до

тюремных ворот?..

Наконец, если прислониться спиною к стене и стоять неподвижно, то муха непременно сядет на лицо, и чем больше будешь её гнать, тем назойливее она будет лезть к тебе. Это может превратиться в своеобразную игру, во время которой можно даже рассмеяться. Правда, про себя, так чтобы не было слышно в коридоре, но всё-таки рассмеяться...

Дверь камеры со звоном отворилась, и сопровождаемый надзирателем кальфактор внёс стремянку. Он молча взобрался к самому потолку и укрепил там липкий лист мухомора. На полчаса

это развлекло Тельмана: лист был испещрѐн рекламными сообщениями изготовившей его фирмы. Часть текста была напечатана крупно, часть мельче, что-то ещё мельче. Было забавно, прикрыв один глаз рукою, разбирать эти надписи. Словно в кабинете окулиста: «Теперь, прошу вас, закройте ладонью левый глаз... Что вы видите на третьей строчке снизу?.. Прочтите, пожалуйста... Ах, вы не можете разобрать?.. А что вы разбираете?.. Правый глаз у вас лучше левого». — «Благодарю вас, господин доктор, я это давно знаю. В том-то и заключается дело: оба глаза должны видеть одинаково...» — «Ах вот как?!. Сейчас мы их уравнием...

А простите за вопрос: какова ваша специальность, какую работу вы выполняете?» — «Моя специальность?»

Да, действительно, какова же теперь его специальность?.. Сидение в тюрьмах?.. Пожалуй, это на самом деле будет его единственной специальностью. На сколько времени? Вероятно, до тех пор, пока он будет жить назло Гитлеру и наперекор всем стараниям нацистов загнать его в могилу. Он гораздо охотнее, конечно, ответил бы, что его старой и прекрасной специальностью является борьба за свободу немцев, за изгнание из Германии полчищ паразитов,

облепивших трудовой немецкий народ, за свержение фашизма и очищение от его миазмов всей немецкой земли. Да, он охотней ответил бы так. Но имеет ли он право на такой ответ?.. Что он может сделать, что он ещё сделает в этой камере или в тех камерах, куда его загонят тюремщики, чтобы оправдать подобный ответ?.. Мало, очень мало может он сделать... Почти ничего...

Его работа?..

Тельман опускает прижатую было к глазам руку и в недоумении смотрит на плиты пола...

Какую работу он тут выполняет? Чистит каждое утро и каждый вечер эти плиты?.. Сколько же времени он

не выполняет уже никакой полезной работы?

А впрочем... Впрочем, можно ли сказать, что он ничего не делает? Смог ли бы он протянуть здесь столько, сколько уже протянул, не утратив власти над собой, если бы ничего не делал?.. Разве не самое важное в жизни работа для своего народа и для своей партии? А он может, не кривя душой, сказать, что и здесь он отдавал, отдаёт и клянётся, что будет всегда отдавать все свои силы и помыслы именно им: всему прекрасному народу и своей великой партии!.. В этом-то он может себе дать слово, как готов дать его кому угодно другому. Конечно, то, что он

может сделать отсюда, микроскопически мало. И все же... Все же, может быть, хоть крупица его дела и теперь будет внесена в тяжкий, подпольный подвиг партии...

Тельман поймал себя на том, что продолжает стоять, раздвинув ноги и глядя в запылённое, закрытое высоким козырьком окно, где не видно даже крошечного клочка неба. Только по слабому отражению света на внутренней стороне козырька можно с известным приближением догадываться о том, что творится там в вышине: светит ли солнце, или небо заложено тучами, или, может быть, по нему быстро-быстро бегут

облака... Бегут... Двигутся... Ах, как бы хотелось ему бежать, двигаться... Хоть немного движения. Его могучее тело с такими крепкими ещё недавно мышцами истосковалось по движению. Неподвижность мускулов почти так же невыносима, как неподвижность мысли. Но он может усилием воли, вопреки всему, что делают тюремщики, заставить свою мысль работать, бежать, нестись в любом направлении, с любой скоростью. А что он может сделать для своего бедного тела?.. Три шага вперёд... Три шага обратно...

Он стиснул кулаки заложенных за спину рук. Бессильный гнев на

короткое мгновение залил сознание. Но Тельман привык бороться с этим бесполезным чувством: что может тут дать бесполезный гнев? Нужно сохранять сознание ясным. Он расцепил сжавшиеся было до боли пальцы.

За спиною снова раздался хорошо знакомый звук отворяемой двери. Но он не обернулся. Зачем? До тошноты знакомое бледное лицо забитого кальфактора с испуганно бегающими воспалёнными глазами. За ним хмурая морда надзирателя...

В поле зрения вошла вытянувшаяся из рукава полосатой арестантской куртки худая рука кальфактора. Тазик с серыми

полусваренными макаронами, похожими на клубок перепутавшихся червей.

Но вот засунутый в тазик палец кальфактора, — жёлтый, костлявый, с грязным ногтем, — нечаянно поддевает одну макарону, и она падает на стол рядом с тазиком.

Тельман не оборачивается. Он остаётся неподвижным, пока не затворится дверь и шуршащие шаги надзирателя не замирают у соседней камеры. Тогда Тельман присаживается к столу и нехотя подцепляет ложкой несколько макарон. Но все его внимание сосредоточено на макароне, обронённой на стол кальфактором.

Будто она должна быть вкусней остальных. Тельман смотрит на неё, прищурившись, все время, пока ест. Только тогда, когда в тазике ничего не остаётся, он берет двумя пальцами последнюю, лежащую на столе макарону. Она уже холодная и скользкая, как настоящий червяк. Он медленно подносит её ко рту и откусывает по кусочку, как если бы это была трубочка с кремом. Медленно, осторожно, кусочек за кусочком...

Вот его зубы ощутили внутри макароны что-то постороннее. Но он не прекращает кусать. Только ловким движением языка засовывает это постороннее за щеку. Только ночью,

улёгшись на отпертую надзирателем койку лицом к стене, он сможет достать из-за щеки крошечный кусочек тонкой пергаментной бумаги, на котором увидит выведенные несмываемой тушью микроскопические буквы:

«Пытаемся спасти Иона из Колумбии. Всегда с тобой. Роза».

Кусочек бумаги так мал, что Тельману ничего не стоит его проглотить.

«Ион»... Речь идёт о товарище Ионе Шере. Спасти Шера? Значит, его жизнь в опасности. Ну, конечно, раз речь идёт о Колумбия-хауз — этом нацистском застенке, куда заточают тех, чьи дни сочтены.

Нервная дрожь против воли пробегает между лопатками Тельмана: Колумбия-хауз!.. Несколько месяцев тому назад Тельману дали знать, что Шер, на плечи которого пала основная тяжесть работы в подпольном ЦК после ареста Тельмана, тоже схвачен гестапо. И вот жизнь Иона тоже в опасности. Тельман отлично понимает, что это значит. Все вполне закономерно. Гитлеровцы боятся Шера. Они боятся его даже заключённого в тюрьму... Ласковая усмешка трогает губы Тельмана: «Ведь Ион — коммунист; Ион — гамбуржец!» Эти сволочи знают, что значит иметь противником

гамбургского коммуниста!.. Это же гвардия германского пролетариата!..

Ион Шер!.. Тельман отлично помнит, с какой непримиримостью он боролся с трусливыми оппортунистами-брандлеровцами, как высоко нёс знамя борьбы в дни гамбургского восстания, как громил троцкистов на эссенском партийтаге. А кто, как не Ион Шер, дрался в двадцать девятом с примиренцами, пытавшимися добиться исключения из ЦК самого Тельмана? Да, пожалуй, Шер — один из самых крепких в числе тех, кто в подполье повёл партию на борьбу с гитлеровцами. И вот... Жизнь Шера тоже в опасности...

Тельман напрягает память: разве ему не сообщали в своё время, что там же в Колумбии томятся Эрих Штейнфурт, Эуген Шенхаар и Рудольф Шварц — активные функционеры партии?.. Значит, теперь ещё и Шер... Неспроста нацисты свозят в это проклятое место лучших сынов партии. Там что-то задумывается... Их жизнь действительно в опасности...

Тельман не спит всю ночь. Только под утро, утомлённый бессонницей, он смыкает веки и перед глазами появляются крошечные буковки: «Всегда с тобой. Роза»...

Роза... Милая Роза... Роза...

Имя жены застывает у него на устах. Он, наконец, засыпает коротким, тревожным тюремным сном под ласковым взглядом больших карих глаз. Это глаза Розы.

*«Господин Бойс.
Неожиданно
выяснилось, что в день, на
который мы с вами
договорились насчёт
натирки полов, меня не
будет дома. Прошу вас
прийти двумя днями
раньше в те же часы.
Необходимо приготовить
мастику «Экстра», а то
пол очень затоптав из-за
плохой погоды последних
дней.*

Ал.Трейчке».

Бойс повертел открытку в руке и даже попытался посмотреть на свет. Но это была самая обыкновенная открытка из серого тонкого картона, какие он нередко получал от своих клиентов. На ней не было никаких особенных отметин. Невозможно было угадать, прошла ли она через руки цензоров.

Впрочем, через минуту Бойс решил, что подобные размышления излишни. Какое же письмо в Германии не проходит теперь нацистской цензуры? Глупый вопрос! Вот если бы можно было узнать, догадались ли в цензуре о том, что здесь сказано?! Но и этого нельзя было угадать. Оставалось

только надеяться, что постороннему отгадать смысл сообщения было трудно потому, что оно не было зашифровано в обычном смысле. Ни один шифровальщик в мире ни одним существующим или вновь придуманным ключом не мог бы раскрыть, что читать открытку следовало так:

«Произошли неожиданные и важные события, требующие связи не в обычный вторник, а в воскресенье. Необходимо подготовить цепочку из самых надёжных людей, а то в последнее время усилилась работа полиции; необходима осторожность».

Воскресенье было завтра —

открытка пришла во-время. Действительно ли была в последние дни такая дурная погода? Если нет, то эти слова непременно бросились в глаза цензору, и адресат, — то-есть он, полотёр Ян Бойс, — уже взят под наблюдение.

Бойс посмотрел на календарь и наморщил лоб, вспоминая.

Да, в среду и в четверг шёл дождь.

Значит, все в порядке?..

Может быть...

А может быть, и нет...

Бойс подошёл к окошку и внимательно осмотрел улицу перед домом. Был виден только противоположный тротуар. Но ведь

шпики обычно и топчутся на противоположной стороне улицы, чтобы иметь возможность наблюдать за окнами. Это общеизвестно... А могут ли они знать его окно?.. Разумеется, если письмо уже обработано полицией, то они знают этаж, окно, все. Даже в кармане каждого из них лежит его фотографическая карточка...

Бойс усмехнулся: карточка! Во-первых, он на этой карточке ещё наверняка с усами. Во-вторых, эти-то карточки и помогают распознать слежку: не полагаясь на память, агенты, впервые выслеживающие свой объект, имеют обыкновение сличать каждого выходящего из

подъезда с фотографией. Они воображают, будто проделывают это незаметно. Но их осторожность — это осторожность тюленей. Они легко выдают себя опытному и внимательному глазу... Так, так!.. Давайте же понаблюдаем за улицей, время у нас ещё есть!..

Бойс прислонился плечом к косяку окна и принялся изучать каждого, кто, казалось ему, шёл медленнее, чем следовало итти занятому человеку. Прохожих было не так много, чтобы агент полиции мог остаться незамеченным в толпе.

Теперь следовало проверить, нет ли наблюдения из-под ворот соседнего дома.

Бойс взял сумку и отправился в булочную на той стороне улицы. Пока шёл разговор с булочницей о том, о сём, Бойс в окно лавки осмотрел ворота соседних со своим домов. Ничего подозрительного не было видно.

Только после этого он решился отправиться в путь. Все связные были людьми занятыми. Их следовало предупредить, что завтра нужно быть на местах.

Окольным, самым путаным путём, какой только мог выдумать, Бойс пошёл в пивнушку, которую функционер-подпольщик содержал по заданию партии как место, удобное для конспиративных

свиданий, и как передаточный пункт подпольной связи. После того, дважды пересев с автобуса на метро и обратно, Бойс побывал у Клары наборщицы, у столяра и у отдохавшего после ночной смены водителя автобуса. Все это были люди, на которых можно было положиться в самом сложном и опасном деле. Оставалось предупредить шофёра Франца Лемке — единственного во всей цепи, кто располагал быстрым средством передвижения. Но трудность заключалась в том, что сегодня вовсе не был день натирки полов у фабриканта Винера, где служил Лемке. Появляться там неожиданно

без основательного предлога не следовало. Бойс решил позвонить Францу по телефону и условиться о свидании вечером в сосисочной, где можно поговорить, не привлекая ничьего внимания и даже не показывая, что они знакомы.

На каждой остановке автобуса, пересаживаясь с одного транспорта на другой, входя в дверь и выходя из неё, Бойс тщательно проверял чистоту своих следов. Снова и снова он убеждался в том, что все благополучно... И все же, только возвратившись домой и ещё раз тщательно убедившись в том, что никого не привёл за собой, он окончательно успокоился. Остальную

часть дня он неумоимо бегал по субботним клиентам. Это был день, когда он натирал полы у мелких чиновников и торговцев — предосторожность, необходимая для того, чтобы не возбуждать разговоров в союзе полотёров. Там было достаточно завистливых глаз, ревниво следивших за клиентурой друг друга. Далеко не все могли похвастаться такими заказчиками, какие были у Бойса. Ему завидовали. Это было неудобством, заставлявшим его всегда быть начеку. Он в шутку говорил самому себе, что его профессия ничуть не легче работы плясуна на проволоке. Разница только та, что для Бойса сорваться —

значило упасть не на песок арены, а прямо в объятия гестапо и, вероятнее всего, стать одним из тех, на ком гитлеровский палач пробует остроту своего топора.

Но такие мысли приходили ему только в минуты усталости и раздумий о сложности обстановки, в какой приходилось жить и работать коммунистам в Германии.

Когда на следующий день Бойс увидел лицо отворившего ему дверь Трейчке, полотёр сразу понял, что случилось нечто необычайное: голубые глаза адвоката были совсем серыми, серой стала кожа на его щеках, и углы рта были устало опущены. Таким усталым и

расстроенным Бойс ещё никогда не видел этого человека.

Не задавая вопросов, Бойс вынул из зелёной суконки щётку и принялся натирать пол мастикой.

Трейчке, зябко пряча руки в рукава домашней куртки, уселся на обычном месте — в кресле напротив камина. Но сегодня камин не топился. В нем нечего было сжигать, так как Бойс не принёс ни одной папиросной коробки для коллекции адвоката.

К удивлению Бойса, слова о затоптанных полах оказались сущей правдой: словно за эти дни в квартире перебывало много людей из тех, кто не ездит в автомобилях, а

шагает по зимней слякоти пешком.

Шаркая взад и вперёд ногою, Бойс изредка поглядывал на Трейчке, ожидая, что тот, наконец, тем или иным способом передаст ему поручение, ради которого вызвал его сюда и мобилизовал подпольную связь. Но Трейчке сидел молча, рассеянно скользя взглядом по комнате, словно не замечая полотёра. Прошло много времени, прежде чем он, наконец, проговорил нарочито громко, так, чтобы каждое слово дошло до отдушины в полу:

— Мне очень жаль, что я не смогу дождаться сегодня конца вашей работы... Придётся оставить вторую комнату не натёртой. Но это и не

такая уж большая беда: там не натоптано. Мне важно было привести в порядок эту комнату. Я вам очень благодарен. Придётся прервать ваше занятие до следующего раза. Больше я не могу оставаться дома. Сейчас я оденусь, и мы вместе выйдем, если вы ничего не имеете против... Я хотел бы угостить вас кружкой пива на вокзале... Можете пока вымыть руки.

Трейчке, повидимому, был так грустно настроен, что даже не покосился, как обычно, в сторону решётки и не показал ей язык. Хмуро оделся, молча запер за собою дверь и пошёл рядом с Бойсом к вокзалу.

На ходу он объяснил суть дела.

Стало достоверно известно, что Гейдрих отдал приказ покончить с секретарём и членом Политбюро подпольного ЦК КПГ товарищем Ионом Шером. До низовых инстанций гестапо этот приказ уже дошёл в обычной для таких случаев редакции: «убит при попытке к бегству». Нужно было немедленно довести об этом до сведения подпольного ЦК. Быть может, удастся ещё спасти Шера, переведённого в Колумбия-хауз и подвергаемого там мучительным пыткам. Может быть, ЦК найдёт путь для вмешательства международной общественности, прессы...

Вовсе не в обычае Трейчке было

делиться мыслями и переживаниями со связным Бойсом, но сегодня...

— Неужели нам не удастся его спасти? — проговорил он так негромко, что Бойс не сразу даже понял, что слова обращены к нему.

Впрочем, он и не знал, что можно ответить на такой вопрос. Ведь он знал одно: если бы не только спасение, но даже самое освобождение Шера зависело от усердия и смелости связных, он завтра же был бы за пределами Берлина. Но в том-то и дело: связь, даже если в данном случае её работа будет стоять жизни кому-нибудь из связных подпольщиков, — только половина дела. Может быть, и самая

опасная половина, но далеко не самая важная. И уж во всяком случае самая незаметная. Впрочем, последнее не имеет значения. Если бы можно было таким способом обеспечить свободу Шера, — так, чтобы никто и никогда не узнал о том, кто это сделал, — Бойс без колебаний занял бы его место в камере пыток гестапо. Он ясно отдавал себе отчёт в значении для партии такого человека, как секретарь ЦК Шер. Что такое по сравнению с ним простой связной Бойс? Самое маленькое колёсико в партийном аппарате! А впрочем, рассуждая таким образом, он, кажется, забывает давнишние уроки

старших товарищей. Ещё тогда, когда партия только готовилась к уходу в подполье, функционер Франц Лемке говорил ему:

— Ты недооцениваешь значения связи в подпольной работе. Когда нельзя позвонить по телефону, послать письмо, когда ответственные товарищи даже не могут повидаться друг с другом, роль хорошей связи становится огромной. Но мало того, что такая связь должна быть надёжна: передать всё, что нужно, в срок и без путаницы, подумай ещё, какие последствия может иметь болтливость связного, фактически держащего в своих руках жизнь многих работников ЦК и

функционеров подполья!

— Это достаточно ясно, — с оттенком обиды ответил тогда Бойс, — каждый партиец, а не только связной должен уметь держать язык за зубами там, где речь идёт о делах партии.

Помнится, Лемке тут улыбнулся и тоном, мало соответствовавшим жестокому смыслу его слов, сказал:

— Ты только забыл, что тебя могут вызвать на откровенность, положив на живот доску и колотя по ней гирями или растягивая тебя на «кроватьке системы Кальтенбруннера».

— Я не знаю такой «кроватьки».

— Это очень простое

устройство, изобретённое, как можно судить по названию, неким Кальтенбруннером: спинки этого ложа раздвигаются при помощи сильных винтов. Если привязать руки к спинке над головой, а ноги к противоположному концу и начать их растягивать, то у многих уложенных в такую постель появляется желание рассказать все, чем интересуются гестаповцы.

— Ты нарочно пугаешь меня? — спросил Бойс.

— Нет, я только хочу, чтобы ты отчётливо понимал, что значит быть связным партийного подполья. Человек, будь он десять раз предан, должен трезво взвесить, на что он

готов, что может и чего не может. Доска с гирями, под которой у пытаемого из носа и горла хлещет кровь, или кровать Кальтенбруннера — это далеко не самое страшное, что имеется в Колумбия-хауз или подвалах на Принц-Альбрехт^[12].

После этого разговора Бойс провёл дурную ночь. Невозможно было заснуть, не решив вопроса: а что, если ему, Бойсу, положат на живот эту самую доску и двое здоровенных молодцов начнут молотить по ней гирями?.. Или прижгут ему подошвы... или... или вообще будут по ниточке вытягивать из него жизнь... Скажет он или не скажет?

На другой день он пришёл на обычное место в пивную «Старые друзья» и, когда к нему подсел Франц Лемке, сказал:

— Ты говорил, что для успеха работы по связи, на случай, если партии придётся уйти в подполье, хорошо бы мне заблаговременно переменить профессию?

— Да... Удобно стать мусорщиком.

— Видишь ли, — смущённо ответил Бойс, — у меня ведь одна рука, — и, будто это требовало доказательств, протянул над столом торчащий из рукава протез.

— Тогда, может быть, полотёром...

— Это больше подойдёт...

— Значит, ты...

— Да, я все обдумал...

Припомнил кое-что из времён войны и пришёл к выводу: принято думать о службе в армии, что это совершенно потерянное время, но вместе с тем армия, особенно во время войны, — не такая уж плохая школа. Особенно, ежели тобою командует какая-нибудь сволочь. Если ты это выдержал, не свихнувшись, — значит ты ещё можешь быть человеком.

Бойс стал полотёром, и вот теперь, когда партии действительно пришлось уйти в подполье, он уже вовсе не чувствует себя новичком, которого нужно чему-то учить и о

чём-то спрашивать...

Его мысли прервал Трейчке. Проходя пустынной улицей, он замедлил шаги и пересказал Бойсу суть поручения: устно передать члену ЦК — одному из немногих находящихся на свободе в Германии — о положении Иона Шера. Если в ближайшие дни какая-нибудь авторитетная международная организация — Комитет по борьбе за освобождение Тельмана или Красный Крест — не вмешается, то Шера можно считать обречённым на мучительную смерть. Гитлер хочет запугать коммунистов и всех, кто им сочувствует. Он хочет на Шере прорепетировать то, что собирается

сотворить с Тельманом. Сегодня Шер — завтра Тельман. Такова установка гитлеровской шайки.

Ион Шер!.. Да, это имя хорошо знакомо Бойсу. После ареста Тельмана именно Шеру пришлось провести всю тяжёлую работу по переводу партии на нелегальное положение. Сколько тайной корреспонденции переправила цепочка связных от Шера к рядовым функционерам партии и обратно!.. Вот уже три месяца, как Ион Шер арестован... Девяносто дней в руках гестаповцев!.. Это и есть то, о чём когда-то говорил Лемке: человек должен заранее знать все, чтобы понять, что он может и чего не

может...

— Вы понимаете, Бойс, — глядя в глаза полотёру, проговорил Трейчке, когда они расставались, — Шер должен быть спасён. От этого зависит не только его собственная жизнь, но и жизнь товарища Тельмана. Мы должны выиграть Шера, чтобы не проиграть Тельмана.

Бойс молча кивнул головой, допил глоток пива, ещё оставшийся в кружке, и пошёл на платформу. Трейчке сделал вид, будто задержался с расплатой за пиво. Они сели в разные вагоны, хотя обоим нужно было в Берлин.

Обстоятельства складывались

неблагоприятно: Лемке не мог принять сегодня участия в передаче, не рискуя вызвать подозрения, так как его хозяин Винер приказал ему весь вечер быть наготове. В цепи связных образовался прорыв. Сообщение об опасности, угрожающей Шеру, рисковало задержаться на сутки, или Лемке должен был найти какой-нибудь выход из положения. Он пришёл к выводу, что должен нарушить правила конспирации: нужно вовлечь в работу нового товарища, выполнявшего до сих пор лишь поручения в строго определённом направлении — на тюрьму Моабит. Лемке решил включить в работу

комсомольца Руппа Вирта. У Вирта есть велосипед, и хотя, конечно, медленнее, чем сам Лемке, но юноша сможет доставить сообщение, куда нужно, в ту же ночь. Расчёт Лемке строился на том, что ему, как обладающему автомобилем, обычно поручались дальние пригородные участки.

И действительно, когда взволнованная Клара, работавшая на противоположном Бойсу конце цепочки, принесла Францу известие об опасности, угрожающей Иону Шеру, оказалось, что это сообщение следует доставить в Нейкельн на конспиративную квартиру в районе крематория.

Рупп впервые получал столь важное поручение, которое приходилось выполнять одному. С одной стороны, вся его душа исполнилась гордостью и ликованием от сознания огромности доверия, оказываемого ему партией; с другой — волнение вязало его рот какой-то странной оскоминой, от которой зудел даже язык. Такое состояние продолжалось, пока он выслушивал передачу и наставления Лемке. Но от нервного напряжения, казалось, не осталось и следа, как только он опустился на седло велосипеда и ноги коснулись педалей. С этого момента его настолько поглотила мысль, что

нужно достичь цели, нигде не задерживаясь, без приключений, не привлекая внимания полиции, что все остальное отошло на задний план.

Член подпольного ЦК, к которому ехал Рупп, скрывался в домике пастора на улице Людвига Клаппа, неподалёку от кладбища у крематория. Чтобы попасть туда, Руппу предстояло пересечь весь город с северо-запада на юго-восток. Он знал, что он достигнет цели скорее всего, если выедет через центр на Кёпеникер и сквозь Трептовпарк выберется в район каналов. Однако Лемке запретил ему ехать этим кратчайшим путём и

велел пробираться в объезд через Бритц. Совершай Рупп этот путь по загородной дороге, на прогулке, он, вероятно, и не заметил бы, что расстояние так велико. Но тут лавирование по улицам, загромождённым автомобилями, и необходимость то и дело останавливаться да перекрёстках утомили его. Добравшись до моста Мольтке, по которому нужно было пересечь канал Тельтов, Рупп почувствовал такую усталость, что, едва переехав мост, должен был остановиться.

Он прислонил велосипед к стене углового дома. Лоб Руппа под шапкой стал мокрым. Однако он не

решился снять шапку и вытереть пот. Ему казалось, что стоявший на мосту шупо непременно обратит внимание на его усталость и сразу поймёт, что Рупп едет издалека. Это, казалось Руппу, должно заинтересовать полицейского. Тот подойдёт и спросит, откуда он едет, куда, почему он так устал, не болен ли он? А Руппу совсем не хотелось вступать в беседу с полицейским. Он мысленно проклинал себя за слабость, за то, что вздумал отдохнуть именно здесь, за то, что не проехал ещё несколько кварталов...

Однако, к его радости, шупо, повидимому, нисколько им не интересовался. Во всяком случае,

Рупп снова спокойно уселся на велосипед и покатыл по Цоссенскому шоссе, чтобы вскоре свернуть в сторону Шпета.

Он изо всей силы нажимал теперь на педали, чтобы оторваться от велосипедиста, который, как показалось Руппу, подозрительно точно следовал по его собственному маршруту. Вместо того чтобы свернуть на Шпет, Рупп полным ходом промчался до Киршштрассе и повернул на Вильгельмплатц. Тут ему совершенно нечего было делать, но желание отделаться от подозрительного спутника, прежде чем он сам повернёт к цели... или, по крайней мере, убедиться в том,

что тот действительно следует по его пятам, куда бы Рупп ни повернул, гнало его все дальше по запутанным улицам района. Кончилось тем, что, бросаясь из улицы в улицу, он заблудился и должен был дважды объехать Кольцо Ловизы Ройтер, чтобы сообразить, что делать дальше. Он ехал так быстро, что ноги снова начинали ныть. Соображая, как выбраться на Шпет, он выехал на Рудовер и тут, едва повернув налево, увидел велосипедиста, державшего за руль свою машину и о чём-то расспрашивающего полицейского. Прежде чем Рупп успел затормозить и повернуть обратно в проулки, прочь от Рудовер, велосипедист его

заметил. Он быстро вскочил на велосипед и, изо всех сил нажимая на педали, бросился следом за Руппом.

Колумбия-хауз — невесёлое место. Хотя здание вовсе не строилось под тюрьму, а имело первоначально назначение казармы, но, видимо, таково уже было дыхание текущей в нём страшной жизни, что при приближении к его серым стенам только эсесовцы и больные садисты не испытывали болезненного сосания под ложечкой от невольно вползающей в сознание мысли: «что было бы со мной, если бы я очутился за этими стенами?» И, чем лучше шли дела у Гитлера, тем больше становилось в Германии немцев, которые думали: «что,

если?...»

Это не значило, будто больше становилось немцев, чувствовавших за собой какую-нибудь вину вообще или хотя бы провинившихся перед новым режимом. Нет, просто-напросто каждый честный немец начинал сомневаться в праве читать, что ему хочется, говорить, что думает, поступать так, как требовали правила человеческого общежития; немцы начали даже сомневаться в возможности оставаться честными не только в отношении друзей и знакомых, а и по отношению к самим себе. Донести на соседа стало обычным делом, а мысль «не донёс ли сосед на меня самого?» стала

такой же ежевечерней, как прежде молитва. Пропагандистской машине доктора Геббельса оставалось убедить немцев в том, что их святая обязанность перед фюрером — доносить гестапо на самих себя.

При таких условиях жизни в Германии Колумбия-хауз не пустовал. Туда привозили из других тюрем узников, подлежащих допросу «третьей степени», и таких, от которых отказались уже палачи подвалов на Принц-Альбрехтштрассе. Из Колумбия-хауз редко кому доводилось вернуться к месту постоянного жительства — в тюрьму Старый Моабит, или Новый Моабит, или какое-нибудь другое

узилище. Чаще всего оттуда вывозили трупы замученных борцов против фашизма. Вывозили их тайно, по ночам, в закрытых фургонах, чтобы не возбуждать толков среди корреспондентов иностранных газет. На самих немцев уже перестали обращать внимание — их не стеснялись. Стремясь уберечься от постороннего глаза, палачам приходилось принимать специальные меры к тому, чтобы из-за толстых стен Колумбии не доносились стоны и крики пытаемых. Допросы производились в подвалах, не имевших доступа свежего воздуха; в часы наиболее оживлённого движения на улицах

допросы прерывались; придумывались такие методы принуждения допрашиваемых, когда они могли издавать наименьшее количество стонов и криков. Все это доставляло хлопоты персоналу гестапо и администрации Колумбии. Но были и в этих учреждениях субъекты деликатные, нервы которых не выдерживали вида пыток и крика пытаемых.

К числу таких принадлежал штурмбаннфюрер Вильгельм Кроне. Ему не часто приходилось бывать в Колумбии, но, если он, выполняя какое-нибудь специальное задание своих шефов — Гиммлера или Геринга, — попадал туда, то редко

спускался в подвалы. Он проходил в одну из тихих комнат заднего корпуса тюрьмы и оттуда, безглаголиво кривя губы при слишком натуралистических подробностях в отчётах следователей, следил за ходом допроса внизу.

Так было и на этот раз, когда Кроне приехал в Колумбию, чтобы «закончить возню» с Ионом Шером. Кроне начал с доклада врача, обследовавшего Шера. Не зная Кроне, врач терялся: невозможно было понять, что означает это молчаливое покачивание головы — одобрение экзекуторам или порицание?

Заключение врача было таково:

— Дальнейшее воздействие на нижние конечности едва ли возможно: от лодыжек до бёдер они уже утратили поверхностную чувствительность. То же частично относится к суставам: ступни вывихнуты, — тут врач применил специальную терминологию, ничего не говорившую Кроне; подумав, прибавил: — возможно ещё, конечно, механическое воздействие на костяк...

Кроне поднял на врача непонимающий взгляд. Тот поспешно пояснил:

— Я имею в виду переломы. Это практиковалось здесь в некоторых случаях. Но при том состоянии, в

каком находится допрашиваемый, мне кажется, и это не может произвести нужного действия, так как он может окончательно выйти из строя.

Кроне, не сводя глаз с лица врача, спросил:

— Значит, по-вашему, он ещё не вышел из строя?.. Это хорошо. — И вдруг ошеломил врача вопросом: — А вы никогда не испытывали боли от ломающихся костей? Я имею в виду не случайность, скажем там падение, а если вам одну за другой нарочно ломают кости?..

— Нет... не приходилось... — растерянно ответил врач.

Кроне разочарованно покивал

головой, будто ожидал иного ответа, и сквозь зубы процедил:

— Так, так... Того нельзя, другого не стоит... А что же ещё стоит сделать, чтобы заставить его говорить?

— У него в прекрасном состоянии спина! — с неподдельной радостью, блестя глазами, воскликнул врач. — По существу говоря, прижимание его спиной к печке имело, так сказать, косметический результат. — Тут он рассмеялся: — Опалены волосы на спине — вот и всё.

— Значит?..

— О, это совершенно безопасно для его общего состояния:

воздействие на область спины ещё возможно. — И поспешил прибавить: — Конечно, без грубого нарушения внутренних органов. Печень и почки у него уже отбиты, так же как лёгкие. Дальнейшая работа в этом направлении привела бы к преждевременной смерти...

— А как, по-вашему, сколько он ещё протянет? — перебил врача Кроне.

— Один или два допроса, — спокойно констатировал врач.

— А при содействии медицины? — насмешливо спросил Кроне.

— Тут многого не сделаешь, — врач разочарованно пожал

плечами. — Можно заставить биться сердце, но нельзя вынудить человека испытывать боль, если её слишком много.

— Вот! — проговорил Кроне вставая. — В этом-то направлении вам и следовало бы работать. Диссертация на такую тему... Понимаете?..

Он отпустил врача и несколько раз прошёлся по комнате, чтобы немного размять затёкшие ноги.

Некоторое время Рупп ехал, заставляя себя смотреть вперёд. Он тешил себя мыслью, что если не будет оглядываться хотя бы вон до того поворота, то преследователь исчезнет.

Стиснув зубы от начинавшего овладевать им непосильного напряжения, Рупп доехал до поворота. Но тут уж он должен был оглянуться. От того, следят ли ещё за ним, зависело и выполнение поручения партии.

Рупп оглянулся.

Велосипедист ехал за ним.

На этот раз вполне отчётливая

мысль, которую уже не стоило скрывать от самого себя, пронзила сознание Руппа: провал! С таким сопровождением нечего было и думать ехать по данному ему адресу.

Значит, сообщение о Шере останется не переданным, значит, товарищ Ион Шер...

Рупп почувствовал, что его спина стала мокрой от пота. Он подумал, что это результат утомления, не поняв того, что это была реакция на нервный шок от страшного открытия: да, это провал!

Рупп растерялся. Он понял, что не может теперь ни вернуться домой, ни поехать к Лемке. Были закрыты все пути.

А велосипедист следовал за ним: не приближался, но и не отставал.

Так они выехали на Шоссейную улицу. У Руппа появилась было мысль бросить велосипед и, вскочив в первый попавшийся автобус, дать тягу. Но он тут же сообразил, что по номеру, болтающемуся под седлом машины, тотчас же найдут хозяина и...

Снова стало жарко спине от мысли, что последует за этим «и»...

Теперь Рупп думал только о том, нельзя ли как-нибудь на ходу незаметно для преследователя оторвать номерной знак? Тогда он сбавит ход, подъедет к любой

закусочной рядом со станцией кольцевой железной дороги и, оставив велосипед у двери, больше никогда не попадётся на глаза преследователю...

План показался ему отличным, и он стал на ходу ощупывать номер. Жестянка сидела крепко. Напрасно Рупп пытался её оторвать, согнуть, отвернуть болты. Голые пальцы были плохим инструментом...

Нужно было решать, куда он повернёт: направо, к станции Нойкельн, или налево, к станции Германнштрассе.

Он ещё раз оглянулся: преследователь был там...

Время близилось уже к рассвету, когда Кроне, спавший в Колумбия-хауз на неудобном клеёнчатом диване, был разбужен следователем, допрашивавшим Иона Шера. Кроне с неудовольствием выслушал сообщение о том, что трое коммунистов, которых пытали в присутствии Шера, чтобы заставить его говорить, умерли. Сам Шер был ещё жив, но жизнь едва теплилась в его истерзанном теле.

— Значит, безнадёжно? — с унынием спросил Кроне. Следователь, ничего не ответив, махнул рукой. «Ну что ж... — подумал Кроне. — Можно кончать». Следователь вопросительно

посмотрел на Кроне. Тот недовольно пояснил свою мысль:

— Попытка к бегству, а?..

«Убежать! Убежать во что бы то ни стало!» Эта мысль была так настойчива и огромна, что, казалось, она заполнила весь череп Руппа.

А номер все не поддавался. Тогда Рупп, не обращая больше внимания на преследователя, остановился. Слез с велосипеда и тот, другой. Он даже прислонил свою машину к стене и закурил. Рупп понял, что тот тоже устал и не так-то легко ему будет угнаться за Руппом, если Рупп сумеет собрать все силы.

Юноша достал из сумочки ключ

и отвинтил гайку удерживавшую номер. Подошёл к перилам моста и, сделав вид, будто уронил платок, нагнулся и бросил жестянку с номером сквозь перила.

Теперь он мог, по крайней мере, бросить велосипед без страха, что разыщут его самого. Значит, он смог вернуться к Лемке и сказать... Сказать... что?..

У него нехватило решимости даже мысленно произнести страшные слова: «задание не выполнено».

За этими словами стоял образ товарища Шера...

Рупп стиснул зубы и вскочил на седло. Встречный ветер размазывал

по лицу обильно текущие слезы. Руппу было стыдно, но он не мог их сдержать. Щеки его были совсем мокрые, но ему не приходило в голову вытереть их.

Поперёк трех трупов, принадлежавших активистам-подпольщикам компартии: Эриху Штейнфурту, Эугену Шенхаару и Рудольфу Шварцу, в кузов фургона бросили ещё дышавшего Иона Шера. Он был перевит верёвками, словно и едва живой был страшен своим палачам.

Через тридцать пять минут фургон остановился в лесу. Три трупа были выброшены. Следом за ними

выбросили и Шера. Три выстрела в затылок мертвецам и один выстрел, последний, в затылок живому Шеру глухо прозвучали в предрассветной мгле пустынного леса.

Клара положила Руппу руку на голову. Это была шершавая рука наборщицы, с ногтями, под которыми чернела несмываемая свинцовая пыль. Руппу она показалась очень горячей, необыкновенно сильной. Такой сильной, что из неё на него самого истекала уверенность: он не виноват в случившемся.

Он перестал плакать. Слезы медленно обсыхали у него на щеках и

на подбородке.

— Завтра, — сказала Клара, — ты снесёшь донесение к Эйхгорну.

Рупп молча кивнул головой. Он знал, что будет в папиросной коробке, которую он должен положить под бюст Эйхгорна: сообщение Тельману. В сообщении будут, может быть, только три слова, но какие это слова: «Они убили Шера».

Рупп поднял глаза на Клару. Ему хотелось прочесть в её лице тоже всего три слова: «Ты не виноват». От этих слов для него зависело так много... Очень много.

К концу июля в Берлине стало нечем дышать.

Когда в кабинете никого не было, Гаусс расстёгивал воротник и закладывал под него носовой платок. Его жилистая, как у старого петуха, шея непрерывно покрывалась потом. Это было отвратительное ощущение.

Бутылка минеральной воды, опущенная в лёд, оставалась почти нетронутой. Врачи запретили Гауссу употреблять больше шести стаканов жидкости в день. Он проклинал часы, когда приходилось задерживаться в центре. Нацисты совершенно одурели от

подозрительности. Они никому не верили. Как будто, кроме них, никто не понимал, что нужно и что можно делать!

Гаусс опасался не проникновения в армию гестаповских молодчиков, — Гиммлер, конечно, уже имеет уши в каждой роте. Как и весь генералитет, Гаусс боялся не этих соглядатаев, а захвата нацистами командных постов. Генералам пока удавалось отстаивать тезис внеполитичности армии. Под этой внеполитичностью они подразумевали своё исключительное право распоряжаться рейхсвером как орудием политики, — своей,

генеральской политики. Поскольку все на этом свете относительно, Гаусс считал, что солдат, продающий свой тесак, — ландскнехт; офицер, продающий шпагу, — субъект, недостойный того, чтобы ему подавали руку; но генерал, продающий солдатский тесак вместе с солдатом и офицерскую шпагу вместе с самим офицером, — политик. Политик может быть хорошим и плохим. Шлейхер, например, при всём его уме и хитрости стоил в политике немногого. Кто только придумал ему эту кличку: «генерал-политик»? Гаусс убеждён, что в конце концов политика Шлейхера привела бы

генералов к потере армии: либо она стала бы послушным орудием Рема, либо попала бы в объятия коммунистов. Можно ли сохранить свой курс между этими двумя водоворотами, не попав ни в один из них? Гаусс полагал, что можно. До тех пор пока Гитлер существует и является реальной силой, нужно использовать его зоологическую ненависть к коммунистам.

Гаусс машинально потянулся к бутылке, но во-время удержался. Не наливая воды, он только провёл пальцами по запотевшему холодному стеклу.

Он встал и прошёлся, обмахиваясь папкой. Он никак не

мог заставить свою мысль работать в направлении предстоящего разговора со Шверером. Этот проклятый Шверер, — из-за жары у Гаусса все и вся были «проклятыми», — капризничает. Но на этот раз ему не отвертеться: подписанный высшим командованием приказ — на столе Гаусса.

— Генерал-лейтенант фон Шверер, — доложил по телефону дежурный адъютант.

Гаусс застегнул воротник, отошёл к столу и опёрся о него концами пальцев.

Шверер вбежал, быстро и твёрдо постукивая каблуками.

Приказ был для него

неожиданностью. Правда, он сам говорил, что непрочь ещё разок побывать в России и на Дальнем Востоке, но это говорилось больше для того, чтобы окружающие не забыли, что он уже там бывал и знает те страны.

Итак, ему предстояло либо ехать в Китай, либо согласиться с тем, что двери рейхсвера закроются для него навсегда. Значит, нужно было сделать вид, будто предложение совпадает с его желанием.

— Я был прав, полагая, что такого рода поездка вас заинтересует? — спросил Гаусс.

— Я предпочёл бы быть не наблюдателем, а советником

китайцев.

— Немецкий генерал в роли советника китайцев, мешающих нашим восточным друзьям — японцам? Это неудобно. В данной международной ситуации мы не можем повторить опыт Секта.

У Шверера быстро сложился план действий.

— Немецкий военный агент на правах официального дружественного наблюдателя поедет не в китайскую, а в японскую армию, действующую в Китае. Ему придаётся небольшой штаб из наиболее способных офицеров действительной службы...

— Но мы предполагали дать

практику именно отставным офицерам, желающим повысить свои оперативные знания, — возразил Гаусс.

— Позвольте мне закончить мысль, — с подчёркнутой кротостью проговорил Шверер, — офицеры действительной службы должны быть посланы потому, что им труднее предоставить такого рода практику. Они не могут ехать на службу ни в Аргентину, ни в Колумбию, ни в Сиам, как это делают отставные. А в армию дружественной Японии никто не запретит нам послать официальную миссию. Что же касается слушателей моих вечерних курсов и меня самого,

то, — Шверер снял очки и кольнул воздух, как клювом, своим острым носом, — мы можем отправиться в Китай не только в качестве наблюдателей.

— Что вы хотите сказать? — заинтересовался Гаусс.

— Если китайские правительство предложит мне образовать небольшую миссию из штатских господ, знающих, что такое война, я завтра же сформирую такую группу. Разумеется, в совершенно частном порядке.

— Цель, цель? — нетерпеливо спросил Гаусс.

— Группы немецких офицеров смогут провести манёвры большого

масштаба, причём игра будет вестись не холостыми патронами, а со всеми реальными последствиями ошибок и побед.

— Но вы должны иметь в виду: китаец *c'est une mauvaise chenille: quand on l'attaque, elle se defend*^[13]. — Гаусс рассмеялся и потёр влажный от пота висок. — Никак не пойму, в какие отношения мы тут становимся с японцами? Они довольно быстро раскроют ваше присутствие в рядах китайцев.

— От них ничего и не нужно скрывать!

— То-есть как же? — удивился Гаусс.

— Мы даже получим согласие

японцев на работу в рядах их противника. Вы забыли: китайское правительство воюет не столько с японцами, сколько с армиями коммунистических провинций.

— А, вы хотите убить сразу двух зайцев! — Гаусс встал из-за стола и, обойдя его, протянул Швереру руку. — Кажется, я плохо знал вас! — торжественно произнёс он. — Теперь я скажу вам, не скрывая: пусть японцы бьют Китай, а Чан Кайши бьёт коммунистов.

— Позволю себе напомнить слова Клаузевица: «Великая цивилизованная нация может быть побеждена только при отсутствии единства внутри неё».

— Вы считаете китайцев цивилизованной нацией?! — с удивлением воскликнул Гаусс.

— Боюсь, что порох выдумали всё-таки они, а не наш соотечественник Шварц, — с первою за весь вечер улыбкою проговорил Шверер.

— Поручим Александеру принять участие в этом деле. А там, где появляется полковник, исчезает единство противника. — Гаусс опустился в кресло по ту же сторону стола, где сидел Шверер, и, понизив голос, продолжал: — В отношении разведки нам следует учиться у наци.

— Разве можно сравнить практику нашего Александра с

опытом этих новичков?

— Повидимому, тут дело не только в практике. Догмат блицкрига вошёл им в плоть и кровь. А блицкриг, по их мнению, выигрывается или проигрывается прежде, чем раздался первый выстрел. Первый блицкриг они выиграли здесь, в Германии. Они завоевали нашу страну. Вот пример того, как они умеют работать. Однажды в разговоре о судьбах Австрии господин Гесс обмолвился: «Всякий, кто вздумает нам сопротивляться, испытает на себе судьбу Дольфуса, австрийского канцлера». — «Но ведь Дольфус жив и здоров», — сказал я. «Если через

месяц он не подпишет манифест об аншлюссе, то будет мёртв», — заявил Гесс. «Вы дали ему месяц?» — «Да, ровно месяц. Позвоните мне в полночь на двадцать пятое июля». Должен сознаться, что я счёл это шуткой, но, чтобы иметь возможность ответить такою же шуткой, я ночью двадцать пятого позвонил Гессу.

— И что же? — Шверер в нетерпении подался всем телом вперёд.

— Мне даже не пришлось напоминать, о чём идёт речь. Он очень весело сказал: «Вы сомневались? Дольфус отверг аншлюс, значит...»

— И что же? — повторил Шверер.

— Вы же знаете: Дольфус умер в тот день в своём дворце.

— Очень интересно, это чрезвычайно интересно, — проговорил Шверер. — Означает ли это, что мы в скором времени можем войти в Австрию? Если поход предполагается в недалёком будущем, то я предпочёл бы отложить поездку в Китай. Только через Австрию и Чехию мы откроем путь южной клешне. Так же как через Польшу и Прибалтику — северной. Этими клешнями я раздавлю большевистский орешек.

— Австрия от вас не уйдёт, —

сказал Гаусс. — Пока вы выберете себе сигару, я прикажу принести кое-что, что вас заинтересует! — и он отошёл к телефонам.

Шверера чрезвычайно занимала перемена, которую он обнаружил сегодня в отношении к себе Гаусса. Прежде этот человек никогда не был с ним не только откровенен, но даже приветлив. Гаусс не скрывал, что не одобряет оперативных воззрений Шверера и не смотрит серьёзно на разрабатываемый тем план восточной кампании. Откуда же подул этот новый ветер?..

Гаусс вернулся к Швереру.

— Быть может, чего-нибудь холодного?

— Благодарю, мне не жарко, —
ответил Шверер.

Его маленькое жилистое тело
было совершенно сухо, несмотря на
плотно облегавший его китель.

Отто ввёл офицера
контрразведки. Тот подал
затребованную Гауссом папку,
которую абвер не мог доверить даже
адъютанту Гаусса.

Когда офицеры вышли, Гаусс
быстро перелистал несколько
страниц.

— Александер проверяет всё,
что можно... Сейчас нас особенно
интересует все относящееся к
европейской политической
ситуации, поскольку от неё зависит

осуществление наших собственных планов. Мы твёрдо решили вернуть исходные линии на Рейне и Висле. Однако я отвлёкся... Я дам вам просмотреть стенограмму разговора Кестнера, нашего посла в Париже, с одной французской журналисткой — весьма осведомлённой и ловкой особой. Беседа происходила вскоре после убийства румынского премьера Дука. Он был убит румынами, но европейское общественное мнение приписывало организацию этого убийства немцам. И мне кажется, не без оснований... — Гаусс улыбнулся. — Французская журналистка Женестьева Табуи посетила нашего посла в Париже с

целью выудить у него что-нибудь полезное для себя. Вот фонограмма разговора, о которой не знают сами собеседники. — Гаусс протянул Швереру папку прошитого и запломбированного досье. Шверер прочёл.

«Кестнер: — Ещё несколько таких убийств, как это, и Германия будет в состоянии достичь своих целей, не прибегая к войне в Европе.

Табуи: — Мне кажется, что убийство не было новшеством и в Веймарской республике.

Кестнер: — Да, но наци ожидают нужных им результатов от убийств, которые они организуют в других странах Европы, а не в нашей собственной. Они утверждают, что Германия обойдётся без войны с помощью шести рассчитанных убийств.

Табуи: — Шесть убийств?

Кестнер: — Прежде всего Дольфус. После него идёт король Югославии. Берлин верит, что когда его уберут с дороги, перспективы альянса

между Югославией и Францией будут сведены на нет. Затем они хотят разделаться с Румынией, и особенно с Титулеску.

Табуи: — Думаете ли вы, что они имеют какое-либо отношение к недавнему убийству Дука?

Кестнер: — Твёрдо я этого не знаю... Затем они хотят ликвидировать Бенеша. Они надеются, что как только это будет сделано, германские меньшинства в Чехословакии сами побегут в объятия Германии.

Табуи: — Так... Но это только четыре убийства.

Кестнер. Имеется ещё король Альберт — традиционный враг в глазах большинства немцев. На Вильгельмштрассе думают, что, пока Альберт жив, Бельгия не войдёт в германскую систему.

Табуи: — Должны же быть и такие французские деятели, которых Вильгельмштрассе хотела бы видеть убранными с дороги.

Кестнер (смеётся): —

Да, есть несколько. Среди них Эррио. Они хотели бы, чтобы с ним что-нибудь случилось. Этого человека они боятся, несмотря на то, что он дал им равенство в правах».

— И это говорит наш дипломат! — воскликнул Шверер.

Гаусс разочарованно посмотрел на него.

— Вы не увидели тут самого важного: Европа знает все. И молчит. Она предоставляет нам свободу действий. Вот что в этом наиболее замечательно!

— Я ещё недостаточно в курсе

такого рода дел. — Шверер снова надел очки. — Я видел тут имя короля Александра...

— Да, по нашим данным, он готов соскользнуть на опасный путь сближения с Францией. На этом пути у него имеются чересчур услужливые гиды.

— Это очень, очень интересно, — задумчиво проговорил Шверер: — Балканы!

Тот, кто переехал бы Эльбу с запада на восток, чтобы попасть в марку Бранденбург, или въехал бы в Мекленбург с северо-запада через границу Шлезвиг-Гольштейна, едва ли заметил бы в первый момент, что попал в совершенно другую страну — Остэльбию.

Впрочем, такой страны и нет ни на картах, ни в учебниках географии, но её хорошо знают немцы, соприкасающиеся с кругами офицерства. Они знают, что под Остэльбией подразумевается обширное пространство, в которое входят Мекленбург, Померания,

Восточная Пруссия и Силезия и из которого происходит девяносто девять процентов немецкого офицерства. Даже если офицер родился в Ганновере или Дрездене, всё равно он смотрит на это, как на несчастную случайность, и считает себя уроженцем прусско-юнкерской страны Остэльбии.

Переезжая границу Остэльбии, путник не заметит перемен в природе. Те же едва заметные холмы, покрытые такими же лесами, как в восточном Бранденбурге; те же равнины, что в южном Шлезвиге; те же озера и болота. Все такое же — и в то же время совсем иное. Поля волнуются огромными массивами

посевов, в лесах разгуливают олени и лоси, слышен звук рога помещичьей охоты. На зеркальной глади озёр плавают лебеди, и сами эти озера — украшение вековых парков, окружающих усадьбы прусских и померанских юнкеров. Три пятых земли Остэльбии — четырнадцать миллионов акров — поделены на куски от десяти до полутора тысяч акров и являются собственностью Бисмарков, Арнимов. Веделей, Бюловых и ещё трех-четырех десятков семейств, из века в век поставляющих Германии генералов и министров.

По своей природе восточно-прусское юнкерство резко отличается

и всегда отличалось от рейнско-швабско-франконского дворянства, базой которого являлось рентное землевладение. А что касается мекленбургских герцогств, то вплоть до 1918 года они представляли собою, по существу говоря, нечто вроде высокоаристократических республик. Нигде больше в Германии нет поместий таких размеров, как в Остэльбии. Нигде больше в Германии нет землевладельцев, которым принадлежало бы такое количество поместий, как в Остэльбии. К концу прошлого века количество поместий наиболее старых и прочных прусских фамилий исчислялось десятками. Клейсты

имели 53 имения, Ведели — 44, Винтерфельды — 20 и так дальше.

Из этого, однако, не следует, что Остэльбия — страна исключительно крупнопоместного дворянства. Наряду с Клейстами и Веделями там сидели на земле такие юнкерские семьи, как фон дер Гольцы, Мольтке, Секты, которые высоко держали голову на людях, но, входя в собственный «шлосс», наклоняли её довольно низко, чтобы не стукнуться о притолоку.

Это может показаться удивительным, но именно из этих-то мелкопоместных, обнищавших восточнопрусских семей вышли наиболее известные военные

последнего столетия. Клаузевиц, Мольтке, Вальдерзее, фон дер Гольц, Сект были выходцами из-под соломенных крыш обветшавших «шлоссов». Объяснение этому можно найти в том, что именно им не оставалось иного жизненного пути, как воспитание в кадетском корпусе, куда не надо было платить; в военной школе, где их одевали и кормили впроголодь, чтобы приучить к воздержанию и сохранить приличную прусскому офицеру сухую фигуру; в военной академии, где не только одевали и кормили, но ещё и платили жалованье за умение выказать преданность монарху и военному ремеслу.

К началу XIX века прусская аристократия составляла значительно больше половины офицерского корпуса армии и продолжала настойчиво отгораживаться от представителей буржуазных слоёв. В Баварии это плохо удавалось — там разночинцы продолжали не только удерживаться в рядах армии, но и давали наиболее мыслящий слой офицерства. А в самой Пруссии понятия реакционер и офицер стали синонимами. Вступая на военную службу, прусский юнкер даже не присягал ни своему народу, ни государству — он приносил присягу королю. Он и считал, что служит только королю и

обязан выполнять только его приказы.

Выучка и традиции грабить слабейшего, — хотя бы соседа, — порождали приверженность к военному делу, как к единственному достойному прусского дворянина. Отсутствие надёжных источников дохода при огромных аппетитах и при ещё более огромной спеси рождало в представителях этой группы военно-прусской касты повышенную агрессивность. В среде немецко-прусских милитаристов зарождалась и развивалась борьба между представителями придворной военной клики, пополняемой за счёт наиболее знатных владетельных

родов юнкерства, и выходцами из мелкопоместного дворянства, добивающегося возможности командовать армией. Обе группы представляли в основном остэльбское юнкерство, но каждая из них оспаривала у другой верховенство в армии даже тогда, когда уже не земельная знать, а финансовые короли и магнаты промышленности стали хозяевами страны и поставили себе на службу всю военщину в целом.

В этих десятках помещичьих «замков», как в неких инкубаторах высиживались и оттуда выпускались в свет молодые пруссаки, выпестованные по образцу, ещё три

века назад разработанному «великим курфюрстом» Фридрихом-Вильгельмом бранденбургским и доведённому до высшей степени палочно-прусского совершенства «великим» же «капралом» Фридрихом II.

Остэльбия имела в своём формуляре таких поставщиков офицерства для прусской и позже для германской армии, как Шуленбурги, давшие на протяжении двух веков 3 генерал-фельдмаршалов, 1 генерал-фельдцейхмейстера и 25 генералов. Прочим отпрыскам фамилии Шуленбург в чинах от лейтенанта до полковника несть числа. Клейсты дали 15 генералов,

фон дер Гольцы — 11, Манштейны и Арнимы — по 7, Вицлебены — 5. Командные высоты в армии были буквально заполнены этими семьями. Бывали периоды, когда в армии одновременно числилось, скажем, 34 Веделя или 43 Клейста.

Никто в Пруссии не возражал вслух, когда Мирабо сказал, что «Пруссия — не государство, обладающее армией, а армия, завоевавшая государство»; и военный историк Георг фон Беренгорст имел полное право заявить, что прусская монархия вовсе не страна, обладающая армией, а армия, обладающая страной, в которой она как бы только расквартирована. Но

главное было все же не в этом, а в том, что Остэльбия была страной жестокой эксплуатации крестьян и крупными и мелкими юнкерами.

Монархию Гогенцоллернов нельзя себе представить без прусских офицеров и без прусских помещиков. Это были её основные киты. Прусская армия росла, как злокачественная опухоль, на теле плохо развивающегося прусского государства. «Великий курфюрст» оставил после своей смерти армию в 30 тысяч человек, Фридрих-Вильгельм I передал наследнику армию в 80 тысяч, Фридрих Великий, умирая, оставил в качестве лучшей памяти о себе 200 тысяч

солдат. Это было дурным подарком, так как армия тех времён никак не могла считаться частью народа. Фридрих Второй всегда считал, что его солдат должен бояться собственного офицера больше, чем врага. А что касается самих офицеров, то о них он говаривал: «Моим офицерам незачем думать. За них думаю я. Если они начнут думать сами, то ни один из них не останется в армии».

На пространстве между Рейном и Одером правители Пруссии и Германии вколачивали в головы немцев, что Германия — пуп земли; Остэльбия — пуп Германии; юнкерское поместье — пуп

Остэльбии.

Не всякий восточнопрусский «шлосс» крыт соломой. Есть в Остэльбии и огромные поместья с богатыми усадьбами. А где-то между соломенной крышей Сектов и золотым шпилем на замке Арнимов находятся десятки поместий средней руки. «Замок» в таком поместье — унылое двухэтажное строение с фасадом в пятнадцать-двадцать окон. Длинные коридоры, огромные комнаты, не прогревающиеся зимою.

Люстры под потолками зажигаются редко. Их хрустальные подвески не звенят и не играют гранями, так как никогда не дрожат стены замка: по утрамбованному

гравию двора не ездят ни подводы, ни грузовые автомобили.

Сквозь окна, завешанные шторами, проникает немного света — от яркого солнца выцветают обои и выгорает обивка мебели!

На стенах комнат — канделябры и портреты. Все мужчины на портретах — в военном: от старинных камзолов до красных воротников генерального штаба и от серебряных лат до «фельдграу».

У населения Остэльбии свои сословия: «лакированный сапог», «хромовый сапог» и «смазной сапог». Лакированный и хромовый называют смазной на «ты». Смазной ломает шапку перед хромовым и

целует в плечо лакированный. Так было в 1734-м и 1834-м. Так осталось и в 1934 году.

Замки Померании отличаются от замков Силезии только капителями колонн на фронтонах. Внутри — все одинаково. Поместья Восточной Пруссии отличаются от поместий Мекленбурга только фамилиями владельцев на межевых столбах. Мекленбург и Восточная Пруссия, Померания и Силезия — все это лишь провинции векового заповедника Остэльбии, где выводится особая порода немцев, получившая широко известное название прусского юнкера.

Ничем не отличается от других

поместий и Нейдек — владение Гинденбургов. Если бы не ловкость старого юнкера Ольденбург-Янушау, соседа и друга Гинденбургов, сумевшего подбить рейнских промышленников на то, чтобы выкупить заложенный Нейдек и поднести его ко дню восьмидесятилетия фельдмаршалу-президенту, тому не пришлось бы доживать свои дни в родовом гнезде.

В обставленном с нарочитой скромностью доме Нейдека царила тишина. По навощённым полам комнат старика были протянуты дорожки, скрадывающие шаги. Люди говорили шопотом. На эту половину уже не допускали никого, кроме

членов семьи умирающего президента: его сына, полковника Оскара Гинденбурга, и невестки, жены Оскара. Изредка, и то не иначе, как на самое короткое время, решался приходить доктор Мейснер, статс-секретарь, сумевший стать столь же необходимым президенту — монархисту и помещику, как был необходим предыдущему президенту — социал-демократу Эберту. Кое-что говорило о том, что и со смертью Гинденбурга правитель президентской канцелярии не намерен уходить на покой для писания мемуаров. Если бы полковник Александер захотел, он смог бы принести президенту

неопровержимые доказательства того, что господин Мейснер уже довольно прочно связан с национал-социалистским рейхсканцлером Гитлером. Но докладывать об этом полумёртвому старику, повидимому, не входило в интересы всеведущего полковника. Гинденбург пребывал в состоянии эгоистической стариковской уверенности в том, что в числе безутешно оплакивающих его уход в лучший мир будет и верный доктор Мейснер.

Гинденбург лежал в кабинете. С походной кровати был виден старый парк Нейдека. Фельдмаршал велел повыше подложить себе за спину подушки, он почти сидел и, часто

мигая от света, глядел на пылающие ярким золотом осени деревья. Старый вестовой, — он с девятнадцатого года был в отставке и служил у Гинденбурга в качестве камердинера по вольному найму, — был, как всегда, облачён в солдатский мундир из серого походного сукна.

Заметив, что у Гинденбурга от яркого света слезятся глаза, вестовой подошёл к окну и потянул было за шнурок шторы. Но фельдмаршал едва заметным движением руки остановил его.

Солдат укоризненно покачал головой, словно перед ним был капризный ребёнок, и послушно вернулся к столу. Он ходил на

цыпочках, несмотря на то, что на нём были войлочные туфли. Приходилось быть осторожным, чтобы не выдать себя дежурившим в соседней комнате врачу и сестре. Пусть они остаются в уверенности, что Гинденбург спит. Все равно толку от них уже не может быть никакого. Старик и сам сказал вчера, что ему «пора».

Вестовой искоса погладывал на жёлтое лицо президента с тщательно подбритыми, как всегда, подусниками, на его беспомощно вытянутые поверх одеяла руки. Глаза, и прежде-то не отличавшиеся блеском, совсем погасли. Грудь тяжело, с хрипом и бульканьем,

выбрасывала воздух.

Сегодня был первый день, что фельдмаршал позволил не надевать на него форменную тужурку. Он лежал в белой рубашке, укрытый пледом, похожим на солдатское одеяло. Он долго лежал молча. Потом движением век подозвал вестового и хриплым шопотом приказал:

— Окна... настезь...

— Врач не велел, хохэкселенц!

Брови старика насупились было, но он только умоляюще поглядел на вестового.

Солдат на цыпочках подошёл к двери, прислушался и, убедившись в том, что в приёмной тихо, распахнул

одно из окон, подержал его отворённым несколько минут и снова осторожно затворил. Когда он оглянулся на больного, уверенный, что увидит его повеселевшие глаза, голова фельдмаршала свисала с подушки, закрытые почти чёрными веками глазные яблоки казались непомерно большими.

Испуганный вестовой подбежал к постели и поправил Гинденбургу голову.

На шум его торопливых шагов вошли врач и сиделка.

Строгий взгляд врача.

Рука на пульсе старика.

Сестра со шприцем.

Ясно слышен в мёртвой тишине

хруст отломанного кончика ампулы.

Несколько мгновений солдат с укором смотрел, как человеку мешают умирать. Потом, стараясь не шуметь, он вышел: не ему было вмешиваться, — тут, видно, происходили дела государственной важности. Да, жизнь президента чертовски ценная штука, даже тогда, когда от него нет уже никакого прока.

Укол оказал обычное действие. Сознание вернулось к Гинденбургу.

— Мейснера, — отчётливо приказал он.

При входе статс-секретаря все, кроме Оскара, удалились. Мейснер приблизился к больному. Старик

прохрипел ему в ухо:

— Завещание...

Мейснер отомкнул стальной шкаф в углу кабинета, достал большой полотняный конверт.

Президент следил за движениями Мейснера, словно перед ним был цирковой фокусник и старик боялся, что конверт вдруг исчезнет из его пальцев.

Мейснер повернул конверт большою сургучною печатью вверх и вопросительно взглянул на Гинденбурга.

— Угодно прочесть? — спросил он.

— Переписать!.. — с усилием выдохнул старик.

Мейснер нерешительно взглянул на Оскара. Оскар взял конверт, сломал печать, вынул завещание и поднёс бумагу к глазам отца.

— Не нужно... читать... — досадуя, что его не понимают, проговорил Гинденбург.

— Вы хотите что-нибудь изменить? — спросил Оскар.

— О президенте...

Оскар отыскал нужное место на второй странице и прочёл строки, где Гинденбург советовал немецкому народу избрать в президенты генерала Грёнера.

Мейснер стоял в ногах кровати, обеими руками держа пустой голубой конверт.

— Перепиши, как есть, — сказал Гинденбург сыну. — Где сказано о Грёнере... оставь место... Я назову... имя...

Оскар перешёл к письменному столу и принялся поспешно переписывать бумагу, словно боялся, что отец умрёт, прежде чем будет закончено дело.

Тем временем Мейснер позвал врача. Тот снова принялся считать пульс больного.

Когда Оскар поднялся из-за стола, Мейснер сказал врачу, капавшему из пипетки лекарство в рюмку:

— Идите.

— Но... — врач поднял руку с

пипеткой.

— Давайте — и уходите.

Врач влил капли в рот старика и поспешно вышел. Гинденбург довольно громко сказал:

— Мейснер...

— Да, хохэкселенц?..

— Уйдите.

У президента от него секреты!.. Мейснер сделал попытку задержаться, но Гинденбург повторил:

— Оставьте нас...

Отказываясь верить своим ушам, Мейснер растерянно потоптался на месте и более поспешно, чем обычно, подгоняемый нетерпеливым взглядом старика, вышел из комнаты.

Оскар держал наготове перо.
Старик поднял на сына глаза.

— Пиши: Франц фон... Папен.

— Отец!

— Франц фон Папен! —

сердито, одним духом повторил Гинденбург и приподнял руку, силясь взять перо. Лист с подложенным под него бюваром лежал поверх одеяла. Умиравший долго собирался с силами. Его лоб покрылся каплями пота, потом старик ткнул пером в бумагу, поставил большую кляксу и, не сумев вывести подпись, выронил перо.

Оскар расписался за отца, копируя его подпись со старого завещания. Озираясь, словно боясь,

что кто-нибудь его удержит, вложил завешание в новый конверт и заклеил его.

Он подошёл к постели, чтобы снять с пальца отца перстень с печаткой. Перстень свободно болтался на пальце, и Оскар потянул золотой обруч, но распухший сустав не давал его снять.

Повидимому, Оскар причинил отцу боль. Гинденбург открыл один глаз и уставился на сына.

— Нужна печать, — виновато сказал Оскар.

Торопливо, капая на сукно стола, он разогрел сургуч и, намазав на конверт, подбежал к постели. Обернул руку старика тыльной

стороной и прижал перстень к сургучу. Красные сургучные капли, опалив волосы на пальце, пристали к коже умирающего.

Оскар позвал врача и Мейснера.

— Фельдмаршал просит засвидетельствовать, что документ написан по его желанию и подписан им собственноручно.

Мейснер не мог прийти в себя: имя преемника Гинденбурга было скрыто от него!..

— Государственный акт, не скреплённый статс-секретарём, — сказал он, — не имеет формального значения.

Гинденбург снова с видимым усилием приподнял одно веко и из-

под него посмотрел на Мейснера. Едва ли умирающий понимал, кто перед ним. Он беззвучно пошевелил губами и как-то странно, показалось Мейснеру, подмигнул ему.

Мейснер взял перо и вывел на конверте свою подпись без росчерков и украшений. Рядом с маленькой семейной печатью Гинденбурга он поставил большую президентскую печать. Увидев, что Мейснер направился к сейфу, Гинденбург издал испуганный стон. Оскар нагнулся.

«Под... подушку», — разобрал он шопот президента.

Через час расшифрованная депеша Мейснера, уведомляющая обо

всём, что только что произошло в Нейдеке, и предупреждающая, что президент проживёт не больше нескольких часов, лежала перед Герингом. Он тотчас же поехал к Гитлеру. А ещё через час экстренный поезд, гудя дизелями, мчался из Берлина на восток.

В салон-вагоне сидели Гитлер, Геринг и Гесс. В соседнем вагоне разместился штаб. В остальных трех — эсесовцы. Тут была не только охрана Гитлера. Значительное число эсесовцев было предназначено для того, чтобы немедленно по прибытии на место оцепить Нейдек и надёжно отгородить его от внешнего мира. Порядок оцепления был разработан

по плану поместья. Ни одно живое существо не должно было проникнуть сквозь оцепление — ни в ту, ни в другую сторону.

Гесса занимал вопрос — лежит ли ещё завешание под подушкой старика, или он нашёл ему более надёжное место.

Мысли Гитлера были сосредоточены на том, чьё имя Гинденбург мог вписать вместо Грёнера. С Грёнером все было уже улажено: отказ генерала принять пост президента лежал в кармане Гитлера. Правда, история умалчивает о том, каким путём этот отказ был получен, но в тот момент, когда Гитлер окажется единственным

хозяином в стране, такие праздные вопросы едва ли будут кем-нибудь задаваться...

Если бы знать имя человека, которого старик рекомендует в свои преемники! Гитлер перебирал в уме все возможные кандидатуры, и мысль его все чаще возвращалась к Герингу. Толстый Герман был единственным из всего руководства нацистской партии, кого Гинденбург пускал к себе в дом. Что, если именно это имя названо в завещании? С Германом будет не так просто сговориться.

Возможность такой ситуации пугала Гитлера. Он исподлобья взглядывал на Геринга и думал о мерах, которые пришлось бы в таком

случае немедленно принять. Внезапная смерть Геринга от разрыва сердца или в результате автомобильной катастрофы представлялась Гитлеру единственным выходом в том случае, если Гинденбург оказал толстяку медвежью услугу, вставив его имя в завещание.

Геринг тоже сидел задумавшись. Сообщение Мейснера о том, что Гинденбург заменил в завещании имя Грёнера другим, пробудило в нём надежду на то, что наиболее вероятным кандидатом в президенты в нынешней ситуации является он, Герман Геринг. Для этого было достаточно много данных. Руководящие банковские и

промышленные круги ему вполне доверяют; для генералитета тоже он не такой чужак, как припадочный ефрейтор. Он нашёл бы средства в открытую потягаться с выкормленным им змеёнышем — Гитлером! Он поставил бы его на место и заставил плясать под свою дудку. А нет, так... страна узнала бы о смерти Гитлера от разрыва сердца или в автомобильной катастрофе...

В ночь с первого на второе августа, 1934 года вереница автомобилей въехала в главную аллею Нейдека и разбудила сиянием своих фар парк и тёмный замок умирающего президента.

Уединившись с Оскаром, Гитлер дал ему понять: Нейдек отрезан от внешнего мира, и хозяином тут является он, рейхсканцлер и фюрер.

— Где завещание? — спросил он.

— Вам лучше говорить со статс-секретарём, — уклончиво ответил полковник.

— Принесите мне завещание, — сказал Гитлер, и его колючие глаза уставились в лицо Оскара.

Но тот решительно заявил:

— Фельдмаршал не желает, чтобы документ попал в чьи бы то ни было руки до его смерти.

Гитлер несколько раз пробежался по комнате и, резко

остановившись, почти умоляюще спросил:

— Чьё имя вы вписали вместо Грёнера?

Оскар Гинденбург, профессиональный военный с ограниченным кругозором и способностями, не мог учесть всех политических комбинаций, на которые повлияло бы преждевременное оглашение имени того, кого отец считал способным повести немцев в один из труднейших периодов их истории. Полковник думал, что это имя, произнесённое устами умирающего Гинденбурга, станет для немцев таким же популярным, каким

казалось ему имя его отца. Оскар не подозревал, что даже под гнётом нацистского режима в Германии уцелели ещё миллионы людей, для которых имя Гинденбурга-президента было символом реакции, синонимом сдачи всех позиций демократии клике юнкеров и банкиров, означало возвращение к власти монархических элементов старой армии и кайзеровского правительственного аппарата. Любое имя, какое способен был воскресить в своей памяти умирающий, будь то Грёнер или Папен, было одинаково чуждо немецкому народу и не могло вызвать в массах ничего, кроме возмущения. Но вместе с тем

полковник Оскар знал, что отец не выносил Гитлера только потому, что тот был выскочкой, представителем «черни», втершимся в ряды «порядочных» людей, а вовсе не потому, что Гитлер был тем, чем он был в политике. Когда дело доходило до политики, Гинденбург всегда сдавал позиции нацистам и допускал Гитлера все ближе и ближе к власти. Старик не раз говаривал, что не видит в Германии другой силы, способной противостоять коммунизму, как только гитлеризм. Способен ли Папен противостоять главной, самой страшной опасности? Не было ли то, что сделал вчера отец, политической ошибкой?..

Оскар взглянул на Гитлера. Неужели отец должен был вставить в документ имя этого человека с измятой физиономией эстрадного пошляка?!

Гитлер, повидимому, понял, о чём думал Оскар.

— Чьё бы имя ни стояло в завещании, — проговорил он, — главою государства буду я. Другое имя послужит только причиной больших осложнений внутри Германии. Неужели вы этого не понимаете?! — Гитлер понизил голос до хриплого шопота, так что его слова едва можно было разобрать. — Что бы он ни написал, там должно стоять моё имя!.. Моё!

Полковник молчал ошеломлённый. Прежде чем он успел освоить смысл сказанного, Гитлер продолжал:

— Период Гинденбурга закончен. Тот, кто ставит на него, ставит на мертвеца. А я... — лицо его побагровело, — я могу завтра же, сегодня же, не выходя отсюда, сделать вас генералом или... или уничтожить!

Оскар передёрнул плечами и отвернулся. Гитлер продолжал выкрикивать:

— Вы военный! Вместе с армией вы будете двигаться вперёд! Нас с вами будет связывать знание взятой на себя великой

ответственности!

Да, это Оскар, понимал. От него зависело принять предложение этого крикуна, возродить армию, переиграть проигранную войну.

— Фельдмаршал-президент назвал в завещании... Папена, — негромко произнёс Оскар.

Ни тени удивления не отразилось на лице Гитлера. Он стал сразу необычайно спокоен и высокомерно произнёс:

— В своём дневнике вы можете сегодня записать: судьба Германии решалась в этой комнате... Теперь — к президенту!

Оскар направился было к двери, но Гитлер без церемонии взял его за

рукав:

— Оставьте нас.

— Но...

— Не будьте мальчиком...

генерал!

И Гитлер вошёл в кабинет.

Гинденбург лежал с закрытыми глазами.

У ног умирающего, уронив голову на руки, сидела его невестка. Увидев её, Гитлер бросил взгляд в сторону стоявшего в дверях Оскара. Тот послушно взял жену под руку и почти насильно увёл из комнаты.

Дверь кабинета плотно затворилась.

Некоторое время Гитлер молча оставался в том самом кресле, в

котором только что сидела невестка умирающего. Глаза Гинденбурга были закрыты. Гитлер осторожно придвинулся к изголовью и сунул руку под подушку. Он сразу нащупал большой конверт и потянул его. Конверт с подписями свидетелей был у него в руках. В первый момент Гитлер хотел его вскрыть, но удержался. Зачем? Он и так знает главное.

Гитлер сложил конверт вдвое и сунул во внутренний карман.

Хруст ломающихся печатей показался ему таким громким, что он испуганно взглянул на Гинденбурга. Один глаз старика был широко раскрыт, в нём отражался

смертельный испуг. Над другим глазом только бессильно вздрагивало веко.

Гитлер отвернулся. Теперь ему некуда было спешить. Ведь сидеть здесь придётся до того момента, пока старик будет способен произнести хотя бы слово. Ни секундой раньше не сможет Гитлер выйти из этой комнаты. Ни секундой раньше он не позволит никому сюда войти.

Гинденбург издал мычание в последнем усилии заговорить, замотал головой. Гитлер равнодушно смотрел на него: пусть помычит... Если кто-нибудь подслушает у дверей, то примет это мычание за

речь старика.

При этой мысли Гитлер заговорил сам. Он говорил громко. Если где-нибудь здесь спрятаны записывающие аппараты, Гиммлер получит полное удовольствие: он услышит самые прочувствованные слова, какие когда-либо произносил он, Гитлер.

Он говорил механически, почти не думая. Мысли вертелись вокруг того, что следует теперь делать с Папеном, с завещанием, с Оскаром Гинденбургом. Как поступит Оскар, обнаружив исчезновение завещания? Поймёт ли он, что не в его интересах поднимать шум?

Гитлер умолк... Его так

поглотили мысли, что он не обращал уже внимания на президента.

Завещание должно быть переписано рукой Оскара! И пусть не кто иной, как сам же он — Оскар, «найдёт» новое завещание и передаст его Папену. Именно Папену — никому другому. Что может быть убедительнее: сам Папен огласит в рейхстаге завещание с именем Гитлера в качестве преемника Гинденбурга. Да, именно Папен!

Что же, значит Геринг не зря сохранил жизнь этому католическому пройдохе!

Идея понравилась Гитлеру.

Он весело глянул на Гинденбурга.

Президент был недвижим.

Правая рука беспомощно свисала к полу, рот был полуоткрыт. Один глаз оставался открытым.

Гитлер вскочил, нагнулся к самому лицу Гинденбурга. Дыхания не было слышно.

Все!

Гитлер ещё раз ощупал свой грудной карман, где хрустнул толстый конверт, и направился к двери.

Дверь в приёмную порывисто распахнулась, и все увидели Гитлера. Взгляд его был устремлён вверх. Левой рукой он поддерживал правую, протянутую вперёд.

Голосом, в котором звучало

рыдание, он с пафосом
провинциального трагика произнёс:
— Сейчас он пожал эту руку.

Острая боль заставила Тельмана скрипнуть зубами и сжать их так, что под скулами набухли желваки. Работа по расслоению папиросной коробки требовала точных движений. Их приходилось делать, не считаясь с болью, причиняемой наручниками.

Нужно было собрать всю силу воли, чтобы заставить себя после короткого отдыха снова приняться за дело. Тельман вынул из тайника тонкую, отточенную, как игла, косточку и, повернувшись спиной к двери, опёрся лбом о стену. Это был испытанный приём маскировки, после которого, как узнал Тельман, в

рапортичках надзирателя появлялась фраза: «Снова стоял, упёршись лбом в стену, и грыз пальцы». Он мог себе представить, как следователи радостно потирали руки, воображая, будто эта поза не что иное, как выражение отчаяния. А тем временем он, подняв руки к самому лицу, наносил на картон едва заметные уколы шифра. Нужно было передать товарищам на волю, как следует, по его мнению, держаться в предстоящем народном голосовании. Нельзя отдать Гитлеру без боя позиции, на которых ещё недавно стояло несколько миллионов немцев. Партия должна сказать им, как вести себя, как голосовать. Но вот косточка

замерла, и брови Тельмана
озабоченно сошлись над
переносицей. Нет никакого
сомнения: социал-демократические
бонзы ещё раз, как и многократно до
того, предадут интересы рабочего
класса и германского народа в целом;
необходимо считаться с тем, что
снова изменят эти продажные
душонки, трясущиеся за свои жалкие
шкуры и за тёпленькие местечки,
которые, как кость шелудивому псу,
бросил им Гитлер! Наверно, так оно
и будет. Весь ход истории рабочего
движения в Германии убеждает в
том, что он, Тельман, не имеет права
делать никакой ставки на единство
действий с этими потомственными и

последовательными ренегатами. Ещё давиды, брауны и прочая шваль доказали на практике, что готовы не за страх, а за совесть служить ненавистным народу Гогенцоллернам, обманывая массы рядовых членов своей партии. Лебе, вельсы, зеверинги передали шумахерам политическую нечистоплотность, полученную от Каутского. Тельман не поверит никаким их уверениям! Эберту и этой кровавой собаке Носке ничего не стоило, спевшись с юнкерами и банкирами, утопить в крови немецкую революцию. По указке тренеров и шлейхеров, рехбергов и стиннесов и прямых агентов

Ватикана — брюнингов и папенов — проклятым бонзам удалось превратить чиновничью верхушку немецкой социал-демократии в отряд негодяев, ставших под знамя реакции для борьбы с германской демократией и с Советским Союзом. Нужно быть последним идиотом, чтобы поверить, будто они раскаются в том, что способствовали приходу Гитлера, и будут голосовать против него. Да, Тельман может с уверенностью сказать, что если бы Папена сменил в канцлерском кресле не Гитлер, а кто-нибудь из социал-демократических лидеров, он, Тельман, потребуй этого хозяева Рура, оказался бы там же, где сидит и

теперь, — в тюрьме! Те, кто организовал убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург, не задумываясь, покончили бы и с ним. Как ни скудны сведения, приходящие к Тельману в тюрьму, как ни трудно ему отсюда сноситься с партийным подпольем, он должен дать товарищам сигнал: социал-демократические лидеры попрежнему остаются врагами рабочего класса; поверить им — для коммуниста значит поставить под удар судьбу партии, которая должна вывести немецкий народ на путь революционных побед. Должна вывести и выведет!

Погибли прекрасные товарищи,

погиб Ион Шер, но партия жива. Место погибших борцов заняли другие. Партия жива!

Тельман верит в правильность политики своей партии, своего ЦК!.. Правильная политика! Политика сплочения всех антифашистов, политика единения с социал-демократическими рабочими и беспощадного разоблачения их продажных лидеров.

Тельман стал рассчитывать: до голосования осталось две недели, — успеет ли это письмо дойти до товарищей на воле?.. Чтобы заполнить знаками маленький кусочек картона, понадобится не меньше двух дней, — работать нужно

урывками, чтобы не привлечь внимания надзирателей. Сутки уйдут на то, чтобы склеить коробку и дать ей засохнуть. Она должна иметь такой же вид, как сотни коробок из других камер.

В среду кальфактор принесёт новые папиросы — десять штук на неделю — и под наблюдением надзирателя соберёт у заключённых старые коробки, чтобы ни один клочок бумаги не оставался в камерах. С этого начнётся опасное путешествие письма: кальфактор должен сжечь отобранные коробки. Не попадёт ли в печь и коробка Тельмана? Что, если раздатчику не удастся отделить её от общей массы

и, вместо того, чтобы по каким-то таинственным каналам, о которых не знал и сам Тельман, попасть в руки товарищей, кусочек картона улетит на волю в виде струйки дыма?.. А если письмо и прорвётся, сколько времени оно будет странствовать? Какими путями пойдёт? Кто те товарищи, которые, получив коробку, будут старательно разбирать шифр? Тельман не знал их имён. По двум-трём случайным словам он мог только догадываться, что это был кто-то из особенно близких ему гамбуржцев. Гамбуржцы! Он хорошо знал этот народ. Они продержатся до конца, пока будет хоть какая-нибудь надежда. И даже тогда, когда её уже

не станет. Во всяком случае, они не сдадутся, и ни один из них не перебежит в ряды врага. Он знал их, немецких пролетариев.

И снова острая косточка совершала свои осторожные движения, и сетка едва заметных уколов покрывала поверхность картона...

Губы Тельмана беззвучно шевелились: мысленно он произносил целые речи. В них было всё, что искало выхода за стены тюрьмы: и страстный призыв к борьбе, и слова надежды, и клятва верности своей партии, своему классу, делу своего страдающего народа...

Гаусса заинтересовало то, что говорил Оскар Гинденбург, но вначале он колебался; стоит ли вступать в такое скользкое дело, как предстоящая борьба вокруг завещания фельдмаршала? С одной стороны, тут, может быть, и есть шанс не допустить слишком большой концентрации власти в руках Гитлера, но с другой... Что если разоблачение истории с завещанием президента осложнит положение в стране и помешает начавшемуся развёртыванию армии? С этим нельзя было шутить. Но в то же время...

Гауссу хотелось подумать над этим сложным делом, а вслух он со всею мягкостью, на какую был способен, сказал:

— Я никогда не смел считать себя в числе лиц, пользовавшихся особым доверием покойного фельдмаршала. Удобно ли мне...

Но Оскар не дал ему договорить. Он замахал руками и поспешно проговорил:

— Вы не просто его сослуживец, я бы сказал: любимый сослуживец...

— Подчинённый, — поправил Гаусс, — это будет точнее...

— Хорошо, пусть будет «подчинённый». Вы его любимый

подчинённый. Но не потому я пришёл к вам. Ведь вы наш сосед по имению, наши семьи давно близки. Наконец вы забыли: родство по женской линии даёт мне право смотреть на вас, как на своего человека...

Слова сына покойного президента ложились в сознание Гаусса где-то поверх его собственной мысли. Слушая Оскара, он думал о том, что прежде, когда был жив старый фельдмаршал, его сыну не приходило в голову напоминать об их соседстве, о родстве и прочих сентиментах! Гаусс попросту не помнит даже, когда он в последний раз говорил с молодым

Гинденбургом...

Гаусс всегда знал его за более чем посредственного офицера, за человека, ничего не смыслящего в политике. Бог его знает, почему тот решил вспомнить теперь именно о нем?..

А Оскар между тем продолжал:

— С кем же я могу посоветоваться, как не с вами? Что мне делать с этим удивительным секретом, так неожиданно попавшим в мои руки?

— А вы абсолютно уверены в том, что конверт с завещанием взял именно он?

Гаусс не решился произнести имя Гитлера.

— Готов поклясться.

— И вы достаточно хорошо помните текст завещания, чтобы суметь воспроизвести его?

— Вполне...

Неожиданная мысль пришла Гауссу. Подумав, он сказал:

— Так сядьте здесь и напишите его так, как помните.

Оскар послушно сел за письменной стол и принялся писать. Но вдруг остановился, отложил перо и вопросительно посмотрел на Гаусса.

— А что мы с этим сделаем? — спросил он.

Генерал пожал плечами.

— Обстоятельства покажут.

Отодвинув наполовину
исписанный лист, Оскар поднялся
из-за стола и несколько раз в
задумчивости прошёлся по комнате.
Гаусс молча курил, движением одних
глаз следя за гостем. Теперь, когда
Оскар колебался, Гауссу казалось,
что тайну можно было хорошо
использовать. Быть может, удалось
бы напугать Гитлера и сделать его
более послушным генералам. Ведь
он зазнался после 30 июня.

Да, положительно, теперь этот
недописанный Оскаром листок
представлялся Гауссу ключом к
запертой для него двери в
политику...

— Итак! — неопределённо

проговорил он.

Оскар остановился напротив него и молча, в задумчивости смотрел ему в лицо, словно надеясь найти в чертах старика решение мучивших его сомнений: писать или не писать?

— Итак?.. — повторил Гаусс.

— Что это может дать? — спросил Оскар.

— Все! — с неожиданной для самого себя решительностью отрезал вдруг Гаусс. — Этим мы можем заставить его отказаться от вмешательства в дела армии, мы можем сохранить своё положение, мы можем...

Гаусс, не договорив, сделал

размашистое движение рукой, означавшее широту раскрывающихся горизонтов.

— Оставив его у власти? — в сомнении спросил Оскар.

— Пусть будет фюрером и пока ещё рейхсканцлером, а там...

— Но ведь он хочет совсем не того. Я понял: он хочет стать президентом. А я видел его глаза, я говорил с ним, я понимаю, что значит оказаться во власти этого человека... — Оскар прикрыл ладонью глаза, силясь представить себе того, кто заставил его уйти от смертного одра отца, бросить на произвол судьбы завещание президента, отдать столь важный

документ в грязные руки ефрейтора-шпики. И, повидимому, этот образ представился ему достаточно ясно.

Оскар зажмурился и провёл ладонью по лицу, силясь отогнать отвратительное видение коротконого человека с широким задом, тяжёлыми, как у гориллы, руками, со взглядом маниака...

— Быть может, этого не следует делать? — спросил Оскар с нерешительностью.

— Разве не это привело вас сюда?! — сердито спросил Гаусс. — Разве вы не хотели знать моё мнение!.. Как офицер, как немец, как сын своего отца вы не имеете права не сказать того, что знаете о

проделке «богемского ефрейтора»... Ведь так и только так ваш покойный отец называл этого выскочку. И вспомните ещё: «этот богемский ефрейтор никогда не будет моим канцлером»...

— Тем не менее... — грустно покачивая головой, проговорил Оскар.

— Тем не менее он стал канцлером?.. И теперь он станет ещё президентом и усядется в кресло, где сидел покойный фельдмаршал!

Оскар стоял в нерешительности. Теперь его охватил страх, и он пробовал возражать, доказывать, что, может быть, Гитлер ничего плохого и не сделает с завещанием. Что, может

быть, он просто опубликует его, отступив перед волей покойного президента. Ведь говорят же, будто он уже просил Папена выступить в рейхстаге, чтобы огласить завещание...

— Но откуда вы знаете, что это будет за завещание? — гневно крикнул Гаусс.

— Вы думаете, он может решиться... что-нибудь изменить в документе?

— «Что-нибудь изменить»! — передразнил Гаусс. — Он просто перепишет завещание, как ему захочется.

— Там стоит имя Папена!

— А будет стоять его имя...

«Богемский ефрейтор» — президент Германии?.. — Гаусс ударил рукой по подлокотнику. Но ладонь только глубоко ушла а мягкую кожу, не издав даже сколько-нибудь громкого звука.

— Но там стоит подпись отца.

— Вы же сказали, что эту подпись должны были сделать вы, вы сами... Так что же удивительного в том, что вы сделаете её ещё раз, когда он потребует?

— Господин генерал! — Оскар выпрямился и выставил грудь, как должен был сделать германский офицер, если его оскорбляли.

— Сейчас не до обид, — резко оборвал его Гаусс. — Если вы поклянётесь мне, что не пойдёте на

это... Впрочем, нет, даже в таком случае я вам не поверю...

— Господин генерал!.. Это слишком!

Но Гаусс, не обращая на него внимания, продолжал:

— Только в том случае, если у меня будет храниться текст завещания, изложенный вашей рукой и скреплённый вашей подписью, я буду почти уверен в том, что вы не пойдёте на то, чего потребует Гитлер. И то вы видите, я говорю «почти»... На свете больше нет никаких гарантий ни от каких подлецов.

— Ваши годы и положение, господин генерал, — сухо проговорил Оскар, — избавляют вас

от необходимости выслушать то, что на моем месте должен был бы сказать офицер. — Оскар вставил в глазницу монокль и, гордо подняв голову, зашагал к двери. Но, сделав несколько шагов, он вернулся к столу и с изумлением уставился на то место, где оставил недописанный текст завещания. Он даже пошарил по столу рукой, словно не верил собственным глазам: лист исчез.

Оскар вопросительно посмотрел на сидевшего сбоку стола Гаусса. Тот сидел, сцепив сухие пальцы у подбородка, и смотрел куда-то в пространство.

Оскар хорошо помнил, что он перестал писать в тот момент, когда

из-под его пера вышло имя Папена, как преемника умершего президента. Да, он это хорошо помнил...

— Господин генерал...

Гаусс продолжал сидеть неподвижно и смотреть так, будто перед ним никого не было.

— Это... это... — запинаясь, бормотал Оскар, не находя нужного слова.

За него продолжил сам Гаусс:

— Это ничуть не хуже того, что вы уже сделали и что ещё сделаете.

Гаусс поднялся с кресла коротким, быстрым движением. Оскар так же быстро вышел.

Цихауэр держал руку Асты в своей, внимательно разглядывая её. Потом опустил руку на чёрный бархат платья, отошёл на шаг и, склонив голову набок, ещё раз полюбовался. Узкая белая кисть с едва заметной просинью жилок, с тонкими длинными пальцами лежала на бархате, как драгоценное произведение ваятеля.

— Завтра сядем за работу, — сказал Цихауэр.

Аста подняла свою руку и с усмешкой посмотрела на неё.

— Это не очень любезно в отношении дамы: не найти в ней

ничего лучше рук. А теперь, — она встала с софы, на которой полулежала, — покажи, что ты сделал для отца.

— Мы с ним не сговорились...

Цихауэр взял стоявший у стены большой картон и повернул его лицом к Асте. Аста отшатнулась. То, что она увидела, было ужасно. Написанное художником лицо человека было олицетворением себялюбия, алчности, самодовольства, трусости. В лице не было портретного сходства с её отцом, и вместе с тем нельзя было ошибиться: это был Вольфганг Винер.

— Завтра я снесу это в

магазин, — сказал Цихауэр. — Тот, кто хоть что-нибудь понимает в искусстве, немедленно купит портрет...

— Ты не сделаешь этого!

— Тогда пусть он купит его сам. Тысяча марок — и ни пфеннига меньше! Я не желаю умирать с голоду.

— Я поговорю с ним... — Аста взглянула на часы. — Тебе никуда не нужно ехать?

— А что?

— Здесь Лемке с автомобилем.

— Спасибо... Мне никуда не нужно.

— Ты даже не уговариваешь меня посидеть... — грустно

проговорила она.

Он смущённо взглянул на часы.

— Мне ещё очень много нужно
сегодня сделать!

Она порывисто поднялась и с
обиженным видом протянула
художнику руку.

Высунувшись из окна, Цихауэр
видел, как её автомобиль завернул за
угол, и снова с беспокойством
взглянул на часы. Завтра, 19
августа, — всегерманский
плебисцит. Немцы должны будут
сказать, хотят ли они иметь Гитлера
преемником Гинденбурга. Весь
Берлин, вся Германия были заклеены
нацистскими плакатами,
призывавшими отдать голос Гитлеру.

Никаких других плакатов не было. Но это не значило, что в Германии не осталось людей, которые хотели бы голосовать против Гитлера. Для миллионов людей, голосовавших за коммунистическую партию, она оставалась символом борьбы с гитлеровским террором. Загнанные в подполье коммунисты решили показать немецкому народу, что есть силы, способные к сопротивлению. В течение ночи часть нацистских плакатов должна быть заклеена плакатами коммунистов, а на остальных слова «да здравствует Гитлер» заменены словами «долой Гитлера».

Цихауэру поручили изготовить

бумажные полоски со словом «долой». С левой стороны на них вместо фашистской свастики был нарисован кулак «Красного фронта».

Шофёр Франц Лемке должен был действовать в паре с Цихауэром. Он обещал привести ещё одного парня — сторожить, пока Лемке и Цихауэр будут наклеивать полоски. Им достался трудный район — в самом центре города.

С улицы, как из колодца, поднимался глухой шум. Весь день 18 августа по улицам Берлина маршировали отряды штурмовиков с оркестрами, флагами и плакатами, требующими, чтобы берлинцы голосовали за «фюрера». Вот и

сейчас топот подкованных сапог вместе с духотою врывался в растворённое окно мансарды Цихауэра.

После «большой чистки» 30 июня, в которой было истреблено все прежнее руководство СА, штурмовикам разрешили вернуться из вынужденного отпуска, и они с удвоенным рвением принялись за свою погромную деятельность. Далеко не последняя роль принадлежала им в подготовке предстоящих «выборов».

Прошло не меньше получаса, прежде чем явился Лемке. Уже совсем стемнело.

— А я — с автомобилем, —

весело сказал он. — Это ускорит дело.

— А ваш парень?

— Разрешите ему войти? —

Лемке отворил дверь и крикнул: — Входи, Рупп!

Наличие в экспедиции автомобиля меняло план действий. Было решено: Лемке останется за рулём, чтобы быть готовым в любую минуту тронуться с места, Рупп будет мазать плакаты клейстером, а Цихауэр заклеивать их своими полосками.

— Дай-ка сюда газеты, — сказал Лемке Руппу и спросил, обернувшись к Цихауэру: — Вы ещё ничего не знаете?

Цихауэр о улыбкой спросил:

— Свергли Гитлера?

— Он опубликовал завещание Гинденбурга. Покойник назначил его чем-то вроде своего наследника.

Лемке протянул художнику газету.

Цихауэр прочитал:

«Вице-канцлер в отставке господин фон Папен, по поручению генерала Оскара фон Гинденбурга, передал фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру пакет, содержащий политическое завещание покойного господина рейхспрезидента генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга. По поручению фюрера господин фон Папен предаст документ гласности.

На собственноручно
запечатанном рейхспрезидентом
конверте сделана надпись:
«Германскому народу и его канцлеру.
Моё завещание».

Цихауэр поднял на Лемке
смеющиеся глаза:

— Хотел бы я знать, почему же
Гитлер тянул с опубликованием
завещания целых две недели?

— Говорят, завещание не могли
найти, — сказал Рупп.

— Да, его «случайно» нашёл
полковник, сын президента, —
сказал Лемке. — И все это
публикуется накануне выборов.
Ловкий ход!

— Но как же с подписью

покойного президента?

Лемке рассмеялся:

— Не думаю, чтобы это было большим затруднением. Говорят, что последнее время все бумаги фабриковал за отца полковник Оскар.

— Вы допускаете?..

— У них — все.

В уголке на электрической плитке Рупп сварил клейстер.

— Пора, — сказал Лемке.

Ему предоставили выбор маршрута. Полагаясь на своё искусство шофёра, он избрал наиболее запутанную часть центра. Он считал, что в случае провала погоня скорее бы настигла его на

прямых, широких магистралях, а в узких пересекающихся улицах едва ли кто-нибудь утонится за ним.

Миновав Тиргартен, он выехал на Лейпцигерштрассе и в конце её свернул на Коммандантенштрассе. Район был едва ли не самым опасным. Тут то и дело проходили группы штурмовиков и полицейские патрули. Но тем более необходимо было выполнить задание и показать этим самодовольным прохвостам, что есть ещё смелые и честные люди в Германии!

Лемке сделал первую остановку. Рупп выскочил и на бегу мазнул клеем сразу по двум плакатам. Цихауэр ловко приклеил свои

полоски.

Лемке останавливался то на одном, то на другом углу... Осмелев, они решили испробовать новую тактику. Рупп и Цихауэр шли по улице, автомобиль медленно ехал в нескольких шагах от них.

Все шло отлично. В карманах Цихауэра оставалось уже совсем мало бумажных полосок, когда Рупп увидел на углу двух полицейских. Он и Цихауэр побежали к автомобилю. Но вдруг Цихауэр вскрикнул: у него подвернулась нога, и он упал.

Рупп бросился к нему.

От перекрёстка бежала группа штурмовиков. Лемке понял, что прежде чем Цихауэр и Рупп успеют

сесть в автомобиль, их настигнет погоня. Он дал задний ход, чтобы сократить расстояние. Рупп втолкнул Цихауэра в машину и вскочил сам. Лемке видел, как наперерез штурмовикам бежало несколько рабочих-пикетчиков.

Через минуту автомобиль мчался полным ходом. А свалка, начавшаяся в узкой, кривой Себастьяненштрассе, привлекала все новых и новых участников. Хотя этот район и не был рабочим и здесь не могло быть большого числа прохожих, способных оказать штурмовикам сопротивление, победа последним далась не легко. В штурмовиков летели камни, палки,

пустые бутылки...

С воем сирены в улицу въехал полицейский автомобиль. Вместе с шупо в драку вмешались эсесовцы. Эти не привыкли стесняться! Замелькали дубинки.

Американское «просперити» 20-х годов имело своеобразные последствия для ряда родовых поместий аристократов Старого Света. Их старинные замки были разобраны по камешку, упакованы со всем, что в них было, — от гобеленов до привидений, — и перевезены за океан, в резиденции американских миллионеров.

Не все замки совершили такое далёкое путешествие. Некоторые из них были перенесены лишь на сотню-другую километров, в более живописные места. Были, наконец, и такие, которые остались на месте в

увеличенных в пять, в десять раз поместьях.

Подобного рода судьбы постигли старинные родовые гнезда аристократии во многих странах Западной Европы: в Германии, Франции, Австрии и даже в Англии и Шотландии.

Один из таких замков был перенесён волею нового владельца с берегов сурового шотландского «лоха» на не менее поэтический, но мало подходящий для его суровых форм солнечный островок посреди прозрачно-голубого озера в Итальянских Альпах.

Это было огромное строение, служившее когда-то прибежищем

нескольким поколениям клана хайлендеров и славившееся тем, что едва ли не каждое из этих поколений оставило в нём своё привидение. Многие тысячи долларов были затрачены на то, чтобы засадить пространство вокруг замка вереском и скромным шотландским дроком. Вероятно, новый владелец не пожалел бы денег и на то, чтобы заставить переселиться вместе с замком стаи шотландских ворон, свивших себе гнезда между зубцами его башен. Но вороны не поняли того, что являются неотъемлемою деталью пейзажа, и остались в родной Шотландии. В Швейцарии их места на башнях заняли мириады

ласточек.

Большую часть времени замок пустовал. В его роскошно отделанных залах и комнатах царила тишина. Солнце едва пробивалось сквозь замазанные мелом стекла высоких стрельчатых окон. Далеко не каждый год появлялся тут кто-нибудь из членов семьи владельца. Полторы сотни слуг были единственным населением замка и всего островка, приобретённого да так, повидимому, и забытого мистером Джоном Алленом Ванденгеймом Третьим.

Он вспомнил о своём замке лишь тогда, когда понадобилось найти нейтральную почву для важного разговора, который должен

был состояться между несколькими американскими дельцами-монополистами и представителями германского капитала и нацистской партии. Одни из них не желали появляться в Германии, других неудобно было приглашать в Штаты. Кроме того, ни в Германии, ни в Штатах не удалось бы уберечься от пронырливых газетчиков. А обеим сторонам меньше всего хотелось, чтобы кто-либо совал нос в их дела.

Вот почему в августе 1934 года с окон замка смыли, наконец, мел и солнцу удалось заглянуть в его пышные покои.

Американцы прибыли с юга, через Италию, и сели на яхту

Ванденгейма в Комо. Немцы прибыли с севера и отплыли на остров от пристани Менаджио.

Все было организовано так, что история до сих пор не знает имён всех «туристов», якобы собравшихся поиграть в гольф и покер на уединённом швейцарском островке. Известно только, что в числе немецких гостей, кроме постоянных членов таких совещаний Яльмара Шахта и банкира Курта Шрейбера, находились Фриц Тиссен, Крупп фон Болен, Шмитц и Бош и что, кроме ранее совещающихся с Ванденгеймом в Америке немецких генеральных консулов фон Типпельскирха и фон

Киллингера, приехал Геринг. Это те, чьи имена, несмотря на конспирацию, не остались неузнанными. Имена остальных до сих пор неизвестны.

Кроне удалось проникнуть в замок под видом секретаря Геринга. Но ни на одно из совещаний он не попал, как, впрочем, и никакой другой секретарь — как с американской, так и с немецкой стороны. Краткие протоколы велись поверенным Ванденгейма — адвокатом Фостером Долласом. Какое употребление он сделал этим протоколам, пока неизвестно. Доллас не из тех, кто продаёт свои тайны раньше, чем они могут

принести ему верную тысячу процентов.

Кроне бродил по замку, томясь незнанием того, что происходит в зале заседаний. Он напрасно ломал себе голову над тем, как подсмотреть или подслушать. Тщетно исследовал исподтишка все помещения, примыкающие к залу. Даже на чердаке он наткнулся на здоровенного субъекта, встретившего его совсем не ласковым взглядом.

Он уже решил отказаться от дальнейших попыток узнать содержание бесед путём подслушивания и начал раздумывать над тем, каким образом можно было бы просмотреть записи Долласа,

когда к нему пришла неожиданная помощь в лице высокого худого человека с красным лицом, в котором он узнал Фрэнка Паркера. Вечером Паркер подсел к Кроне, тянувшему пепермент в полутёмном уголке веранды.

Паркер представился Кроне так, как если бы видел его впервые. После двух рюмок он сказал:

— Быть может, побродим по саду?.. Вечер великолепен.

Кроне никогда не был любителем природы. Но ему не нужно было объяснять, почему Паркер не хочет с ним разговаривать там, где есть стены. Он с энтузиазмом ответил:

— Вы правы, вечер прелестен!
Только захватим свои стаканы.

И они сошли в парк.

— Я чувствую себя, как в
потёмках, — признался Кроне.

— Непривычная обстановка, —
заметил Паркер.

— Вы не можете раздобыть
протоколы Долласа?

— Зачем они вам?

— Надо же знать, о чём там
говорится.

— Я вас для этого и нашёл, — в
тоне Паркера появился
покровительственный оттенок,
который не понравился Кроне. —
Скажите дворецкому, что вас не
удовлетворяет комната, и попросите

спальню с балконом.

— Ну и что?

— Одна такая комната осталась рядом с моею.

— Мне недостаточно вашего пересказа.

— Оттуда вы сможете слушать то, что говорится в зале.

— Вы, Паркер, молодец!

— Все было продумано заранее.

— Обидно, что я пропустил сегодняшнее совещание.

— Больше болтали немцы. Они напрямик сказали нашим, что если наладить правильное сотрудничество между Германией и Америкой, то можно будет в конце концов поделить рынки России и Китая и

даже говорить об освоении этих пространств.

— Они правы.

— Наши не возражают. Вопрос в том, каким способом устранить помехи.

— Русских?

— Да.

— А официальная линия?

— Линия Рузвельта и прочих?

— Да.

— Все понимают, что с этим пора кончить.

— Что предлагают немцы?

— Они хотели бы действовать напрямик: убить того, убить другого... Они простоваты, — проговорил Паркер.

— Может быть, не такие уж простак... Вспомните Гардинга.

— Отравить можно было Гардинга, но не Рузвельта. Он популярен у среднего американца.

— Этим он и опасен.

— Кампания, которую наци собираются открыть против Рузвельта, подействует не хуже пуль! Кроме того, немцы считают, что мы должны помочь созданию националистических обществ в Штатах.

— При их компетентном содействии? — иронически заметил Кроне.

— На кой чорт они там? У Дюпона и Форда и так налажено

дело: Крусейдерз, Сэнтинел и другие шайки. Кстати, — добавил Паркер, — нашим сегодня чертовски понравилось то, что немцы рассказывали об организации у них борьбы с рабочим движением. У нас, наверно, испробуют что-нибудь в этом роде и перестроят эти банды на немецкий лад.

— Да, в Германии не помитингуешь, — согласился Кроне.

— Ванденгейм сказал: мы будем дураками, если не заведём у себя таких же порядков!

— А говорилось что-нибудь насчёт Австрии?

— Не очень много. Наши не хотят мешать там Гитлеру.

— Но тут придётся поспорить с англичанами.

— Им нетрудно заткнуть глотку, — беспечно заявил Паркер. — Нажать на вопрос о долгах — и они живо подожмут хвост...

— А главное, главное? — в нетерпении спросил Кроне.

— Сначала они хотят решить всё, что должно предшествовать кардинальному решению русского вопроса.

— Но он будет поставлен?

— Непременно! Все дальнейшее вы сможете уже слышать из своей комнаты.

— Но нам с вами не следует

больше встречаться, — сказал Кроне.

— Это и не будет нужно. Только постарайтесь выведать у Геринга и сообщить нам истинные намерения немцев: не держат ли они какой-нибудь камень за пазухой.

— Скажите Ванденгейму, чтобы он не переоценивал упорства немцев, когда они будут набивать себе цену.

— Ну, небось, нашим не впервой нанимать себе на службу гангстеров, — с усмешкой сказал Паркер.

— Но немчуре чертовски хочется сохранить вид людей, которые и сами сумеют устроить свои дела на востоке, хотя они и отлично понимают, что без наших

денег не смогут ничего сделать. Пусть наши только поднажмут, и немцы пойдут на любые уступки, чтобы спеться.

— Это ваше личное мнение?

— Я передаю смысл разговора между Герингом и Гессом перед отъездом сюда.

— Я доложу хозяину... Между прочим, имейте в виду: чем ближе к делу, тем больше нас занимает мнение немецких военных.

— Скажите мне ещё раз, Фрэнк: смогут немцы свободно войти в Австрию и Чехию?

— Безусловно!

— И правильно: им не следует вставлять палки в колеса в Европе,

если мы не хотим иметь хлопоты с красными на Дальнем Востоке.

— Судя по разговорам, наши сделают все для того, чтобы помочь японцам справиться с красными на Востоке, прежде чем дать им самим под зад.

— Это сложное дело, Фрэнк.

— Наши понимают.

— Надеюсь! — Кроне протянул руку. — Снова на несколько лет?

— Судя по всему, мы будем встречаться в Берлине. Мне, кажется, предстоит торчать там. — И, пожимая Кроне руку, Паркер спросил: — Вы ведь знаете Роу, Мак?

— Знаю.

— наших очень интересуют

источники его информации в Германии.

— Мало ли что кого интересует... — уклончиво пробормотал Кроне.

— Вы не думаете, что эти источники находятся довольно высоко?

Кроне пожал плечами:

— Что вы называете «высоко»?

— У нас подозревают... —

Паркер секунду колебался, словно не решаясь высказаться до конца, — подозревают в нечистой игре Канариса.

Кроне удивлённо взглянул на Паркера.

— Именно его, Мак, —

повторил тот, — как это ни невероятно!

— Невероятно? — Кроне пожал снова плечами. — Как будто этот Канарис не такая же каналья, как любой из его агентов.

— Ну, всё-таки... Начальник всей имперской разведки!

— Почему он должен быть лучше нашего Говера?

— Но, но, Кроне! Вы далеко хватаете!

Кроне не видел ничего невероятного в наличии связи начальника германской разведки Канариса с Интеллидженс сервис, и ему казалось смешным, что это может заботить американскую

секретную службу. Однако он больше ни о чём не спросил Паркера, а тот не сказал ему, что этот вопрос важен для американцев потому, что Канарис состоит и их собственным агентом!..

Кроне выпил в этот вечер больше, чем обычно. Это заметил даже Геринг, вернувшись с совещания. Кроне попытался вызвать Геринга на откровенность, но мысли того были где-то далеко.

— Пойдёмте-ка, Кроне, я вам кое-что покажу! — сказал он с таинственным видом и, пыхтя, стал взбираться по лестнице на второй этаж того крыла замка, где были расположены жилые апартаменты

Ванденгейма. Кроне последовал за ним.

Они в молчании миновали несколько комнат. Не в силах скрыть волнение, Геринг остановился перед небольшою резною дверью, толкнул её и жестом предложил Кроне войти. Сам же, из-за его плеча, нажал выключатель. Кроне увидел залитый мягким верхним светом большой зал. Стены его были затянуты гобеленами в виде огромных медальонов. Посреди каждого медальона висел рыцарский щит с гербом. Все это походило бы на геральдический зал, если бы середина пола не была занята просторным купальным бассейном. Льющийся с потолка

мягкий свет отражался в жёлтом металле, которым был облицован бассейн, и делал воду похожей на огромный слиток красноватого стекла.

Кроне увидел, что глаза Геринга в экстатическом восторге остановились на этом водоёме.

— Смотрите, Кроне, — толстые красные руки Геринга с жадностью потянулись к бассейну, — он из чистого золота!

Словно боясь, что видение рассеется, Геринг на цыпочках приблизился к краю водоёма и сделал попытку присесть на корточки. Толстые ноги и огромный живот не позволили ему этого. Он

тяжело опустился на одно колено и погладил рукою полированный металл облицовки.

— Вот что здорово — то здорово! — Он с напряжением, опираясь на руку Кроне, поднялся и уставился в темножелтую и, казалось, горячую от пронизывающего её отражённого света воду. — Это замечательно, Кроне!

И он снова, как зачарованный, уставился на золотистую воду.

Сентябрь выдался дождливым. Было ещё совсем тепло, но на протяжении недели не бывало и дня, чтобы небо не изливало на Берлин потоков воды. Водосточные трубы высоких домов непрерывно рокотали от струившихся в них каскадов. Щёткам метельщиков нечего было делать: вода смывала с асфальта все. Зелень бульваров потемнела от воды, пропитавшей, казалось, даже листву. Тиргартен сочился влагою, как неотжатая губка. Проносившиеся по лужам автомобили обдавали стены домов мутными струями. Шпрее, с её обычно тёмными, радужными от

нефти ленивыми водами, подошла под самые края набережных.

Хотя Кроне и советовал воспользоваться подземкой, Отто понял, что дойти до станции — выше его сил. И на протяжении нескольких шагов, что ему пришлось пробежать до стоянки такси, вода успела забраться за воротник, а начищенные сапоги были забрызганы грязью.

Кроне пригласил Отто для разговора. Телефонный вызов, едва не заставивший Отто упасть в обморок, был сделан Кроне ещё из больницы, где он выздоравливал после раны в спину.

Направляясь теперь на свидание с Кроне, Отто старался себя уверить,

что для опасений нет никаких оснований. Если бы они хотели его прикончить, то могли бы сделать это уже десять раз. Вероятно, Кроне ни о чём не догадывается. Нужно только придумать версию поумнее.

Но ничего мало-мальски правдоподобного не приходило в голову: ведь Кроне-то знал, что Хайнес не мог в него стрелять, так как был убит рукою Отто.

Чем дальше думал Отто, тем хуже делалось его настроение. Наконец он задал себе вопрос: «Зачем я сам тащусь к нему в пасть? Не разумней ли бежать? Бежать без оглядки, скажем, в Голландию или, ещё лучше, в Швейцарию?..» Отто не

сомневался в том, что ему удастся перейти границу. Особенно, если он сейчас же вернётся в канцелярию Гаусса и выпишет себе служебный пропуск в пограничную зону.

Отто рисовались заманчивые картины жизни в Швейцарии. Он предложит издателям купить его разоблачительные мемуары. Великолепные, ошеломляющие заголовки: «Записки ремовского адъютанта», или ещё лучше: «Я убил Рема». Правда, он Рема не убивал, но это неважно. Ради рекламы можно кое-что и присочинить.

Но он сам тут же оборвал эти мечты: ему проделают дырку в затылке, прежде чем он допишет

первый десяток страниц своих разоблачений.

Кроне встретил его так, словно они расстались при самых будничных обстоятельствах.

Во время разговора Кроне несколько раз умолкал, закашлявшись.

— Вы простудились? — с деланным участием спросил Отто.

— Да, — лицо Кроне искривилось в болезненной улыбке. — Благодаря вентиляции в моих лёгких, — иронически сказал он.

Отто с трудом заставил себя сосредоточиться настолько, чтобы слушать Кроне. К счастью, тот

сегодня больше говорил, чем спрашивал. Отто впервые слышал такое откровенное и ясное изложение программы действий гитлеровской агентуры во всей Европе. Потом Кроне перешёл к разъяснению методов, какими эта программа должна быть осуществлена.

Это было практическое руководство к тем общим соображениям, которые генерал Шверер не так давно узнал из агентурной стенограммы разговора посла Кестнера с журналисткой Женевьевой Табуи. Кроне не называл пока ни одного имени, но слово «убрать» фигурировало так часто,

что программа убийств показалась Отто рассчитанной на целые десятилетия. Она распространялась на весь мир. От Бухареста до Нью-Йорка. Речь шла о необходимости смести с пути целые группы немецких и зарубежных антифашистов, своих и чужих политических деятелей. По словам Кроне, у нацистов имелись для этих целей отряды опытных агентов во всех странах.

— Вы утомлены? — спросил вдруг Кроне, заметив бледность Отто.

— Нет, нет! Что вы! — поспешно ответил Отто, боясь, что Кроне может счесть его слабым,

неспособным нести возлагаемое на него бремя осведомлённости в сложной механике преступлений. Внушить Кроне такое опасение значило выйти в тираж.

Отто сделал беззаботное лицо.

— Должен сознаться: за то время, что вас не было, жизнь показалась мне довольно пресной!

— Зато теперь... — Кроне выдержал небольшую паузу, — я смогу доставить вам удовольствие. Вы ведь не бывали в Итальянской Швейцарии?

И тоном, каким в дружеской компании излагают план увеселительной поездки, Кроне сообщил Отто, что тому нужно

побывать в Лугано для встречи с несколькими усташами террористической организации Анте Павелича, которых итальянская овра отобрала для исполнения очень важного поручения: должен быть уничтожен югославский король Александр, проводящий политику сближения с Францией. Король Александр задумал и другое: войти в сношения с Советской Россией! На этом пути он нашёл себе наставника в лице французского министра иностранных дел Барту.

— Этот проклятый француз, — голос Кроне стал жёстким, — заслуживает того, чтобы...

«Боже правый! — подумал

Отто. — Если так говорить имеет право Кроне, то что же может Гиммлер?!»

— Когда нужно выехать? — покорно спросил он.

— Завтра подайте рапорт о болезни.

— Что я должен делать в Лугано?

— Остановиться в отеле «Цюрхерхоф» и ждать моих распоряжений. Я приеду туда.

— О-о! — воскликнул Отто и с угодливой улыбкой, за которую постарался скрыть разочарование, добавил: — Значит, мне не будет скучно!

— Там мы с вами незнакомы.

С этими словами Кроне
поднялся.

В то лето тучи висели не только над Берлином. Холодный туман, гонимый на Европу от британских берегов, сменялся дыханием жаркого африканского ветра. Эти резкие смены погоды раздражали нервы людей, и без того взвинченные политической обстановкой. Непрекращающиеся правительственные кризисы во Франции привлекали к себе не меньшее внимание мировой общественности, чем манёвры фашистской банды, пришедшей к власти в Германии.

Министерская карусель,

порождаемая интригами правых, продолжалась бесконечно. Фактически в Третьей республике хозяйничали авантюристы и казнокрады. Это были одни и те же захватанные карты одной и той же краплёной колоды, которую без конца перетасовывали руки «двухсот семейств». Всякие лавали, шотаны, думерги, тардые и фландены сменяли друг друга. На их лопатках светились сквозь фраки бубновые тузы потенциальных каторжников, и если бы к власти пришёл народ, немногие из этих политических шулеров избежали бы переселения в Кайенну. Шпионаж в пользу Германии и профашистская политика ради

выгодных биржевых спекуляций — по системе Боннэ; шпионская деятельность в пользу фашистской Италии и соучастие в подделке облигаций — в духе Кьяппа; убийства политических противников — в стиле де ла Рокка; шантаж по системе Морраса — одной десятой всего этого было бы достаточно, чтобы скомпрометировать любую буржуазную партию, любое правительство. Но пресса, субсидируемая самими же преступниками, распоряжавшимися во французском казначействе, как в собственном кармане, покупаемая оптом и в розницу банкирами и промышленниками, подкупаемая

немецкой гестапо и итальянской овра, — продажная пресса извергала потоки лжи с целью обелить преступников и потопить в грязи их разоблачителей.

И все же в этой тяжёлой обстановке, несмотря на все усилия реакции, на шантаж и угрозы, невзирая на открытые вооружённые выступления фашистских и фашиствующих лиг, всяких «Боевых крестов», «Аксьон франсэз», «Солидаритэ франсэз», «национальных корпоративных партий» и т.п., — несмотря на откровенное покровительство властей рыцарям ножа и кастета, — французский народ без страха вышел

на улицу. Его возмущало бесконечное повторение в «новых» кабинетах затрёпанных имён старых политических жуликов. Народ оскорбляли нескончаемые аферы всяких стависских, которые грабили страну среди бела дня и прятались за спины своих соучастников из кабинета министров. Все это оскорбляло простых людей Франции, только и слышавших песенку о необходимости повысить налоги и понизить заработную плату. В феврале, в мае и в июле сотни тысяч людей вышли на демонстрации. Величественный и грозный поток возмущённых парижан, во главе которых шли руководители

коммунистической партии, привёл в трепет обитателей отелей миллионеров, беспардонных крикунов Бурбонского дворца и пешку-президента, сидящего в Елисейском дворце под охраной ажанов. Всем стало ясно, что следующая волна народного гнева уже не будет носить формы мирной демонстрации.

И вот «хозяева Франции» выдвинули фигуры, которые казались им подходящими для такой ситуации. На сцену вылез член семьи банкиров и коммерсантов, тонкий знаток изысканной литературы и собиратель редкостей, обладатель дисканта, кастрат, пресловутый «вождь»

социалистов, матёрый предатель Леон Блюм. За ним появился выбившийся из мелких булочников в крупного парижского биржевика «вождь» радикал-социалистов, сторожевой пёс биржи Эдуард Даладье. Эти два испытанных интригана пошли навстречу народным колоннам «с протянутою для пожатия рукою», намереваясь помешать идущим во главе народного движения коммунистам занять в нём ведущее положение.

Этот манёвр не помог: когда в феврале 1934 года де ла Рокк и Поццо ди Борго вывели на улицу банды своих фашистов, они встретили жестокий отпор.

Вовлекая все более широкие слои трудящегося люда Франции, лавина народного движения продолжала мощно катиться вперед. 27 июля, в день двадцатой годовщины смерти Жана Жореса, несколько сотен тысяч парижан продефилировали перед Пантеоном, чтобы отметить первую победу — договор между коммунистами и социалистами о совместных действиях. Леон Блюм был против единства действий с коммунистами, но массы заставили его подписать договор. Это был крепкий удар по социал-предателям и по фашизму. В лагере реакции началось смятение: вырисовывалась перспектива

поражения правых партий на предстоящих выборах. Но «двести семейств» не желали сдаваться или хотя бы отступать. По их приказу открылись шлюзы клеветы. Дело поручили «Боевым крестам» и «Аксьон франсэз». Грязные фашистские листки «Фламбо» и «Гренгуар» затеяли травлю лидеров левых партий. Префект парижской полиции, пресловутый Жан Кьяпп, обладавший «секретными досье», способными наповал уложить любого бывшего, нынешнего и будущего министра, пригрозил членам кабинета и палаты, что пустит эти досье в ход против всякого, кто вздумает заступиться за

жертв «Гренгуара» и «Фламбо».

— А если и этого окажется мало, — крикнул Кьяпп председателю палаты депутатов Эррио, — я явлюсь сюда с автоматическим пистолетом и буду стрелять!

— В кого? — спросил потрясённый Эррио.

— В кого попало!..

Кьяппа поддержал Ибарнегарэ — друг и соратник де ла Рокка.

— Если легальных возможностей у нас не будет (стрельбу в палате он считал, повидимому, легальной), мы прибегнем к другим средствам!

Атмосфера накалялась.

«Кампания» правых, накачиваемая деньгами из сейфов «двухсот», получала все больший размах. Нажимали и фашисты из-за рубежа. Дорио на деньги немецкой гестапо купил провокационный бульварный листок «Либертэ». Де ла Рокк за одиннадцать миллионов франков, неизвестно откуда взявшихся у него, приобрёл большую газету «Пти журналы».

«Кампания» развивалась. В «чёрном списке» де ла Рокка после консультации с Берлином появились крестики против имён намеченных жертв.

Над Парижем висела серая сетка

дождя. Под ногами хлюпала слякоть. Годар и Анри теперь выходили из метро у палаты депутатов и встречались только в подъезде Второго бюро.

Это было влиянием их службы, или, вернее говоря, их нынешней профессии. Вместо сближения, которое было бы верным результатом их долгой совместной службы в других условиях, скажем в армии, эта служба способствовала тому, что с каждым днём они отходили друг от друга все дальше и дальше. Изю дня в день каждый из них обнаруживал в другом все новые отрицательные черты, которых не замечал ранее. С каждым днём ошутимее становилось

желание не только подмечать для себя недостатки другого, но рука как бы сама собой тянулась к перу, чтобы занести эти наблюдения в личное досье друга.

Так постепенно из друзей они превратились сначала в равнодушных, а потом и в придирчивых наблюдателей, не прощающих друг другу ни недостатков, ни ошибок.

Пропало желание выйти на станцию раньше, чтобы пройти несколько кварталов с приятелем. Годару казалось даже, что исчезла необходимость посидеть на скамье под каштанами. Словно и энфизема не была больше энфиземой, раз не с

кем стало о ней говорить, и сердце не билось день ото дня все с большей натугой.

Одним словом, майор Годар и капитан Анри иногда сходились теперь в подъезде бюро и тогда обменивались равнодушным кивком. А чаще и входили они туда в разное время. Разницы в две-три минуты было достаточно, чтобы не столкнуться в подъезде...

В тот день, о котором идёт речь, генерал Леганье вызвал к себе Анри. Тот увидел в его кабинете Годара. Годар принёс известие, что через редакцию «Салона» от Роу в Лондон прошло интересное сообщение: на днях в Швейцарию, на Луганское

озеро, собираются приехать немцы. Их поездка находилась в какой-то связи с намерениями югославского короля Александра.

Генерал вопросительно
установился на Анри.

— Не кажется ли вам, капитан, что если это сообщение имеет какое бы то ни было отношение к нам, то я должен был бы услышать об этой поездке не от Годара, а от вас?

— У меня нет данных о том, что поездка имеет отношение к нам.

— Неужели я должен вам объяснять, что все относящееся к королю Александру интересует Францию? — генерал разгладил какие-то ему одному видимые

складки несуществующей
скатерти. — Если Роу обеспокоен,
значит, дело идёт не о простом слухе!

Генерал быстро и точно
водрузил пенсне на место и
скользнул по обоим офицерам
быстрым взглядом.

— Я пришёл в бюро не для того,
чтобы присутствовать на похоронах
французской секретной службы. Я
хочу знать то же, что знают другие —
англичане, итальянцы, поляки. Хотя
бы столько же!

— Не так уж мало, мой
генерал, — усмехнулся Годар.

— Но и не так много, как можно
было требовать от этого же бюро
несколько лет тому назад! — Леганье

сделал короткую паузу. — Если вы устали, Годар, поезжайте отдохнуть.

— Но, мой генерал...

— Сегодня же вам будут изготовлены надлежащие документы. А вы, Анри, как лучший друг майора...

Анри поднял взгляд на генерала.

— Разве я дал повод, мой генерал?

— ...Вы, как друг Годара, можете сопровождать его. И вам будут сегодня же изготовлены необходимые документы. Поедете в Лугано. И если я по вашему приезду туда не буду знать, что общего между этим визитом бошей и королём Александром, ваш отдых будет

продлён на неопределённо долгое время. Но не думаю, чтобы мне удалось выхлопотать прибавку к пенсии, полагающейся вам по чину...

Через три дня явно преуспевающий коммерсант — капитан Анри — и усатый парижский рантье — майор Годар — порознь вышли из подъезда вокзала в Лугано. Капитан Анри бросил элегантный чемодан в маленький голубой автобус аристократического пансиона «Вилла Моника». Годар, захлёбываясь кашлем и будто бы не глядя, кому отдаёт свой потрёпанный саквояж, сунул его в руку комиссионера скромного «Отель-

дез'Альп».

Французские офицеры прибыли в Лугано раньше Отто и Кроне. Те появились только через три дня и тоже порознь.

В потоке туристов французам было нелегко обнаружить немцев. Анри заметно нервничал и уже вторично во время якобы случайной встречи с Годаром в кафе настаивал на том, что поиски нужно бросить: они обречены на неудачу. Поездка бездарно организована: у Второго бюро нет здесь своей агентуры, и он не видит возможности выполнить поручение генерала.

— Можешь ехать, — пробормотал Годар. — И доложи

генералу, что уходишь в отставку.

— А ты?

— Дай мне подышать чистым воздухом... У меня здесь почти пропал кашель.

— Тебя посылали не за этим! Ты поедешь со мной! — настойчиво проговорил Анри.

— Какое тебе дело до меня?

— Я вовсе не желаю, чтобы генерал считал дураком одного меня.

— Конечно, вдвоём веселее быть дураками... Тем не менее, я остаюсь тут.

Годар, кряхтя, поднялся и пошёл прочь. Новый костюм сидел на нём так же мешком, как и тот, в котором он обычно являлся в бюро. И плечи

его так же были осыпаны перхотью. Он даже тем же самым движением забросил за спину руки.

Анри с ненавистью глядел ему вслед. Не мог он уехать один. Не мог!.. Но как уговорить майора покинуть Лугано?

Неподалёку от набережной Годар опустился на скамью. Аллея была обсажена кустами роз. Господи боже, как хороша могла бы быть жизнь, если бы на свете не существовало эмфиземы! Эмфиземы и Второго бюро. Но разве забудешь о них даже среди этих роз?

Годар полез в карман за платком, и его рука наткнулась на жёсткий конверт письма,

полученного сегодня «до востребования». Уезжая из Парижа, он приказал своему помощнику уведомлять его обо всём, что будет поступать в «Салон». И вот сегодня есть новость: Роу писал своим шефам в Лондон, что направил в Лугано, «где собралось довольно изысканное общество, свою корреспондентку, которая будет держать редакцию в известности обо всём, что может произойти там интересного». Получив это письмо, Годар повеселел было и сделал попытку через портье установить, нет ли в отеле какой-нибудь иностранной журналистки, но таковой не оказалось. Повидимому,

корреспондентка Роу остановилась в другой гостинице.

Годар рассеянно следил за гуляющими. Сколько беззаботной молодёжи! Погодите, и у вас, мои дорогие, будет какая-нибудь дрянь, вроде эмфиземы, а может быть, и что-нибудь похуже!.. Он смеялся в душе над бодрящимися старичками. Пусть вот этот геморoidalный драбант не делает вида, будто его больше всего на свете занимает та блондинка. Впрочем, блондинка действительно прелестна. И сам Годар непременно приволокнулся бы за нею... лет двадцать назад.

И вдруг эта самая блондинка остановилась против Годара:

— Простите, мсье, где здесь почта?

Годар собрался было ответить, но вспомнил, что и ему самому нужно на почту: из Парижа могли прийти новые известия.

Он задышался, с трудом поспевая за бойко постукивающей каблуками блондинкой. Было стыдно признаться, что такой аллюр ему не под силу.

Тому, что он отправился с нею на почту, блондинка, повидимому, придавала совсем иной смысл, чем необходимость справиться о письмах. Но что ему за дело до её мыслей? Не станет же он за нею волочиться!

И тут внезапно все его праздные мысли исчезли, словно выбитые из головы одним ударом: конторщик за решёткой спросил блондинку:

— Я правильно читаю: рю Ларрей?

— Да.

Чувствуя, как под ним колышется земля, Годар впился взглядом в узкий конверт, поданный блондинкой конторщику: «Ларрей, 7, редакция „Салон“.

Годар вышел на улицу, купил несколько роз и, прислонившись к стене, так как кашель совершенно обессилил его, стал ждать блондинку.

Заметив его одышку, она сама предложила на обратном пути

посидеть на бульваре. Она надавала ему кучу рецептов домашних средств от кашля, которые применял её папа.

Отдохнув, они пошли дальше. Не доходя до отеля, блондинка протянула Годару руку.

За пять франков портье охотно сообщил, что даму зовут Сюзанн Лаказ.

Годар долго ворочался в постели: следует ли поделиться открытием с Анри?

Какие основания могли быть у Годара не доверять капитану Анри хоть что-нибудь из того, что знал он сам? А между тем порой ему чудилось в Анри что-то, что не нравилось старому разведчику.

«Кто знает, — думал Годар, — может быть, это и есть та самая интуиция, без которой грош цена работнику разведки? Мало ли какие случаи знает наша практика!..»

Однако рано или поздно ему придётся привлечь к работе Анри или вызвать помощь из Парижа. Одному тут не справиться. Да, так и придётся сделать: послать телеграмму генералу с просьбой о подмоге. И не позже, чем завтра.

С этим решением Годар повернулся на бок и натянул на ухо пикейное одеяло.

В это самое время Отто Шверер и Кроне встретились в небольшом

пригородном местечке Кассарато, в пятнадцати минутах езды на восток от Лугано! Отто отпустил свой таксомотор и пересел к Кроне. Когда машина тронулась, Кроне сказал Отто:

— Познакомьтесь, капитан Пиччини.

Сидевший за рулём итальянец, не оборачиваясь, через плечо подал Отто руку и, дурно выговаривая немецкие слова, сказал:

— Очень рад.

— Мы едем в Кастаньолу, — пояснил Кроне Швереру. — Там вы увидите остальных.

Отто понял, что Пиччини офицер овра, итальянской разведки.

Пятнадцать минут пути все молчали.

В Кастаньоле они остановились у калитки, на которой Отто заметил дощечку с надписью: «Вилла Давеско». Они миновали большой сад и вошли в неуютно обставленный дом. У дверей веранды их встретил человек среднего роста.

Представляя его немцам, Пиччини сказал:

— Анте Павелич.

Отто посмотрел на него с интересом: этот бывший офицер австрийской службы, а ныне вожак усташской организации профессиональных убийц имел ничем не примечательную

наружность. Бросались в глаза только очень густые и очень чёрные брови, под которыми прятались маленькие глаза пьяницы, с белками, изборождёнными красными прожилками.

Все поднялись во второй этаж. В просторной комнате сидело трое черноволосых людей. Они громко спорили о чём-то на незнакомом Отто языке. Павелич представил одного из них:

— Радованович Марко.

Поднялся огромный курчавый детина крепкого сложения с загорелым звероподобным лицом и пожал гостям руки, сжимая их, как тисками.

— Первоклассный
пулемётчик, — пояснил Павелич. —
Может стрелять с руки.

Павелич показал на следующего
— маленького, сухого, с длинными,
зачёсанными назад волосами и с
рассечённым пониже переносицы
носом. Он был без пиджака, и под
шёлковой рубашкой угадывалась
твёрдая округлость мускулов.

— Хрстыч Петар,
гранатомётчик. Бросает на семьдесят
метров с ходу.

Хрстыч поклонился, как
цирковой артист. Руки не подал.

Следующий, Вучич Иован,
молодой, с бледным лицом и
блудливыми глазами, оказался

стрелком из пистолета, за которого Павелич ручался, как за чемпиона.

Кроне изучал усташей взглядом опытного барышника. Отто заметил, что он остался доволен осмотром. Однако при дальнейших словах Павелича лицо Кроне омрачилось. Выяснилось, что король Александр отменил предполагавшуюся поездку на швейцарские озера, где было бы удобней всего разделаться с ним. Король решил совершить поездку по Франции.

Покушение на короля следовало организовать по дороге из Белграда в Париж.

— Лучше всего во Франции, — сказал Кроне. — Может быть,

удастся ликвидировать сразу обоих — Александра и Барту. Мы организуем дело так, чтобы полиция Кьяппа не чинила препятствий вашему въезду во Францию. Убийство короля на французской земле скомпрометирует Францию.

Отто перехватил взгляд Кроне и прочёл в нём то, чего не могли увидеть другие, знавшие Кроне хуже. «А потом, — говорил этот взгляд, — мы поймаем убийц Александра и отдадим их на растерзание югославам».

Усташи сидели молча и внимательно слушали. Только изредка, когда дело касалось каких-нибудь деталей технического

свойства, они вставляли свои замечания.

Когда совещание было закончено, Пиччини сообщил, что в Лугано явились офицеры французского Второго бюро. Один из них, майор Годар, уже держит в руках нить заговора. Если его не убрать, он может провалить дело.

Кроне злобно поглядел на Пиччини: проклятый итальянец раззадорил их разговорами о деталях плана и только после этого преподнёс своё сообщение, которое ставило весь план под угрозу отмены.

— Один из ваших людей, — властно сказал Кроне Павеличу и

повёл глазами в сторону Вучича, — должен убрать этого Годара теперь же.

Павелич отрицательно мотнул головой:

— Я не могу рисковать своими людьми ради какого-то паршивого майора!

— Да, да, — спохватился и Пиччини, — это отборные люди. Специально для короля!

Ни с кем не простившись, Кроне вышел, сопровождаемый Отто. У ворот он без церемонии сел за руль автомобиля Пиччини.

— Вам, мой милый Шверер, придётся заняться этим Годаром, — сказал он по дороге.

— Но позвольте, — вспыхнул Отто. — Я не простой убийца, который...

Кроне перебил:

— Вы всегда тот, кого я хочу в вас видеть. Запомните это, Шверер! В деле с королём мы обойдёмся и без вас.

Отто молчал. Попасть в руки швейцарской полиции?.. Где гарантия, что Отто удастся удрать раньше, чем поднимется шум?

Кроне неожиданно затормозил. Не говоря ни слова, он развернулся и поехал обратно к «Вилле Давеско».

У калитки они увидели растерянного Пиччини.

— Мой автомобиль!.. — крикнул

было итальянец, но Кроне не дал ему говорить.

— Нужно сделать так, чтобы в определённое время Годар был там, где мы можем... им заняться.

— О, тут я не могу вам помочь! — сказал итальянец.

— Я выбью из вас душу, — грубо сказал Кроне, — если вы этого не сможете.

Отто впервые видел Кроне таким.

— Когда и где вы хотите его видеть? — смиренно спросил итальянец.

— Через час на станции Паццалло фуникулёра Сан-Сальвадор. Там, где кафе! —

приказал Кроне и уехал на автомобиле Пиччини, не обращая внимания на протесты итальянца.

Годар очнулся от тяжёлого сна. Одеяло сползло ему на лицо. Нечем было дышать. Он вылез из постели, чтобы принять порошок веронала. Но потом передумал: решил не откладывать до завтра отправку телеграммы. Присел к столу и быстро зашифровал депешу кодом, который был ему дан генералом для этой поездки. Годар просил прислать сюда своего помощника с одним-двумя надёжными людьми.

Сунув написанное в карман, Годар отправился на улицу Кановы. Сдал депешу на телеграф и не спеша пошёл домой.

В звёздном сиянии безлунной ночи внизу темнело озеро. Где-то очень далеко, у поворота за Монте-Больо, как брошенная на воду горсть светляков, переливался огоньками пароход. Годар остановился и следил за ним, пока пароход не скрылся за выступом горы.

С набережной доносились приглушённые звуки струнного оркестра. Вправо, за Парадизом, подобно увешанному лампочками воздушному шару, высоко в небе сверкал огнями ресторан на вершине горы Сан-Сальвадор. Его как бы удерживала от полёта в чёрную бездну неба тоненькая цепочка огней, тянувшихся вдоль линии

фуникулёра.

Вдыхая приторный аромат розовых кустов, перемешанный с запахом раскрывшегося табака, Годар медленнее, чем обычно, приближался к своему пансиону. Улица была пустынна.

Вдруг он остановился. Навстречу ему слышались торопливые шаги. Как это иногда бывает с нервными людьми, Годар угадал, что это шаги человека, ищущего именно его. Здесь можно было ждать всего, и рука Годара сама собою опустилась в карман, где лежал браунинг. К своему удивлению, он узнал в поспешно приближающемся пешеходе капитана

Анри.

— Что-нибудь случилось?

— Ничего... решительно
ничего...

— Ты был у меня?

— Мне стало невыносимо
скучно... Живём, словно монахи...
Давай поднимемся на Сан-
Сальвадор, посмотрим на город с
высоты.

— Что же, — без особой охоты,
но и без сопротивления, ответил
Годар.

У подножья величественной
громады Сан-Сальвадора было
пустынно.

Вагончик фуникулёра медленно
поташился по крутому склону.

Открылся безграничный вид на Луганское озеро и на горы чуть не до итальянской границы.

Оживление Анри внезапно прошло. Он сидел молчаливый, как будто чем-то подавленный.

Вагончик, громыхая, миновал мост над пропастью.

— Паццалло! — крикнул кондуктор. — Пересадка в другой вагон.

— Почему пересадка? — удивился Годар, с неохотой вылезая из вагона.

— Подъем будет вдвое круче, — сказал Анри. — Нет смысла ехать дальше. Останемся здесь. Тут нам дадут вина.

Не ожидая ответа, Анри направился к веранде маленького ресторана.

Годар лениво тянул кисловатое вино. Анри пил жадно. Он приказал подать вторую бутылку.

Годар поглядывал на приятеля, пытаясь угадать, зачем тому понадобилось тащить его сюда среди ночи. Он был уверен, что это неспроста. Анри не принадлежал к числу людей, поддающихся безотчётным порывам. Каждый его шаг был обдуман и рассчитан. Незаметно для себя Годар закурил предложенную Анри сигарету, хотя со дня приезда в Лугано дал себе слово не курить. Анри предложил

вторую.

— Странный вкус у твоих сигарет, — сказал Годар. Он уже не мог удержаться и, как прежде, прикуривал от ещё не потухшего окурка.

Минут через двадцать Анри поднялся.

— Я сейчас вернусь, и мы поедем домой.

— Да, мне что-то захотелось спать от твоих дрянных папирос.

Годар заплатил за вино и, подойдя к перилам, ещё раз полюбовался панорамой. Появился ущербный месяц. В его неуверенном свете озеро серебрилось широкой дорогой, и горы казались выше и

чернее. Темнота казалась таинственной, и Годар подумал, что именно там-то, за этой непроницаемой завесой, и находится то, чего он искал всю жизнь, — счастье. Быть может, именно теперь, когда за его плечами были двадцать лет опыта, какого не даёт никакая другая профессия, он и не сумел бы ясно ответить на вопрос, что он понимает под словом «счастье». Но ведь были и в его жизни времена, когда это понятие представлялось конкретным до осязаемости, когда общечеловеческое понятие счастья не носило на себе отвратительных следов нечистых человеческих судеб, прошедших сквозь его мозг и душу.

Было же, чорт возьми, время, когда все на свете ещё не было обезображено всепроникающим светом его службы, под ядовитыми лучами которого, как под эманацией радия, мясо отваливается от костей и самый скелет разваливается, не сдерживаемый распавшейся тканью сухожилий. От человеческого богоподобия остаётся лишь куча смрадной слизи. По крайней мере, последние десять лет своей жизни Годар шагал по такой слизи...

Он отвернулся от озера, тяжело вздохнул и вернулся к столику. Лакей убирал стаканы.

— Мой спутник не возвращался?

— Он сел в фуникулёр.

— Вы путаете: он не мог уехать без меня.

— Я отлично видел: он поехал вниз.

Сторож на платформе фуникулёра ничего не мог сказать. Он ничего не помнил — ему хотелось спать.

Годар стоял и машинально прислушивался к тому, как вода с шумом вливалась в резервуар под вагончиком. Он так задумался над странною выходкой Анри, что не заметил, когда кондуктор перекрыл воду и занял место у тормоза.

— Вы поедете? — крикнул он Годару.

Годар вошёл в тёмный, пустой

вагон. Кроме него, не было ни одного пассажира. Чувство привычной насторожённости заставило Годара переложить браунинг из заднего кармана в карман пиджака и отодвинуть предохранитель. Он о трудом боролся с одолевавшей его сонливостью.

Глухо лязгала шестерня по зубьям рельса и трещала собачка тормоза, когда кондуктор сдерживал разбег вагона.

Показался чёрный провал пропасти. Под вагоном басисто загудел металл моста, словно катили железную бочку.

Когда вагончик остановился в нижнем павильоне фуникулёра,

кондуктор поспешно сошёл с площадки и открыл заслонку водяного балласта. Это был последний рейс...

К вечеру следующего дня капитан Анри сделал полиции заявление об исчезновении Годара. Ему предложили осмотреть труп, найденный утром на дне пропасти, под мостом фуникулёра Сан-Сальвадор. Голова трупа была в таком виде, что никто не взялся бы признать в нём майора Годара. Но на левой стороне нижней губы виднелось что-то белое. Анри узнал прилипший окуроч своей сигареты и вздохнул с облегчением.

В тот же вечер Анри уехал из Лугано.

Капитан французской службы Анри и майор вермахта Отто фон Шверер почти одновременно вышли из вагонов. Первый — в Париже, второй — в Берлине.

Капитан Анри сделал доклад начальнику бюро.

— Сто против одного: немцы никогда сюда не сунутся. Они передоверили дело овра, чтобы остаться в стороне. А овра, в свою очередь, использует мадьяр или усташей, — уверенно сказал Анри.

— Все хотят выйти сухими из воды... — недовольно проговорил генерал Леганье. — Нужно принять

меры к тому, чтобы ни один из усташей не мог проникнуть во Францию. Позор падёт на наши головы, если мы не сумеем оградить жизнь короля Александра на французской земле. За Барту я спокоен. Его мы не дадим в обиду. Нужно сейчас же дать знать на Кэ д'Орсэ, чтобы там не вздумали выдать визы этим разбойникам. Вы знаете их имена, Анри?

— Так точно, мой генерал, — и Анри перечислил имена трех хорватов из шайки Павелича.

— Действуйте...

Через час капитан Анри был опять у генерала: оказалось, что отдел виз министерства

иностранных дел уже имел указание кабинета премьера о предоставлении въездных виз Павеличу, Радовановичу, Хрстычу и Вучичу.

Генерал позвонил министру иностранных дел. Трубку снял сам Барту. Леганье приказал вести запись разговора и включил усилитель, чтобы капитан Анри мог слышать, что отвечая Барту.

Генерал: — Через вашу голову даются распоряжения отделу виз?

Барту: — Что вы хотите, генерал? Приказ канцелярии премьера!

Генерал: — Я решительно протестую против въезда этих лиц!

Барту: — Премьер передал мне

это как личную просьбу маршала.

Генерал: — Поймите же, господин министр: впуская этих убийц, вы ставите под угрозу жизнь короля Александра!

Барту: — Господин Кьяпп обещал мне принять меры.

Генерал: — А для вашей личной безопасности он тоже примет меры?

Барту: — Что вы имеете в виду? При этих словах Барту рассмеялся. Генерал сердито проговорил в трубку:

— Я хотел бы так же смеяться, как вы, господин министр, но, к сожалению, у меня нет для этого оснований. В последний раз предупреждаю вас: въезд подобной

компании во Францию — игра с огнём. Внешние союзы, ограждающие Францию, могут оказаться разорванными одним выстрелом!

Барту: — Слишком много для кучки гангстеров.

Генерал: — Вспомните один выстрел в Сараеве, дорогой министр! А Гитлеру и Муссолини больше ничего и не нужно... Вы разрешите мне переговорить с маршалом?

Петэн, в свою очередь, сослался на то, что его просил о визах для усташей полковник де ла Рокк, он хлопотал за них как за политических эмигрантов, просивших у Франции убежища...

Старый предатель со знаками «маршала Франции» не собирался посвящать генерала Леганье в то, что уничтожение Барту входило в план подавления в Третьей республике всего, что ещё было способно сопротивляться наступлению немецкого гитлеризма и своего собственного, французского фашизма, тайным главою которого и был сам дряхлеющий маршал-изменник.

Наступил октябрь. В Берлине все ещё шёл дождь, но в Париже светило солнце. Это не было жаркое сияние июльского солнца, но все же дни стояли ясные и тёплые.

В один из таких дней генерал Леганье, получивший новые сведения о подготовке покушения на короля Александра, решил ещё раз позвонить Барту. Разговор опять был записан слово в слово. Начальник Второго бюро официально просил министра изменить церемониал встречи короля — не ездить в Марсель. Но Барту в двух словах доказал генералу, что это абсолютно невозможно.

— Тогда прошу вас, господин министр, — заявил Леганье, — переменить пункт встречи. Что хотите, только не Марсель!

— Поздно, поздно, мой генерал, — с обычной для него

весёлостью ответил Барту. — Все ваши страхи навеяны дурным сном, а дурной сон — результат плохого пищеварения, — и старик рассмеялся. — Смотрите на меня, дорогой генерал: никогда никаких кошмаров. Желудок действует прекрасно. В мои-то годы!

А Леганье на основании агентурных данных мог с уверенностью сказать не только то, что охрана Барту поставлена из рук вон плохо, но... да, да, он знал: всё, что случится в Марселе, произойдёт с ведома сюрте, с ведома Кьяппа.

— В таком случае, господин министр, — заявил Леганье, — прошу вас взять с собой двух-трех

офицеров моей службы.

Барту опять ответил, смеясь:

— Два-три от вас, два-три от Кьяппа... У меня не Ноев ковчег, а всего лишь дрянной старый вагон, в котором, вероятно, ездил ещё Адам. Только для того, чтобы не обидеть вас, возьму одного офицера. И баста, мой генерал, баста!

Положив трубку, Леганье приказал позвать к себе капитана Анри.

— Вы будете сопровождать господина Барту в Марсель. Это необходимо.

Через день, в субботу 8 октября, капитан Анри с несессером в руке подошёл к вагону Барту,

прицепленному к составу
курьерского поезда Париж-Марсель.
Из окна купе Анри с интересом
наблюдал за неугомонным старцем,
весело пожимавшим руки
проводящим. Трудно было
поверить, что человек может
сохранить такую бодрость,
пропустив через свои руки
восемнадцать министерских
портфелей. Заседать в восемнадцати
кабинетах, восемнадцать раз быть
свидетелем свержения правительства
и сохранить способность смеяться,
когда тебя уже предупредили о том,
что путь к девятнадцатому портфелю
тебе, вероятно, преградит бомба или
пуля, — это не укладывалось в

сознании Анри.

Поезд был уже далеко от Парижа, когда Анри пригласили в салон министра. Старик оглядел его, словно оценивая достоинства представителя Второго бюро.

— Прошу знакомиться, господа, — скороговоркой бросил министр и пробормотал что-то неразборчивое.

Из сидевших вокруг стола Анри знал в лицо только Леже — начальника кабинета министров, человека, пережившего на своём посту многих шефов и составлявшего гордость министерства, так как служил «самому» Бриану. Сцепив пальцы на столе перед собою, Леже

смотрел в стоявшую перед ним чашку кофе и, казалось, не слушал того, что говорил Барту. Лица остальных были обращены к министру.

— Уверяю вас, господа, — с живостью говорил Барту, — мои выводы основаны на трезвом анализе обстановки и опыта истории. Жюль Камбон говорил: «Я не хочу иметь ничего общего с Советами. Я доволен тем, что мой возраст избавляет меня от необходимости жать руки их представителям. Но если бы я был у власти, то сделал бы всё, что могу, для сближения Франции с Россией. Франция нуждается в помощи России, чтобы защитить себя от

Германии. Без такой помощи она не выдержит». Это печально, но это так, господа, — произнёс Барту и, обхватив двумя руками чашку, в которой поблёскивала мутная смесь молока с эмсом, отпил несколько глотков. — Камбон говорил: «В 1914-м русские солдаты в Мазурских болотах выиграли битву на Марне». — И, быстрым взглядом обжевав лица слушателей, Барту добавил: — Это факт, господа. Русские любят говорить, что факты упрямы. А я не люблю спорить с упрямыми, когда вижу, что спор кончается не в мою пользу. — И он покачал головой. — А вы, Леже, что вы думаете обо всём этом?

Леже поднял взгляд от своей чашки, посмотрел на министра и ничего не ответил. Взгляд его выражал согласие.

Чем больше Анри слушал министра, тем больше ему казалось, что утвердившаяся за ним репутация величайшего хитреца и притворщика не соответствует действительности. Анри знал, что о Барту говорили: «Иметь его в кабинете рискованно, но иметь его вне кабинета опасно». Говорили об его оппортунизме, о способности предавать друзей, на ходу изменять своё мнение по нескольку раз. И все это казалось Анри несовместимым с тем образом добродушного, прямого весельчака,

какой предстал ему теперь. Журналисты в разговорах между собою тоже всегда хорошо отзывались о Барту: он никогда ничего не скрывал от них. Только предупреждал, что из сказанного не должно появиться в печати. И если журналист обманывал его доверие, навсегда исключал его из числа своих доверенных собеседников.

Судя по списку, лежавшему в кармане Анри, и сейчас за столом должно было сидеть несколько представителей прессы. Министр с откровенностью рассказывал о последней поездке по Европе, когда он вёл «битву за восточное Локарно». В этой комбинации он видел

противовес милитаризирующейся Германии и, следовательно, спасение Франции. Анри с удивлением услышал:

— Если мне не удастся осуществить этот план, — а мне кажется, что это уже не удастся, — война неизбежна. Война породит у нас большие, очень большие социальные перемены. — Барту насмешливо посмотрел на молчаливого Леже. — Не знаю, что сделал бы на моем месте Бриан... Если бы я мог это знать, то сделал бы то же самое.

Барту продолжал беседу с такой лёгкостью, словно и не говорил уже полчаса безумолку, и таким тоном,

будто перед ним сидели не несколько журналистов и случайных спутников, а, по крайней мере, весь кабинет или палата.

Анри захотелось курить. Он покосился на соседей: курил ли кто-нибудь в присутствии Барту? Папирос ни у кого во рту не было, но на одной из пепельниц дымилась едва начатая сигара. Анри закурил с такой поспешностью, словно боялся, что кто-нибудь его остановит.

Сквозь облачко дыма он посмотрел на Барту. Ему казалось, что это облако служит прикрытием его любопытному вниманию. Лицо министра, его быстрая речь, воодушевление не давали повода

подозревать какое-либо беспокойство за самого себя. Барту был занят совсем другими мыслями. Он вовсе не обольщался насчёт личных качеств короля Александра Карагеоргиевича и его режима. Но он был убеждён, что Югославия и союз с нею необходимы Франции. А раз Франция нуждается в Югославии, старик готов был разыгрывать друга короля, поскольку тот держал в руках власть. Он знал, что Александр сидел у себя в канаке, трясясь от страха перед тысячью всяких опасностей, которые видел со всех сторон. Барту был уверен, что рано или поздно Александра убьют. Он знал, что король Александр боится

македонцев, боится своих собственных офицеров: если они смогли с лёгкой совестью зарезать короля Александра Обреновича и его жену королеву Драгу, чтобы посадить на престол отца Александра — Петра Карагеоргиевича, то почему им не зарезать самого Александра?.. Александр боится своего брата Георгия Карагеоргиевича, которого сумел посадить в сумасшедший дом, но не решается убить. Барту знает, сколько усилий король тратит на то, чтобы оградить себя от возможного появления на воле принца Георгия. И Барту было досадно, что приходится строить свою политику на дрожащем от страха югославском короле.

Всего этого старик не сказал своим собеседникам. Речь шла о другом.

— Франко-русский пакт должен быть коллективным. Он должен быть согласован с договорами, по которым Франция имеет обязательства. Этот пакт должен быть открыт для всех: для Германии, равно как для России. Россия должна быть втянута в европейскую систему, иначе этой системе — конец.

Министр говорил, все больше оживляясь, словно возбуждаемый проектом, казавшимся ему единственным выходом из политического тупика, в который зашла Европа, а может быть, и весь

мир:

— Восточное Локарно, господа! Воодушевляемый идеей спасения Европы от новой войны, надвигающейся ещё прежде, чем заглохло эхо выстрелов прошлой, я не испугался холодного душа, которым меня облили англичане, как только я сунул нос в Лондон. Но и там нашёлся человек достаточно разумный, чтобы понять: без кардинального решения вопроса безопасности на востоке Европы — конец. Конец существующему порядку и — да здравствует социальный катаклизм! А за этим — хаос!.. Кстати говоря, — весело заметил министр и, оторвав руку от

чашки с молоком, о которую грел ладони, показал на Леже: — вот истинный автор проекта... Господин Леже, я говорю о вас!

Начальник кабинета кивнул головой.

— Должен сказать, господа, что все шло бы прекрасно, если бы этот долговязый тупица Риббентроп, едва появившись в Париже, сразу не заявил в ответ на предложение Леже: «Никогда!» Чисто прусский ответ, — с усмешкой сказал Барту. — Прусская система мышления... Леже, расскажите же, что было дальше!

Леже, не поднимая головы, проговорил:

— «Отказ от пакта будет

серьёзным шагом, — сказал я Риббентропу. — Не хотите же вы сказать, что отказываетесь включиться в какую бы то ни было систему безопасности?» — Начальник кабинета посмотрел на кого-то из сидевших напротив него и так же безучастно продолжал: — Господин Риббентроп ответил мне: «Мы не примем участия в вашем восточном Локарно никогда!» При этом он громко зевнул и, вытянув ноги, скрестил их, повидимому полагая, что хорошо усвоил себе манеры британских дипломатов.

— Представляете себе, господа, эту фигуру? — подхватил Барту. — Немногим лучше этого господина

оказался Бек. По-видимому, он забыл, что его попросили о выезде из Парижа потому, что поймали с поличным на шпионской работе, ещё когда он был тут военным атташе. Не чем другим, как только хорошо оплачиваемой Гитлером приверженностью к фашизму, нельзя объяснить позицию этого человека. Но это было бы ещё полбеда, если бы и сам Пилсудский не оставил во мне убеждения, что варшавские круги безусловно предпочитают немцев русским. Увы, господа, они сами не понимают, что лезут в петлю. Рано или поздно она затянется на их шее. Единственный, кто мог бы обеспечить безопасность

Польши, — Россия... — Барту некоторое время молчал, что-то вспоминая. — Как жаль, что с нами нет нашей милой мадам Табуи. Она могла бы вам рассказать, какое впечатление на нас произвёл приём в Варшаве... да и в Кракове тоже. Полный отрыв от века. Судьба этой страны будет тяжела, если её правители не одумаются...

— Или если она не найдёт себе других правителей, — сказал кто-то из журналистов.

Барту посмотрел на него, как на ребёнка.

— К сожалению, мосье, вы не знаете, что такое фашизм. Это не та болячка, которую легко сколупнуть.

Может произойти большое, очень большое кровотечение...

Разговор сразу увял. Барту подлил в своё остывшее молоко ещё немного эмса и сделал несколько глотков. Затем поднялся и молчаливым поклоном отпустил собравшихся.

В Марселе тоже не было дождя. В четверг 6 октября на освещённую солнцем площадь перед вокзалом вышли четверо приезжих. Плащи были перекинуты у них через руку. Им нечего было бояться промокнуть, как и вообще не нужно было ничего бояться. Они находились под тайной охраной «Боевых крестов»

полковника де ла Рокка и
всесильного префекта парижской
полиции Кьяппа.

Кроне вполне доверял этой
охране и счёл излишним посылать в
Марсель своих людей. Отто мог
спокойно исполнять свои
адъютантские обязанности у
генерала Гаусса.

Вечером 8 октября Отто
доложил генералу о приходе офицера
разведки с секретным досье.

Гаусс с интересом прочёл
очередную стенограмму разговора,
состоявшегося вчера, 7 октября, в
Париже между французским
министром иностранных дел Барту и
госпожой Женевьевой Табуи и втайне

от них записанного на плёнку службой Александра.

«Табуи: — Вы, господин министр, возлагаете, повидимому, большие надежды на свидание с югославским королём?

Барту: — Да, теперь я действительно сделаю кое-что для моей страны. Не хотите ли сопровождать меня в Марсель для встречи с королём Александром?

Табуи: — Благодарю, я предпочитаю подождать в Париже.

Барту: — А, так вы боитесь, что на меня будут снова покушаться?

Табуи: — Что заставляет вас думать, что будет покушение?

Барту: — Кажется, в Марселе открыт заговор...»

Гаусс вызвал полковника
Александера:

— Если о заговоре знает Барту, значит, заговор открыт?

Александр улыбнулся:

— Французы не обращают внимания даже на открытые предупреждения прессы. Это свидетельствует о том, что нам не

хотят противодействовать.

На следующий день, в воскресенье 9 октября, Отто собирался поехать вечером с Сюзанн в варьете и решил отдохнуть после обеда. Но едва он успел улечься, как радиоприёмник сообщил последнюю новость: в Марселе убиты югославский король Александр и французский министр иностранных дел Барту.

Отто с досадой щёлкнул пальцами: награда прошла мимо него! Впрочем, он имеет тут свою долю. Разве дело на фуникулёре Сан-Сальвадор не помогло осуществлению операции? Он получит своё с Кроне! Сегодня есть

за что выпить с Сюзанн!

Отто выпил бы, пожалуй, и двойную порцию, если бы знал, что этот вечер явится его последним свободным вечером на целые полгода вперёд. Со следующего дня во всех военных учреждениях и штабах Третьего рейха началась лихорадочная работа, какой офицеры не помнили со времён мировой войны.

Для Германии путь к разрыву военных статей Версальского договора можно было считать открытым. Ещё несколько выстрелов в разных концах Европы — и заготовленный текст закона о всеобщей воинской повинности

можно будет опубликовать. В могилу сошёл едва ли не единственный министр Франции, видевший далеко вперёд. Несмотря на нависшую над ним опасность третьего покушения, — после неудавшихся первых двух, — Барту попытка протянуть руку на восток: за Одер, за Вислу, за Днепр. Очередь из немецкого пулемёта, направленная рукою усташского наёмника, купленного итальянскою овра, пресекла эту попытку.

В тот же вечер, 9 октября 1934 года, генерал Гаусс прямо из штаба приехал в любимый ресторан «Хорхер». За своим столиком, в четвёртой нише слева, он поднял

рюмку «Сан-Рафаэля» и сказал сидевшему напротив Прусту:

— За возрождение германской армии!

— Хох! — ответил Пруст. Он пил шампанское. Он не боялся алкоголя. От него только делался лучше цвет его и без того румяного лица.

В нескольких шагах от «Хорхера», на той же Лютерштрассе, в своём корреспондентском бюро Роу с досадой скомкал листы вечерних газет и бросил их в корзину для мусора. Он принялся готовить коктейль. Это было его обычное питьё такой крепости, что у

секретаря бюро Джонни от первого же глотка глаза вылезали на лоб. Роу сам придумал коктейлю название «Устрица пустыни», нравившееся ему своей нелепостью.

— К дьяволу! — вдруг проворчал Роу после второй рюмки.

Джонни не понял:

— О ком вы, патрон?

— Дай вам бог никогда не дожить до сознания, что всё, что бы вы ни делали, делается впустую.

— Приятный тост, — рассмеялся Джонни. — Однако я все же надеюсь, что со временем мир поумнеет.

— Мир — может быть, но Уайтхолл едва ли. Так и не сделали

ничего, чтобы заставить немцев заплатить подороже за успех в Марселе... Эдак они вовсе перестанут слушаться...

— Так мы возьмём их в работу! — сказал Джонни.

— Кто это — «мы»?

— «Сыновья святого Георга»!

— Разве «Сыновья» ещё не слились с лигой Мосли?

— Формально — да, но мы не дадим себя слопать никому. Мосли мягкотел. Нужно более решительно перенимать здешние методы.

— Они вам больше нравятся?

— В этом смысле мы должны признать преимущество немцев.

Роу приготовил себе новую

рюмку коктейля, удвоив дозу виски.

— А мне кажется, малыш, что англичанину не следует перенимать ничего, что идёт с континента. У нас свой путь, своя жизнь: англичанин, дитя моё, никогда не может стать европейским патриотом. Мы сами по себе; мы островитяне, жители шестой части света. Вот что должны понять на Даунинг-стрит.

Джонни расхохотался:

— Первый раз вижу вас таким непоследовательным, патрон! Вы же только что топтали сообщение об убийстве Барту. Значит, оно вас трогает?

— В той мере, в какой развязывает руки Герингу. Когда он

построит свою воздушную армаду, островное положение нашего королевства станет фикцией.

— О-о! К тому времени мы окончательно договоримся с Гитлером!

— Вот тут-то вы и ошибаетесь, сынок. Ни с тем, ни с другим нельзя договориться. Ни одному из них так же нельзя верить ни в полуслове, как нам самим, — заявил Роу. — Мы не должны зависеть ни от Гитлера, ни от Муссолини. Только тогда мы сможем не дать втянуть себя в кавардак, к которому идёт Европа.

— Если мы с ними не объединимся, то никогда не сможем переломить хребет коммунизму.

Роу отбросил корку лимона, которую с гримасой обсасывал.

— Вы не слишком сообразительны, дитя моё. — Он обмакнул в сахар новый ломтик лимона. — Один умный англичанин сказал: «Мы являемся первым народом на земле. Чем большая часть мира принадлежит нам, тем лучше для человечества». Правда, это чертовски смахивает на болтовню «фюрера», но тем не менее верно, потому что касается именно нас. И именно потому, что это верно, нужно вспомнить то, что сказал другой англичанин, тоже не дурак: «Большую часть тех сражений, которыми мы завоевали Индию, вели

наши войска, составленные из индусов; почти все войны за покорение для нас Африки вели для нас чёрные».

— Все это не так уж ново, — зевнув, заметил Джонни.

— Не перебивайте старших! Горе в том, что мы теряем старые преимущества. Мы слишком далеко пошли навстречу Гитлеру. Это может плохо кончиться.

— Мы должны были протянуть ему руку, если нам по пути.

— В том-то и заключается парадокс: нам слишком по пути, чтобы идти вместе. Дорожка слишком узка. Один непременно должен с неё сойти. А рядом с

дорожкой — болото или даже пропасть. Вопрос — кто кого туда столкнёт. Вопрос простой, но, увы, неясный!..

А в вилле Берхтесгаден, заканчивая этот же вечер в тесном кругу, Гитлер поднял бокал, наполненный лимонадом, и провозгласил короткий тост:

— За конец наших неприятностей с Францией!

Геринг и Гесс тоже подняли бокалы.

— И за нашего друга Лавалья! — сказал Гитлер.

— Эта скотина стоит нам слишком дорого, чтобы ещё пить за

него, — возразил Геринг.

Гитлер посмотрел на часы и сказал:

— Да, теперь он уже принял портфель министра иностранных дел Французской республики. За Лавалю, за Лавалю! — Гитлер отстукал ногами под столом чечётку.

Гесс подёргал себя за мохнатую бровь.

— Я думаю, — сказал он, — что благодаря последним событиям вопрос о Франции можно считать решённым.

— Да, можете считать его решённым, — проговорил Гитлер. И все поняли, что ему хотелось добавить: «благодаря мне», но

вместо того он крикнул Геббельсу: — Ты с ума сошёл, Юпп! — Геббельс с недоумением оглянулся на Гитлера. — Не торчи у клетки, ты разбудил Сисси. — Гитлер подошёл к клетке с канарейкой и, сложив губы трубочкой, почмокал: — Тю, тю, тю... Сисси, нужно спать. — И совершенно тем же тоном, словно продолжая беседу с канарейкой: — Рудольф, передай Риббентропу, что я должен сделать заявление о нашей дружбе в отношении Польши... В Варшаве мечтают о свободе от французских объятий. Теперь самое подходящее время заменить эти объятия нашими. А вам, Геринг, хорошо бы поскорее воспользоваться

приглашением польского президента и поохотиться в Беловежской пуще... Говорят, там прекрасная охота. — Он снова сделал губы трубочкой: — Ну, ну, Сисси, не волнуйся, спи. Эти противные люди мешают Сисси спать!.. Так мы их сейчас прогоним...

На другом конце Германии, в расположенном над Рейном дворце, носившем скромное название «Вилла Хюгель» и принадлежавшем семейству Крупп фон Болен унд Гальбах, этот день не был отмечен никакими торжествами, хотя к семейству Крупп события последних дней имели самое прямое отношение.

Причиной спокойствия, царившего в «Вилле Хюгель», было то, что именно там, больше чем где-либо в другом месте, знали обо всём, что должно было произойти, и о том, что ещё не произошло, но случится в ближайшие дни. Хотя старый Густав Крупп был не потомственным промышленником и коммерсантом, а всего лишь дипломатом средней руки и даже вовсе не был Круппом, а стал им лишь в силу специального «высочайшего» акта Вильгельма II, когда женился на Берте Крупп, но за тридцать лет хозяйничанья в величайшем европейском предприятии средств уничтожения он не только впитал опыт своих

предшественников, но и приобрёл все качества скупца. Он не привык бросать деньги на ветер.

В своё время фельдмаршалы, кронпринцы и даже кайзеры гогенцоллерновской Германии, турецкие паши и султаны, болгарские и румынские монархи состояли на откупе фирмы Круппа, чтобы раздувать военные бюджеты вооружения и увеличивать армии. За сходные проценты они готовы были перекачивать народные деньги в кассу Круппа в обмен на пушки, на броню, на военные материалы и металл, предназначенные к уничтожению в беспощадном горниле войны.

У старого Густава не было никаких оснований считать, что паршивый ефрейторишка, которого они, магнаты Рура, сделали главою германского государства, и авиационный капитан Геринг, которого Крупп одел, обул и вылечил от безумия на свои деньги, имеют право быть менее старательными, чем кайзеры и султаны. Круппу было необходимо воссоздание немецкой армии, ему было нужно вооружение Германии. Тайное или явное — безразлично. Он больше не боялся огласки своей деятельности после того, как американцы влили свои миллиарды в тяжёлую промышленность Германии.

Доллары Моргана смешались с марками Круппа в единый поток, оплодотворяющий ниву германской индустрии вооружений. Как в Рейне не отделишь воду Мозеля от воды Неккара, так не отделишь теперь марки от долларов, прибыли Моргана от прибылей Круппа. Теперь у Круппа достаточно надёжные соучастники в деле вооружения Европы. Эти сумеют заткнуть рот всякому, кто покусится на их прибыли. Значит, дело пойдёт. Вооружение Германии неизбежно вызовет вооружение Франции и Англии. Шнейдер и Виккерс были связаны тайными отношениями с Круппом. Через них французские

налогоплательщики пошлют в Эссен свои франки, предназначенные на пушки для уничтожения немецких солдат; англичане дадут свои фунты, не подозревая о том, что и они в конце концов притекут в карман Круппа и послужат для изготовления пушек, которые будут стрелять в английских солдат.

В свою очередь, вооружение Германии, с одной стороны, и Англии и Франции — с другой, вызовет вооружение их сателлитов. Анкара, София, Белград, Бухарест, Прага — все начнут скрести в карманах, чтобы что-нибудь послать Круппу, Виккерсу, Шнейдеру. А Крупп, Шнейдер и Виккерс отдадут

делю Моргану. Морган же пошлёт деньги в Германию. Кровообращение бога войны возобновится...

В тот вечер в курительной комнате «Виллы Хюгель» сидели трое: сам старый Густав Крупп, его второй сын, Альфред, и шурин Тило фон Вильмовский. Старик зябко ёжился в глубоком кресле напротив камина и щурился на огонь. Кокс горел так ярко, что даже сквозь экран тепло приятно обвевало больные колени старика.

Альфред и Тило сидели по сторонам курительного столика. Все трое молчали, переваривая недавний обед.

Тишину нарушил Густав.

Негромко, так, словно ему было лень говорить, пробормотал:

— Кажется, Гитлер оправдает наши надежды, а?

— Такого расторопного малого у нас давно не было, — ответил Альфред.

— Толковый парень, — согласился Тило.

— Можно сказать, что мы довольны... я доволен, — проскрипел Густав. И после некоторого колебания прибавил: — Надо сделать ему подарок.

— Я дам приказ открыть ему счёт под каким-нибудь условным именем, — предложил Тило.

— Только, пожалуйста, не в

Берлине, — встрепенулся Альфред. — Там кишит всякая дрянь, сующая нос в наши дела.

— Гитлер отучит их от любопытства, — злорадно проговорил Тило.

Но Густав перебил:

— Альфред прав: ты, Тило, можешь сделать подарок через твой Лендербанк.

— Да, венцам до этого нет дела, — подтвердил Тило. — Но было бы ошибкой ограничиться подарком фюреру. Наци заслужили своё, вся компания.

— Разумеется, — не с очень большим воодушевлением ответил Густав. — Но я вовсе не намерен

отдуться один. Пусть Пеноген и Пфёрдменгес примут участие. Эти в первую очередь. А вот химиков хорошо бы выбросить из игры. Пусть Гитлер останется без подарка от «ИГФИ», а?

— Постараюсь, папа, — неуверенно ответил Альфред. — Боюсь, однако, что Бош уже сунул ему что-нибудь.

— Так сунь вдвое! Машина должна вертеться на нашей смазке, — сонно вымолвил старик.

Он концом ботинка отодвинул каминный экран так, что яркий отблеск пылающего кокса упал ему на лицо. Старик блаженно зажмурился и откинул голову на

спинку кресла. Альфред и Тило ещё несколько времени молча сидели на своих местах. Потом тихонько поднялись и, ступая на цыпочках, покинули курительную. Густав не шевельнулся. Он спал. В шестьдесят лет пищеварение требовало покоя.

Если не считать вступления СССР в Лигу наций, все остальные политические события зимы 1934-1935 годов не имели первостепенной важности и потому обращали на себя сравнительно мало внимания европейского общества.

В самом деле, какому французу могло тогда прийти в голову, что поездка Лаваля в Рим, по частному приглашению Муссолини, будет иметь неизмеримо большее значение, чем то, что Стависский подделал на тринадцать миллионов франков облигаций Байонского ломбарда?! Тринадцать миллионов

франков — сумма, способная привлечь к себе внимание не одних только мелких буржуа. Особенно, когда пошли скандальные слухи о том, что в дележе добычи принимали участие довольно высокопоставленные лица и почти открыто называлось имя все того же префекта парижской полиции Кьяппа. Одно это легко могло затмить римскую встречу Лавалья с Муссолини, тем более, что ни тот, ни другой не старались рекламировать истинную суть своих переговоров. Поэтому мало кто обратил должное внимание на то, что в январе 1935 года в обмен на мелкие и весьма условные уступки Муссолини

получил от Лавалья не только гарантию невмешательства Франции в африканские планы Италии, но даже кусочек африканского побережья, необходимый «дуче» для подготовки вторжения в Абиссинию.

Мало кто знал, как беспокоило Муссолини отношение к этому вопросу «африканской державы» Англии и как «дуче» приплясывал от радости, когда разведка доставила ему копию секретного доклада так называемой комиссии Мэрфи, решительно заявившей своему правительству, что Англия не заинтересована в Эфиопии и что для неё было бы даже выгодно появление там итальянцев.

Никто, кроме самого «дуче» и его посла в Лондоне, не мог бы сказать, во что обошлось итальянской казне такое странное заявление англичан, противоречащее здравому смыслу и очевидным интересам Англии.

Впрочем, покладистостью Лондона и Парижа мог похвастаться не один Муссолини. Гитлеру тоже удалось заручиться заверениями англичан, что вопрос о Саарской области признается «чисто немецким». Поэтому ему ничего и не стоило, присоединив к своим пропагандистским плакатам дубинки штурмовиков, выколотить из саарцев нужный гитлеровцам результат

плебисцита 13 января. Саар был включён в рейх.

Этой же зимой приступил к своей деятельности скромный молодой человек по фамилии Отто Абец, приехавший во Францию в качестве частного эмиссара Риббентропа. Лишь очень немногие знали, что он появился в Париже вовсе не для того, чтобы организовать сближение между интеллигентной молодёжью Франции и Германии, а для того, чтобы растлить французов разных возрастов и положений и помочь фашистскому отребью Франции и её политикам-предателям бросить их отечество в пасть нацизма.

Примерно в то же время в обратном направлении переехал германскую границу посланец «доброй воли» британских профашистов лорд Аллен Гартвуд. Все, что сказал ему Гитлер об отсутствии у Германии агрессивных планов, этот лорд цитировал потом в Англии как страницы евангелия.

Предостережения Советского правительства об опасности отказа от принципов коллективной безопасности преступно игнорировались правителями Европы. Словно в ответ на советскую ноту от 20 февраля, английское правительство 21-го официально уведомило немцев о готовности

начать двусторонние переговоры о вооружении.

Далеко не все в Европе оценивали истинное значение этого события, но в Берлине знали ему цену и 1 марта 1935 года отпраздновали его торжественным парадом бомбардировочной эскадрильи — первого официального детища Геринга.

Расследование дела об убийстве Барту правительством дряхлого Думерга поручено сенатору Андре Лемери. Вильгельм фон Кроне мог спать спокойно: Лемери был активным членом «Боевых крестов». Убийцы французского министра и

югославского короля продолжали оставаться под защитою господина Кьяппа и де ла Рокка.

— Вы видите, — сказал Кроне Отто Швереру, — все устроивается как нельзя лучше в этом лучшем из миров!

На этот раз их свидание не носило делового характера. Они встретились в кондитерской за чашкою кофе. Это было их первое свидание вне служебной обстановки. Кроне держался, как хороший знакомый. Он отбросил газеты, в просмотр которых был углублён.

— День, который вам стоит отметить в памяти, — сказал он и постучал пальцем по столбцу

газетного листа. — Лаваль — талантливый негодяй.

— Не имею чести знать.

— Вы с вашей трусостью и пристрастием к бабам никогда не подниметесь настолько, чтобы войти в круг деятелей такого полёта!

— Чем он привёл вас в такой восторг?

Кроне снова словно для убедительности постучал по газете:

— Выступление господина министра иностранных дел в Совете Лиги наций! Лаваль доложил Совету Лиги, что убийц Барту следует искать. — Кроне засмеялся. — Ну же, догадайтесь, где?..

— Он, наверно, решил свалить

все на итальянцев.

— В Будапеште, мой друг, он увёл следы в Будапешт! У Лавалья есть хватка. Он переносит практику своей профессии трактирщика в политику. Недаром говорят, что белый галстук — единственное светлое место в его личности.

— И ваш Лаваль ничего не смог бы сделать, если бы хоть один из усташей попал в руки французской полиции.

— Как бы не так! Во-первых, Кьяпп поклялся, что ни одного из убийц не возьмёт живьём. А трупы, как известно, молчат.

Отто свистнул:

— Клятва Кьяппа!

— За неё было достаточно хорошо заплачено, чтобы она заслуживала доверия даже в устах господина парижского префекта. А кроме того, на всякий случай в кармане каждого усташа лежал билет коммуниста. Билет был, конечно, поддельный, но, честное слово, удайся Кьяппу предъявить прессе хотя бы один труп коммуниста, история получила бы не худший резонанс, чем фокус с рейхстагом! С тою разницей, что тут невозможны были бы никакие разоблачения Димитрова... Повидимому, мы совершили и тут ошибку. — Он грустно покачал головою: — Вот если бы вам хоть немножко ума,

Шверер.

— Ну, вы уж очень... —
обиделся Отто.

Кроне поднял рюмку и чокнулся
с Отто.

— Вы трус. Из-за этого вы
недавно лишились интересной
работы.

Отто насторожённо поднял
голову.

— Нам нужен был свой человек
около вашего отца, генерала
Шверера, — пояснил Кроне. — Кто
знает, что может прийти в голову
этому старому сумасброду.

— Кроне!

— Ну, ну! Не делайте вида, будто
понимаете, что такое сыновнее

чувство.

Кроне отхлебнул коньяк, запил его глотком кофе и пересчитал блюдечки из-под рюмок, стоявшие у его прибора.

— Вы, Шверер, даже не способны пить, как мужчина. А ведь сегодня стоило бы выпить! Право, Саарский плебисцит — детская игра по сравнению с тем, что мы переживаем сегодня. Кстати, как поживает ваш Гаусс? Все ещё ворчит?

— Ну, что вы!

— Нужно изучать своих начальников, мой милый, — наставительно произнёс Кроне. — Начинается большая игра. Мы должны знать каждый шаг этого

старого фазана. Ясно? Завтра мы должны с вами повидаться. Речь пойдёт о вашем старике.

— Об отце?

— Не валяйте дурака. Ведь пьян я, а не вы. Я говорю о Гауссе. Я назову вам лиц из его окружения, которые нас интересуют. Тут каждое слово будет играть роли, понимаете?

— Понимаю, — ответил Отто. Он снова почувствовал себя мельчайшим винтиком в сыскной машине — и только. Никаких перспектив, о господи!..

Отто поднялся:

— Мне пора.

— Идите, мой маленький трусишка, — пьяно-ласково

проговорил Кроне. — И по случаю праздника поцелуйте Гаусса в его синий зад от меня, от Вильгельма фон Кроне. Ясно? Эй, обер, почему у вас нет музыки? Нет, к чорту патефон! Вы разве не понимаете, что в такой день во всяком приличном доме должно быть включено радио? Я хочу слышать голоса моих вождей, хочу слышать марши, топот ног солдат!.. Пст! Живо!

Испуганный кельнер бросился к приёмнику и повернул выключатель. Лакированный ящик угрожающе загудел...

Приёмник в гостиной Винеров перестал гудеть. Послышался марш. Оркестр гремел медью труб и литавр. Пронзительно заливались флейты.

— Что ни говори, а мы, немцы, мастера на марши! — проговорил Винер. — Трум-ту-тум, трум-ту-тум! Под этакую музыку замаршируют и покойники. Послушай-ка, Труда!

Фрау Гертруда вместо ответа подошла к приёмнику и с раздражением повернула рычаг. Из ящика хлынула барабанная дробь и свист военных дудок. Ещё поворот — хриплые выкрики, похожие на лай простуженного дога. И снова

барабаны, оркестр, истерический лай ораторов.

Национал-социалистская Германия праздновала «исторический» день. Это происходило 16 марта 1935 года, когда был назначен первый призыв новобранцев.

— Прекрати же этот шум, Вольф! — рассердилась фрау Гертруда.

А Винер пристукивал носком ноги:

— Трум-ту-ру-тум!.. Вот и господин Фельдман скажет, что это не так уж плохо. Ведь вы старый вояка, господин Фельдман?

Портной сидел на корточках у

ног Винера и отмечал мелком неверный шов на штанине.

— При этих звуках, господин доктор, я испытываю то же, что должен чувствовать бывший каторжник, когда слышит звон наручников.

— Весьма патристические образы.

— Я бывший старший ефрейтор... Как пиджачок?

— Вам не кажется, что проймы немного тянут? Видите, какая складка идёт от них по спине.

— Ничего не стоит сделать так, чтобы они не тянули, — услужливо сказал Фельдман, снова вооружаясь мелом. — Но я вам скажу: теперь,

когда я встречаю на улице офицера, то сразу начинаю хромать на обе ноги. Точно мне на старые мозоли надели новые ботинки... Вам нравится такой лацкан? Фрау доктор, взгляните только, какой замечательный лацкан!

— Я вам говорю о проймах, господин Фельдман, а не о лацкане, — раздражённо сказал Винер. — Теперь вы, пожалуй, напрасно стали бы беспокоить рейхсвер, даже если бы загорелись желанием сделать военную карьеру!

— Скажите мне на милость, чем такой немец, как я, отличается от всякого другого? Мой дед и дед моего деда выросли здесь. Дедушка

получил свою военную медаль под Седаном за то же, за что я свой «Железный крест» у Дуомона: за несколько стаканов своей крови. При всякой переписи мы писали в рубрике национальности «немец». Так почему же теперь я должен писать «иудей»?

— А вам это не нравится?

— Это уже стоило жизни моему мальчику... — Портной отвернулся. — Когда я вспоминаю, что с ним сделали на пароходе его же товарищи, такие же немецкие мальчики, как и он...

— Не совсем... не совсем такие же, господин Фельдман.

— Не бойтесь говорить со мною

откровенно, господин доктор, как-никак мы с вами бывшие партийные коллеги.

Несколько мгновений Винер смотрел на портного, удивлённо моргая, потом спросил с некоторым испугом:

— Что вы имеете в виду?

— Разве мы оба не старые социал-демократы?

Винер рассмеялся — громко и заливисто, схватившись руками за трясущийся живот.

— Ну и чудак же вы, Фельдман! — задыхаясь от смеха, проговорил он. — Можно подумать, что вы проспали несколько лет. «Мы с вами старые социал-демократы!»

— и Винер снова рассмеялся.

— Разве я сказал что-то несуразное? — спросил портной.

— Продолжив свою мысль, вы, чего доброго, ещё назовёте себя ближайшим родственником фюрера, поскольку «вы оба» происходите от Адама.

— Нет, господин доктор, этого родства я не ищу.

— Ага, вот тут-то и зарыта собака! Вы не ищете, а я был бы непрочь его найти.

— Я боюсь верить своим ушам! — воскликнул Фельдман.

— Так прочистите их хорошенько, и я вам повторю: с тех пор как социал-демократическая

партия Германии
самораспустилась...

— Мы не самораспускались, доктор, мы рядовые члены. Это вы объявили нас распущенными, вы, руководство.

— К счастью, руководство действительно принадлежало нам, разумным людям, а не таким, как вы, милейший, — людям без прошлого и будущего, с одним сегодняшним днём.

— Я вас с трудом понимаю.

— А между тем это так просто: к власти пришли социалисты...

— Национал-социалисты!.. У вас поворачивается язык называть так этих разбойников?

— На вашем месте я не болтал бы лишнего. В случае чего вас не спасёт ваш старый железный крестик.

— Я знаю, они с удовольствием водрузили бы надо мною большой деревянный.

— Потому что вы ничего не понимаете в истории.

— Такую «историю» я отказываюсь понимать. Это плохая история, доктор.

— А мы считали тогда и считаем сейчас, что, уступив своё место национал-социалистам, поступили именно так, как требовали интересы немцев.

— Разумеется, — иронически

произнёс портной, — тех немцев, которые сидят в собственных виллах, немцев, которые, как вы, владеют заводами или универсальными магазинами, копиями или пароходствами, — таких немцев!

— В вас говорит нехорошая зависть, Фельдман, зависть к вашим более удачливым и счастливым соотечественникам. — Винер подумал и напыщенно добавил: — Германский народ одобрил наши действия.

— Народ? — при этом вопросе Фельдман смешно сморщил лицо и покачал головой. — Наши социал-демократические бонзы всегда смешивали эти два понятия — народ

и обыватель.

— Не будем заниматься столь глубоким анализом, дражайший, — проворчал Винер, — сейчас не время!..

— Анализ? Какой уж тут нужен анализ!.. Разве это не ясно само собой: не будь я евреем и не откройся у меня глаза на правду только из-за того, что с меня хотят содрать шкуру, наши социал-демократические вожди, болячка их задави, и меня самого тоже передали бы нацистам по списку вместе с живым и мёртвым инвентарём своей, извините за выражение, «партии».

— И это было бы куда полезнее для вас, чем противостоять теперь

народу!

— Германский народ!

Соотечественники! А два миллиона немцев, что сидят в концентрационных лагерях, — это не соотечественники? Четыре миллиона безработных, которые слоняются по очереди за плошкой супа, — это не такие же труженики, как мы все? Нет, господин доктор, наци — это совсем особая порода! Их нельзя мерить вот этим простым немецким метром...

— Вам следовало стать столь же необходимым государству, как, скажем, мой коллега доктор Хейнкель. Он уже почётный ариец!

— Самолётный фабрикант и

портной — это же разница, —
вздыхнул Фельдман. — Я тоже по-
своему хотел стать необходимым. Для
портных господа военные никогда не
были выгодными заказчиками, — им
всегда нужен кредит. Вы знаете
старый стишок:

Ofizier, Herr Ofizier!
Goldcne Tressen. —
Nichts zum fressen![\[14\]](#)

И всё-таки я взял двух военных
клиентов. Один из них, генерал
Гаусс, получил повышение и перешёл
к Бенедикту. Только потому, что тот
берет двести марок за то, что у меня

стоит двадцать. А второй, фон Шверер, довольствовался чаще переделками, а теперь взял да и уехал. И, говорят, надолго. Чуть ли не в Китай.

— Вот как! — заинтересовался Винер и протянул Фельдману сигару. — Кто вам говорил про Китай?

— Кто говорит с портным в генеральском доме, господин доктор? Конечно, прислуга.

Винер покровительственно похлопал портного по спине:

— Когда вам будет нужно что-нибудь от генерала Шверера, приходите ко мне.

Попыхивая сигарой, он

снисходительно смотрел, как Фельдман завёртывает костюм в кусок чёрного коленкора. Может быть, сто и двести лет тому назад такие же маленькие сторбленные предки Фельдмана так же бережно завёртывали в потрёпанный чёрный платок камзолы предков Вольфганга Винера. В общем все казалось ему довольно устойчивым на этом свете. В каждую историческую эпоху существовали люди, норовившие надеть на евреев жёлтый колпак. Большой беды, по мнению Винера, в этом не было.

Винер стоял перед портным — большой, крепкий, на толстых ногах, обтянутых голубым шёлком кальсон.

Тщательно подвитые волны холёной бороды закрывали галстук. Увидев себя в зеркале, Винер подумал, что в одной этой бороде отражено больше благополучия, чем во всей фигуре Фельдмана. Он с наслаждением приподнял тыльной стороной ладони шелковистый клин бороды и подержал его, точно взвешивая.

— С такою бородой можно чувствовать себя человеком, а? — с усмешкой бросил он с высоты и, величественно подняв голубую ногу, сунул её в штанину, поддерживаемую портным. Застёгивая помочи, он поворачивался перед зеркалом. — Небо и земля эти старые брюки и те, что вы принесли сегодня! А ведь и те

другие — ваша работа. — Он дрыгнул толстою ляжкой. — Это же штанина!

— Кто однажды сделал хорошо, может сделать хорошо ещё раз, — заискивающе проговорил Фельдман.

Потерять клиента? Этого ещё нехватало! Проклятые наци так издёргали нервы, что иголка валится из рук!

— Еврею становится трудно работать, господин доктор.

Сказать до конца то, что он думает о наци, Фельдман больше не посмел. За последнее время доктор Винер изменился. Вероятно, это происходило из-за того, что его военные заводы получали все новые

и новые заказы от наци. Этого не знали только те, кто не хотел знать.

Портной так и ушёл, ничего больше не сказав.

— Трудхен! — крикнул Винер в соседнюю комнату. — Ты не находишь, что пора прекратить пользоваться услугами этого еврея?

— Только потому, что он еврей?

— Мм... Он утратил чувство линии!

— А ты всегда хочешь покупать марку за пфенниг?

— Трудхен, ты имела достаточно времени, чтобы понять: твой муж может купить марку и за грош, но только не в том случае, если она фальшивая. А портной из евреев в

наши дни выглядит именно так!

Она решила переменить разговор.

— Ты не забыл, что мы завтра у Швереров?

— Если правда, что он уехал в Китай, с визитом можно и подождать... Пошли Эмме её любимые хризантемы.

— Должна тебе сказать, что с некоторых пор Эмма принимает меня довольно холодно.

— Пустяки, Трудхен, — ласково сказал Винер жене, — всё должно выясниться в ближайшие дни. Если дела пойдут так, как логически должны итти после сегодняшнего шага фюрера, мы снова встанем на

ноги и Эмма станет любезнее, чем прежде.

— Мне нужно поговорить с тобою очень серьёзно, — начала было фрау Гертруда, но в это время вошла Аста, а именно о ней-то мать и собиралась говорить: между Астой и младшим Шверером, Эрнстом, началось что-то вроде флирта.

Винер воспользовался первым попавшимся предлогом, чтобы улизнуть из дому. В такие весенние дни его всегда неудержимо тянуло на улицу. Он даже не вызвал Лемке, а, смешавшись с толпою, пошёл пешком.

Он шёл, делая в уме кое-какие расчёты и нет-нет поглядывая на

встречных женщин.

Да, лёд уже тронулся: первые военные заказы поступили ещё раньше, чем стало известно, что правительство решило не считаться больше ни с какими ограничениями вооружений. Но это далеко не все, на что рассчитывал Винер, в особенности после сегодняшнего события: всеобщую воинскую повинность восстанавливают не для того, чтобы делать парады и выводить на них юношей с лопатами!..

При приближении к Виттенбергплатц Винера отвлекли от размышления звуки военной музыки. Молодые люди с повязками, на

которых чернела свастика, чётко отбивали шаг. Они были в штатском. От этого их шагающие по-гусиному ноги и руки, напряжённо выгнутые в локтях с будто прилипшими к бёдрам ладонями, вздёрнутые подбородки и истуканоподобная неподвижность лиц — все казалось неестественным, неправдоподобным, как видение похороненной кайзеровской Германии. Но это были живые новобранцы первого гитлеровского призыва. Ведь сегодня был первый день существования новой, массовой германской армии, пришедшей на смену профессиональному рейхсверу.

И вдруг все замерло. Застыла колонна новобранцев. Умолк

оркестр. Повернулись лицом к площади прохожие: шуцман поднял жезл!

Навстречу колонне из улицы Клейста выехало несколько военных автомобилей. Флажок трепетал на сером крыле передней машины. В ней, откинувшись на спинку, сидел генерал Гаусс. Рядом с шофёром, вытянувшись и не глядя по сторонам, словно у него болела шея, восседал Отто.

Пруст сидел в следующем автомобиле вместе с ещё каким-то генералом. И в остальных автомобилях сидели офицеры.

При виде колонны новобранцев шофёр Гаусса замедлил ход, давая им

время перестроиться, чтобы пропустить генеральский поезд.

Отрывистая команда, быстрое построение. Новобранцы подняли руки. Гаусс нехотя притронулся двумя пальцами к козырьку. Чорт бы их драл с их дурацким воспитанием! Они будут поднимать свои лапы на праздниках и в пивных, где им угодно, но не в строю!..

Когда автомобиль Гаусса поравнялся с головою колонны, грянул оркестр. Морщины на лбу Гаусса разгладились. В конце концов эти молодые дураки всё-таки немцы. Из них сделают настоящих солдат. Он выпрямил длинную спину и снова приложил пальцы к фуражке, на этот

раз с выражением удовольствия.

Вырвавшись из скопления людей, автомобили понеслись дальше. В заднем лежал венок из живых роз. Этот венок Гаусс возложит на могилу Шарнгорста от имени армии и своего собственного. Кто он сам, генерал-полковник Гаусс, как не новый Шарнгорст новой Германии!

Венок был возложен на могилу. Были сказаны речи. Гаусс брезгливо отмахнулся от фотографов и, предоставив другим генералам позировать для вечерних газет, уехал.

Итак, шестнадцать корпусов и тысяча самолётов первой очереди — только начало. Гитлер лично

приказал держаться в официальных выступлениях самого миролюбивого тона. А ведь Гитлер теперь «верховный главнокомандующий» вооружёнными силами! Вислозадый ефрейтор добился-таки этого звания назло всем генералам! Конечно, это простая формальность. Кто же поверит тому, что генералы дадут ему долго распоряжаться! Ещё несколько актов, подобных сегодняшнему, — ремилитаризация Рейнской зоны, ликвидация Польского коридора, возвращение Мемеля, аншлюсс Австрии, присоединение Судет, возвращение кое-каких колоний, — и господина «национального барабанщика»

можно будет сдать в архив.

«Одним словом, — подумал Гаусс, — как только мавр сделает своё дело... Но пока ещё хайль мавр!»

Сэр Монтегю Грили всегда останавливался в «Кайзерхоф». Поэтому его неприятно удивило, что портье подсунул ему длинную анкету, словно видел его впервые. Идиотские вопросы анкеты свидетельствовали о том, что кого-то интересуют обстоятельства совершенно частной жизни сэра Монтегю. О таких вещах в Англии не посмел бы расспрашивать даже духовник. Немцы, никогда не отличавшиеся особой тонкостью, как видно, окончательно потеряли чувство меры!

Монтэгю отослал анкету

незаполненной и приказал слуге больше не беспокоить его по пустякам. В самом деле, он прибыл сюда не для заполнения анкет! Политический термометр Европы лез вверх непропорционально быстро по сравнению с тем, как весеннее солнце нагревало воздух. Дела с Рейнской зоной шли к очевидному и близкому концу. Для Монти это не могло быть тайной. Не напрасно же он имел честь заседать в секретном комитете по изучению рейнской проблемы! Формула Саймона о равенстве в вооружении давно сменила тезис Болдуина о том, что граница Англии проходит по Рейну.

Шум, поднимаемый британскою

прессой вокруг немецких угроз, не больше, чем дымовая завеса для сокрытия от общественного мнения истинного смысла событий.

Для Монти события эти имели двоякий смысл. Во-первых, правительство его величества отказалось от точки зрения на коричневую шайку как на неких выскочек, с которыми можно иметь дело только негласно. Во-вторых, после занятия Гитлером Рейнской демилитаризованной зоны не придётся уже сомневаться в дальнейшем движении немцев к поставленной ими себе цели окончательного вооружения Германии. Последнее соображение и

было причиной тому, что Монти предпринял поездку в Берлин. По некоторым данным в критическом положении находится дело известного знатока реактивной техники доктора Вольфганга Винера. Была возможность прекрасно устроить свои дела путём сделки с Винером.

Монти проконсультировал вопрос с некоторыми отечественными специалистами и пришёл к выводу, что если работы Винера увенчаются успехом, то в его руках окажется оружие, которому не будет цены. По мнению Монти, Винер находился в достаточно трудном положении, чтобы

согласиться на пятьдесят пфеннигов за марку. Монти был окрылён самыми розовыми надеждами, когда посылал Винеру приглашение прибыть для переговоров. Однако он не учёл ни упрямства и жадности Винера, ни новой ситуации в Германии. Зачем Винеру было брать чужой миллион за свои два? Конечно, приятно было бы очутиться под защитой британского льва, но не в том случае, если за это нужно позволить льву откусить себе голову! Лучше подождать ещё немного и взять своё с Геринга. А в том, что Геринг к нему придёт, Винер был уверен.

Переговоры Монти закончились

ничем, и он решил вернуться в Англию. У него не было желания задерживаться в Германии, так как он был убеждён, что со дня на день должны были произойти крупные события.

Ожидания не обманывали Монти, так как только из скромности можно было назвать «предчувствием» точные данные, имевшиеся в его распоряжении благодаря деятельности капитана Роу и ему подобных.

Следуя по пятам за двигавшимися на запад немецкими войсками, Роу достиг границы демилитаризованной зоны. Несколько опередив затем

остановившиеся на этой границе немецкие части, он въехал в зону и прибыл в Кобленц.

Шофёр такси, вёзший Роу с вокзала в гостиницу, отвечал на вопросы односложно и неохотно. Любопытство Роу по поводу того, что думают в Кобленце о надвигающихся событиях, осталось неудовлетворённым. Это был, пожалуй, первый шофёр, которого Роу не удалось расшевелить. Ну, нет так нет! Найдутся другие источники первой информации! Роу расплатился с сумрачным шофёром и вошёл в турникет отеля «Монополь».

Шофёр, — это был Франц Лемке, — отъехал на угол и вынул

газету. Он не раскрыл её во весь лист и не повернул к свету, как обычно делают шофёры, ожидая седоков. Он сложил газету длинной полоской и загнул название так, чтобы его не было видно. Газета не принадлежала к числу тех, которые можно было здесь демонстрировать. Это издание «Роте фане» выходило за границей, в Чехии. Попав в Западную Германию, она передавалась из рук в руки как величайшая ценность, опасная тем, что она представляла собою объект постоянных поисков полиции.

Необходимость то и дело поглядывать по сторонам, чтобы не быть застигнутым врасплох, разбивала внимание, тем не менее в

передовой статье были слова, запоминающиеся навсегда, — так точно и всеобъемлюще они характеризовали политическую обстановку, живым и непосредственным свидетелем которой являлся сейчас и сам он — Лемке.

На некоторых абзацах статьи он останавливался, чтобы самому оглянуться на ту действительность, свидетелем которой он был здесь, на Рейне, теперь. Вот, например, что говорится в статье о том, как в Советском Союзе представляют себе военную угрозу со стороны гитлеризма: когда какое-либо государство хочет воевать с другим

государством, то оно, даже не будучи соседом того, на кого желает напасть, находит границы, через которые может совершить нападение. Это делается либо при помощи силы, как было в 1914 году, при нападении Германии на Бельгию, либо необходимый рубеж берётся «напрокат», как это сделала Германия в 1918 году, когда вторглась в Латвию, чтобы пробраться к советскому Ленинграду. Этот исторический опыт говорит за то, что если Гитлер пожелает напасть на СССР, то его не остановит отсутствие общих границ — они найдутся. Охотники «ссудить» Гитлеру ворота для нападения на Советскую страну

есть...

Это было грустной, даже трагической правдой, но именно так: правдой, основанной на беспощадном опыте истории. В нынешнее время можно уже считать бесспорным, что агрессоры не объявляют войн, они начинают их без объявления, предательски нападая на тех, кто не ожидает такого нападения. Чтобы обезоружить намеченный объект нападения, усыпить его бдительность, агрессор готов даже заключить с ним договор о ненападении, а то и просто о дружбе и даже о союзе...

«Да, тут ничего не возразишь, —

думал Лемке, — основная причина современной военной опасности заключается в капитализме, в его империалистических, захватнических проявлениях. Пусть лучшие люди мира возвышают свой голос против войны, пусть простые люди всего земного шара жаждут мира, — для капитализма в его империалистической фазе война остаётся „законным“ методом разрешения международных споров, и он всегда готов пустить её в ход, не считаясь со страданиями, какие война несёт человечеству...

К стоянке подъехал ещё один таксомотор. Его шофёр, весело свистнув, крикнул:

— Эй, Франц! Большое оживление на вокзале. Одни — туда, другие — обратно. Давно не было столько пассажиров. Постою здесь минут десять. Если не подвернётся пассажир — опять на вокзал. Сегодня ужин из двух блюд!

Лемке спрятал газету и закурил. Он ничего не ответил.

— Так поехали? — через несколько минут спросил шофёр.

— Постою тут, — ответил Лемке.

— Ты сегодня не в духе! — Шофёр рассмеялся и уехал.

Лемке хотел было снова достать газету, но раздумал. У него были основания к дурному расположению

духа. Поговаривали о предстоящем вступлении немецких войск в Рейнскую зону. Если прибавить к этим слухам бегство из зоны сепаратистов и антифашистов, — а на то Лемке и шофёр, чтобы знать, кто приезжает и кто уезжает, — то картина получалась довольно унылая. Теперь ему становилось ясно и то, что необычайный наплыв туристов из внутренней Германии вызван вовсе не красотами старой немецкой реки. Лемке готов был дать руку на отсечение за то, что в чемодане большинства приезжающих с той стороны туристов лежали коричневая рубашка и стальная палка штурмовика. Плохо, чорт возьми,

совсем плохо! Значит, и Рейнланд, куда ему пришлось уехать, почти бежать после неудачной расклейки избирательных лозунгов, перестал быть надёжным убежищем. Однако именно теперь, когда партия загнана в подполье, когда тысячи коммунистов брошены в концентрационные лагеря, когда партия нуждается в каждом человеке, находящемся на свободе, Лемке не может думать о бегстве из Германии.

Если бы знать наверняка, придут ли сюда коричневые дьяволы! Может быть, уже наступило время пустить в ход заготовленную несколько месяцев тому назад, на всякий случай, шофёрскую книжку на имя

Бодо Курца? Да, решено, сегодня он перестает быть Францем Лемке!..

...И опять шофёр! И не только шофёр. По указанию партии, полученному ещё при бегстве из Берлина, перемена имени означает и конец «отпуска» с того берега. Если Франц Лемке должен был бежать из Берлина во избежание провала, то у Бодо Курда чистый кильватер, ему нечего бояться, и он должен вернуться туда, на боевой пост коммуниста-подпольщика... Да, много легче было бы стоять, как бывало, над вращающимся патроном станка, не зная, что на тебе лежит ответственность за это большое и такое трудное в нынешней Германии

звание — коммунист!.. Ну хорошо, Лемке, а если тебе сейчас же, тут же предложат именно это: вот тебе станок, вот десять марок ежедневного верного заработка и к тому же безопасность, возможность вытащить сюда жену из ада ежечасной смертельной опасности? Решайся же, Франц Лемке!..

Он рассмеялся, сунул руку за пазуху и нащупал в кармане обложку новой книжки на имя Бодо Курца. Не просто нащупал, а крепко и ласково сжал её в пальцах: эта книжка — залог того, что завтра он сможет закончить свой вынужденный «отпуск» из самого пекла гитлеровской Германии; залог того,

что он снова может стать
полноправным солдатом и
полноценным бойцом
антигитлеровской армии
коммунистического подполья...

Лемке решил не ехать к вокзалу.
Маркой больше или меньше — это
ничего не изменит в судьбе
отбывающего в неизвестность
Франца Лемке. Нужно ехать домой, в
Лютцель. Заодно он предупредит и
Руппа, чтобы тот тоже принял меры
предосторожности. Вот не везёт
парню: который раз уходит от
коричневой банды, а она, как злой
рок, преследует его по пятам.

Поднявшись до Рейнплатц и
обогнув памятник Гебену, Лемке

направился к набережной Мозеля, где в конторе «Рейнский транспорт» служил Рупп Вирт. Тот как раз кончил работу и снимал комбинезон.

Лемке крикнул в окно:

— Здорово, Рупп! Поедем-ка ужинать.

Рупп не каждый день ездил ужинать в автомобиле и с удовольствием уселся рядом с Лемке. Но в тот момент, когда Лемке уже тронул машину, из дверей конторы выбежал хозяин и позвал Руппа обратно: нужно было получить на вокзале экстренный груз — несколько ящиков, прибывших в адрес каких-то приезжих из Берлина.

Хозяин обрадовался, что под

рукою оказался таксомотор Лемке. Он уселся в машину и вместе с Руппом поехал на вокзал.

Через четверть часа все трое стояли перед багажной кассой. Кладовщик показал на три длинных ящика с бросающейся в глаза надписью: «Осторожно! Астрономические приборы». Под этой надписью Рупп увидел и другую, заставившую его замереть с протянутыми было к ящику руками: «Получатель г-н Эрнст фон Шверер». Эрнст Шверер! Рупп схватил за рукав Лемке, уже взявшегося было за поклажу.

— Мы должны знать, что в этих ящиках! — взволнованно проговорил

Рупп.

— Какое тебе дело до этих приборов? — удивился Лемке.

Рупп показал на имя адресата. Лемке протяжно свистнул.

— Я знал одного Шверера. Только того звали не Эрнст, а Эгон. Может быть, тут просто путаница в именах, а?

— Помнишь мою историю на рейнском пароходе?

— Так это он и есть? Все ясно. — Лемке покачал головой. — Если рейнцы недостаточно восторженно встретят Гитлера, у них в тылу окажутся молодчики с револьверами и дубинками.

— Мы должны посмотреть, что

в этом ящике! — повторил Рупп.

— Урони такой ящик с плеча ребром о мостовую — и он сам разинет пасть, — сказал Лемке. — Тогда покажем всем, что скрыто в его ящиках. Идёт?

Навстречу им, от автомобиля, шёл рассерженный задержкой хозяин конторы. Он сам подхватил третий ящик, и через пять минут автомобиль тронулся.

— Сдашь прямо в руки адресату, Рупп! — крикнул им вслед хозяин. — За срочную доставку на такси получишь, сколько будет на счётчике.

— Все ясно, хозяин!

— Куда ехать? — спросил

Лемке.

— «Монополь», — ответил Рупп. — Негодяи, останавливаются в лучших отелях!..

Было решено, что если Эрнст Шверер окажется тем самым, кого имел в виду Рупп, они уронят ящик на мостовую.

Портье тотчас вызвал Шверера по телефону:

— Для вас груз — астрономические приборы.

— Пусть принесут ящики! — приказал Эрнст.

У Руппа от волнения дрожали руки. Разбить багаж клиента! Он понимал, что это значило для его хозяина, которому придётся отвечать

за убытки, если в ящике действительно вдруг окажутся хрупкие приборы. Но они с Лемке должны осуществить задуманное! Они должны узнать, что в ящиках. Если там находится тайно провозимое в Рейнланд оружие, об этом немедленно будет знать весь Кобленц: на улице достаточно прохожих.

Лемке вытащил из автомобиля первый ящик.

Рупп насмешливо сказал:

— Не забыть бы предъявить Швереру счёт на такси. Генеральский сынок может заплатить!

Ни тот, ни другой не заметили, что при этих словах в двух шагах от

них остановился собиравшийся было войти в турникет молодой коренастый человек. Оглянись Рупп на него, он узнал бы Пауля Штризе.

Штризе наблюдал за тем, как Рупп взвалил ящик на плечо и как, споткнувшись о край тротуара, уронил его на асфальт. Ящик ударился углом. Крышка раскололась, и содержимое ящика высыпалось на тротуар. Разве только слепой не понял бы, что представляют собой обёрнутые в промасленную бумагу металлические части! Это был разобранный пулемёт.

Вокруг Руппа тотчас собралась толпа. Раздались возмущённые возгласы. Штризе бросился к Руппу с

поднятыми кулаками.

Но собравшаяся толпа была явно на стороне шофёра. Лемке успел крикнуть что-то о коричневых молодчиках Гитлера. Штризе пронзительно свистнул, вызывая из отеля своих.

Однако, прежде чем к нацистам пришла подмога, Руппу удалось пробиться к автомобилю. Лемке вскочил за руль. Когда толпа повернулась в сторону высыпавших из подъезда «Монополя» соратников Штризе и Эрнста, такси полным ходом мчалось прочь. Лемке уже не интересовал исход стычки. Он слышал, как зазвенело стекло огромной витрины, слышал громкий

крик: «Долой Гитлера!»,
пронзительные свистки...

Перед отелем происходила свалка. Возле забытого всеми разбитого ящика сидел на корточках Роу и с интересом разглядывал части пулемёта.

А Лемке нажимал на акселератор, спеша перебраться на другую сторону Мозеля, чтобы немедленно покончить с официальным существованием Франца Лемке.

— А что мы будем делать с оставшимися у нас ящиками? — спросил Рупп.

На той стороне Мозеля, в пустынном месте набережной,

Лемке остановил автомобиль и бросил ящики в реку. Рупп с сожалением смотрел вслед ценному грузу.

А Лемке, видя огорчение Руппа, сказал:

— Ещё не время, мальчуган!

Собравшиеся в зале заседаний долго ожидали появления Гитлера, заканчивавшего в своём кабинете происходивший весь день приём иностранных гостей. Хотя содержание беседы с каждым из этих гостей было почти одно и то же, Гитлер принимал их поодиночке и старался при этом сделать так, чтобы один не знал о визите другого. Гости эти были разных национальностей. Последними оказались французский журналист и два лорда, приехавшие из Англии специально ради этого свидания.

Французскому журналисту

Гитлер дал понять, что германское правительство в целом и он, Гитлер, в частности, считали бы его своим лучшим другом, если бы он взял на себя миссию уверить французских читателей в том, что Гитлер оскорблён в самых лучших, самых миролюбивых чувствах к Франции «позорным» пактом, заключённым ею с Советским Союзом. Гитлер готов предложить Франции любой договор о ненападении, о дружбе и даже о союзе, если она согласится порвать только что заключённый франко-советский пакт. У Гитлера никогда не будет никаких претензий ни на один метр французской территории, к которой он относит и

Эльзас, и Лотарингию, и любой другой клочок земли, который Франция считает своим.

— Каждый француз должен это понять, — сказал Гитлер. — Только уверенность в том, что наша западная граница в безопасности и что никакие узы не связывают вас с Советской Россией, может дать мне возможность исполнить мою историческую миссию уничтожения коммунизма на востоке Европы.

Этот довод, а особенно обещание не постоять перед расходами на пропаганду и на вознаграждение самого журналиста оказались убедительными. Он покинул кабинет канцлера готовый

стать глашатаем планов Гитлера.

Побывавшие у фюрера английские лорды уехали, тоже обещав безусловную и твёрдую поддержку «лучшего» общества Англии всем его взглядам и намерениям. В дополнение к доводу о необходимости иметь свободные руки на востоке лордам не понадобилось даже платить. Они были согласны поддержать любое начинание фашистов в любой части света, если его целью являлась борьба с коммунизмом.

Покончив с этими визитами, Гитлер вышел, наконец, в зал, где ожидали генералы.

Собравшиеся были

предупреждены о том, что предстоит обсуждение плана ремилитаризации Рейнской зоны, составленного год тому назад и зашифрованного под названием «Шулунг». В первом параграфе приказа Гитлера, изданного в 1935 году, после утверждения им плана операции «Шулунг» говорилось: «Операция после передачи слов „выполнять Шулунг“ должна быть проведена неожиданным ударом с молниеносной быстротой. Строжайшая секретность необходима в подготовке, и только минимальное число офицеров должно быть осведомлено и использовано». Далее было сказано: «Нет времени для

мобилизации вооружённых сил. Вооружённые силы будут использованы в составе мирного времени и со снаряжением мирного времени. Подготовка к операции будет произведена независимо от существующего неудовлетворительного состояния нашего вооружения...»

Присутствующие на совещании генералы отлично знали, что с тех пор дела с вооружением подвинулись вовсе не настолько, чтобы можно было теперь говорить о какой-то серьёзной «молниеносной» операции. В лучшем случае это могло бы оказаться «молниеносным блефом», как думал Гаусс, подобно

всякому другому блефу, обречённым на провал, если он натолкнётся на сколько-нибудь серьёзное сопротивление сколько-нибудь осведомлённого противника.

Гаусс заранее и очень тщательно разработал свои соображения по поводу плана «Шулунг» и, согласовав с начальником генерального штаба генерал-полковником Беком, намерен был открыто высказать их сегодня Гитлеру. Его не смутили гримасы, которые строил фюрер, слушая пространный и основательно аргументированный доклад Бека, доказывавшего, что план «Шулунг» как был, так и остался авантюрой, чреватой большими политическими

неприятностями для Германии. Когда в заключение Бек решительно заявил, что генеральный штаб снимает с себя ответственность за проведение подобной операции в текущем году, Гитлер зевнул и отвернулся. Но Гаусс решил, что даже если этот «вислозадый коротышка» (как мысленно называл сейчас Гитлера Гаусс) попробует его открыто остановить, он выскажет всё, что думает, хотя бы ему после этого пришлось тут же подать рапорт об отставке. Судьба Германии и, главное, армии казалась ему важнее всех других соображений. Но стоило Гауссу заговорить, как он почувствовал, что любой вид

открытой оппозиции Гитлера был бы легче того тупого равнодушия, какое было написано на его лице. Он имел скучающий и даже полусонный вид. Сказав меньше половины того, что собирался сказать, Гаусс понял, что здесь это совершенно бессмысленно, скомкал конец своей речи и, тоже подчёркнуто оборвав её почти на полуслове, демонстративно захлопнул папку.

Гитлер с подчёркнутым невниманием выслушал мнение и других генералов. Он нетерпеливо стучал по столу концом карандаша, делал пометки в блокноте, подзывал адъютантов и что-то шептал им на ухо. Всем было ясно, что вопрос,

«предлагавшийся обсуждению господ», предрешён. Поэтому даже те, кто прежде собирался высказаться так, чтобы не отвечать ни за какое решение, принялись в самых восторженных выражениях восхвалять план вторжения. Но, к удивлению, Гитлер и им уделил не больше внимания, чем своим оппонентам.

У большинства присутствующих возник вопрос: зачем же он собирал совет, зачем делал из них дураков?

Только один полковник-лейтенант, бледный, с тыквообразной головой и оттопыренными ушами, сидевший немного поодаль, за спиною Гитлера, не принимавший

участия в прениях, знал, зачем здесь собраны генералы.

План действий, которые должны были начаться, принадлежал ему — подручному фюрера. Этого офицера, долго остававшегося тайным сообщником и военным советчиком безграмотного «главнокомандующего», звали Йодлем. Он заранее знал, что сегодня скажет Гитлер. Поэтому он был совершенно спокоен.

Впрочем, сторонний наблюдатель, который попробовал бы по внешнему виду остальных присутствующих определить степень их взволнованности тем, что произошло, и тем неизвестным, чему

предстояло произойти на свете, тоже не угадал бы ничего. Лица генералов были бесстрастны.

Гитлер несколько раз обводил взглядом эти холодные маски, и карандаш его все нетерпеливее постукивал по блокноту. Наконец ему, повидимому, стало не под силу сдерживать рвавшийся наружу поток слов. Он прервал очередного оратора на полуслове ударом ладони по столу.

— Господин Йодль! — бросил он не оборачиваясь. — Сообщите господам...

Йодль поднялся, щёлкнул шпорами и быстро прочёл:

«Совершенно секретно. Приказ

верховного главнокомандующего. Главнокомандующему армией, главнокомандующему флотом и главнокомандующему воздушными силами. Первое: фюрер и имперский канцлер принял следующее решение: ввиду франко-русского союза обязательства, принятые Германией, согласно Локарнскому договору, поскольку они касаются статей 42 и 43 Версальского договора о милитаризованной зоне, должны считаться устаревшими...»

Не останавливаясь на знаках препинания, словно боясь, что кто-нибудь из генералов прервёт его, не даст договорить, Йодль прочёл весь приказ и, ещё раз щёлкнув шпорами,

опустился в своё кресло.

Тогда, ни на кого не глядя, заговорил Гитлер:

— Итак, господа, мы должны считаться с тем, что приказ о вступлении моих войск в Рейнскую область подписан мною. — Голос Гитлера звучал ещё более хрипло, чем обычно. — В приказе я сказал: «при малейшем сопротивлении союзников наступлению моих солдат открывать огонь из всех имеющихся средств!..»

Он умолк и сделал паузу, чтобы ещё раз обвести взглядом лица генералов.

Гауссу хотелось сказать Гитлеру, что подобный приказ равносильен

смертному приговору армии и, может быть, Германии. Но Гаусс молчал. Гитлер не прочёл на его лице ничего.

Голос Гитлера повысился. Он крикнул громче:

— Однако я должен предупредить: если хотя бы один мой солдат сделает выстрел по французским войскам, то генерал, которому этот солдат окажется подчинённым, будет в тот же день расстрелян как изменник!

Взгляд Гитлера, остановившийся на лице Гаусса, и на этот раз не прочёл ничего, кроме холодной корректности.

Тогда Гитлер, как трагик на

сцене, продолжал:

— Я приказываю: если в зоне будут войска, готовые оказать моим солдатам сопротивление, — остановиться!.. Отступить!..

Подобная непоследовательность озадачила Гаусса, но зато он мог считать себя удовлетворённым: Гитлер испугался!

Однако даже и теперь Гитлер не заметил бы на лице Гаусса ни малейшего признака торжества.

— Господа! — Гитлер опёрся рукой о край стола и рывком поднялся с кресла. Его неуклюжее тело подалось вперёд, глаза выкатились из орбит. Он крикнул, судорожно выбрасывая руку в

сторону генералов, словно пытаюсь хоть чем-нибудь заставить их ожить. — По моим данным, приказ уже известен кабинетам Лондона, Парижа, Рима...

«Ага, полный отбой!» — злорадно подумал Гаусс.

И, словно откликаясь на его мысль, Гитлер сердито посмотрел в его сторону. Игра, казалось ему, делалась все более напряжённой. Кто знает, на какое число у Гаусса замышлено убийство фюрера?..

Возможного заговорщика Гитлер видел теперь едва ли не в каждом генерале...

При этой мысли, преследовавшей его постоянно и

всюду, Гитлер забыл всё, что собирался ещё сказать генералам и выкрикнул:

— Я убеждён, что войска французов покинули Рейнскую зону окончательно!

Впервые за все заседание генеральские монокли слегка изменили угол относительно председательского места. Словно лёгкий ветер пробежал по лицам генералов и заставил их одновременно повернуться. Но все генералы продолжали хранить холодное молчание.

Послышался негромкий голос министра иностранных дел барона фон Нейрата:

— Мой фюрер... Вы, очевидно, упустили из виду, что в этом сложном деле мнение Америки не менее важно, нежели поведение французов и англичан. Наше вступление в область Рура может вывести американцев из состояния сторонних наблюдателей.

— Я ничего не упустил из виду. Даже того, что, повидимому, забыли вы! — вцепившись в край стола, словно хотел его сдвинуть, ответил Гитлер. — Кто, по-вашему, как не бывший американский президент, заявил, что целью его жизни является уничтожение Советской России? Преемники Гувера будут со мной, как только поймут, что я — и никто

другой! — избавлю их от кошмара, надвигающегося с востока. А могу ли я это сделать, пока не получу Рура?..

И тут снова, как по команде, все генеральские монокли повернулись к Нейрату.

Гитлер заметил это и испугался. Он думал, что они ждут заранее условленных возражений старого дипломата и что эти возражения послужат сигналом к общему наступлению против него, Гитлера.

Он закрыл глаза и упал в кресло. Но тотчас же вскочил и выбежал из зала.

Он бежал тем поспешнее, чем острее чувствовал на своей спине взгляды оставшихся в зале генералов.

Он панически боялся этих взглядов, искал от них спасения.

Он пробежал весь кабинет и влетел в уборную. Ударом ноги с треском захлопнул за собой дверь и поспешно опустил защёлку замка. Прислушался, словно боялся погони. Несколько минут стоял, прислонившись к стене и тяжело дыша. Расслабленными шагами подошёл к умывальнику и подставил лицо под струю воды.

Генералы покидали зал.

— Великолепно разыгранный блеф! — тихо сказал Пруст.

Гаусс с неприязнью посмотрел на вздыбившуюся щётку его белобрысых усов и сухо произнёс:

— Успех блефа чаще всего зависит от глупости противника. — Он щелчком сбросил с рукава упавший на него пепел. — На месте англичан и французов я расстрелял бы кое-кого из их министров. А заодно и некоторых генералов. — И, подумав, добавил: — На наше счастье, они этого не делают...

— И всё-таки это здорово! — с восхищением отрезал Пруст.

С каждым годом, с каждым месяцем становилось яснее, что Европа живёт на пороховой бочке, к которой все быстрее приближается фитиль, зажжённый на Дальнем Востоке японцами с молчаливого попустительства Англии и Соединённых Штатов Америки.

С каждым годом, с каждым месяцем становились убедительнее доводы, приводимые Советским Союзом в пользу необходимости самых решительных и притом неотложных мер к укреплению мира и безопасности народов.

Первым призывом СССР был

призыв к разоружению. Дальновидным советским политикам было ясно, что оружие, которого не хотят выпускать из рук империалисты Франции, Англии и Италии, оружие, которое тайно готовили для себя гитлеровцы и так же тайно продавали им французские и английские фирмы, не могло долго оставаться мёртвым грузом на складах. Оголтелые поборники вооружённого способа решения международных проблем должны были пустить в ход свои арсеналы хотя бы ради того, чтобы приняться за их возобновление и вновь стричь купоны акций военной промышленности.

Советское правительство
отлично сознавало бессилие
пресловутой Лиги наций как
инструмента мира. И все же оно
вступило в неё, готовое сделать все,
чтобы укрепить всеобщий мир, так
же как оно уже много лет настойчиво
и последовательно оберегало народы
Советского Союза от угрозы войны.

Начиная с сентября 1934 года,
когда Советский Союз согласился
войти в Лигу наций, его делегаты
неустанно боролись против
опасности агрессии. Они вносили
убедительные, неотразимо
документированные предложения на
многочисленных международных
конференциях.

В сентябре и ноябре 1934 года, в апреле, октябре, ноябре 1935 года, семь раз в течение 1936 года Советское правительство ставило вопрос о полном или частичном разоружении. Его представители выступали в Женеве, Лондоне, Лозанне: «Разоружение — вот первое, что следует сделать для обеспечения мира!» Но делегаты других стран извивались ужами, чтобы, «сохранив лицо» перед общественным мнением, избавить своих хозяев от необходимости бросить в мартен хотя бы один заржавевший штык. Советское правительство заключало договоры о ненападении со всеми

государствами, соглашавшимися их подписать. Но его дипломатические противники делали все возможное, чтобы заранее обречь эти договоры на бездействие.

Однако чем отчаяннее делались попытки капиталистов «спасти войну», тем яснее становилось народам Европы, куда тянут их правительства. Все с большею надеждою народы Франции, Англии и других стран обращали взоры в сторону СССР. Чем яснее мир простых людей видел, что государство рабочих и крестьян является великим поборником мира, тем с большим доверием приглядывались они к коммунистам

В своих собственных странах, тянулись к ним, доверяли им. Назревали новые битвы демократии против поджигателей войны.

В те дни, когда британский и французский кабинеты собрались для обсуждения вопроса о нарушении Германией Локарнских соглашений, не было предпринято ничего, что могло бы внушить немцам опасение.

Позже собрались вместе британские, французские, бельгийские и итальянские министры, но и они не захотели договориться об оказании сопротивления Гитлеру. Каждый здравомыслящий француз видел,

какую смертельную опасность для Франции представлял ставший на ноги германский милитаризм. И каждый здравомыслящий англичанин так же ясно понимал, какую опасность это составляет и для Англии. Увы, к мнению этих трезво рассуждающих французов и англичан не прислушивались при решении жизненно важных вопросов. Эти вопросы решала кучка тёмных политических дельцов, хотя они и составляли неоспоримое меньшинство.

Именно из этих дельцов и состояло «большинство» в Лондонском зале, где 17 марта 1936 года на заседании Совета Лиги наций

выступил советский делегат. Устами советского делегата заговорили простые люди обоих полушарий, желавшие разогнать дымовую завесу дипломатических интриг. За этой завесой скрывались манёвры, направленные к развязыванию войны на востоке против Советского Союза.

К словам советского делегата жадно прислушивались простые люди в Европе и Азии, в Америке, в Африке, в Австралии — всюду, где опасная игра правителей и безответственных парламентских болтунов с огнём войны вызывала тревогу и гнев народов.

Советский делегат говорил:

— Не стану отнимать ваше

время соответственными цитатами из германской периодической печати, из германских учебников, германских научных трудов, германских песенников, — я позволю себе только напомнить вам политическое завещание нынешнего правителя Германии, которое вы найдёте на 754-й странице второго тома мюнхенского немецкого издания 1934 года книги «Моя борьба»: «Политическое завещание немецкой нации в сфере её внешней деятельности будет и должно навсегда гласить: не допускайте никогда возникновения двух континентальных держав в Европе. В каждой попытке организации на

германских границах второй военной державы, будь то хотя бы в форме образования, способного стать военной державой государства, — вы должны видеть нападение на Германию и считать не только своим правом, но и своей обязанностью воспрепятствовать возникновению такого государства всеми средствами, вплоть до употребления силы оружия, а если такое государство уже возникло, то снова его разбить». Вот, господа, для каких целей Германии требуется ремилитаризация примыкающей к Франции Рейнской зоны. Речь идёт о создании гегемонии Германии на всем европейском континенте, и я

спрашиваю: должна ли и будет ли Лига наций потворствовать осуществлению этой задачи? Я вам читал не случайную статью в газетах, а документ, который автор сам характеризует как политическое завещание нынешнего правителя Германии, который даёт квинтэссенцию всей его внешней политики. Какое значение имеют наряду с этим документом отдельные политические речи и заявления, произнесённые с политической целью в тот или иной момент, приспособленные к психологии части того или иного народа для достижения определённых временных целей? Такие речи и

заявления находятся в таком же отношении к прочитанному мною основному документу, как временное тактическое прекращение стрельбы на одном участке театра военных действий к основной стратегической цели всей кампании...

На следующий день после этой речи выступил в Совете Лиги британский делегат Антони Иден. По его мнению, вступление в Рейнскую зону не представляло опасности для Англии, а следовательно... и для мира. Итальянец Гранди одобрил акцию Гитлера. Призыв Советского Союза к объединению сил для борьбы против агрессии, нашедший горячий отклик в сердцах простых

людей всего мира, встретил решительный отпор в зале Лиги наций...

В гитлеровской Германии трубили фанфары.

Генерал-половник Гаусс имел основания в дружеской беседе заявить своему бывшему однополчанину, а ныне министру иностранных дел барону Константину фон Нейрату:

— Мир становится на голову! Ефрейтор, которого я когда-то за одно слово возражения мог закатать в штрафную роту, высек меня, как мальчишку. Не очень-то легко с седою головой и с моими погонами

чувствовать себя школьником!

— Я давно махнул рукою на самолюбие, — ответил Нейрат.

Гаусс небрежно перебирал разбросанные по столу газеты. Но вот его взгляд остановился на листе «Тан». Он прочёл несколько строк под заголовком и ударил пальцем по листу:

— Именно об этом я и говорю!

— Что такое?

— Разговор Молотова с каким-то французом.

— Знаю...

— Все же послушай, — сказал Гаусс и прочёл:

— «Шастенэ. Какова позиция Советского правительства в

настоящем международном кризисе? Не считает ли оно, что военная реоккупация левого берега Рейна, позволяя Германии построить линии укрепления вдоль французской границы, имеет, прежде всего, целью предоставить Германии большую свободу для наступления на Востоке?

Молотов. Ремилитаризация Рейнской области несомненно усилила угрозу для стран, находящихся к востоку от Германии, и, в частности, для СССР. Не видеть этого было бы неправильно. Тем не менее ввод германских войск в Рейнскую область, пограничную с Францией и Бельгией, и создание укреплений вдоль франко-

бельгийской границы, в нарушение известных международных договоров, означает угрозу, прежде всего, в отношении западных соседей, Франции и Бельгии. В связи с этим нам понятно особое беспокойство во Франции и Бельгии.

Шастенэ. Поскольку из этого ясно вытекает, что интересы Советского Союза и Франции в настоящем международном кризисе в известной степени одни и те же, возникает вопрос о том, как действовать перед лицом этого кризиса и какова по отношению к нему позиция Советского правительства? И ещё: в случае, если бы Германия предпринимала

нападение на западе, и в случае, если бы Польша осталась нейтральной, какую помощь мог бы СССР практически оказать Франции? Вопрос имеет немного стратегический характер. Повидимому, помощь со стороны СССР означала бы помощь через Румынию и Чехословакию. Нейтралитет Польши, однако, в значительной степени затруднил бы действия СССР. Как практически могла бы быть осуществлена советская помощь Франции?

Молотов. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно было бы знать конкретную обстановку, в которой пришлось бы его решать. Вся

помощь, необходимая Франции в связи с возможным нападением на неё европейского государства, поскольку она вытекает из франко-советского договора, который не содержит никаких ограничений в этом отношении, Франции была бы оказана со стороны Советского Союза. Помощь была бы оказана в соответствии с этим договором и политической обстановкой в целом».

Гаусс поверх газеты вопросительно посмотрел на Нейрата.

— Тебе не кажется, что именно там, в России, следует искать решения всей этой путаницы?

— Никакой путаницы нет, —

отрезал Нейрат.

— Я говорю о том, что в этой игре нас может ожидать много неожиданного.

— Мы стараемся предусмотреть, что можно.

— И ты серьёзно думаешь, что русского медведя можно обложить, не опасаясь получить от него смертельный удар?

— Фюрер и рейхсканцлер думает именно так.

— Меня до сих пор воротит, когда эти два слова произносят вместе, — с отвращением сказал Гаусс. — Я с молоком матери всосал уважение к званию канцлера Германской империи.

Нейрат с насмешливой миной развёл руками:

— И тем не менее...

— «Фюрер, фюрер»! В конце концов, можешь ты хоть мне-то сказать твоё собственное мнение?

Нейрат пожевал губами и, словно сожалея о чём-то, покачал головою.

— Послушайся совета старого друга...

— Ну-с!

— Постарайся ни от кого не добиваться «собственного мнения». Особенно от тех, к кому хорошо относишься. Тебе следует понять: только имея во главе Гитлера, мы добьёмся того, чего хотим. Такова

обстановка... Так думают и наши друзья, — Нейрат неопределённым взмахом указал куда-то в угол комнаты. — Там, за каналом, и ещё дальше, за океаном.

— Первый раз в жизни я чувствую себя чем-то вроде лакея у торговца ножевыми изделиями.

— Англичане — люди воспитанные.

— Ты думаешь, они не дадут нам понять, что мы занимаем положение слуги?

— До тех пор, пока мы им нужны — нет.

— Все-таки может стошнить.

— Настоящая работа никогда не делается в белых перчатках. Во

всяком случае, наши сомнения оказались напрасными: ефрейтор получил обратно Рейн. Завтра мы ставим вопрос о Мемеле и Данциге. А там вернём себе и колонии. — Нейрат помолчал. — Сказать тебе правду, я чувствую себя, как старый конь, отвыкший от хорошего ездока и вдруг снова почувствовавший твёрдую руку.

— Я всегда предпочитал быть ездоком, — сказал Гаусс.

— Если нельзя взять приз в седле, то нужно участвовать в скачке хотя бы под седлом. Правда, удила довольно противно режут рот. Зато я знаю, барьеры будут взяты. Croyez moi, esuyer parviendra a son but!^[15]

— Если он свернёт себе шею на банкете, я не заплачу. Но беда в том, что в таких случаях и лошадь ломает себе хребет. А в данном случае лошадь...

— Est ce moi?^[16] — рассмеялся Нейрат.

— Malheureusement l'Allemagne!^[17] — резко сказал Гаусс.

— Mai non! Il gagnera son jeu^[18].

Гаусс засунул худой палец между дряблою шеей и воротником на том месте, где торчал конец ленты с большим крестом ордена. Он скорчил гримасу и потянул воротник так, словно он стал ему вдруг тесен.

— Если ты заедешь ко мне в министерство, я дам тебе прочесть

один документ... — сказал Нейрат.

— Да!..

— На-днях Гитлер беседовал в моем присутствии с Галифаксом. Лорд говорил от имени правительства.

— И что же?

— Деликатное прощупывание того, как бы мы отнеслись к широкой сделке с Англией и Францией.

— Ты не думаешь, что это враньё?

— Почему же? Консерваторы на этот счёт довольно последовательны. Галифакс прямо сказал, что в известных кругах Англии фюреру отдают должное, как человеку, уничтожившему коммунизм в

Германии и преградившему ему путь на запад.

— Пожалуй, это единственное, что их устраивает.

— Ты поверхностно смотришь на вещи, — с укоризной сказал Нейрат. — Галифакс намекнул: изменение европейского порядка должно произойти и рано или поздно произойдёт за счёт Данцига, Австрии и Чехословакии.

— Он так и сказал: «Чехословакии»?

Нейрат приложил палец к губам:

— Беседа была строго доверительной!

— Значит, в Англии понимают, что без этого нельзя схватить за

горло Россию?

— Когда фюрер сказал Галифаксу, что Европа должна быть организована без участия Советской России, Галифакс с ним вполне согласился.

Гаусс сделал несколько медленных движений кистями рук, словно намыливая их.

— Что же... дай бог... Значит, остаётся одна Америка... — проговорил он мечтательно.

На широком, с грубыми чертами лице Нейрата появилось выражение самодовольства. Он откинулся в кресле и сложил руки на животе, словно то, что он знал, позволяло ему раз и навсегда предаться

полному покою.

— Ну, что ты ещё знаешь? — нетерпеливо спросил Гаусс.

— Несколько дней тому назад у меня был Буллит. Он меня спросил... Заметь, — Нейрат поднял палец, — не я его спросил, а он меня: «Скоро ли будет покончено с Австрией?»

— Что это значит? — удивлённо спросил Гаусс.

— Те, от чьего имени он говорит, хотят, чтобы мы стали там твёрдою ногой.

— Удивительно... просто удивительно.

— Ничего удивительного. «Альпине-Монтан» — это Тиссен, а Тиссен — это деньги Ванденгейма, и

так далее...

— Да, да... И что же ты ему ответил?

— Что мы видим две существенные причины к тому, чтобы не очень спешить. Муссолини мобилизовал войска на австрийской границе...

— И Буллит?.. — с интересом спросил генерал.

— Заверил меня, что мы спокойно можем сбросить дуче со счётов!

— Он не знает, что Муссолини будет драться в случае нашего вторжения в Австрию.

— Если верить Буллиту, известные круги Америки не

позволят господину макаронному диктатору и пальцем двинуть против нас!

— Дай бог!.. Дай бог!.. Ты меня очень обрадовал этим сообщением. По такому поводу мы с тобой можем даже выпить... Главное во всем этом: мы можем быть спокойны за позицию американцев.

— Если удастся выбить из игры Рузвельта.

— А это возможно? — с недоверием спросил Гаусс.

— В Штатах есть уже наши люди... Киллингер — надёжный парень.

— Настоящий убийца!

— Такие там и нужны. Если бы

репутация Папена не была так подмочена в глазах американцев из-за его собственной глупости, — вот человек, которого следовало бы опять послать в Штаты, — сказал Нейрат.

— Ф-фа! — пренебрежительно воскликнул Гаусс, выпуская облако дыма. — Я простил бы ему его глупость. Беда в другом...

Нейрат вопросительно
посмотрел на умолкнувшего
приятеля. После некоторого раздумья
Гаусс продолжал:

— Беда в том, что мы больше не можем ему верить.

— С чего ты взял? — с опаской воскликнул Нейрат.

— Он уже дважды струсил. Тогда с этим фальшивым завещанием президента-фельдмаршала: нужно было быть мальчишкой или последним трусом, чтобы согласиться прочесть его с трибуны рейхстага, зная, что всё это написано собственной рукой паршивого хромоножки! Это раз...

Гаусс был возбуждён. Нейрат смотрел на него с иронической усмешкой на губах, но не перебивал его, и только когда Гаусс вдруг оборвал свою речь на полуслове, он тоном дружеской иронии поощрил:

— И два?..

— Самороспуск католического центра — это тоже дело Папена.

Единственной партии, которая могла бы что-то сделать в новом рейхстаге!

Нейрат рассмеялся так, что этот смех можно было даже принять за искренний. Отмахиваясь обеими руками, словно смех мешал ему говорить, он, наконец, выдавил из себя:

— Я же говорю: вы, генералы, — форменные мальчишки там, где дело касается политики. — И внезапно став серьёзным: — Вспомни-ка: канцелярия папы немедленно одобрила этот шаг. Ватикан заявил, что рад отдалению немецких католиков от политики.

— Чушь!

Нейрат движением руки

заставил его замолчать.

— Папа, вернее — его статс-секретарь, почтеннейший господин Пачелли, знал то, чего не знаешь ты, мой милый: самороспуск партии центра был условием для заключения конкордата, который Гитлер обещал Ватикану. И, как известно, обе стороны выполнили договор: папа прогнал немецких католиков из гитлеровского рейхстага, а Гитлер заключил с ним конкордат.

Некоторое время Гаусс в раздражении молча шагал по комнате. Он не очень-то любил бывать в дураках, а за последнее время все чаще случалось, что он убеждался в своей беспомощности

там, где дело касалось политических комбинаций. «Мальчик»! Да, верно, именно мальчик. Хорошо ещё, что Август удержал его от официального шага вместе с кардиналом Бертрамом, когда Гитлер для вида поприжал немного немецких епископов, чтобы выжать из Ватикана то, что ему было нужно. Хорошо, что в личном деле Гаусса нет ещё и этого пункта: протест против политики «фюрера и канцлера» в области церковных дел... Интересно знать: какого чорта эта лиса Папен не предупредил его о двойной игре его партии?.. Впрочем, Папен, может быть, и прав: все знали, что Гаусс никогда не

принимал сколько-нибудь близкого участия в делах партии центра... Да, так значит «мальчик в коротких штанишках». Теперь это показалось ему смешным. Подойдя к Нейрату, он ударил его по плечу и рассмеялся.

— А всё-таки у господина «фюрера» ещё будут хлопоты с католиками. Когда подходишь к границе Австрии, нужно просить благословения папы или хотя бы кардинала Инитцера.

— Могу тебя уверить, — спокойно произнёс Нейрат: — то и другое уже у нас в кармане.

Гаусс, опешив, медленно отвёл руку от плеча Нейрата.

— В кармане?..

— Ты удивляешься нашей предусмотрительности или их сговорчивости?

— Я уже перестал понимать, чему следует удивляться.

— Важно то, что от Америки до Ватикана — все понимают: не покончив с Австрией, нельзя задушить чехов. А не выбив их из игры, мы не сможем вплотную подойти к вопросу о России.

— У меня своё мнение насчёт очерёдности этих дел, — заявил Гаусс.

— Тут-то ефрейтор и понадобится больше, чем где-нибудь.

— Не знаю, право, не знаю! — помрачнев, сказал Гаусс. — Может

быть, достаточно будет того, что он подведёт нас к русским границам. Там начнётся слишком серьёзная работа, чтобы её можно было доверить ораве дилетантов, которые вокруг него... Их торопливость и легкомыслие могут обойтись нам дорого. — И он снова, как прежде, потянул воротник мундира. Словно поймав себя на какой-то неловкости, поспешно сказал: — Бокал шампанского, старик, а?.. Не риббентроповской бурды, а честного французского вина!

На звонок Гаусса вошёл денщик.

— Вели подать бутылку сухого...

и мой «Рафаэль».

— Эх, ты, вегетарианец! — с

дружеской фамильярностью сказал Нейрат и ударил генерала по твёрдой, как доска, спине.

— Мой милый, — ответил Гаусс, — я непременно хочу дожить до немецкой Европы. Ради этого стоит отказаться от стакана шампанского!

Вино уже было налито, и Нейрат сделал несколько глотков, когда Гаусс вдруг отставил рюмку со своим лечебным «Рафаэлем» и обеспокоенно спросил:

— Послушай, Константин, а ты не боишься, что в конце концов за помощь, которую мы получаем от американцев, они спустят с нас штаны?

Нейрат рассмеялся:

— Пей своё «вино для желудка» и ни о чём не думай... Ты не понимаешь игры, которую мы ведём.

— Не слишком ли хорошо я её понимаю? — с горечью спросил Гаусс. — Мне не хотелось бы остаться нищим.

— Смысл игры и заключается в том, чтобы по всем векселям, которые мы выдаём и выдадим впредь под большую войну, с Америкой расплатились Англия и Франция и... может быть, ещё кто-нибудь, с кого американцы сумеют получить. Только не мы!

— Мне думается... этот кредитор не простит и пфеннига...

— И дай ему бог здоровья, пусть снимает с англичан хоть последнюю рубашку.

— Но мы-то, мы?! — воскликнул Гаусс... — Мы тоже будем голы! И если Европа будет работать на американцев...

— Глупости, Вернер! На нашу долю останутся сотни миллионов покорённых людей. Они нас кое-как прокормят!

И, чокнувшись с Гауссом, Нейрат допил шампанское.

Гаусс с выражением недоумения смотрел на приятеля. Можно было подумать, будто его особенно интересует, как тот, не скрывая удовольствия, маленькими глотками

цедит шампанское. Нейрат даже отвёл бокал от губ и спросил:

— Ты так на меня смотришь, словно мы с тобою век не виделись.

Гаусс усмехнулся.

— Ты не ошибся, мой друг. Мне действительно кажется, что ты совсем не тот, кого я знал за Константина фон Нейрата. Ещё немного, и я приду к выводу, что не сегодня-завтра ты станешь самым надёжным, самым убеждённым сторонником нового режима, — больше того, ты представляешься мне настоящим сообщником этого «богемского ефрейтора»...

— Тебе это кажется странным? — спросил Нейрат,

отставляя опустошённый бокал.

— Согласись... — Гаусс не сразу нашёл нужные слова: — Видишь ли, о тебе идёт молва как о представителе старой дипломатической школы, как о человеке, мало подходящем нынешнему режиму, человеку, вовсе не смотрящем на свет глазами выскочки... Ты, Папен, Макензен — это же дипломаты совсем другого мира... чем какой-нибудь Риббентроп.

— Милый мой, — покровительственно проговорил Нейрат. — Только благодаря тому, что мир, свет думает о нас именно так, мы и имеем возможность приносить

Германии ту пользу, которую приносим. В тот день, когда внешний мир перестанет считать нас, старых дипломатов, «безобидными старыми господами с Вильгельмштрассе, делающими всё, что можно, чтобы помешать нацизму быть тем, что он есть», нас, и меня первым, можно будет выбросить в мусорную корзину. Сами мы никогда не могли бы изобрести для себя лучшей маски, чем выдумали наши дипломатические противники: «безобидные господа»! Что может быть удобней для дипломата?!

— И только?.. — разочарованно спросил Гаусс.

— И только!

Несколько минут в комнате не было слышно ничего, кроме ударов маятника больших часов в углу. Эти удары отдавались в деревянном футляре громким гудением.

Собеседники молча курили. Гаусс поднялся и, пройдясь по комнате, остановился перед Нейратом. Негромко спросил:

— Честно, как старый приятель: ты не боишься России?

Нейрат пожал плечами и опустил взгляд на свои скрещённые пальцы.

— Станный вопрос, — проговорил он наконец. — А разве ты...

Гаусс молча кивнул, и его

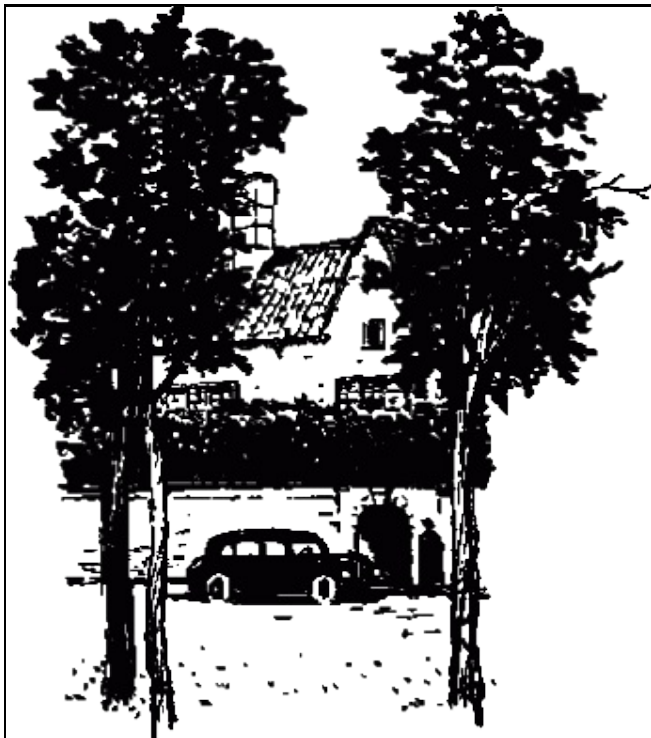
длинная фигура снова замаячила по кабинету.



Часть третья

Сравнить предателя не с кем и не с чем. Я думаю, что даже тифозную вошь сравнение с предателем оскорбило бы.

М. Горький



По соображениям конспирации Роу никогда не делал тайны из своей жизни в Берлине. Он не снимал, подобно многим журналистам, частных квартир и не жил в пансионах. Жизнь в отеле его вполне устраивала. Там каждый иностранец находился как бы под стеклянным колпаком, окружённый соглядатаями тайной немецкой полиции. Именно это, как справедливо казалось Роу, и должно было отводить от него излишнее внимание немецкой секретной службы и позволяло ему дезориентировать её агентов.

Все же жизнь в больших отелях

на континенте изрядно надоела Роу. Поэтому в Лондоне, во время своих не слишком частых наездов туда, он раз навсегда избрал один из небольших частных отелей на Блумсбери-сквер.

Роу взглянул на часы и с удовольствием потянулся в низком кресле, где он просидел, отдыхая, без малого половину дня. Вставать и одеваться не хотелось. Однако, если не отменять назначенное свидание, то пора было собираться.

Роу был уже одет, оставалось выбрать булавку для галстука, когда доложили о посетителе, не пожелавшем назвать себя.

Гость, показавшийся в дверях,

заставил Роу смутиться. Но смущение было столь кратким, что вошедший едва ли мог его заметить. В следующее мгновение Роу непринуждённо воскликнул:

— Реджи! Входи.

— Ты один? — спросил Реджи.

Роу сделал вид, будто несложный процесс втыкания булавки в галстук поглощает все его внимание. Но в глубине его души копошилось подозрение, что притворство напрасно: только обстоятельства исключительной важности могли заставить секретную службу послать своего человека к нему в отель. Роу уже составил в уме фразу, которой должен будет по

телефону отменить обед с одной из своих приятельниц.

Его опасения почти тотчас же оправдались.

— Шеф велел раздобыть тебя немедленно, — сказал Реджи.

Шефом на жаргоне сотрудников Интеллидженс сервис назывался помощник начальника секретной службы — джентльмен, известный весьма ограниченному кругу лиц.

Свидание с шефом — случай не частый. Роу гадал: нагоняй за какую-нибудь грубую ошибку?.. Он быстро перебрал в памяти события последних недель. Ошибок как будто не было. Тогда, вероятно, новое задание, достаточно срочное, чтобы

послать к нему Реджи, и слишком секретное, чтобы передать что-нибудь через него?

Спустя несколько минут Роу мрачно восседал в автомобиле. Он так и не поймал свою приятельницу по телефону и размышлял о том, как дать ей знать, что обед отменяется.

Автомобиль некоторое время кружил вокруг Блумсбери, затем выехал на Оксфорд-стрит и по Бейсуотер помчался мимо Кенсингтонских садов. На недозволенной скорости пересёк Темзу и остановился в одной из полутёмных аллей Ричмонда.

Оставив Роу в автомобиле наедине с догадками, Реджи нырнул

в калитку. Через несколько минут из неё вышел шеф. Он был один.

— Реджи не поедет, — сказал он. — Довезёте? — Заметив поспешность, с которой Роу перебрался за руль, шеф пробормотал: — Не торопитесь. Нам понадобится время, чтобы поговорить.

И уселся на заднее место.

Когда Роу тронул машину, шеф, повидимому, наклонился вперёд, потому что Роу почувствовал за спиною его острые локти возле своих плечей.

Автомобиль медленно катился по плохо освещённой улице.

— А знаете, старина, ваши

сведения о Канарисе подтвердились, — недовольно, как показалось Роу, проговорил шеф.

— Очень рад, — тоже без удовольствия ответил Роу.

— Вы будете и впредь пользоваться тем же источником?

— Да.

— Хорошо. Это даст нам возможность держать немцев под двойным прожектором.

Роу молча кивнул. Говорить не было смысла. Он достаточно знал шефа, чтобы догадаться: тот вызвал его на свидание не для этой болтовни. О том, что Александер — агент британской секретной службы, Роу знал и без сообщения шефа: он

был одним из тех троих, кто знал эту тайну начальника немецкой разведки.

Несколько минут ехали молча. Потом Роу снова услышал голос шефа:

— Есть очень важное задание. Службе предложено осуществить его как можно точнее и без шума. Дело очень деликатное... Придётся прервать ваш отдых... Нет, нет, пока ещё не возвращение в Берлин! Германия — котёл, где копится пар для взрыва, но разводить огонь нужно не в котле, а вокруг него.

— Вполне справедливо, — неопределённо пробормотал Роу, не понимая, к чему клонит шеф.

— Нам нужен жаркий огонь, настоящий костёр, а стоит подбросить несколько поленьев, и вместо пламени они испускают только вонючий дым. Находится миллион добровольных пожарных, готовых заливать пламя под котлом войны, которая, как припарка, нужна Европе на востоке.

— Кажется, я улавливаю, сэр: чтобы пар из немецкого котла ударил на восток, огонь нужно разводить на западе.

Шеф утвердительно кивнул головой.

— Рождение Народного фронта во Франции, победа республики в Испании, рабочие волнения в

Италии, нескончаемые забастовки у нас — это уже не сырость, мешающая гореть костру, а океан, грозящий затопить и нас самих. — Шеф проговорил с ударением: — Нужны неотложные и самые энергичные меры. Наши друзья во Франции бессильны. Сколько ни трать на создание кабинетов, они разваливаются, как карточные домики. Все они — от Тардые до Блюма — одинаковы: как огня, боятся улицы.

— Может, Блюм надёжнее других. Хотя бы потому, что он изворотливее, — заметил Роу.

— Такой же трус, как остальные! — презрительно ответил

шеф. — Петэн или Вейган — вот кто мог бы навести во Франции порядок, который нам нужен.

— Значит, вы хотите, чтобы я побывал во Франции?

Шеф заставил ждать с ответом.

— Нет!.. — сказал он наконец. — Мы не должны прямо лезть в эту кашу! В Европу следует войти с чёрного хода... Вы поедете в Испанию.

— В июле?!

— Понимаю: жара, но придётся потерпеть, старина! — с шутливым сочувствием сказал шеф. — Это дело нельзя больше откладывать. Там, за Пиренеями, начинается нечто совсем неподходящее. Ещё немного, и, мне

кажется, испанская колесница покатится налево так, что её уже не остановишь. Если этого поворота не сделает теперь же само правительство, народ его заставит. Он просыпается, старина. Глядя на него, и французы поймут, что Народный фронт — это всерьёз. Тогда тут заварится нечто посерьёзнее дела с Барту. Одним-двумя выстрелами не обойдёшься.

— У вас дурное настроение, сэр!

— Нет, кроме шуток: если мы не покончим с Испанской республикой — крышка многим нашим комбинациям на континенте. Одним словом: пора туда. Потом мы дадим вам возможность отдохнуть от жары.

А теперь напишите-ка кому-нибудь из ваших берлинских друзей поболтливей: пусть там думают, что ваш отпуск продолжается. Завтра утром вы вылетите на Канарские острова. Кто может помешать вам провести там остаток отпуска?

— Пожалуй...

— Утренний самолёт унесёт бездельника, которому пришла идея погреться на пляже Лас-Пальмас. Было бы, конечно, совсем хорошо, если бы вы нашли себе спутницу. Но боюсь, не успеете это устроить, а?.. Впрочем... — Шеф сделал паузу. — Кажется, вы дружны с дамой, которая ждёт вас сегодня к обеду?.. Если хотите, можете не отвечать.

Роу рассмеялся. Он отлично понимал, что шеф не нуждается в его справках. Рассмеялся и шеф.

— Вы не должны на меня сердиться, — сказал он добродушно. — Потому я и спешил повидаться с вами, прежде чем вы поедете в Палас.

Вместо ответа Роу поднял к его лицу руку с часами.

— Что ж, поторопимся, — сказал шеф. — После того, как отвезёте её домой собираться в дорогу, увидимся ещё раз: получите деньги, инструкции и явки... Вы ведь знаете Зауэрмана?

— Разве вы не получили моего донесения о том, что он резидент

абвера на Канарах?

— Я знаю, что говорю, дружище.

Как и все остальное, шеф произнёс это спокойным тоном немного скучающего человека. Но Роу понял, что не должен был упоминать о своём донесении: если шеф назвал Зауэрмана, зная, что тот состоит на жалованье в гитлеровской разведке, — значит, так нужно; если старик попросту забыл об этом обстоятельстве, то тем более не следовало ему напоминать о подобном упущении. Кому-кому, а уж Роу-то пора бы знать, что ни «мистер Икс» — глава секретной службы, ни его помощник «Шеф» — не ошибаются. Таков один из

параграфов символа веры этой службы.

Да, черт возьми, видно, только к седым волосам научишься быть таким сфинксом, как этот старый сухарь!..

— Разрешите ехать по Пикадилли? — спросил Роу.

— Через Фульхем, — недовольно проворчал шеф. — Высадите меня где-нибудь возле госпиталя. Впрочем, я забыл: мы же без шофёра... Значит, сойдёте вы. А я доберусь сам на этой колымаге.

По дороге шеф ещё сказал:

— Знаете что?.. Зачем вам связываться с рейсовыми самолётами? Пришлось бы в пути

пересаживаться на аппарат иностранной компании. Лучше этого избежать... — Он потёр лоб. — Да, лучше устроить так: в Кройдоне вас будет ждать наша машина. Каждый джентльмен имеет право заказать специальный рейс, чтобы его дама не попадалась на глаза кому не следует. Лишь бы у джентльмена были деньги и полиция не заподозрила, что он их украл и бежит за границу. Этого, надеюсь, не случится... Не обращайте внимания на то, что на самолёте будут не британские знаки... Эй-эй! Вы проехали госпиталь, старина!..

Роу остановил автомобиль и сошёл. Шеф уселся за руль, и машина

исчезла в потоке автомобилей,
стремившихся к Пикадилли.

На следующий день, 10 июля 1936 года, самолёт с опознавательными знаками немецкой гражданской авиации приближался к острову Гран-Канария, в группе принадлежащих Испанской республике Канарских островов.

Солнце уже перевалило за полдень. Лётчик опустил зелёную шторку на переднем стекле пилотского фонаря, чтобы рассмотреть береговую полосу северо-восточного конца острова. Поскольку он вёл сухопутную машину, то и подошёл к острову не со

стороны открытого океана, а с северо-востока.

Сделав круг над Лас-Пальмас, самолёт сел. Из него вышел Роу с дамой и зарегистрировался у жандарма как турист, прилетевший лечить чахоточную жену.

Жандарм пожелал сеньоре скорейшего выздоровления и заверил, что лучшего места для чахоточных нет на свете. Он тут же вручил Роу карточку отеля, где рекомендовал остановиться. Роу не стал спорить и отблагодарил его несколькими песетами. Жандарм поймал щедрую подачку с ловкостью официанта и проводил гостей до автомобиля.

В отеле было пусто и скучно. Время тянулось необычайно медленно — особенное, тягучее испанско-африканское время.

Роу вышел в сад. Лениво прохаживаясь под шелестящею листвою лавров, он перебирал в памяти наставления шефа. Ему нравилось то, что начальник сказал ему на прощанье:

— Можете не церемониться — испанец получает деньги и должен исполнять то, что ему прикажут.

— Но деньги-то он получает от немцев, — заметил Роу.

Шеф со вздохом ответил:

— Увы, даже пройдя через

немецкие руки, фунты остаются английскими... Одним словом — он именно тот, кто нам нужен. Нам уже некогда искать другую Madchen für alles, как говорят наши друзья немцы... С коммунистами пора кончать!

— Не сомневаюсь, сэр.

— Вот и желаю вам удачи.

Роу был уверен в успехе. Он уже не в первый раз превращался из разведчика — собирателя секретов в активного политического диверсанта. Сознание этого льстило ему, — было только жаль, что не удалось перед отлётом из Лондона связаться с Монтегю, чтобы дать ему сигнал о необходимости обратить

внимание на Испанию. Лондонская биржа должна будет реагировать на то, что произойдёт в Испании после приезда его, Роу. Знать это заранее, значит неплохо заработать. Но доверять то, что он знает, нельзя даже телеграфу. Значит, материальный эффект этой поездки будет равен нулю. Если, конечно, потом не удастся примазаться к спекуляциям...

Под напором морского ветра упруго поскрипывали толстые листья бананов. Этот мерный звук, похожий на скрип корпуса парусного корабля ночью, когда ничто не заглушает голосов обшивки и набора, нагонял сон. Роу с усилием стряхнул с себя

истому и поглядел на часы. Пора!..

Роу шёл, не расспрашивая о дороге. Он полагался на память и на тщательно изученный план местности. Скоро он выбрался из квартала отелей. Асфальт кончился, — Роу почувствовал под ногами неровные камни разбитой мостовой. Дома сделались ниже. Тени деревьев резко ложились на их белые стены. Потянулись каменные изгороди виноградников. Сухие листья винограда казались высеребрёнными светом луны.

Роу отсчитал нужное число переулков и свернул в узкий проход между неприглядными хижинами. За

оградой из плитняка несмело
тявкнула собачонка. «Сейчас
поднимется обычный в таких случаях
концерт», — подумал Роу. Но все
было тихо. Собака полаяла и
умолкла.

Едва слышный шорох листвы
смешивался с отдалённым рокотом
прибоя, и трудно было разобрать,
какой из этих шумов производят
листья и какой вода. Роу выбрался на
шоссе, тянувшееся параллельно
берегу, перешёл на сторону, укрытую
тенью деревьев, и зашагал вдоль
решёток садов. То был уже пригород
— район роскошных вилл. Железные
изгороди одних были увиты
ползучими растениями и цветами, за

другими смутно виднелись плотные стены подстриженного самшита и тамариска. Из-за решёток лилось то дыхание раскрывшегося табака, то аромат роз, то едва уловимый запах лимона.

Роу вглядывался в узорчатый чугун оград.

Наконец он увидел то, что ему было нужно: два мраморных грифа сидели на каменных столбах по бокам высокой глухой калитки. Сквозь решётку, густо оплётённую зеленью, не было видно дома. Едва Роу остановился, как за калиткой послышался лай. Это уже не было робкое тьяканье, какое он слышал из-за жалкой стены придорожной

хибарки. Свирепый басистый лай, повидимому огромного пса, сопровождался рычанием ещё нескольких собак. Роу с невольной поспешностью отыскал розетку звонка и нажал её условным образом. Прошло немало времени, пока послышался чей-то голос, успокаивавший собак. Калитка отворилась. Роу вошёл без приглашения. Калитка захлопнулась, и яркий луч фонаря ударил Роу в лицо.

— Я привёз партию рейнских вин, — по-немецки сказал Роу.

— Вот как!

— Полтора ящика старого «Иоганнисбергера».

Тот, кто, не опуская фонаря, освещал Роу, сказал в темноту:

— Подержи собак, Рейнц! — и пошёл в глубину сада, светя под ноги.

Роу видел только маленькое пятно сверкающего, словно серебряного, песка и изредка мелькающий каблук немца. Так они дошли до ступенек дома.

— Подождите здесь, — сказал провожатый и скрылся за дверью.

Роу зажмурил глаза, чтобы дать им привыкнуть к темноте.

За своей спиной он чувствовал присутствие второго немца и слышал скулёж нескольких собак. Это заставило его стоять неподвижно.

Роу открыл глаза, почувствовав,

что в лицо ему снова ударил свет. Дверь в дом была отворена и ярко освещена. Роу вошёл. Перед ним стоял человек, в котором он по фотографии, показанной ему в Лондоне шефом, узнал Зауэрмана.

Немец вопросительно смотрел в лицо Роу. Тот, так же не стесняясь, ещё раз мысленно проверил сходство оригинала с портретом. Только тогда назвал пароль. Зауэрман кивком головы пригласил Роу следовать за собою. Они вошли в большую столовую. За длиннейшим столом, в огромном, как трон, кресле с непомерно высокою спинкой сидел маленький человечек с очень тёмным лицом. Но это была не природная

смуглость местного уроженца, а загар европейца, долго пробывшего на солнце. Иссиня-чёрные волосы, пронизанные редкими нитями седины, были обильно смазаны фиксатуаром и зачёсаны на лысину. Темнокарие глаза навывкате, тяжёлый крючковатый нос.

На человеке был китель испанского генерала.

При входе Роу генерал приподнялся, опершись о стол маленькими пухлыми ручками, ещё более тёмными, чем его лицо. Не кланяясь, он молча уставился на Роу.

Зауэрман достал рюмку из такого же огромного и неуклюжего, как все в этой комнате, буфета и

пододвинул англичанину поднос с бутылками.

Роу рассеянно кивнул. Зауэрман поймал его взгляд, насторожённо ощупывавший углы комнаты.

— Тут можно говорить свободно, — сказал он.

Роу перевёл, взгляд на испанца.

— Генерал дон Франсиско Франко-и-Багамонде, — представил генерала Зауэрман.

Франко молча поклонился и сел.

Не считаясь с риском показаться невежливым, Роу внимательно оглядел испанца — он знал его только со слов шефа. Чорт возьми, лошадка, на которую ставила Англия, не производила впечатления своими

статями, но... Лондону видней! Что ж, присутствие Франко у Зауэрмана упрощало дело: для свидания именно с ним Роу и прилетел сюда. Поручение шефа будет выполнено на целые сутки раньше. Роу без предисловий сказал Франко, глядя на него холодными глазами:

— Вы больше не должны откладывать своё путешествие в Африку, генерал.

Франко быстро оглянулся на Зауэрмана, прислонившегося к буфету с рюмкой в руках. У немца был вид человека, совершенно не заинтересованного происходящим.

Франко перевёл взгляд на Роу.

— Там ещё не все готово...

— Поэтому вам и следует быть там! — жёстко сказал Роу.

— Я вполне доверяю моим людям. Если они...

Роу перебил:

— Вы сами должны быть там. — Он перегнулся через стол. — Больше ждать нельзя!

На этот раз Франко повернулся к немцу всем корпусом и заговорил по-испански. Он выбрасывал слова раздражённо, с необыкновенною быстротой. Зауэрман слушал, не поднимая глаз. Можно было подумать, что и это его не касается. Впрочем, почти так оно и было. С тех пор как здесь появился представитель британской секретной

службы, Зауэрман перестал чувствовать себя резидентом абвера: англичане платили Зауэрману больше, чем немцы. По логике людей, привыкших торговать собою, хозяином в этой комнате был сейчас англичанин — за него платила Англия.

Роу не знал испанского и без церемоний перебил Франко:

— Мой самолёт ждёт вас сегодня ночью. — И, видя, что Франко снова хочет заговорить, добавил: — Вы, Зауэрман, проводите генерала до Тетуана.

— А что делать в Тетуане? — спросил немец.

— Сдадите поручение

коммерции советнику Лангенгейму.

Перед уходом Роу ещё раз обернулся к Франко:

— Сегодня десятое июля?

Франко сердито молчал.

Ответил Зауэрман:

— Десятое.

— Недели вполне

достаточно, — сказал Роу таким тоном, будто сам сейчас принял такое решение, хотя именно этот срок был определён шефом. — Семнадцатого мы хотим услышать условный сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Насупившийся Франко продолжал молчать, но, увидев, что Роу пошёл к двери, не выдержал,

протестующим жестом остановил Роу и истерически выкрикнул:

— Я не могу принять предложение!

Роу остановился и с насмешливым удивлением спросил:

— Какое... предложение?

— Ваше предложение.

Роу сделал паузу и веско проговорил:

— Это приказ, сеньор.

Роу видел, как под загаром, покрывающим кожу генерала, отливает кровь и лицо его делается светложелтым, даже, как казалось Роу, зеленоватым.

— Но ведь по такому сигналу генерал Санхурхо вылетит из

Португалии, — быстро проговорил Франко. — Он глава хунты. Он будет руководить движением. Есть благословение... святого отца.

— Мы хорошо знаем, что вы добрый католик, генерал, и поэтому заранее согласовали все. Его святейшество папа пришлёт вам своё благословение позже.

— Вы не знаете Санхурхо!.. Я не ручаюсь за мою жизнь.

— За вашу жизнь?.. Единственный каудильо — вы! — Роу едва не улыбнулся, вспомнив слова шефа, и ободряюще сказал: — Есть старая испанская пословица, генерал: «Мир дрожит, когда шевелится Испания».

— О да, это сказал великий король Филипп II, — с гордостью проговорил Франко.

— Это можно и забыть. Гораздо важнее, что теперь это скажете вы.

Франко поднялся и, закинув голову, без тени иронии сказал:

— Я заставляю мир дрожать.

В Советском Союзе произошло событие, привлёкшее к себе внимание народов всего мира. Все прогрессивное и передовое в рядах человечества напряжённо следило за развитием этого исторического события.

Но были на земле, — на пяти шестых её поверхности, — и такие люди, которым хотелось закрыть глаза, заткнуть уши, спрятать голову под подушку и сделать вид, что в мире ничего не произошло.

Им хотелось так поступить, но они не решались.

Как бы ни пытались они убедить

друг друга в обратном, но большинство из них вынуждено было себе сознаться, что событие, которое, по их мнению, не должно было иметь никакого влияния на ход истории западноевропейских стран, прежде всего потому, что оно произошло на востоке Европы, во-вторых, потому, что оно имело, по их мнению, чисто внутренний характер, в-третьих, потому, что во всем капиталистическом мире были приняты все допустимые и недопустимые меры, чтобы извратить истинный смысл этого события, — все же, вопреки всему, это событие оказывало непосредственное влияние на жизнь

всей Европы и даже на жизнь всего мира. Людьми, не желавшими это признать публично, но с горечью признававшимися в этом самом себе, были правители и правые политические деятели большинства европейских стран.

Событием, о котором идёт речь, было опубликование проекта новой Конституции СССР, великой хартии осуществлённых прав трудящегося человека, хартии победы социализма в СССР. Это был ещё только проект, он ещё только обсуждался страной, но его революционизирующее действие уже сказывалось на жизни народов далеко за пределами Советского Союза.

В числе многих других стран, это событие было с энтузиазмом встречено и демократической общественностью Франции. Оно придало новые силы французскому пролетариату, ведомому Коммунистической партией Франции в активной и последовательной борьбе с реакцией. Движение, закончившееся оформлением Народного фронта и образованием правительства Народного фронта, с наибольшей мощностью проявило себя в традиционной демонстрации 14 июля, посвящённой историческому дню взятия Бастилии в 1789 году.

Никогда ещё на всем

протяжении её бурной истории французская столица не видела манифестации такой силы и такой сплочённости: миллионы парижан шагали по её улицам и бульварам, митинговали на её площадях и перед её дворцами. И ни одна фашистская шавка не смела высунуть морду из подворотни. В этот день французский народ показал, что он стоит сплочённым фронтом, не уступит своих позиций и готов переломить хребет пробирающемуся во Францию фашизму. Почти миллион парижан принёс в этот день клятву верности делу народа. Трудовая Франция все отчётливее понимала, что её злейший враг —

фашизм. Французы поняли, что в Германии и Италии фашизм мог прийти к власти только потому, что в результате подлой политики социал-демократов рабочий класс оказался политически расколотым и разоружённым в критический момент, требовавший его действий. Все меньше оставалось французов, которые не поняли бы, что фашизм — это бешеная реакция, что фашизм — это война. У всех перед глазами был урок Германии. Все видели, что германский фашизм является зачинщиком нового крестового похода против Советского Союза. Миллионные массы трудящихся всех стран все отчётливее сознавали, что

«хозяева» буржуазных государств, все эти «тысячи», «сотни» и «десятки» «семейств» банкиров и промышленных королей, ненавидят СССР лютой ненавистью, потому что Советская страна — это светлое будущее всего человечества.

Борьба против антисоветских замыслов стала для каждого народа борьбой за свои собственные кровные интересы. Простые люди всех стран все яснее сознавали свои силы и считали, что не за горами время, когда они приведут эти силы в действие. Тогда наступит конец всем тысячам, сотням и десяткам «династий» угольных, стальных, нефтяных и всяких иных «королей».

Чем больше простые люди присматривались к происходящему в мире, тем яснее им становилось, что залог успеха борьбы — единство. Первое, что нужно было сделать, — создать единый фронт, установить единство действий рабочих на каждом предприятии, служащих — в каждом учреждении, всех вместе — в каждом районе, в каждой стране, во всем мире. Единство действий трудящихся в национальном и международном масштабе — вот могучее оружие, которое сделает трудовой люд способным не только к успешной обороне, но и к наступлению против фашизма, против войны!

Чем успешнее шло дело объединения народных масс вокруг лозунгов Народного фронта, тем многочисленнее становились аудитории, перед которыми выступали коммунисты. Народ хотел их слушать, народ тянулся к правде, которую они несли. Когда на митинге 14 июля Торез привёл в своей речи слова Ленина, кто-то из толпы крикнул:

— Повторите!.. Мы должны это запомнить!

Торез громко и раздельно, чтобы было слышно самым дальним, повторил:

— Ленин говорит, что жизнь возьмёт своё. Пусть буржуазия

мечется, злобствует до
умопомрачения, пересаливает, делает
глупости, заранее мстит
большевикам и старается перебить (в
Индии, в Венгрии, в Германии и т.д.)
лишние сотни, тысячи, сотни тысяч
завтрашних или вчерашних
большевиков: поступая так,
буржуазия поступает, как поступали
все осуждённые историей на гибель
классы. Коммунисты должны знать,
что будущее во всяком случае
принадлежит им, и потому мы
можем (и должны) соединять
величайшую страстность в великой
революционной борьбе с наиболее
хладнокровным и трезвым учётом
бешеных метаний буржуазии.

Сто тысяч рабочих, стоявших перед Торезом, вслушивались в каждый шорох усилителя...

Это происходило в Париже 14 июля 1936 года.

На рассвете 17 июля 1936 года радиостанция Мелильи в Испанском Марокко послала в эфир условный сигнал: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Африканские владения Испании и протектораты Ифни, Рио де Оро и Фернандо-По, Канарские и Балеарские острова, за исключением Менорки, оказались в руках мавров и иностранного легиона, поднятых генералами-предателями на бунт

против правительства Испанской республики.

«Над всей Испанией безоблачное небо...»

Восемнадцатого сигнал был принят в Севилье, где военным губернатором был предатель, вечно пьяный генерал-«социалист» Кейпо де Льяно. Он вывел на улицу войска гарнизона и поднял мятеж. Он роздал оружие фалангистам, снова у всех на глазах напялившим зелёные шапки.

«Над всей Испанией безоблачное небо...» — повторяла Мелилья. Офицеры-изменники выводили на улицы свои банды в городах южной Испании: в Кадиксе,

Гренаде, Кордове.

На севере генерал Эмилио Мола возглавил мятеж в Бургосе, Памплоне, Сарагоссе, Саламанке.

Организованный британской секретной службой, с ведома французской разведки, на американские деньги, щедро раздаваемые руками немецких разведчиков, генеральский мятеж начался.

Заносчивые испанские гранды в генеральских мундирах и во фраках дипломатов превратились в простых агентов иностранных разведок. Этим изменникам, утратившим право называться испанцами, в качестве награды за победу над народом было

обещано то, что и в прежние времена давалось шайкам наёмников: города и села на поток и разграбление.

Совершенно так же, как в те «добрые» старые времена, отозвался на события и святейший отец из Рима. «Наместник Христа, преемник святого Петра», Пий XI прислал своей чёрной монашеской армии в Испании апостольское благословение на войну с народом. Священники пятидесяти тысяч католических церквей и монахи пяти тысяч католических монастырей Испании должны были шпионить, предавать, стрелять из-за угла в республиканцев, разлагать их тыл. Клеветой на республику, церковными

карами для её сторонников и индульгенциями для каждого, кто совершит любое преступление против народа.

Но, несмотря на все это, несмотря на широкую помощь международного капитала, несмотря на активную поддержку германо-итальянского фашизма, просчёты мятежников следовали один за другим, начиная с первого дня восстания. Гарнизоны многих городов остались верны республике; флот и авиация почти вовсе не откликнулись на изменнический призыв мятежных генералов. В крупных городах с сильною прослойкою рабочего населения

мятеж был подавлен в первые же часы.

Одно из самых тяжёлых сражений пришлось выдержать рабочим Мадрида у Инженерной казармы Ла Монтанья. В ней собралось большое число офицеров и несколько тысяч солдат. Уверая солдат в том, что «красные» убивают всех военных, офицеры пытались повести их в бой. Однако вопреки реакционной военной теории, говорившей, что почти не вооружённые рабочие, наспех организованные в военные дружины, ничего не смогут поделать с отлично оснащёнными войсками, засевшими на возвышенности за толстыми

стенами, вопреки буржуазному «здравому смыслу», казармы были взяты народом.

Севильские рабочие, у которых не было никакого оружия, четыре дня боролись с наступавшими мятежниками, отстаивая квартал за кварталом, пуская в ход своё единственное средство защиты — ножи и горячее масло. Женщины кипятили масло и под градом пуль несли его в кувшинах своим мужьям и братьям, забаррикадировавшимся в домах. В Барселоне рабочие разгромили мятежников и перебили их вожakov. Так было и в Малаге, в Картахене, Бильбао, Валенсии, Аликанте.

Испанский народ давал своему демократическому правительству время понять, насколько правы были коммунисты, когда предсказывали мятеж и требовали вооружения народа. Мятеж генералов, рассчитанный на быстрый «переворот», провалился, превратившись в затяжную войну генералов с народом. Это требовало серьёзных выводов правительства. Народ ждал их.

В Испании началась первая общеевропейская битва второй мировой войны, затевавшейся мировой реакцией.

И едва ли не с первых же дней

этой битвы народные массы многих европейских стран, разбуженные призывами, доносившимися из Москвы, поняли, что их правительства, вплоть до так называемых «социалистических кабинетов», идут на помощь не жертве восстания — законному правительству Испанской республики, а мятежникам. Фашистские правительства Германии и Италии старались замаскировать свою военную помощь мятежникам, которые после первых неудач оказались в критическом положении. Но Гитлер и Муссолини были с такою наглядностью разоблачены Советским Союзом, что

всему миру стало ясно: происходит не что иное, как самая наглая, самая циничная военная интервенция с целью установить фашистский режим на Пиренейском полуострове.

Как только это обнаружилось, международная солидарность трудового люда привела в движение огромные людские массы во всех странах мира. Всюду — от Китая до Мексики, от Болгарии до Канады — началось движение солидарности с испанским народом. Сотни и тысячи антифашистов стремились в ряды армии Испанской республики. Через десятки границ пробирались они на помощь своим испанским братьям. Бойцы, из которых потом был

сформирован целый польский батальон Домбровского, сумели поодиночке и небольшими группами вырваться из фашизированной Польши, проехать через враждебную фашистскую Германию, через Францию, правительство которой уже выступило в роли организатора «невмешательства». Простые люди десятков национальностей, — рабочие и интеллигенция, — шли исполнить свой долг.

Началось великое сражение демократии с фашизмом.

Зинна угнетало вынужденное безделье.

В Севилье бои, баррикады в Барселоне, огонь в Мадриде, а он в безопасности, в Москве? На помощь республиканцам идут добровольцы со всех концов мира, а он здесь? Ездит по клубам и поёт!.. Рукоплескания, которыми москвичи встречали «Болотных солдат» и «Красный Веддинг», доставлявшие ему прежде столько творческой радости, перестали удовлетворять.

События уже показали всем, что мятеж Франко и Мола не простой офицерский бунт кучки

заговорщиков, а тщательно подготовленный поход международного фашизма на демократию. Мятеж вызвал в Испании гражданскую войну, грозившую затянуться. Место Зинна было там, на полях сражений Андалузии и Каталонии, на боевых рубежах Кастилии, Наварры и Астурии! Все звало его туда. Неожиданная задержка с французской визой выводила его из себя.

Что же привлекало его в этот душный вечер в летний театр, да ещё прямо ко второму акту?.. Только название пьесы «Салют, Испания!..»

Широкая дверь театрального

фойе отворилась. В сад хлынула публика. Зинн не заметил, как к нему подошёл небольшого роста крепыш с круглым добродушным лицом, словно освещённым сиянием весёлых, немного лукавых глаз. Человек этот положил на плечо Зинну небольшую крепкую руку с короткими сильными пальцами. На хорошем немецком языке сказал:

— Товарищ Зинн грустит?

Это было сказано с тем особенным задорным добродушием, по которому Зинн сразу и безошибочно узнал Иштвана Бартока, старого знакомого, венгерского коммуниста, поселившегося после мировой войны в России и ставшего

теперь популярным советским писателем.

— Я думал, тебя давно нет в Москве, — сказал Барток, подсаживаясь к Зинну.

Зинн с досадою рассказал о затруднениях с визами:

— Я мог ждать чего угодно, но не того, что встречу препятствия со стороны французского посольства.

— Чем французские правые социалисты лучше других? — с усмешкою спросил Барток.

Зинн сердито посмотрел на него.

— Я не хочу, чтобы сейчас меня лишали права драться за свободу испанских рабочих, как я дрался за

свободу наших немецких рабочих, как готов драться на любых баррикадах, где будет идти бой с реакцией! Не хочу, чтобы мне мешал кто бы то ни было, во имя чего бы то ни было...

Барток взял Зинна под руку и повёл в боковую аллею, где не было публики.

— Я тебя не только люблю, Гюнтер, но и знаю. Поэтому... поступай так, как тебе подсказывает совесть революционера. Иди туда, куда она тебя зовёт. — Барток усмехнулся и заглянул ему в глаза. — Вот там-то мы с тобой и встретимся!

— Ты... ты шутишь?!

Вместо ответа Барток кивнул в

сторону театра, откуда доносился звонок.

— Антракт окончен!

Они вошли в зал.

Взволнованный разговором с Бартоком, Зинн не очень внимательно следил за спектаклем. Ему не сразу удалось взять себя в руки.

Генерал на сцене отдал приказ:
«Выставить живую баррикаду!»

Фашисты схватили женщин и построили их в одну линию во главе с матерью молодой героини Люсии.

Фашистские солдаты стали за этой живой преградой.

Смолкли

выстрелы

республиканцев...

Тогда старая мать крикнула:

«Стреляйте, братья! За нами
стоят фашисты. Я благословляю
пулю, которая пронзит меня!..
Стреляйте...»

С этого момента Зинн уже не
мог оторваться от сцены. Забыл все,
кроме того, что видел перед собою:
простой испанский народ,
истекающий кровью, пылающий
негодованием и беспощадной
ненавистью к фашизму, благородный
и свободолюбивый испанский
народ...

Шествие с останками юной

Люсии приближалось к рампе. Звуки траурного марша стихали.

Мать: «Прощай. Я уже все сказала, провожая тебя... Если бы я имела четвёртую дочь, я сказала бы ей, как когда-то тебе, Люсия: теперь иди!»

Пассионария обнимает старую мать и восклицает:

«Я хотела бы быть твоей четвёртой дочерью!»

Зинн вскочил. Он больше не мог сидеть; он хотел туда — на каменное плато Гвадаррамы.

Занавес опущен, но рукоплескания не умолкали. Сквозь них прорвался откуда-то из задних

рядов крик:

— Салют, Испания!

И сквозь непрекращающийся плеск ладоней хор сотен голосов подхватил:

— Салют, Испания!

И вдруг крики смолкли. Пробежав между рядами, двумя большими прыжками миновав трап над оркестром, Зинн выбежал к рампе. Широкоплечий, крепкий, с мужественным лицом, с откинутыми назад русыми волосами, он стоял, подняв кулак приветствия Красного фронта. Это был крепкий, жилистый кулак рабочего.

Над залом пронёсся хлещущий сталью гнева и боевого накала

баритон Зинна:

Марш, фронт народный,
В бой за край свободный!
В наших рядах не дрогнет
ни один...

Скрипка в оркестре неуверенно
подхватила мотив. Потом флейта,
рожок, фортепиано. Через минуту
весь оркестр уверенно
аккомпанировал певцу, все
стоявшему со сжатым кулаком и
посылавшему в зал слова страстного
призыва.

Вместе с рабочим,
крестьянин, шагай,

Вместе иди на врага,
Мы от фашистов очистим
свой дом.
Церкви и замки на воздух
взорвём...

Пели скрипки.

Все дружной и уверенней зал
отзывался на клич певца:

Смело, товарищ, добудем в
бою
Счастье своё и свободу
свою...

Снова взвился занавес, и актёры
— одни уже в пиджаках, другие ещё в

театральных костюмах, наполовину разгримированные, — построились за спиною Зинна, подхватили песню...

Когда Зинн сошёл со сцены, Барток взял его за руку.

— Ты тот же, что и был. Ты настоящий парень!

Зинн отёр вспотевшее лицо.

— Идём же, — сказал Барток, — выпьем, как старые солдаты, за то, чтобы ты и там пел так же!

— Там я буду драться!

Барток тряхнул головой:

— Хорошая песня стоит десятка винтовок!

— Винтовка, прежде всего винтовка, Иштван.

— Песня и винтовка. А вот я... я должен буду оставить перо тут. На войне нельзя быть и писателем и солдатом... Или можно?.. Писателем-солдатом... Я ещё не знаю.

Зинн удивлённо посмотрел на него.

— Куда ты меня тащишь?

— Я же сказал: по стакану вина.

— Сначала я должен послать телеграмму Руди Цихауэру. Ты его, кажется, не знаешь.

— Нет.

— Отличный малый. Он должен быть там же, где и мы.

— Смотри! Лишние люди...

— О, это настоящий человек. И

какой художник! Смотри-ка:
писатель, художник и певец!

— Писателя можешь
вычеркнуть, он останется здесь.

— Так три солдата.

— Это пойдёт!

И, усевшись за столик под
открытым небом, подальше от
веранды с оркестром, Барток
приказал подать вина.

— Пью за тебя, — сказал он,
поднимая стакан. — За настоящего
немца и настоящего коммуниста.

— Здесь поднимают тосты? —
послышалось вдруг рядом с их
столиком.

Возле них стоял человек
маленького роста, со впалой грудью.

Зинн не отыскал в нём ни одной характерной, приметной черты, на которой можно было бы остановиться, чтобы описать его наружность. Разве только не по росту и не по лицу большой горбатый нос. Глаза воровато прятались за большими очками. Их-то, вероятно, и не мог бы не запомнить Зинн, не будь они спрятаны за стёклами, — столько в них было хитрости и самоуверенной наглости.

Не спрашивая разрешения и не представившись Зинну, человек подсел к столику. Он говорил много, громко и быстро, не скрывая удовольствия, которое испытывал сам от того, что говорил. С Бартоком

он обращался как старый приятель, но Зинну казалось, что только добродушие Иштвана заставляет его отвечать в том же тоне. Когда разговор коснулся Венгрии и Будапешта, человек в очках развязно и совсем некстати проскандировал:

— Вас ждёт жемчужина Дуная! Столица красивых женщин! Лучшая в мире кухня! Город любви и цыганской музыки. Приезжайте к нам!

Барток опустил глаза, и лицо его потемнело. Зинн видел, что его другу неприятен этот разговор об его родной стране. Пусть это и правда, что Хорти и его компания готовы за несколько лишних долларов

превратить Венгрию в публичный дом для всей Европы, но не следует задевать национальное чувство такого человека, как Иштван Барток. Внезапная неприязнь к незнакомцу взяла в Зинне верх над привычной вежливостью, и он без стеснения бросил Бартоку:

— Нам с тобой нужно поговорить с глазу на глаз.

Незнакомец поднялся и отошёл.

— Кто это?

— Старый знакомый, журналист, — добродушно сказал Барток, словно хотел сгладить неприятное впечатление, произведённое его знакомым.

— Журналист он или нет — не

знаю, — зло сказал Зинн, — но то, что он тебе не друг, скажу наверняка! Ты когда-нибудь заглядывал ему за очки?.. Как его зовут?

— Михаэль Кеш.

— Неужели венгр?

— Он с детства жил в Штатах. — И так, словно ему было стыдно за другого, Барток смущённо добавил: — Его отец троцкист.

— А-а... — протянул Зинн. — Тогда многое понятно. Но это не меняет дела.

— Каждый хороший человек — лишний боец в наших рядах.

— А с чего ты взял, что этот твой Кеш — хороший? Откуда ты знаешь, что и сам он не троцкист?

— Он давно признал свои ошибки.

— И не вернулся к ним?

— Я бы знал об этом.

— Чорта с два! Тайный троцкист — такая гадина, что нужно очень тонкое чутьё, чтобы его распознать.

— У него отобрали бы партийный билет.

— А ты думаешь, кое-кто из них не ходит ещё с партийным билетом, сохранённым обманным путём, всякими лживыми покаяниями и очковтирательством? Нет, если бы ты сразу сказал мне, что Кеш из таких, да ещё из Америки...

— Я вообще не так

прекраснодушен, как ты рисуешь, — с оттенком обиды произнёс Барток.

— Честный человек и сын своей страны не мог бы говорить о ней так, как этот твой Кеш. Это импортный товар — презрение к стране отцов, к отчизне, давшей тебе своё имя. Это ничего общего не имеет с нашим интернационализмом, это самый отвратительный вид космополитизма, безродности, которую Троцкий пытался воспитать в дурачках и негодях, каких ему удавалось поддеть своей враждебной брехнёй. Знаем мы эту «левизну», выгодную тем, кто ищет диверсионной агентуры в рядах всякой швали без рода и без племени,

без огня любви к отечеству в груди!

— Это предатели до мозга костей!

— Но ты же не перестал быть венгром, ты не перестал с благоговением произносить имя твоей родины?

— Подумай, что ты говоришь, Гюнтер!

— Не мне тебя учить. Каждый из нас отвечает за своих друзей.

— Да, каждый из нас, Гюнтер. И с каждого из нас спросится за его друзей.

— Должно спроситься! Однако идём: нужно же телеграфировать Цихауэру. Итак, назначаю ему свидание в Париже.

Барток дружески взял Зинна под руку:

— На сборы тебе даётся один день. И вот что: вместе с писателем Иштваном Бартоком здесь остаётся и его псевдоним. Он снова становится самим собою — Тибором Матраи! — Шагая по дорожке развалистой походкой старого кавалериста, он тихонько запел:

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Грамматику боя,
Язык батарей...

— О, Иштван! Русские, — какой

это удивительный народ.

Барток; будто не слыша его,
напевал:

Новые песни
Придумала жизнь...
Не надо, ребята,
О песнях тужить.

Не надо, не надо,
Не надо, друзья,
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!...»

Вдруг он остановился посреди
аллеи и, схватив Зинна за плечи,
сильно потряс:

— Viska la Rusia ![\[19\]](#)

— Es lebe... Moskau![\[20\]](#) —

ответил Зинн.

По мере того как выяснялись военные перспективы испанского предприятия Гитлера и Муссолини, настроение генерала Гаусса улучшалось. Ему нравилось, что эта операция, задуманная как чисто политическая авантюра, которая должна была бы завершиться в какую-нибудь неделю, разрасталась в настоящую войну с применением всех родов оружия. Испания обещала стать интересным полигоном для обучения немецких войск и для испытания в боевых условиях новых видов вооружения. Это было для армии куда интереснее Китая, где

проходили боевую школу всего несколько десятков немецких офицеров под видом всякого рода инструкторов и наблюдателей. Пока ещё Гаусс не спешил давать военно-политическую или оперативную оценку испанским планам, но в перспективе ему чудилось осуществление того, что не было предусмотрено немецкими штабами: Иберийский полуостров мог стать одним из плацдармов для борьбы с Францией и изменить всю европейскую игру Германии. В случае военной удачи и умения дипломатов её использовать (во что Гаусс не очень верит) знаменитый план Шлиффена может превратиться

лишь в половину самого себя — он станет северной клешнёй того охвата Франции, южную клешню которого придумает он, Гаусс... «План Гаусса»... Это будет звучать!.. Если, конечно, Франция и Англия во-время не придут в себя и не поймут, чего им будет стоять их нынешняя «страусовая» политика.

Гаусс приходил к заключению, что в конце концов богемский ефрейтор и не так уж плох, как казалось. Маньяк-то он маньяк, но, признаться, маньяк на месте! Хотя, если подумать, то наглость, с которой были проведены крупнейшие мероприятия по возрождению армии (объявление

всеобщей воинской повинности и восстановление военно-воздушного флота), нахальство, с каким произошло вторжение в Рейнскую область, с каким был захвачен Саар и с каким Гитлер готовился проглотить Мемель и Данциг, — все это становилось чересчур очевидным, грубым и шумным. К чему этот шум? Ведь никто же ему и так не мешает. Наоборот, все ещё помогают с видом «добрых соседей». Пожалуй, это всеобщее потворство и ведёт к беде: ефрейтор стал слишком много о себе воображать. Этак, чего доброго, на долю генералов ничего и не останется от славы, даже от её военной половины.

В те все более редкие минуты, когда можно было по старинке вытянуться на диване с сигарою в зубах и когда никто не торчал перед глазами, Гаусс частенько возвращался мыслью к истории своих отношений с господином «национальным барабанщиком». Перебирая встречи с Гитлером и его приближёнными, Гаусс вынужден был сознаться, что никаких существенных расхождений между ними не осталось. Может быть, Гаусс действительно преувеличивает, не будучи в состоянии отказаться от того, чтобы видеть в Гитлере мелкого шпика мюнхенской разведки рейхсвера? А ведь с тех пор кое-что

переменилось!...

Он потянулся к пепельнице. Французский роман соскользнул с его живота на пол, но Гауссу было лень нагнуться за ним. Мысль вертелась все вокруг того же: спор с Гитлером о том, какое из направлений удара является первоочередным — восточное или западное, вовсе не принципиален. Это расхождение — лишь результат различного понимания тактики предстоящей борьбы. Гаусс убеждён, что склонность к решению военных задач в первую очередь на востоке, о чём снова твердит в последнее время Гитлер, — результат того, что у него нашёлся дурной советник. Гаусс

надеялся, что, отправив Шверера в Китай, он избавился от подозреваемого им военного помощника Гитлера по русским делам. Теперь нужно было постараться, пользуясь отсутствием Шверера, снова втолковать Гитлеру, что поход на Россию должен начинаться с нападения на Францию.

Гаусс сел на диван, далеко отставив руку с сигарой... А что, если поступиться самолюбием и поискать союзника в толстопузом Геринге? Они сумеют понять друг друга. Геринг принимает горячее участие в том, чтобы, как говаривал Бисмарк, «приставить горчичник к затылку Франции» со стороны

Пиренейского полуострова. А кроме того, пузатый разбойник мечтает увидеть свою будущую воздушную армаду перелетающей Ламанш и ставящей на колени «этих» англичан...

Раздумывая над этим, Гаусс положил сигару на край пепельницы и повернулся на бок. Просунув руку между кожей диванной подушки и щекой, он блаженно закрыл глаза.

В кабинете было тихо. Денщик на цыпочках вошёл и посмотрел на Гаусса. Глаза генерала были закрыты, и губы издавали тихое бульканье. Денщик поправил туфли у дивана и погасил верхний свет. Дверь кабинета снова тихонько

затворилась.

Прошло с полчаса.

Гаусс проснулся и позвонил.

Когда денщик поднял шторы, генерал с удивлением увидел, что за окном ещё солнце, день, жизнь. А он спит!.. Разве ему осталось так много жить, чтобы с юношеской расточительностью терять свои часы? Спать, когда можно работать, работать, работать... Нет, это никуда не годится! Гауссу показалось, что с этого момента всё должно измениться. Он больше не должен спать перед обедом. Пусть врачи говорят, что им угодно. Он полон сил и энергии!

Генерал выпростал ноги из-под

плёда и увидел, что в этот прекрасный августовский день на нём тёплые носки. Кто тут в доме вообразил, будто он настолько состарился? К чорту!

Гаусс принялся медленно расхаживать по кабинету. Он не любил напоминаний о старости. Сегодня же мысль о ней была ему просто смешна.

Гаусс остановился перед столиком между окнами, занятым огромным военным атласом. Генерал наизусть знал номера листов, в которые наше всего заглядывал, — Франции, Голландии, Бельгии, стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Но сегодня пришлось

провести пальцем по оглавлению:
Пиренейский полуостров...

Щурясь от попадающего в глаза дыма сигары, Гаусс долго стоял над картой Испании. Картины операций, которые можно разыгрывать на просторах этого великолепного полигона, увлекли его воображение. Ему рисовались жирные стрелы обходов, охватов и атак; пунктиры маршей; флажки штабов и изогнутые гребёнки обороны. Все роды войск, все виды нового вооружения могут быть испытаны на такой просторной, разнохарактерной местности. Огромные пространства долин и плоскогорий для столкновения войсковых соединений; широкие

реки для упражнения понтонёров;
заманчивые дефиле; отличные
дороги для движения
механизированных частей; гряды
хребтов, где горные дивизии
испробуют пригодность людей и
снаряжения к действию под огнём
современной артиллерии, под
ударами авиации...

Недаром старый приятель
Нейрат сказал:

— Можешь спокойно заниматься
в Испании любыми вивисекциями.
Времени сколько хочешь. Поверь
мне, ни англичане, ни французы и
пальцем не двинут, чтобы помочь
республике. Мы имеем основания
быть спокойными за их политику.

Они сами помогут нам завязать узел на шее испанцев, а следовательно, и своей собственной так, что потом уже никто не распутает.

— А русские? — спросил тогда Гаусс.

— Русские?.. — Нейрат подумал. — Сложный вопрос.

Если дело обстояло так, то Гаусса вполне устраивало неторопливое развитие операций в Испании. Он даже ничего не имел против того, чтобы итальянцы испытали на себе разок-другой, что такое настоящая война. Это посбавит спеси генералам дуче, уже вообразившим себя настоящими вояками. Пусть им немного помнут

бока. На этот раз немцам некуда торопиться!

Выпуклый голубоватый ноготь Гаусса звонко щёлкнул по карте в том месте, где кончик Пиренейского полуострова был окрашен в цвета британских владений. Гибралтар!.. Вот где немцы подберутся к самому горлу Британской империи.

Гаусс, как замороженный, глядел на эту оконечность Европы, и ему хотелось крикнуть, что господа островитяне уже сейчас могут выкинуть в помойное ведро свой ключ от путей в Индию и Австралию. Чемберлен, конечно, не помешает немцам забраться на Иберийский полуостров. А тогда уже

немецкие батареи упрут свои дула в спину этой Гибралтарской «твердыни». Британские корабли будут проходить из Атлантики в Средиземное море не иначе, как под дулами немецких дальнобойных пушек и под угрозой торпед немецких подлодок!.. С одной стороны Гибралтар, а с другой Сеута. Вот они подлинные Геркулесовы столбы, которыми будет владеть Германия!

Но... молчок! Молчок, молчок! Пусть Нейрат и Риббентроп делают, что хотят, но англичане и французы должны верить, будто немцы преследуют в Испании единственную цель — задушить

«красных».

Гаусс с треском захлопнул атлас... От дуновения воздуха пепел сигары упал и рассыпался тонким серым налётом по зелёному переплёту: «Атлас мира»... Золотые буквы. Золотое слово «Мир»... Мир... Весь мир! Германский!

Держа «сигару в вытянутых пальцах, словно это был светильник, которым он освещал себе путь в великий германский мир, Гаусс шёл по квартире.

В зале, граничившем с кабинетом, стоял уже полумрак. Неверными силуэтами выделялись в простенках накрытые белыми чехлами стулья.

Гаусс прошёл в зал, не поднимая головы, и остановился на пороге гостиной. В сумерках нельзя было разобрать ничего, кроме контура рояля, ещё более чёрного, чем чернота темноты. По стенам темнели квадраты картин. При виде этих огромных четырехугольников волна любопытства, как при встрече с полузабытыми друзьями, поднялась в Гауссе. Он повернул выключатель и окинул взглядом стену — тут были его французы. Гаусс сунул сигару в рот, расставил ноги и, заложив руку за спину, тщательно вставил в глаз монокль.

Вот его последний фаворит Маркэ.

Да, чорт возьми, если нюх ему не изменяет, он правильно вкладывал деньги! Тут уже собралось картин на несколько сотен тысяч марок. И будь он проклят, если «лягушатники» не поплатятся за все неприятности, которые ему доставляют споры с Гитлером! Он и не подумает заплатить им хотя бы пфенниг за то, что возьмёт когда-нибудь в Париже!..

Созерцание сокровищ было нарушено появлением денщика.

— Прикажете подавать?

Гаусс хмуро проследовал обратно по тем же комнатам, в которых солдат предупредительно зажигал свет, и вошёл в столовую. Огромная комната с панелями

морёного дуба, освещённая люстрой и несколькими канделябрами, все же производила впечатление тёмной. Длинный стол, за которым свободно можно было провести военную игру целого корпуса, казался бесконечным. На его чёрном просторе затерялись два прибора. У одного из них, положив руки на спинку стула, стоял Отто. Гаусс посмотрел на его постную физиономию и мысленно усмехнулся. «Ничего, пусть поскучает!» Гаусс не был намерен обрекать себя на обеды один на один с тарелкой. Не болтать же с денщиком! А именно за едой к нему нередко приходят лучшие мысли.

Если бы Отто не был глуп, то записывал бы всё, что слышит от патрона. Когда-нибудь это будет иметь цену! Но Отто, кажется, не из тех, кто способен ценить что бы то ни было, кроме девчонок.

Сегодня еда доставила Гауссу необычное удовольствие. Он с наслаждением обрывал мясистые лепестки артишока. Тщательно помакав их в соус, бережно выдавливал зубами мякоть. Отто исподтишка поглядывал на генерала, удивляясь, что тот даёт ему спокойно есть, не требуя реплик. Ведь обычно, сидя над нетронутыми блюдами, Гаусс засыпал его брюзгливыми вопросами.

Только за кофе Гаусс, наконец, заговорил:

— Скоро в Париж?

— Если позволите, через неделю.

— Отец раскачался на покупку лошади?

Хотя скаковая лошадь и не была куплена отцом, а получена от Кроне в награду за секретные услуги, Отто ответил:

— Да.

— После Парижа побывай в Ницце. Если займёшь там классное место, можешь рассчитывать на Англию.

Разговор о лошадях оживил Гаусса. Вспомнились времена, когда

он сам был непременным участником офицерских скачек.

— Доволен лошастью? — спросил он.

— Ещё не понял.

— А ты покажи её мне! Разобраться в статях коня не такое простое дело, — самодовольно сказал Гаусс. — Но уж я-то скажу тебе, чего он стоит!..

Он встал и, жестом разрешив Отто оставаться на месте, несколько раз прошёлся по столовой. Ленточка сигарного дыма тянулась от его левой щеки. Гаусс ходил молча. В гулкой тишине комнаты было слышно только осторожное позвякивание серебра, убираемого лакеем. Отто

незаметно катал хлебный шарик, — кадетская привычка, от которой не могли отучить нотации отца. Внезапно генерал остановился:

— Может быть, из Франции тебе придётся проехать в Испанию.

Отто насторожился, но генерал умолк и вернулся в гостиную, к своим французам. Некоторое время он стоял у окна, докуривая сигару. Ему было видно, как на освещённый подъезд вышел Отто и спустился к ожидавшему его автомобилю. Из автомобиля высунулась женщина. В свете электричества генерал увидел лицо с сочными губами большого рта.

Дверца захлопнулась за Отто, и

автомобиль уехал.

Гаусс поймал себя на том, что его лоб крепко прижат к стеклу. Не хотел ли он поближе рассмотреть женщину? Чего доброго, если бы не стекло, он бы и вовсе высунулся из окна!..

Он с удовольствием крякнул и громко щёлкнул сухими пальцами.

На одной из тихих улиц Берлина, населённой чиновным людом средней руки и торговыми служащими, стоял большой дом, ничем не выделяющийся среди других доходных домов.

На третьем этаже этого дома была квартира с медною дощечкой на двери: «Доктор Зеегер, Нервные болезни». И под нею — другая, поменьше, но сразу заметная — черным по белой эмали: «Приём только по рекомендации».

Когда раздавался звонок, доктор Зеегер набрасывал халат и сам отворял дверь. У него были

основания избегать
«нерекомендованных» пациентов.

В это сентябрьское утро доктор Зеегер стоял на пороге балконной двери и курил. Опущенная над балконом маркиза оставляла в тени всю комнату и скрывала самого доктора от глаз тех, кто мог бы видеть его из окна на противоположной стороне улицы.

Наблюдая со своей позиции за улицей, доктор, не оборачиваясь, разговаривал с сидевшим в комнате полковником Александером.

— Вы дурно произносите русские имена, доктор, — сказал полковник, сидевший в глубине комнаты.

— Да, с русским у меня — неважно, — сознался Зеегер.

— Нужно заняться... В ваше ведение я передаю троцкистское хозяйство и в России.

— О-о! — Зеегер оторвался от наблюдения за улицей. — Довольно беспокойное хозяйство!

— И вы говорите это, получая его готовым! Когда-нибудь исследователи отметят это дело Секта.

— Вас всегда интересует широкий план, — с чуть заметной насмешливостью проговорил Зеегер, — а я давно уже склонен к восприятию реальностей такими, каковы они сегодня.

— Если бы я поверил, что это так, то немедленно выкинул бы вас из игры, дорогой доктор, — внезапно нарушая дружеский тон, в котором велась беседа, резко проговорил Александер. — Работник вашего ранга должен понимать: наша служба вышла из фазы простого подбирания чужих секретов. Когда пятнадцать лет назад, с согласия Секта, я впервые передал Троцкому четверть миллиона марок, то я платил не за сведения о нескольких десятках устаревших самолётов Красной Армии. Мы хотели делать политику и делали её для далёкого будущего. И это, заметьте, при ограниченных возможностях того времени! Когда

нам нехватало государственных ассигнований, мы искали средства в частных руках.

— Кажется, я...

— Знаю и ценю. Именно вам мы обязаны связью с Сименсом. Но тут вы получили свой куртаж.

— Упрёк?..

— Только дружеское напоминание о том, что мы оплачиваем всякую услугу.

— Заметьте, полковник, — хвастливо произнёс Зеегер, — как социал-демократ, я рисковал больше других.

— Ну, положим! Риск не очень-то велик, когда чувствуешь за спиною нашу руку.

— А вы бы сами попробовали когда-нибудь пройтись на рабочее собрание под страхом разоблачения в любую минуту!

— Это ваша функция, а не моя. Ведётся большая политическая работа, доктор, а вы живёте масштабами какого-то собрания, которое может поместиться в этой комнате.

— Размер комнаты не определяет масштаба дел.

— Теперь нам больше, чем когда-либо, понадобятся социал-демократы. Все ваши друзья в Англии и Франции, в Испании и Китае. Все, что у вас ещё осталось в России...

— Жалко смотреть!.. Какие-то «раскаявшиеся» подонки...

— Один шпион во вражеском тылу лучше, чем ни одного. Но вы-то и должны сделать так, чтобы их были тысячи.

— В России?!

— И в России.

Зеегер скептически пожал плечами:

— Что за фантазия!

— Если нужно будет, вы сами отправитесь туда, — неожиданно грубо отрезал Александер.

— В Россию?! — Зеегер испуганно обернулся.

— Да! — Полковник сделал паузу и со вкрадчивостью, от

которой стало не по себе даже привыкшему ко многому Зеегеру, проговорил: — Вы обязаны понять: не может быть иных стремлений, кроме направленных на увеличение пирамиды, первый камень которой положен Сектом.

Он помолчал, ожидая реплики доктора, но тот тоже молчал.

— Троцкисты разлагают ряды французских революционеров; троцкисты отлично действуют в Испании, где сейчас сосредоточено столько наших интересов, — продолжал полковник. — Вы имеете право рассматривать каждого троцкиста как своего человека.

— Да, я могу требовать от них

всего, что вы сочтёте нужным.

— Но события последних дней показывают, что состав нашего центра в Москве грозит стать текучим. На провал Зиновьева и Каменева нельзя смотреть как на случайный эпизод.

— У них там неладно с конспирацией.

— Этот вопрос вы должны тщательно изучить и как можно скорей, иначе мы рискуем растерять там все.

— До этого не дойдёт.

— Что вы видите отсюда?! А если в той цепи есть негодные звенья?.. Если есть просто опасные люди?

— Кого вы имеете в виду?

— К сожалению, конкретно — ещё никого. Но я убеждён: в ваших русских кругах есть опасные элементы, неустойчивые люди...

Глаза Зеегера беспокойно забегали.

— Не скрывайте от меня...

Но Александер сказал сухо:

— Не моё дело давать вам уроки. Но я вас предостерегаю: смотреть на троцкизм, как на политическое движение — грубая ошибка.

— А что же это, по-вашему, коммерческое предприятие, что ли? — впервые теряя равновесие, сердито спросил Зеегер.

— В своём роде. Вглядитесь в деятельность троцкистов всюду, где они есть: в политике они выполняют лишь функции, поручаемые им иностранными разведками. При этом самыми различными, а не только нашей.

— Я... — Зеегер запнулся и не очень уверенно проговорил: — Я считаю себя политическим деятелем. Именно так.

Александр усмехнулся и пожал плечами.

— Если это вас утешит, готов выдать вам любой аттестат в этом смысле. Но ваши «дети» продают нас, где могут. Я могу вам доказать, что ряд ваших людей одновременно

работает на британскую, французскую, американскую, японскую, даже на румынскую и польскую разведки. Иногда даже на несколько сразу.

Зеегер обиженно надулся.

— Такие вещи нужно уметь доказать, — сказал он.

Александр, прищурившись, оглядел собеседника.

— Мой милый старый друг, — сказал он тоном беззаботной шутки, — если бы у меня было время на развлечения, то не позже, чем через неделю, вы получили бы из Мексики приказ за подписью самого Троцкого обслуживать любую разведку мира. Мы должны быть

трезвыми людьми, доктор. Когда подобная группа окончательно теряет местные корни, она вынуждена ориентироваться исключительно на иностранные службы, конечно, секретные. Рано или поздно эта группа из политической группировки перерождается в обыкновенную резидентуру.

— Вы говорите о мелюзге, а у нас на службе...

— Э, милый доктор, и троцкистские кандидаты в бонапарты, начиная с самого Леона первого, не составляют исключения! Правда, на этот раз они наши кандидаты.

— Пример деятельности

Бернхэма... — начал было Зеегер, но Александер перебил:

— Бернхэм — не пример. У нас нет таких средств, какие американцы могут платить своей агентуре. В этом, кстати говоря, ваше счастье. Если бы мы могли содержать бернхэмов, вы сошли бы на вторые роли.

Заметив лёгкое движение Зеегера, полковник умолк, давая ему возможность высказаться. Но возражений не последовало. Александер продолжал:

— Из этого вам не следует делать вывод, будто не нужно поддерживать в ваших людях огонь политической, именно

политической, борьбы! Если среди них есть ещё идиоты, способные смотреть на себя как на политических деятелей, — тем лучше. Такие обходятся дешевле. Но их главари сами уже поняли, что превратились в шпионскую хунту, действующую по поручению тех, кто им за это платит.

— Вы... удивительный циник, полковник!

— Учитесь смотреть жизни в лицо, хотя бы когда находитесь наедине с собой... Я не в счёт, я тень.

— Домой я не уношу отсюда ничего, даже мыслей.

— Если бы это не было связано с опасностью для государственной

тайны, я потребовал бы, чтобы вы делились своими мыслями с женой, втолковывали свои взгляды детям вместо вечерней молитвы.

— Я не могу вас больше слушать! — И Зеегер с отвращением зажал уши ладонями.

— Однако время бежит, перейдём к делу. — Александер с минуту подумал. — Нам нужно произвести некоторое теоретическое вмешательство в дела троцкистов. Нужно оживить бухаринский тезис о мирном вращении капитализма в социализм. Если этого нельзя сделать в советской прессе, используем заграничную — на всех языках. Понадобятся деньги —

дадим... Не очень много, конечно.

— Ах, бедные троцкисты в России! — сокрушённо проговорил Зеегер. — Они чувствуют, что под ними горит земля!

— Мне наплевать на их чувства, Зеегер! — Тон Александра снова стал резак. — Договор Троцкого с Гессом есть договор. Мы платим Троцкому и хотим, чтобы его шайка работала, а не рассказывала нам о своих чувствах. Для чувств существует театр и бордель.

— Ах, вы так резки, полковник, — Зеегер сделал гримасу.

— Они мои агенты. Прошу не путать понятий. Пусть эти ваши «философы» займутся той

философией, за которую я им плачу.

— Лучше уж я сам... — уныло сказал Зеегер.

— Может быть, вы считаете, что мы должны вам заплатить за эту работу большой гонорар?

— Не нуждаюсь.

— Достанете сколько угодно денег и без меня? Даже за пределами Германии?

— Я не прибегал к таким источникам...

— Потому что боитесь. И вы правы: мы не пощадим. А ведь англичане охотно купили бы вас, а?... — поддразнил Александер.

— Кажется, у вас нет оснований...

— Пока нет! Вы один из очень немногих, кто работает честно, но ведь вы делаете это только ради спасения своей головы. Именно поэтому я вам и верю: в игре со мною вы не станете рисковать такой ставкой. — Подумав, Александер продолжал: — Газеты, пресса — этого мало. Внушайте своим людям: они должны лезть во все щели, какие только окажутся доступными. Пусть попробуют лишить людей веры в своё дело, в своих руководителей, во все самое ясное и светлое, что у них когда-нибудь было, в самих себя! Нужно постараться сделать так, чтобы люди там, в России, забыли свой род и племя. Нужно

натравливать один народ на другой. Путайте все, все представления, все понятия... Что вы улыбаетесь?

— Вы, дорогой полковник, повидимому, забыли, что наши кадры «философов» разгромлены.

— Кое-что осталось...

— Слишком мало для серьезной работы. У большевиков зоркие глаза.

— Пусть ваши люди закрывают их розовой вуалью. Пусть не боятся замазывать рты любым сиропом. Если это делать ловко, то русские далеко не сразу сумеют отличить нужный нам узкий национализм от патриотизма. Да, чорт возьми, зачем я вас учу? Как будто вы и сами не знаете, как нужно без шума залезть в

чужой дом!

— Мало влезть, нужно ещё суметь не вылететь с шумом... Увы, мы не успеем закончить этот интересный разговор, — проговорил Зеегер. — Он идёт...

Полковник поднялся мягким движением и направился в соседнюю комнату.

— Имейте в виду, Зеегер, это один из самых продажных типов в вашей коллекции. Смотрите, чтобы его у вас не перекупили.

— У меня не перекупают — я перекупаю, когда хочу, — хвастливо ответил Зеегер и тщательно задёрнул портьеру за полковником.

Раздался звонок. Зеегер пошёл

отворять.

За дверью стоял Кеш.

— Вы хотели, чтобы я вновь
показался перед отъездом в Париж...

Сун Хо-шин ещё раз подышал на носки ботинок и бархаткой навёл на них последний лоск. Поставив ботинки так, чтобы на них не падали горячие лучи солнца, он прикрыл обувь от пыли и взялся за платье. Чистил его старательно, оглядывая каждый сантиметр ткани. Тряпочкой протёр пуговицы, даже подул на вывернутые карманы.

Хотя Сун и числился слугою немецкого военного советника фон Шверера, на нём была простая белая куртка и такие же белые брюки — одежда обыкновенного боя.

В данный момент этот белый

наряд Суна был прикрыт фартуком из голубой бязи. Сун снял его, покончив с чисткой генеральского костюма, стряхнул и, тщательно сложив, спрятал в шкафчик.

Все движения Суна были быстры и точны, как если бы он их заранее рассчитал или заучил. Впрочем, именно так оно и было. В школе разведки Квантунской армии в числе прочих уроков, пройденных поручиком Харадой, были и обязанности боя. Став в силу служебного долга китайским боем Сун Хо-шином, поручик японской императорской армии Харада точно воспроизводил все то, что усвоил в школе. Только таким образом можно

было, по словам устава японской секретной службы, не сделать ошибки и соблюсти необходимую конспирацию, даже находясь в такой дали от своих начальников и делая вид, будто являешься патриотом ненавистного Китая, подчиняясь презираемым китайцам и чистя ботинки белому недочеловеку...

Закончив чистку платья, Харада-Сун тихонько, словно по воздуху, приблизился к двери генеральского кабинета и заглянул в замочную скважину: Шверер сидел за письменным столом.

Перо Шверера бегало по бумаге, выстраивая ряды высоких, прямых, тесно прижавшихся друг к другу

готических букв. Перо бегало быстро, буквы теснились в выравненных, как по линейке, строчках.

«...несколько раз я пытался беседовать с Чан Кай-ши, но старый разбойник под всякими предлогами уклонялся от разговора. Он старая, неблагодарная лиса. После того как я сформировал ему пятнадцать дивизий по лучшему немецкому образцу — почти двадцать процентов всех войск, сформированных для него немецкими офицерами со времён миссии Секта, — этот плут сунул меня на „почётное место“ главного советника к Янь Ши-фану. Вместо того чтобы получить оперативное влияние на все дела

армии, я очутился на изолированном и притом самом тяжёлом участке.

Генерал Янь оказался ленивым и хитрым. Он думает только о том, как бы выручить ещё несколько долларов от продажи риса, предназначенного на прокормление его солдат. Если представляется такая возможность, он с лёгкостью отдаёт приказ об уменьшении рациона, выдумывая для этого всякие предлоги, вплоть до исторических примеров. Он, не стесняясь, клеветает на Сун-цзи, который будто бы сказал, что побеждать легче с пустым желудком. Лишь узнав об этих операциях, я разгадал причину бережливости, с которой он относится к жизни своих

солдат. Рис отпускается по числу живых. Говорить о том, чтобы пополнить убыль в людях мобилизацией на месте, не приходится, а центральное правительство не присылает ни одного солдата. Так что для Яня потеря каждого солдата — потеря пайка. Он пытался фальсифицировать списки, оставляя убитых и умерших в списках армии, но его разоблачил какой-то вышестоящий вор.

Я установил контакт с нашими офицерами, находящимися при японском штабе. Фактически мы проводим манёвры, в которых офицеры наших двух групп —

китайской и японской —
соревнуются между собою. К
сожалению, полковнику Люде,
возглавляющему японскую группу,
приходится труднее моего. Он лишён
возможности распоряжаться
японскими войсками и изменять
планы японского командования, как
это делаю я с китайцами. Японцы не
терпят вмешательства в свои дела и
оставляют Люде роль наблюдателя.
Нам с Люде пришлось договориться
о том, чтобы время от времени
обмениваться немецкими
офицерами, чтобы все наши люди
могли пройти через активную
штабную работу на моей стороне и
понаблюдать за приёмами японцев.

Там тоже есть кое-что поучительное. Особенно в части организации оккупационных войск и обращения с населением занятой страны. Это может пригодиться нашим офицерам.

Некоторое удовлетворение доставляет ему то, что на протяжении нескольких месяцев мне почти неизменно удаётся одерживать верх над японцами. Может быть, они благодаря этому поймут в конце концов, что им следует подпустить Люде к делам штаба. Я возлагал большую надежду на операцию у высоты 216. Ключевая позиция на перешейке между болотами давала мне возможность атаковать японцев прямо в лоб, отказавшись от нашего

традиционного охвата. Эта операция нужна была мне как наглядный урок нашим офицерам, к каким потерям ведёт лобовой удар даже при успешном конце. Проиграть бой я не мог и даже поспорил с Люде на дюжину шампанского, что выкину японцев с их позиции, не применяя обхода. Пострадать должен был один Янь — много пайков он терял безвозвратно... Кто мог думать, что проклятый Янь так перехитрит меня: моё имя скомпрометировано, карьера в Китае закончена. А на то, что позиция осталась в руках японцев, Яню наплевать!...»

Шверер оторвал взгляд от тетради и посмотрел на часы,

висящие против стола. Подходило время завтрака.

Шверер дописал строку, запер тетрадь в стол и с биноклем подошёл к окну. Взгляд его сквозь линзы бинокля пробежал над вытянувшимися вдаль полями. Они были вытоптаны, колосья поломаны людьми и лошадьми, вдавлены в землю колёсами повозок. Полёгшие хлеба темнели широкими полосами. В уцелевших рядах колосья стояли наклонившись, отягощённые вызревшим, никем не собираемым зерном. Дальше, где кончались хлеба, шли заросли гаюляна. Он был отравлен меньше хлебов. Его толстые высокие стебли стояли упрямо,

распушив длинные листья. Сквозь их стену ничего не было видно.

Шверер с удовольствием отметил, что войска приучаются к маскировке, используя эти заросли. Вон только левее одинокой сопки видны жёлтые полосы свежееотрытых окопов.

Сопка! Швереру даже не удалось найти на карте её отметку. И подумать только, что овладение кучей этой глины уже стоит Яню полутора тысяч пайков и обойдётся ещё во столько же, если Шверер не откажется от идеи лобового штурма. А он от неё не откажется, так как этот урок нужен его офицерам.

Размышления Шверера были

прерваны докладом Суна о приходе неожиданного гостя:

— Вас желает видеть мистер Паркер.

— Журналист? Что ему нужно?

Шверер с неприязнью посмотрел на входящего американца.

Он хмуро слушал болтовню Паркера, стараясь разгадать истинную цель его визита.

— Побывав у японцев и у вас, я намерен теперь посмотреть, что делается у коммунистов, — сказал Паркер.

— Вы едете к красным?

— Вот именно.

— Дальний путь!

— Напротив!

— О них нет ещё никаких сведений.

— Они рядом!

Бровь Шверера недовольно поднялась.

— Наша разведка этого не знает. Паркер рассмеялся:

— Не верьте ни слову китайского разведчика! Откуда вы знаете, на кого он работает? Я дольше вашего в этой стране, но очень смутно представляю себе душу жёлтого человека.

— Сложный механизм, — согласился Шверер и взял со стола книжку в пёстром переплёте. — Прочёл половину, и не могу разобраться в пружинах,

заставляющих героев совершать те или иные поступки.

— О, «Цин пин мей», — воскликнул Паркер, взглянув на обложку, — история Си Мен-чена и шести его жён! Забавные приключения.

— Европейские герои поступали бы как раз обратно тому, что делают эти, — с досадою сказал Шверер.

— Не все то, что делают европейцы, можно считать образцом, генерал.

— С китайской точки зрения?

— Иногда и с точки зрения белого. Американцы, например, не всегда могли бы понять то, что

происходит в Германии.

— Но мы оба одинаково относимся к происходящему здесь!

— Я, например, — ответил Паркер, — не могу понять, почему белый человек до сих пор не наведёт здесь порядка. Покупательная способность китайцев падает с каждым днём. И мы и вы рискуем потерять рынок, даже выгнав с него англичан.

— Не думаете же вы, что можно иметь твёрдый рынок там, где есть несколько миллионов коммунистов?

— Меня беспокоят и японцы, — сказал американец.

— Было бы умнее, если бы Чан открыто действовал вместе с

японцами против красных. На месте вас, американцев, я давал бы ему деньги и снаряжение только при условии борьбы с коммунистами.

— С ними будет покончено в своё время.

Паркер посмотрел на часы.

— Мне пора... — И на прощанье дружески сказал: — Мы, белые люди, должны помогать друг другу. У вас немного не ладится дело со старым разбойником?

— Откуда вы знаете?

Паркер развязно подмигнул.

— Вы не понимаете местных условий: когда вам понадобится что-нибудь от Чан Кай-ши — поговорите с его женой.

— По военным делам?

— Даже по плану операции или по вопросу снабжения оружием — все с ней!

Американец исчез.

Шверер задумался.

Что означает этот странный совет?.. Уже не хотел ли американец поставить его в глупое положение перед Чан Кай-ши? Может быть, это происки японского агента, стремящегося окончательно поссорить его с маршалом?..

Шверер взял со стола большой чёрный веер и стал обмахиваться нервными, быстрыми движениями.

А что, если американец сказал правду и все дело в том, что Шверер

обошёл мадам Чан Кай-ши?..

Вот попробуй-ка разобраться!

Он сердито щёлкнул
складываемым веером.

Голова у Кеша трещала от выпитого накануне, но он побоялся проглотить таблетки, предложенные полицейским офицером.

Тщательно продумав всё, что он помнил из ночного приключения, Кеш решил, что его привезли сюда по ошибке. Ошибка разъяснится, и его отпустят, извинившись. В самом деле, стоит вспомнить все по порядку.

Он пришёл на свидание с Дорио. Частная квартира. Хозяин поручился за надёжную конспирацию. Кеш уже встречался с ним в прошлые приезды во Францию, когда привозил из

СССР письма троцкистских главарей Седову для пересылки отцу. Его и раньше Дорио сводил с Седовым.

Вторым человеком, которого Кеш вчера видел, был Седов. Так как в комнате было довольно темно, то, введя Седова, Дорио включил яркий свет, — всего на минуту, необходимую Кешу, чтобы убедиться, что перед ним действительно сын Троцкого. И тотчас Дорио выключил свет и вышел. Седов пробыл недолго. Ровно столько, сколько нужно было, чтобы передать Кешу установки отца на дискредитацию испанских коммунистов и предупредить о том, что в дальнейшем, возможно, придётся помочь фашистской

агентуре в уничтожении вождей испанской революции. В заключение Седов передал Кешу явки в ПОУМ^[21] и, в частности, к её главарю, сообщнику Троцкого, Андресу Нину. После ухода Седова в комнату вернулся Дорио. Распили бутылку вина, и Кеш распростился.

Он отлично помнил, что зашёл в какой-то кабачок и выпил ещё бутылку вина. Затем был в кабаре и, кажется, снова пил. Познакомился с какой-то девчонкой. Поехали... Тут-то и началось. В номер дрянной гостиницы, куда его привезла девица, ворвался тип, назвавшийся мужем девицы. Кеш сунул ему десять франков, но тот устроил скандал и,

выкинув Кеша на улицу, не отставал и там. К нему присоединились ещё два таких же странных субъекта. Затеяли драку. Подвернувшаяся тут же, словно она только этого и ждала, парочка ажанов тотчас свезла их всех в префектуру. Ни протесты Кеша, ни его иностранный паспорт, который он не постеснялся предъявить, не помогли. С отвратительной бесцеремонностью его пальцы намазали краской и оттиснули на карточку, словно он был карманником. Пытались составить протокол об оскорблении женщины, но Кеш отказался его подписать. Теперь ему казалось: не будь он пьян, попросту заплатил бы полицейскому

комиссару и давно был бы дома. А он сглупил: угрожал, требовал, чтобы звонили в посольство. Чорт знает что! Только этого нехватало, чтобы в посольстве узнали о таком происшествии.

Чорт знает, какой бурды он напился! Этак забыться!..

Уж поскорее бы пришёл какой-то «начальник», который может, по словам полицейского, закончить дело. Поскорее отсюда — и прочь из Парижа! В Испанию! Пора за настоящее дело!

Кеш с омерзением отбросил одеяло. Спасибо ещё, что его не посадили в клоповник с уголовной шпаной!.. Послать разве за

папиросами?..

Он постучал в дверь. Она отворилась с подозрительной быстротой: оказалось, что долгожданный «начальник» прибыл и готов его принять.

Кеш оправил костюм, попытался придать приличный вид измятому воротничку, с отвращением посмотрел на грязные руки и, спрятав их за спину, вышел.

За столом рядом со вчерашним полицейским комиссаром стоял капитан Анри.

Кешу показалось, что он уже где-то видал это смуглое лицо с иссиня-чёрными, словно лакированными, волосами,

расчёсанными на необыкновенно точный пробор.

Комиссар ещё раз предложил Кешу подписать протокол, и Кеш ещё раз отказался. Комиссар не настаивал. Кеш вздохнул с облегчением: сейчас все будет кончено. Действительно, комиссар поднялся и покинул комнату. Однако Кешу не сказали, что он свободен. Место комиссара за столом занял Анри. Он делал вид, будто просматривает протокол вчерашнего допроса.

Кешу хотелось курить. Он с завистью смотрел, как Анри, не глядя, достаёт из лежащей на столе пачки сигарету, не спеша закуривает.

Кеш не выдержал и протянул руку к пачке.

Анри поднял на него взгляд тёмных глаз и, ничего не сказав, опять стал просматривать протокол. Его смуглые пальцы придвинули к себе пачку сигарет и легли на неё. Кеш мысленно обругал его хамом и, стараясь придать себе как можно более независимый вид, вытянул ноги и откинулся на спинку стула.

Молчание продолжалось. Анри старательно погасил окурок в пепельнице. Грубо спросил:

— Состоите в партии?

— Да...

— В какой?

— Сами знаете.

— Выражайтесь точно, — резко сказал Анри.

Кеш вспыхнул:

— Прошу вас держаться ближе к делу!

Он даже было приподнялся от возбуждения, но Анри окриком заставил его поспешно опуститься на место:

— Сидеть! Чтобы не терять времени на пустую болтовню, скажу прямо: мы знаем о вас все.

Силясь сохранить спокойствие, Кеш все же почувствовал, что слюна делается отвратительно вязкой: сейчас этот напoмаженный негодяй будет угрожать тем, что он сообщит посольству о ночных похождениях...

Но какого чорта им от него нужно?

Анри достал из стола конверт, перетянутый красной резинкой. Сняв резинку, вынул из конверта несколько фотографий и развернул их, как карты, лицом к себе. Выбрав одну, бросил на стол. Кеш осторожно взял её двумя пальцами, но, увидев, что на ней изображено, испытал нечто очень близкое к обмороку. В ногах появилась отвратительная слабость. Лишь сделав над собою усилие, он, как в тумане, снова увидел на карточке комнату Дорио, где был вчера вечером, увидел самого себя, здоровающимся с Седовым.

Не давая Кешу опомниться, Анри одну за другой выбрасывал

фотографии. Перед Кешем проходили прежние встречи с Дорио и Седовым. Вот Булонский лес — кто видал в нём Кеша?.. Вот кафе «Дю Круассон»... вот Севастопольский бульвар, где он встретился с Седовым в прошлый приезд...

Значит, за ним следили уже несколько лет, в каждый приезд сюда... Следили, чтобы вот так однажды предъявить все это, когда он им понадобится. Хорошо, пусть Булонский лес, Севастопольский бульвар, рестораны, — там он мог прозевать шпиков. Но вчера! У Дорио не было никого постороннего... И вдруг он вспомнил: яркая вспышка лампы!

...Так вот в чём дело! Значит, сам господин Дорио?.. Значит, его выдал полиции сам вождь французских троцкистов, личный друг Троцкого?!

При мысли об этом у Кеша вспотела шея и перед глазами поплыли жёлтые круги...

Анри видел против себя бледную маску с испуганными глазами, с безвольно отвисшей челюстью. Опыт Второго бюро говорил, что из таких политических проходимцев можно пополнять ряды шпионов и провокаторов всех категорий. Анри вполне устраивало, что троцкизм был на деле не чем иным, как шайкой, организованной

по всем правилам гангстерских банд, — шайкой наёмных диверсантов, убийц и шпионов, работающих по заданиям зарубежных нанимателей, стремящихся к подрыву политической и военной мощи Советского государства, к разрушению его хозяйства, к физическому уничтожению его государственных деятелей.

Но одного важного обстоятельства капитан Анри все же не знал: что Кеш — агент немецкой разведки.

А Кеша пугала не гнусность предложения французской полиции, которое последует за шантажем и

вербовкой, — он уже знал, что за предложение это будет, — его пугало совсем другое: если французской службе нужны от него только какие-нибудь случайные сведения, она завтра же выкинет его в корзину. Советским властям французы сообщат все его дела, в расчёте, что советская контрразведка разделается с ним сама.

Впрочем... едва ли такая «тяжёлая артиллерия», как плоды многолетней слежки за ним, была бы пущена в ход по пустякам.

По мере того как эти соображения приходили на ум Кешу, его растерянность проходила. Как большинство трусов, он был нагл. Он

рассмеялся в лицо Анри и непринуждённо сказал:

— Зачем вся эта комедия? Сказали бы прямо, чего вы хотите!

Формальная сторона вербовки прошла быстро и легко. Правда, заполнение подробной анкеты и собственноручная подпись — это было больше, чем Кеш хотел бы оставить тут, но выхода не было.

В заключение Анри сказал:

— Вашей кличкой будет: Люк Моро. Каждый, кто назовёт вас так, — наш человек. Его приказания для вас обязательны.

На этот раз Кеш без стеснения придвинул к себе пачку сигарет капитана Анри и, щёлкнув его

зажигалкой, закурил.

Леганье быстро потёр друг о друга розовые ладони. Такие удачи, как сегодняшняя, бывали не часто! Он вообще заметил, что группка Дорио начала проявлять если не большее проворство, то во всяком случае большую услужливость, чем рассчитывало Второе бюро. Французские троцкисты уже оказали Леганье неоценимые услуги по линии разведки на различные страны, и в особенности на СССР.

Леганье волчком пустил пенсне по зеркальной поверхности стола.

Он поймал пенсне и водрузил его на нос в тот момент, когда в

кабинет вошёл вызванный капитан Анри.

Анри, заступившему место Годара, приходилось нелегко: «хозяйство» покойного майора оказалось весьма обширным. Анри, не обладавшему способностью Годара вербовать дешёвых, а подчас и бесплатных осведомителей, приходилось довольствоваться едва одною третью своей агентуры. Но в числе сохранённых агентов был человек, сидящий в редакции «Салона». Леганье очень дорожил этим источником сведений об информации, текущей из Берлина в Лондон по линии связи Роу. Анри не знал, что в стремлении генерала

удержать одну из нитей британской разведки соображения пользы Франции занимали сравнительно небольшое место. Гораздо важнее было знать каждый шаг Роу лично самому Леганье, потому что сам генерал был таким же агентом Интеллидженс сервис, каким был и Роу.

Руководствуясь собственным опытом, Леганье плохо доверял своим офицерам. Он справедливо считал, что каждый из них может оказаться на том же скользком пути, по которому шёл он сам: любого из его офицеров мог соблазнить блеск английского золота.

Когда Анри вошёл в кабинет, ему

понадобилось полминуты на то, чтобы сосредоточиться на вопросе об Испании, интересовавшем генерала. По последним сведениям, в Берлин прилетел, в сопровождении немецкого коммерсанта Лангенгейма, являющегося резидентом абвера в Тетуане, уполномоченный генерала Франко, генерал Маранья, своего рода разъездной агент штаба мятежников. Маранья имел свидание с адмиралом Канарисом и полковником Александером. Первый из них возил испанцев к Герингу, второй — к Гессу. Вскоре Геринг отдал распоряжение о срочном формировании эскадрилий

истребителей, бомбардировщиков и военнотранспортных самолётов для Испании. Адмирал Канарис добился личного приказа Гитлера о создании секретного штаба «Ве» во главе с генералом авиации Вильбергом, которому была поручена забота о всех видах материального снабжения и посылка людей. Был отдан приказ немецким военным кораблям конвоировать к испанским портам пароходы, зафрахтованные от имени туристского общества «Сила через радость» для перевозки немецких солдат, танков и артиллерии. Далее: адмирал Канарис совершил полет в Рим, чтобы договориться с начальником овра генералом Роатта о

совместной работе немецкой и итальянской разведок в Испании.

— И, наконец, мой генерал... — тут Анри на мгновение замялся. Он не знал, в какой форме следует сделать эту последнюю часть доклада, касающуюся деятельности верховного комиссара Французского Марокко Пейрутона, направленной к поддержке испанских мятежников. У Анри были основания предполагать, что между Леганье и Пейрутоном существует связь, не проходящая по каналам французской разведки и не находящая отражения в секретных досье Второго бюро.

Предположения Анри были верны: Леганье связывали с

Пейрутоном не только старые дружеские отношения, но и общие интересы коллег по фашистской организации де ла Рокка. Тем не менее Леганье слушал Анри с таким видом, словно для него было новостью, что Пейрутон снабжает Франко деньгами, что через формально закрытую границу Французского Марокко идут эшелоны с зерном; что из Меццаны в Чечауэн и из Берканы в Мелилью то и дело отправляются транспорты с припасами для франкистских мятежников; что вербовщикам Франко открыт доступ во Французское Марокко.

Все это отлично знал Леганье,

но он не предполагал, что это известно и сотрудникам французской разведки. Эта осведомлённость Второго бюро не доставила ему никакого удовольствия. Его собственная деятельность по линии кагуляров была его частным делом.

Леганье переместил пенсне с носа на палец и многозначительно помолчал. Потом, меняя тему, проговорил:

— Если бы мы с вами могли разгадать источник информации этого Роу, а? Сведения настолько точны и идут так глубоко, будто информатором является... сам Александер...

— О-о! — произнёс

поражённый Анри. Такое предположение в отношении начальника абвера казалось ему абсурдным. Его не стоило даже отрицать. — Это была, вероятно, просто шутка?

— Вот именно, — согласился Леганье. — Это была простая шутка... А теперь дело: по моим данным, из Советского Союза в Испанию выехал некий венгр по имени Барток с намерением вступить в армию Испанской республики. Это не простой солдат и не рядовой коммунист. Он едет на большие роли. Необходимо не выпускать его из виду. Этот человек может быть уже в Париже. К

сожалению, я не знаю, под какой фамилией он едет. Но, если он действительно уже здесь, — вы его без труда найдёте сегодня на велодроме. Там состоится митинг коммунистов, на котором выступит эта испанка Ибаррури. Там же вы увидите этого господина... Ну, того самого, которого вы заагентурили вчера.

— Кеша, мой генерал?

— Вот именно... Он приколет к шляпе Бартока красную гвоздику.

Зинн с жадностью следил за каждым движением Долорес. Теперь он видел не актрису в костюме Пассионарии, а живую Долорес Ибаррури. На ней действительно было такое же простое чёрное платье, как тогда на русской актрисе. Она действительно была олицетворением пламенной энергии. Пассионария!.. Дышащее благородством, подвижное лицо испанки отражало владевший ею нервный подъем. Её волнение передавалось всем, кто её видел, не говоря уже о тех, на ком хотя бы случайно останавливался её взгляд.

Стараясь казаться спокойной, хотя это ей плохо удавалось, Долорес двигалась сквозь толпу журналистов. Иногда она улыбалась, — когда задаваемые ей вопросы казались слишком наивными. На дерзкие вопросы правых газетчиков она отвечала пренебрежительным молчанием.

То и дело перед её лицом вспыхивали ручные лампы фотографов.

Зинн, вместе с Матраи сидевший в ложе у самой трибуны, с нескрываемым восхищением смотрел на Долорес. Он представлял себе чувства, которые она должна была испытать сегодня. Здесь, в

колыбели французской революции, в столице Народного фронта, в городе старых пролетарских традиций, она имела право рассчитывать на сочувствие. Сердца парижан не могли не откликнуться на призыв испанского народа. Зинн понимал, что Ибаррури ехала сюда с законной уверенностью в успехе своей миссии. Если ей и не удастся, так же как не удалось дель Вайо, пробить брешь в стене так называемого «невмешательства», то братская рука французов должна будет помочь республике. Правительство французских социалистов должно будет хотя бы сделать вид, что ничего не видит, если оно не захочет само

помочь испанским братьям. Иначе не могло быть!

Зинн взглянул на Матраи. Тот казался спокойным, хотя Зинн отлично знал, что такая же буря, какая бушует в его собственной груди, клоочет и в груди его друга. Просто человек умеет держать себя в руках. У Иштвана... то-есть у Тибора, железный характер, несмотря на добродушную физиономию и ласковые глаза. Это настоящий человек!

Долорес прошла совсем близко от ложи. Зинн услышал её сильный грудной голос. Она говорила какому-то журналисту:

— Я спешу уехать. На родине

разыгрывается трагедия моего народа. Мне хотелось бы, чтобы она скорее кончилась, но для этого нужна помощь. Помощи всех, кто ненавидит фашизм... А моё место в Испании, меня там ждут. У меня очень мало времени.

Когда Пассионария появилась на трибуне и её стало видно всему велодрому, овация возникла, как внезапный ураган. Казалось, рукоплескания и крики опрокинут стены. Слушатели вскакивали на скамьи и тянулись к испанке, словно желая заключить её сразу в несколько тысяч братских объятий. Это был рабочий Париж — Париж предместий и заводов, Париж

простых людей.

Долорес стояла с гордо поднятой прекрасной головой — живое олицетворение народной Испании. Испанские флаги попеременно с французскими спускались за спиною Долорес к её голове. Цветные полотнища шевелились, как если бы до них доходило взволнованное дыхание толпы.

На велодроме становилось тише. Рукоплескания короткими шквалами проносились над трибуной. Наконец все стихло.

Голос Пассионарии сразу захватил толпу:

— Мы пришли к тебе, народ

Парижа, к тебе, овладевшему
Бастилией и сражавшемуся за дело
Коммуны...

Она сделала паузу, как бы давая
слушателям время вспомнить, что
они — потомки санкюлотов, сыновья
и внуки парижских коммунаров.

Пассионария говорила о
мужестве испанцев, о героизме
бойцов, не имеющих подчас иного
оружия, кроме храбрости и
преданности свободе. Она говорила о
разрушенных городах, о тысячах
расстрелянных, о замученных
пленных, об изнасилованных
женщинах, о растерзанных стариках,
о детях, вздетых на штыки
марокканцев. Слезы текли по лицам

не только женщин. Голос Пассионарии звучал негодованием и уверенностью в победе:

— Испанский народ победит, ибо сражается за свои идеалы. Но испанский народ, ценя симпатии и солидарность французского народа, с горечью узнал, что правительство Французской республики не идёт навстречу законному правительству демократической Испании. Надо прийти на помощь испанскому народу! Он борется на фронте свободы и отстаивает своею кровью дело мира против фашизма и зачинщиков второй мировой войны.

С трибуны раздался призыв:

— Самолётов для Испании!

Пушек Испанской республике!

Голос Долорес гремел все громче:

— Дайте нам самолёты! Весь народ Испании поднялся на защиту республики, но ему нужно оружие. Дайте нам оружие!

— Оружие Испании! — подхватили на скамьях.

А Долорес:

— Народ демократической Франции, народ, боровшийся за свободу и права человека, берегись! Сегодня мы, а завтра твой черёд! Пусть ваши мужчины дадут нам оружие. Мы не просим бойцов, нам нужно только оружие. Винтовок, пушек, самолётов бойцам свободы!

Дайте же нам самолёты!

У неё был могучий голос оратора, но и его не стало слышно. Слушатели вскакивали с мест.

— Оружие Испании!..

Толпа устремилась к трибуне. Перескакивая через скамейки, слушатели спускались с амфитеатра. Пассионария стояла с поднятыми руками. Скоро её не стало видно, но вот она снова появилась над толпою, поднятая на руках людей. Её несли к выходу с криками:

— Самолётов Испании! Дайте Испании оружие!

Испанские флаги с трибуны исчезли. Они реяли уже над головами толпы, хлынувшей с

велодрома. Зинн тронул Матраи за плечо:

— Пойдём?

Матраи вздрогнул, словно его неожиданно вывели из задумчивости.

— Дадим схлынуть народу...

Мне нужно поговорить с Ибаррури.

Матраи подошёл к барьеру ложи, стараясь взглядом отыскать Пассионарию.

Протискиваясь сквозь толпу, к ложе приближался Кеш.

Он помахал шляпой, и Зинн заметил заткнутую за её ленту красную гвоздику.

— Как вам это нравится, какой успех, а?! — крикнул Кеш Зинну,

словно старому знакомому, и хлопнул по плечу Матраи. — У тебя недостаточно праздничный вид для такого дня! — Он выдернул гвоздику из-за своей ленты и воткнул её за ленту на шляпе Матраи. — Вот твоя кокарда. Кокарда революции, мой генерал! — И, шутовски отдав честь, он нырнул в толпу.

Зинну показалось, что несколько типов в сдвинутых на ухо синих беретах — форме деларокковцев — наблюдали за этой сценой. Шум за ложей отвлёк его внимание: у выхода синие береты затевали драку с группой рабочих. Зинн подался было телом в ту сторону, но на его плечо легла

тяжёлая рука Матраи.

— Теперь идём!

Зинн с удивлением посмотрел на его встревоженное лицо.

— Что случилось?

— Телеграмма: Ирун пал.

— Когда мы, наконец, поедём?

— Сейчас сговорюсь с Долорес.

Завтра увидимся с тобою.

Он исчез в направлении выхода.

И тотчас парни в синих беретах стали протискиваться следом за Матраи. Зинн увидел в воздухе руку с кастетом. Одним движением он перебросил своё тело через барьер ложи и устремился к этой руке.

Визгливый выкрик пронизал шум толпы:

— Долой республику, да
здравствует Франция!

Ещё несколько рук с кастетами
появились над головами. Навстречу
им поднялись тяжёлые кулаки
рабочих.

— Да здравствует республика,
долой кагуляров!

— Долой фашизм и фашистов!
Оружие Испании!..

Германский посол в Париже граф Вельчек по поручению своего правительства предпринял немало неофициальных шагов, чтобы склонить французское министерство иностранных дел к заступничеству за молодого немца, по имени Отто Абец, высылки которого настойчиво требовала общественность Франции.

Официально этот Абец вёл пропаганду в пользу сближения французской и немецкой молодёжи, а неофициально являлся эмиссаром бюро Риббентропа, — то-есть отдела иностранных дел центрального органа национал-социалистской

партии Германии, — по связи с фашистскими, откровенно прогитлеровскими организациями кагуляров.

Абецу не долго удалось скрывать истинный характер своей деятельности. Его выдали сами же молодчики де ла Рокка, в карманах которых появилось чересчур много денег берлинского происхождения. Разнузданность фашистских банд, почувствовавших за собою не только финансовую, но и моральную поддержку международного фашизма, переполнила чашу терпения парижан. Да и не только парижан — по всей Франции раздавались требования покончить с

этим позором и с угрозой безопасности республики, таившейся в подрывной и шпионской деятельности французских фашистов.

Хотя хлопоты Вельчека нашли прямой отклик в сердце министра иностранных дел Пьера Лавалья и хотя даже сам негласный глава кагуляров престарелый маршал Филипп Петэн был на стороне Абеца, — «красавцу Отто» пришлось покинуть столицу Франции.

Официальная работа по установлению франко-германской дружбы и негласная подрывная деятельность, которую вёл Абец, легли теперь на плечи графа

Вельчека — дипломата старой школы, значительно менее поворотливого и бесцеремонного, нежели молодчики новой формации, пополнявшие теперь ряды дипломатов на Вильгельмштрассе.

Невзирая на все стремление выслужиться или хотя бы удержаться при новом режиме, Вельчек никак не мог попасть в ногу с событиями. Шифрованные нагоняи так и сыпались из Берлина. А в одном неофициальном письме Нейрата дружески сообщалось, что Гитлер уже пригрозил «выкинуть эту старую калошу Вельчека в помойную яму», если только он не совершит такой глупости, за которую придётся

поступить с ним ещё строже.

Морально разложившиеся, быстро фашизирующиеся верхи парижского общества охотно принимали Вельчека в салонах своих роскошных отелей, но широкая общественность Франции не желала больше признавать его «персона грата». Безупречная респектабельность его визитки, полосатых штанов и цилиндра мало интересовала народ. Золотая свастика в петлице перевешивала в глазах простых французов любую внешнюю корректность. Для простых французов Вельчек стал олицетворением всего враждебного, что народ чувствовал не только в

немецком, но и в отечественном, французском фашизме.

Если бы не усиленные наряды полиции у здания германского посольства, Вельчек в одно прекрасное утро нашёл бы немало следов от тухлых яиц на окнах своего отеля.

День ото дня его пребывание в Париже становилось невыносимее. Поэтому, когда ему удалось под знаком укрепления все той же пресловутой франко-германской дружбы добиться участия немецких лошадей в традиционной международной скачке в Ницце, это показалось ему значительной удачей.

Однако ко времени прибытия в

Ниццу немецкие лошади одна за другою выбывали из строя — их постигала какая-то страшная болезнь. Их заменили другими, но и часть пополнения оказалась больной. Администрация скачек вынуждена была даже поставить вопрос о снятии всех лошадей, привозимых из Германии, как заражённых какой-то неисследованной болезнью, грозящей заразить и лошадей из других стран. Путём дипломатического вмешательства Вельчеку удалось отстоять несколько лошадей, давно находившихся во Франции. В числе их была и лошадь, владельцем которой значился Отто фон Шверер. Знатоки считали, что

эта лошадь — самая сильная из всех, какие остались у немцев. Она — их единственная надежда на победу.

Французские конюхи, проходя мимо денников, где стояли немецкие лошади, демонстративно отворачивались. Французские жокеи уезжали с тренировки, стоило выехать на дорожку кому-либо из немцев.

Горечь этой неудачи была несколько скрашена помощью германского посла в Лондоне. Он сумел поднять некоторый шум вокруг воображаемых немецких возможностей на международной скачке и добился того, что некоторые английские спортсмены,

политические деятели и промышленники приняли приглашение общества «Германия-Великобритания» и поехали в Ниццу в качестве его гостей. В числе приглашённых был и нефтяной король сэр Генри Гевелинг с леди Мелани. Её, в свою очередь, сопровождал Монти Грили. Мелани даже пустила на скачку свою лошадь под девизом «англо-франко-германская дружба» — то, что она не решилась бы сделать в Англии и отчего сэр Генри недовольно морщился. Он не любил афишировать свои связи с подозрительными компаниями, с которыми приходилось иметь

деловые отношения.

Вскоре после того дня, когда на парижском велодроме Долорес Ибаррури требовала оружия для Испанской республики, на другом конце Франции — в Ницце — должна была состояться скачка с участием лошади леди Мелани, носившей неожиданную кличку «Козачка», и лошади, привезённой Отто Шверером.

Мелани приехала на ипподром раньше, чем явилась бы в другой день. У неё были все основания волноваться: как ни казалось бы незначительно другим то, что скакала её лошадь, для неё это было

вопросом светского успеха. Она не имела за собой той репутации экстравагантности, какую «должна иметь» женщина её круга. Быть женою нефтяного короля — это значило иметь какую-нибудь страсть или хотя бы элегантную причуду. У миллионерш по рождению были яхты, или самый большой бриллиант, или неоценимые коллекции вееров, или хотя что-нибудь вроде шали, которая была надета на Марии Антуанетте, когда та взошла на эшафот. Что-нибудь в этом роде нужно было иметь в прошлом. А у Мелани в её прошлом была только рампа кафе-шантана, отдельные кабинеты и номера подозрительных

отелей.

Что же мудрёного, что теперь, выбравшись невесть каким счастьем на вершину нефтяного величия и став хотя бы и маргариновой, но все же «княгиней Донской», она тоже пожелала иметь нечто вроде того, чем хвастались когда-то Манташевы и Лианозовы, что было, пожалуй, самым дорогим видом причуд, — свою скаковую конюшню. И что мудрёного, что сегодня в день дебюта этой конюшни Мелани непритворно волновалась. Она имела на это право. Её Козачка слыла самой дорогой лошадью в Европе. Она обязана была сегодня выдвинуть её на передний план великосветской Ниццы, что

значило попасть на страницы всех аристократических журналов Европы, в светскую хронику газет.

При всем подлинном величии нефтяной державы сэра Генри, этот мелкий успех щекотал самолюбие Мелани. Он казался ей ничуть не менее важным, нежели деловые переговоры, которые были намечены на тот же день.

Монти Грили сидел в ложе Мелани, снисходительно предоставляя толпе любоваться им и принимать его тупую самовлюблённость за подлинное величие Зевса, соблаговолившего спуститься на игрища смертных.

Сэр Генри в аванложе

разговаривал с генералом Леганье, словно бы случайно очутившимся в Ницце ко времени приезда Гевелингов. Мелани и Монти были в ложе одни. Они тоже говорили о делах. Но в то время, как разговор Гевелинга и Леганье состоял из намёков и околичностей, в ложе разговаривали напрямик, называя вещи своими именами, с уточнениями и подробностями, хотя тема там и тут была одна — события в Испании.

Леганье пытался, осторожно прощупывая нефтяного короля, выяснить, какие национальные секреты Франции могли бы заинтересовать сэра Генри в обмен

хотя бы на малую толику процентов от кредита, открытого им испанским мятежным генералом. Как человек, близко соприкасающийся о военными делами, Леганье знал об острой нужде, испытываемой Францией в серном колчедане для военной промышленности. Вместе с тем он осторожнейше намекнул на то, что ему известно об участии, какое сэр Генри принимал в знаменитом англо-испанском обществе «Рио-Тинто». Используя свои связи в правительстве и среди французских промышленников, Леганье мог бы устроить заказ на испанский колчедан по ценам значительно более высоким, нежели

те, какие это общество получало от своих постоянных покупателей. За такую услугу он хотел получить хотя бы несколько акций этой компании.

Все говорилось такими отвлечёнными намёками, что только искушённый в делах ум нефтяника мог уловить то, что занимало генерала. Но слушая его, сэр Генри интересовался вовсе не этим, а вопросом о том, каким образом французский генерал мог узнать об его собственном участии в делах «Рио-Тинто» и как далеко простирается эта осведомлённость. Но в конце концов, судя по тому, что говорил Леганье, Гевелинг решил, что источник, из которого

информируется генерал, — французская разведка, — не слишком-то в курсе дела. Во всяком случае о скрытых связях Гевелинга через «Рио-Тинто» с немецкими финансистами она, невидимому, не знает. Гевелинг для себя решил, что может не особенно стесняться о этим французом. Не было никакой надобности не только откликаться на его туманные предложения, но даже попросту их понимать...

А в ложе Мелани втолковывала Монти, слушавшему со скучающим видом:

— Прибыли по кредитам, открытым сэром Генри испанцам, должны быть не только велики, но

будут расти с течением времени. Мне недавно объяснили, что такое сложные проценты...

Монти хмуро кивнул головой.

— Чем дольше испанцы не смогут оплачивать проценты по долгу, тем больше они должны будут платить, — с оживлением продолжала Мелани. — Они обеспечили платежи предоставлением сэру Генри нефтяной монополии.

Тут Монти впервые поднял на неё свинцово-тяжёлый взгляд своих больших глаз.

— А Рокфеллер, по-вашему, будет сидеть сложа руки и смотреть, как опереточные испанские генералы

распоряжаются тем, что он считает безраздельно принадлежащим ему?

Мелани рассердилась. Этот вопрос ставил её в тупик. Она знала, что между Гевелингом и американскими нефтяниками шла борьба за испанский рынок, но, с легкомыслием кокотки, однажды поверив в могущество своего содержателя, она готова была отстаивать его престиж, хотя и не имела никакого представления о ресурсах его врагов. Она не знала, сколько дали тем же самым франкистам американские монополисты. Но с неё было достаточно того, что им много дал сэр Генри. Чертовски много! Это она

знала. Остальное казалось ей несущественным.

По старой памяти, она готова была прощать неповоротливость Монти — любовнику, некогда самому её постоянному клиенту при его наездах в Париж, которому она обязана своим знакомством с сэром Генри. Но её выводила из себя трусость Монти-дельца. А то, что он вспомнил о Рокфеллере, когда она развивала блестящий план завоевания Испании, было в её глазах признаком трусости. Она была куда более опытна в делах любви, чем в биржевых спекуляциях.

— Вы не должны, не смеее бояться, когда имеете дело со

мной, — убеждала она. — Вы можете наверстать всё, что упустили в истории с Испанией. Сами испанцы — никуда негодные дельцы. Пусть они там приводят в порядок дела со своими республиканцами, — но тоже не слишком быстро, — остальное мы сделаем без них.

— А Бен говорит, что если мы не будем мешать Франко, он очень быстро справится с красными, — не спеша выбрасывая слова, словно каждое из них представляло особую ценность, говорил Монти. — Бен говорит, что мы намерены скоро признать Франко.

— Это правда? — обеспокоенно спросила Мелани. — Лорд

Крейфильд так сказал?.. — Она притронулась перчаткой к его руке. — То, что вы сказали, очень важно.

— Я всегда говорю то, что важно, — с непоколебимой уверенностью проговорил Монтегю. — Но я не очень верю Бену. Он совершенный мешок и ничего не понимает в международных делах.

— Поэтому он и занимает пост товарища министра иностранных дел? — шутливо спросила она.

— Вероятно, — совершенно серьёзно подтвердил Монтегю.

— Если вы будете себя хорошо вести, — проговорила она, понижая

голос и, насколько позволяли приличия, придвигаясь к нему, — я перехвачу для вас кое-что из предложений, которые сейчас сыплются на сэра Генри.

Приход в ложу Гевелинга и Леганье помешал ей договорить. Вернулись в ложу и те приглашённые, кто спускался в падок смотреть на проводку лошадей. Толпа зрителей хлынула на трибуны, бинокли, до того обращённые главным образом на ложи, занятые знаменитостями всякого рода и всех национальностей, повернулись к полю. Скачки начались.

Отто знал всех участников скачки. Среди них были только два

немца. Своего соотечественника он сразу сбросил со счета. Победу для Германии мог вырвать только он, он на своём рыжем жеребце, добытом ему Кроне. Отто не понимал мотивов, по которым Кроне так заботился об его успехе, но и не очень об этом задумывался. Лошадь его удовлетворяла. Он считал её самой сильной в скачке, так как в этом году у неё не было ни одного соперника в Англии. Англичане демонстративно отказались участвовать в одной скачке с немцами. Опасения могла внушать только Козачка леди Гевелинг. Отто несколько раз исподтишка подсматривал за тем, как ездок —

немолодой уже человек из русских белых эмигрантов — проминал серую в белых чулках кобылу. Если бы дело не происходило во Франции, при враждебной насторожённости всего персонала ипподрома, а в Германии, Отто знал бы, как избавиться от этого соперника. Немецкие конюхи сделали бы с Козачкой то, что французским конюхам удалось, повидимому, проделать почти со всеми немецкими лошадьми. То, что его жеребец не оказался «болен», Отто приписывал только тому, что лошадь все время находилась под особым присмотром.

В день скачки Отто с утра был в конюшнях и не спускал глаз с

лошади. Он был зол на себя: вместо того чтобы во все время пребывания во Франции выдерживать режим тренировки, он позволил себе несколько сорваться. Виновата была Сюзанн, увлекавшая его в хорошо, видимо, ей знакомый водоворот ночной жизни — сначала в Париже, а потом в Ницце. Даже сегодня он не чувствовал себя в той форме, в какой обязан был быть. И в этом тоже была виновата Сюзанн...

Хмурый, недовольный собою и всем окружающим, Отто приказал выводить лошадь для седловки...

В ложе Гевелинга — почётного и редкого гостя — появлялись все новые лица. Исчезнувший было

Леганье вернулся, почтительно сопровождая генерала Гамелена, явившегося поздравить леди Гевелинг с дебютом её конюшни. В двух шагах за генералами следовал высокий, худой, несколько сутуловатый офицер, во внешности которого бросался в глаза непомерно большой, мясистый нос. Его отрекомендовали Мелани как начальника кабинета Гамелена подполковника Шарля де Голль. Мелани, казалось, не обратила на него внимания. Но когда представилась удобная минута, она тихонько сказала своему старому приятелю Леганье:

— У этого де Голля вид

человека, который хочет стать главным жирафом.

— Всякий, кто хочет стать главным, хотя бы среди крыс, годится в нашем деле, дорогая, — наставительно ответил Леганье. Он считал себя в праве поучать особу, чьё имя числилось в списке его давнишних агентов, даже если эта особа и стала теперь королевой нефти.

Но вот по толпе зрителей пронёсся тот особый шорох, который сопровождает обострившееся внимание массы людей. Наступила короткая тишина, во время которой все бинокли направились на группу лошадей, устанавливаемых ездоками

в ряд против судейской трибуны.

Леди Мелани с тщеславным удовлетворением уловила долетевшее до неё с нескольких сторон слово «Козачка». Она видела, что серая кобыла приковывает к себе общее внимание. Ещё бы — «самая дорогая лошадь Европы»!..

Но вот торжество Мелани оказалось нарушенным: на коротком галопе из ворот в круг выметнул и напрямик, без всякой проминки для показа публике, пошёл к строящимся огненно-рыжий, почти красный крупный конь с широкой грудью и широким, кажущимся чересчур широким задом. На седоке были чёрные рейтузы и чёрная глухая

куртка. Поперёк рукава виднелась яркокрасная повязка с белым кружком, в котором был какой-то знак.

Мелани казалось, что она видела, как тысячи глаз машинально опустились на листки программы, где значилось: «Жеребец Барбаросса, ездок фон Шверер, Германия».

Повидимому, этого было достаточно, чтобы большинство, даже без биноклей, различило теперь в белом кружке на красной повязке Отто зловещий чёрный крючок фашистской свастики.

«Свастика!...»

Отто был поглощён желанием уловить настроение лошади, слиться

с нею так, как должен слиться всадник перед скачкой. Потому ли, что ему передалась нервозность лошади, или, наоборот, Барбаросса почуял напряжение, овладевшее седоком, — Отто ясно воспринимал неприязнь высыпающих из конюшен конюхов и жокеев. Желание ответить им открытой враждебностью затмило на миг понимание того, что единственный путь для такого ответа — победа в скачке. Только толкотня нетерпеливо топтавшихся вокруг него лошадей и удары колокола, требовавшие внимания, заставили его собраться и шенкелями понудить жеребца занять место в ряду. От хвастливой уверенности в

превосходстве над соперниками, с которой Отто выезжал на круг, ничего не осталось. Он старался не смотреть в сторону на похрапывавших справа и слева лошадей, на всадников, в каждом из которых он остро чувствовал врага и возможного победителя.

Отто так стиснул зубы, что стало больно скулам: ничто не смеет выбить его из равновесия и уверенности, что победа должна и будет принадлежать ему! От этого зависело слишком много: освобождение от надоевшей службы, деньги, много денег!.. Может быть, возможность поставить на место этого Кроне!..

Отто не понимал, что его сегодняшняя победа была нужна именно «этому Кроне», как первый шаг к укреплению положения Отто в качестве международного агента под личиной спортсмена. Любитель лошадей, владелец двух-трех кровных скакунов победителей — лучшего камуфляжа для немецкого агента нельзя было придумать! Такому субъекту были бы открыты двери салонов всей Европы.

То, что представлялось Отто средством освобождения от липких пут Кроне, самому Кроне рисовалось как новые, крепкие оковы для Отто. Но Отто об этом не подозревал. В его мозгу, как раскалённый гвоздь,

саднила одна-единственная мысль: победить!

Он был так поглощён этой мыслью, что едва не пропустил удара колокола, пускавшего скачку. С этого момента, все, кроме внимания к каждому движению, к дыханию коня, отлетело. Отто и конь были одно.

Отто почувствовал, что Барбаросса с места слишком влёг в повод. Правда, он почти сразу вырвался на целый корпус и серая с белой стрелкой из-под чёлки голова Козачки ушла из поля зрения назад. Отто бросил взгляд под локоть: узкая, длинная морда кобылы с горбатым храпом была на уровне крупа Барбароссы. Отто видел её

умный, большой, на выкате глаз, над которым во впадинке виднелось тёмное пятнышко. Отто с удовлетворением отметил это пятнышко. Это был пот! Кобыла была, видимо, не из сильных. Отто выдал Барбароссе немного повода — ровно столько, сколько нужно было, чтобы оторваться от головы Козачки.

Дистанция скачки была невелика, и, хотя у Отто заранее был точно разработан план, как вести лошадь, он решил теперь, что его главный шанс в том, чтобы вынудить своего противника потребовать от Козачки сразу всё, что она может выдать.

В других условиях Отто

неприменно постарался бы
сохранить Барбароссе запас дыхания
даже ценою потери корпуса
дистанции, но теперь он решил, что
избыток сил его лошади настолько
превосходит запас сил серой кобылы,
что ему не о чем беспокоиться.

Об остальных лошадях он и не
думал.

Отто ещё послал жеребца.
Голова кобылы совсем не стала
видна, и звука её дыхания не было
больше слышно. Только чёткий,
значительно более частый, нежели у
Барбароссы, перебор копыт давал
теперь Отто возможность судить о
разделяющей их дистанции.

Скок Барбароссы оставался

ровным, но дыхание уже начинало не нравиться Отто. Отто уловил в нём то, что всегда внушает седоку опасение: надолго ли хватит?..

Неужели он пережал, потребовав от Барбароссы больше, чем следовало?

Но умерять коня теперь значило рисковать сбить его с аллюра...

Отто без стеснения оглянулся, рассчитывая увидеть Козачку, по крайней мере, на несколько корпусов сзади, но, к его удивлению, серая голова была на расстоянии не более чем одного корпуса и уверенно приближалась. Скоро Отто уже снова стало слышно её ровное дыхание. По этому дыханию он понял, что кобыла

ещё не отдала и половины того, что могла дать. Отто почти с ненавистью смотрел на острые серые уши, на большой, по-человечески умный, начинающий наливаться кровью глаз кобылы.

У Отто не было желания увидеть лицо человека, скакавшего на Козачке. Он видел только его сухие, крепкие руки, плотно обтянутые коричневой лайкой перчаток. Эти руки казались Отто чем-то принадлежащим вовсе не всаднику, а кобыле, неотъемлемым и естественным окончанием повода, составлявшего одно целое с её головою.

В Отто не было чувства, которое

всадник в подобных обстоятельствах должен испытывать к коню. Он относился к своему Барбароссе холодно, как к машине, предназначенной для того, чтобы добыть для него победу в сегодняшней скачке. Отто не заботила судьба Барбароссы после этой победы. Хотя бы конь выбыл из строя. Отто может его загнать — ему простят. Он получит другого коня, может быть лучше этого...

Серая голова Козачки поравнялась с крупом Барбароссы. Ещё через несколько секунд она была уже рядом с локтем Отто и продолжала продвигаться вперёд к плечу жеребца. Это плечо из

яркорыжего уже давно стало темногонемым, почти черным от пота.

Вот Отто снова увидел коричневую лайку перчаток на руках, совершающих поощрительные движения поводом.

Отто с ужасом почувствовал, что Барбаросса не реагирует на посыл. Дыхание коня становилось все резче, в нём появилась короткая хрипотца, свидетельствующая о том, что лёгкие коня дали всё, что могли. А дыхание Козачки оставалось таким же ненапряженным...

Деревянный барьер они взяли почти одновременно. Разница не превышала головы. На миг, как яркая молния, у Отто вспыхнула радость:

ему показалось, что перемахнув барьер, кобыла ступила не с той ноги. Перебор её копыт на какой-то момент утратил чёткость. Отто сразу сообразил, что это может дать ему выигрыш. Он попытался убедить себя в преимуществе длинного корпуса и сильного маха жеребца по сравнению хотя и с более лёгким, но гораздо более коротким корпусом Козачки, вынужденной на каждый скак Барбароссы давать, по крайней мере, полтора своих. Но он тут же сообразил, что это преимущество фиктивное. И действительно, едва его ухо уловило, что умная кобыла сумела, не теряя хода, переменить ногу после барьера, её голова снова

была уже рядом с плечом его собственного коня.

Теперь Отто слышал ласковый, поощряющий голос своего соперника: «Хоу... хоу...». Этот короткий возглас, совпадающий с ритмом карьера лошади, раздражал Отто. Он покосился на соседа и словно впервые увидел его загорелую щеку в мелких морщинках, коротко подстриженную, с проседью щёточку белокурых усов и прищуренные глаза, устремлённые куда-то между ушей кобылы. И сразу все это, — прежде чужое и безразличное, — стало ненавистно Отто.

Впереди, за кривой, появилось третье препятствие — банкетка со

рвом за нею. Движением повода Отто возбудил внимание Барбароссы и тут же понял, что этого не нужно было делать — конь и без него, конечно, видел препятствие. Отто напрасно нервировал его перед прыжком, который, — это Отто чувствовал каждым мускулом, каждым нервом, — дастся коню не легко.

Отто напряг мышцы ног и приподнялся в стремянах, чтобы облегчить коню прыжок. Но именно в этот миг, предшествующий прыжку, он увидел, что теряет последние сантиметры своего преимущества перед Козачкой. Ещё мгновение, и кобыла первой перебросит своё

лёгкое серое тело через барьер. Это показалось Отто настолько непереносимым, что, не владея собой, он сделал правой рукой, в которой был зажат хлыст, короткое, быстрое движение. Со свистящим, как удар палаша, звуком обшитые в кожу бычьи жилы пришлись по храпу кобылы в тот самый момент, когда она в сильном броске отделилась от земли, чтобы взять барьер.

Движения Отто не мог заметить никто, кроме седока Козачки. С трибуны было только видно, что, уже отделившись от земли, над банкеткой серая кобыла неестественно мотнула головой, сделав какое-то странное движение ногами, всем телом

ударилась о банкетку. На одно мгновение могло показаться, что лошадь осталась на ней в туче взметнувшейся земли. Но уже в следующее мгновение в бинокли можно было видеть, как тела лошади и всадника, спутавшиеся в один клубок, по инерции перевалились через банкетку и, вздымая столб брызг, рухнули в канаву.

Рыжий Барбаросса, последним усилием перенеся своё тело через препятствие, продолжал скачку. Но Отто почти сразу же увидел, что удар не принёс ему пользы. Позиция Козачки впереди Барбароссы была уже занята другою лошадью.

Злоба на рыжего жеребца, на

собственную оплошность в самом начале скачки, на публику, отвлѣкшую его внимание в тот момент, когда он должен был сосредоточить его только на коне, на весь мир, помешавший ему взять приз, беспросветная тѣмная злоба на всех и вся вылилась в этот момент в жестоком ударе хлыста, которым он наградил Барбароссу. Ещё и ещё.

От того, что он чувствовал бесполезность этих ударов по коню, который уже ничего не мог дать, бессильная злоба Отто делалась все более слепой. Он бил коня больше от бессильного отчаяния, нежели потому, что рассчитывал привести его к финишу раньше других.

Одна за другою его обходили лошади. Он утратил уже второе место; вот исчезла надежда на третье...

В ярости, застилавшей глаза и лишавшей слух обычной остроты, Отто не замечал, что жестокие удары бычьих жил рвут тонкую кожу на плечах Барбароссы, не видел, что кровь струится по ногам коня; он не различал свистков и криков негодования, нёсшихся со зрительских трибун.

Не принимая участия в традиционном параде участников скачки перед трибунами, Отто последним усилием прогнал своего жеребца прямо к конюшням,

соскочил с него и, не взглянув на него, не заходя в ложу Вельчека, уехал с ипподрома.

Тем временем в ложе Гевелинга дамы старались утешить бившуюся в искусно разыгранной истерике Мелани. Когда, по её мнению, публика получила ту меру её огорчения, какая приличествовала случаю, Мелани уехала, успев назначить свидание Монти.

За час до того, как к ней в отель должен был приехать Монти, Мелани приняла Леганье. За низенькой стеклянной ширмой, закрывавшей генерала, Мелани одевалась со свободой женщины, привыкшей к мужскому обществу во всяких

обстоятельствах.

То, что она говорила своему бывшему начальнику, мало вязалось с легкомыслием обстановки:

— Разумеется, вы знаете, о чём Гамелен говорил сегодня с сэром Генри... Речь идёт о подготовке самого настоящего похода против России. Нас, разумеется, интересует всё, что относится к южной части этого плана, — нас интересует Кавказ, — быстро говорила она сухим деловым тоном. — Сэр Генри обещал свою поддержку в Англии. Мы проведём там необходимую работу. Но для того, чтобы её вести, я, то-есть мы, должны быть уверены в не целесообразности.

— В этом вы можете не сомневаться, — сказал Леганье, забавлявшийся тем, что пускал волчком пенсне по круглому столику, на фарфоровой доске которого был изображён император Наполеон. — Кавказ — это Баку. Баку — это нефть. Нефть — это богатство. Кто-кто, а уж вы должны это знать.

Забыв о том, что она ещё только наполовину одета, Мелани вышла из-за ширмы и, пристёгивая подвязку к чулку, наставительно проговорила:

— Нефть — это богатство для тех, кто ею владеет. А бакинской нефтью в глазах Европы до сегодняшнего дня владеют господа Манташевы, Лианозовы и прочие...

— Довольно устарелые взгляды, — сказал Леганье, пересаживая пенсне со стола на нос. — Несмотря на некоторую полноту, вы сохранили стройность ног...

Мелани не обратила внимания на слова генерала, словно они относились вовсе не к ней, и продолжала:

— Сэр Генри не позволит себе обойти законные интересы русских держателей, если кавказские источники перестанут быть собственностью Советов...

— Согласитесь, что только французы с их пониманием женской красоты могли выдумать такую

деталь туалета, как этот удивительный чулок, не правда ли!.. Так чего же вы хотите от меня: чтобы я уничтожил русских держателей бакинских бумаг?

— Зачем столько крови?! Мы не в опере. Проще уничтожить бумаги, чем их держателей.

Леганье рассмеялся:

— Вы рассуждаете, как героиня детективного романа.

— Если вы хоть раз поступите, как герой хорошего детективного романа, в этом не будет ничего плохого, — она накинула, наконец, платье. — Чтобы нам не мешала камеристка, займитесь её делом, — с этими словами она повернулась

спиной к генералу, и он принялся старательно застёгивать крошечные, ускользавшие из-под пальцев, крючки. А она с живостью продолжала: — Что вам стоит, как начальнику разведки, произвести обыски у тех, кто ещё хранит этот старый хлам — русские бумаги? Пусть их, хотя бы по ошибке, изымут. Прежде чем будет обнаружено, что это всего-навсего старый, никому ненужный хлам, опрометчивый чиновник вашего бюро может сжечь все бумаги. А потом этого дурака посадят в тюрьму. Это утешит пострадавших.

— Вы настоящая прелесть, дорогая, — восторженно проговорил

Леганье, прикасаясь губами к оставшемуся неприкрытым тканью плечу Мелани. — Такая авантюра не приходила в голову даже мне.

— Тем хуже для вас.

— Но не воображайте, что её легко осуществить. И нужно ещё посоветоваться с юристами: может ли уничтожение бумаг уничтожить и самое право держателей на их собственность?

— О заключении юристов позаботимся мы. А ваше дело — не давать остыть пылу Гамелена и позаботиться о том, чтобы Кавказ перестал быть коммунистическим.

— Сущие пустяки пришлись на мою долю, — иронически

проговорил генерал.

— Если можно покончить с этим в Испании, почему нельзя в России или хотя бы на Кавказе — это же рядом с Турцией и далеко от Москвы... Сэр Генри считает, что Испания — это только проба. По мнению сэра Генри, Советы вовсе не так сильны, как мы себе рисуем... Может быть, говорит сэр Генри, мы только воображаем, что из колосса на глиняных ногах. Россия стала чем-то более прочным?..

Леганье слушал с интересом: его бывшая сотрудница делала очевидные успехи в области политики.

Увидев в зеркале вошедшего без

стука Монти, Мелани переменила разговор.

Они подошли к помещавшемуся в подвале театрику, у которого должны были встретить Даррака.

— Здесь, — сказал Цихауэр, — именно здесь и должен...

Договорить ему помешал пробегавший мимо газетчик. Зинн жадно схватил листок.

— Вот! — Зинн с негодованием ударил по первой странице, пересечённой огромным заголовком: «Пьер Кот — убийца! Пьер Кот — война!» — Эти сволочи забрасывают грязью единственного члена кабинета, который ещё говорит, как француз.

— Не понимаю.

— Он осмелился сказать, что если министры не хотят быть честными французами, то должны быть хотя бы честными купцами: нужно отдать Испании оружие, заказанное до войны.

Зинн смял газетку и швырнул на землю.

Из дверей подвала вышел худощавый человек и осторожно притронулся к плечу Цихауэра. В руках у него был скрипичный футляр. Зинн понял, что это и есть Даррак. Пока друзья перебрасывались первыми фразами, Зинн исподтишка рассматривал музыканта: у парня славное лицо, хорошие,

действительно «чистые», как сказал Цихауэр, глаза, прекрасный лоб.

Обняв француза за плечи, художник подвёл его к Зинну.

— Пойдём куда-нибудь поболтать, — сказал Цихауэр.

— Нам нужно о многом серьёзно поговорить, — сказал Зинн, подчёркивая слово «серьёзно», и посмотрел на часы.

— Брось, Гюнтер, — сказал Цихауэр. — Нельзя всю жизнь быть серьёзным!

Зинн натянуто рассмеялся.

— Мой друг хочет выставить меня в ваших глазах сухарём, — сказал он Дарраку.

Большие глаза Луи ласково

остановились на лице Зинна.

— Тот, кто слышал ваши песни...

— Твой поклонник слишком хорошего мнения о тебе! — весело воскликнул Цихауэр. И спросил Даррака: — Куда пойдём?

— В Клиши есть местечко, куда забегает простой люд. Сахара придёт туда, хотя это место и не для неё...

— Кто это? — спросил Зинн.

— Вы и вправду не знаете? — Даррак удивлённо смотрел на Зинна. — Не знаете Тересу Сахару?

— Ах, певица! — Зинн нахмурился. — Что ей нужно?

Даррак укоризненно сказал:

— Она же испанка.

Он повёл их к Эйфелевой башне.

Они спустились в метро и поехали.

Простая стойка с разбитой мраморной доской, старый оркестрион, толстяк-кабатчик. У стойки и за столиками — люди в кепи.

Даррак подошёл к столику в углу.

— Два перно, — сказал он гарсону, зябко потирая ладони худых рук.

Он поймал удивлённый взгляд Зинна и, словно извиняясь, сказал:

— Не могу без горячительного! Проклятый подвал! Когда высидишь в

нём целый вечер, чувствуешь себя так, словно вылез из склепа.

Зинн ясно различил на щеках Луи тот особенный румянец, который появляется на лицах чахоточных. И если минуту тому назад Зинну нужно было заставлять себя улыбаться французскому скрипачу, то теперь в его глазах появилось выражение той любви к людям, за которую люди любили его.

— Вы, наверное, очень устаёте на этой работе? — спросил Зинн.

— Мучит холод. Даже летом. — Даррак неожиданно рассмеялся. И в его смехе, как и во всех словах и движениях, было столько задушевности, что и Зинн невольно

улыбнулся. — Но теперь я, наверно, отогреюсь... там!

— Решили ехать?

— Безусловно.

— А здоровье?

— Пустяки. Я ведь был солдатом.

— Там нужны не только солдаты.

— Но солдаты больше всего.

— Не знаю. Может быть, вы как артист...

Луи досадливо отмахнулся:

— Я не хочу презирать самого себя. Ехать туда, чтобы... — он не договорил и щёлкнул по футляру скрипки. — Это мы оставим женщинам... Вот, например,

Тересе! — Он поднялся навстречу входящей девушке. Оливковая смуглость и овал лица, узкий разрез карих глаз сразу выдавали в ней креолку.

Лицо девушка, озабоченный взгляд, брошенный ею на Луи, и тёплый свет, который излучали в ответ его глаза, — все говорило Зинну: тут любовь.

Зинну стало неожиданно тепло и уютно. Он велел запустить оркестрион и повлёк Тересу танцевать. Ему не мешал народ, заполнивший тесное помещение быстро. Все это были рабочие вечерних смен. Они приходили сюда, как на условный сборный пункт, где

можно было к тому же подкрепиться перед предстоящей бессонной ночью в пикете. Никто из них не намерен был идти домой. Сейчас они отправятся в зал близлежащего кинотеатра на смену сидящим там товарищам. Вот уже сутки, как рабочие занимают кино, чтобы не дать возможности «Боевым крестам» провести назначенный там на завтра митинг солидарности с Франко. На митинге собирался выступить сам де ла Рокк.

Рабочие вели себя смирно. Они только и делали, что сеанс за сеансом терпеливо смотрели одну и ту же картину. Это тоже было не так легко после дня работы.

Зал быстро был наполнен голосами и смехом рабочих. Те, кто не мог себе позволить горячего, жевали сухие булочки, скупое прослоённые ломтиками вареной говядины.

Тема разговоров была одна: Испания. Британский флот проявлял странную «нейтральность», угрожая пушками своих линкоров кораблям республики, пытавшимся осматривать торговые суда, шедшие в порты мятежников. Всем было ясно, на чьей стороне симпатии английского адмиралтейства и его первого лорда, пресловутого Семюэля Хора.

Старый рабочий с седыми

усами, покрасневшими от повисших на них капелек вина, угрюмо говорил:

— Можно подумать, что наши министры глупее нас: как будто они не понимают, что будет, если порты Испании и Северной Африки станут базами итальянского и немецкого флотов... Скажите, кто из нас идиот: я или члены кабинета?

Слушатели смеялись. Они с добродушною досадою подталкивали локтями снующих между столиками танцоров.

— Нашли время!

И вдруг, когда умолк нестройный гул оркестриона, на столик, к которому после танца

возвращались Зинн и Тереса, вскочил Луи. Он движением руки потребовал тишины и заговорил, не поднимая головы, словно для одного себя:

— Когда-то я вообразил, будто я очень талантлив... Но хозяева вышибли из меня эту фантазию. Мне так же хотелось есть, как всем остальным. — Он поднял голову и обвёл взглядом слушателей. — А сегодня у меня праздник. Да, да, большая радость: я освобождаюсь! — Луи вскинул длинные руки и распахнул полы пиджака. — Я ухожу из холодного подвала, от танцев, от пьяных зрителей. Но это значит, что я ухожу и из Парижа, из этого быстро, от вас... Позвольте мне, господа, в

этот последний вечер сыграть только для вас. Не то, что мне заказано, а то, что хочется... Это будет импровизация. Я посвящаю её... — он на мгновение закрыл глаза рукою, словно отгоняя от них какое-то видение, — нашей с вами Франции, Франции простых французов!

Хозяин подошёл к двери и запер её. Опустил шторы на окнах.

Луи заиграл.

Зал был недвижим.

Зинн смотрел в лучистые глаза Тересы, устремлённые на скрипача...

...Луи опустил скрипку.

Если бы зал разразился рукоплесканиями, Зинн мог бы

подумать, что скрипача слушали из вежливости. Но скрипка давно умолкла, а в ресторане продолжала царить благоговейная тишина. Не стучали стаканчики. Не хрустели сэндвичи.

Сидевшая неподалёку от Зинна высокая, худая работница поднялась и при общем насторожённом внимании прошла к краю стойки, вырвала из стоявшего там горшка цветок и, даже не дав себе труда отряхнуть с корней землю, поднесла его скрипачу.

Только тогда, как бочка с ракетами, взорвались рукоплескания. За их грохотом хозяин не сразу услышал стук во входную дверь. В зал

вбежало несколько взволнованных рабочих.

— «Кресты» блокируют кинематограф. В зал невозможно попасть!

— К чорту молодчиков де ла Рокка!

— Долой фашистов!

Один из прибежавших крикнул:

— Полиция охраняет негодяев!

— К чорту Кьяппа! —

пронеслось в ответ.

За столиками никого не осталось.

На стол вскочил молодой рабочий; его голос звучал, как горн:

— Порядок, товарищи!.. Стройте ряды!.. Порядок!

Зинн притянул Луи за лацкан пиджака и напел ему в ухо короткую мелодию.

Прежде чем Луи успел её повторить на скрипке, Зинн был уже на стойке буфета.

Марш левой! Два-три!
Марш левой! Два-три!
Встань в ряды, товарищ, к
нам,
Ты войдёшь в наш единый
рабочий фронт,
Потому что рабочий ты
сам.

Покрывая чужие немецкие

слова, о смысле которых догадывались по знакомому всем мотиву, рабочие подхватили песню по-французски.

Шёл не Веддинг, а Клиши. Шли на бой с фашистами сыны рабочего Парижа, многие из которых собирались покинуть Францию, чтобы драться за Испанскую республику.

Еда всегда настраивала Монти на благодушный лад. Хотя соус, поданный сегодня в клубе к телячьим котлетам, и оставлял желать лучшего, но яблочный пирог загладил эту неудачу повара. В целом завтрак можно было считать приемлемым. Монти не стал задерживаться в клубе — нужно было ехать в Грейт-Корт, чтобы повидать Бена, последнее время почти не показывавшегося в Лондоне. В министерстве говорили, будто он болен, но по голосу Маргрет, когда Монти позвонил в Грейт-Корт, он понял, что болезнь эта дипломатическая.

Монти подошёл к стоянке таксомоторов и велел ехать на Феникс-стрит, где помещалась контора его адвокатов. Нужно было уточнить юридическую сторону сделки с первым испанцем, клюнувшим на предложение агентов Мелани. От адвокатов Монти поехал на вокзал Чаринг-Кросс.

Однако, ещё прежде чем автомобиль обогнул Национальную галерею, Чаринг-Кроссрод оказалась забитой таким количеством народа, что шофёр остановил машину. Монти высунулся из автомобиля и спросил полицейского о причине такого скопления людей.

— Требуют оружия для

Испании, сэр!

В его тоне Монти почудилось неуместное сочувствие собравшимся, но он считал ниже своего достоинства вступать в объяснения с простым полицейским. Он велел шофёру свернуть на Пикадилли, чтобы подъехать к вокзалу со стороны Пэл-Мэл. Поезд уходил ровно в шесть.

Однако выбраться из толпы было невозможно. Монти вылез из машины и стал пробираться пешком. Он держал сложенный зонтик перед грудью, словно это был меч. Но пройти удалось недалеко. Монти оказался прижатым к стене дома. Отсюда ему был хорошо виден

оратор, за спиною которого хмурилась морда льва.

С площади доносились крики множества голосов:

— Открыть границы Испании!..
Оружие республиканцам!

Нет, черт побери, это было совсем не то, что хотел слышать Монти. Видя, что выставленный вперёд зонтик не помогает, он попробовал работать локтями. Но после нескольких крепких пинков в бока и не очень вежливых замечаний по его адресу Монти оставил попытки выбраться из толпы. А через несколько минут ему стало ясно, что он и вообще-то не волен распоряжаться своими движениями:

как щепку, его несло туда, куда двигались волны людского моря.

Но вот движение этих волн прекратилось. Люди остановились. Толпа как бы замерла, и над нею повисло насторожённое молчание. Откуда-то издали, как из другого мира, доносились гудки автобусов, пробиравшихся соседними улицами.

Монти увидел, как оратор, говоривший у колонны, вдруг исчез, словно потонул. Казалось, прошло бесконечно много времени, как ораторское место оставалось пустым, но толпа не проявляла признаков нетерпения. На миг у Монти возникла надежда, что все уже кончилось, сомкнувшаяся вокруг

него масса тел сейчас расступится и он, получив свободу, спокойно проследует к такси. Но эта надежда тотчас и погасла: по гранитному подножию колонны не спеша, уверенными движениями поднимался кто-то, к кому были прикованы взоры всех собравшихся. Это был плотный мужчина среднего роста, с очень широкими, как показалось Монти, плечами. Черты его лица, хорошо видного с того места, где стоял Монти, показались ему знакомыми. Но, попытавшись было припомнить, где он видел этого человека, Монти тут же понял, что не видел его никогда и нигде и в то же время наблюдал постоянно и

всюду, — это было лицо англичанина, каким его изображают, когда хотят показать «типичного» британца: энергичные черты, крепкий подбородок с плотно сжатым ртом, сосредоточенный взгляд серых глаз из-под тяжело нависших густых бровей.

Жесты нового оратора были сдержанны, но очень энергичны. Как будто этими жестами он стремился не усилить смысл своих слов, а только поточнее направить огромную силу того, что говорил. Словно опасался, что брошенные в толпу его неторопливые, ясные фразы, отделённые друг от друга паузами, могут взорвать её

спокойствие раньше, чем его дослушают. И действительно, внутренний смысл каждого его слова, такого простого, обыкновенного, в его устах приобретал неожиданную мощь. Он говорил о том, что люди уже не раз слыхивали на этой площади, у этой колонны; это были слова, родиною которых каждый англичанин считал свои острова, — слова о демократии и уважении к человеку, о его священных правах на свободу и неприкосновенность, о незыблемости Великой хартии и Habeas corpus act'a.

Может быть, у слушателей хватило бы терпения не больше, чем на пять минут, если бы тысячу раз

слышанные ими слова в устах этого оратора не приобретали совершенно нового, удивительного смысла. Из того, что он говорил, с неопровержимой ясностью выходило: фикция, фикция, фикция! Фикция все: от царства воображаемой демократии в самой Англии до воображаемой демократичности англичан; законы — фикция, свобода — фикция, порядок — тоже фикция; фикция — честность в отношениях между англичанами и в отношениях английских правителей с другими нациями. Все, чем шестьсот лет гордились англичане, все, во что они верили и, что любили, — не больше,

чем изношенная маска. Сквозь дыры этой маски видна отвратительная рожа беззакония, рождённого жаждой наживы и власти.

— Друзья мои! Повсюду имя, которое мы в юности с гордостью воспринимаем от своих родителей, «британец» равноценно клейму насильника и грабителя; слово «англичанин» почти во всем мире — синоним бесчестия и предательства, корыстолюбия и жестокости, рождаемой презрением к чужой свободе и жизни... Но люди в джунглях знают, что не всякий британец угнетатель, что есть англичане, дерущиеся за них, за их право на жизнь, на труд. Многие из

простых людей в британских колониях знают, что есть англичане, очутившиеся в тюрьме потому, что они защищали свободу и национальную независимость трудящегося индуса, малайца, кафра, всех наших братьев по труду, независимо от цвета их кожи!..

Над головами слушателей, как лёгкий порыв ветра, пронёсся вздох. Монти подумал: «Вот наконец-то люди откажутся слушать и буря протеста заставит оратора замолчать, уйти, исчезнуть!..»

И действительно, к радости Монти, в следующий миг гневный крик взлетел над толпой. Он был похож на рычание многоликого

гиганта. Монти ждал, что оратор в страхе бросится прочь с трибуны. Но вместо того говоривший приветственно взмахнул шляпой, и улыбка одобрения пробежала по его лицу. Монти ничего не понимал. Он отказывался понимать. Ему понадобилось усилие мысли, чтобы поверить: гнев, заключённый в вопле десяти тысяч собравшихся на площади, был обращён не против оратора! Так против кого же? Неужели против тех, кого оратор называл виновником всеобщего презрения и ненависти к самому имени британца? Это было невероятно, но это было так.

Холодок пробежал по спине

мистера Грили: происходящее пугало и оскорбляло его. Он оглянулся на своих соседей слева и справа, будто боялся, что вот сейчас, сию минуту, они признают в нём одного из виновников позора, о котором говорилось с подножия колонны. Но взоры окружающих были по-прежнему прикованы к оратору.

Монти тихо спросил соседа:

— Кто этот человек?

— Поллит! — коротко, не оборачиваясь, бросил тот таким тоном, что Монти понял: вопрос был глуп. Повидимому, оратора знал здесь каждый.

Хорошо, Монти не будет больше спрашивать. Ни о чём. Пусть говорят,

что хотят...

Но при следующем
единодушном возгласе толпы ему
пришлось крепче сжать губы, чтобы
не выдать их предательской дрожи.

Ещё никогда в жизни ему не
приходилось так близко видеть
столько лиц тех, кого он привык
объединять общим презрительным
термином «чернь». Не смешиваться с
«чернью» было жизненным
правилом круга, в котором он
родился, воспитывался и жил;
считаться с «чернью» лишь как с
тёмною силой, испокон веков
требующей чего-нибудь сверх того,
что ей давали «хозяева»; принимать
её в расчёт лишь как сумму голосов,

нужных во время выборов, — таковы были правила его круга.

Впервые в жизни Монти так ясно почувствовал, — ещё не понял, а только почувствовал: эта масса, которую он привык считать тёмной и более или менее послушной, живёт независимо от воли его, Грили, класса и управляется своими, неизвестными ему, Грили, законами. Так же он почувствовал, что в жизни «толпы» заключена столь огромная сила, о которой он и не подозревал, что законы этой жизни, пожалуй, единственное, что этот Поллит способен был бы назвать не фикцией, ибо это законы, управляющие движением миллионов.

Миллионы!..

При этой мысли озноб снова свёл лопатки Монти.

— ...величайшим позором ложится на нас политика, которую от нашего имени британское правительство проводит в испанском вопросе. Вековой, несмываемый позор на наши головы! — Поллит обвёл взглядом слушателей, и его большой крепкий палец вдруг указал на кого-то в их рядах. — Вы не забыли, что ваш брат, ваш «славный малый» Джонни, служит наводчиком на крейсере его величества? Под его охраною корабли мошенников различных национальностей, и английских в том числе, подвозят

оружие и амунизию изменникам, восставшим против законного правительства Испанской республики. Ага, вы краснеете, дружище... Это хорошо! — Поллит снова сделал паузу и, указав на кого-то другого, сказал: — Помните, в прошлую пятницу вы жаловались мне, что фирма выжимает из вас каждый пенни на расценках обточки снарядов. Вы хотели поднять вопрос о повышении расценок. А если я скажу вам, что ваша фирма продаёт снаряды Франко и каждый сделанный вами снаряд — это кровь республиканского солдата? Это кровь человека, защищающего наше с вами дело, нашу с вами жизнь?.. Что

тогда?.. Расценки? Нет. Ни одного
снаряда изменнику Франко — вот
ваш лозунг. Снаряды
республиканской Испании — вот
ваше требование! — Поллит поднял
руку с фотографической
карточкой. — Вот фотография,
которую не приняла ни одна из
«больших» газет, но которую вы
увидите завтра в «Дейли уоркер». Эта
женщина с видом помешанной
держит в руке... ручку своего
ребёнка! — Он выкрикнул это почти
угрожающе. — Они стояли в очереди
за молоком — мать и ребёнок.
Осколок бомбы, сброшенный с
самолёта фашистским мерзавцем,
сделал то, что вы здесь видите:

мёртвое дитя, сумасшедшая мать!.. Кто из вас, свободных английских рабочих, изготовил эту бомбу для своих испанских братьев? Кто?.. — Поллит как бы перевёл дух и спросил: — Рассказывать дальше? — В ответ на грозный ропот толпы согласно кивнул головой: — Хорошо, не буду вас мучить, но обязан сказать: сыны республиканской Испании, такие же простые люди, как мы с вами, рабочие и художники, писатели и инженеры, миллионы честных испанцев дерутся не только за свою, но и за нашу с вами свободу. Там, на плоскогорьях прекрасной страны, разыгрывается первый акт большой международной битвы за

мир и свободу народов, за жизнь и труд, за национальную независимость и за право строить такое государство, какого хочет народ, какое нужно не кучке эксплуататоров и тунеядцев, а миллионам простых людей. Таких, как мы с вами. — Голос Поллита стал ещё глубже, ещё проникновенней. Казалось, звуки приобретали в его устах вещественную осязаемость и падали в толпу горячими, источающими кровь или пламя, проникающими прямо в сердца людей. — Товарищи!.. Если мы пока ещё не в силах остановить бесчестных англичан, которые вооружают

палачей испанского народа, если мы не можем во всю силу своего голоса сказать: «Руки прочь от Испании!», то давайте, товарищи, сделаем хотя бы то наименьшее, к чему призывает нас священный долг международного братства рабочих людей: дадим испанским братьям оружие, столько оружия, сколько можно купить на наши скромные трудовые гроши... Если в каждой стране каждый рабочий поступит так же, как сделаем сейчас мы, испанцам будет чем защищать свою и нашу свободу, свою и нашу жизнь от их собственных и наших врагов!.. В этом единении рабочих всего мира, всех национальностей — залог победы

нашего дела, залог нашего освобождения. В этом единении наша сила, такая сила, которой не сможет противостоять ничто!..

Поллит высоко поднял свою шляпу тульёй вниз и на глазах у всех опустил в неё голубой билет. Привычный глаз Монти сразу узнал: фунт!

Поллит передал шляпу ближайшему рабочему, и она пошла по рукам. С того места, где стоял Монти, можно было проследить её движение по лёгкому волнению рядов митингующих. Но вот движение прекратилось. Волна пробежала обратно к колонне, где стоял Поллит. Несколько человек

поднялось на подножие колонны, высоко держа уже не одну, а несколько перевёрнутых шляп. Эти люди о чём-то совещались с Поллитом. Потом один из них потянулся к флагу, висевшему над толовой оратора, и снял его. Это был испанский республиканский флаг. Монти видел, как из шляп высыпали деньги в растянутое полотнище флага. Потом четыре человека взяли его за углы и снова спустились в толпу. Ряды присутствующих расступились, давая проход широко растянутому полотнищу.

Забыв обычную сдержанность, Монти поднялся на цыпочки. Он готов был даже взобраться на плечи

соседей, чтобы лучше видеть. Он с трудом верил своим глазам: в огромной толпе не было человека, рука которого не бросила бы денег на флаг. Иная рука, не разжимаясь до последнего момента, словно в смущении опускала несколько пенсов. Монти видел, как руки всех, кто был поблизости от него, шарили по карманам, собирая всё, что там было.

Те четверо с флагом шли по рядам. Они приблизились к месту, где стоял Монти. Он видел, как руки его соседей в нетерпении сжимают деньги — несколько монет, которые удалось найти в карманах.

Монти уже ясно видел четверых,

нёсших флаг. У них были хмурые лица очень усталых людей. По тёмным следам несмываемой угольной пыли, вьевшейся в морщины у их глаз, Монти узнал горняков. Почему они очутились здесь, в Лондоне, эти люди? Разве в Лондоне есть угольные шахты?.. Или этот митинг собрал людей со всего королевства, чтобы их устами провозгласить солидарность английских рабочих с испанскими республиканцами, преграждавшими путь к обогащению Монти? Если так, то значит и все эти люди такие же враги его, Грили, как испанцы, пытающиеся отнять у него право распоряжаться недрами

Пиренейского полуострова!

Он исподлобья, быстрым взглядом окинул лица окружающих, и ему почудилось, что все взгляды устремлены на его руки, до сих пор вместо денег судорожно сжимавшие зонтик. Чорт возьми, уж не воображают ли эти субъекты, что и он бросит свою лепту на флаг Испанской республики! Дать деньги на приобретение оружия, которое обратится против его собственных интересов?.. Как бы не так.

Он прижал ручку зонтика к подбородку и опустил глаза. Теперь он не видел ничего, кроме порыжевшего сукна на спине стоявшего впереди рабочего. Но ему

продолжало казаться, что сотни взглядов попрежнему направлены на его руки, на карманы его пальто, на его лицо. Его воображению очень ясно рисовалась ненависть, горящая в каждом из этих взглядов. Разумеется, эти люди не могли не видеть в нём врага. Так же, как он видел своих врагов в них... А что они сделают, если он не бросит деньги на флаг? Ведь стоит им сдвинуть ряды, и он будет раздавлен этой страшной, враждебной массой тел. Никакая полиция никогда не узнает, что тут случилось...

Может быть, безопаснее швырнуть им несколько медяков, как бросил вон тот оборвыш в

замасленном кепи или та женщина в дырявом пледе на плечах, — они ведь тоже опустили на трехцветное полотнище всего несколько мелких монет... Почему не сделать того же и ему?.. А четверо с флагом приближались. Все ближе к Монти расступались ряды. Сборщики шагали медленно, тяжёлой поступью усталых, но уверенно идущих к цели людей. Их лица были сосредоточенны. Монти отчётливо видел каждую их черту. Его сознание фиксировало эти черты, как фотографический аппарат. О, Монти узнал бы их теперь через тысячу лет, среди тысяч!.. Какие суровые лица, какие чужие!..

Ещё несколько шагов этой беспощадной четвёрки, и флаг будет около Монти...

Рука его скользнула по зонтику и опустилась в карман. Пальцы судорожно перебирали в кармане мелочь, а взгляд все был прикован к лицам сборщиков: что, если, увидев, как он бросает на флаг свою мелочь, эти люди остановятся? Они же не могут не знать, что в его бумажнике — чековая книжка и много длинных голубых и белых банкнот. У этих людей такие глаза, что, наверно, проникают сквозь сукно его пальто, сквозь кости его черепа. Может быть, они читают его мысли, угадывают его ненависть к ним, ко всей

окружающей его толпе, к их словам и делам?!

Страх метался в черепе Монти и колким ознобом спускался к коленкам, заставляя их вздрагивать мелкой-мелкой трусливой дрожью; страх стекал к пальцам, копавшимся в кармане. Этот большой широкоплечий мужчина, с головою Зевса, был сейчас так переполнен страхом, что с каждой секундой все больше утрачивал контроль над собой и представление об окружающей действительности. Воспалённое страхом воображение твердило ему, будто у всех десяти тысяч человек, собравшихся на площади, через несколько секунд,

необходимых сборщикам для того, чтобы поравняться с Монти, не будет иного желания, как только знать размер его лепты. Боязнь толпы привела его к вздорной мысли, будто на его особе сосредоточено сейчас все внимание, вся ненависть собравшихся к классу хозяев, и его, Монти, маленькая ошибка приведёт к взрыву этой ненависти, и он, Монти Грили, джентльмен, делец и великолепный игрок в бридж, падёт жертвой их ненависти тут же, немедленно! Роковой ошибкой могли оказаться несколько мелких монет, зажатых в его потной руке... Так что же, что он должен сделать, чтобы отвести от себя нависшую угрозу?

Как избежать взрыва ненависти этих молчаливых, страшных людей?..

Сознание Монти почти не участвовало в том, что делали дальше его руки. Словно посторонний, невнимательно наблюдавший за неким Монти Грили со стороны, он с трудом вспомнил потом, как дрожащие руки этого большого человека в сером пальто и таком же сером котелке выпустили на землю зонтик. Кажется, зонтик упал... Да, упал, и никто не нагнулся, чтобы поднять его из-под ног толпы. А дрожащая рука большого вспотевшего мужчины в сером пальто и сером котелке сама полезла во внутренний карман пиджака. Она достала

бумажник, судорожным движением выдернула из него банкнот, с опаской, осторожно опустила в медленно проплывавший мимо Грили испанский флаг рыжую бумажку — полфунта...

При этом лицо Зевса искривила виноватая улыбка, и Зевс угодливо приподнял котелок... Кажется, он откупился!..

Но если он не ошибается, сборщики даже не замедлили шагов, когда на растянутое полотнище, колыхаясь на лету, как опавший вялый лист, упала кредитка Монти. Кажется, даже не повернули в его сторону лица, не посмотрели на него и никогда не узнают его. Но зато он

ещё раз, навсегда запечатлел их лица — измождённые черты усталых людей, со следами угольной пыли в морщинах.

На следующий день Монти приехал на станцию часом позже, чем условился с Маргрет. Первым, кого Монти увидел на платформе, был Нед. Нед предложил идти пешком, но прогулка в две мили не устраивала Монти, он предпочёл позвонить в Грейт-Корт и подождать, пока оттуда пришлют автомобиль. В ожидании его братья расхаживали по садику около станции.

— Ты читал опровержение мисс Беннет по поводу того, что её патрон напечатал в своих газетах? —

спросил Нед.

— Не знаю ни Беннет, ни её патрона, — пренебрежительно пробормотал Монти.

— Херст сфабриковал телеграмму «от своего московского корреспондента», будто советское Министерство иностранных дел заявило о намерении решительно вмешаться в дела Испании.

При слове «Испания» Монти проявил интерес:

— И что же?

Нед расхохотался:

— Оказалось, что единственная корреспондентка Херста в Москве, эта самая Беннет, никогда не посылала подобной телеграммы.

— Что же тут смешного? —
недовольно проговорил Монти. —
Можно только пожалеть: от Херста
следовало ждать чего-нибудь
поумней.

— От берлинского воздуха
поглупел не только Херст.

— Кого ты имеешь в виду?

— Тебя, Монти!

Монти смотрел на Неда с
нескрываемым возмущением.

— Мне надоело то, что ты суёшь
нос не в свои дела!

— Народ прав: нужно помочь
Испанской республике.

— Никогда!

— Тогда вы должны будете
открыто признать свою

солидарность с фашистами, заявить, что вы заинтересованы в победе фашизма в Испании, а с нею и во всей Европе.

— Франко — это тот порядок, какой нужен нам. А ты хотел бы, чтобы миллионы фунтов, вложенные в испанские дела, стали достоянием черни?

— Испанская республика — государство народа! — воскликнул Нед и, резко повернувшись, пошёл прочь.

Монти продолжал расхаживать взад и вперёд. Ему показалось, что по шляпе стукнула дождевая капля. Он посмотрел вверх. Действительно, небо, хмурившееся с утра, было

сплошь затянуто тучами, Монти раскрыл зонтик. Когда машина подошла, Монти оглядел садик, ища Неда, но тот уже ушёл пешком.

Монти приехал в Грейт-Корт раньше, чем дошёл Нед. При входе в дом Монти брезгливо потянул носом: в холле пахло мокрой шерстью и грубой кожей. Он сразу понял, что этот неприятный запах исходит от нескольких понурых фигур, разместившихся на стульях вдоль стены. Эти люди сидели боком ко входу, и Монти бросилось в глаза: они все, как один, несмело примостились на кончиках стульев; все, как один, держали руки на коленях, как обычно снимаются у

уличных фотографов простые люди. У ног каждого, возле стула, на полу, лежала мокрая шляпа.

Все это Монти охватил сразу, одним взглядом, прежде чем посмотрел на лица странных посетителей. Он подумал было, что это рабочие, приехавшие для отделки нового свинарника Бена, но тут же сообразил, что тогда им незачем было бы сидеть тут и отравлять воздух своим отвратительным запахом бедности. Мимоходом он поднял взгляд на лица молчаливых гостей и тотчас остановился как вкопанный. Его охватило нечто большее, чем простое удивление или даже изумление: перед ним были

сборщики пожертвований на оружие испанцам! Да, да, те самые четверо угрюмых людей, что держали за углы испанский флаг, наполненный деньгами!.. А может быть, они только донельзя похожи на тех вчерашних: те же угрюмые взгляды, те же складки усталости и вот — угольная пыль, вьевшаяся в морщины у глаз. Быть может, это тоже печать бедности, такая же, как запах их одежды?..

После короткого замешательства он быстро миновал холл и, найдя Маргрет, спросил, почти крикнул:

— Кто эти люди?!

У него был такой испуганный вид, что Маргрет в удивлении

отпрянула.

— Что с вами?

— Что им нужно?

— Это делегация с наших копей в Лоу-Уотере...

— Они требуют денег для Испании?

— При чем тут Испания... Они хотят объясниться с Беном. — При этом Маргрет презрительно подняла плечи. — Будто на наших шахтах не принимается мер против обвалов или взрывов... Что-то в этом роде...

Поняв, что появление тут этих людей случайность, Монти овладел собою. Противный холодок в спине исчез.

— При чем же тут Бен? —

возмущённо воскликнул он таким тоном, словно дело шло о его собственных копиях. Обычная уверенность быстро возвращалась к нему. — В этих делах должна разбираться горная инспекция. Гоните их прочь!

— Что с тобой?.. Можно подумать, что...

Но он не дал ей договорить:

— К чорту! Это нетерпимая назойливость! — крикнул он, сознавая, что здесь не митинг, здесь нет десятитысячной толпы, в которой он чувствовал себя, как кролик. Если он и не был хозяином Грейт-Корта, то все же здесь он был в своей среде, под защитой законов

своего общества, под охраною дворецкого и целой оравы слуг. Зевс мог себе позволить кричать так, чтобы каждое слово было слышно в холле «этим четырём».

— Если каждая шахта будет посылать сюда... таких, они превратят ваш дом в конюшню. Тут же нечем дышать! — И негромко спросил: — Что сказал им Бен?

Маргрет презрительно скривила рот:

— Бен?.. Сидит себе в свинарнике и предоставляет мне разделываться, как знаю.

Тогда Монти крикнул опять во весь голос:

— Если они не уберутся тотчас,

я позвоню в полицию.

— Совершенно лишнее, — спокойно и негромко сказала Маргрет. — Они приходят уже третий раз. Посидят и уйдут, когда поймут, что им нечего ждать. — И уже совсем тихо добавила: — Мы не хотим скандала вокруг этого дела...

Она взяла Монти под руку и повела в буфетную, но на полпути он спохватился:

— Необходимо узнать их имена! Их внесут в такой список, понимаете: никто никогда не возьмёт на работу ни одного из них!

Он воскликнул это так, словно сделал радостное открытие.

Мгновение Маргрет смотрела на

него, как бы не понимая, потом так же оживлённо сказала:

— Один из них, что-то вроде их предводителя, назвал себя Ноксом... Да, именно так: Гемфри Нокс... Сейчас я узнаю, как зовут остальных.

И она поспешила к двери, ведущей в холл.

Монти нагнал её и прошептал ей в ухо:

— Гемфри Нокс?.. Который из них?

Чуть-чуть приоткрыв дверь, она показала:

— Вот тот, крайний... Видите, в рыжем костюме... Ну, да я сейчас подойду к нему... следите за мной.

И она исчезла за дверью. Монти

плотно притворил створки дверей и, присев на корточки, прильнул к замочной скважине. Ему было видно, как навстречу Маргрет поднялся высокий, худой мужчина лет сорока, с широкими, но сутуло сдвинутыми плечами и как-то странно, будто особенно устало висящими руками. Гемфри Нокс!.. Предводитель?.. Да, это один из тех, что вчера несли испанский флаг с деньгами на оружие, которое обратится против него, Монти, союзника генерала Франко... Гемфри Нокс!.. Ну что же, эти глубоко сидящие глаза с тёмными полосками на веках уже знакомы Монти. О, он их запомнил ещё вчера!.. Посмотрим, какое

выражение появится в них, когда мистер Нокс поймёт, что внесён в чёрный список!..

Когда Маргрет вернулась, совершенно успокоившийся Монти спросил:

— А Бен все ещё в свинарнике?

— Где ему ещё быть?!

При этом она презрительно скривила губы.

— Можно за ним послать?

— Нет.

— Если бы вы знали причину моего приезда, Мэгги!

— Но вы же знаете Бена... У одной семьи врачи нашли острую форму туберкулёза.

— У семьи или у свиньи?

— У семьи свиней.

— Нужно добиться, чтобы на следующем заседании Комитета по невмешательству он непременно присутствовал: он должен помешать русским! Если они добьются эффективного контроля над портами мятежников, положение будет чертовски осложнено.

Маргрет лукаво подмигнула:

— А вы уже заинтересованы и в испанских делах?.. Вот Нед доберётся...

— Нед?! Хорошо, что напомнили. Сейчас же сплавьте этих шахтёров куда хотите. Нед идёт со станции. Если он встретится с этими

в холле, скандал обеспечен!

— Пожалуй, вы правы! — Маргрет озабоченно потёрла висок и, оставив недопитую рюмку, поспешно вышла. Но, едва переступив порог холла, она увидела, что опоздала. Нед стоял, окружённый горняками. С полей его шляпы ещё падали капли воды.

Маргрет всегда была уверена, что хорошо относится к Неду. Он был для неё чем-то вроде домашнего медвежонка, скорее смешного, чем опасного, затевавшего драки с гостями, которых ему подсовывали на потеху другим. Если он скалил зубы, это не принималось всерьёз. Маргрет никогда ещё не испытывала

чувства, внезапно овладевшего ею сейчас, когда она при входе в холл увидела Неда, — может быть, потому, что она никогда не видела его в ином окружении, чем её собственные гости. В их обществе несколько большая свобода костюма и резкая манера Неда говорить и держаться казались не чем иным, как занятой экстравагантностью. Но сейчас, когда она увидела его в таком же дешёвом, вымокшем костюме, какие были на рабочих, в этой немодной широкополой шляпе с обвисшими от воды полями, Нед показался ей чужим, одним из «ЭТИХ».

— Где Бен? — спросил её Нед.

— Его нет дома.

— Он нам нужен.

Если бы Нед не произнёс этого «нам», Маргрет, может быть, ответила бы иначе, но теперь она резко сказала:

— Я уже говорила этим господам: лорда Крейфильда нет, и не будет.

На мгновение ей показалось, что Нед сейчас, вот сию секунду, потеряет самообладание. Его лицо, с которого ещё не сошёл лёгкий загар, вспыхнуло.

Нед повернулся к шахтёрам:

— Я переговорю с сэром Бенджаменом и сообщу вам!

Горняки потянулись к выходу,

убеждённые в том, что теперь их дело в шляпе.

Так же твёрдо была уверена в своём и Маргрет: когти медвежонка не могут быть опасны домашним!

Когда не было посторонних, в доме Крейфильдов не соблюдался обычай оставлять после обеда мужчин одних. Маргрет наравне с ними подсаживалась к камину с рюмкой и с папиросой и принимала участие в беседе.

А сегодня у неё и подавно не было намерения оставлять Бена с братьями. В этот послеобеденный час Беном овладевает сонливость, ему делается безразлично все на

свете, кроме разве его свиней, и он может дать опрометчивые обещания. Может обещать Монтегю «выздороветь» и явиться на заседание Комитета по невмешательству, тогда как Маргрет считает, что именно этого-то и не следует делать. Для успеха франкистов нужно, чтобы комитет подольше не собирался. План снабжения оружием Франко, о котором рассказал толстяк Маранья, показался ей великолепным. Итальянское и немецкое оружие будет теперь грузиться в различных портах, не исключая английских, под видом продовольствия и других товаров. Для этого уже зафрахтованы

суда под самыми разнообразными флагами — до греческого и норвежского включительно. О каждом таком судне будет точно известно Франко. Его военные корабли будут задерживать эти суда и отводить в свои порты в качестве призов с военной контрабандой. Во-первых, при таком способе ни немцев, ни итальянцев нельзя будет винить в посылке оружия; во-вторых, при известном искусстве, можно будет повернуть дело против русских, якобы пытающихся этим путём оказать помощь своим испанским друзьям. Чем больше времени будет в распоряжении франкистов, тем лучше. Чем дольше не соберётся

комитет, которому рано или поздно все это станет известно, тоже тем лучше...

И второе, чего не следовало сегодня допускать, — это разговор Неда с Беном. Чего он хочет от Бена? Чтобы тот дал средства на улучшение шахт? Пусть убирается со всеми своими горняками! Охрана труда в шахтах и так уже стоит достаточно дорого. Ни пенни больше того, что требует закон!

Она решительно стукнула ножкой рюмки по каминной доске и сквозь пелену табачного дыма посмотрела на братьев.

Бен с усилием разжал сцепленные пальцы и прикрыл зевок.

При всем желании он не мог заставить себя вслушаться в разговор и в полудрёме думал о своём: заболела его лучшая йоркширская самка Мадонна...

Серая каменистая пустыня Новой Кастилии подавляла Зинна своею суровостью. Ему, привыкшему к немецким пейзажам, плоскогорье представлялось библейски величественным. Даже теперь, прохладными осенними днями, его пугало это высокое солнце, не прикрытое облаками, и звонкая твёрдость почвы, лишённой растительности.

Никогда прежде Зинн не соприкасался так близко с будничной, повседневной жизнью пехотной части. Теперь он аккуратно приходил сюда в часы строевых

занятий. Он искал доводы, достаточно убедительные для всех этих хороших, серьёзных и храбрых людей, пришедших сюда так же, как и он сам, защищать республику, что их нужно часами гонять по полю, требуя умения ходить в ногу и равнять ряды. Не то, чтобы он сам не понимал значения дисциплины и значения военного обучения, но ему было как-то неловко перед добровольцами. Как политический комиссар, именно он должен был внушать систематически и упорно, что дисциплина и военное обучение — залог стойкости бригады.

Однажды Зинн внимательно следил за тем, как пожилой капрал

из батальона Тельмана, — все обличало в этом человеке бывалого солдата, — шагая рядом с бойцами, показывал им, как следует крепить фляжку, чтобы она не ударялась на ходу о лопату и не издавала шума.

— Шум может дорого стоить каждому из нас в отдельности и всему батальону в целом, — говорил капрал.

Какое маленькое дело и какой большой в нём смысл!

Зинну было приятно, что этот бывалый солдат — немец. Однако, поймав себя на этой мысли, Зинн поморщился, словно в ней было что-то постыдное для политического комиссара Интернациональной

бригады. Он перешёл на другую сторону плаца, где обучался батальон Домбровского.

Назначение Зинна комиссаром было для него самого неожиданностью, большой и приятной. Не только потому, что оно означало доверие командования и партии, но и потому ещё, что в такой бригаде, как эта, комиссаром можно было назначить только человека, пользующегося безусловной популярностью среди бойцов и офицеров. Значит, Зинн обладал этой популярностью. Он понимал, что обязан ею не столько военным талантам и своей партийной безупречности, сколько, пожалуй,

песням. Только здесь он увидел, что песни, певшиеся им в Германии, находили отклик далеко за её рубежом. Имя Зинна и его голос, оказывается, знали рабочие Австрии, Венгрии, Франции, Чехии, даже Болгарии, даже Италии, где слушание их было сопряжено с риском очутиться за колючей проволокой концлагеря или за решёткой тюрьмы. Такая популярность и обрадовала Зинна и несколько испугала.

— Рад, очень рад! — сказал генерал Матраи, прочитав приказ о назначении Зинна.

— Я даже не могу сказать, что рад: это для меня праздник.

— Мы с тобою почти в одном положении... — Добродушное лицо Матраи сделалось необыкновенно серьёзным, даже, как показалось Зинну, грустным. — Банда Хорти якшается с Муссолини и Гитлером. Одного этого было бы достаточно, чтобы в глазах простых людей всего мира сделать позорным слово «венгр». И вот, — гордость зазвучала в голосе Матраи, — я почувствовал себя здесь человеком, который должен доказать, что венгры, честные венгерские люди, такими и остались!

— Я тебя понимаю, — сказал Зинн.

Да, да, Матраи прав.

Трудная задача!

Не случайная московская встреча свела здесь генерала Матраи и певца Зинна. Это было закономерностью дружбы, великого единства лучших людей, всего передового человечества. Все они знали, зачем идут сюда и на что идут. Не было случайностью и то, что в батальонах интернациональных бригад было много посланцев народов, задавленных игом фашистской деспотии. Тут были немцы и итальянцы, болгары и сербы, венгры и сыны многих южноамериканских народов. Все они пришли на помощь испанскому народу, своему брату, такому же

великодушному, как и их собственные народы, такому же храброму и вольнолюбивому, народу хлебопашцев и пастухов, моряков и зодчих, художников и певцов. Кто знает, быть может, наступит время, когда бригады иностранных добровольцев, сражавшихся в Испании, придут в свои собственные страны в роли освободителей? А пока надо было выполнять свой долг здесь. Интербригадовцы были гордостью бойцов среди массы испанцев, взявшихся за оружие, чтобы защищать свою страну; друзья Матраи понимали, что они только посланцы мировой семьи народов, борющихся за свободу. Но они несли

своим братьям — испанцам — боевую дружбу трудящихся всех стран; они несли испанцам свой военный опыт. Тут, на полях и в горах Испании, они плечом к плечу с самими испанцами дрались против общего врага — фашизма.

Адъютант генерала Матраи, молодой испанец, поэт Хименес Руис, сказал:

— Одно из двух: мы победим — и снова расцветут города Испании и земля покроется посевами и садами, или победят они — и тогда ещё целый век над историей Испании будут витать зловещие тени Филиппа Второго и Торквемады.

— Филипп будет итальянского происхождения, а на задку Торквемады, под штанами, окажется метка: «Сделано в Германии», — смеясь, ответил Матраи.

Руис усмехнулся.

— Вероятно, вы правы, генерал, но и это будет не самое страшное.

— По-моему, хуже трудно придумать! — возразил Зинн.

Руис покачал головой.

— Не кажется ли вам, что гораздо опасней для нас, испанцев, и для всего мира, если окажется, что, потеряв марку «Сделано в Германии», вы вдруг обнаружите под нею нечто совершенно неожиданное... — Он интригующе

помолчал и закончил: — «Сделано в Англии» или «Сделано в Америке».

Послышалось несколько восклицаний.

— А что, по-вашему, — продолжал Руис, — случайность, что в первые же дни мятежники захватили не Мурсию, не Валенсию, не Каталонию и даже не Новую Кастилию с Мадридом, который им очень нужен? Нет, они заняли именно Андалузию, чтобы избавить от всяких случайностей рудники «Рио-Тинто» и опереться спиной на скалу Гибралтара; именно Галисию с Эль-Ферролем и Виго, чтобы иметь открытый выход в Бискайю, куда хорошо знают дорогу английские

корабли?

Молча сидевший в уголке Арчибалд Крисс, высокий, худой англичанин, начальник связи бригады, осторожно, сразу всеми пятью пальцами, чтобы она не развалилась, вынул изо рта размахрившуюся сигару.

— К чорту такие разговоры, Руис!

— Я не о таких англичанах, как ты, Арчи!

— А таких, как я, миллионы!

— Но этими миллионами командует несколько десятков таких, которые владеют «Рио-Тинто», и Тин-Беральд, и Альмоденой, и...

— К чорту!

— Вот об этом я и говорю, — сказал Руис.

Бела Варга, венгр, командир разведывательного эскадрона, маленький, круглый и чёрный, с кудрявою гривой волос, отошёл от стола, за которым перерисовывал кроки.

Остановившись напротив Руиса, Варга расставил короткие крепкие ноги и, держа на отлёте дымящуюся сигару, громким и хриплым, будто простуженным, голосом воскликнул:

— К чорту в первую очередь всех негодяев всех национальностей, будь то венгры, англичане, кто угодно, — тех, кто впился в тело испанского народа и сосёт его кровь

вместе с его собственными испанскими пиявками!.. Но пусть мне теперь членораздельно объяснят, почему нас держат в резерве?

— Нашу бригаду, Бела?

— Нашу бригаду, Хименес!

Нашу отличную бригаду, люди которой сошлись со всего света для того, чтобы драться, а не сидеть в резерве!

Писавший за столом у окна начальник штаба, немец Людвиг Энкель, искоса посмотрел на генерала Матраи, внимательно следившего за спором своих офицеров.

— Мне, ему, ему, — все более горячась, говорил Варга, указывая

коротким пальцем на окружающих офицеров, — Испания дороже, чем всем этим типам из мадридских дворцов, хотя мы и не испанцы!

Генерал поднялся из-за стола и, встав между Варгой и Руисом, обнял обоих за плечи.

— Весь вопрос именно в этом, — сказал он: — кому дорога Испания.

Руис задумчиво произнёс:

— Да, в этом все дело. Вы можете мне не поверить, но родина ещё никогда не была мне так дорога, как теперь, когда я очутился с вами... Это даже странно.

— Ничего странного, — сказал Матраи. — Разве наша сила не в

железном единстве антифашистского фронта всех народов?

Медленно покачиваясь, Руис произнёс:

— Не знаю, была ли ещё у какого-нибудь народа такая трудная история? Пролил ли ещё какой-нибудь народ столько своей крови, как испанцы, в слепом подчинении королям и церкви?

— Да, чорт побери, — проворчал Крисс, — ваша испанская церковь впоена человеческой кровью, она была страшна, как никакая другая.

— Была?! — воскликнул Руис. — Если бы только была! Посмотрите на неё сейчас, — это же

клоака, в которой шипят и беснуются рептилии. Инквизиция перестала действовать открыто, она научилась маскироваться, но так же, как и во времена Торквемады, она гонит людей в тюрьмы и на эшафот. Она не сжигает их посреди площадей, но разве попасть в подвал Франко — это лучше, чем сгореть на костре? Инквизиторы не заседают больше в камере пыток, но посмотрите, что делают с людьми в застенках немецкой гестапо, польской дефензивы, итальянской овры! И кто загоняет туда жертвы? Попы! Кто провожает их на эшафот с крестом в одной руке и с верёвкой в другой, совсем как триста лет назад?.. Попы!

— Успокойтесь, мальчик, — ласково проговорил Матраи. — Скоро все это будет только материалом для какой-нибудь исторической поэмы о «великих инквизиторах», в назидание грядущим поколениям. Но эти поколения никогда уже не увидят ничего похожего на то, о чём ты рассказываешь, никогда не услышат стона жертв. Наша с тобою кровь, если ей суждено пролиться, — последняя, которая будет отдана в борьбе за освобождение человечества от чёрных пут поповщины.

— Ах, генерал, как я хочу вам верить!.. Как я верю!.. — Поэт

подбежал к Матраи и схватил его руку двумя своими тонкими загорелыми руками. — Когда я слушаю вас, мне всегда кажется, что все мы пишем какую-то новую страницу прекрасной поэмы, большую и очень важную. И это так замечательно, что именно вы, и он, и он, и он, — Руис поочерёдно указывал на офицеров, — сыны народов, казавшихся далёкими от нас, стоите здесь, в одном ряду с испанцами. Это так прекрасно, генерал! Мне хотелось бы написать об этом стихи, такие замечательные, каких я никогда не смогу написать...

— Напишешь, Руис, — сказал Матраи и, освободив свою руку из

горячих ладоней юноши, положил её ему на плечо. — Ты напишешь их потому, что твоя душа полна самых прекрасных стихов, самых прекрасных идей и чувств, какие могло породить сознание человека: чувств братства народов, идей единства и веры в победу нашего дела — самого правого дела, за которое когда-либо дрались солдаты. Разве мы с вами не продолжаем то, что русские начали в семнадцатом году?

— Это как большой праздник, — мечтательно проговорил поэт. — Наш общий праздник... И именно теперь, когда наш народ впервые по-настоящему взялся за создание своей истории,

фашисты хотят перерезать нам глотку?

— Сначала они должны будут перерезать глотки нам.

— Вы говорите об интернационалистах, генерал?

Маленькой крепкой, как железо, рукой Матраи сжал плечо адъютанта:

— Руис, милый мой поэт! Я говорю и о нас, интернационалистах, и о вас, испанских патриотах. Мы — это значит все честные люди, взявшиеся за оружие, чтобы помочь испанскому народу отстоять своё право на такое государство, какое он хочет иметь... Я хорошо понимаю, Руис: наши силы, всех нас, собравшихся сюда с разных концов

света, может быть, и не так уж велики по сравнению с силами самого испанского народа. Но он должен знать, и весь мир должен знать: мы здесь для того, чтобы отстоять вашу испанскую свободу, которая является частью нашей — венгерской, польской, французской, болгарской, китайской свободы...

И, словно продолжая мысль Матраи, Зинн вполголоса запел:

Франко и Гитлер, плох ваш расчёт!

Мы защищаем испанский народ...

И офицеры дружным хором
подхватили:

Все планы Франко
Мы впрах разрушим...

Вестовой подошёл к Руису и
шопотом что-то доложил.

— Пусть входит, — сказал Руис
и негромко доложил генералу: —
Новый товарищ...

Матраи кивнул и направился к
столу, за которым все с тою же
сосредоточенностью продолжал
писать Энкель. Генерал был на
половине пути к столу, когда дверь
отворилась и в комнату вошёл Кеш.

Матраи подбежал к нему, схватил за плечи, сильным движением повернул к свету.

— Не может быть?.. Михаэль!

Повидимому, свет лампы ослепил Кеша после темноты улицы. Он снял очки и осторожно прикрыл пальцами глаза.

— Поздравляю, генерал, — сказал Кеш.

— С чем?

— Завтра вы выступаете!

Матраи радостно поднял стакан.

— Друзья!..

Он ничего больше не сказал, только оглядел своих офицеров и осушил стакан.

Варга и Руис чокнулись.

Энкель посмотрел из-под очков на генерала и, подумав, стал аккуратно складывать разбросанные по столу бумаги. Через полчаса дом погрузился в темноту.

После полуночи, как было условлено, Зинн зашёл за Матраи, чтобы вместе обойти расположение бригады. Подойдя к незавешенному окошку, Зинн заглянул в него, прежде чем стукнуть в стекло. У стола все так же сидел Людвиг Энкель. Его рука с пером все бегала по тетрадке. Это, конечно, была не книжка приказов, а личная тетрадь писателя Энкеля. В неё он ежедневно, пользуясь каждой свободной минутой, записывал свои

наблюдения для романа, над которым не переставал работать ни при каких обстоятельствах, к добродушной зависти генерала.

Матраи сидел в дальнем углу, на походной койке, закинув руки за голову. Глаза его были закрыты, брови насуплены. Когда Зинн осторожно стукнул в окошко, Матраи поднял голову и посмотрел на зажатый в руке листок, потом вокруг себя. Можно было сказать с уверенностью, что мысли его вернулись издалека. Он быстро встал и, надев фуражку, вышел к Зинну. Стоя на крыльце, он достал бумажник и бережно вложил в него листок, который все ещё держал в

руке.

— Мои только что вернулись из Беликов, — смущённо пояснил он, словно было что-то стыдное в том, что он хотя бы на короткое мгновение отдался личному.

Зинн знал, что в Беликах, деревне на Полтавщине, Матраи, уезжая в Испанию, оставил на лето жену и дочь.

Они молча шагали по каменистой дороге. Сдержанный вздох Матраи как бы дал Зинну понять, что с личным покончено...

Когда они вернулись в штаб, Энкель поднялся из-за своего стола и торжественно вручил генералу бланк

депеши.

«Копия Мадрид.

*Центральному Комитету
Коммунистической
Партии Испании.*

Товарищу Хосе Диас.

*Трудящиеся
Советского Союза
выполняют лишь свой долг,
оказывая посильную
помощь революционным
массам Испании. Они
отдают себе отчёт, что*

*освобождение Испании от
гнёта фашистских
реакционеров не есть
частное дело испанцев, а
— общее дело всего
передового и
прогрессивного
человечества.*

Братский привет!

И. Сталин».

Матраи прочёл текст и,
обернувшись к Зинну, протянул ему
депешу.

— Смотри, привет партии! —
сказал он.

Монти отпустил таксомотор у министерства внутренних дел и нырнул под арку Кинг-Чарльз-стрит, чтобы кратчайшим путём выйти к тому месту, где надеялся перехватить Флеминга. Он знал, что Флеминг всегда проходит вдоль решётки Сент-Джеймского парка. Место казалось Монти удобным, чтобы поговорить с проклятым упрямцем, чьё влияние на Бена проявилось вдруг с такою силой. Кто бы мог думать, что все советы Маргрет будут так легко забыты Беном и ни одно обещание, из данных им Монтегю, не будет исполнено под влиянием

нашептываний какого-то чиновника, неизвестно откуда взявшегося!

Впрочем, тут Монти кривил душой. Он отлично знал, что мистер Флеминг как бы заимообразно дан министерством колоний министерству иностранных дел на время работы Комитета по невмешательству. Попытки Маргрет уговорить мужа отказаться от Флеминга наталкивались на сопротивление Бена. Монти не хуже самого Бена знал причину его упрямства: Флеминг был на редкость расторопный человек. Ему было за сорок, и вообще это был вполне солидный мужчина, имеющий за спиною два тома научных трудов о

бабочках Новой Гвинеи. Когда стало известно, что мешающий проискам спекулянтов секретарь комитета — энтомолог, Монти решил, что, купив ему сачок и коробку для собирания бабочек, он овладеет душою и телом простака.

Но простак оказался вовсе не так прост. Отличный знаток канцелярских порядков, Флеминг сразу же завоевал подступы к сердцу председателя тем, что содержал делопроизводство комитета в идеальном порядке. Любая справка могла быть получена в течение нескольких минут; стенографические отчёты заседаний, аккуратно отпечатанные и изящно

переплетённые, быстро рассылались
послам — членам Комитета по
невмешательству в дела Испании.
Бен блаженно улыбался, выслушивая
комплименты чёткой работе
комитета. Но и это удовольствие
было сущим пустяком по сравнению
с той пользой, какую Флеминг
приносил Бену в процессе самих
заседаний комитета.

Привыкнув улавливать
подаваемые шопотом советы
секретаря, Бен обнаружил
неожиданную для всех способность
принимать решения, не съездив
домой.

Именно это-то и противоречило
планам Монтегю. Помимо того, что

Монтегю удалось задёшево купить в Испании участок с богатыми запасами олова, он ещё взял на себя проведение очень выгодной операции с переотправкой франкистам большой партии оружия из Гамбурга. Способ доставки в Испанию оружия, рассказанный ему Маргрет, оказался великолепным. Два парохода уже были «конфискованы» Франко.

Наведя справки о Флеминге, Монти с достоверностью установил, что никаких доходов, кроме министерского жалованья, у того не было. Жалованья могло хватать на самую скромную жизнь. Научная работа энтомолога не давала

Флемингу ничего, — напротив, его сбережения ушли на издание двух книг. Третья, по мнению Флеминга самая ценная, до сих пор не была опубликована. Одновременно Монтегю узнал и то, что именно издание работы о *Troides (ornithoptera) meridionalis* Rothschild является своего рода навязчивой идеей чиновника-энтомолога. На этом-то пункте Монти и решил построить свою атаку: он поможет Флемингу издать книгу, потом подсунет ему пакет второсортных испанских бумаг — и Флеминг будет у него в руках, а с Флемингом — и Комитет по невмешательству.

Ничего не подозревавший объект

этих происков, мистер Флеминг, размеренным шагом шёл вдоль ограды Сент-Джеймского парка. Мелкий дождь шуршал по его раскрытому зонту. Скатывавшиеся на спину капли собирались в струйки и стекали сзади по плащу на брюки. Но мистер Флеминг не думал ни о дожде, ни о намокших брюках. Его мысли были далеко. Они витали в насыщенных парной духотой зарослях Новой Гвинеи, где он провёл лучшие годы жизни и собрал коллекцию бабочек, доставившую ему звание корреспондента Королевского общества. Взгляд его машинально скользил по деревьям с той стороны ограды, но вместо их

серых, уже наполовину оголённых ветвей перед его умственным взором проплывала густая зелень далёкого острова.

В этот получас прогулки между вокзалом и министерством, ещё принадлежавший ему, Флеминг имел право отдаться тому, что было подлинным смыслом его существования на протяжении последних лет, — мечте об акклиматизации на Британских островах великолепной гвинейской бабочки. Это было тем слабым местом Флеминга, какое существует в психике почти каждого человека. Будучи практиком и приверженцем реалистического взгляда на все

явления жизни, там, где дело касалось бабочек, Флеминг сразу соскальзывал с почвы реальности. Он искренне полагал, что появление огромной черно-зелёной красавицы в садах Англии было бы событием.

По мере того как за серой сеткой дождя вырисовывались контуры правительственных зданий, служебные мысли начинали вклиниваться в приятные размышления о бабочках. И, раз уже переключившись на мысль о службе, Флеминг не возвращался к бабочкам. Он был исполнительный чиновник и старательно относился ко всякому делу, порученному ему начальниками.

Попав недавно в комитет, Флеминг без труда понял, что истинной целью представленных в нём правительств, кроме Советского, является такое ведение дел, которое не мешало бы генералу Франко одержать победу над республикой. Франция и Англия не составляли исключения, несмотря на все давление, какое массы этих стран оказывали на свои правительства. Повидимому, немалое влияние на ход дел в комитете оказывали и международные круги спекулянтов, спешивших нажиться на войне в Испании.

Все это быстро стало ясно Флемингу. Стало ему ясно и то, что в

отношении Испанской республики все это было действительно вопиющей несправедливостью. Но ведь его послали сюда вовсе не для того, чтобы бороться за справедливость. Его обязанностью было создавать порядок в канцелярии комитета. И только. Даже если бы в душе его шевельнулось желание чем-нибудь помочь республиканцам, он легко подавил бы его. Впутываться в дела, которые его не касались, — за испанцев или против них, — значило рисковать служебной карьерой, а следовательно, и возможностью приватно заниматься бабочками...

Монти поймал мистера

Флеминга уже совсем недалеко от подъезда министерства. Ему пришлось даже сделать несколько быстрых движений, чтобы пересечь Флемингу дорогу. Монти радостно хлопнул себя по лбу, словно неожиданная встреча с Флемингом заставила его что-то вспомнить.

— Как кстати я вас встретил!

Флеминг с равнодушным видом складывал зонтик.

— Да, это чрезвычайно удачно! — повторил Монти. — Кто-то говорил, будто вы занимались в колониях чем-то таким... — Монти щёлкнул пальцами, вспоминая ускользнувшее слово: — энтомологией, о!

— Совершенно верно! —

Флеминг с недоумением посмотрел на Монти: репутация брата председателя комитета была ему хорошо известна, но не думает же он, что бабочек можно разводить с целью дохода?!

— У вас есть труды по этой части? — спросил Монти.

— Да.

— Я имею в виду неизданные труды.

— Да.

— Я начинаю издательское дело... такая, знаете ли, серия: «Богатство фауны Британской империи».

В глазах Флеминга снова

загорелся свет, погасший при приближении к служебному порогу.

— Да?

— Меня особенно интересует фауна наших заморских владений: Новая Гвинея и тому подобное.

— Моя работа касается бабочек Новой Гвинея, — скромно сказал Флеминг.

— Отлично! — воскликнул Монти. — Мы можем купить вашу рукопись! Вы слышите: мы покупаем ваш труд, мы платим деньги!

— Это интересно, — неуверенно произнёс Флеминг.

Монти удивлённо посмотрел на него. Он в первый раз в жизни видел человека, который при слове

«деньги» колебался или думал о чём-то другом. Теряя терпение, он сказал:

— Несите вашу рукопись — и завтра же чек!

— Да, да... Это очень интересно.

Флеминг приподнял шляпу и исчез в подъезде.

Завернув за угол, Манти остановился. Совершенно новая идея пришла ему на ум: чек Флемингу он, конечно, выпишет завтра же, но рукопись... да, рукопись он не станет печатать: он её законсервирует. Это будет отличный способ воздействовать на Флеминга! Может быть, даже не понадобится дарить ему испанские бумаги.

Один из добровольцев, здоровенный детина, лежавший слева от Даррака, с интересом, в котором сквозило лёгкое презрение, следил за тем, как тот в третий раз принимался устраивать себе прикрытие. Француз делал это, подтягивая к себе кирпичи и аккуратно складывая их в дыре, пробитой снарядом.

— Послушай, Луи, — сказал доброволец, — ты, верно, воображаешь, что это коробки с шоколадом?

Добровольца звали Айком Стилом. Он был американец, когда-

то строительный рабочий, потом авиационный механик, превратившийся теперь в пехотного солдата. У республики было слишком мало самолётов, чтобы использовать около них всех, кто умел с ними обращаться. Не было ничего мудрёного в том, что Айк лучше скрипача знал, как обращаться с кирпичом.

Айк боком подполз к Дарраку и, сдвинув вместе два больших обломка стены, устроил надёжный бруствер.

— Можно подумать, что вы занимались этим всю жизнь, — вежливо проговорил Даррак.

— Отец мне всегда толковал, что никакая наука не пропадёт

даром. А этому я научился двадцать лет назад, когда нас приволокли в Европу такими же цыплятами, как ты сейчас. Вот и выходит, что мой старик был прав — наука не пропала.

Гулкий удар мины под самой стеной заглушил конец фразы Стила. Все прижались к полу.

Стил стряхнул с себя осыпавшуюся со стены извёстку.

— Все это было бы пустяками, если бы мародёры не стреляли по нас из американских миномётов!

— Хорошо, если бы только из миномётов... — проворчал кто-то рядом. — Говорят, у них все иностранное: от пушек до рубашек. А раз так, наверно, уж не дали маху

ни ваши американские, ни всякие другие товарищи.

Даррак молча слушал, глядя поверх бруствера на небо, на видневшиеся впереди деревья Касадель Кампо и на развалины домов между этими деревьями и тем строением, которое занимала их собственная рота.

Вероятно, ещё недавно тут помещалась факультетская библиотека. Вороха книг с шорохом и стуком сыпались за спинами бойцов при каждом близком разрыве. Шкафы разваливались от сотрясения; ни в одном из них давно не было стёкол.

— Мир — удивительная

штука, — сказал англичанин Крисс. — Идёт оживлённая торговля всем, чем можно: на американские деньги покупают немецкое оружие для франкистов; французы делают к этим пушкам снаряды, чтобы стрелять в нас же, французов.

— Уж это ты брось, — слышался голос эльзасца Лорана, — французы не станут делать снаряды для этой сволочи!

Стил протяжно свистнул.

— Чем французский фабрикант лучше нашего? Одна шайка. Одна во всем свете. Особенно эти, которые делают оружие!

— Только не французы, — упрямо заявил из своего угла Лоран.

— Да что они тебе дались, словно у тебя самого оружейная фабрика! — со смехом крикнул боец, устраивавший себе ложе из книг.

— Честное слово, Лоран, ты меня удивляешь, — терпеливо сказал Стил. — Ты что, приехал сюда как адвокат фашистов?

— Я приехал, чтобы ещё раз набить морду бошам. Вот и все, — сказал Лоран.

— Тогда тебе предстоит ещё очень многое понять. Но ты не...

— Да ты не отчаивайся, Лоран, — со смехом перебил новый боец, — тут ты все скоро поймёшь. Ребята из разведки говорили, что вчера напоролись на склад снарядов

у батареи башибузуков. Снаряды имели клеймо Шнейдера.

— Крезо? — недоверчиво спросил Лоран.

— А то какого же?

Лоран все ещё недоверчиво покачивал головой:

— К немецким пушкам?..

— По маленькому открытию каждый день... — начал Стил.

— ...и ты уедешь отсюда профессором, — закончил другой боец.

— Хотел бы я знать, — в раздумье произнёс Лоран, — какого чорта они тянут там, в Комитете по невмешательству.

— Он для того и создан, чтобы

тянуть, — вставил замечание Даррак.

— Ты был там? — насмешливо спросил Лоран. — А я был в Париже, когда Блюм предложил его, это самое невмешательство. У него были честные намерения.

— Честные намерения старой шлюхи, — сказал Стил.

— Но, но! Блюм всё-таки наш, социалист.

— Банкирский сынок-то? Знаем мы таких социалистов. Вроде лейбористов из лордов... Знаем, — веско проговорил англичанин, до сих пор слушавший молча. — Скажи, дружище, сам ты кто, из рабочих?

— А то кто же, — обиженно ответил Лоран, — жестянщик я и,

говорят, не из последних... Только не везёт мне в жизни, давно сижу без работы.

— Значит, не по пути тебе с Блюмом, товарищ, послушай лучше коммунистов, — сказал Крисс.

Грохот нового разрыва заглушил ответ Лорана. Это уже была не мина. Снаряд разорвался, ударившись в стену следующего дома.

— Наше счастье, что они стреляют, как сапожники. А то с их запасом снарядов...

Звук резкий, свистящий и очень быстро удаляющийся снова пронизал пространство. Так же мгновенно, как возник, он разрешился хлещущим отрывистым ударом разрыва где-то

далеко позади библиотеки.

— Удивительно, — сказал Стил. — К этому времени они обычно уже стелют кровати для послеобеденного отдыха, а тут... Они что-нибудь затевают!

Огонь фашистов усиливался. Над головами бойцов снова и снова слышался скрипучий, вибрирующий свист пролетающих снарядов.

— Сточетыреммиллиметровки, — определил Стил.

Остальные молчали, инстинктивно наклоняя головы при звуке приближающегося снаряда. Почти все они прежде были солдатами. Их нельзя было удивить орудийным обстрелом, но то, что

начиналось сегодня, происходило тут в первый раз. В пролом стены, за спинами бойцов, было видно, как на склоне холма, где расположены резервы Интернациональной бригады, дымные облачка разрывов сливались в сплошную тучу. Она меняла окраску, шевелилась, как живое существо, то вспухая, то брызжа в стороны длинными чёрными лучами, то выбрасывая вверх стремительные фонтаны жёлтого или белого дыма. Пламя пронизывало тучу то золотистыми стрелами, то языками — оранжевыми и яркими, как клочья начищенной меди.

Даррак видел такое впервые, так

же как и Лоран.

Тяжёлый снаряд, пронизав угол дома, обдал всех дождём кирпичных обломков. Обгоняя их, истерически завизжали осколки снаряда. Один из них со скрежетом царапнул стену над Дарраком и врезался в паркет, торчком, как матросская свайка. Кусочек металла ещё дрожал и гудел подобно камертону, когда Даррак с любопытством потянулся к нему, но под общий смех бойцов тотчас испуганно отдёрнул руку: рваные края осколка обожгли ему пальцы, как зубья раскалённой пилы.

— Когда такая штука попадает в человека, она распарывает его, как мешок с требухой, — проворчал кто-

то.

Даррак с недоверием посмотрел на осколок. Он был не более трех-четырех дюймов в длину. Но его зазубренные края выглядели зловеще.

— Да, — сказал Стил, — представить себе это может или тот, кто тут побывал, или сумасшедший.

— Эти могут все, — рассмеялся кто-то.

— Мы с вами, ребята, тоже можем все, — уверенно сказал Стил. — Ну-ка, скажите мне, чего мы не можем?

— Знать, для какого чорта они затеяли сегодня эту кутерьму.

— Небось, Матраи уже догадался.

— Это верно, — отозвалось сразу несколько бойцов. — Наш генерал наверняка уже знает всё, что нужно!

— Я проторчал в окопах всю ту войну, — задумчиво проговорил пожилой боец, — но, убейте меня, не видел такого генерала. Да и не думал, что такие бывают.

— Говорят, в России...

— В России. Мало ли что есть в России и чего мы никогда не увидим!

— А может быть, и увидим, а? — мечтательно проговорил боец помоложе. — Ради чего же мы сейчас валяемся тут, как не ради того, чтобы увидеть, наконец, то же, что увидели русские?

— Пожалуй, — согласился пожилой боец. — Ты сказал именно то, что я не знал, как выразить.

Даррак закрыл глаза и прижался лбом к прикладу винтовки. Он, кажется, понемногу привыкал ко всему: к жужжанию пуль, к реву снарядов, к бессоннице и грязи, даже к тому, что он давно уже не видел свою, оставленную в ротном обозе, скрипку. Наконец, он, повидимому, привык даже к тому, что его пальцы, длинные тонкие пальцы скрипача, были черны от многодневной грязи и покрыты ссадинами. Ему казалось, что он привык ко всему. Ко всему, кроме одного: он не мог привыкнуть к раненым. Да, это было, пожалуй,

единственным, к чему ещё не мог тут присмотреться Даррак — раненые, страдания раненых.

Между тем беседа под грохот канонады продолжалась.

— Мы должны с этим покончить, — сказал Стил.

— Чтобы покончить с этим, нужно покончить с Германией! — непримиримо крикнул Лоран.

— Милитаризм — это не только Германия, — возразил Стил.

— Но сегодня его зовут «Германия»!

— Я вам скажу, ребята, — проговорил Крисс: — наши британские лорды в этом отношении немногим лучше немцев.

— А американские «короли» и их прихлебатели?

— Пожалуй.

— А французы из этих самых... «двухсот», так те и вообще.

— Это так, — поправил Стил, — но во всех этих странах ещё есть и люди, способные протестовать и бороться против того, что их делают пешками в этой проклятой игре.

— И они должны победить, непременно должны! — сказал Даррак.

— Кого? — спросил кто-то.

— Фашистов.

— Этого мало. Победить нужно не фашистов, а фашизм, не

генералов, а войну. Войну как таковую, чорт её побери! А для этого нужно свернуть шею хозяевам — тем, кто стоит за фашистами и за генералами.

— Ради этого мы и здесь, — снова сказал Стил.

— И попомните моё слово, ребята, — сказал англичанин: — драться нам придётся не только здесь!

— Верно, Крисс, — со спокойным кивком подтвердил Стил. — Здесь, в Испании, мы даём первый открытый бой всей международной шайке. А когда-нибудь, — и в его голосе слышалась мечтательность, —

соберёмся опять вместе, все, всей бригадой, но тогда в ней будет уже не десять тысяч, а десять миллионов штыков, и окончательно загоним в могилу всю шайку...

— Хватит! — испуганно сказал Лоран.

— С тебя уже хватит! Вот блюмовская школа! — насмешливо произнёс американец. — Нет, эльзасец, когда мы покончим с этим здесь, нам придётся ещё немало драться. Может быть, даже у себя дома.

— Со своими? — спросил Лоран.

— Иначе их не приведёшь в чувство, — сказал Крисс.

— Ты прав, — сказал Стил, — настолько-то мы с тобою знаем собственных сволочей.

— Эй, эй, глядите-ка, ребята! — крикнул пожилой боец.

Он высунулся было в наполовину заложённое мешками окно, но пули франкистов тотчас заставили его отползти обратно. Следом за ним и все стали смотреть на небо, которое было хорошо видно в дыру, зиявшую на месте стеклянного купола библиотеки.

— Проклятое вороньё, — сердито проговорил пожилой боец. — Всегда так, десять на одного... Заключают!

— Не заключают! — сказал

молодой. — Смотри, как он даёт им.

Истребитель с республиканскими знаками на крыльях отбивался от десятка насевших на него итальянских «Фиатов». Он уже сбил одного; второй, дымя, поспешно уходил в своё расположение. Но силы были слишком неравны. Дело кончилось тем, что республиканский самолёт загорелся, завертелся в воздухе, начал штопорить. Вот от него отделился падающий лётчик. Через несколько секунд над его фигуркой брызнула струя белого шелка, а ещё через мгновение раскрылся парашют.

Затаив дыхание, бойцы следили за тем, как ветер несёт лётчика к

зданиям Университетского городка. Им казалось, что лётчик упадёт прямо на железные стропила разбитого купола библиотеки.

Но случилось нечто худшее: лётчик упал между позициями своих и франкистов. Из окопов фашистов тотчас поднялся пулемётный огонь. Они стреляли со всех точек, с которых могли достать до места падения лётчика свинцовыми струями своих пулемётов.

Потом между лётчиком и франкистской позицией разорвалось несколько ручных гранат. Но они до него не долетали.

— Его счастье, — с облегчением проговорил пожилой боец. — Ночью

ему удастся переползти к нам.

— До ночи они добьют его из миномётов, — заметил Даррак.

— Так или иначе, они до него доберутся, — сказал молодой боец. — А впрочем... впрочем, мы им не дадим. Верно, ребята?

— Что ты хочешь сделать?

— Мы должны его вытащить.

Стил в сомнении покачал головой:

— Разве только когда стемнеет.

— Я об этом и говорю, — подтвердил молодой.

— Верно, друг, — согласился Крисс. — Как только стемнеет, мы должны его вытащить.

— Непременно вытащим! —

послышалось несколько голосов.

Стил согнул из железного листа нечто вроде рупора, чтобы предупредить лётчика. С ним пробовали заговорить на всех языках, какие были известны бойцам, но он не откликнулся ни на один.

Последним сделал попытку окликнуть лётчика Лоран.

— Поговори-ка с ним по-немецки, — предложил кто-то.

К всеобщему удивлению, лётчик на этот раз действительно отозвался. Он оказался чехом.

Повидимому, франкисты разгадали намерение республиканцев. Через короткий промежуток времени из их окопа

послышалась немецкая речь. Франкисты обратились к лётчику с предложением выбирать: с наступлением темноты переползти к ним или быть сожжённым из огнёмёта, который сейчас будет доставлен во франкистский окоп.

Интернационалисты молча переглянулись...

Сумерки сгущались.

В неприятельском окопе было заметно движение. Вскоре оттуда крикнули на испанском и немецком языках, что огнёмётчики прибыли, огнёмёт установлен.

— Что делать? — спросил пожилой доброволец. — Не можем же мы им позволить сжечь этого

чешского парня... Послушай, Лоран, крикни, чтобы он попробовал переползти поближе к нам.

— Не нужно! — Стил остановил Лорана. — Ещё слишком светло. Скажи ему только, что мы постараемся ему помочь.

Некоторое время лётчик молчал. Потом удалось с трудом разобрать его ответ: он ранен в ногу, он не может двигаться.

— Ранен в ногу? — сказал пожилой боец. — Ну что же, придётся его оттуда вынести.

Стил оглядел небо. На его потемневшем фоне блески разрывов становились все ярче.

— Через полчаса будет

темно! — сказал Стил, и все поняли, что это значит: через полчаса они должны спасти чеха.

Переползая от простенка к простенку, Стил перебрался в соседнюю комнату, где находился командир роты. Посоветовавшись, они вызвали по телефону батальон и сообщили о положении лётчика. Через пять минут из батальона позвонили и сообщили, что точно засекли огнёмёт. Командир батальона обещал ровно через полчаса выпустить по нему из своей единственной пушки пяток снарядов. Большого он обещать не мог.

С этой вестью Стил вернулся к своим. Пулемётчики дали несколько

коротких пристрелочных очередей, чтобы попытаться, когда наступит момент, заткнуть плотку пулемётам франкистов. Стрелки приладили винтовки. Каждый выбирал себе точки поприметней, чтобы не тратить зря патронов, когда станет темно.

В библиотеке воцарилась тишина.

Затихли и фашисты.

Однако они молчали не долго. Вскоре послышался глухой выкрик из мегафона:

— Эгей, лётчик! Даём тебе пять минут, чтобы собраться в дорогу... либо к нам, либо на тот свет.

Как бы для придания веса своим

словам, франкисты выбросили из
огнемёта короткую струю,
мгновенно воспламенившую
несколько срезанных снарядами
пней между позициями. Они сгорели
быстро и ярко, как ракеты.

Даррак ещё никогда не видел
действия огнемёта.

— Боже мой! — вырвалось у
него.

— А ты думал, шутки? —
усмехнулся пожилой солдат.

— Вот мерзавцы, —
пробормотал Лоран. — Какие
мерзавцы, о господи!

Стил посмотрел на часы.

— Придётся поспешить.

Он послал бойцов позвонить

командиру батальона, чтобы вызвать огонь на огнемётную точку немцев не через полчаса, как было условлено, а через пять минут.

— По первому же выстрелу пушки начнём вылазку, — сказал Стил.

Глядя на опытных бойцов, Даррак тоже снял с себя лишнее снаряжение и примкнул штык. Но Стил сказал:

— Это не для музыкантов.

Даррак промолчал, но по его взгляду Стил понял, что не должен был этого говорить.

— Я вовсе не хотел тебя обидеть. Мне просто жалко тебя... именно как музыканта.

Даррак опять ничего не ответил и отвернулся.

— Ладно, пойдём! — сказал Стил и подумал: «Как бы не пришлось вытаскивать двоих вместо одного».

Под прикрытием темноты и редкого, отвлекающего огня своих стрелков участники вылазки спустились по стене. Ломая ногти в кровь и раздирая ладони, Даррак сполз следом за другими на груды битого кирпича. И странно, как только он перестал чувствовать перед собою стену, отделявшую его от противника и как бы заключавшую его в одну коробку с товарищами, он сразу утратил то

чувство беспомощности, которое постоянно держало его в тисках какой-то зависимости от остальных. Темнота защищала его от взглядов более опытных бойцов. Именно потому, что никто, кроме его собственной совести, не контролировал сейчас его действий, он решил действовать так, как действовал бы на его месте самый опытный, самый мужественный и сильный солдат. Больше всего ему хотелось первым добраться до лётчика, спасти его. Даррак не думал о том, под силу ли ему это. Сейчас ему было под силу то, ради чего он приехал в Испанию, — подвиг. Сейчас для Даррака в незнакомом

ему чешском лётчике
сосредоточилось все: Испанская
республика, силы антифашизма,
победа над Гитлером, Муссолини и
Франко, победа над войной.

Повидимому, заподозрив в
замеченном движении
интернационалистов что-то более
серьёзное, чем спасение лётчика,
франкисты открыли беглый огонь из
ручного оружия. За спинами Стила и
его спутников, на том рубеже,
который они уже успели миновать,
вспыхивали светляки разрывных пуль
и стали одна за другой глухо рваться
мины. Через одну-две минуты высоко
над их головами звонко разорвались
первые шрапнели и послышался

посвист разлетающихся пуль.

Даррак полз, ничего не замечая, не думая ни о чём, кроме спасения чеха. Он в первый раз остановился и инстинктивно прижался всем телом к земле только после близкого разрыва гранаты, когда на него посыпался дождь камней и ком земли ударил ему в плечо.

Когда Дарраку показалось, что он уже должен был доползти до места, где лежал лётчик, он поднял голову и огляделся. Он обрадовался тому, что вспыхнувший в вышине яркий свет ракеты позволил ему все увидеть. Но удар по каске заставил его снова прижаться к земле. Послышался сердитый голос Стила:

— Молодец, Луи, но не сходи с ума!

И Даррак понял, что взводный все время был рядом с ним. Но теперь он не испытывал неловкости от этого соседства. Только ещё большая уверенность в своих силах овладела им.

— Я не вижу чеха, — сказал он Стилу.

— Вперёд и вправо... метров пять. Только осторожно, когда мародёрская ракета будет уже у земли.

Даррак посмотрел в указанном направлении, но ничего не увидел. И он понял, что одному ему ничего не удастся сделать. Как только ракета

погасла, он снова услышал голос Стила:

— За мной, Луи!

Отчаянно работая локтями, Даррак пополз за едва различимым в темноте Стилом.

Через минуту они оба лежали в воронке рядом с лётчиком.

— Меня зовут Купка... Ярош Купка. Я думаю, что придётся отрезать ногу, дьявольски горит, — сказал чех так, словно уже был у своих.

Сидя в автомобиле, присланном из резиденции Чан Кай-ши, Шверер торопливо перебирал в уме события последних недель. Он ещё раз пытался найти тот единственно верный ход, который мог бы спасти игру, проигранную им в Китае. Несмотря на совет Паркера, несмотря на то, что знакомство с китайской литературой и каждый новый шаг в этой стране убеждали его в неприменимости немецкого мышления к жизни здесь, Шверер никак не мог заставить себя поверить тому, что его выводы, составленные по всем правилам немецкой логики,

никуда не годятся.

Было противно сознавать, что ничего не понимающий, по мнению Шверера, в современном военном искусстве и ленивый Янь Ши-фан мог поставить его в столь унижительное положение. Не сказав ни одного резкого слова, даже, скорее, наговорив ему комплиментов, он все же дал понять Швереру, что тот — неисправимый тупица и похож на слона, попавшего в фарфоровую лавку.

Кончилось тем, что Шверер решил использовать совет Паркера и написал мадам Чан Кай-ши, прося свидания. Визит был назначен. Он ехал к ней.

Автомобиль остановился у резиденции главного разбойника, как Шверер называл Чан Кай-ши. Пока Сун Хо-шин отворял дверцу автомобиля, Шверер успел оглядеть дом. Его поразило великолепное сияние бирюзовых изразцов крыши. Голубизна глазури казалась столь естественным продолжением неба, что, войдя в холл, Шверер невольно взглянул вверх, — царивший в холле полумрак был неожиданным. Не менее удивительным показалось и внутреннее убранство дома. Два мира, столь не похожих друг на друга, сошлись тут вплотную. Тяжеловесная старомодность китайского быта смешалась с

ультрасовременным комфортом. Чья-то рука соединила их в пропорциях, создавших впечатление органической целостности этих разных миров. Это было удивительно. Шверер заранее проникся почтением к искусству той, чья рука хозяйничала здесь.

Китаец в строгом костюме лондонского дипломата долго занимал Шверера разговором, прежде чем отворилась дверь и ему предложили войти.

Шверер никогда прежде не видел жены главнокомандующего, но если правда всё, что ему рассказывал Паркер, то эти глаза, окинувшие Шверера таким жёстким оценивающим взглядом и тотчас же с

поразительной естественностью облившие его лучами мягкой приветливости, могли принадлежать только госпоже Чан Кай-ши. Шверера поразила её внешность! Он думал увидеть молодящуюся, утомлённую интригами и своеволием старуху, а перед ним предстала женщина, полная грациозной женственности, с красивым и необыкновенно подвижным лицом.

Хозяйка быстро пресекла попытки Шверера заговорить о том, ради чего он приехал. Она овладела тонкой нитью беседы и разматывала её клубок, как ей хотелось. Её тон был дружески ласков; несколько раз

она даже дотронулась до колена Шверера веером, который держала в необычайно пропорциональной, хотя и тонкой руке. Шверер не мог не обратить внимания на пальцы с остро отточенными миндалевидными ногтями.

Шверер все больше выпячивал грудь, совершенно забыв, что на нём не генеральский мундир, а скромная чёрная визитка. Напрасно пытался он отвести от себя захлёстывавший его поток любезностей и комплиментов. Дама все говорила и говорила. Подали чай, а запас её слов все ещё казался неисчерпаемым.

Но вот был окончен и чай. Хозяйка ни словом не обмолвилась

ни об интересовавшем Шверера деле, ни о том, что визит окончен. Но по новому, совершенно неожиданному, по несходству с прежним, выражению, которое промелькнуло у неё в глазах, Шверер понял, что ему остаётся одно — подняться. Он откланялся. Удаляясь, он почти физически ощущал на спине провожавший его взгляд хозяйки.

Если бы он в этот момент оглянулся, то понял бы, что ему лучше всего подобру-поздорову убраться с пути этой женщины.

В холле Шверер столкнулся с Паркером.

— Ага! Послушались-таки моего совета! — развязно сказал

американец.

Повидимому, при всём желании Шверера сохранить достоинство, его лицо достаточно ясно говорило об окончательном поражении. Паркер рассмеялся и, сделав приветственный жест, прошёл во внутренние комнаты. Он держался тут, как свой человек.

Около автомобиля, придерживая отворённую дверцу, стоял Сун Хо-шин. Глаза его были опущены и лицо бесстрастно. Всякий, кто взглянул бы на маленького слугу, тотчас решил бы, что того не занимает сейчас ничто, кроме желания помочь генералу сесть в автомобиль. Впрочем, такая догадка была бы,

пожалуй, и верна: поручику Харада предстояло захлопнуть дверцу за немецким советником, благодаря усилиям японской разведки раз и навсегда покидающим штаб Чан Кай-ши.

Предположение, что он чем-то мешает тут не только Янь Ши-фану, не приходило в голову генералу Швереру. Хотя он и подумал: не вызван ли его отъезд происками именно этого американского журналиста?

Но если бы генерал Шверер был способен более глубоко анализировать события, он понял бы, что тут дело вовсе не в личной антипатии к нему этого

краснолицего американца, который, кстати говоря, решительно ничего не имел против самого Шверера. Паркер выполнял задание своих вашингтонских начальников, ведших большую и сложную игру не только в Европе, но и в Азии. А они считали, что пришло время подумать об изгнании из Китая всех иных потенциальных завоевателей и продавцов, кроме самих янки.

Шверер был одной из жертв этой новой фазы сложной игры мистера Ванденгейма и его высоких партнёров, которые ради завоевания в будущем китайского рынка считали необходимым помочь Чан Кай-ши не чужими немецкими руками, а

своими собственными
американскими долларами.

Гаусс ничего не имел против штатской одежды, когда видел её на другом. Но в применении к самому себе он испытывал к партикулярному платью антипатию более острую, чем простое презрение. Ведь в конце концов вполне порядочным можно считать только того, на ком мундир немецкого офицера.

Даже в стране со столь дурно организованным тылом, как Испания, соображения безопасности не могли заставить его снять мундир, как он не снял бы его, отправляясь в былое время в любую из немецких колоний. К сожалению, этих колоний

пока не было...

Единственное, на что он пошёл, уступая просьбам дипломатов не привлекать взоров многочисленных иностранных журналистов во франкистском тылу, — надел поверх мундира штатское пальто. Впрочем, монокль в глазу, спина, как в корсете, и окружающая Гаусса свора непрерывно щёлкающих каблуками «штатских» субъектов не могли бы обмануть даже самого недогадливого наблюдателя.

Хотя Гаусс и приехал сюда с правом командовать и распоряжаться, он не хотел, до времени, принимать участие в военных решениях франкистов. Он

не раз внутренне усмехался, читая распоряжения испанских генералов.

Миновав Бургос, он из Виго проехал прямо в Сеговию, на участок генерала Мола, руководившего операцией по наступлению на Мадрид с севера. По расчётам Мола, падение Мадрида должно было произойти к 7 ноября.

Операция развивалась для франкистов успешно. Уже были взяты Вальдеморо, Торрехон, Пинто. Уже несколько дней шли бои в Карабанчеле и в Университетском городке, которые можно было считать боями в самом Мадриде. Французский мост уже несколько раз переходил из рук в руки; марокканцы

однажды перешли на восточную сторону Галисийского моста, к самому Северному вокзалу.

Падение республиканской столицы казалось вопросом нескольких дней.

На 7 ноября был разработан церемониал вступления франкистов в Мадрид. Мола должен был въехать на Пуэрта дель Соль на белом коне и произнести самую короткую и самую выразительную речь, какую когда-либо произносил победитель: «Я здесь».

Столица была обещана марокканцам и Иностранному легиону на три дня.

На запертых дверях домов

представителей пятой колонны уже появились охранные грамоты многочисленных иностранных посольств и консульств. За закрытыми ставнями этих домов готовились флаги и букеты для встречи мятежников и списки тех, кого, по мнению иностранных послов и испанских реакционеров, следовало посадить в тюрьмы или попросту уничтожить.

Перед радиоагитаторами политической службы франкистов росли вороха иностранных газет, соревнующихся в предсказаний часа вступления франкистов в Мадрид. По их следам шла и французская пресса. И не только реакционная.

Французские социалисты во главе с Блюмом вторили крайним правым, даже опережали их в изобретении способов окончательного и скорейшего удушения Испанской республики. Английская пресса, славившаяся осведомлённостью, давала сообщения «из авторитетных источников» о том, что Мадрид падёт уже пятого, но официальный въезд Мола состоится седьмого.

Цена всем этим предсказаниям была равна нулю.

Если бы правительство Испанской республики подняло голос, весь мир, мир простых людей, миллионами глаз вглядывавшихся в строки телеграмм, понял бы, что

победный шум франкистов
рассчитан главным образом на тех,
чьи биржевые дела зависят от
успехов «каудильо».

Но правительство Ларго
Кабальеро хранило молчание.

Курсы испанских бумаг на
биржах Парижа и Лондона ползли
вверх.

...Гаусс сожалел, что массив
гигантского парка Каса дель Кампо
делает невозможным визуальное
наблюдение за наиболее
интересующим его участком. Гаусс
уже дважды менял наблюдательный
пункт. Он счёл себя вправе
пренебречь всеми
предостережениями адъютантов и,

вместо того чтобы возиться с картами в кабинете, самому влезть на колокольню. Это ещё не был тот фронт, где рвутся снаряды и свистят пули, — на таком фронте он не был никогда в жизни и, вероятно, не побывает. Но все же и оттуда, где он сейчас находился, отчётливо слышались залпы батарей, видны были разрывы снарядов и клубки шрапнелей.

Гаусс приказал дать разведсводку со схемой расположения противника.

Он посмотрел на карту. Его интересовало, какие республиканские части обороняют район парка и Университетского

городка. Там значилась Интернациональная бригада. Своим правым флангом она примыкала к группе анархистов.

— А ПОУМ?.. Где милиция ПОУМ? — спросил Гаусс.

Это было сказано таким недовольным тоном, словно стоявшие рядом с ним офицеры распоряжались дислоцированием частей и по ту сторону фронта. Офицеры переглянулись, как бы спрашивая: «Кто из нас допустил такую грубую ошибку, что ни один участок республиканского фронта не был занят милиционерами Нина?»

Затянутым в перчатку пальцем Гаусс ткнул в то место, где жирная

красная черта, проведённая у края Каса дель Кампо, обозначала расположение Интернациональной бригады.

— Эти наделают хлопот.

Пробежав всю линию фронта, палец остановился на правом фланге франкистов.

— Только идиоты могли ослабить этот фланг.

— Тут у красных бригада Листера, она очень потрепана, — доложил Отто.

Гаусс поднял палец так, точно хотел постучать по лбу адъютанта.

— Учись смотреть не только на номера частей, но и на имена их командиров... Своих и вражеских!

Он повернулся и стал спускаться с колокольни.

Сквозь кожу перчатки Гаусс чувствовал холодную шероховатость каменной стены. Он осторожно ступал со ступеньки на ступеньку. Они были крутые и высокие, с обтёртыми до блеска краями.

На середине лестницы генерал приостановился и, не оборачиваясь, сказал Отто:

— Сейчас же поезжай к тому из офицеров, кто наблюдает за этими... — он нервно потёр висок. — Одним словом: на участках против Интернациональной бригады и этого, как его... Листера необходимо пустить в ход наши новые огнемёты.

Иначе там будет много хлопот!.. Больше, чем по силам этим испанцам, — с презрением добавил он.

Когда Отто уже повернулся было, чтобы итти исполнять приказание, генерал вдруг окликнул его:

— Постой-ка! Скажи там, чтобы ни артиллерия, ни бомбардировщики не повредили телефонную станцию в Мадриде.

— Слушаю-с.

Гаусс пожевал губами и, глядя в глаза адъютанту, добавил:

— М-мм... Эти дураки там, у Мола, чего доброго, не понимают, что станция будет нужна им

самим! — Он махнул рукой и неожиданно сердито бросил: — Иди!

Гауссу показалось, будто в глазах Отто мелькнула усмешка, хотя генерал и был уверен: здесь никто не знает, что пакет акций мадридской телефонной компании, по дешёвке скупленный у испанцев, лежит у него в кармане. Он, нахмурившись, неприязненно посмотрел в удаляющуюся спину адъютанта и продолжал осторожно, по-стариковски подрагивая коленками, спускаться с колокольни.

Цихауэр не был в бригаде с того самого дня, как она прибыла в Мадрид. Он как будто даже забыл, что вызвался исполнять обязанности художника бригадной газеты, и целыми сутками напролёт бродил по Мадриду, жадно разглядывая прекрасный город.

Чем дольше он бродил по улицам, тем больше убеждался в том, что до сих пор не имел представления об испанской культуре. Оказывалось, что сокровища Прадо, знакомые ему по копиям и репродукциям и тщательно спрятанные теперь республиканцами

в подвалы от фашистских бомб, далеко не исчерпывали испанского искусства в том величии, в каком оно, живое, вставало теперь перед художником. Оно было огромно и прекрасно! Ему казалось, что недостаточно всей жизни, чтобы успеть впитать богатства, открывавшиеся ему в каждой таверне, в каждом дворце, в каждом камне старых домов. Сначала он боялся, что всё это будет разрушено фашистскими бомбами прежде, чем он успеет увидеть. Чем дольше он ходил по улицам, тем больше убеждался, что бомбы, падающие с немецких и итальянских самолётов, чаще всего разрываются в самых

людных местах: возле летучих митингов и собраний, рядом с очередями женщин, ждущих молока или мяса, на площадках для детских игр.

Цихауэр перестал думать о сне и пище. Как ни влекла его старина, но вместо живописных руин памятников искусства его карандаш неумоимо заполнял страницы альбома уличными сценами, где на первом плане были дети. Дети играли в садах, на площадях, на асфальте проспектов и на древних камнях узких проулков. В эти дни маленькие мадридцы жили своею собственной жизнью. И, словно угадывая, что дети — самое дорогое

из всего, что было в стенах осаждённого города, итало-немецкие лётчики охотились за детьми. В них бросали бомбы, их расстреливали из пулемётов длинными заливистыми очередями.

Цихауэр перебегал от площади к площади, рискуя попасть под огонь пулемётов, и зарисовывал детей. Он делал это с поспешностью, как если бы кто-нибудь у него на глазах топтал нежные цветы, единственные в мире, прекрасные и неповторимые.

Так и увидела его однажды Тереса Сахара — склонённым над телом девочки, похожей на куклу с фарфоровым лбом, пробитым осколком фашистской бомбы.

Тересе не сразу удалось увести художника к себе в отель. Она заставила его сбрить неопрятную трехдневную щетину и поесть. Впрочем, он сопротивлялся лишь до того момента, как его голова коснулась спинки кресла. Слова начатой им фразы оборвались.

Несколько мгновений Тереса стояла над ним в ожидании продолжения. Ей ещё никогда не доводилось видеть, чтобы человек засыпал так внезапно. Может быть, ему стало нехорошо?

Нет, дыхание художника было спокойным; вместо обморочной бледности на щеках проступал румянец. Это был сон.

Тереса подошла к столу и налила себе вина. Задумавшись, она пила медленными глотками...

Не так представляла она себе эту поездку с Луи!.. Не думалось, что в первый же день она должна будет расстаться с ним; не думалось, что её не пустят туда, где дерутся... Тереса не спорила: работать в санитарном отряде тоже нужно и, может быть, даже очень почётно, но она представляла себе все это совсем иначе. Она, конечно, читала в Париже о зверствах фашистов, но разве можно было себе представить по газетам, что такое бомба, упавшая среди играющих детей?

Тереса нервно повела плечами и

сделала ещё несколько глотков. Остро, как боль, переживала она возвращение на родину. Сколько лет не имела она возможности ступить на её землю, — на свою землю своего отца, за которым последовала в изгнание! Теперь она вернулась, чтобы продолжать его дело, полная гордости и любви.

Она любила Мадрид. Это был её город. Каждый стук её каблука по мостовой отдавался в сердце праздничным звоном. Каждый шаг по улицам, полным воспоминаний, был радостью. На рынке ли с тесными рядами пахучих лотков, на нарядной ли Калле де Алкала, или в тёмных переулках окраин — везде

окружали её тени воспоминаний. Тем более милых, что они были воспоминаниями о радостной юности.

Но не для этих воспоминаний она приехала в родной Мадрид, а для того, чтобы защищать его, чтобы прогнать от него фашистов. Правда, она поняла, что мечты взять в руки винтовку наивны. Но неужели это значит, что она должна оставаться в тылу, спать в гостинице, обедать в ресторане? Нет, она отлично помнит, что ещё там, в парижском бистро, этот немец, что танцевал с нею, — кажется, его звали Зинном, — говорил, что песня на войне то же оружие. Она помнит испанские

песни своей юности — песни прекрасного, свободолюбивого, гордого и мужественного народа. Так что же она сидит тут, почему она с этими песнями не там, где Луи, где этот Зинн, где все, кто защищает республику?..

Её рука легла на телефон, и палец набрал номер, который дал ей Луи на тот случай, если ей понадобится помощь. Это был номер одного из уцелевших домов Университетского городка, где расположилась Интернациональная бригада.

И номер телефона бригады и место её расположения были военной тайной. Как мог Луи

сообщить их Тересе?! Но Тереса над этим не задумывалась. Её палец набрал нужные цифры. Едва умолк первый гудок, как на том конце провода сняли трубку. Мужской голос сказал, с трудом выговаривая испанские слова:

— Хризантема слушает.

— Какая хризантема? —

удивилась Тереса. — Мне нужна Интернациональная бригада!

После короткого молчания, похожего на паузу удивления, голос спросил:

— Кто это говорит?

— Мне нужен Луи Даррак. Вы слышите?.. Солдат Луи Даррак.

Матраи знал всех своих солдат.

При имени Даррака он сразу вспомнил француза с задумчивым бледным лицом и удивлёнными глазами большого ребёнка. В мозгу генерала быстро промелькнули простые соображения: в этих развалинах до штаба бригады действительно помещался батальон Жореса. Боец батальона Даррак поддерживал сношения с городом?.. Это могло иметь очень дурной смысл.

— Прошу вас, одну минутку, — ответил генерал по телефону. — Я поищу Даррака...

Тереса слышала в трубке близкие разрывы снарядов, звон разбитого стекла, лай пулемётов. Под

конец все это покрыл грохот прошедшего под стеной дома танка.

Вбежавшие, запыхавшись, в комнату Зинн и Луи увидели у телефона улыбающегося генерала. Он протянул трубку Дарраку:

— Вас!

И отвёл Зинна в угол. От его улыбки не осталось и следа. Короткими ясными фразами Матраи изложил Зинну свою точку зрения на происшествие.

Зинн с досадой сказал:

— Я предупредил всех...

Но прежде чем он успел договорить, Даррак положил трубку.

— Тереса Сахара, — вы знаете, певица, — сейчас приедет сюда. Она

надеется найти в городе автомобиль.

Матраи переглянулся с Зинном.

— Зачем? — спросил Зинн.

— Петь для солдат.

Зинну казалось, что он понял генерала: тот боялся, как бы эта особа не упорхнула.

— Это очень мило с её стороны... — проговорил Зинн.

— Может быть, лучше съездить за нею? — спросил генерал. — Она едва ли найдёт в городе автомобиль. — И, словно отдавая служебное приказание, добавил: — Позвоните: пусть ждёт вас. Вы поедете за нею сами.

— Хорошо, — радостно проговорил Луи, — это займёт

немного времени.

Через несколько минут Зинн и Луи сидели в автомобиле. «Неужели верны опасения генерала?» — думал Зинн. Увы, они слишком естественны для Мадрида этих дней... Теперь Зинн должен позаботиться, чтобы эти двое не ускользнули от него.

Войдя в номер Тересы, Зинн увидел спящего Цихауэра. Так, значит, он не убит, не ранен, не пропал без вести! Попросту дезертировал и... Почему он тут?

Тереса молча пододвинула к Зинну лежавший на столе альбом Цихауэра. Зинн, не раскрывая, сунул его подмышку и вопросительно

посмотрел на певицу. Она быстро собиралась. Зинн заметил, как дрожат её пальцы.

Тереса взяла с кресла большую кружевную мантилью.

— Я готова.

Зинн тронул Цихауэра за плечо.

Открыв глаза, художник некоторое время с удивлением смотрел на Зинна. Потом поднялся и, не задав ни одного вопроса, пошёл к двери.

Молча спустились к автомобилю, поехали.

Цихауэр как ни в чём не бывало взял свой альбом из-под руки Зинна и стал перелистывать.

— Для бригадной газеты это

покрепче батальных сцен! — сказал он.

Зинн отвёл взгляд. Как он мог подумать о друге то, что думал...

Когда они повернули за ипподром, через разбитые постройки колонии де Бельяс Вистас стали видны разрывы снарядов в Университетском городке. Клубки низких шрапнелей с визгливым треском возникали над кущами Касадель Кампо.

Зинн почувствовал, как вздрогнула сидевшая рядом с ним Тереса.

Автомобиль остановился на краю пустыря. Дальше пространство просматривалось противником.

Мужчины вылезли. Тереса колебалась. Её оливковые щеки стали серыми от покрывшей их бледности. Зинн не видел её глаз под опущенными ресницами.

Но вот она с профессиональной лёгкостью, словно на сцене, выпрыгнула из автомобиля и выжидающе посмотрела на Луи. Тот, пригнувшись, побежал вдоль остатков стены Горного училища. Тереса двинулась за ним. Зинн был последним.

Недавние подозрения казались ему смешными и обидными. Впрочем, смешными — нет. Ничто не было смешным в таких

обстоятельствах. Не было секретом, что восемь тысяч фашистов, заключённых в мадридской тюрьме, — не что иное, как собранный воедино кулак пятой колонны. Ни для кого не было секретом, что пятая колонна готовится ко встрече Франко.

Нет, в осаждённом Мадриде ничто не могло быть смешным, кроме беспечности!

— Нужно отговорить сеньориту от выступления в окопах, — сказал Матраи.

Тереса сердито сдвинула брови:

— Вы хотите, чтоб я перестала считать себя дочерью своего народа?

— Можно транслировать ваши

песни по радио.

— Для этого я приехала сюда?

Зинн отлично понимал, что её появление среди бойцов Интернациональной бригады могло дать не меньше, чем самые жаркие речи комиссаров. Но он не мог себе представить, как поведёт её по окопам Каса дель Кампо.

Он ещё раз пробормотал что-то насчёт пластинок.

— Конечно, — сказала она, — у меня есть и пластинки. Мы их захватили. Я буду дарить их бойцам, чтобы они вспоминали обо мне. Вы меня понимаете!

Зинн её понимал. Он сам был артистом.

Он посмотрел на прямую морщинку, прорезавшую её открытый выпуклый лоб от переносицы почти до самых волос. Волосы, чёрные и блестящие, были тщательно прибраны. И на затылке торчал высокий черепаховый гребень, словно она готовилась к выступлению на эстраде.

— В конце концов это здорово: певица в окопах, — сказал он Матраи.

— Пожалуй...

Было уже совсем темно, когда они двинулись. Зинн остановился было в разрушенном доме, служившем убежищем резерву, но Тереса сказала:

— Дальше.

— Дальше опасно.

Она молча взяла чемоданчик с пластинками и пошла.

— Это безумие! — крикнул Зинн.

— По-вашему, там впереди — безумцы?

— Я не могу рисковать вашей жизнью.

— Отвечают они, — и она махнула в сторону противника.

Понадобился ещё час, чтобы добраться до окопов, разрезавших аллеи и холмы Каса дель Кампо.

От времени до времени над парком слышались шуршание и вой вражеского снаряда; деревья

трещали, и разрыв глухо, волною прокатывался по парку.

Зинну казалось, что он физически ощущает, каким напряжением воли Тереса заставляет себя двигаться, говорить и совершать то, что не казалось простым даже им, солдатам, долго привыкавшим и не могущим привыкнуть к этой обстановке.

Он привёл её на пункт, где был установлен микрофон агитаторов. Она с удивлением огляделась.

— Но... здесь нет солдат!

— Там, где они, нет микрофонов.

Она ответила разочарованным пожатием плеч.

Пока Луи вынимал из футляра скрипку, Тереса щелчком проверила микрофон. Прежде чем Зинн успел её остановить, она сказала в него несколько слов, но таких, что бойцы её сразу поняли. Под конец она сказала: пусть каждый батальон пришлёт делегата. Она подарит ему на память свою пластинку. Как иначе она сможет оставить им свои песни? А она хочет, чтобы её песни были с ними долго, так долго, как придётся драться с этими проклятыми волками по ту сторону линий. Она уверена: её поняли все — венгры, чехи, итальянцы, негры.

Она начала петь.

Зинн, державший наушник,

слышал, как дребезжит мембрана от разрывов снарядов...

Тереса исполняла песню за песней. Повидимому, их знали не только по эту сторону фронта. Солдаты противника проснулись. Как-никак ведь и там были испанцы. И, может быть, именно потому, что фашисты угадали в передаче живой голос живой певицы, такой тёплый и обаятельный, что, вероятно, его и там слушали, затаив дыхание, франкистская артиллерия получила приказ нащупать агитпункт и прекратить концерт.

После очередного, очень близкого разрыва, бросившего в микрофон горсть песку, Тереса

попросила вина.

— Им не поможет, даже если они попадут в самый микрофон! — сказала она и запела снова.

Сначала ей аккомпанировал на скрипке один Луи, и, пожалуй, никто, кроме самой Тересы и Луи, не заметил, как к скрипке присоединился осторожный, мягкий перебор гитары. Это был Варга. Его темперамент не позволил ему при звуках такого голоса оставаться в окопчике, где сидели спешенные кавалеристы.

Скоро стоявшие у входа в блиндаж потеснились, чтобы пропустить первого делегата, приползшего за пластинкой. Перед

Тересой вытянулся высокий негр.

— Абрахам Джойс, мэм...

Батальон Линкольна, мэм!

Он взял под козырёк.

В свете фонаря на его большой чёрной руке розовели ногти.

Тереса потянулась было за пластинкой, но вдруг обняла негра за шею и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его. Поцелуй пришёлся в широкий, небритый подбородок.

Огромная фигура, казавшаяся в темносинем комбинезоне такою же чёрной, как лицо, гордо выпрямилась, — настолько, насколько позволял низкий свод блиндажа. Потом негр торжественно опустился на одно колено, взял руку

певицы и прикоснулся к ней осторожным поцелуем. Когда Джойс поднял на певицу голубые белки своих глаз, Зинну показалось, что негр силится удержать слезы. А она!.. Ей нехватало сейчас только меча, чтобы положить клинок на его плечо.

Джойс подошёл к микрофону.

— Хэлло, старички!.. Я несу вам пластинку и... поцелуй сестры Тересы.

Зинн почувствовал прикосновение к своей руке и оглянулся.

— Пусть не отрывают людей ради этих пластинок, — сказал ему на ухо вошедший генерал Матраи. — В батальонах страшное возбуждение.

А теперь ещё с этим поцелуем...

Зинн направился выполнять приказание, но у входа его остановил оглушительный удар в потолок, воющий скрежет металла. Что-то с гулким стуком упало на землю. Зинн быстро обернулся. Он увидел Тересу, словно пригвождённую к стене, с раскинутыми руками и бледным лицом. Он посмотрел по направлению взгляда её обезумевших глаз. Луи все так же сидел на корточках, прислонившись спиной к каменной стене блиндажа, но в его фигуре чувствовалась какая-то мёртвая неподвижность. Скрипка с перебитым грифом лежала на земле. Тереса вскрикнула и бросилась к

музыканту.

Телефон не работал. Зинн пошёл к тельмановцам. Они, как всегда, занимали один из самых ответственных участков на фронте бригады. По мере того как серая полоса рассвета за спиною тельмановцев делалась шире, разгорался и огонь фашистов, словно они своими громами хотели испугать не только войска республиканцев, но и самое солнце и загнать его обратно за далёкий горизонт, в преисподнюю, туда, откуда нет возврата, — пусть лучше вечная тьма, чем республика.

Серовато-бурый склон холма, в который врывались тельмановцы,

был ещё в густой тени. Разрывы шрапнелей кудрявились яркими клубками на фоне тёмного леса. Их чёрные клочья освещались короткими вспышками. Султаны жёлтого песка стремительно взлетали к небу и медленно оседали, словно бы не желая возвращаться на эту страшную землю, терзаемую огнём людской вражды. С визгом неслись осколки новых снарядов. Они срезали ветки, со звоном вонзались в стволы деревьев. Когда большой осколок врезался в кучу камней, служившую бруствером, раздавалось скрежетание, будто большое тупое сверло буравило скалу.

Бойцы сидели, прислонившись к передней стенке окопа. По обычаю, перенятому у испанцев, они кутались в одеяла. Хотя уже почти рассвело, — пронизывающий холод ночи все ещё сидит у них в костях. Они знали: так будет, пока не поднимется солнце. Тогда холод сменится жгучим зноем и одеяла придётся растягивать на штыках, чтобы защищаться от солнца, такого же жестокого и неприветливого, как холод ночи.

Когда Зинн вошёл в окоп, бойцы, прижавшись друг к другу, слушали звуки песни, летевшие из репродуктора, который был врыт в стенку окопа и ограждён козырьком от осколков.

Слушали все. Солдатский слух бережно вылавливал каждый вздох певицы в привычном хаосе звуков.

— Как дела? — спросил Зинн.

Повидимому, в полутьме окопа его не узнали. Кто-то с досадой махнул ему рукой: молчи!

Так же, как другие, Зинн приткнулся к каменистой стенке окопа. Возле него опустился высокий человек, снял пилотку и отёр ею лоб. Зинн пригляделся и узнал Крисса. То ли англичанин очень устал, то ли был поглощён пением Тересы, — он даже не взглянул на Зинна.

С тельмановцами Крисса связывала старая дружба. Он был тоже из тех, кто пришли сюда

первыми, — оператором, снимавшим для военного министерства республики хронику фронта. Но в аппарат его угодила пуля — подлая разрывная пуля из немецкой винтовки. Камеру разнесло. Крисса хотели отправить в тыл за новым аппаратом, но он не поехал, а остался в бригаде. С тех пор он и командует взводом связи. Когда певица умолкла, кто-то негромко сказал:

— С этим можно полезть в любое пекло!

— Да, песня — это...

Все ждали продолжения, но говоривший молчал.

— А недурно бы иметь жену-

певицу, — произнёс кто-то, — было бы весело жить!

Крисс поднял голову:

— Ты думаешь?

— Ха, эти киношники знают все на свете! Можно подумать, что ты, Крисс, всю жизнь прослужил в опере, — огрызнулся капрал.

— Или, по крайней мере, был женат на певице, — отозвался ещё кто-то.

Зинн локтем почувствовал, как вздрогнул англичанин.

— Клянусь небом: это было худшее время моей жизни!

— Видно, ты угадал, — сказал немец тому, кто пошутил насчёт жены: — наверно, она была, как

кошка. Уж такие они певицы, англичанки!

— Но ты-то не угадал, — все так же спокойно отозвался Крисс. — Она была немка!

Все сразу рассмеялись, но тут снова запела Тереса, и смех сразу затих.

Зинн колебался: как сказать этим людям, что они не должны идти к Тересе? Однако приказание оставалось приказанием, и он передал его.

— Что ж, — решил капрал, — поручим дело Криссу. Ему всё равно идти туда чинить связь. Он и возьмёт для нас пластинку.

— Что скажешь, Арчи?

Англичанин молча кивнул длинной, как огурец, головой и, аккуратно свернув одеяло, положил его в нишу, перекинул за спину винтовку и двинулся к ходу сообщения. Зинн пошёл за ним.

— Нам по пути.

Согнувшись чуть ли не пополам, Крисс шагал по траншее. Это была мелкая канава, выгрызенная солдатскими лопатками в каменистом грунте. Но скоро кончилось и это укрытие. Дальше нужно было двигаться по склону, покрытому пнями сбитых деревьев и заваленному их расщеплёнными стволами.

— Давайте закурим, — сказал

Крисс, ложась под защитой поваленного дерева.

Зинн вытащил папиросы. Крисс увидел коробку с изображением чёрного силуэта всадника на фоне голубой горы. Он взял её у Зинна и повертел в руках.

— Мне кажется, что в испанцах, простых испанских ребятах много сходства с русскими... Честное слово! — сказал Крисс.

— Да, хороший народ.

— Ведь верно? Те и другие... —

Крисс щёлкнул пальцем по крышке «Казбека». — Если бы они понимали значение здесь такой вот коробки, они сделали бы её из стали, чтобы она могла переходить из рук в руки,

через тысячу рук... Удивительная страна!

— Да.

— Бывали в России?

— Да.

— Ну?

— Это здорово!

— Стройка?

— Душа народа!

— Да, нам на Западе это нелегко

понять...

— Прежде я думал так же.

— А теперь?

— Понимаю.

— До конца?!

— Ну, может быть, и не

совсем...

— То-то!

— Да, я немножко похвастался.

— И что, по-вашему, в них самое удивительное?

— То, что чем больше их узнаешь, тем больше удивляешься.

— Наши ещё не понимают, что такое Россия и что она значит для всех нас. Но когда-нибудь поймут...

— Крисс поднялся. — Пошли?

Зинн привстал и машинально почистил колени.

С той стороны, где оборону занимал батальон гарибальдийцев, к путникам подполз итальянец. Он был уже немолод и тяжело дышал. Синий комбинезон не сходиллся на животе, а рукава и брюки были подвёрнуты, так как были ему непомерно длинны.

Толстенские пальцы итальянца без церемонии подняли крышку папиросной коробки Зинна и с трудом выловили папиросу.

Зинн дал ему огня.

— Вы куда? — спросил он.

— А разве вы не за пластинками?

— До вас не дошёл приказ не ходить?

Итальянец посмотрел с удивлением.

— Нет, вот покурим и пойдём. — Он вопросительно посмотрел на обоих. — Только немного полежим, правда?

— А тем временем эти скоты перебьют там все пластинки? —

сказал Крисс.

И, словно в подтверждение этих слов, над их головами, как рой взбесившихся ос, прожужжала пулемётная очередь.

— Этак обратно ничего не донесёшь! — пробормотал итальянец.

Крисс перевалился через древесный ствол, служивший им прикрытием, и пополз к следующему ходу сообщения.

— Может быть, не так быстро? — задыхаясь, пробормотал итальянец и подозрительная бледность разлилась по его тщательно выбритым щекам. Через несколько шагов он смущённо

повторил: — Вы знаете... у меня плохо с сердцем...

Вверху прошуршал и разорвался где-то впереди снаряд. Итальянец снял очки и положил их в футляр.

— Тут вторых не достанешь.

Перед тем как начать спуск к блиндажу агитпункта, они снова остановились.

— Что же она замолчала? — сказал итальянец.

— Что у неё, по-вашему, горло или железная свистулька? — сердито спросил Крисс.

— Могу вас уверить, я не хуже вас знаю, что такое горло артиста, — и итальянец притронулся двумя пальцами к своей шее. Стараясь

заглянуть в лежащий впереди окоп, он высунул голову из-за камня. Тотчас засвистели пули. Он поспешно втянул голову в плечи, совсем как черепаха. Заодно, казалось, втягивались в тело и его коротенькие ручки и ножки.

Крисс вскочил и несколькими прыжками достиг окопа.

Зинн подождал, пока до окопа добрался итальянец, и тогда перебежал сам.

Они остановились в дверях блиндажа, и первое, что бросилось в глаза всем троим, был чёрный диск пластинки, вращавшийся на ящике патефона, стоявшего в патронной нише бруствера.

— Ловко нас разыграли, — засмеялся Крисс. — А мы-то...

Тут его взгляд, так же как и взгляд Зинна, упал на лица делегатов других батальонов. Солдаты стояли в ряд вдоль стенки блиндажа и молча смотрели в землю.

— Да что вы все, онемели, что ли? — громко сказал Крисс. — Попадись мне этот чёрный врун Джойс...

— Помолчи... — бросил кто-то из бойцов и показал глазами в угол блиндажа. В полутьме Крисс увидел негра Джойса из батальона Линкольна. Рядом с ним сидел на земле командир конных разведчиков Варга. Джойс сидел, охватив голову

ручищами.

Когда Варга услышал голос Крисса, он приподнял край серого солдатского одеяла. Зинн, Крисс и итальянец увидели смятую кружевную мантилью и разломанный надвое большой черепаховый гребень. Увидели и лицо певицы. Загар словно сошёл с него, и оно стало светлосерым, почти белым. Круглый открытый лоб прорезала упрямая морщинка от переносицы до самых волос — чёрных, блестящих.

Крисс шагнул было к телу, но попятился и провёл рукой по лицу.

Итальянец на цыпочках подошёл к микрофону и поднял адаптер,

кружившийся на пластинке.

— Мне очень жаль, сеньоры, что здесь нет... шарманки, обыкновенной шарманки. Но я все же попробую... — Он кивнул Варге: — Прошу вас.

Варга послушно взял гитару.

В окопах и между линиями из микрофонов полился простуженный тенор итальянца:

С дальней родины мы
ничего не взяли,
Только в сердце ненависть
горит.

Но отчизны мы не
потеряли:

Наша родина теперь —

Мадрид...

План операции предусматривал одновременный удар республиканцев на нескольких участках мадридского фронта обороны. Удар бригады Матраи и трехтысячного отряда анархистов имел целью выбить франкистов, засевших на западной границе Каса дель Кампо, и бросить их под удар сильной группы Барсело, наступавшей в более выгодных условиях со стороны Посуэло де Аларкон. Анархисты были поставлены рядом с Интернациональной бригадой Матраи потому, что ненадёжность первых страховалась стойкостью

вторых. Одновременно с Матраи полковники Листер и Буэно должны были ударом на правый фланг франкистов подготовить обходный манёвр большой ударной группы, направленной на треугольник Лос-Анжелос — Хетафе — Леганес, где закрепились вторая, третья, пятая и шестая резервные колонны франкистов. Все это, вместе взятое, должно было заставить главные силы мятежников вытянуться из клина по линии аэродрома Хетафе — Леганес — Алькоркон — аэродром Куатро Вентос. В перспективе была возможность отрезать от главных сил левое крыло мятежников, состоявшее из первой и четвёртой ударных

колонн. Для этого от Посуэло де Аларкон и Боадилья дель Монте должен был ударить Барсело своими силами, состоявшими из 3-ей испанской и 11-й интернациональной бригад.

Силы мятежников были значительно многочисленнее республиканских, и на их стороне было огромное преимущество в артиллерии, танках и прочей технике. Не говоря уже о том, что республиканцы должны были беречь каждый снаряд из-за отвратительного лицемерия «социалистов» разных стран, на словах разыгрывавших друзей Испанской республики, а на деле

старавшихся остаться подальше от борьбы.

Судьба сражения в большой мере зависела от слаженности и интенсивности первого удара фланговых групп: правой — Интернациональной бригады генерала Матраи и анархистов, и левой — полковника Листера.

Сначала Матраи не придавал значения тому, что произошло на участке тельмановцев. Он спокойно слушал доклад Зинна. Но ещё прежде, чем Зинн договорил, со стороны переднего края донёсся многоголосый крик «ура» и тотчас ответившие ему лихорадочные очереди многочисленных пулемётов.

Так встречают неожиданную атаку.

Не дослушав Зинна, Матраи бросился в ход сообщения, ведущий к командному пункту.

Энкель был уже там. Одною рукой он неторопливо поворачивал стереотрубу, другою прижимал к уху телефонную трубку. Из спокойных отрывистых реплик начальника штаба, подаваемых в аппарат, Матраи понял, что началась атака его бригады. Она началась почти на целый час раньше, чем следовало, из-за того, что над лесом взвились три цветные ракеты. Они были пущены именно в той комбинации, которая должна была служить сигналом к атаке бригады Матраи. Кто их

пустил?.. Не рука ли врага подняла его бригаду, чтобы нарушить весь план республиканского командования?..

Впрочем, сейчас было не до рассуждений: интернационалисты уже оставили окопы, их фигуры то мелькали в стремительной перебежке, то, приныкая к земле, исчезали в пыли, поднятой ногами бойцов и разрывами снарядов. Первой мыслью Матраи было: «Остановить людей». Но он тут же понял, что сделать это уже невозможно. Не поддержать теперь порыв атакующих значило понести напрасные потери и рисковать всей операцией.

Схватив телефонную трубку, Матраи вызвал штаб анархистов.

— Карутти! — В голосе Матраи появилась необычная хрипота.

Если анархисты не двинутся сейчас же, правый фланг Матраи окажется открытым.

— Карутти, от тебя зависит...

Ещё немного, и трубка, казалось, будет раздавлена в руках Матраи: анархисты ещё не были готовы.

— Карутти!..

Карутти обещал сделать, что можно, хотя...

Матраи бросил трубку. Видная в перископ цепь атакующих исчезала за холмом, прикрывавшим позицию

мятежников. Матраи знал: за этим холмом проволока противника. По плану её должны были прорвать республиканские танки, а никаких танков не было — пехота шла одна... Если люди залягут под проволокой...

Матраи соединился с начальником артиллерии.

С того конца провода ответил сердитый голос:

— Интенсивный огонь?.. Из двадцати-то орудий? При комплекте в двадцать снарядов на орудие?!

Матраи оттолкнул руку Руиса, тянувшего его назад. Энкель что-то кричал, но генерала уже не было в окопе. Он стоял за бруствером, прижавшись боком к остаткам

большого платана, и смотрел вперёд, туда, где перебегали его бойцы...

Чем поддерживать атаку, если артиллерия не может? Ведь на севере все ещё не слышно стрельбы. Значит, Карутти так и не поднял своих анархистов... Нельзя, нельзя дать захлебнуться атаке!

Матраи быстро оглянулся, чтобы позвать адъютанта, но увидел Руиса рядом с собою: адъютант не сводил с него восхищённых глаз.

Генерал с разбегу одним прыжком перемахнул через свой наблюдательный пункт.

— Генерал!

— Лошадь!.. Скорей!

Сделав усилие, Руис опередил

генерала. Под холмом, в полуразрушенном подвале, стояли верховые лошади штаба. Матраи всегда держал их наготове. В условиях действий в лесу он считал их надёжней автомобиля.

Напрягая все силы, чтобы добежать до подвала раньше генерала, Руис уже представлял себе бешеную скачку под огнём противника вдогонку за цепями атакующей бригады. Но генерал поскакал совсем в другом направлении — вдоль западной опушки Каса дель Кампо, к ипподрому. Единственной мыслью Руиса было теперь: не отстать! Это было не легко, имея перед собою

такого наездника, как Матраи. Генерал не давал себе труда объезжать препятствия: на полном карьере он заставлял коня перепрыгивать через остатки стен, через нагромождения кирпича и балок, через поваленные деревья. Руис с восхищением увидел, как конь переносит Матраи через поваленный ствол, зацепившийся комлем за высокий, почти в рост человека, пень. Руису хотелось зажмуриться: барьер был слишком высок! Он видел, как ошипанные пулями ветви ударили по брюху лошади генерала, и даже услышал хлещущий звук этого удара...

В следующий миг ровный,

звонкий поскок генеральского коня музыкой отдался в ушах адъютанта. Этот звук и прыжок генерала были последними, что слышал и видел поэт Хименес Руис. Конь адъютанта, словно обезумевший от ревности к бешеной скачке несущегося впереди коня Матраи, тоже взвился над поваленным стволом. Ничего другого он уже сделать и не мог. Разве только разбиться об него грудью. Руис даже не расслышал лёгкого, едва уловимого, но такого характерного стука копыт своего коня, задевших за барьер.

Мгновение — и конь лежал со сломанным позвоночником, придавив своим телом ногу Руиса.

Увидев накрытые ветвями танки, Матраи соскочил с коня.

Танки! Эти неподвижные стальные громадины представились Матраи олицетворением спокойной уверенности, которая выведет его разноплемённую бригаду на путь победы. Машины стояли перед ним, как могучая, действенная сила его партии — великого организатора побед борцов за свободу. Партия! И тут, в тягчайших условиях она сумела протянуть ему свою руку, всегда такую твёрдую, всегда такую родную!

В танках — молодые экипажи. Их боевой путь ещё очень короток, но они уже успели закоптиться в

сражениях за республику. Пусть их всего четыре, этих танков, но это именно то, что сейчас нужно Матраи!

Матраи готов был броситься на шею выбежавшему навстречу ему командиру.

Через несколько минут командирская машина уже чихала и стреляла застывшим мотором. Когда она двинулась, командир головного танка не сразу заметил, что за башнею, на броне, ухватившись за край люка, стоит на коленях Матраи. Генерал едва успевал нагибаться, чтобы его не сбило сучьями ломаемых деревьев. Командир хотел придержать машину, чтобы спустить

генерала на землю, но тот крикнул что было сил:

— Вы меня едва не забыли!

И повёл на него такими налитыми кровью глазами, что командир только крепко выругался и втащил генерала в башню. Там было слишком тесно для двоих — люк поневоле остался полуоткрытым.

Генерал с трудом вытащил карту и молча нацелился пальцем в слово «Умера». Толчки машины, переваливающейся через пни, ныряющей в канавы и воронки, не сразу позволили попасть в это слово. Командир кивнул головой и сильным нажимом на плечо заставил Матраи скрыться в люке.

Все четыре машины с ходу прорвали проволоку и две линии окопов противника и, выскочив из лесу, понеслись к деревне Умера, где были сосредоточены резервы левого крыла мятежников. Пользуясь тем, что командир занят управлением, Матраи высунулся из башни и увидел, что атакующая пехота его бригады осталась уже позади.

— Тише!.. Не отрывайтесь! — кричал он в ухо танкисту, но тот не слышал, и машины продолжали нестись по открытому полю. Впереди, сбоку, сзади взвивались чёрные фонтаны земли: мятежники пытались отрезать танкам путь к деревне и назад, к своим. Генерал

понял, что нельзя ни замедлить ход машин, ни развернуться. Оставалось одно — вперёд, только вперёд.

Франкистские снаряды беспорядочно ложились по сторонам.

Танки ворвались на улицу Умеры. Матраи видел, как изо всех домов выбегали солдаты и строились вдоль улицы. Тут были «регулярес», легионеры и много марокканцев.

Танки докатились до маленькой площади, где легионеры торопливо строились в ряды. Было видно, как широко разезают рты офицеры, выкрикивая команды. Слов не было слышно: моторы ревели, лязгали гусеницы, все грохотало.

От колонны легионеров
отделился офицер и побежал
навстречу танкам. Танк замедлил ход.
Офицер сорвал шлем и закричал,
покраснев от натуги:

— Виска итальяно!

Его крик восторженно
подхватила вся площадь.

Командир танка нагнулся в люк:

— Вперёд!.. Огонь!..

Брызнули огнём стволы
танковых пулемётов. Охнула пушка.

Танк грохотал. В стене
двухэтажного дома напротив
мгновенно образовалась дыра,
медленно затянувшаяся белым
облачком извёстки. Снаряды рвались,
заставляя разбегаться выстроившихся

легионеров.

Танк обогнул площадь, давя гусеницами прижимавшихся к стенам солдат. Слышен был скрежет стали по камню. Обойдя площадь, танк двинулся дальше по улице. В конце её его встретил организованный огонь франкистов. Они успели попрятаться в дома. Из всех окон сверкали выстрелы. Матраи отчётливо слышал, как стучат по броне пули.

Впереди появились марокканцы. Они пытались втащить пушку в ворота дома. Пушка застряла. Танк прибавил ходу, правою гусеницей наехал на марокканцев, на пушку — и двинулся дальше.

Окраина деревни. Танк остановился. Матраи попытался в перископ рассмотреть, что делается между Каса дель Кампо и Умерой. Было похоже, что атака остановилась. Пехотных цепей не было видно, но разрывы франкистских снарядов ложились полукругом, огибая Умеру. Такою же размашистой дугой вспухали в воздухе пушистые дымки шрапнелей. Матраи склонился к уху танкиста: нужно окончательно парализовать резервы в Умере, чтобы не дать им контратаковать бригаду; нужно вернуться к бригаде и заставить подняться залёгшие цепи. Бригада должна итти вперёд, только вперёд!

Танкист развернулся и двинулся обратно по деревне тем же путём. Улица опустела. Мостовая была запятнана кровью. Стреляли из всех окон домов. Впереди был виден не успевший развернуться второй танк. Чтобы дать дорогу командиру, он стал пятиться.

Легионеры на руках вытащили пушку на плоскую крышу дома и успели дать два выстрела по пятившемуся танку. Второй выстрел сбил у него пулемёт. Матраи показал командиру на пушку, стоявшую на крыше. Танк остановился. Его пушка замерла и, словно подумав, дала выстрел. Снаряд прошёл под карнизом и разорвался. Крыша,

пушка на ней, legionеры — все провалилось внутрь дома. Но в тот же момент эта пушка успела послать свой последний, шальной снаряд, и гусеница второго танка взлетела над роликами и со звоном упала на мостовую. Подбитый танк яростно повернулся вокруг собственной оси и замер, отстреливаясь из пушки. Командир осторожно обогнул его на тесной площади и остановился. Прежде чем Матраи понял, в чём дело, он увидел командира на мостовой набрасывающим цепь на крюк подбитого танка. Танки медленно двинулись прочь от площади, трещающей выстрелами. Вслед им дробно зазвонил

церковный колокол от угодившей в него пулемётной очереди.

Матраи осмотрелся. Он увидел, как из окон дома слева, оставляя за собою чёрный дымный след, полетели в танк бутылки с бензином, обмотанные ватой. Над дверью этого дома Матраи увидел вывеску: «Аптека».

Горящий бензин разливался по броне и огненными струйками стекал в смотровую щель, под щиток. Становилось нечем дышать. Матраи потянулся к люку, чтобы откинуть крышку, но артиллерист схватил его за руку. На крышку люка упала бутылка. Огонь потёк в башню.

Осмелевшие марокканцы

высовывались из окон и кидали бутылки в медленно ползущие танки.

Взвыл мотор. Все в танке загремело так, что Матраи втянул голову в плечи. Мотор ревел на предельных оборотах. Если бы не танк, взятый на буксир, они быстро выбрались бы из деревни.

Матраи закрыл лицо руками от невыносимого жара. Сквозь пальцы посмотрел в щель. Два отставших танка держали под огнём выход в поле, не давая франкистам высунуть нос из домов. Теперь танки повернулись к деревне и прикрыли отход горящих машин.

Матраи выскочил из своего танка и послал два уцелевших на

поддержку своей залёгшей бригаде. Ещё издали он увидел далеко влево перебежку: наконец-то атаковали люди Карутти.

Танки повернули вдоль франкистских окопов второй линии, под проволокой которых залегли интербригадовцы. Матраи ясно видел на жёлтой, изрытой тёмными воронками земле синие пятна комбинезонов своих бойцов. Он увидел знакомые лица тельмановцев, линкольновцев, гарибальдийцев.

Добежав до воронки, он бросился на землю и распластался рядом с кем-то, толкнувшим его в углубление воронки.

На Матраи глядели большие

смеющиеся глаза Варги. Его широкое загорелое лицо стало почти черным от грязи. Матраи приподнялся и увидел чей-то коротко остриженный затылок. Этот затылок мерно вздрагивал в такт пулемёту, из которого стрелял доброволец. Но Матраи не слышал выстрелов. Он ничего не слышал — в ушах все ещё стоял гул танка. Он притянул к себе голову Варги:

— Где Энкель?

Варга понял, что Матраи ничего не слышит. Венгр жестами показал, что начальник штаба далеко сзади.

Милый, педантичный Энкель! Но, честное слово, Матраи не мог поступить иначе! Может быть, ему

простят...

Он взял у Варги бинокль и оглядел фронт атаки.

— Я на КП! — крикнул он Варге и выскочил из воронки. Варга увидел, как он, пригнувшись, делал длинные перебежки в сторону Каса дель Кампо.

А Матраи казалось, что вслед ему несётся напев атакующих:

Несём свободу
На дулах ружей —
Но пасаран, но пасаран!..

Всякий раз, поднимаясь с земли, он должен был заставлять себя не

повернуть вслед этой песне, а бежать
назад, в поисках своего начальника
штаба.

Все планы Франко
Мы в прах разрушим —
Но пасаран, но пасаран!..

К вечеру стало ясно: несмотря
на все, операция увенчалась успехом.
Но одновременно стало известно и
другое, совсем не такое ободряющее
событие: правительство Ларго
Кабальеро покинуло Мадрид.
Министры-коммунисты хотели
остаться в осаждённом городе, чтобы
выполнить решение своего

Центрального комитета защищать столицу до последнего вздоха. Но и они должны были последовать за премьером под угрозой, что нарушение его приказа послужит сигналом к срыву единого фронта демократических партий. В наскоро набросанной директиве Кабальеро передавал оборону Мадрида заботам также наскоро образованного совета. Но душою обороны стала коммунистическая партия во главе с Хосе Диасом и Долорес Ибаррури. Член ЦК компартии Педро Чека получил указание подготовить все к переходу в подполье. Коммунисты решили не сдаваться, даже если мятежникам удастся ворваться в

столицу.

Была уже ночь, когда Матраи поехал в город, чтобы побывать в Центральном комитете. Нужно было поговорить с Диасом и Ибаррури.

Выбравшись пешком за пределы Университетского городка и госпиталя, он задержал первый попавшийся автомобиль и приказал отвезти себя в центр. Минуя здания министерств, он замечал следы их поспешной эвакуации: груды бумаг, ящики, горы мешков с документами. Но нигде ни одного чиновника. Приблизившись к военному министерству, Матраи с удивлением увидел, что в зеркальных окнах великолепного фасада зажёгся яркий

свет. Матраи остановил автомобиль: недосмотр или злой умысел? Свет в окнах сейчас, когда фашистские бомбардировщики не оставляют город в покое?..

Свет в окне не погас. Он загорался и в других окнах.

Матраи поспешно взбежал по ступеням подъезда. Дверь в вестибюль была распахнута. Два старика-швейцара сидели по сторонам входа. Матраи с удивлением смотрел на них: никогда ещё они не выглядели так торжественно и никогда ещё на них не было столько позументов!

Старики вытянулись при появлении Матраи и низко

поклонились, ничуть не удивившись его появлению, как если бы он был тут уже не первым посетителем.

— Что означает этот парад? — сердито спросил он.

Они поклонились ещё раз, но ничего не ответили.

Матраи взбежал по мраморной лестнице и повернул выключатель огромной люстры. Сияние хрустальных блёсток растаяло в наступившей темноте. Матраи бросился в зал. Он перебегал от выключателя к выключателю, и сверкающие под потолком сигналы пятой колонны гасли один за другим. Но Матраи заметил, что по мере того, как он гасит свет, там, впереди,

в других комнатах свет загорается. Матраи устремился вперёд, на ходу вынимая пистолет. Стук его шагов гулко отдавался под высокими сводами пустых комнат. Загоревшийся было в конце анфилады свет тотчас погас. Матраи показалось, что у дальней стены он заметил маленькую фигуру человека. Не раздумывая, он выстрелил несколько раз. Грохот выстрелов прокатился по залам оглушительным эхом. Из-за этого грохота Матраи не слышал, как захлопнулась дверь за тем, в кого он стрелял. Не слышал он и негромкого стона после своих выстрелов.

Матраи с разбегу больно

ударился в темноте о дверь. За нею темнел провал внутренней лестницы. Матраи постоял в раздумье и вернулся к подъезду. Швейцары попрежнему стояли по сторонам входа. Лица их были равнодушны.

Через несколько минут после того, как Матраи ушёл из военного министерства, из его бокового подъезда вышел невысокий человек в тёмном костюме и больших роговых очках. Он побежал вдоль стены к деревьям бульвара, придерживая правой рукой беспомощно висящую левую.

Позднее, когда Матраи вошёл в кабинет Пассионарии, он встретил там Михаэля Кеша. Левая рука

журналиста висела на перевязи. При входе Матраи он как раз рассказывал Долорес, как был ранен утром, когда наблюдал за атакою листеровцев на правое крыло франкистов.

— Эти трусы бежали, как крысы... фашистская сволочь! — с пафосом воскликнул Кеш.

В ночь с 6 на 7 ноября 1936 года Франко дал приказ своим войскам — взять Мадрид. Генеральный штурм города должен был начаться на рассвете 7 ноября.

К утру несколько свежих таборов марокканцев, поддержанных итальянскими танками, прорвали линию обороны республиканцев в

Каса дель Кампо и стали продвигаться к восточной окраине парка. Им на помощь подходили все новые батальоны. Иностранный легион и итальянская бригада «Стрела», с трудом преодолевая упорное сопротивление республиканцев, ворвались в Карабанчель Бахо, и командовавший франкистской колонной Баррон послал кавалерийскую бригаду в обход Карабанчеля, чтобы отрезать путь отходящим республиканцам.

К штабу командующего одной из дивизий мятежников — Варела прибыл огромный автомобиль-фургон, доставивший генералу Мола подарок наваррской организации

рекетистов — белого коня для въезда в Мадрид.

Но задуманный фарс не состоялся. Республиканский Мадрид был готов к отпору. Город уже был опоясан окопами, перегорожен баррикадами. Траншеи изрезали площади и парки. Рабочие дружины сливались в бригады. На фронт шли новые и новые пополнения. Уже сражались первые бригады регулярной республиканской армии, возникавшей под огнём. На улицах Мадрида, прилегающих к скрещению проспекта Алкала с Авеню Прадо и Авеню Свободы, собиралась демонстрация. Невзирая на усилившийся артиллерийский

обстрел города и налёты немецких «Юнкерсов» и итальянских «Капрони», простой народ Мадрида стягивался к площади Кастеляр, на которой была воздвигнута скромная трибуна.

Около девяти часов утра, когда Матраи повернул свою наступающую бригаду к югу и ударил во фланг маврам, ворвавшимся в Каса дель Кампо, когда пятый полк бегом подоспел к восточной окраине Карабанчеля и остановил африканскую конницу Баррона, когда соединения «Капрони», окружённые «Фиатами», бомбили республиканские позиции у Хетафе, когда агенты пятой колонны

нацеливали «Юнкерсы» на военные объекты в городе, — в эти минуты на трибуну площади Кастеляр поднялись члены Центрального комитета Коммунистической партии Испании — Хосе Диас, Долорес Ибаррури и Педро Чека.

Оркестр приветствовал их республиканским гимном.

Хосе Диас поднял руку, призывая собравшихся к молчанию. Но прежде чем он успел что-либо сказать, ряды демонстрантов раздались — из-за деревьев с бульвара, окружающего военное министерство, беглым учебным шагом приблизилась небольшая колонна бойцов в синих

комбинезонах. Они бежали по трое в ряд: средний с флагом, двое по бокам, как ассистенты у знамени. Они приблизились к трибуне: бежавший впереди комиссар, с красною повязкой на рукаве, взбежал на трибуну и, отдав честь членам ЦК, крикнул собравшимся на площади:

— Мадридцы, вам шлют свой боевой привет солдаты двадцати одной национальности, собравшиеся под знаменем Интернациональной бригады генерала Матраи для защиты свободы Испании. Бригада ведёт бой в Каса дель Кампо, у нас нет времени присутствовать на вашем параде. Мы вручаем вам эти флаги и снова идём в бой. Да здравствует Испанская

республика, да здравствует свобода,
да здравствует передовой отряд
испанского трудового народа —
партия коммунистов!

Его спутники поставили перед
трибуной двадцать один флаг. На
каждом было написано
наименование батальона,
приветствующего мадридцев, и
короткий лозунг на языке той
национальности, которая посылала
флаг.

Их было восемь — батальонов
бригады Матраи: батальоны
Тельмана, Гарибальди, Жана Жореса,
Домбровского, Линкольна, Ракоши,
Андре и Пассионарии.
Представителями бойцов двадцати

одной национальности в этих батальонах на двадцати одном языке был начертан лозунг: «Не пройдут!» — по-немецки, по-английски, по-польски, по-итальянски, по-голландски, по-фламандски, по-венгерски, по-шведски, по-сербски, по-болгарски, по-норвежски, по-испански. Были буквы, которых народ на площади не мог разобрать: греческие, армянские, еврейские, китайские, арабские...

Когда последний флаг был поставлен перед трибуной, комиссар отдал честь народу и вернулся к своим спутникам, стоявшим шеренгой перед трибуной:

— Налево!.. В бой, бегом...

Марш!

Маленькая колонна солдат в синих комбинезонах быстрым шагом удалилась к бульвару, за деревьями которого её ждали грузовики. Над площадью неслось:

— Смерть фашистам!.. Они не пройдут!..

Хосе Диас взял микрофон.

Он говорил, пересиливая шум авиационных моторов: над цирком, над госпиталем Сан Хуан де Диос, над вокзалом Аргандэ, даже над парком эль Ретиро шёл ожесточённый бой между фашистскими самолётами, рвавшимися к демонстрации, и отгонявшими их республиканскими

истребителями. Истребители были маленькие, тупоносые. В бездонной синеве неба они сверкали как залог конечной победы, той победы, которая рано или поздно будет взята в боях, победы, при мысли о которой уста всех борцов за республику шептали с надеждою:

— Виска ла република!

Нед должен был себе признаться: он заблудился.

Это случилось из-за того, что он послушался француза, советовавшего забрать как можно ближе к побережью, чтобы обойти район франкистских аэродромов, где легко могли сбить. Никто его не сбил, а приходится садиться в распоряжении франкистов из-за того, что нехватило горючего. Ему никогда не доводилось летать над этими горами, — путаный рельеф ввёл его в заблуждение. Лететь бы напрямик — и он был бы уже у республиканцев.

Нед с беспокойством посмотрел

на указатель последнего бака. Стрелка подрагивала рядом с нулём. Дай-то бог, чтобы хватило времени выбрать место для посадки. Дело не только в том, чтобы не поломать «Моль», а и в том, чтобы не взлететь на воздух самому: на кой чорт он взял эту коробку с капсулями, когда вся машина набита взрывчаткой!..

Нед вполоборота посмотрел на заднее сиденье, где, поджав длинные ноги и надвинув на глаза шляпу, спал его спутник.

— Эй, Нокс!.. Гемфри!.. — крикнул Нед.

Повидимому, шум мотора заглушал его голос. Нокс даже не пошевелился. Между тем багажник,

где лежали проклятые капсюли взрывателей, был расположен за спинкой именно того сиденья, на котором спал Нокс. Выбросить их с пилотского места Неду не было никакой возможности.

— Гемфри, проснитесь!..

Углекоп не шевелился.

Тогда Нед, пошарив в кармане, отыскал шестипенсовик и запустил им в пассажира.

Гемфри отодвинул шляпу с лица и удивлённо огляделся.

Нед поманил его к себе движением пальца и крикнул ему в самое ухо:

— Капсюли! Понимаете: нужно выкинуть коробку с капсюлями, — и

жестом попытался пояснить свои слова. — Возможна плохая посадка... Поняли?

Нокс ответил кивком головы и действительно тут же полез в багажник. Нед успокоился и сосредоточил всё своё внимание на управлении самолётом. Поэтому он уже не видел, как Нокс, достав из багажника жестянку с капсулями, вместо того чтобы выбросить её в окошко, сунул себе за пазуху. После некоторого размышления он снова нагнулся к Неду.

— Будете садиться? — И получив его утвердительный кивок, спросил: — Где мы?

Нед пожал было плечами, но

потом ответил:

— Внизу, вероятно, франкисты.

Нокс откинулся на своём стуле и после короткого размышления достал из багажника несколько небольших жестянок с динамитом. Быстрыми умелыми движениями опытного запальщика приладил к динамиту запалы и готовые заряды рассовал по карманам. После этого спокойно прислонился к окошку и принялся наблюдать за проносившейся под самолётом землёй.

Солнце скрылось за горизонтом. Все просветы между горами были заполнены темносерой мутью. Самое трудное освещение: когда исчезают

тени!

Нед увидел серпантин дороги. Ленточка распрямилась и побежала прямо. Дорога... Значит, там было ровное место.

Нед стал плавными кругами спускаться в долину, сжатую горами. Стоило перебраться немного крена, и тот «Джипси», что оказывался наверху, начинал зловеще чихать.

Дорога была пуста.

Может быть, ещё удастся выкарабкаться из переделки?..

Только бы раздобыть бензин, а взлететь-то он сумеет и с чайного блюдца! Лишь бы сесть, спасти самолёт и самих себя. Они ещё пригодятся республиканцам!

Недаром же он выдержал столько издевательств на последнем французском аэродроме. Не будь он англичанином, его бы, наверно, и не выпустили... Но хорош он будет тут, в тылу франкистов, с республиканским пропуском, с письмами дель Вайо, с кабиной, набитой взрывчаткой!

Нед криво усмехнулся и осторожно дал от себя.

«Моль» тянула над самой дорогой.

Она предательски вяло реагировала на движения рулей.

«Ну, ну, милочка, только не проваливаться. Осталось совсем немножко».

Выровненная машина теряла

остатки скорости.

Нед убрал сектора, хотя карбюраторы и так были, вероятно, сухи. Выключил контакты.

«Ну, маленькая! Теперь чуть-чуть на себя... Прекрасно, дорогая!.. Очень хорошо... ты у меня умная старушка!»

«Моль» сделала несколько мягких прыжков. Костыль проскрежетал по щебёнке шоссе. Нажим на тормоза. Машина остановилась.

Нед не спеша стащил перчатки и размял пальцы. Перчатки он заботливо засунул сбоку сиденья, чтобы не искать при вылете. Аккуратно перекрыл все краны.

Приподнялся на сиденье и пощёлкал пальцем по главному баку. Бак зазвенел, как пустая бочка. Крылья глухо отозвались.

Только бы раздобыть бензин!

Нед отворил дверцу и, насвистывая, соскочил на землю.

Нед любил своё ремесло и любил полёты. Он был уверен, что воздух — это и есть та самая настоящая, единственная сфера, где он чувствует себя самым собою. Без всяких «но». А вот ведь стоит ступить снова на землю — и... снова любишь её.

Нед рассмеялся, нагнулся к земле и похлопал по ней ладонью. Тёплая мягкая пыль клубком

взлетела из-под руки.

Из самолёта, неуклюже выпростав длинные ноги, вылез Нокс. Он потянулся, как человек, у которого затекли все члены, и широко зевнул.

— Что дальше? — спросил он у Неда.

— Нужно раздобыть бензин.

Нокс недоуменно огляделся:

— Не вижу лавки... — И уже совершенно серьёзно: — Вы уверены, что мы у франкистов?

— Буду рад, если они не поспешат доказать нам это.

— Значит... нужно добывать бензин поскорее?

— Да.

— Что там, на вашей карте: какое-нибудь селение, что-нибудь в этом роде?

Нед покачал головой:

— Соваться в селение?.. Лучше поищем дорожную колонку. Моя «Моль» как-нибудь переварит несколько галлонов автомобильного бензина... Пофыркает, но дотянет.

— Тогда вы побудьте здесь, а я схожу на поиски, — сказал Нокс, ощупывая карманы с динамитными патронами.

— Только, пожалуйста, осторожней, — сказал Нед и протянул углекопу свой пистолет.

— А вы? — спросил тот.

— Мне с «Молью» всё равно не

спрятаться. Если уж они нас обнаружат, то, наверно, явятся целой дивизией.

— Я быстро, — сказал Нокс и зашагал по дороге.

— Эй, Гемфри, — крикнул ему вслед Нед, — а деньги-то у вас есть?

— Что?

— Говорю: деньги!

— А-а! — вместо ответа неопределённо крикнул Нокс, и Нед увидел, как вспыхнула спичка, на миг ярко осветив лицо закуривающего углекопа.

— Вы неважный разведчик, Гемфри! — насмешливо крикнул Нед.

— Папироса может мне

понадобиться.

Нед уже не мог видеть, как с этими словами Нокс вынул из кармана динамитный патрон и поудобнее зажал его в кулаке.

Силуэт углекопа скоро исчез на темносером фоне гор.

Нед огляделся — кругом было уже довольно темно. Что же, так и оставить «Моль»? А если кто-нибудь, кто будет ехать по дороге без света, врежется в самолёт?.. Впрочем, своими силами Нед всё равно не сможет откатить «Моль» с дороги.

Он отошёл на несколько шагов, сел в траву и закурил.

Трава была мокрая и холодная. Как тут холодно! Наверно, высоко...

Он даже не взглянул на альтиметр. Впрочем, неважно.

Брр! Даже после холода наверху — ни малейшего потепления.

Нед не заметил, как голова его опустилась на руки и недокуренная папироса выпала из разжавшихся пальцев, зашипела в заиндепевшей траве и погасла.

Он очнулся от пробравшего его озноба. Какой чертовский холод! Нужно взять в кабине самолёта термос. Хочется хлебнуть горячего!

Однако сколько же он тут спал? Почему ещё нет Гемфри?.. Бедняге тоже, наверно, не жарко в его пиджаке!..

С этой мыслью Нед упругим

движением поднялся на ноги и замер в изумлении: перед ним стояли двое. Они были бородаты, оборваны. Оба держали наведённые на него ружья.

«Кто?»

На всякий случай Нед дружелюбно рассмеялся и протянул им папиросы. Те опустили ружья и осторожно взяли по папиросе. Нед старался найти какие-нибудь признаки, которые позволили бы определить, к какому лагерю принадлежат бородачи. На них были рваные мундиры и до того измятые кепи, что нельзя было определить их форму. Но как только солдаты заговорили между собой, сомневаться было уже не в чём: то

были итальянцы, значит — франкисты.

Нужно было что-то придумать.

Нед ткнул себя в грудь и весело сказал:

— Германа.

Один из бородачей вложил пальцы в рот и пронзительно свистнул. Через несколько мгновений Нед был окружён группой людей, бесшумно возникших из-за лежащих вокруг камней. У них были обычные лица солдат отступающей армии, измотанных голодовками и бессонницей.

После первых же слов Нед понял, что ни один из них не знает по-немецки. Нед же не знал по-

итальянски.

Пока Нед рассматривал эту группу, несколько других итальянцев с жадностью завязых мародёров рылись в самолёте.

Двое первых сидели по сторонам Неда, снова опустившегося на землю, и молча курили его сигареты. Потом тот, что распоряжался, велел всем итти за ним.

Он остановился в сотне шагов от дороги, за огромным камнем. Нед вдруг увидел отсвет пламени на его серой поверхности. Он быстро оглянулся, и яростное проклятие сорвалось с его уст: на дороге ярким костром пылала «Моль». Нед с

поднятыми кулаками бросился к самолёту, но удар приклада повалил его на землю. Ему тут же скрутили за спиною руки. Нед не намерен был сдаваться без боя, но итальянцев было слишком много.

Он не мог понять, что происходит. Или они не поверили тому, что он немец? Потащат теперь в какую-нибудь комендатуру. Только бы там нашёлся кто-нибудь понимающий по-английски.

Нед ни на минуту не терял хладнокровия, но было чертовски досадно, что все так глупо вышло.

Вдали на шоссе мелькнул сноп белого света. Автомобиль! Ну, старина, теперь держись! Прежде

всего нужно заявить, что ты британец!..

Автомобиль остановился неподалёку от горящего самолёта. Из машины вышел человек небольшого роста. Итальянцы окружили его.

Нед слышал их взволнованные голоса и спокойный голос автомобилиста. Он не был итальянцем, — он то и дело заглядывал в словарь.

Нед поднял голову и крикнул:
— Послушайте!

Тот обернулся, посмотрел на Неда.

— Подойдите-ка! — крикнул Нед.

Но автомобилист отвернулся и

стал просматривать бумаги, отобранные итальянцами у Неда. Нед терял терпение.

— Эй, вы, послушайте!.. — Если он не знает английского, то уж по-немецки-то или по-французски наверняка говорит! Но проезжий только ещё раз молча посмотрел на Неда. Нед готов был дать голову на отсечение: автомобилист слышал и понял всё, что кричал Нед, — каждая чёрточка его лица, вплоть до глаз, прикрытых большими очками, была отчётливо видна Неду в ярком свете горящей «Моли». Но какого же тогда чорта?..

Нед потерял терпение:

— Эй, вы!.. Чорт побери, идите

же сюда!

Но вместо ответа автомобилист положил в карман бумаги Неда, — Нед это отлично видел, — и что-то сказал итальянскому капралу. К Неду подошло несколько солдат. Они подняли Неда на ноги и подвели к скале. Нед прислонился к ней спиною, но итальянцы повернули его к камню лицом...

Неду показалось, что он слышит в горах звонкое эхо взрыва. Будто один за другим рвались динамитные патроны.

Нед хотел обернуться, но то же горное эхо подхватило и понесло, умножая, одинокий винтовочный выстрел...

Старший из итальянцев передёрнул затвор винтовки, загоняя в патронник новый патрон.

Человек в очках курил, прислонившись к своему автомобилю.

Старший итальянец опустил ся возле него на дорогу.

— Ну?

— Все сделано, как вы приказали, синьор...

Проезжий уселся в свой автомобиль.

— Извините, синьор, — робко сказал итальянец, — если меня спросят, кто приказал расстрелять немецкого лётчика... — он сделал ударение на слове «немецкого» и

добавил: — Я хотел бы знать ваше имя, синьор.

— Люк Маро.

Солдат козырнул вслед отъезжающему автомобилю, и скоро свет фар исчез за поворотом.

Катастрофа разразилась так, как разражаются обычно все катастрофы, — неожиданно, хотя её жертвы, горняки с копей лорда Крейфильда, не раз предупреждали о её приближении. При своём последнем посещении хозяина они решительно заявили, что считают несчастье неизбежным. Но, вероятно, именно поэтому леди Маргрет столь же решительно запретила Бену тратить хотя бы фартинг на техническое улучшение шахт. Она назвала шахтёров дрянными вымогателями.

И вот теперь приходилось

расхлёбывать скандал и поднятую вокруг него газетную шумиху!

Бен не мог понять, за каким чортом рабочие лезли в эти проклятые шахты, если знали, что дело так плохо? В шахте похоронено четырнадцать человек, и ещё до тридцати спасательная партия не может докопаться, а он виноват.

Если бы это могло помочь делу, Бен готов был внести что-нибудь в фонд помощи пострадавшим, который собирал профсоюз. Но как это сделать? Не может же он официально послать свой взнос, чтобы стать потом посмешищем всей прессы.

Эти мысли тоскливо текли в

мозгу Бена, пока он разглядывал кружева вокруг шеи королевы Виктории на портрете, висевшем прямо против председательского места... Эта настойчивая старушка умудрилась провести восемьдесят три войны так, что на острове заметили только одну из них... А теперь каждый пустяк возбуждает необузданные страсти. Никто не щадит человеческих нервов...

Бен отвёл глаза от Виктории и кивнул головой Флемингу, закончившему чтение протокола. Бен не дал себе труда вслушаться в то, что читал секретарь, даже не слышал заключительной фразы. Привычное ухо реагировало лишь на

заключительную интонацию
Флеминга.

— Джентльмены... —

машинально произнёс Бен.

— Господин председатель!..

Бен таким же автоматическим кивком предоставил слово португальскому послу, но тут же удивлённо вставил в глаз монокль: почему этот субъект лезет вперёд?.. Бен привык к тому, что Португалия — лишь чёрный ход в Испанию, ключи от которого всегда лежали в английском кармане. Англичане привыкли к тому, чтобы португальцы держали руки по швам — и вот, извольте! Откуда у этого господина столько развязности? Неужели

Англия и там уступает свои вековые позиции немцам?

Однако лицо Бена, тем и знаменитое на все министерство, что на нём никогда ничего нельзя было прочесть, не отражало его мыслей. Он чуть-чуть приподнял бровь, и монокль упал в подставленную ладонь.

Сеньор Франсиско де Калейрес э Менезес говорил с пафосом, иногда картинно ударяя себя указательным пальцем в грудь. При этом Бен машинально делал кивок, хотя и не давал себе труда слушать португальца.

Взгляд Бена вернулся к королеве. Некоторое время они смотрели друг

на друга — он и Виктория. Потом Бен оглядел лица других знаменитых британцев, украшавших стены Комнаты Послов.

Когда эту комнату отвели для заседаний комитета, Бен обиделся: тут никогда не собирали конференций первого сорта. Но потом он смирился, поняв, что роль его комитета в том и заключается, чтобы без большого шума похоронить невмешательство и превратить его в едва замаскированную помощь франкистам... И всё-таки со всем этим оказалось бог знает сколько возни! А виноваты французы — затеяли такую суету. Хотя вот этот Корбэн — вполне достойная

личность.

Бен осторожно покосился на французского посла. Корректная фигура старофранцузской дипломатической школы. Никакой вертлявости. Вполне, вполне корректен. Хотя и считает себя республиканцем, но в его посольстве никогда не встретишь даже члена палаты общин. А журналистов старина Корбэн боится, как чумы...

Португалец в последний раз, с особенной силой, стукнул себя по манишке и умолк.

— Джентль... — монотонно начал было Бен, но Риббентроп заговорил, прежде чем получил слово. Дурно воспитанный тип!

Такого уже непустишь ко двору. Он способен и там вытянуть лапу и завопить: «Хайль Гитлер!» Новейший тип Джинго немецкой формации. Все в лоб, никаких церемоний.

Бен отвёл от Риббентропа глаза. Но голос германского посла был так резок, что от него не было возможности отвлечься. И, конечно, как всегда, полное отрицание очевидных фактов нарушения невмешательства, доказанных на прошлом заседании советским послом. А вот начинаются и обычные выпады Риббентропа: грубость прусского юнкера пополам с развязностью коммивояжёра.

Наверное, сейчас вылезет Гранди. Этот будет поддерживать своего немецкого коллегу. Начнёт все валить на пропаганду марксистов. Интересно: при слове «марксист» над переносицей Гранди вспухает короткая жилка.

А теперь, конечно, очередь советского посла. Сейчас он с цифрами и фактами в руках докажет, когда и сколько ящиков с немецкими ружьями выгружено в Лиссабоне или миновало португало-испанскую границу; сколько немецких аэропланов проследовало в порт Виго; сколько шведских пушек разгружено в Ла Корунье. Расскажет, сколько немецких солдат высадилось

в Кадиксе и какие итальянские части прибыли в Мадрид. В этом крошечном человеке огромный запас энергии! Ну, так и есть: в глазах русского светится злой смех... Дипломатия совершенно новой школы — ничего общего ни с одним из сидящих за столом.

— Мы должны быть благодарны господину итальянскому послу за то, что он располагает столь свежей информацией с фронта, которой нет даже в газете, — слышится высокий голос русского.

— Новости есть: ваших друзей бьют! — кричит Гранди.

Русский сдержанно улыбнулся:

— Rira bien, qui rira dernier^[22],

господин посол. Я повторяю:
итальянский посол располагает
информацией непосредственно от
генерала Франко...

Риббентроп издаёт возглас:

— Р-р-р!

Это звучит, как рычание
овчарки. Бен внутренне улыбается.

— Почему у итальянского посла
такая точная и такая ранняя
информация? — невозмутимо
продолжал русский. — Да потому,
что связь между итальянским
правительством и испанскими
мятежниками непосредственна и
крепка.

— Пропаганда! — крикнул в
бешенстве Риббентроп.

Бен машинально стукнул карандашом по столу.

— ...Великий водораздел нашего времени, — говорит русский, — идёт по линии «война — мир».

— Пропаганда! — в этом слове у Риббентропа всегда несколько «р».

Гранди порывисто поднялся:

— Никакая пропаганда не поможет господину советскому послу и его друзьям в Испании. До полной победы генерала Франко ни один итальянский солдат не покинет Испании!

«Ага, попался! — весело подумал Бен. — Сейчас русский в него вцепится».

Действительно.

— Значит ли это, что итальянское правительство отказывается от вывода своих «волонтёров»? — с живостью спросил советский посол.

Бен вставил монокль и с интересом посмотрел на опешившего Гранди.

— Итальянское правительство не готово к ответу.

Позвольте, ведь это же сказал не Гранди, а Риббентроп. Ага, суфлёр! Да, вот теперь Гранди, как попугай, выкрикнул и сам:

— Итальянское правительство не готово к ответу! — и опустился в кресло.

Ну что же, каждый имеет право на своего Флеминга!

Однако почему до сих пор молчит его суфлёр-секретарь? Бен покосился на Флеминга. Тот сидел, откинувшись в кресле, и исподлобья смотрел на советского посла. Бену показалось, что он поймал в глазах Флеминга нечто большее, чем простой интерес, — это было сочувствие!

Бен торопливо ухватился за цепочку часов.

— Джентльмены!.. Ленч!..

В перерывах между заседаниями Бен всегда совершал прогулку от министерства к Пэл-Мэл и обратно.

Сегодня, едва войдя в столовую клуба, он сразу заметил Монти.

— Разве ты завтракаешь в это время?

— Иногда, — неопределённо пробормотал Монти. Он не хотел признаться, что его беспокоило поведение Флеминга. Разговор, происходивший при вручении Флемингу чека за рукопись, не удовлетворил Монти: у Флеминга что-то на уме! Рукопись рукописью, а может быть, следует попросту убрать его из комитета?.. Однако нужные слова не приходили на ум. Братья позавтракали почти в полном молчании.

Вместе с сигарой Бену подали

телеграмму.

Сначала Монти не обратил было на это внимания, но странное выражение лица старшего брата заставило его насторожиться.

Бен вторично прочёл телеграмму от начала до конца и с полуоткрытым ртом уставился на Монти. Монти заёрзал на стуле. Он заметил на бланке слово «Мадрид», и неприятная мысль обожгла сознание: скандальное разоблачение какой-нибудь испанской махинации Монти!.. Чорт побери, не подложил ли ему свинью Нед?.. Так и есть: губы Бена, словно скованные холодом, неясно произнесли:

— Н-н-нед...

Монти взял телеграмму из пальцев Бена.

Уф, слава богу! Совсем не то... Дель Вайо сообщал о смерти Эдуарда Грили, расстрелянного франкистами.

— Нужно скорее кончать со всем этим! — прошептал Бен.

Монти понял, что мысли брата как раз противоположны его собственным, и не на шутку испугался: таком настроении Бен и без нашептываний Флеминга может натворить глупостей. Нужно как можно скорее сообщить обо всём Маргрет и убрать Флеминга!

Когда брат ушёл, Монти вызвал по телефону Грейт-Корт.

А Бен, не подозревая, что его

особа служит предметом
оживлённого телефонного разговора
между Лондоном и Грейт-Кортом,
медленно шагал по Пэл-Мэл. Он был
так расстроен, что даже забыл
раскрыть зонтик. Да, он любил
Неда... Бедный мальчик, бедный
мальчик!.. Какая гнусность: всюду
убийства, кровь, смута.
Отвратительное время! В самом деле,
они правы: с этим нужно кончать! Но
почему Флеминг так смотрел на
советского посла?.. Нужно
поговорить с секретарём.

Но он так и не поговорил с
Флемингом. Зато с Флемингом
говорил Монтегю. Он окончательно
убедился в том, что никакого толка

из затеи с рукописью не выйдет. Этот энтомолог оказался хитрой бестией. Он вообразил, будто Монти действительно намерен печатать его пачкотню о бабочках, но вместе с тем наотрез отказался от какого бы то ни было сговора относительно своих советов Бену. С непроницаемой миной он заявил Монти, что председатель имеет право высказывать собственные мнения и секретарь не может за них отвечать. Даже если бы лорду-председателю вздумалось вдруг высказать сочувствие республиканцам Испании.

Монти сердито стукнул зонтиком в стекло дремавшего на

углу шофёра такси.

Когда Монти, переодевшись к обеду, спустился вниз, ему доложили, что его спрашивает дама.

— Миссис Фрэнсис Флеминг, сэр.

«К чорту! — мелькнуло было в уме Монти. — А впрочем...»

— Просите в кабинет.

Несколько мгновений Монти молча разглядывал гостью. Крупная, загорелая женщина. Её нельзя было назвать красивой, её черты не отличались правильностью, но в лице было что-то такое... И глаза глядят на Монти так пристально, словно изучают его.

Монти пододвинул ей кресло, но

она продолжала стоять, положив руку на край стола.

— Мистер Флеминг просил меня взять его рукопись.

— Такие дела делают мужчины.

— Мистер Флеминг болен.

— Вот что! — Чтобы дать себе время подумать, Монти отошёл к камину и, став к нему спиной, стал греть руки. — Вы имеете в виду... Труд мистера Флеминга?

— Нашу работу «*Troides meridionalis*».

— Вы... тоже энтомолог?

— Да.

— Вы были с ним на Новой Гвинее?

— Я там родилась.

— Вот что!

Монти, помолчав, сказал:

— Рукопись продана мне.

Миссис Флеминг положила на стол несколько банкнот.

— Вот ваш аванс.

— Рукопись куплена мною и останется у меня.

— Видите ли, мистер Грили, это единственный экземпляр нашей последней работы.

— Тем лучше для меня.

Монти достал из стола рукопись и перекинул несколько страниц с тщательно раскрашенными изображениями бабочек.

— Рукопись принадлежит мне, — повторил он и поднял глаза

на женщину, но поспешно перевёл их обратно на рисунки, не выдержав её презрительного взгляда.

— Я принесла деньги и считаю...

— Деньги могут остаться у вас, так как рукопись останется у меня... Впрочем, можете передать вашему мужу: если он хочет найти выход, устраивающий нас обоих, я буду ждать его завтра.

— Мистер Флеминг не захочет с вами встретиться.

— Что вы сказали?

Некоторое время она молча смотрела на него исподлобья, потом решительно сказала:

— Мистер Флеминг не может

выходить за круг своих обязанностей.

«Она знает! Только этого нехватало!»

— Рукопись останется у меня, или... или... — он не решился досказать того, что подумал. Он схватил рукопись и швырнул её в камин. Бумага вспыхнула, прежде чем женщина подбежала к камину.

Взгляд Монти, — он сам растерялся от того, что сделал, — следил ещё за тем, как загибались вспыхивающие листы и языки пламени взвивались над рукописью, когда он почувствовал удар по лицу.

Миссис Флеминг тяжёлыми шагами вышла из комнаты.

В холле хлопнула дверь. В доме

повисло гулкое молчание.

Настроение Геринга сделалось великолепным по двум причинам. Первой и, пожалуй, наиболее важной причиной было признание жены в том, что она беременна. По существу, это не было даже просто причиной для хорошего расположения духа — это было торжество. Вопрос о продлении рода Герингов стоял теперь, когда глава его достиг высоты власти, совершенно особым образом: это было уже делом государственной важности. Германская элита должна была развиваться и процветать. А уж если будущему Герингу — представителю этой элиты — ещё

доставалось наследство в несколько десятков миллионов марок, не воспроизвести самого себя?!. Это было бы просто преступлением. Продление себя в сыне представлялось теперь Герингу чем-то само собою разумеющимся. Можно было подумать, будто он забыл то, что всего каких-нибудь полгода назад, перед его бракосочетанием с Эми, сказали врачи: лечение едва ли может дать положительные результаты. Если злоупотребление наркотиками и не убило в нём способность к воспроизводству рода, то почти с уверенностью можно сказать, что его потомство будет неполноценным.

Больше того, врачи прямо сказали: они почти гарантируют его потомкам те самые свойства, которые перечисляются в заготовленных впрок секретных инструкциях правительства об «очищении расы» как основания для уничтожения детей и стерилизации родителей. Не приходилось скрывать: Геринг привык к мысли, что не может иметь детей. Но теперь после столь же неожиданного, сколь радостного признания Эми, все сомнения врачей казались ему сущей чепухой: у него, Германа Геринга, должно быть и будет полноценное потомство, достойное германца и вождя. Прежде всего это будет сын; во-вторых, это

будет...

Насвистывая что-то очень бравурное, он бодро шагал по дорожке, улыбаясь мыслям о том, каким родится новый Геринг, каким будет расти, вырастет и станет таким же вождём германцев, как его отец; как его будут обожать немцы за силу, красоту и главным образом за то, что он сын Германа Геринга...

Сын Германа Геринга! Это много значит! Чертовски много! Такому отпрыску элиты будет доступно все. Власть будет принадлежать ему по праву рождения. Власть над миллионами рабов, власть над самими германцами... власть... над...

самими фюрерами?..

Эта, последняя мысль как бы с осторожностью вошла в сознание, словно вползла между другими, менее опасными, которые можно было высказать вслух. Эта мысль была такой тайной, такой заветной, что, несмотря на её постоянное существование где-то в глубине черепа, она не так-то часто появлялась на поверхности. Как хроническая болезнь, она давала себя чувствовать при малейших потрясениях. Будь то припадок раздражения или недовольства жизнью, вызванный каким-нибудь поступком фюрера, его словом, отношением к Герингу, — тайная

мысль о необходимости стать самому первым из первых всплывала, как нарыв, готовый лопнуть и затмить отравною гнева здравый смысл, осторожность, вылиться в немедленное действие: он или я! Если же шок был, так сказать, положительным, связанным с приятными переживаниями, — как сегодня, — то эта «идея фикс» начинала мерцать, как яркая, но очень далёкая звёздочка, путь к которой был долог, извилист и таен. Но в конце каждого из этих вариантов, подобно видению, всегда проступали силуэты его собственной внушительной фигуры, заслоняющей все остальное и прежде всего

вислозадого выскочку Гитлера, сумевшего взгромоздиться на шею всем. Геринг не скрывал от себя, что Гитлера нельзя отодвинуть на второй план и попросту заслонить собою. Эта возможность была давно упущена — ещё тогда, когда он, испугавшись драки и риска, выдвинул вперёд этого ефрейторишку. Он должен был тогда сказать дюссельдорфским господам: вот я — тот, кто может выполнить все ваши желания и приказы, может скрутить Германию в бараний рог, не постесняется ничем, решится на все!.. Осел!.. Чего он тогда испугался, что он мог потерять?!. Что теряет тот, у кого ничего нет?.. Теперь, когда

он становится одним из богатейших людей Германии, когда в его руках сосредоточивается столько власти, сколько не имеет никто, кроме двух-трех немцев, — теперь другое дело. Теперь нельзя рисковать. Теперь нужно обдумывать каждый шаг, каждое слово взвешивать, отмерять, идти на цыпочках и, если нужно, отступать, и снова вперёд без большого шума... Но рано или поздно ефрейтор должен исчезнуть. Если ему некуда будет уйти, кроме могилы, — пусть убирается туда. Геринг, не колеблясь, поможет ему в этом... Убрать, уничтожить проклятого недоноска!..

Эта мысль жила всегда, хотя и

находилась в такой глубине сознания, в таких тайных извилинах мозга, что даже сам Геринг делал вид, будто ничего о ней не знает...

Итак, очистить путь для будущего Геринга! Для этого нужно самому стать первым в Германии. Так и будет: он станет «наци No 1». Рано или поздно!..

Это прекрасно, замечательно: Эми беременна!

— Просто... великолепно... — напевает вполголоса Геринг, шагая в такт ритму импровизированного мотива.

Он идёт к Охотничьему павильону, чтобы посмотреть, как там ставят скульптуру вместо той,

которую он в прошлый приезд забраковал.

Доклад архитектора о том, что все работы по отделке Кариненхалле приходят к концу — это и есть вторая причина его хорошего настроения сегодня. В этом замке каждый камень, каждый извив лепки и резьбы соответствует его вкусу. Все массивно, все грандиозно и тяжело, как должно быть в жилище настоящего тевтона. Каждый шаг по этому замку, по его роскошному парку должен внушать посетителю уважение к хозяину и подавлять своим мрачным величием.

Охотничий павильон, пожалуй, одно из самых любимых его мест

действительно великолепного, обширного, как лес, парка. Если бы не настояния архитекторов, боявшихся за стилистические особенности домика, Геринг заставил бы пустить тут побольше позолоты. Но в общем ничего. И так никто не примет этот домик за хижину нищего. Одна резьба потолка, выполненная руками самых искусных мастеров, согнанных из всех концлагерей Германии, — подлинный шедевр... Ха-ха! Тот старик, свалившийся с подмостков при виде входящего хозяина и сломавший себе правую руку, его тогда ужасно рассмешил...

В комнатах пахло лаком

свежеотделанного дерева. Паркет «рыцарской комнаты» для вечерних бесед, представляющий собою панно — охоту древних германцев, выполненное из деревянной мозаики, был так чист, что даже Геринг остановился на пороге, не решаясь ступить на нежную розовость тисса, передающую отсвет утренней зари, встающей над тёмной гущей леса. «Когда-нибудь, — подумал он, — посетители будут надевать войлочные туфли при входе туда, где проводил вечерний досуг „наш добрый толстый Герман“.

Осторожное покашливание за спиной прервало его приятные мысли.

— Что нужно?

— Рейхсминистр господин Геббельс ищет вас по неотложному делу, — почтительно доложил адъютант.

— Вечно у него неотложные дела! — проворчал Геринг и, сразу забыв о том, что под его ногами — произведение искусства, топоча, как обычно, миновал «рыцарскую» и вошёл в рабочий кабинет, занимавший весь угол Охотничьего домика. Адъютант осторожно затворил за ним дверь, оставшись вне кабинета. Геринг взял трубку телефона.

По мере того как он слушал Геббельса, брови его все ближе

сходились над переносицей и выражение глаз становилось мрачнее.

— Сегодняшняя сводка британской прессы говорит, что в Англии существует убеждение о серьёзных разногласиях в нашем руководстве, — говорил Геббельс. — Там прямо называют «непримиримых врагов фюрера» по именам.

— Какое мне дело до мнения этих дураков, — мрачно рявкнул Геринг. — Пошлите их к чорту!

— Если бы это было так просто, мой дорогой, — насмешливо проговорил Геббельс. — Ведь первым в списке врагов нашего

дорогого фюрера идёт «наци No 2»...

Геринг не видел лица Геббельса, но был готов поклясться, что при этих словах его красная морда перекосилась в злорадной гримасе, которую хромоножка пытается выдавать за улыбку. И уж наверно эта гадина сообщила все Гитлеру или ждёт, что ответит Геринг, и тогда сообщит все сразу в надежде, что Геринг растеряется от этого известия, замнётся, может быть даже перепугается... Но, чорта с два! Геринг не доставит такой радости господину министру пропаганды!

Уверенным тоном он заявляет, что к вечеру редакция «Фелькишер Беобахтер» получит его статью —

она явится ответом на инсинуации зарубежных шавок.

Он тотчас же вызвал стенографа и тут же, не выходя из охотничьего домика, принялся диктовать статью.

Тема!.. Она не имела, на его взгляд, большого значения. Нужно было только вставить в текст как можно больше фраз, могущих убедить Гитлера в том, что ни в ком он не имеет такого преданного друга и слугу, как в Геринге. Нужно польстить фюреру, но вместе с тем и дать ему понять, что в руках Геринга сосредоточена реальная сила, с которой он никому не позволит наступать себе на ноги — будь то даже сам фюрер... Да, именно так:

даже сам фюрер!

Произнося некоторые из фраз, казавшихся ему особенно важными, Геринг останавливался за спиной стенографа и подтверждал силу своих слов ударами мясистого кулака по воздуху:

— «...В настоящее время я ещё раз перестроил управление государственной тайной полицией и подчинил его непосредственно себе...» — Он сделал небольшую паузу, чтобы спросить себя: достаточно ли внушительно это звучит — «непосредственно себе»?.. Как будто всякому должно быть понятно, что означает полиция в его руках... Итак, дальше: «Через сеть

периферийных отделений, объединённых в Центр, в Берлине, я ежедневно, можно сказать, почти ежечасно, осведомлён обо всём, что происходит в Пруссии. Каждая нора коммунистов, вплоть до самой последней, известна мне. И они могут сколько угодно менять свою тактику, переименовывать своих связистов, — не проходит и нескольких дней, как они снова обнаружены, зарегистрированы, взяты под наблюдение, изъяты. Против этих врагов государства необходимо действовать с полной беспощадностью, столь же беспощадно нужно действовать против их агитаторов и самих

вожаков. Для этого и возникли
концентрационные лагеря, в которые
мы должны были водворить тысячи
работников аппарата
коммунистической партии.
Разумеется, кое-где страдают и
невинные; разумеется, кое-где кое-
кого и били, кое-где применялись и
суровые меры, но ведь сильные
государства всегда ковались при
помощи железа. В таком деле железо
важнее масла. От масла люди только
толстеют. Мы, немцы, или покупали
масло и обходились без свободы, или
добивались свободы и обходились без
масла. Мы, по воле фюрера, решаем
вопрос в пользу железа, а не масла.
Вы, германцы, должны гордиться

таким решением вашего фюрера...» Он подумал, переделал слово «вашего» на слово «нашего». «Смотрите на меня!» — воскликнул он, и стенограф в испуге обернулся, но Геринг притопнул ногой и, сдвинув брови, продолжал: «Бесчисленные чины и почести выпали на мою долю, но ни один чин и ни одно отличие не могло в такой степени наполнить меня гордостью, как то прозвище, которое дал мне немецкий народ: „самый верный паладин моего фюрера“. Чего хочет фюрер, того хочу и я. Что думает фюрер, то хотел бы думать и я. Свои дела я бросаю к его ногам. И если это будет нужно, то и головы врагов я

сложу на его пути, чтобы он мог по ним прийти к своей конечной цели...» — Тут он велел стенографу перечесть ему последние слова. — Так... кажется, в порядке: фюрер не уловит тут намёка на свою собственную голову, которую Геринг рано или поздно бросит к его ногам. Можно дальше: «Мы любим Адольфа Гитлера, потому что верим твёрдо и непоколебимо: он ниспослан нам богом, чтобы спасти нас и Германию... Как найти слова для его дел? Был ли смертный когда-нибудь так любим, как он, наш фюрер? Была ли хоть одна вера так сильна, как наша вера в его миссию? Да, мой фюрер, бог послал вас нам, сам бог!..

То, чем я являюсь, — я являюсь только благодаря фюреру, то, чем я стану, я хочу стать только по воле Адольфа Гитлера!...»

Геринг на минуту умолк и сказал задумчиво:

— Пожалуй, на этом можно и кончить, а?

Он прослушал стенограмму и остался доволен. Может быть, тут нужно ещё кое-что подправить, чтобы сделать статью несколько более глубокомысленной, а то все слишком крикливо, но это уж должен сделать сам Геббельс... А впрочем, на хромоножку надежда плоха. Там, где речь идёт о Геринге, этот тип готов только вредить, а не помогать.

Чего доброго, он ещё вставит какую-нибудь скользкую фразу, из-за которой Адольф поднимет немыслимый крик... Кроне! Вот кто просмотрит статью и вставит в неё что-нибудь этакое. — Геринг прищёлкнул пальцами: — Такое, чтобы все воскликнули: «О, этот Герман! Вот она — наша главная голова!..» Кстати, почему Кроне до сих пор нет? Ведь он был приглашён сегодня к обеду, чтобы полюбоваться замком...

Оказалось, что Кроне уже приехал и ожидает хозяина. Обед прошёл весело. Геринг с трудом удерживался от того, чтобы не поделиться с гостем висевшей на

кончике языка новостью: «Эми беременна!..»

После обеда они уединились, и Кроне перечитал статью. Он посоветовал вставить несколько фраз. Это, как и надеялся Геринг, были именно те фразы, которые заставят немцев покачивать головами: «Ого! Здорово посажена голова у нашего Германа».

Сегодня все: семейная радость, окончание работ в замке, удачная статья и, наконец, присланная в подарок виноделом партия великолепных вин — решительно все настраивало на самый приятный лад. Послеобеденная беседа с Кроне протекала в непринуждённом тоне.

Эта атмосфера благодушия, порождаемая успехом и уверенностью в себе самом и в своём будущем, не была нарушена даже напоминанием адъютанта о том, что Геринг приказал напомнить себе о папке, присланной Гиммлером.

— Ну что ж, папка так папка, — с необычной покорностью сказал он. — Давайте её сюда, — и принялся лениво перелистывать страницы голубоватой, отделанной под полотно бумаги.

Кроне рассеянно курил, вытянувшись в низком кресле, и, блаженно зажмурив глаза, пускал точные, ровные кольца. Когда два или три кольца, плавно колыхаясь и

меня форму, поднимались над его головой, он точной, стремительной струйкой дыма пронзал их. Постепенно число колец увеличивалось: четыре, пять... Вот только никак не удавалось пронзить сразу шесть колец...

Смех Геринга оторвал Кроне от созерцания расходящихся голубоватых кругов. Министр смеялся так, словно на голубоватой поверхности шелковистой бумаги были написаны его любимые скабрёзные анекдоты.

— Вот хитрец! — воскликнул он, щёлкнув пальцем по странице. — Этот Гиммлер — негодяй! — продолжал он с удовольствием. —

Он вовсе не обязан присылать мне на согласование такие вещи. Это его компетенция, но он хочет быть чистеньким, если кто-нибудь докопается до этих секретнейших штук. Пусть тогда всех собак вешают на толстую шею Геринга! Хо-хо!..

Кроне не задал никакого вопроса, хотя и не понимал пока, о чём идёт речь. Он достаточно знал Геринга, чтобы быть уверенным: раз тот заговорил в таком тоне, то непременно откроет и причину своего веселья, будь она архисекретна. И действительно, прочитав ещё несколько страниц, Геринг перебросил папку через стол прямо на колени Кроне.

— Полюбуйтесь-ка! Больше всего мне нравятся здесь два параграфа: наставление, как варить мыло, и указания о допросе третьей степени. Прежде всего я не понимаю, почему из этого нужно делать такой дьявольский секрет? Что касается строгих допросов, то уж раз они называются «строгими» — какого чорта стесняться?! Нужно уметь брать на себя ответственность. Это не в моей манере: прятаться за спину исполнителей. Я с самого начала объявил во всеуслышание: я беру на себя ответственность за каждую каплю крови, за каждого убитого коммуниста или еврея, даже за каждого случайно и невинно

избитого немца...

— А за каждого убитого по ошибке? — словно невзначай спросил Кроне.

— Какая же разница: побитый или убитый?! — с неподдельным удивлением спросил Геринг. — Важно то, что отвечаю я, а не тот, кто убивает или бьёт. Ведь если бы «метр де Пари» должен был гильотинировать на собственный риск — не было бы французской революции. Даже чернь в трезвом виде боится крови, если за эту кровь нужно впоследствии отвечать. Следователь тайной полиции должен быть уверен, что подследственный, умерший на допросе, будет записан

ему в актив, а не станет поводом для выговора или наказания. Арестованный, выпущенный на свободу, — вот настоящий брак в работе карательных инстанций. Слюнтяи болтают, будто задача следствия — найти правду. А я утверждаю: ежели уж мы заграбастали человека — он не должен вылезти из наших рук. Топор или лагерь — вот единственное решение для тех, кто однажды попал к нам. А Гиммлер, видите ли, хочет, чтобы кто-то другой решал, нёс ответственность, проводил строгие допросы и стрелял в затылок. Он боится ответственности. Как будто народ так или иначе не будет знать,

что каждая пуля, пущенная арестованному, пущена рукою Гиммлера. Что касается меня, то я так говорил: «Каждая из этих пуль моя, ребята. Не бойтесь ни бога, ни людей. Перед судом всевышнего предстану я, мы с вами сговоримся»... А суд людей?.. Им до меня никогда не дотянуться. Руки коротки у людей.

— Возможно, что рейхсфюрер, — осторожно проговорил Кроне, — проявляет такую осторожность потому, что предложенные тут инструкции спроектированы для военного времени, то-есть предусматривают не немцев, а иностранных

подданных, пленных. Его, может быть, смущает то, что эти мероприятия идут вразрез с современными понятиями международного права, современных правил ведения войны.

— Ах, бросьте Кроне! — отмахнулся Геринг. — Он так же плюёт на все эти правила, как я, как фюрер, как любой из нас. Гиммлер просто трус.

— Чего же ему бояться?

— Он мелкий клерк, конторщик! — с презрением произнёс Геринг. — У него нет широты, нужной политическому деятелю нашего калибра. Мы должны стоять выше условностей. Если

германская нация несёт расходы на убийство врагов, то она имеет право покрыть эти расходы. Для этого нужно варить мыло из убитых? Будем варить. Нужно готовить удобрения из костной муки? Значит, будем перемалывать кости русских, французов, чехов — всех, кто стоит на историческом пути германцев.

— А они? Ведь французы, русские, чехи тоже могут варить мыло из немецких трупов и перемалывать кости на удобрения?

Геринг вскочил с места и угрожающе придвинулся к Кроне:

— Вы издеваетесь надо мной?! Кто посмеет поднять руку на германца?..

— Тот, на кого поднимем руку мы.

— На меня?

— И даже, может быть, захотят приготовить из вас несколько килограммов мыла повышенной жирности... — невозмутимо издевался Кроне.

— Вы совсем сошли с ума! — крикнул Геринг. Он хотел сказать ещё что-то, но замялся, не находя слов, и, махнув рукой, отошёл в другой конец комнаты. Оттуда он ещё раз удивлённо посмотрел на Кроне. — Вы все это серьёзно?

На этот раз хохотом разразился Кроне.

Глядя на него, начал улыбаться и

Геринг.

Потом они дружно расхохотались вместе.

Когда этот пароксизм веселья, вызванного шуткой Кроне, прошёл, они принялись внимательно, пункт за пунктом, рассматривать секретную инструкцию Гиммлера. На чистых, как весеннее небо, голубых полях страниц Геринг писал замечания и поправки, подсказываемые ему Кроне. Так, они посоветовали Гиммлеру отменить необходимость испрашивать разрешение центрального управления безопасности на каждый допрос третьей степени; посоветовали поручить экспертам

разработать специальный план
использования отходов
уничтожаемого населения
завоёванных территорий: не должны
пропадать не только жир и кости, но
волосы и золотые коронки, обувь и
платье.

— И если уж быть
последовательным, —
глубокомысленно заявил Кроне, —
то почему должна пропадать кожа
чехов или французов. Мы же делаем
бумажники из свиной кожи и
перчатки из лайки? Почему немецкие
женщины не должны получить
портмоне из кожи чешки или
перчатки из кожи русской женщины?
Русский сафьян всегда считался у нас

товаром «экстра», так пусть он уступит место человеческой коже...

Геринг слушал внимательно и согласно кивал головой.

— Вы молодчина, Кроне. У вас золотая голова. Я ещё, видно, не знал ваших способностей. Вы отличный хозяин. Нам остаётся подумать о том, должны ли все эти мероприятия оставаться такими секретными, как хочет Гиммлер, или пора действительно наплевать на международные рогатки, поставленные на пути здравого смысла тевтонов. Не должны ли мы уже теперь, в предвидении битв и расцвета нашей государственности и хозяйства, начать приучать немцев к

новому пониманию морали: что, в самом деле, предосудительного в том, что перчатки сделаны не из той кожи, что обычно? Или станет ли хуже диван от того, что мы набьём его не конским волосом, который нужно покупать за тридевять земель на золото, а волосами славянских рабынь?.. Вы правы, Кроне, тысячу раз правы, как всегда!.. Я должен доложить о вас фюреру. О ваших способностях и вашей преданности нашему делу...

Кроне предостерегающе поднял руку.

— Ни в коем случае, если хорошо ко мне относитесь!

— Чего вы испугались?

— Иметь возможность служить вам, одному вам. — Кроне не опустил глаз под испытующим взглядом Геринга. — Это все, чего я хочу от жизни!.. Вот так же, как вы сами только что написали в своей прекрасной статье: «то, чем я стану, я хочу стать благодаря Герингу и только благодаря ему»!

Геринг тяжёлыми шагами обошёл стол и приблизился к собеседнику. Его тяжёлые руки легли на плечи Кроне. Взгляд продолжал искать взгляд Кроне.

— Вы мне нужны... — проговорил он. — И вы никогда не раскаетесь в том, что сказали. — Он тряхнул Кроне за плечи и, отойдя,

задумался перед тёмным окном. За фигурными цветными стёклами, изображавшими Лорелею над рекой, не было ничего видно, но Геринг смотрел так, словно искал за ними ответа на мелькнувший неожиданно в мозгу вопрос: «так, как вы только что написали в своей статье», сказал Кроне, «а что если его преданность мне именно такова, как моя Гитлеру?..»

Он быстро обернулся, словно рассчитывая поймать на лице Кроне что-то, что выдаст ему истину. Но тот сидел все такой же спокойный, с таким же холодным, ничего не говорящим взглядом серых глаз.

Раздался стук в дверь, и, не

ожидая разрешения, в комнату вошла пышная блондинка с красивым лицом — Эми Геринг. Радостная улыбка раздвинула ещё шире и без того расплывшиеся от жира черты Геринга. Протянув обе руки, он пошёл навстречу жене и, осторожно обняв, поцеловал её в лоб. Потом, с живостью обернувшись к Кроне, воскликнул:

— Я верю тому, что вы преданы мне, Кроне, и хочу открыть вам мою большую радость, но пока — это наш секрет...

— Герман! — смущённо воскликнула Эми и, опустив глаза, закрыла мужу рот пухлой ладонью.

Хотя Гаусс не был моряком и не занимал здесь никакого официального положения, он все же оставался генерал-полковником. Его присутствие не могло не стеснять офицеров и командира линейного корабля «Дейчланд». Было вполне естественно, что командир втайне желал поскорее ссадить этого угрюмого пассажира на берег и вернуться в испанские воды.

Гаусс сидел в шезлонге на юте и наслаждался одиночеством. Погода благоприятствовала переходу, и путешествие больше походило на поездку на курорт, чем на

возвращение из военной экспедиции.

Раскрытая книга лежала на коленях Гаусса. Не читалось. Достаточно было смотреть на воду, убегающую из-под кормы двумя расходящимися пенными косицами; на поразительно глубокое и не по-немецки синее небо; на тёмный силуэт испанского берега, в виду которого поднимался к северу «Дейчланд», как всегда сопровождаемый эсминцами.

Отто сидел в пяти шагах от генерала, чтобы быть у него на виду, но ничем не напоминать о своём присутствии.

На баке слышалась трель боцманских дудок. Забегали

матросы. С орудий снимали чехлы.

Гаусс не вмешивался в дела корабля. Командир ценил это и сам являлся доложить новости. Так было и на этот раз.

— Красный миноносец пытается досмотреть транспорт.

— Чей транспорт?

— Хм... Он несёт греческий флаг.

К командиру подошёл флаг-офицер:

— Миноносец вызывает по радио береговую авиацию.

— А-а... — Гаусс побарабанил пальцами по ручке шезлонга. — И что же?

Командир корабля притронулся

к козырьку фуражки:

— Если вашему
превосходительству угодно
наблюдать «спектакль», — попрошу
в боевую рубку.

Гаусс молча кивнул головой и последовал за командиром. Через две минуты одно из орудий левого борта — «сто пятьдесят», определил Гаусс, — сделало выстрел. Снаряд взметнул столб воды на курсе миноносца. Гаусс отлично видел в бинокль, этот пенный султан. Через полминуты последовал второй снаряд. Миноносец изменил курс. Тем временем преследуемый им транспорт на всех парах мчался к «Дейчланду». Броненосец тоже

изменил курс и прибавил оборотов, чтобы поскорее оказаться между транспортом и миноносцем. Теперь Гаусс понял, зачем миноносец вызвал авиацию: по-видимому, его командир не был новичком в такой игре и знал, что немец не даст досмотреть транспорт, успевший тем временем без зазрения совести переменить греческий флаг на итальянский.

Отто показал Гауссу на две быстро увеличивающиеся точки в небе: самолёты стремительно приближались от берега. Вскоре они были над транспортом и сбросили по его курсу первую бомбу. Это было требование остановиться. Неужели

республиканский миноносец
решился досматривать транспорт на
виду у немецких военных кораблей?
Но почти тотчас Гаусс вздрогнул от
неожиданного удара — затрещали
зенитки «Дейчланда». Все небо
между линкором и транспортом
покрылось рваными хлопьями
чёрных дымков.

Один из самолётов закачался,
метнулся на крыло и, оставляя за
собою длинный шлейф густого
чёрного дыма, с крутым снижением
пошёл к берегу.

Но второй самолёт не уходил. Он
снизился к транспорту. Генерал не
мог бы сказать, что произошло
далее: страшный толчок воздуха,

казалось, столкнул с курса даже махину «Дейчланда». На месте транспорта осталось только море огня, извергающего к небу обильные клубы чёрного дыма.

Республиканский миноносец, как веретено, буравя воду, стремительно уходил на юг. К Гауссу подошёл командир корабля.

— А второй-то самолёт всё-таки удрал! — сказал Гаусс. — Наверно, на свой аэродром?

— Полагаю.

Гаусс смерил взглядом расстояние до берега, где виднелись белые постройки городка.

— Мне кажется, что аэродром расположен там?

— Совершенно верно.

— Расстояние не так велико...

— Гаусс пожевал губами. — Я плохо разбираюсь в морских делах, а будь это на суше...

Командир оживился:

— Вы полагаете... м-м... Город заслоняет аэродром?

— Заслоняет? — Гаусс навёл бинокль на группу сверкающих на солнце белизною домов. — Хм... Вы говорите, заслоняет?

— Точно так, — не понимая, к чему клонит генерал, ответил командир.

— Хм... какие-то жалкие домишки — и вдруг «заслоняют»!.. Могли бы и не заслонять...

Он опустил бинокль и, усмехаясь только тонкими губами, проговорил:

— Мы на суше не придаём значения таким пустякам...

Моряк понимающе рассмеялся и отдал команду об открытии огня.

Пока выполнялось приказание, он сказал Гауссу:

— Прежде всего мы уничтожим эту маску, прикрывающую аэродром, чтобы она не мешала вам наблюдать...

Он ещё не успел договорить, как Гауссу пришлось с болезненной гримасой прижать руки к животу, чтобы унять в нём сосущую боль, возникшую от залпа орудий главного

калибра.

Над городом почти мгновенно вместе с чёрными столбами поднятой разрывами земли появилось пламя пожаров. Оно было отчётливо видно простым глазом, несмотря на яркий солнечный день. Гаусс, не отрывая глаз от бинокля, любовался внушительной картиной. Городок давно перестал блистать на солнце белизною своих домов. Огромное облако дыма и пыли скрыло его от взоров Гаусса. Ему надоело смотреть, и он отдал бинокль Отто. Барабанные перепонки болезненно реагировали на каждый выстрел. Он уже подумывал, не попросить ли

командира корабля прекратить огонь, но тот и сам уже догадался скомандовать башенной артиллерии отбой, так как видел, что генерал страдает от звуков канонады. Дело уничтожения городка могли довести до конца орудия меньших калибров.

Гаусс ещё раз, больше из желания доставить удовольствие улыбающемуся и оживлённо болтающему со своими офицерами командиру, чем из собственного любопытства, навёл бинокль на то место, где недавно уютно белел опоясанный садами городок. Не было больше ни городка, ни садов. Над беспорядочными серыми контурами, следом за ударами пушек, взлетали

тучи земли и кружились в неподвижном воздухе ленивые клубы дыма.

Продолжая улыбаться от удовольствия, командир корабля подошёл к Гауссу:

— Разрешите просить к столу?

— Что же, к столу так к столу! — В тон ему весело ответил Гаусс, довольный тем, что кончился несносный шум стрельбы и что эта маленькая встряска возбудила у него аппетит, какого он уже давно не испытывал.

Взятие Бриуэги прошло гораздо легче, чем предполагал генерал Матраи. Её судьба решалась занятием окружающих высот, и итальянцы, продолжавшие откатываться вдоль Валенсийского шоссе, очистили Бриуэгу почти без сопротивления. В местечке осталось даже немало целых стёкол, не говоря уже о домах. А каково было ликование жителей, когда они увидели, наконец, людей в синих комбинезонах!

Вторые сутки, пока отдыхала бригада, Матраи ходил, как именинник: в победе республиканцев под Гвадалахарой

Интернациональная бригада сыграла не последнюю роль. Генералу редко доводилось отдыхать, но зато, освободившись от дел, он даже танцевал. И как танцевал!

— Все-таки ты врёшь, Тибор! — сказал ему один подвыпивший старый крестьянин. — Ты родился в Испании.

— Нет, я мадьяр, самый настоящий мадьяр! — со смехом воскликнул Матраи.

— Как же ты можешь тогда так танцевать?.. Клянусь Иисусом, в тебе не меньше огня, чем в испанце!

— Это большая похвала, старина, однако ты ошибаешься, если думаешь, что в жилах венгров течёт

вода.

Старик почесал затылок, совершенно так же, как это делали диды в Беликах. Глядя на него, Матраи расхохотался ещё веселее. Но старик, словно обрадовавшись новому доводу, остановил его:

— И всё-таки врёшь...

— Может быть, ты не веришь, что в ком-нибудь, кроме испанцев, течёт настоящая кровь?

— О нет, Тибор... Разве мы не видели, как льётся кровь кругом?.. Подлая кровь разбойников-итальянцев и благородная кровь наших солдат. Нет, нет! Я о другом...

— Ну, ну! Смелей!

— Скажи-ка правду: ведь ты не

генерал?

Матраи схватил старика за плечи и увлѣк его в таком стремительном танце, что у того голова пошла кругом.

— Пор диос! Так не пляшут даже в Испании!..

Крестьянин, обессиленный, опустился на скамью и восхищёнными глазами следил за Матраи. Вот это генерал! Первый генерал, который разговаривал с ними, пил из одного стакана и, уж, конечно, первый и последний, который не велел величать себя доном. Необыкновенный генерал! Даже не верилось, что такие бывают.

Крестьяне глядели на Матраи

горящими от восторга глазами. Старики подходили к нему с просьбой отведать из их порона. И подумать только: он ни разу не отказался — запрокидывал голову, и струя била ему прямо в рот. И ни капли мимо, честное слово! Поищи второго такого не испанца!

А потом, когда бриуэгцы спели свои песни, Матраи тоже запел. Он пел родные венгерские песни. В них и вправду было ничуть не меньше хмеля, чем в испанских. Иисус и Мария! Что это были за прекрасные песни!

— Слушай... — сказал старик, расхрабрившись. — Вот говорит народ, солдаты твои говорят, будто...

ты из Москвы.

— Да.

— И будто ты жил там долго.

— Да.

— А ведь я им не верил!

— Разве они тебя в чём-нибудь обманули?

Старик испуганно замахал руками:

— Твои солдаты?.. Матерь божья!.. По всему выходит, — подумав, сказал старик, — что русские знают о нас.

— Знают?.. Они даже песни о вас слагают!

Генерал взял из рук юноши гитару и протянул её Варге:

— Ну-ка, Бела!

И запел под аккомпанемент
Варги:

Далеко от Москвы до
Мадрида,
Но сильнее и сильнее
каждый час
Плач испанских детей, как
обида,
Отзывается в сердце у
нас...

Когда он кончил, никто не
захлопал. Крестьяне молча смотрели
на генерала, пока кто-то переводил
слова песни на испанский язык.

— Значит... знают, — сказал,

наконец, старик.

Матраи обнял старика за плечи.

— Как ты похож на наших полтавских дидов, старик!

— Полта...

— Полтавщина... Есть такая советская страна Украина. Вроде вашей Андалузии. Такая же зелёная и прекрасная, такая же солнечная и плодородная. И с таким же замечательным — храбрым, честным, трудолюбивым — народом.

— Постой-ка, ты сейчас сказал: у нас на...

— На Полтавщине.

— Вот-вот! А то говорил, будто ты мадьяр.

— Правильно, диду! И Венгрия

моя, и Полтавщина моя. Две родины у меня — обе любимые и дорогие. За обе эти родины мы с тобой и выпьем!

И Матраи сам подхватил порон и поднёс по очереди каждому гостю.

Утром генерала увидели на коне. Он объехал лагери бригады, чтобы удостовериться, что она хорошо отдыхает, и успел побывать в тылу, чтобы взять свою почту. Письма он прочёл наедине. Прочёл — и долго сидел, задумавшись. Писем было два: покороче — от дочки, длинное — от жены.

Под вечер, когда начальник его штаба, молчаливый Людвиг Энкель, закончив дела, уселся писать свой аккуратный немецкий дневник,

Матраи взял свечу и ушёл в дальний угол. Там он пристроил на столе блокнот, а сам сел на ящик из-под патронов. И тоже стал писать.

Матраи хотел побыть несколько минут просто человеком — мужем и отцом. Всего полчаса за два месяца, ведь наутро снова в поход...

«...и как я вам благодарен за то, что вы улыбались при прощании. Такими я вас вижу и буду видеть до конца, каков бы он ни был. Как прекрасно, что в моем тылу так хорошо! Ещё бы, мой тыл — вы. Я горжусь вами

обеими — вы настоящие.
Таковыми и должны быть
жена и дочь коммуниста.

...Здесь часто
приходится «переступать
через собственное сердце»,
но я убеждён, что
жертвы, которые мы
приносим за дело этого
народа, дадут чудные
плоды. Здесь наша родина
очень популярна. Которая?
Конечно, великая и
прекрасная, которая меня
так великодушно
усыновила».

Перо Матраи остановилось:

вошли два солдата с большим бочонком вина и поставили его на табурет. Матраи досадливо покосился: он не умел писать на людях ни романов, ни писем. Это происходило от смущения и неуверенности в себе, хотя он и казался всем железным человеком.

Солдаты потоптались и вышли. Матраи покусал конец ручки.

*«...Сейчас мне
напомнили: сегодня день
моего рождения. Наверно,
я случайно назвал эту дату
кому-нибудь из
офицеров, — если б ты
знала, что это за*

удивительный народ! — и
вот готовится целый
праздник. Они хотят пить
за моё здоровье. Какие
удивительные друзья!
Подумай, в какой
обстановке они об этом не
забыли. Значит, сегодня
поднимем бокалы. Первый,
конечно, за тебя, моя
светлая, второй за нашу
девчурку и, может быть,
третий за меня,
новорождённого,
которому, конечно,
придётся „агукать“, —
новорождённый есть
новорождённый. Смешно и

приятно до слез... А знаешь, ведь я все прошлое вижу через наши Белики. Полтавщина для меня всё-таки лучшее место... Ах, кстати, ты спрашиваешь, где наша паевая книжка РЖСКТ? Посмотри в верхнем левом ящике письменного стола, непременно там. Смотри, не потеряй её — она ещё станет для меня актуальным вопросом, как только вернусь...»

Ему так ясно представился письменный стол, квартира,

Москва... Он зажмурился и отложил письмо. Взял другой листок:

«Дорогая моя
доченька!

Прежде всего о
выборе профессии,
который тебя так
беспокоит...»

Перо бежало легко, и на губах
играла ласковая усмешка.

Последние две строчки написались не так, как хотелось Матраи, присутствие людей мешало ему: комната стала наполняться командирами, собиравшимися, чтобы отпраздновать день его рождения.

Сидя за рулём, Кеш перебирал в уме события последних дней. Не было ничего удивительного в том, что именно теперь Зеегер напомнил ему о себе. Поражение итальянцев под Гвадалахарой заставило заволноваться всех, кто делал ставку на испанский фашизм. Кеш не видел ничего удивительного и в характере полученного им задания: убить генерала Матраи.

Стрелка часов, мягко светившихся на приборной доске автомобиля, подходила к одиннадцати. Не опоздать бы к условленному часу! Кеш нажал

акселератор. Вскоре с дороги, вьющейся по склону горы, стали видны силуэты домов и церкви Бриуэги. Кеш сбросил газ на повороте и придержал машину: последний поворот к деревне. Патруль остановил автомобиль.

Кеш предъявил пропуск и спросил, где дом генерала.

Через несколько минут он вошёл в комнату с чемоданом в руке. При виде его Матраи удивлённо спросил:

— По какому случаю ты сегодня с таким багажом?

— Видишь ли... — Кеш снял очки и старательно протёр толстые стекла. — Видишь ли: целую неделю я нигде не могу приткнуться, чтобы

проявить кучу нащелканной плёнки.

— Так что же, у тебя там лаборатория, что ли?

— Все, что нужно!

Кеш принялся распаковывать чемодан и достал красный фонарь и целую грудку плёнок.

— Сначала ты выпьешь с нами, — решительно сказал Матраи. — Сегодня мы дали волю воспоминаниям. Мечтаем о своих вторых профессиях. Даже я, как старый павлин, распустил свой пёстрый писательский хвост: мечтаю о том, какой роман напишу после войны...

Но Кеш стал собирать свои фотографические принадлежности.

— Брось все это, — Матраи почти силой вернул его к столу. — Ещё стакан, друзья! За большой успех!

Кеш снова пристально взглянул на него:

— Непременно за большой?

— Непременно.

— А по мне — после стольких месяцев поражений хоть бы какой-нибудь...

— У нас не было ни одного поражения! — горячо воскликнул Матраи.

— А все отходы, отступления?

— А кто тебе сказал, что отступление непременно поражение?

— Так говорит азбука военного дела. На войне движение назад — поражение, вперёд — победа.

— Узко и... не очень грамотно, — безжалостно отрезал Матраи.

— Хочешь скрыться за какой-нибудь софизм?

Только те, кто близко знал Матраи, могли заметить, какой огонёк вспыхнул в его глазах, но ничем другим он не выдал своего раздражения.

— Мы не признаем шор, мешающих нам самим своими глазами смотреть на мир и понимать события так, как мы их понимаем.

— Браво, Матраи! — крикнул

Зинн.

— Отступление подчас — путь к победе, — сказал Матраи.

— К примеру?

Матраи на минуту задумался.

— ...Кутузов.

— Фью! — насмешливо свистнул Кеш.

— Напрасно так думаешь. Более богатой школы, чем история, мы не имеем.

— Я не такой знаток военной истории, чтобы сразу тебя опровергнуть, но думаю...

— То, что говорит генерал, опровергнуть нельзя, — слышался вдруг сухой, размеренный голос Энкеля. — Это истина. So!

Зинн с удивлением смотрел на Энкеля: от этого штабиста трудно было ожидать такого поворота от традиционной немецкой догмы: «Побеждает тот, кто наступает».

Но оказалось, что Энкель сказал ещё не всё, что хотел.

— Что касается именно нас, офицеров революционных армий, то, кроме опыта военной истории, который изучают буржуазные военные, нас должен интересовать, — он наставительно поднял палец и строго взглянул на Кеша: — должен особенно интересовать опыт гражданской войны.

— В ней меньше всего

сказывается искусство военных профессионалов, — возразил Кеш.

— Но больше всего гений народа! — сказал Матраи. — Творческий гений, помноженный на непреклонную волю к победе.

— So, — проговорил Энкель и, расшнуровав свою тщательно завязанную папку, перелистал тетрадь. — Я должен напомнить замечательные слова: школа гражданской войны не проходит для народов даром. Это — тяжёлая школа, и полный курс её неизбежно содержит в себе победы контрреволюции, разгул озлобленных реакционеров, дикие расправы старой власти над мятежниками и

т.д. Но только отъявленные педанты и выжившие из ума мумии могут плакаться по поводу поступления народов в эту мучительную школу; эта школа учит угнетённые классы ведению гражданской войны, учит победоносной революции... — и он ещё строже посмотрел на Кеша.

— Забыть это — значит испугаться первого отступления, — сказал Матраи. — Верно, Людвиг? А мы их не боимся... Отступать сегодня, чтобы завтра обратить противника в бегство, — в этом больше смысла, чем очертя голову нестись вперёд сегодня, чтобы завтра бежать. Должен сознаться, что сейчас, когда Людвиг напомнил нам

эти ленинские слова, кое-что представляется мне совсем в ином свете. Пребыванию здесь нас, горстки иностранных добровольцев, я придавал больше значение моральное, как знаку международной солидарности трудового человечества, чем значение реальной военной силы. Но ведь если вдуматься: добровольцы-интернационалисты — люди с наиболее богатым боевым прошлым среди сотен тысяч испанцев, впервые взявших в руки оружие, — значит, наши добровольцы для них не просто надёжные солдаты, а и более опытные боевые друзья. А для самих интернационалистов те несколько

человек, за плечами которых опыт гражданской войны в России, тоже не просто ещё несколько революционных солдат — это же учителя. Вот почему мы и должны иногда учить.

— Хватит, — недружелюбно пробормотал Кеш. — Я приехал сюда не для исторических изысканий и теоретических дискуссий. Мне нужны картинки для газеты. Истина пусть подремлет до более благоприятной обстановки.

— Ой-ой, Михаэль! — крикнул Матраи. — Истина нетерпелива!.. Погоди, куда же ты?

— Пора. — Кеш озабоченно посмотрел на часы. — К полуночи я

должен знать, что у меня на негативах. У тебя тут найдётся чулан?

— Чулан?

— Впрочем, не нужно... Я видел чердак. Это меня устроит.

Кеш вставил за красное стекло фонаря свой карманный фонарик.

Зинн, нахмурившись, следил за лицом Кеша. Спокойствие покидало его всякий раз, как появлялся этот человек. Зинн и сам не знал, в чём тут дело...

В дверях Кеш лицом к лицу столкнулся с бойцом, который ввёл высокого человека с широкими, сутуловато сведёнными плечами. При ярком свете лампы человек этот

растерянно замигал: это был Нокс.

Сопровождавший его боец доложил адъютанту Матраи:

— С той стороны пробился товарищ, вот его документы.

Кеш было остановился, с любопытством прислушиваясь, но тут же, поймав на себе насторожённый взгляд Зинна, поспешно вышел.

В сенях Кеш включил фонарик, нащупал перила лестницы, ведущей на чердак, и стал подниматься.

Наверху было тесно и грязно. В разбитое слуховое оконце врывался холодный ветер горной ночи. Кеш задел головою за стропила и чихнул от посыпавшейся пыли.

Он взглянул в оконце: были видны неверные силуэты гор, со всех сторон обступивших Бриуэгу. Далеко за ними, на северо-западе, то и дело вспыхивали безмолвные зарницы артиллерийских залпов. По тому, что не было слышно канонады, можно было судить о том, как далеко успели уже прогнать итальянцев.

Снизу, из комнаты, где сидели офицеры, донёсся крепкий баритон Зинна:

Хочу проснуться
В лучах зари,
Чтоб в небе лётчик
Не парил.
Не слышать бомбы,

Гранаты воя
И разговоров
О нас, героях...

Кеш усмехнулся и высунулся в разбитое оконце. Черепичная крыша была во многих местах проломлена. Кеш дотянулся до ближайшей дыры, прикрыл ладонью алое стекло фонаря и опустил фонарь в пролом. Аккуратно установил его так, чтобы стекло глядело вверх.

Осторожно ступая, так, чтобы не скрипнули ступеньки, Кеш спустился в сени и выскользнул на улицу. Прислушался к тому, что делалось в доме. Зинн больше не пел...

У Зинна испортилось настроение. Петь не хотелось. Чтобы не нарушать общего веселья, он незаметно вышел. Горыдохнули ему в лицо холодом ущелий. Над головою несмело дрожали звезды. Они то и дело прятались за набегавшими облаками. Какая тревожная ночь!

Порыв ветра растрепал Зинну волосы. Вернуться за шапкой?.. Не стоит. Вероятно, у него не очень весёлый вид, — зачем портить настроение товарищам? А все из-за этого противного Кеша.

Зинн зашагал прочь от дома. Скоро он вышел на пригорок. Пригорок был невысокий, ниже окружающих гор, но Бриуэга была

как на ладони. Среди тёмных кварталов смутно серела лента шоссе. Зинн оглядел деревню, окрестности, где расположилась на отдых бригада. Эти люди имели право на отдых! Пусть спят батальоны Гарибальди, Домбровского, батальон, носящий такое дорогое и славное имя, — Тельман!.. Тельман... Уже три года в тюрьме...

Зинн отогнал печальные мысли, и его взгляд побежал дальше по испанской деревне, проверяя, не демаскировал ли себя какой-нибудь батальон полоской света. Ведь фашисты повадились теперь летать и по ночам.

Зинн вздрогнул: что значит этот яркий красный огонёк посреди Бриуэги?.. Кто мог?.. И тут же вспомнил: фотографический фонарь Кеша!

Зинн шагнул было и замер... Прислушался... Не верилось: неужели стоило только подумать о сатане — и он тут как тут? Да, он не может ошибиться: это звук самолёта. Одинокий, пока ещё такой неясный, что даже не скажешь, с какой стороны он идёт... Самолёт, фонарь!..

Зинн большими скачками спускался к Бриуэге, минуя тропинку, прямо по склону, прыгая через камни, канавы...

Гул самолёта вырвался из-за горы и сразу стал громче. Самолёт шёл низко, над самыми вершинами гор. То затухающий, то снова усиливающийся, как завывание приглушённой сирены, хорошо знакомый голос немецкого бомбардировщика.

Сердце разрывалось в груди Зинна от бега. Он хотел опередить самолёт, добраться первым к красному фонарю в центре Бриуэги.

Зинн был уже у подошвы холма, когда сверкнули первые выстрелы зенитных пулемётов. Они заливались, торопливо перебивая друг друга. За их очередями не стало слышно самолёта.

Зинн был уже на улице. Он издали увидел высыпавших на выстрелы офицеров.

— Фонарь!.. Красный фонарь! — Что было сил крикнул Зинн.

Но вибрирующий звук падающей бомбы заглушил его крик. Яркий всплеск пламени ослепил Зинна, и тугой удар воздуха отбросил его к стене дома.

«Матраи?!»

Развалины дома Зинн увидел только через несколько минут, когда пришёл в себя. Первой мыслью было: «Матраи?!» Подошедший офицер протянул Зинну выпачканный в глине зелёный сафьяновый бумажник. Он

был немного изогнут, словно слепок груди, на которой пролежал много лет. Зинн сразу узнал: это был бумажник Матраи. Из него и сейчас ещё торчал незапечатанный конверт неоконченного письма.

— Что с генералом?

— Ранен... Врач говорит — тяжело, но не смертельно.

Зинн поднялся на ноги и огляделся. Неподалёку от горящего дома генерала сидел Цихауэр и при свете пожара торопливо работал карандашом в альбоме.

Словно пытаясь утишить звон, которым была наполнена голова, Зинн крепко провёл рукою по волосам, сделал несколько шагов и

вдруг остановился, как поражённый ударом: устроившись на отброшенном взрывом вьюке, сидел Кеш. Его перо быстро бегало по раскрытому блокноту. Заметив Зинна, Кеш взмахнул блокнотом:

— Послушайте-ка, комиссар!.. По-моему, я начал здорово: «Подлая фашистская бомба едва не вырвала из наших рядов...»

Зинн отогнал промелькнувшую было мысль: «Это дело трибунала». Его рука, послушная порыву сердца, извлекла из кобуры пистолет и послала пулю в переносицу самодовольно ухмыляющегося Кеша.

Зинн сунул пистолет в кобуру и носком сапога брезгливо отбросил

блокнот Кеша в угли пожарища.

Конец первой книги

notes

Примечания

Ха-йот — начальные буквы названия фашистской организации молодёжи — гитлерюгенд (Hitler-Jugend).

Бендлерштрассе, где
помещалось тогда министерство
рейхсвера.

«Вахт ам Рейн» —

официальный гимн бывшей
Германской империи.

Вполне ясно себе представить...

Теперь или никогда.

Эту вздорную идею нужно
бросить!

Старик тоже кое-что понимал в военном деле!

Вовсе нет!

Такова наша воля.

Удар чести.

Приходилось делать хорошую мину в плохой игре.

Имеется в виду Принц-Альбрехтштрассе.

Китаец — пресердитое
создание: когда на него нападают, он
защищается.

Офицер, господин офицер!
Галуны золотые, а жрать нечего!

Поверьте мне, наездник
добьётся своего!

Это я?

К сожалению, Германия!

Нет, нет! Он выиграет игру.

— Да здравствует Россия!

— Да здравствует Москва!

Поум — организация
троцкистов в Испании.

Хорошо смеётся тот, кто смеётся
последним.